



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

P Slav 236.4



**HARVARD
COLLEGE
LIBRARY**

ІЮНЬ

8245
98-21

1879

ДѢЛО

ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ

№ 6.

СОДЕРЖАНІЕ.

1. БЕРЕГЪ МОРЯ. Романъ изъ крымской жизни, въ двухъ частяхъ. (Часть II. Гл. I—V.) В. Л. МАРКОВА.
2. ДЖОРДЖЪ-ГЕНРИ ЛЬЮИСЪ. (Ст. первая.) В. БАСАРДИНА.
3. ВЪ ЧУЖОЙ СЕМЬѢ. Романъ. (Окончаніе.) П. СЕВЕРИНА.
4. ЩЕБЕТЪ ЛАСТОЧКИ. Стихотвореніе. Н. К. БОБЫЛЕВА.
5. ГОСПОЖА АНДРЕ. Романъ. (Гл. XII—LI.) ЖАНА РИШИЭНА.
6. НЕМНОГИМЪ. Стихотвореніе. П. К. БОБЫЛЕВА.
7. ЛЮДИ И НРАВЫ ВЪ КИТАѢ. С. С. Ш.

(См. на оборотѣ.)

8. НА ВОЛЮ БОЖЬЮ. Изъ жизни заброшенныхъ дѣтей. (Гл. I—VI.) . БАРАНЦЕВИЧА.
9. ЮМОРИСТЪ ФРИЦЪ РЕЙТЕРЪ . В. Н.
10. БЕЗДОМНЫЙ. Романъ. (Окончаніе.) П. МАГОЛЭНА.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

11. МУЖИКЪ ВЪ САЛОНАХЪ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛЕТРИСТИКИ. (Ст. вторая.) П. ИВЯТИНА.

(По поводу романовъ, повѣстей и очерковъ изъ народнаго быта гг. Иванова, Златовратскаго, Володина и А. Потѣхина.)

12. ИЗЪ ИСТОРИИ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ Н. В. ШЕЛГУНОВА.

(„Очерки исторіи сельской общины на сѣверѣ Россіи“, П. А. Соколовскаго. Спб. 1877.—„Экономическій бытъ земледѣльческаго населенія Россіи и колонизація юго-восточныхъ степей передъ крѣпостнымъ правомъ“, П. А. Соколовскаго. Спб. 1878.)

13. НОВЫЯ КНИГИ

Картинки домашняго воспитанія. Педагогическіе этюды. А--вой. Спб., 1879.—**Живописная Россія.** Отечество наше, въ его земельномъ, историческомъ, племенномъ, экономическомъ и бытовомъ отношеніяхъ. Текстъ извѣстнѣйшихъ русскихъ писателей подъ редакціей П. П. Семенова. Изд. Вольфа. Вып. I и III. Спб., 1879.—**Путевыя письма, повѣсти, рассказы и наброски.** А. Н. Молчанова. Спб., 1879.—**Въ царствѣ мертвыхъ** (къ вопросу о сожиганіи труповъ). І. В. Алферьева. Спб., 1879.—**Наносная бѣда.** Историческая повѣсть. Д. Л. Мордовцева. Спб., 1879.

14. КНЯЗЬ БИСМАРКЪ, ПО ОПИСАНІЮ ЕГО „ЛЮДЕЙ“ С. С. Ш.

(„Графъ Бисмаркъ и его люди за время войны съ Франціей“. По листкамъ дневника составилъ д-ръ М. Бушъ. Переводъ съ нѣмецкаго 2 части. Спб., 1879 г.)

15. ДОЛГІЙ ПАРЛАМЕНТЪ И КОРОТКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЪ АНГЛІИ . В. БАСАРДИНА.

16. ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ. Н. Ш.

Наши весенніе толки, повторяемые изъ года въ годъ двадцать пять лѣтъ.—Компетентность читателя и печати. — Мнѣніе о печати „Отголосковъ“ и „Молвы“.—Точно-ли печать такая вліятельная сила, и насколько ея слово

О ПОДПИСКѢ
НА
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ
„ДѢЛО“
ВЪ 1879 ГОДУ.

Журналъ «ДѢЛО» издается въ 1879 году, при постоянномъ участіи прежнихъ его сотрудниковъ, въ томъ-же направленіи и по той-же программѣ, какъ и въ прошлыя двѣнадцать лѣтъ.

Годовое изданіе журнала „ДѢЛО“ состоитъ изъ *двѣнадцати* книгъ, отъ 30 до 32 листовъ каждая, большого формата.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ЖУРНАЛУ НА ГОДЪ:

безъ пересылки и доставки 14 р. 50 к.
съ доставкой въ Петербургъ. . . . 15 р. 50 к.
съ пересылкой иногороднымъ . . . 16 р. .

ЗА-ГРАНИЦУ ВО ВСѢ ГОСУДАРСТВА. . . 19 р.

Подписку просить адресовать исключительно въ С.-Петербургъ, въ Главную Контору журнала „ДѢЛО“, по Надеждинской ул., д. № 39.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

1) Редакція проситъ гг. подписчиковъ, живущихъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ конторъ, обозначать въ своихъ адресахъ **ближайшее почтовое мѣсто**, въ которое можно было-бы адресовать прямо книжки журнала. Въ противномъ случаѣ, редакція не можетъ ручаться за исправную доставку журнала и за удовлетвореніе жалобъ на неполученіе книжекъ журнала, на томъ основаніи, что Газетная Экспедиція петербургскаго почтамта не принимаетъ отъ редакціи подобныхъ жалобъ и не входитъ въ ихъ разсмотрѣніе, отзываясь, что не имѣетъ возможности собирать справки и требовать объясненій изъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ нѣтъ правильного почтоваго приѣма и отвѣтственного почтоваго учрежденія.

2) Когда книжка журнала не получается подписчикомъ своевременно или вовсе не доходитъ по своему назначенію, редакція, въ виду скорѣйшаго удовлетворенія жалобъ, покорнѣйше проситъ заявлять объ этомъ **не позже** полученія слѣдующей книжки журнала. Въ противномъ случаѣ, на основаніи объявленныхъ почтовымъ вѣдомствомъ правилъ, Газетная Экспедиція къ своему разсмотрѣнію жалобъ не принимаетъ.

3) При перемѣнахъ адреса необходимо сообщать **старый** печатный адресъ бандероли или-же номеръ билета. При каждомъ заявленіи о перемѣнѣ адреса редакція проситъ прилагать **двѣ** почтовыхъ **восьми-копеечныя** марки за напечатаніе новаго адреса.

4) При перемѣнѣ городскаго адреса на иногородный уплачивается 1 р. 50 к.; при перемѣнѣ-же иногороднаго на городской уплачивается 1 р.

5) Жалобы и перемѣны адресовъ адресуются **исключительно** въ контору редакціи.

6) Лица, адресующіяся въ редакцію съ разными запросами, благоволятъ прилагать почтовые марки, если желаютъ получать отвѣты.

7) Рукописи, признанныя редакціею неудобными для помѣщенія въ журналъ „Дѣло“, а равно и рукописи напечатанныхъ статей, хранятся въ редакціи **не болѣе** года и затѣмъ, по истеченіи этого срока, уничтожаются, если не будутъ вытребованы обратно. Мелкія статьи и стихотворенія **не возвращаются**.

8) Высылка рукописей иногороднымъ возможна только въ томъ случаѣ, когда на почтовые расходы будутъ представлены въ редакцію деньги соразмѣрно стоимости пересылки.

ДѢЛО

ЖУРНАЛЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ.

Имв. № 24512

№ 6.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ Г. Е. БЛАГОСВѢТЛОВА, ПО НАДЕЖДИНСКОЙ УЛИЦѢ, ДОМЪ № 39.

1879.

△
P. 3a - 336.4 - 6

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 27 июня 1879 года.



Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ полные годовые экземпляры „ДѢЛА“ за послѣдніе три года можно приобрести въ конторѣ редакціи по слѣдующей цѣнѣ:

За 1876 годъ съ пересылкою	7 р.
За 1877 годъ	” 10 р.
За 1878 годъ	” 12 р.

Отдѣльные номера журнала съ пересыл.
по 2 р.

БЕРЕГЪ МОРЯ.

РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Новый садъ.

Не только Сергѣй съ Евгеніемъ, но даже Анна была съ утра на работахъ.

Евгеній выходилъ изъ себя отъ горячности и работалъ съ такимъ неблагоразумнымъ увлеченіемъ юноши, что совсѣмъ выбился изъ силъ послѣ трехъ часовъ отчаянной работы киркою.

Дѣло въ томъ, что предсказаніе Анны сбылось. Она не даромъ унаслѣдовала отъ своего отца его чутье крымскихъ мѣстностей и его опытность. Еще въ самомъ началѣ работъ, когда нужно было выбрать мѣсто для разчистки площадки подъ виноградникъ, Анна настойчиво совѣтовала Сергѣю раскапывать южную подошву Кастели. По нѣкоторымъ признакамъ она сообразила, что на этомъ мѣстѣ была древняя садовая тераса, засыпанная щебнемъ горы, какія очень часто встрѣчаются по всему южному берегу. Сергѣй уже давно убѣдился, насколько опытенъ въ этихъ дѣлахъ глазъ его жены, и сталъ копать именно тамъ, гдѣ она указывала.

Нѣсколько дней копали они втроемъ, не нападая ни на какой слѣдъ готовой терасы, хотя постоянно копались не въ материкѣ, а въ осыпяхъ. Только вчера, при самомъ окончаніи работъ. Сергѣй натолкнулся киркою на довольно толстую, сверху уже обрушенную стѣнку, сложенную на-сухо изъ дикаго камня. Это открытіе наполнило всѣхъ радостною тревогою. Сегодня встали раньше обыкновеннаго, пригласили на помощь Бекирова сына и еще двухъ ловкихъ татаръ изъ сосѣдней деревни и дружно принялись за раскопку.

Работа шла необыкновенно скоро. Осыпь не успѣла еще сплотиться и сростись въ цѣльную толщу и крошилась легко.

Съ радостнымъ изумленіемъ слѣдили всѣ глазами, не отрываясь отъ кирокъ, за постепеннымъ обнаженіемъ стѣны, погребенной подъ щебнемъ.

Татары-хозяева, хорошо знавшіе хозяйственную цѣну такого открытія, сочувственно подмигивали Аннѣ, указывая головой на расчищенное мѣсто, въ тѣ минуты, когда они отдыхали, опершись на кирпичи и тяжело отдуваясь.

Въ обѣду ясно обнаружился цѣлый уголъ ограды и ровный слой садовой земли, очевидно, когда-то насыпанный на терасу. Два очень толстыхъ корня масличнаго дерева откопаны были въ землѣ, а подъ мусоромъ найдены еще негнившіе старые стволы одичавшей виноградины, свитыя, какъ змѣи.

Не оставалось нивакого сомнѣнія, что это былъ древній греческій или генуезскій садъ, разведенный на искусственной почвѣ, по терасѣ, вырубленной въ скатѣ горы... Онъ былъ обращенъ прямо къ югу и защищенъ горой отъ холодныхъ вѣтровъ, такъ что представлялъ изъ себя природную теплицу.

Давно Головины не обѣдали съ такимъ удовольствіемъ и съ такимъ аппетитомъ, какъ въ этотъ день. Устали страшно, а на душѣ было весело отъ новой удачи.

Татары, помогавшіе въ работѣ, принимали участіе въ общей трапезѣ, которая состояла на этотъ разъ изъ холодныхъ остатковъ вчера изжаренной дикой козы, сухого чернослива и горячаго кофе.

— Благодаря Аннѣ, теперь мы къ веснѣ съ готовымъ садомъ, говорилъ Сергѣй, весьма дѣятельно убиравшій козлятину.— Почва готова, ограду немного поправимъ, а весной и садить

можно. Если наше хозяйство всегда будетъ идти такъ удачно, то скоро наша крошечная пустынька сдѣлается дорогимъ мѣстомъ...

— Ты помнишь, что говорила я тебѣ, когда мы покупали Адамъ-Чокракъ? улыбнулась Анна, которая радовалась больше всѣхъ, что ея предсказанія оправдались. — Я шутя сказала тебѣ, что мы покупаемъ не одну скалу, но и исторію. Вотъ она и есть—эта исторія: наверху водопроводъ, внизу садъ. Посмотри, если черезъ нѣсколько лѣтъ мы не обратимъ Адамъ-Чокракъ въ золотое гнѣздышко.

— Ты, сестра, я знаю, еще что-то задумываешь! вскричалъ со смѣхомъ Евгений, которому вино возвратило упавшія силы и который чувствовалъ теперь во всемъ тѣлѣ сладостный жаръ. — Я замѣтилъ, что ты цѣлую недѣлю ходишь съ своей ботанической лопаткой по той тропинкѣ надъ берегомъ и что-то розыскиваешь... Право, ты великій инженеръ, гидротехникъ и не знаю еще что!.. Вотъ говорятъ, женщины не способны къ техническимъ профессіямъ; желалъ-бы я, чтобы эти проповѣдники посмотрѣли на тебя среди твоихъ родныхъ скалъ! Что-бы сказали они?.. Серьезно, Сергѣй, ты не знаешь, что это она еще задумываетъ?

— Какъ не знать! засмѣялся Сергѣй. — Твоя сестра всегда беретъ меня въ совѣтники, хотя ей давно пора-бы убѣдиться, что во всѣхъ этихъ дѣлахъ я только послушный ея ученикъ, а она великій маэстро, профессоръ!

— Она—геній этихъ дѣлъ, Сергѣй, ей-богу! отъ души побожился Евгений, смотря на свою сестру торжествующими глазами.

— Геній или не геній, въ свою очередь засмѣялась Анна,—острите, какъ хотите, а только я не буду счастлива, пока не добьюсь своего. Я хочу обратить наши скалы въ такіе-же счастливые и обильные уголки, какими они были при древнихъ грекахъ и генуэзцахъ. Пусть и мнѣ поставятъ такой-же мраморный памятникъ, какой нашли въ развалинахъ Херсонеса: „Народъ Агазиеклетю, насадителю и разводителю виноградной лозы“. Право, это недурный памятникъ, по моему мнѣнію, и стоитъ тѣхъ, на которыхъ генералы топчутъ сапогами знамена.

— О, нѣтъ, шутливо вскричалъ Евгений, — тебя слѣдуетъ изобразить на памятникѣ въ видѣ нимфы ручья, напоющей

окрестность изъ опрокинутой урны, и подписать: „Аннѣ, даровательницѣ водъ, устройтельницѣ плодородія, благодарный татарскій народъ“. Правда вѣдь, Бекирь?

— Правда, правда! съ небрежной шутивостью отвѣчалъ Бекирь, погруженный въ свой кофе. — Ты думалъ, мой слушалъ, что твой болталъ! Твой лучше болталъ, мой лучше кушалъ.

— Еслибы твоя сестра жила во времена генуезцевъ, виѣшался Сергѣй, — то ужъ, разумѣется, республика назначила-бы ее на должность какого-нибудь великаго гидротекта всей Хозарии и Готии, и она-бы завѣдывала распредѣленіемъ водъ.

— Вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что я ограничусь кастельскимъ водопроводомъ! возразила Анна. — Сергѣй до сихъ поръ останавливаетъ меня въ предпріятіи, которое нисколько не менѣе важно... Конечно, я могу дать только мысль, общія указанія, но что я могу сдѣлать безъ Сергѣя? Особенно въ дѣлѣ, о которомъ нужно хлопотать нѣсколько лѣтъ, къ которому нужно привлечь и жество, и множество татарскихъ общинъ, и мало-ли еще кого! Право, игумень Софроній въ этомъ случаѣ гораздо покладливѣе тебя. Онъ мнѣ прямо сказалъ, что если отъ Біюкь-таша начнутъ проводить береговую дорогу, то онъ берется устроить семь верстъ, которыя пройдутъ ниже его лѣсовъ, на счетъ монастыря.

— А, такъ вотъ что! вотъ гдѣ твоя тайна! подхватилъ Евгений. — По-моему, это дивная мысль! Дорога по берегу — и куда?

— До самой Алушты, а тамъ должна быть непременно пристань, отвѣчала Анна; — согласись, Сергѣй, что на всемъ нашемъ побережьи вино, фрукты, сама земля стануть тогда гораздо дороже. Вѣдь нельзя-же въ самомъ дѣлѣ вѣкъ оставаться при той дикости и скудости, которою теперь страдаютъ здѣшнія хозяйства. Вѣдь это только теперь тутъ бесплодныя скалы, а загляни-ка въ описанія старыхъ путешественниковъ, старыхъ писателей. Эти самыя мѣста кишѣли плодородіемъ, многолудствомъ. Знаешь, когда я перечитываю описанія разныхъ Рубруквисовъ, Бузбековъ, Броніевскихъ, я ничѣмъ такъ не интересуюсь, какъ этими поразительными подробностями о хозяйственныхъ богатствахъ древняго Крыма. Господи, чего только не было здѣсь, у этихъ трудолюбивыхъ греческихъ пчелъ! Вотъ ужъ видно, что это былъ народъ, сотворившій человѣческую цивилизацію. Онъ покрылъ эти голыя скалы чуть не тропическими растеніями, развелъ маслину,

нижирь, орѣхъ, гранаты, виноградники, миндаль, персикъ, шелковицу, мало-ли еще чего! А куда все это дѣвалось теперь? Всѣ горные лѣса полны одичавшими фруктовыми деревьями; сколько цистернъ, водопроводовъ осталось отъ прошлаго подъ обломками скалъ!.. Я нисколько не сомнѣваюсь, что въ древности шла прекрасная шоссированная дорога черезъ наши мѣста изъ Судака въ Алушту. Въ трехъ мѣстахъ я уже видѣла несомнѣнно древнія арки мостовъ и несомнѣнные слѣды шоссе по обрывамъ. Дайте мнѣ только средства, и я докажу всѣмъ, что я не фантазирую. А средства долженъ добыть Сергѣй, — это ужь его дѣло. Если самое шоссе и не уцѣлѣло, то все-таки мы откопаемъ его мѣсто.

Они въ это время кончили свой кофе и перешли въ рабочій кабинетъ полежать немного на его низенькихъ татарскихъ топчакъхъ.

— Эхъ, славно теперь вытянутся послѣ работы! произнесъ, улыбаясь, Сергѣй, съ наслажденіемъ потягиваясь на диванѣ.

Анна сѣла около него.

— Не отстану отъ тебя, сказала она, — давай мнѣ слово при братѣ, что ты возьмешься за этотъ планъ.

— Давай ей слово, братъ, витѣшался шутливо Евгеній. — Вѣдь ты знаешь сестру—все равно, по-своему сдѣлаешь.

Сергѣй разсмѣялся.

— Вотъ что, сказалъ онъ, закладывая руки подъ голову и глядя въ потолокъ, съ чувствомъ благодушія хорошо поѣвшаго работника, отдыхающаго отъ своей работы.—Я тебѣ по правдѣ признаюсь, Анна. Тебѣ, впрочемъ, и признаваться нечего; ты уже сколько разъ отъ меня это слышала, а я нарочно при Евгеніи говорю, чтобы и онъ зналъ. Пусть онъ не думаетъ обо мнѣ лучше, чѣмъ я дѣйствительно есть. Что-же дѣлать, у всякаго свой грѣхъ. А только я боюсь твоего плана, — понимаешь, Анна, боюсь.

— Какъ это „боюсь“? Чего тутъ бояться? спросила Анна.

— Да вотъ чего бояться: мы вѣдь ушли сюда отъ всякихъ широкихъ затѣй, чтобы жить въ одиночку, глазъ-на-глазъ съ природой, работать въ потѣ лица своего и наслаждаться тѣми простыми радостями, которыя не отняты даже у птицы и звѣря.

— Ну да, хорошо; конечно, это такъ; но вѣдь мы-же съ тобой не отвернулись черезъ это отъ обязанностей къ своимъ

ближнимъ, къ людямъ. Вѣдь ты-же не прогоняешь татаръ, которые идутъ къ тебѣ за совѣтами! Вѣдь ты-же употребилъ цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ труда на водопроводъ, который гораздо нужнѣе татарамъ, чѣмъ намъ!

— Все это такъ, душа моя, но все это имѣеть предѣлы; все это минимум моихъ извѣстныхъ уступокъ общественному долгу... Распирать этотъ минимум мнѣ очень, очень страшно. Незамѣтно покинешь свой счастливый пустынный уголокъ, въ которомъ мы нашли столько душевнаго спокойствія, и опять выскочишь на этотъ толкучій рынокъ, который въ крапивинскомъ уѣздѣ называютъ „общественною жизнью“. Богъ съ нею совѣмъ! Вотъ ты сама сказала: надо земство привлечь, общество. Привлечь—значитъ ѣздить, толкаться съ ними тамъ, гдѣ они толкаются... Развѣ это то, чего мы искали на берегу моря?

Голосъ Сергѣя звучалъ искреннимъ огорченіемъ. Анна что-то раздумывала, а Евгенийъ и сердцемъ, и глазами прильнулъ къ Сергѣю, ожидая съ внутреннимъ волненіемъ, чѣмъ разрѣшится спорный вопросъ. Евгенийъ былъ такого высокаго понятія объ умѣ своего зятя и своей сестры и до сихъ поръ такъ твердо былъ увѣренъ въ ихъ согласіи другъ съ другомъ рѣшительно во всѣхъ вопросахъ, что настоящій споръ привелъ его въ немалое изумленіе.

— Видишь, Анна, мы съ тобой въ этомъ случаѣ двѣ разныя природы, продолжалъ между тѣмъ Сергѣй. — Если ты вспомнишь, какъ дѣлать людей Гейне, то я несомнѣнный эллинь, человѣкъ формъ, человѣкъ наслажденія, а ты столько-же несомнѣнный іудей, человѣкъ идеи и долга. Ей-богу, такъ; конечно, ты выше, ты полезнѣе съ точки зрѣнія человѣчества, а это искренне признаю. Но все-таки самъ я не могу перестать быть эллиномъ и, знаешь-ли, даже не хотѣлъ-бы! Моя личная жизнь для меня слишкомъ дорога, чтобы я всю ее посвятилъ цѣлямъ, стоящимъ внѣ ея. На самоотверженіе меня не хватаетъ. Очень можетъ быть, что я не только эллинь, но и просто мужчина, эпикуреецъ и эгоистъ; а ты, Анна, не только іудей, но и просто женщина, существо подвига, любви, стоицизма. Право, кажется, такъ...

Анна сидѣла молча, опустивъ глаза, и внимательно вслушивалась въ каждое слово Сергѣя.

— Вѣдь это въ каждомъ пустакѣ видно, скрывать нечего!

продолжалъ между тѣмъ Сергѣй, по-прежнему глядя въ потолокъ. — Вотъ мы тогда съ тобой нашли кастельскія развалины. Твоя первая мысль была о другихъ: ты стала искать водопровода, чтобы татары могли лучше орошать свои виноградники. Вѣдь мы-же вмѣстѣ съ тобою читали объ этомъ водопроводѣ въ хроникѣ Фольеты. Отчего-же я совершенно не вспомнилъ о немъ, а ты вспомнила? Понятно, отчего! Мнѣ сейчасъ представились совершенно бесполезныя картины древней жизни: я старался себѣ вообразить эту заоблачную генуезскую башню; я наполнился поэтическимъ сочувствіемъ къ полуразбойническому, полумонашескому быту ея старыхъ обитателей; смотрѣлъ ихъ глазами на горизонтъ моря, на окрестныя горы. Словомъ, я спокойно предавался личнымъ ощущеніямъ художника-эпикурейца въ то время, какъ ты искала общей пользы, добра для всѣхъ... Вотъ въ чемъ заключается разница между нами! Пусть Евгенийъ понимаетъ и меня, и тебя въ настоящемъ свѣтѣ.

— Это клевета, неблагородная клевета на самого себя! горячо сказала Анна. — Ты вовсе не такой эгоистъ, не такой жрецъ наслажденія; ты художникъ, это правда, потому-что никто кромѣ художника не вѣ состояніи до такой степени преувеличивать вещи и „возводить въ перлъ созданія“ самую ничтожную черту.

— Развѣ человекъ, который своими руками роетъ землю и ломаетъ камни, можетъ назваться эпикурейцемъ? вступился Евгенийъ, даже покраснѣвшій отъ волненія. — Ты отрываешься отъ всѣхъ своихъ занятій, чтобы разбирать вздорныя ссоры чужихъ тебѣ людей, и смѣешь бранить себя эгоистомъ! Это не хорошо, Сергѣй; ты оскорбляешь этихъ не только себя, но и меня съ сестрой. Я отказываюсь признавать себя братомъ эгоиста и эпикурейца, потому что я братъ самаго великодушнаго и самаго полезнаго гражданина. Вотъ что! А униженіе паче гордости, ты самъ знаешь...

— Постойте, постойте, господа! разсмѣялся Сергѣй, одушевляясь и вставая съ дивана. — Я вовсе не нуждаюсь въ защитникахъ. Я гораздо лучшаго мнѣнія о себѣ, повѣрьте. Если я называю себя эпикурейцемъ, то вовсе не въ видахъ самоуничиженія. Я только дѣлаю философскій анализъ моихъ душевныхъ мотивовъ. Конечно, я отчасти и гражданинъ, и, конечно, я не совсѣмъ жрецъ наслажденія. Вы видите, какъ я живу, какъ я

тружусь, — что-же тутъ говорить! Но я хочу освѣтить ту тонкую внутреннюю разницу, которую я нахожу въ характерѣ моихъ и твоихъ дѣйствій, Анна. Я не уклоняюсь отъ обязанности уже потому, что дѣлаю почти все то-же, что ты. Воля моя, мои правила заставляютъ меня исполнять мой долгъ. Все это такъ. Но тутъ-то и разница. Если я искренно анализирую внутреннюю пружину моихъ дѣйствій, я долженъ признаться, что благо другихъ меня привлекаетъ вовсе не тѣмъ, что оно есть благо другихъ, а главнымъ образомъ тѣмъ, что мнѣ отрадно сознавать себя исполняющимъ обязанности честнаго человѣка; еслибы я служилъ только личнымъ нуждамъ своимъ, я не былъ-бы вполне счастливымъ. Я мучился-бы унижительнымъ сознаниемъ, что я бесполезный и неполный человѣкъ, что у меня не достаетъ высшихъ мотивовъ дѣятельности. Такимъ образомъ, выходитъ, что я люблю добро не ради добра, а ради самого себя. Согласитесь-же, что философски я правъ, когда утверждаю, что я эпикуреецъ и эгоистъ! Слова, разумѣется, грубы и не въ силахъ выразить всѣхъ психическихъ тонкостей; оттого мое мнѣніе вамъ кажется оскорбительнымъ и невѣрнымъ.

Разговоръ увлекъ и Анну. Всѣ они встали теперь съ мѣсто и горячились стоя.

— Ты не собьешь меня діалектикой! перебила его Анна. — Ты самъ противорѣчишь себѣ. Если ты несчастливъ отъ сознанія, что ты неполный и бесполезный человѣкъ, когда устраниаешь себя отъ дѣлъ добра, значитъ, ты видишь въ этомъ добръ высшій принципъ жизни; значитъ, ты служишь этому добру. Иначе ты не ощущалъ-бы себя несчастнымъ. Вѣдь ты-же не можешь быть несчастнымъ оттого, что на тебѣ нѣтъ моднаго фрака или что ты не дѣйствительный статскій совѣтникъ, или что ты не развѣзжаешь въ красивомъ нарядѣ по знатнымъ барамъ! А есть, однако, люди, которые глубоко несчастны именно этимъ сознаніемъ, потому что для нихъ фракъ и чинъ — высшіе принципы жизни.

— Да, но вѣдь существуетъ-же другое отношеніе къ принципамъ, защищался Сергѣй. — Я увѣренъ, на-примѣръ, что ты любишь добро потому, что оно полезно другимъ, потому, что оно прекрасно само по себѣ, а вовсе не потому, что оно обезпечиваетъ свѣтлое настроеніе твоего собственнаго духа. Значитъ, есть разница между твоимъ и моимъ „служеніемъ добру“, какъ ты

это называешь; почему-же и не обнаружить ее со всею откровенностью? Я, главное, дѣлаю это изъ самозащиты, чтобы убѣдить тебя, какъ мало я расположенъ рисковать своимъ теперешнимъ тихимъ миркомъ въ пользу разныхъ широкихъ замысловъ общественнаго благодѣянія. Я считаю, что я исполняю свой нравственный долгъ къ обществу въ той мѣрѣ, въ какой я обязанъ. Все дальнѣйшее есть уже, такъ-сказать, нравственная роскошь, подвиги которой я нахожу себѣ не по плечу и не по вкусу, говорю чистосердечно. „Лишнее-же сего отъ неприязни!“ какъ говоритъ апостолъ, заключилъ, расхохотавшись, Сергѣй.

— Это твой минутный капризъ и больше ничего! въ негодованіи вскричалъ Евгений. — Ты не умѣешь цѣнить самого себя! Ты только и думаешь о другихъ, объ общей пользѣ, а толкуешь Богъ знаетъ что. Иной, кто тебя не знаетъ, и въ самомъ дѣлѣ подумаетъ, что ты холодный себялюбецъ. Не смѣй судить самъ себя, оставь это намъ съ сестрой, намъ виднѣй со стороны.

— Супругъ мой слишкомъ углубился въ глубину премудрости, смѣясь, стѣчала Анна. — Если раскапывать всѣ наши побужденія съ такой философской глубиною, то очень можетъ быть, что все на свѣтѣ окажется эгоизмомъ. Строго говоря, конечно, другихъ дѣйствій, кромѣ эгоистическихъ, и быть не можетъ у человѣка. Но мы говоримъ не о метафизическомъ эгоизмѣ, а о простомъ житейскомъ.

— Говорите, что хотите, а я себя цѣню вѣрнѣе васъ, стоялъ Сергѣй на своемъ; — человѣкъ самъ лучше всѣхъ видитъ свою внутренность.

— Вотъ что! перебила Анна. — Пусть мы всѣ будемъ эгоистами, это мнѣ все равно. А только мы добьемся своего: когда Евгений будетъ здѣсь хозяйничать, нашъ дикій берегъ будетъ обилень и роскошенъ, какъ какой-нибудь Провансъ. Мы будемъ снабжать цѣлую Россію прованскимъ масломъ, оливками, плодами, виномъ. Россія ничего не будетъ покупать тогда ни въ Марсели, ни въ Греціи. А я сдѣлаюсь богата такъ-же, какъ Гликія, дочь Ламаха, о которой, помнишь, мы читали съ тобою въ исторіи Константина Багрянороднаго; буду, какъ она, ежегодно угощать весь херсонесскій народъ и, когда овдовѣю, выйду замужъ, какъ Гликія, за босфорскаго царя! Правда вѣдь, отлично?

Еще недѣли двѣ продолжались раскопки Анны. Удача была полнѣе, чѣмъ они ожидали. Не только открылась несомнѣнная садовая тераса, которую они могли вновь обнести оградой изъ камней, снятыхъ съ терасы, но въ одномъ углу ея былъ найденъ вполне сохранившійся, забитый мелкимъ щебнемъ винный тарапанъ необыкновенно-крѣпкаго устройства, высѣченный изъ скалы, а подъ нимъ, въ каменистой почвѣ, было найдено двѣнадцать огромныхъ каменныхъ бочекъ, въ которыя когда-то стекало вино прямо изъ-подъ тарапана. Древніе греки имѣли обычай постоянно хранить въ такихъ бочкахъ масло и вино.

Одна изъ бочекъ была съ торжествомъ вынута на свѣтъ божій, осмотрѣна и срисована со всѣмъ тщаніемъ и затѣмъ прозаически обращена въ закромъ для муки. Но остальные амфоры оставили въ землѣ, такъ-какъ необходимо было воспользоваться со слѣдующаго урожая новымъ прекраснымъ жомомъ и всею этою богатою посудю.

— Это мой Геркуланумъ, моя Помпея! съ шутивою радостію говорила Анна. — Теперь бѣда тебѣ, Сергѣй! Теперь я совсѣмъ затяну тебя въ эти раскопки и, чего добраго, снесу всю Ка-стель, чтобы открыть тѣ таинственныя пещеры съ желѣзными воротами, куда спрятаны, по сказанію татаръ, всѣ старинныя сокровища генуэзцевъ, ихъ Фрэнкъ-Темиръ-хана... Вѣдь не даромъ-же я захотѣла сдѣлаться Гликіей, дочерью Ламаха!..

— Иди, иди впередъ, моя Эгерія, и учи насъ! дружескимъ объятіемъ отвѣчалъ ей Сергѣй. — Мы съ Евгеніемъ—твои послушные работники!..

II.

Б у р я .

— Какъ хочешь, Анна, а я считаю это несомнѣннымъ! говорилъ Сергѣй, бросая перо и порывисто отодвигая отъ себя толстую книгу старинной печати.

— Теодоро—это Инкерманъ, и ничего больше!.. Этотъ Alexius dominus de Theodoro, котораго встрѣчаешь чуть не въ каждой хроникѣ, былъ въ такомъ сосѣдствѣ съ Цембаломъ, что невозможно сомнѣваться. Ты вычитала что-нибудь у Джустиниани? Есть у него объ этомъ?

— Все то-же, что и у Фольеты, и у Стеллы, тихо отвѣчала Анна, не отрываясь отъ своего занятія. — Я теперь, какъ нарочно, тамъ-же, гдѣ и ты... Вотъ посмотри: „in mano di uno possibile Greco, nominato Alessio, signor del Theodoro, che e luogo vicino a Sembalo“... Опять этотъ dominus Alexius и опять около Балаклавы!..

Она показала Сергѣю карандашомъ на подчеркнутыя строки своей книги.

— Что-же? надо остановиться на этомъ, замѣтилъ Сергѣй. — Два камня съ надписями и столько историческихъ свидѣтельствъ! Улики достаточныя...

— Конечно, больше ничего не добьешься... Ты списалъ подлинную надпись 1427 года? Перевода мало, нужно хоть въ выноскѣ помѣстить текстъ...

— Я помѣстилъ его рядомъ; теперь буду заканчивать всю эту главу; вѣдь и ты поспѣешь къ вечеру?

Они сидѣли теперь въ рабочемъ кабинетѣ, самой свѣтлой и обширной комнатѣ домика, въ которомъ была еще маленькая спальня и такая-же маленькая столовая; на двухъ большихъ столахъ, за которыми засѣдали Сергѣй и Анна, и на диванахъ кругомъ ихъ разбросаны были рукописи, атласы, книги.

Евгеній въ сосредоточенномъ молчаніи, съ напряженнымъ стараніемъ копировалъ, изъ рѣдкаго собранія Дюбуа де-Монперё, тѣ карты, рисунки и чертежи, которые были нужны Сергѣю. Онъ былъ ловкій чертежникъ и могъ сдѣлать это дѣло скорѣе и искуснѣе, чѣмъ его братъ.

Страшная зимняя непогода уже пятый день, какъ загнала Головинныхъ въ домъ, и они теперь посвятили эти дни своему любимому постоянному труду—историческому и археологическому описанію памятниковъ „древней Готіи“. Они вели его совмѣстно, работывая одинъ и тотъ-же предметъ по разнымъ источникамъ, дѣлясь своими находками, обсуждая вмѣстѣ свои сомнѣнія. Анна, дочь истаго крымскаго старожила, отлично владѣла итальянскимъ языкомъ, котораго Сергѣй вовсе не зналъ, и много помогала ему своими поисками въ итальянскихъ лѣтописяхъ, въ то время, какъ онъ одолжвалъ греческія и латинскія хроники. Трудъ ихъ уже принималъ очень почтенные размѣры и составлялъ глубокое наслажденіе ихъ кабинетныхъ дней, когда они

волей-не-волей были отрѣзаны отъ природы и хозяйственныхъ работъ. Послѣ утомленій физическаго труда, онъ казался имъ сладкимъ отдыхомъ и болѣе всего возстановлялъ гармонію ихъ духа.

А Евгений до такой степени слилъ всѣ интересы своего существованія съ жизнію трудолюбиваго и поэтическаго гнѣзда, въ которомъ онъ теперь очутился, что съ увлеченіемъ искалъ возможности какъ-нибудь вмѣшаться въ общій трудъ любимыхъ людей; онъ былъ до-нельзя восхищенъ, когда Сергѣй придумалъ для него, своего раба, археологическую работу, которая должна была войти въ изданіе и которая составляла его весьма существенную часть.

Несмотря на свою молодость, Евгений всецѣло поглотился на это время отшельническими вкусами своихъ родныхъ и не хотѣлъ пока ничего другого, кромѣ того, чтобы стоять рядомъ съ ними вездѣ, гдѣ стоятъ они: вмѣстѣ раскапывать скалу, вмѣстѣ ловить рыбу, вмѣстѣ работать за кабинетнымъ столомъ и вмѣстѣ пѣть на заходѣ солнца.

— Сергѣй! ты слышишь? вдругъ вздрогнулъ Евгений, бросая циркуль и прислушиваясь. — Неужели это буря?

— Ты еще не привыкъ къ ея стонамъ, спокойно отвѣчалъ Сергѣй. — Наслушаешься за зиму! Я нахожу, что морскія бури далеко не то, что наши русскія зимнія вьюги. Совѣмъ не тотъ голось, не тѣ пріемы! Право, подумаешь, что вѣтеръ—живое существо и въ немъ разные характеры.

— Поэтому я никогда не считала глупостью обожанье природы, замѣтила Анна.—Мнѣ всегда казалось, что въ поклоненіи солнцу, грозѣ, растительной силѣ заключалась глубокая мудрость. Для дикаря могла-ли быть болѣе возвышенная философія?

— Это правда. Даже нашъ братъ смотритъ на весну и на солнце почти какъ на божество, отвѣчалъ Сергѣй. — И нельзя не смотрѣть, послѣ какой-нибудь пятидесячной зимы, какъ въ нашей богоспасаемой Крапивнѣ, или послѣ такого шабаша вѣдьмъ, какъ нынче!

Буря ворвалась въ эту минуту въ широкое отверстіе топишагося камина, и языки огня пугливо метнулись отъ него въ комнату.

На берегу моря было страшно. Волны били теперь уже не въ щепень широкихъ отмелей, а прямо въ грудь шиферныхъ скалъ, отвѣсною стѣною окаймлявшихъ берегъ. Въ разныхъ мѣстахъ давно подточенные скалы съ потрясающимъ шумомъ рушились подъ ударами этихъ тяжелыхъ, словно свинцомъ налитыхъ, бурныхъ валовъ, засыпая береговныя тропинки и наполняя окрестность словно раскатами грома. Сообщеніе по берегу пять дней уже было прервано. Огромные камни ворочало и перебрасывало волною, вырывая ихъ даже со дна. Голыши не успѣвали осаживаться и, какъ каша, густили грозную волну, которая черезъ это дѣлалась еще тяжелѣе, еще опаснѣе, еще шумнѣе... Скалы берега, въ которыя била волна, казались сплошною линією крѣпостныхъ стѣнъ и бастионовъ, бомбардируемыхъ разомъ на всемъ пространствѣ неистовыми дружинами врага. Залпы тяжелыхъ ударовъ стояли въ воздухѣ, будто несмолкаемый пушечный грохотъ, а бѣлая пѣна, клубами взлетавшая вверхъ, курилась и кудрявилась вдоль всей линіи боя, какъ дымъ орудій.

Волны всплескивали такъ высоко, что обдавали на нѣсколько сажень въ глубь даже теми скалъ, на которыхъ росли виноградники.

Въ лѣсу, въ садахъ, среди виноградныхъ кустовъ нанесло груды крупнаго щебня, которымъ волна играла, какъ горстями гороха.

Передъ самымъ домошъ Головинныхъ оторвало и унесло въ море часть берега, а камни и соленые брызги попадали даже подъ устон ихъ балкона. Все пространство отъ ихъ дома до моря было покрыто теперь кучами перепутанныхъ водорослей, мелкою рыбою, крабами и морскими желудками, и усѣяно, какъ картечью поле битвы, разноцвѣтными голышами.

На нижній цвѣтникъ Анны были надвинуты камни, которые было не подъ силу свезти парѣ воловъ, и между ними Евгений вынулъ еще трепетавшаго молодого дельфина, чернаго и лоснящагося, будто обшитаго въ непромокаемую резину.

Но всего страшнѣе было въ утесахъ Камышъ-буруна, которые замыкали справа горизонтъ берега.

Попавъ въ этотъ лабиринтъ острыхъ утесовъ и подводныхъ скалъ, волны застрѣвали, какъ въ тискахъ, давили другъ друга, скакали другъ черезъ друга, бѣсались и пласали въ какой-то

неистойой пляскѣ, высоко подбрасывая пѣну и брызги, дико взвизгивая и шипя, глухо рыча и роясь въ своихъ влокачущихъ тѣснинахъ.

Это были какія-то сатурналіи морскихъ духовъ, затѣявшихъ безумную игру и злившихся на неожиданныя препятствія.

Плохо было бѣднымъ кораблямъ, попавшимся въ эту зимнюю бурю.

Евгеній еще утромъ видѣлъ на горизонтѣ два корабля, которые трепались по волѣ вѣтра. На одномъ еще нѣкоторое время держался парусъ, но скоро былъ сорванъ вмѣстѣ съ мачтою, на глазахъ Евгенія; какъ ни далеко было разстояніе, Евгеній ясно видѣлъ, какъ неистоно качало и подбрасывало его. Это былъ большой трехмачтовый корабль, шедшій по кавказскому пути.

Другое судно было ближе къ Евгенію; онъ увидалъ его съ утра уже съ поломанною на—двое мачтою; волна ежеминутно заливала, и издали казалось непостижимо, что еще держать его на поверхности, почему оно давно не пошло ко дну. Повидимому, это была турецкая кочерма, на которыхъ жители мало-азійскаго берега обыкновенно плаваютъ около береговъ Крыма, убивая дельфиновъ и вытапливая изъ нихъ жиръ.

И кочерму, и трехмачтовое судно упорно несло прямо на скалы берега; но сколько разъ ни выбѣгалъ Евгеній на балконъ, слѣдя за ихъ судьбою, онъ видѣлъ ихъ все еще далеко, все еще въ туманахъ бури.

Низкія, влажныя тучи, сѣрыя и тяжелыя, неистоно неслись въ томъ-же направленіи, едва не касаясь волнъ моря, прорываясь то снѣгомъ, то леденѣющимъ дождемъ, и напирали на высокія вершины Яйлы, давно закутанныя туманами, такъ-же дружно и яростно, какъ волны напирали на береговыя скалы.

Горныя лѣса трещали и ломались отъ этого натиска, и съ вершинъ скалъ падали, будто бомбы, въ глухія пропасти, въ узкія долины, сорванные бурей и размытые горными потоками тяжелые камни.

Стонала и дрожала вся горная твердыня, оглушаемая со всѣхъ сторонъ этою бѣшеною атакой стихій.

Еще вчера Бекиръ, пробравшійся-таки до Сууеъ-Су за свѣжей бараниной, принесъ вѣсть, что противъ Камышь-буруна утонулъ кордонный солдатъ, возвращавшійся одинъ въ яликѣ изъ Судака,

и что подъ Алма-сараемъ выкинута на берегъ большая турецкая кочерма. Въ кочермѣ нашли мертвого человѣка, привязаннаго веревкою къ остатку мачты.

Этотъ солдатъ, утонувшій почти прямо 'передъ ихъ домою, сильно встревожилъ воображеніе Евгенія. Несмотря на бурю и снѣгъ, онъ попробовалъ было пробѣжать подъ берегомъ, держась за деревья, чтобы осмотрѣть, не выкинуло-ли гдѣ трупъ.

Но порывы вѣтра были такъ ужасны наверху скалъ и у Евгенія такъ кружилась голова отъ свиста и гула, которые охватывали его кругомъ, что онъ не рѣшился идти одинъ на свои поиски и возвратился съ первыхъ-же шаговъ.

Однако, мысль о трупѣ его не покидала.

При каждомъ стонѣ бури, при каждомъ сильномъ всплескѣ ему казалось, что это утопленникъ вылѣзаетъ на берегъ и что ему нужно помочь.

Онъ вздрагивалъ, бросалъ свое занятіе и бѣжалъ на балконъ. Но тамъ было все то-же: все тѣ-же свинцовые валы, съ неумолнимою и бессмысленною яростью напиравшіе на берегъ, все тѣ-же зловѣщія свинцовыя тучи, пронесившіяся на крыльяхъ бури надъ kloкочущимъ моремъ.

Сергѣй и Анна уже давно привыкли къ залпамъ и вою зимнихъ бурь; ихъ занятія спорились подъ этотъ шумъ, какъ спорятся они въ теплыхъ хоромахъ русской деревни подъ пѣсни вьюги. Еще уютнѣе, еще сердечнѣе казался имъ и ихъ маленькій домикъ, а весь ихъ внутренній міръ; еще тѣснѣе сближались они другъ съ другомъ при враждебныхъ звукахъ непогоды, бушевавшей кругомъ. Никогда не казалась имъ такъ ярка лампа ихъ кабинета, никогда не былъ такъ веселъ огонь ихъ камина.

— Знаешь, Анна, я, должно быть, рожденъ не человѣкомъ-космополитомъ, не человѣкомъ цивилизаціи, сказалъ Сергѣй, вслушиваясь въ грохотъ бури. — Когда я сижу у своего покойнаго комельца съ тобою и съ Евгениемъ, а вокругъ насъ безнадежно бѣсится буря, право, я ощущаю къ своему очагу какое-то священное чувство и совершенно понимаю эту первобытную религію грека и римлянина, которая создалась задолго до Зевсовъ и Меркуріевъ, — поклоненіе очагу. Ну, развѣ это, въ самомъ дѣлѣ, не священныя пенаты, не геній дома, охраняющій его отъ всѣхъ злополучій и

благословляющій его семейный союзъ, не *lag familiaris*, какъ говорили римляне?

— Да! поддержала его Анна, не отрываясь отъ работы. — Вообще древніе люди были далеко не такъ невѣжественны, какъ это кажется нашимъ близорукимъ современникамъ. Если вникнуть въ цѣлую систему ихъ вѣрованій и во всѣ условія ихъ тогдашней жизни, то изумишься глубокой логикѣ ихъ разума и чуткости ихъ чувства. А конечно, кто судить древнихъ по дѣтскимъ учебникамъ, тотъ можетъ вообразить себя ни въстѣ на какой высотѣ надъ ними.

— Меня всегда трогалъ этотъ античный культъ очага, полный цѣломудренной простоты и природной правды, продолжалъ Сергѣй, обращаясь болѣе къ Евгению, который оторвался отъ карандаша, чтобы слушать его. — Что могло быть естественнѣе для неопытнаго человѣчества, какъ не эти семейныя собранія вокругъ домашнего алтаря, гдѣ люди впервые учились обязанностямъ и законамъ нравственности, гдѣ они впервые создавали себѣ понятіе о высшемъ существѣ? „О, Агни! ты жизнь, ты покровитель человѣка!“ говорили огню очага гимны Веды. „Сдѣлай насъ богатыми и цвѣтущими; сдѣлай насъ мудрыми и чистыми!..“ Право, эта короткая и простая молитва, по-моему, трогательнѣе всякихъ хитросплетенныхъ жалкихъ словъ.

— Это прелесть! это высокая поэзія! съ увлеченіемъ сказалъ Евгений. — Мы съ тобой, Сергѣй, совсѣмъ обратимся здѣсь въ первобытныхъ людей. Будемъ мощны и просты, какъ они, и станемъ обожать природу.

— О, я ей давно поклоняюсь! съ улыбкой закончилъ Сергѣй.

Послѣ захода солнца буря стала еще неистовѣе. Скалы берега дрожали. Дрожалъ и домикъ Голованыхъ, прилѣпленный къ скаламъ. Съ моря слышались то словно пушечные выстрѣлы, то словно раскаты грома. Казалось, вся черная бездна ночи была полна взрывами и силилась сокрушить ими твердыни горъ. Море всей грудью ударялось о каменную грудь земли, ревѣло, взвизгивало, стонало отъ боли и злости. Его вопли стояли въ потрясенномъ воздухѣ, какъ плачь раненаго звѣря, и самое твердое сердце безпокойно билось при этихъ угрожающихъ звукахъ.

Евгению было еще мало знакомо и море, и зимняя буря. Его ребяческая впечатлительность была напряжена до крайнихъ пре-

дѣловъ. Ему чудились Богъ знаетъ какіе страхи, какія опасности. Онъ далеко не былъ увѣренъ, что волна моря не достигнетъ до ихъ домика. Напротивъ того, ему ежеминутно казалось, что страшныя свинцовыя хляби уже бьютъ въ устои балкона и что безокое черное чудовище, ревомъ котораго наполнена мгла ночи, яростно лѣзетъ изъ своихъ пучинъ именно на ихъ несчастный домикъ, на ихъ мелькающій огонекъ, который одинъ смѣетъ дразнить его своимъ непокорнымъ свѣтомъ.

Евгенію совѣстно было признаться Сергѣю въ своихъ страхахъ, и онъ старался развлечь себя работою и разговоромъ. Но сердце его было сжато, какъ въ тискахъ, и какой-то мистическій ужасъ охватывалъ все его существо при каждомъ новомъ залпѣ, при каждомъ новомъ стонѣ бушевавшаго моря.

— Не дай Богъ попасться въ эту бурю! опять началъ Сергѣй, съ жуткимъ наслажденіемъ вслушиваясь въ звуки бури и поднимаясь, чтобы подложить въ огонь дубовыхъ дровъ. — Должно быть, тѣ корабли, которые мы видѣли съ тобой утромъ въ конецъ оттрепало. Ихъ несло прямо на Камышь-бурунь, и теперь они, пожалуй, разбиты въ щепки. Жаль бѣдняковъ!.. Оттуда не спасутся!..

— А ты зажегъ фонарь? вдругъ озабоченно спросила Анна.

— Какъ-же! Бекиръ увязывалъ его часа два, все срываетъ; сосна, на которой онъ повѣшенъ, качается хуже всякой мачты. За то ужъ, дѣйствительно, далеко видно. Ты видѣлъ огонь, Евгенийъ, когда выходилъ послѣдній разъ? Не задуло его?

— Нѣтъ, огонь очень ярокъ, — отвѣчалъ Евгенийъ. — Я даже боюсь, не распаялся-бы фонарь. А Бекиръ говоритъ — ничего, что онъ всегда такъ.

— Не бойся! ему не въ первый разъ; это нашъ обычный маякъ въ очень темныя ночи и въ бури. Многіе говорили за него спасибо. Теперь ужъ къ нему пріучились, и весь берегъ знаетъ его. А сначала онъ долго сбивалъ съ толку.

— Что это мнѣ все кажется, что кричить, кто-то? съ нѣкоторою дрожью въ голосѣ, сказалъ Евгенийъ.

— А какъ-же не кричить? Конечно, кричить, и поеть, и свистить, все что хочешь, съ спокойною улыбкою отвѣчалъ Сергѣй. — Море вѣдь тоже забавляется любить; вотъ отрѣзало насъ теперь отъ всѣхъ живыхъ людей, какъ рыбаковъ въ Уиджѣ, да и по-

тѣшается надъ нами, словно дядя Струй. Послушать, какихъ голосовъ не услышишь, отъ грохота грома до кошачьяго писка!.. А смотрѣть хоть не смотри: такія чудища станутъ мерещиться, что только плюнешь.

— Вѣдь утопленника, должно быть, давно выкинуло... Можетъ быть, онъ лежитъ гдѣ-нибудь на берегу? Можетъ быть, онъ близко отъ насъ? Можетъ быть, подъ самымъ домошъ? спросилъ Евгений, потихоньку косясь на окно. — Слѣдовало-бы подобрать его.

— Ну, братъ, теперь и за живымъ лѣзть надо подумавши, а ужъ объ утопленникахъ хлопотать пока нечего, засмѣялся Сергѣй. — Мало-ли ихъ нынче будетъ!

— А можетъ быть, онъ живъ? Можетъ быть, его можно отгнать, откачать?..

— Полно вздоръ молоть! Изъ него-бы ужъ сто разъ успѣло выбить духъ... Шутка-ли, ворочаетъ? Огромные камни, какъ куски пробки, перекидываетъ. Ты думаешь, его плохо пристукнуло, если выкинуло его куда-нибудь на скалу?..

— Знаете, господа, сказала поднимаясь Анна. — Я какъ-разъ окончила послѣднюю строку объ Инкерманѣ и, признаюсь, утомилась работой. Давайте приметесь за пѣнье. Вѣдь скоро пора и ужинать.

— Да, это будетъ гораздо лучше! обрадовался Евгений, которому хотѣлось чѣмъ-нибудь пріободриться.

— Значить, будемъ въ два хора пѣть, какъ въ церкви, засмѣялся Сергѣй. — Мы здѣсь, а тамъ буря... Выбирайте что-нибудь подходящее, Анна, — грозное и торжественное.

— Я думаю спѣть „Потопъ“ Глуза; это будетъ кстати.

— Ну, ну, отлично! „Потопъ“ я очень люблю. Тутъ, дѣйствительно, и стонъ бури, и шумъ моря. Это самое подходящее. Только Евгений ни разу не пѣлъ этого, а его партія трудна.

Странное и бодрящее впечатлѣніе произвели на Евгения стройные звуки хора, внезапно раздавшіеся въ стѣнахъ освѣщеннаго и нагрѣтаго человѣческаго жилища, объятаго кругомъ ужасами хаоса.

Ему казалось, что это отважный вызовъ, который разумный духъ шлетъ слѣпымъ стихійнымъ силамъ. Ему казалось, теперь, что эта яркая комнатка, въ которой дѣйствуетъ смыслъ и трепещетъ чувство, осаждена, какъ ковчегъ потопа, смертью и раз-

рушеніемъ и, какъ ковчегъ, проносить въ себѣ черезъ бездонныя хляби смерти уцѣлѣвшую искру жизни.

Евгеній пѣлъ съ какимъ-то вдохновеніемъ. Онъ до такой степени весь ушелъ въ свои внутреннія грезы, что не замѣчалъ трудности и превосходилъ самого себя. Анна съ изумленіемъ вслушивалась въ смѣлые акорды его голоса, который исполнялъ незнакомыя ему мѣста съ увѣренностью и твердостью опытнаго пѣвца.

Давно ихъ тріо не выходило такъ согласно, такъ полно гармоніи и выраженія. Забѣчалъ это и Сергѣй и, полный безмолвнаго наслажденія, боялся только одного, какъ-бы не оборвалось вдругъ это складное теченіе торжественной пѣсни.

Вдругъ сильный стукъ въ дверь раздался въ ухахъ поющихъ. Пѣсня вздрогнула и умолкла. Стукъ этотъ повторялся уже два раза, но они теперь только разслышали его.

Евгеній, дрожа отъ волненія, выбѣжалъ изъ комнаты. Сергѣй и Анна еще не успѣли отойти отъ инструмента, какъ пахнуло холодомъ и сыростью изъ отворенной настежь двери и черезъ порогъ переступилъ измокшій и иззябшій Бекирь.

— Хозяинъ! ходи скорѣй... человѣкъ кричитъ... человѣкъ утопаеть... сказалъ онъ сурово, не скидая шапки, и, не дожидаясь отвѣта, поспѣшно вышелъ изъ комнаты.

III.

У т о п л ю щ и е.

— Держись крѣпче, Евгеній, какъ разъ опрокинетъ! суровымъ и сосредоточеннымъ голосомъ говорилъ Сергѣй, осторожно спускаясь къ морю по мокрому скату берега и со всѣмъ напряженіемъ своей привычной руки упираясь кованымъ посохомъ въ скалистую почву.— Не отставай отъ меня! Я иду какъ-разъ по слѣду Бекира...

Бекирь молча шелъ впереди ихъ, пронзая тьму ночи своими рысьими глазами; къ поясу его былъ привязанъ пукъ веревокъ, съ крюкомъ на концѣ. Въ пещерѣ береговой скалы, выгладанной волнами, пряталась на замкѣ лодка Сергѣя. Вытащить эту лодку противъ волнъ, напиравшихъ на берегъ, стоило большихъ усилій. Весла ея были прикованы цѣпями.

— Прыгай скорѣй, Бекиръ, давай багоръ! крикнулъ Сергѣй, когда его вѣрная „душегубка“, столько разъ испытанная въ страшныя минуты, неистово заколотилась на волнахъ.

Бекиръ улучилъ минуту, когда спала волна, качнувшая лодку, и мѣткимъ прыжкомъ очутился посреди ея, едва устоявъ на ногахъ.

— Бери багоръ, бери багоръ! отчаянно кричалъ онъ Сергѣю, который никакъ не могъ поймать въ темнотѣ протянутаго багра, размахивавшагося во всѣ стороны, вмѣстѣ съ колыханьями лодки.

Холодный дождь хлесталъ имъ въ лицо, но они не замѣчали дождя, окатываемые всплесками набѣгавшихъ и разбивавшихся волнъ...

Сергѣй съ усиленіемъ подтянулъ лодку ближе къ берегу, все дальше и дальше перехватывая конецъ багра...

— Садись! крикнулъ онъ Евгенію тѣмъ рѣзкимъ голосомъ, котораго еще никогда не слышалъ Евгенийъ и который ему казался теперь не голосомъ брата, а строгимъ приказомъ командира.

Сергѣй прыгнулъ послѣдній.

Душа замерла у Евгенія, когда они очутились вдругъ среди хаоса бѣшеныхъ волнъ, въ темнотѣ, черной и тяжелой, какъ могила. Яликъ подбрасывало и кидало внизъ, какъ скорлупину орѣха.

Сергѣй не даромъ хвастался своей душегубкой. Ея необыкновенную легкость и устойчивость можно было оцѣнить только въ такую минуту, которую теперь переживалъ Евгенийъ.

Она вертѣлась, какъ волчекъ, на гребняхъ валовъ, выправшихъ одинъ за другимъ изъ глубины морской бездны, стрѣлою скользила вмѣстѣ съ ними въ разверзшіеся подъ ея носомъ зѣвы моря, стрѣлою взлетала на одурающую высоту, вмѣстѣ съ массами пѣны и брызговъ; она словно пристывала къ поверхности волны и покорно слѣдовала по самымъ прихотливымъ ея изломамъ, не перекачиваясь на бокъ, не захлебываясь носомъ. Правда, и надежная рука правила эту лодку.

Бекиръ былъ природный житель морского берега и зналъ морскую волну, морскія вѣтры такъ, какъ знаютъ ихъ только дельфины да чайки.

Онъ сидѣлъ теперь на заднихъ веслахъ, которыя замѣняли руль.

Евгеній съ багромъ въ рукахъ стоялъ на носу. Ему приказано было отталкивать лодку отъ камней и береговыхъ скалъ, на которыя ее постоянно надвигалъ напоръ цѣлаго моря.

Сергѣй работалъ, нагнувъ голову, напрягая всѣ силы, на передней парѣ весель, стараясь одолѣть волну.

— Это смерть, это смерть! шепталъ самъ себѣ Евгеній, ежеминутно ожидая, что первый ударъ лодки выкинетъ его черезъ бортъ. Онъ никогда еще не стоялъ на ногахъ во время такого ужаснаго волненія. Но ему было стыдно показать передъ Сергѣемъ и Бекиромъ свою боязнь, и онъ, полный безмолвнаго ужаса, продолжалъ стоять, опираясь обѣими руками на свой багоръ.

Гулъ и ревъ бури, удары волнъ, ожесточенное качанье лодки до такой степени оглушили и закружили его голову, что онъ дѣйствовалъ, какъ въ бреду, забывъ все существующее, все то, гдѣ онъ сейчасъ только жилъ и радовался; волны, выросавшія кругомъ его, казались ему теперь какими-то живыми чудовищами. Онъ лѣзутъ несмѣтными толпами другъ за другомъ, другъ черезъ друга, изъ невѣдомыхъ пучинъ океана; эти сѣдые, лохматые страшилища, съ ревомъ угрозы, со стонами бѣшенства, лѣзутъ всѣ на ихъ несчастную лодку, на него, Евгенія, перегоняя въ-запуски другъ друга, переростая другъ друга головами, потрясая сѣдыми кудрями, сверкая въ этой непроглядной темнотѣ своею холодной чешуею. Безъ очей и безъ образа, страшно взираютъ на него со всѣхъ сторонъ эти чудища ночи, съ злобынмъ хохотомъ подбрасывая на своихъ хребтахъ его лодку, кувыркаясь и ныряя, разсыпаясь въ прахъ чуть не до дна морского и разростаясь грозными исполинами чуть не до облаковъ. И онъ живыя—эти скалы, отъ которыхъ онъ долженъ спасать свою лодку, свою жизнь. Онѣ прилегли въ таинственной засадѣ, затаивъ дыханіе, поджидая свою неизбѣжную жертву. Онѣ, какъ застрѣльщики, обсыпали весь берегъ, и ему не миновать ихъ! Развѣ увидишь что-нибудь въ этой черной мглѣ, въ которой темнѣе, чѣмъ въ чернильницѣ? Лодка скользитъ надъ ними и между нихъ. Немного глубже, немного правѣе, и лодка разсѣлась на двое! Гдѣ-жь ему и его маленькому багру уберечь лодку отъ этихъ коварныхъ враговъ, къ которымъ неудержимо гонять ее всѣ стихіи ада, море и буря вмѣстѣ? Сергѣй борется, Бекиръ борется, но что они могутъ сдѣлать? Они сейчасъ упа-

дуть отъ утомленія, и ихъ все равно понесетъ по волнѣ, прямо на скалы. А куда ѣхать, долго-ли ѣхать? Колѣни Евгенія дрожали отъ усилій, которыя онъ дѣлалъ, чтобы держаться на ногахъ; руки его тоже дрожали. Сергѣй гробъ молча, весь нахмурившись.

— Это смерть! тоже стояло въ его душѣ, но онъ молчалъ взволнованный, но твердый, лицомъ къ лицу съ этою мыслию.

Онъ зналъ, какъ легко погибнуть на лодкѣ въ такую ночь. Бекиръ сказалъ ему, что противъ скалъ Камышь-буруна разбило турецкую кочерму, что оттуда слышался крикъ.

— Братъ! ихъ надо спасти! спасемъ ихъ! вскрикнулъ тогда Евгеній, еще незнавшій, куда онъ зоветъ Сергѣя, куда идетъ самъ.

— О, ихъ надо спасти! Спаси ихъ, Сергѣй! содрогнувшимся голосомъ поддержала брата Анна.

— Попробуемъ! отвѣчалъ имъ Сергѣй, одинъ хорошо понимавшій смыслъ своихъ словъ. — Только спасти врядъ-ли возможно!

Онъ не договорилъ того, что думалъ: „и вернуться врядъ-ли возможно!..“

Сергѣй не разъ испыталъ морскую бурю на своей лодкѣ, спасая утопавшихъ. Онъ былъ увѣренъ въ себя, въ своей лодкѣ, въ своемъ Бекирѣ. Онъ зналъ твердо, что нужно было дѣлать, когда приходилось спасать.

Но каждый разъ, возвращаясь съ своего подвига, онъ чувствовалъ, что самъ былъ такъ-же близокъ къ смерти, какъ и тотъ, кого спасалъ онъ. Что онъ возвращался домой къ своей Аннѣ съ горячимъ рассказомъ, иногда съ дорогимъ трофеемъ въ рукахъ, — то была одна случайность. Онъ хорошо понималъ это. Если-бы онъ не вернулся, — случайность была-бы еще естественнѣе. Рискъ въ этихъ обстоятельствахъ ему казался обязательнымъ, неотвратимымъ. Онъ не перенесъ-бы сознанія собственной трусости. Поэтому онъ шелъ впередъ всегда смѣло, какова-бы ни была опасность, если только отступленіе казалось ему позорнымъ. Но Сергѣй любилъ жизнь, Сергѣй страстно хотѣлъ жить; лучше жизни онъ не зналъ ничего. Оттого онъ шелъ на опасное дѣло безъ всякаго увлеченія, съ сухой суровостью, стойка, съ рѣшимостью неизбежности.

— Смерть не шутка! говорилъ онъ самъ себѣ. — И я не слѣпой, чтобы ея не видѣть!..

Никогда, однако, не говорилъ Сергѣй Аннѣ того, что чувствовалъ онъ въ подобныя минуты; никогда не объяснялъ ей того, насколько онъ бывалъ близокъ къ гибели, спасая отъ гибели другихъ. Онъ зналъ, что рискуеть собою не послѣдній разъ, что никогда не остановится передъ рискомъ и не хотѣлъ поэтому переносить страданье за себя въ сердце Анны.

— Если ей суждено потерять меня, то довольно съ нея этого горя, разсуждалъ онъ самъ съ собою. — Зачѣмъ ей умирать десять разъ, да еще понапрасну!

Скалы Камышь-буруна стали неясно чернѣть направо, на фонѣ разодранныхъ тучъ, которыя проносились, какъ вѣдьмы въ шабашѣ, съ моря къ Яйлѣ. Глазъ, привыкшій къ темнотѣ, могъ теперь, хотя съ трудомъ, различить ихъ. Бекиръ направлялъ лодку такъ ловко, что она постоянно встрѣчала носомъ удары шторма и потихоньку подавалась впередъ, вдоль линіи берега, не приближаясь къ его скаламъ. Мокрые съ ногъ до головы отъ плеска волнъ и вмѣстѣ съ тѣмъ разгоряченные до пота усиленной работой, въ гробовомъ молчаніи налегали оба гребца на свои легкія и ловкія весла. Заунывный крикъ тупого, безсильнаго отчаянія давно уже прорѣзалъ черную влокающую тьму, напрасно заглушаемый бурей. Погибающій человѣкъ звалъ на помощь брата-человѣка.

Въ сердцѣ Евгенія этотъ крикъ стоялъ, какъ остріе кинжала. Съ трепетомъ ужаса прислушивался онъ къ нему. Онъ теперь безъ слѣда забылъ тотъ сильный порывъ беззавѣтной смѣлости, съ которымъ такъ недавно вышелъ изъ дома спасать утопающихъ. Теперь они не казались ему больше утопающими, нуждающимися въ помощи. Теперь Евгеній не представлялъ больше и самого себя удачнымъ молодцомъ, который долженъ, не раздумывая, съ веселымъ сердцемъ, бросаться на защиту другого. Нѣтъ, теперь онъ самъ погибаетъ, самъ нуждается въ помощи; это онъ слышитъ не послѣдніе крики несчастныхъ, борющихся со смертію, а слышитъ голосъ самой смерти. Это она ждетъ его тамъ, въ хаосѣ скалъ Камышь-буруна, и встрѣчаетъ его приближеніе голодными завываніями волчицы.

И тѣ, которые сидятъ сзади, то не Сергѣй и не Бекиръ.

Это гребцы смерти; они везутъ его въ могильномъ безмолвіи, какъ Харонъ Аида, туда, въ ту страшную тьму, откуда несутся томящія вопли смерти.

— Братъ, куда-же мы? наконецъ не вытерпѣлъ Евгений, чувствуя, что черныя скалы вырастаютъ все выше надъ его головою и что все слышнѣе становится бѣшеная пляска волнъ, въ нихъ застрявшихъ.

— Гляди, не зѣвай! сурово крикнулъ Сергѣй.— Готовъ багоръ, какъ-разъ стукнемся.

Лодка стала идти тише.

Евгений, забывъ свой страхъ, съ болѣзненнымъ напряженіемъ всматривался въ темноту, перевѣсившись черезъ бортъ, и судорожно сжавши обѣими руками длинный багоръ. Голосъ Сергѣя разсвѣлялъ міръ фантастическихъ грезъ, который нагоняла на него тьма этой страшной ночи, и разомъ возвратилъ его къ дѣйствительности.

Брикъ погибавшаго слышался всего въ нѣсколькихъ шагахъ. Казалось, онъ изнемогалъ отъ усталости и отчаянія. Онъ то внезапно умолкалъ, словно обрывался въ пучину моря, то такъ-же неожиданно вдругъ пронзалъ шумъ бури, хрипло взвизгивая, точно умирающій. Человѣческое уже перестало слышаться въ этомъ воплѣ. Слышался только стонъ животнаго, которое цѣплялось послѣдними усиліями за обрывающуюся нить жизни.

Однако, Евгений напрасно всматривался въ темноту, отыскивая въ ней образъ человѣка; только черныя глыбы утесовъ неясно мерещились справа, и тѣ скорѣе чувствовались ухомъ, по ударамъ волнъ, въ нихъ бывшихъ, чѣмъ видѣлись глазомъ. Нигдѣ положеніе лодки не было такъ опасно, какъ здѣсь. Она попала въ водоворотъ, въ которомъ кружились волны, давившія другъ друга между скалъ, напиравшія отъ моря, вырывавшіяся изъ тѣснины. Усилія Бекира долго не приводили ни къ чему; лодку вращало такъ, что Евгений долженъ былъ стать въ ней на колѣни; иначе его-бы сбросило черезъ бортъ.

Бекиръ, однако, повидимому, ранѣе Евгения замѣтилъ тотъ предметъ, который они отыскивали. Онъ два раза крикнулъ ему ухватиться багромъ за кочерму, и Евгений два раза на-удачу взмахивалъ багромъ то вправо, то влѣво, отыскивая ее, какъ слѣпой свою дорогу. Но багоръ каждый разъ билъ по волнѣ и каж-

днѣй разъ едва не опрокидывалъ Евгенія. Какъ нарочно, крики и стонъ погибавшихъ прекратились совершенно въ эти минуты.

Прекратились они не случайно.

Тупой носъ огромной турецкой кочермы торчалъ, какъ утесъ, крѣпко насаженный на острые зубцы подводныхъ скалъ, на которые нанесли его волны и которые теперь вонзились въ него, какъ зубы звѣря. Кочерма разсѣлась на двое отъ этого удара, и ея отломившійся задъ давно былъ разнесенъ по косточкамъ бѣшено крутившимися волнами, вмѣстѣ съ мачтою, вмѣстѣ съ людьми. Но люди не хотѣли погибать, люди боролись. На вершинѣ разрушенной кочермы, дрожавшей, какъ листъ осины, при каждомъ новомъ порывѣ бури, висѣлъ, привязанный кушакомъ къ желѣзному кольцу, застывающій и замирающій человѣкъ. Волны то и дѣло окачивали его пѣной и брызгами; а отъ порывовъ вѣтра, отъ дрожанія кочермы, потрясаемой волнами, онъ качался на своей привязи, какъ повѣшенный въ петлѣ висѣлицы. Онъ еще былъ живъ и еще могъ тихо стонать. Но члены его онѣмѣли, и онъ былъ не въ силахъ держаться долѣе на макушкѣ поса, гдѣ онъ сидѣлъ до сихъ поръ, судорожно охвативъ руками переднее бревно...

Онъ свалился съ него, словно заснувшій, хотя ясно понималъ, что онъ дѣлаетъ: еслибы не кушакъ, на которомъ онъ повисъ, онъ - бы съ тѣмъ-же безсиліемъ, безъ всякой попытки сопротивленія, свалился въ пучину моря. Его уже не страшила смерть; онъ слишкомъ долго глядѣлъ ей въ глаза. Его утомили страданія борьбы, и ему теперь больше всего хотѣлось покоя, хотя-бы и на-вѣкъ.

На носу, однако, оставался еще человѣкъ. Онъ тоже былъ привязанъ къ желѣзному кольцу, но еще не потерялъ силъ и старался держаться на острой вершинѣ кочермы. Онъ надѣялся, что его въ такомъ положеніи скоро замѣтятъ съ берега. Пронзительнымъ, протяжнымъ голосомъ звалъ онъ къ себѣ на помощь. Уже четыре часа никто не отзывался на этотъ зовъ, и съ безнадежнымъ ужасомъ оглядывался погибающій человѣкъ на черную ночь и на черное море, все замедляя, все понижая свои крики о помощи. Только ревъ волнъ и раскаты бури отвѣчали на мольбу человѣка, словно вой голодныхъ звѣрей, окружившихъ свою жертву. Это надвигалась смерть, это она отвѣчала на послѣдніе вопли жизни...

Погибающій замѣтилъ лодку гораздо раньше, чѣмъ лодка за-

иѣтила его. Его глаза съ болѣзненной остротой пронизали мракъ ночи и возбужденное ухо различило въ этомъ шумномъ хаосѣ такіе звуки, которые были неслышны никому, кромѣ его. Сначала онъ думалъ, что лодка пройдетъ мимо, потому что Бекиръ держалъ на встрѣчу волиѣ и забиралъ сильно влѣво, въ открытое море. Онъ усилилъ крики, боясь, что буря заглушаетъ ихъ, что съ лодки не слышать его.

Но когда эта таинственная лодка, въ глубокомъ молчаніи борющаяся съ волнами, очутилась, наконецъ, какъ-разъ на линіи скалъ Камышь-буруна и разомъ повернула къ нимъ по теченію волны, голосъ погибающаго вдругъ оборвался, и онъ съ полукрытымъ ртомъ, съ широко открытыми глазами, неподвижно, будто пораженный столбнякомъ, всѣмъ существомъ своимъ впился въ темныя очертанія подвигавшейся лодки. Онъ ждалъ такъ долго и такъ мучительно своего спасенія, что теперь, когда оно приближалось къ нему, онъ боялся вѣрить въ него.

Среди демонскихъ сатурналій моря и бури, которыя одурали его голову, горячешное воображеніе несчастнаго, давно уже безнадежно висѣвшаго надъ своей могилой, перепутывало возможное съ невозможнымъ и призраки внутреннихъ грезъ съ дѣйствительностію. Тяжелый всплескъ веселѣ и могучія колыханія волны, приносившей къ нему эту чудную лодку, отдавались жгучею болью въ его изстрадавшемся сердцѣ...

— Вотъ, вотъ она нырнетъ и не появится больше! думалъ онъ съ замираніемъ смертельнаго страха.— И лодка-ли это еще?.. И есть-ли еще люди въ ней?.. Не простой-ли это обломокъ, которыми играютъ волны?.. Не предсмертный-ли это призракъ моего больного воображенія?..

Онъ вспоминалъ пустыни, гдѣ умирающій отъ жажды видитъ на горизонтѣ зеленыя рощи пальмъ и журчащія ручьи.

— Но вѣдь тамъ одинъ песокъ, а вокругъ меня одно море! съ отчаяніемъ билось у него въ головѣ.— Вотъ, вотъ разлетится все въ брызги, и я опять одинъ!..

Онъ окончательно остолбенѣлъ, когда лодку втолкнуло въ тѣснину скалъ, и фигуры трехъ человѣкъ ясно обрисовались его воспаленнымъ глазамъ. Евгенийъ уже хорошо могъ различить и его, и качавшагося, какъ висѣльникъ, его товарища и, занеся багоръ, съ недоумѣніемъ обернулся къ Сергѣю, ожидая его приказаній.

Погибающій не издавалъ ни малѣйшаго звука. Онъ смотрѣлъ на лодку безумно-недовѣрчивыми глазами и съ покорностію умирающаго ждалъ, что сдѣлаютъ съ нимъ эти чудные незнакомцы.

— Живъ ты тамъ, что-ли? Подай голосъ, коли человѣкъ, а не шайтанъ, сердито крикнулъ по-татарски Бекирь, сразу сообразивъ своимъ мѣткимъ взглядомъ, что на вершинѣ разбитой кочермы сидѣлъ живой человѣкъ...

— Ради Аллаха! я еще живъ! простоналъ по-татарски погибающій, не пытаясь сдѣлать ни малѣйшаго движенія.

Услышавъ человѣческій голосъ, онъ увѣровалъ, наконецъ, въ свое спасеніе; онъ понялъ, что борьба за жизнь кончена. Но вѣсть съ этимъ всѣ его силы, до сихъ поръ лихорадочно-напряженныя, разомъ упали... Ни звука, ни движенія не сдѣлалъ онъ больше; онъ готовъ былъ, закрывъ глаза, тихо скатиться внизъ, куда—все равно. Ему грезилось, что онъ скатится на добрыя руки, принесшія ему спасеніе. Можетъ быть, это не люди, а ангелы, посланные Аллахомъ.

— Захватывай крѣпче багромъ, притягивайся, держись!.. Не оторвало-бы волною!.. кричалъ Евгенію Сергѣй, съ трудомъ переходя на мѣсто Бекира по неистово качавшейся лодкѣ.

Бекирь швырнулъ вверхъ, къ лежавшему человѣку, связку веревокъ, которой конецъ оставался въ его рукѣ...

— Держи! крикнулъ онъ ему по-татарски.

Но человѣкъ лежалъ, не шевелясь, не дѣлая попытки ухватиться за веревку, попавшую ему прямо въ колѣни, и веревка съ шумомъ соскользнула внизъ по крутому боку кочермы...

— Держи, говорятъ! сердито повторилъ Бекирь. — Заснулъ ты тамъ, что-ли? Прихвати за поясъ того, что мотается, да спусти его къ намъ... Эй, слышишь!.. прочисти свои уши...

Веревка еще разъ взмахнула въ воздухъ и ударилась на спину лежавшему. Но онъ не отвѣчалъ и не шевелился, по-прежнему... И веревка, по-прежнему, скатилась къ ногамъ Бекира. Съ безмолвнымъ удивленіемъ постоялъ нѣсколько минутъ Бекирь, стараясь пристальнѣе всматриваться въ человѣка, лежавшаго наверху.

Сергѣй и Евгеній тоже въ недоумѣніи, тоже молча смотрѣли туда. Вдругъ Бекирь разомъ пригнулся и полѣзъ на четверенькахъ, какъ кошка, по досчатой обшивкѣ кочермы...

Глаза Сергѣя и Евгенія, не отрываясь, слѣдили за нимъ. Въ темнотѣ не было видно, надъ чѣмъ онъ возился вверху.

— Живъ ты, что-ли? спрашивалъ его сердитый татарскій голосъ, въ то время, какъ рука его торопливо работала.

— Спаси тебя, Аллахъ! еще дышу, чуть слышно простоналъ утопавшій.

Возня Бекира продолжалась еще нѣсколько минутъ, но уже онъ больше ничего не говорилъ; за то незнакомецъ вскричалъ и стоналъ.

— Держи, ага! раздался вдругъ голосъ Бекира.

Перевязанный поперекъ человекъ грузнаго вида, сталъ скатываться на веревкѣ по обшивкѣ кочермы...

Евгению нельзя было выпустить багра, потому-что и безъ того лодку ежеминутно отрывало отъ скалы и подбрасывало во всѣ стороны. Сергѣй съ большимъ усиленіемъ могъ удержать падавшего человѣка и спустить его въ лодку, вѣсто моря. Онъ самъ шатался на ногахъ и ежеминутно подвергалъ себя опасности упасть черезъ бортъ, перегибаясь въ неловкомъ положеніи къ кочермѣ и подавляемый тяжестью спускавшагося человѣка.

Долго возился Бекиръ надъ другимъ человѣкомъ, что висѣлъ продѣтый въ кольцо кочермы, будто рыба, пойманная на удочку; онъ, повидимому, потерялъ всякое сознаніе и не издавалъ даже стопа. Труднѣе всего было Бекиру притянуть его къ себѣ и втащить на крутые бока кочермы. Самъ онъ не давалъ ни малѣйшей помощи. Бекиръ обращался съ нимъ, какъ съ трупомъ...

Въ то самое время, какъ Бекиру удалось, наконецъ, перекинуть его на доски, лодку вдругъ качнуло со страшною силою и тотчасъ-же рвануло назадъ. Она взвилась, какъ щепка, на хребтѣ огромной волны, отпрянувшей отъ утеса, и въ одно мгновеніе была за десятки сажень отъ обломковъ кочермы, на которыхъ работалъ Бекиръ. Бекиръ увидѣлъ, что лодку угнало въ море, но онъ не крикнулъ, не сказалъ ничего. Онъ только пристылъ глазами къ темнотѣ, поглотившей лодку, и сидѣлъ въ неподвижномъ ожиданіи, нахмурившись и стиснувъ зубы, какъ волкъ, попавшійся въ неожиданную западню.

У Евгенія похолодѣло на сердцѣ, когда онъ увидѣлъ себя опять въ черномъ хаосѣ моря. Мысль о гибели Бекира, о своей собственной гибели безъ помощи Бекира сжала его сердце.

Сергѣй отчаянно работаль веслами; онъ крикнулъ Евгенію, чтобы садился на переднюю пару, и дѣлаль неестественныя усилія, чтобы не дать лодкѣ далеко отбиться отъ скалы.

Но сдѣлать это было не легко.

Хотя волна и несла лодку опять на скалы, но изъ тѣснинъ этихъ скалъ вырывались и отпрыгивали на встрѣчу моря другія, еще болѣе стремительныя волны. Сергѣй сообразилъ, что невозможно будетъ подѣхать къ вочермѣ прямо противъ водоворота, который такъ упорно отбрасываль ихъ назадъ, крутилъ и перекидываль. Въ головѣ его, возбужденной опасностію, вдругъ необыкновенно отчетливо вспомнились всѣ подробности находившагося предъ нимъ скалистаго архипелага, которыхъ онъ никогда бы не вспомнилъ въ обыкновенномъ настроеніи духа. Съ рѣшимостью отчаянія, онъ повернулъ лодку правѣе и сталъ грести къ другимъ скаламъ, проливы которыхъ открывались не прямо противъ теченія и которыя поэтому не давали волнѣ моря, гнавшей къ берегу, такого свирѣпаго отпора. Измученный, онъ все-таки догребся до этихъ широкихъ утесистыхъ стѣнъ. Онѣ высылали массы клокотавшихъ въ нихъ водъ, невредимо для него, въ устья своихъ тѣснинъ, глядѣвшія прямо на востокъ. Подъ защитою этихъ стѣнъ, упирался багромъ, работая веслами, провожалъ Сергѣй свою лодку отъ одного утеса къ другому, пока, наконецъ, не очутился опять у скалы, охваченной водоворотомъ, на которой теперь сидѣлъ Бекирь въ безмолвномъ ожиданіи гибели. Бекирь не видѣлъ маневра Сергѣя и, потерявъ изъ виду лодку, больше ужъ не надѣялся увидѣть ее. А между тѣмъ обломокъ кочермы, на вершинѣ котораго сидѣлъ онъ, оглушаемый и срываемый бурей, ежеминутно готовился рухнуть. Волны били въ него тяжкими и частыми ударами, будто ударами тарана, и доски стараго судна, треща и распалзываясь во швахъ, подавались все больше и больше. Уже волной отломило передній край обломка, и вся кочерма неожиданно осѣла на остріе скалы, передвинувшись на сторону. Бекирь едва усидѣлъ при этомъ рѣзкомъ потрясеніи его деревяннаго утеса. Онъ зналъ, что волна не остановится на этомъ, что не пройдетъ часа, какъ остатокъ кочермы свалится съ шумомъ въ бушующую пучину и разнесется по кочечкамъ. Вдругъ что-то стукнуло въ нижнюю часть кочермы, съ той стороны, на которую онъ меньше всего обращаль внима-

нiя, и запыхавшiйся голосъ Сергѣя закричалъ ему съвозъ шумъ бури:

— Слѣзай скорѣе, Бекирь! держаться нельзя!

Лодка была плотно придвинута къ кочермѣ, и оба они, Сергѣй и Евгений, держались за багоръ. Съ глухимъ шумомъ покатылся внизъ по доскамъ безчувственный трупъ, который былъ на рукахъ Бекира. Онъ попалъ какъ разъ въ лодку, которую въ эту минуту волна прижала къ скалѣ. Сергѣй едва успѣлъ перехватить его руками и отбросить на средину лодки, какъ опять что-то загремѣло по доскамъ кочермы. Бекиру было слишкомъ страшно умирать одному на глухой скалѣ моря. Увидавъ лодку, онъ забылъ все и, не раздумывая, что будетъ, сбросилъ внизъ трупъ и самъ бросился за трупомъ. Но ему не везло. Волна откачнула лодку, какъ разъ въ ту минуту, какъ онъ летѣлъ въ нее. Багоръ вырвало изъ рукъ Евгенiя, и лодку опять отбросило на нѣсколько сажень отъ скалы. Съ тяжелымъ плескомъ ударился Бекирь въ водную пучину. Евгений лежалъ, опрокинувшись затылкомъ на противоположный бортъ ялика. Одинъ Сергѣй былъ на ногахъ. Съ находчивостью, которая его не покидала въ опасности, онъ швырнулъ конецъ веревки, привязанной къ его поясу, къ тому мѣсту, гдѣ исчезъ Бекирь, и бросился къ весламъ. Въ бѣшеное хаосѣ волнъ нельзя было разглядѣть, выплылъ-ли Бекирь. Но по напряженiю веревки Сергѣй скоро замѣтилъ, что Бекирь за нее ухватился... Онъ плавалъ отлично и не хотѣлъ погибать безъ борьбы.

— Перехвати мою веревку, Евгений, тани къ себѣ, кричалъ Сергѣй, не покидая веселъ.

Евгений уже былъ на ногахъ и, догадавшись, въ чемъ дѣло, своими молодыми и сильными руками сталъ тянуть противъ волны веревку, на которой держался Бекирь. Онъ перехватывалъ ее все дальше и дальше, отбрасывая за себя свободные концы... Лодка страшно колыхалась подъ напоромъ противныхъ силъ; волны били ее и съ моря, и отъ берега; веревка перевѣшивала ее на одну сторону; лодка то и дѣло черпала воды. Вдругъ блѣдное человѣческое лицо неожиданно появилось подъ самымъ бортомъ лодки, вырвzаясь, какъ привидѣнiе, среди черноты моря и ночи.

Это подплылъ Бекирь...

БЕРЕГЪ МОРЯ.

Фатъма еще
Бекирь, сл
ню, въ пять
Объ коровы I
съ недѣлю, ка
съ кувшиномъ
Прислужни
вость, принесе
вала на своих
тяжкой болѣзи
Хадиджей, во
нами, отправи

32

речь чудовищъ“. Но Фатъма только
слова. Ея привычки веселой бол-
но свовались какою-то неви-
Она все глядѣла на
его свой очарован-
всѣ шире и
раздувались, что-
была обик-
очень
ередь
Фатъ-

Онъ побросалъ... не на-
бирая воды, и побѣжали тѣмъ-же слѣдомъ въ Адамъ-Чокракъ.
Благоразумная и робкая Хадидже напрасно пробовала отговорить
Фатъму. Порывы Фатъмы были всегда такъ стремительны и все-
сильны, что никто не могъ остановить ее.

Она словно захлебывалась отъ удовольствія, такъ смѣло нару-
шая обычай своего общества, создавая себѣ, невѣдомо для матери
и отца, къ ужасу ворчливой Уркушъ, таинственную жизнь по
своей собственной прихоти. Ей уже нѣсколько разъ удавалось
обманывать бдительность своихъ домашнихъ и безъ всякой опа-
сности пробираться къ Головиннымъ. Восторженное отношеніе къ
ней Евгенія забавляло ее, какъ ребенка, и хотя она смотрѣла
шутя на его любовь, однако, чувствовала большое наслажденіе
видѣть молоденькаго уруса и выслушивать его страстныя напеш-
тыванія, похожія на звуки пѣсни. Она только-что была нѣсколь-
ко дней назадъ и опять вдругъ явится, какъ снѣгъ на го-
лову.

— Какъ удивится, какъ обрадуется молодой урусъ!

Онъ навѣрное скучаетъ безъ нея и думаетъ о ней.

Дѣйствительно, неожиданное появленіе Фатъмы въ домъ Голо-
винныхъ удивило рѣшительно всѣхъ. Хадиджа не пошла въ дому,
а забила въ кусты лѣса и оставалась тамъ поджидать возвра-

щенія своей госпожи. Фатъма нашла всю маленькую семью около дивана, на которомъ лежалъ вчерашній утопленникъ.

— Сабанъ хайрестъ! сказала она, ласково улыбаясь и быстро подходя къ Аннѣ съ своимъ искреннимъ дѣтскимъ поцѣлуемъ.— Фатъма пришелъ смотрѣть, кто утопъ... О, боюсь денгизъ... Денгизъ—пропалъ человѣкъ... татаринъ пропалъ, урусъ пропалъ... все равно...

Она съ ребяческимъ любопытствомъ протиснулась къ дивану, чтобы разсмотрѣть больного.

Евгеній жарко и долго жалъ ея маленькую ручку и смотрѣлъ ей въ глаза съ невыразимой теплотой. Онъ былъ увѣренъ, что Фатъма пришла для него, что сама судьба ведетъ его къ раскрытію ея тайны. Ни слова не говоря, не желая высказать даже передъ сестрою волновавшихъ его чувствъ, онъ безпокойно обдумывалъ теперь, какъ поступить ему, какъ узнать отъ Фатъмы роковую истину, не измѣняя общанія, которое взялъ съ него игумень.

А Фатъма между тѣмъ тоже молча смотрѣла на диванъ. Молодой, высокій, статный красавецъ лежалъ, раскинувшись, передъ нею. Онъ былъ въ одеждѣ малоазіятскаго турка, живописной и мужественной. Вчера ночью его обсушили на коврѣ передъ каминомъ и, какъ онъ былъ, не раздѣвая, перенесли на диванъ.

Тюрбанъ его снесло бурей въ море, но ему съ бритою головою, стыдно было теперь передъ чужими людьми, и онъ намоталъ себѣ на голову, съ привычною граціею азіатца, бѣлую простыню Анны. Въ этой бѣлой чалмѣ, блѣдный самъ, какъ полотно, съ едва загорающимъ лихорадочнымъ румянцемъ подъ широко-раскрытыми, лихорадкой горѣвшими, глазами, черными и глубокими, какъ море въ безлунную ночь, молодой красавецъ неотразимо приковалъ къ себѣ взглядъ Фатъмы. Что-то твердое, рѣшительное и безстрашное глядѣло во всей его фигурѣ.

Рѣзкая правильность его тонкаго и смѣлаго профила такъ картинно ладила съ воинственнымъ очертаніемъ его еще молодыхъ черныхъ усовъ и съ благородными линиями его сильнаго, плечистаго стана, свободно разметавагося на постели. Только въ своихъ дѣвическихъ снахъ да въ звукахъ своихъ любимыхъ пѣсенъ видѣла Фатъма такого удалаго красавца.

„Ахъ, какъ хорошо, что добрый урусъ-ага вырвалъ этого жи-

заго юношу изъ пасти морскихъ чудовищъ“. Но Фатъма только думала это и не смѣла сказать слова. Ея привычки веселой болтовни и щедрой ласки вдругъ словно сковались какою-то невидимою и непобѣдимую внутреннею силой. Она все глядѣла на распростертаго юношу, боясь оторвать отъ него свой очарованный взглядъ, и ея большіе черные глаза дѣлались все шире и чернѣе, а розовыя выточенные ноздри легонько раздувались, чтобы дать выходъ глубоко дышавшей груди.

Положеніе молодого турка было не опасно; у него была обыкновенная лихорадка, съ которой Анна надѣялась справиться очень скоро. Онъ свободно говорилъ и двигался только полчаса передъ этимъ, а теперь лежалъ въ полузабытѣ, потому-что послѣ озноба его охватилъ жаръ. Толстый турокъ, съ опрятною сѣдою бородою, подстриженною тщательнымъ полукругомъ, съ добрыми и умными глазами, сидѣлъ на томъ диванѣ, гдѣ лежалъ больной, и, ни на кого не глядя, только вздыхая по временамъ, молча курилъ самую длинную трубку, какая нашлась у Сергѣя. Одежда его была, по возможности, приведена въ порядокъ, но все-таки носила на себѣ замѣтные слѣды страшной ночной борьбы, которую онъ вчера вынесъ. Сергѣй и Анна съ утра заняты были спасенными турками, оставя пока всѣ свои работы.

— Ну, слава Богу! сказала Анна послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, въ продолженіи которыхъ она считала пульсъ больного. — Все пойдетъ хорошо, отлежится дня три и встанетъ... Нужно дать ему еще глотокъ вина... Ты позволишь дать ему вина, Смаиль-бей? спросила она по-татарски старика.

— Пророкъ запрещаетъ вино, какъ веселіе, а не какъ лекарьство, улыбнувшись доброй улыбкой, отвѣчалъ старикъ, не отрывая глазъ отъ кончика своей трубки. — Что воспрещается глупому, то не должно стѣснять мудраго...

— Это твой сынъ, ага? несмѣлымъ голосомъ вдругъ спросила Фатъма.

При звукѣ настоящей татарской рѣчи старикъ вдругъ вскинулъ глаза на говорившую, поморщился немного и сказалъ, слово нехотя:

— Это сынъ мой Ахметъ.

Онъ пристально сталъ всматриваться въ Фатъму, и мало-помалу его морщины разошлись.

— Ты татарка... я вижу это, сказалъ онъ ей, — но ты не живешь здѣсь. Какъ ты ходишь одна и безъ дѣвичьяго покрывала? Развѣ у васъ въ Крыму мусульманки не соблюдаютъ закона?..

— Русскіе не закрываютъ своихъ женщинъ, и когда я прихожу въ русскіи, я дѣлаю, какъ они, спокойно сказала Фатьма.—Хоть я не знаю закона, но хорошо знаю, что подъ самымъ длиннымъ покрываломъ можно думать дурное и дѣлать дурное... А на моемъ сердцѣ нѣтъ ничего, какъ и на моемъ лицѣ...

Старикъ улыбнулся съ нѣжною ласкою и, взявъ Фатьму за руку, положилъ ей на плечо свою старую морщинистую руку.

— Дѣвушка твоихъ лѣтъ думаетъ вздоръ и говоритъ вздоръ, сказалъ онъ одобрительно.—Но тебѣ далъ Аллахъ разумное сердце и искусный языкъ... Ты права, дочь пророка, Аллахъ требуетъ отъ человѣка чистаго сердца, и Ему все равно, въ какія одежды одѣвается человѣкъ и какія молитвы читаетъ онъ... Скажи мнѣ, какъ зовутъ тебя и кто твой отецъ?..

— Меня зовутъ Фатьма, а отецъ мой знатный и всѣмъ извѣстный человѣкъ; имя его Абдувели-мурза-Уланъ-бей-мангушскій, отвѣтила Фатьма, прямо глядя въ серьезные глаза старика своими широко-раскрытыми глазами.

— Не гордись знатностію и богатствомъ рода, ибо все это проходить, какъ облако пыли, замѣтилъ поучительнымъ и грустнымъ тономъ Смаиль-бей. — Вчера у меня было два корабля, полныхъ дорогого товару, а сегодня ты видишь меня просающимъ пріюта у чужестранцевъ, какъ послѣдняго нищаго.

— Какъ! ты потерялъ все свое богатство, бѣдный ага! съ сердечнымъ участіемъ вскрикнула Фатьма, почувствовавшая необыкновенную симпатію къ ласковому и разумному старику, который поучалъ ее, какъ отецъ.

— Да будетъ воля Аллаха!.. Я покоряюсь Ему безъ ропота, сказалъ старикъ.—Аллахъ далъ, Аллахъ взял... У человѣка можно отнять его золото, но добраго сердца никто у него не отниметъ... Въ немъ сила человѣка... Ты, молодая дѣвица, возблагодари Аллаха не за то, что отецъ твой знатный бей, а за то, что онъ наградилъ его дочь красотою архангела Джебраила и разумомъ яснымъ, какъ солнечный день... Иди теперь съ миромъ; большое тѣло нуждается въ покоѣ и молчаніи...

Головины слушали съ безмолвнымъ наслажденіемъ простую и честную философію патриархальнаго старика. Ее слушалъ съ своего горячаго одра и молодой Ахметъ. Но, слушая, онъ впивался лихорадочными глазами въ чудное видѣніе, которое стояло передъ нимъ.

— Да, отецъ правъ, это архангелъ Джебраилъ... Это Божіе солнце, которымъ любитъ все живущее, шепталъ онъ безъ словъ внутри своего сердца, и безъ того полнаго пламени.

Фатьма чувствовала на себѣ этотъ неподвижно-прикованный взглядъ больного. Ей казалось, что онъ прожигаетъ ее насквозь своимъ сладостнымъ, замирающимъ огнемъ... Она чувствовала, что его глазъ тонетъ въ ея глазахъ, что его сердце бьется вмѣстѣ съ ея сердцемъ. Она отдала себя ему съ первой минуты, съ перваго взгляда, точно иначе и быть не могло, точно она ждала его уже давно и для него сберегала такъ долго въ веселыхъ шуткахъ, въ пустой болтовнѣ свое серьезное и глубокое сердце. А Ахметъ говорилъ самъ себѣ, не то думая, не то бредя:

— Это она... я узнаю ее. Это та, что являлась ко мнѣ такъ часто во снѣ, трепетная, какъ газель пустыни, прекрасная, какъ магометова Гурія, которой поцѣлуй слаще пчелинаго меду, которой глаза глубже моря.

Грустный и убитый проводилъ Евгенийъ свою Фатьму. Онъ просто не узнавалъ ее. Черты были ея, но дума другая. Она не болтала, не смѣялась, не дразнила его обычными шутками. Словно какое-то таинственное облако надвинулось на нее и скрыло ее отъ взоровъ Евгенія. Она была съ нимъ, но ея словно не было. Все было неузнаваемо, загадочно, все было не такъ, какъ всегда.

Евгеній, прощаясь, съ изумленіемъ поглядѣлъ ей въ глаза. Въ нихъ свѣтился какой-то, незнакомый Евгению, сосредоточенный и рѣшительный огонь.

— Фатьма, что съ тобою? растроганно приставалъ онъ къ ней. — Тебя узнать нельзя.. Ты больна?.. Или ты встревожена чѣмъ?.. Вѣрно завтра выдадутъ тебя замужъ за этого толстаго урода, за Темиръ-кая?

— Я не пойду замужъ за Темиръ-каю, рѣзко отвѣтила Фатьма, и глаза ея загорѣлись еще ярче.

Она не смотрѣла на Евгенія, а глядѣла въ сторону.

— Какъ! такъ ты, наконецъ, рѣшилась, ты не пойдешь? радостно вскрикнулъ Евгеній, бросаясь обнять ее. — Милая Фатьма, и это правда?

— Не надо... не трогай! строго сказала она и вдругъ поглядѣла на него съ уничтожающею враждебностію. — Темиръ-кая мнѣ не надо и урусъ мнѣ не надо, совсѣмъ не надо.

Она довольно грубо вырвала свои руки изъ рукъ Евгенія и быстро пошла домой.

— Прощай! прибавила она черезъ минуту, словно раздумавъ, но не оглядываясь.

— Ты придешь по крайней мѣрѣ завтра, Фатьма? почти со слезами спросилъ Евгеній. — Не убивай меня... скажи хоть слово, объясни, за что, за что все это?

— Завтра приду, и еще приду... и еще приду, съ какою-то загадочною рѣшимостью отвѣтила Фатьма, не останавливая шага.

Мучительная боль сосала сердце Евгенія, когда она скрылась изъ его глазъ, не обрадовавъ его ни одной веселой шуткой, ни однимъ ласкательнымъ словомъ. Онъ ничего не понималъ, но онъ ясно чувствовалъ одно, что онъ съ этой минуты чужой Фатьмѣ, что она не любитъ его, что она не будетъ принадлежать ему.

Первый разъ въ жизни Евгенію сдѣлалось тяжело и гадко смотрѣть на свѣтъ божій. Онъ долго не вѣрилъ несчастіямъ, долго и твердо былъ увѣренъ, что всякое несчастіе есть недоразумѣніе, недодуманность, неумѣнье людей прямо глядѣть на вещи, и теперь, очутившись самъ такъ неожиданно и глубоко несчастнымъ, впалъ въ малодушное отчаяніе.

Онъ просилъ, какъ милостини, ея любви, и она оттолкнула его, какъ нищаго. Она любитъ, если не Темиръ-кая, то его брата, софту. Евгеній помнить, съ какимъ нѣжнымъ вздохомъ говорила она о немъ сестрѣ.

— Зачѣмъ я пріѣхалъ сюда? стонало внутри сердца Евгенія. — Пока не расслабилъ меня, не убилъ моего мужественнаго духа этотъ проклятый Крымъ, съ своею нѣгою, съ своими соблазнами, я былъ, дѣйствительно, счастливъ, независимъ, твердъ... Теперь что я такое? — тряпка, которая плачетъ и ноетъ... И о чемъ плачу? — о томъ, что меня обидѣли, что мою любовь отшвырнули прочь, какъ скверную, никому не нужную вещь. Переси-

лить этого нельзя. Нужно покончить съ собою, рѣшился Евгеній и съ подавленнымъ видомъ, мрачный, отчаянный, побрелъ къ берегу моря.

Ему пришла мысль съѣсть въ яликѣ Сергѣя и безъ весла отдаться морю. Море еще ревѣло и колыхалось, не успокоившись отъ вчерашней бури. Тяжкіе всплески его глухо ударялись о скалы. Евгеній окинулъ взглядомъ безпредѣльную даль, и сердце его застыло отъ ужаса. Всѣ впечатлѣнія вчерашней гибели среди рокочущей черной пучины прихлынули разомъ къ нему и подавили на мгновенье даже его отчаянье. Какъ ни велико было оно, все-таки въ этомъ отчаяніи еще говорила жизнь. Самая смерть представлялась Евгению сколько-нибудь сознательною, продолжающею въ другомъ видѣ ощущенія его теперешней душевной муки. Оттуда, изъ того таинственнаго міра, казалось ему, онъ будетъ съ печальнымъ укоромъ, съ всепрощающимъ самоотверженіемъ любви, смотрѣть на злое сердце, не оцѣнившее его, не пожалѣвшее его. Онъ не будетъ съ ними, въ этомъ тѣсномъ и тепломъ кружкѣ дорогихъ ему, но онъ останется незримымъ свидѣтелемъ всего, что они будутъ дѣлать безъ него, ихъ горя по немъ, ихъ опустѣвшей безъ него жизни. Такая смерть еще имѣла въ себѣ какую-нибудь отраду для больного воображенія Евгения.

Но когда предъ нимъ встала во всемъ живѣй страшная безокая и бездушная пучина, которой не было конца ни въ глубь, ни въ ширь, ни въ даль, въ которой цѣлый міръ могъ погибнуть безслѣдно и безучастно, какъ горсть береговыхъ глышекъ, то содроганіе леденящаго ужаса передъ этимъ бессмысленнымъ уничтоженіемъ до такой степени охватило Евгения, что онъ вдругъ побѣжалъ отъ моря, какъ испуганный ребенокъ отъ звѣря, готового его проглотить.

Онъ боялся и моря, и самого себя, своихъ безумныхъ рѣшеній. Ему инстинктивно хотѣлось спастись отъ нихъ, и онъ самъ собою, безъ всякаго обдуманнаго намѣренія, искалъ Анну, какъ стебель растенія бессознательно ищетъ луча свѣта.

— Сестра, помоги мнѣ! я безконечно несчастливъ, прошепталъ онъ, захлебываясь рыданьями на груди растроганной Анны.

Но она напрасно спрашивала его, сама плача отъ вол-

ненія, лаская его мягкіе волосы своею дрожащею рукою. Евгений ничего не могъ и не хотѣлъ отвѣтить. Онъ только судорожно рыдалъ, повторяя машинально:

— Не спрашивай, сестра, я несчастенъ, я на вѣки несчастенъ.

Они сидѣли въ полутемной комнатѣ Евгения на его диванѣ. Анна знала, конечно, что причиной несчастья была Фатьма. Но что-же сдѣлала она ему? Аннѣ казалось, что она продолжала быть съ нимъ такою-же ласковой и доброй. Ея нынѣшній приходъ уже, конечно, не къ Аннѣ, не къ Сергѣю, а къ одному Евгению. Вдругъ внезапная мысль словно укусила Анну. Она стала припоминать и соображать все, что происходило у постели Ахмета. Женская чуткость сразу навела ее на истину. Ей вдругъ стало все теперь ясно, и отъ слишкомъ энергическаго напряженія мозга, разрѣшившагося быстро, вдругъ жаркая краска покрыла ея щеки.

„Да, завтра нужно убѣдиться окончательно. Сомнѣній почти нѣтъ. Бѣдный мальчуганъ вѣрно тоже понялъ, если не глазами, то сердцемъ“...

Голова Евгения между тѣмъ спустилась на ея колѣни, и онъ засыпалъ тамъ въ тихихъ, изрѣдка возвращавшихся всхлипываньяхъ, какъ засыпаютъ на колѣняхъ матери огорченныя маленькія дѣти. Анна, исполненная любви и нѣжности, сидѣла не шевелясь, чтобы не разбудить бѣднаго юношу, силы котораго не выдержали слишкомъ жгучаго потрясенія.

V.

РѢШЕНІЕ ФАТЬМЫ.

Фатьма явилась на другой день еще раньше.

Она пользовалась теперь съ дерзкою рѣшимостью болѣзненною матери и постояннымъ отсутствіемъ Уркушъ, которой были поручены главныя хлопоты о предстоявшей на дняхъ свадьбѣ.

Темиръ-кай съ Джелаломъ хотя и не выѣзжали въ эти дни отъ Уланъ-бея, но они, по обычаю, не могли видѣться съ женщинами, такъ-что ихъ присутствіе только отвлекало отъ Фатьмы глазъ отца. Впрочемъ, въ сердцѣ Фатьмы горѣла такая непоко-

...мая рѣшимость, что она, все равно, не посмотрѣла-бы ни на что. Она не говорила никому изъ своихъ, даже любимой Хадиджѣ, что не пойдетъ замужъ за Темиръ-каю. На ея глазахъ готовили приданое, готовились къ свадебному пиршеству, и она ни однимъ словомъ не останавливала этихъ приготовлений. Женщины шѣряли ей одежды, разсматривали при ней съ завистливымъ наслажденіемъ ея богатые подарки и покупки, — она все молчала, все позволяла дѣлать съ собою. Только въ ея большихъ черныхъ глазахъ, всегда смѣлыхъ, сверкали какіе-то новыя вызывающіе, какъ-бы хохочущіе огоньки.

Ихъ, конечно, не замѣчала дряблая и ожирѣвшая старуха Каракозъ-Султанъ, думавшая только о своемъ покоѣ и о своихъ страданіяхъ.

Но смѣливая и пронырливая Уркушъ давно уже подозрѣвала что-то и, глядя въ черезчуръ оживленные глаза Фатьмы, неодобрительно покачивала своей головой.

— Смотри, Султанъ-ханымъ, нашептывала она въ послѣдніе дни старой мурзачихѣ, когда сидѣла въ одиночку у ея постели, — торопи свадьбу. У Фатьмы недоброе на умѣ... Плохо ты глядишь за нею, и не попасть-бы намъ въ бѣду!.. Не осрачиться-бы намъ!

Угрюмая мурзачиха, никогда не любившая Фатьму, постоянно ворчавшая на нее за дѣло и безъ дѣла, призывала сейчасъ-же послѣ такого разговора Фатьму, начинала всячески грызть ее, срамитъ и грозить ей, чѣмъ только могла.

Фатьма рѣдко отвѣчала ей, но глаза ея разгорались безмолвнымъ гнѣвомъ и дерзко встрѣчали сонные, подозрительные взгляды матери. Она словно разговаривала съ ней въ глубинѣ своего сердца и твердо отстаивала себя. Тамъ, въ этомъ сердцѣ, она недавно сказала себѣ разъ на всегда:

„Я не выйду за Темиръ-каю, стараго урода; я буду женою молодого красавца-Ахмета. Богъ привелъ его ко мнѣ изъ-за моря и спасъ чудомъ отъ смерти“.

Какъ только это рѣшеніе засѣло въ ней, она стала покойна, какъ-будто все уже было кончено.

Она знала себя: для нея не существовало двухъ путей. За ея поясомъ всегда былъ спрятанъ маленькій, почти игрушечный

кинжалъ, отточенный такъ старательно, что онъ могъ пройти въ сердце, какъ остріе иглы.

Ея молодая, горячая головка не задумается ни передъ чѣмъ. Жизнь для нея была райскимъ сномъ. Она вся трепетала жаждою счастья, веселья, свободы, наслажденій. Но если ей не дадутъ этого, жизнь ей не нужна. Старость была ей отвратительна, несчастіе тоже. Неволя—это все равно, что смерть.

Глубокое море было такъ близко, среди сѣрыхъ камней Камышъ-буруна! Фатьма не разъ уже стояла на нихъ, обдумывая, каково тамъ, въ пучинѣ, со дна которой смотрѣли на нее яркіе разноцвѣтные камушки, переливавшіе всѣми красками, навившіе къ себѣ, какъ чертоги морской царицы. Одинъ простой скачекъ—и все кончено. И какъ легко, какъ скоро!..

А противъ другихъ у нея есть подъ сердцемъ стальная игрушка, вся одѣтая бархатомъ и серебряной чеканкой.

Ахметъ лежалъ на диванѣ, раскрывъ въ пустоту свои глаза, немного отдохнувшій отъ припадковъ лихорадки.

Головины были на работѣ, и старикъ, все время сидѣвшій у изголовья сына, вышелъ теперь помочь имъ.

Фатьма вошла неслышнымъ шагомъ по войлоку комнаты и, дойдя до середины ея, остановилась, смущенная одиночествомъ больного.

Опущенныя смуглыя руки ея, длинныя и тонкія, крѣпко держали другъ друга, словно она внутренно молилась кому-то.

Больной, не двигаясь, повернулъ къ ней свои крупныя, выразительныя глаза.

— Ты опять пришла ко мнѣ, сказалъ онъ тихо; — я знаю, что ты придешь. Еслибы ты не пришла, я-бы умеръ сегодня. Я видѣлъ тебя во снѣ всю ночь и всю ночь говорилъ съ тобою...

Фатьма, дрожа всѣми жилками, стояла на мѣстѣ и не отвѣчала ни слова. Сердце ея билось, какъ молотокъ. Она пристыгла глазами къ глазамъ Ахмета и таяла въ нѣмомъ упоеніи. Она не знала, что нужно говорить ей и не могла говорить. „Зачѣмъ говорить? Развѣ онъ не видитъ ее на-сквозь? Развѣ онъ не знаетъ, къ кому она и съ чѣмъ пришла?“...

— Тебя зовуть Фатьмой, я знаю... продолжалъ между тѣмъ Ахметъ, тѣмъ-же тихимъ и страстнымъ шепотомъ, словно онъ рассказывалъ свой бредъ.—Пророкъ привелъ меня сюда къ тебѣ и спасъ для тебя изъ волнъ моря... Ты стала моею, какъ только подошла вчера къ постели моей. Какъ только глазъ мой увидѣлъ тебя, я сейчасъ узналъ, что ты пришла не сама, что тебѣ отдаетъ мнѣ божій пророкъ... Ты назначена мнѣ, и ты теперь моя...

Фатьма все слушала, въ страшномъ, нѣжномъ трепетѣ, скрестивъ свои, безсилно опустившіяся, руки, жадно поворачаясь тихому повелительному голосу, который такъ сладко и такъ мужественно звучалъ для нея изъ прекрасныхъ молодыхъ устъ. Это былъ ея настоящій владыка, назначенный ей судьбою. Она пойдетъ за нимъ всюду, какъ вѣрная собака идетъ по слѣдамъ своего господина; она будетъ безпрекословно слушаться его милого голоса, какъ дитя слушается приказаній родителя. Все, что захочетъ онъ, то будетъ ея страстнымъ желаніемъ; все, что любить онъ, то станетъ ея любимымъ вкусомъ. Она будетъ смотрѣть его глазами, говорить его языкомъ и думать его мыслию.

— Ты молчишь, Фатьма, началъ опять Ахметъ, все увлеченнѣе впиваясь въ нее взглядомъ и мало-по-малу весь судорожно оборачиваясь къ ней.—Мой отецъ—мудрый человѣкъ. Онъ сказалъ, что ты божій архангелъ Джебрайль... Твоя красота превосходить все земное, что когда-нибудь видѣлъ человѣкъ. Я слышалъ вчера твою рѣчь, разумную, какъ слово пророка... Урусъ-ханымъ вылечить меня черезъ три дня, и я приду къ твоему отцу просить тебя въ жены... У меня еще не было жены, и ты будешь моя первая жена и моя послѣдняя жена.

— Возьми меня, мой красавецъ-женихъ, данный мнѣ Богомъ... Фатьма будетъ твоя и ничья больше, отвѣтила вдругъ твердымъ голосомъ Фатьма и подошла къ постели Ахмета.

Онъ приподнялся въ неистовомъ порывѣ и потянулся къ Фатьмѣ.

— Красавецъ мой, женихъ мой!.. прими мою клятву!.. говорила Фатьма, сладко цѣлуя его въ горячія губы, въ то время, какъ онъ душилъ ее въ страстномъ первомъ объятіи.

Анна вошла очень скоро, разорвавъ, сама того не зная, это объятіе любви...

— Ты здѣсь, Фатьма!.. удивилась она, съ нѣкоторой невольной досадой замѣтивъ татарку.

— Тебѣ нужно что-нибудь. Или ты пришла навѣстить больного?

— Я пришла посмотреть на Ахмета!.. твердо сказала Фатьма и бросила на Анну свой смѣлый, вызывающій взглядъ, еще весь горѣвшій страстью. — Когда ты вылечишь его?

— О, очень скоро, Фатьма, будь покойна! улыбнулась Анна, которой необыкновенно понравилась эта честная откровенность полудикой дѣвушки.

— Скорѣе, скорѣе лечи! Хорошо лечи! дружески засмѣялась ей въ отвѣтъ Фатьма и, вдругъ порывисто обнявъ ее, спрятала на ея груди свое горѣвшее счастьемъ лицо.

— Пойдемъ къ Сергѣй-ага... пойдемъ къ барунчукъ, пойдемъ къ Смаиль-бей, сказала она, будучи не въ силахъ подавить внутренней радости, которою она вся трепетала. — Фатьма всѣхъ любить, Фатьма хочетъ видѣть всѣхъ...

Анна чувствовала, что произошло что-то серьезное въ то время, когда Фатьма и Ахметъ оставались глазъ-на-глазъ.

— Но неужели-жь это могло случиться такъ скоро? Вчера только въ первый разъ увидѣлись они... Да, это любовь... да, вотъ она любовь, настоящая любовь! думалось Аннѣ, когда она, давъ лекарство больному, возвращалась къ своимъ, съ Фатьмою подъ руку.

Анна не съ завистью, но съ тихой болью въ сердцѣ, съ нѣмыми внутренними протестомъ и вмѣстѣ съ нѣжнымъ сочувствіемъ глядѣла на сіявшее счастьемъ личико Фатьмы.

— Отчего это бываетъ разъ? Отчего не повторяется? Отчего грѣшно повторяться? горько проносилось въ ея головѣ. — Роза разцвѣтаетъ одинъ разъ... одинъ разъ разцвѣтаетъ и любовь... Но безъ любви какъ тускло!.. Неужели-же они ужъ высказались другъ другу? занимало ее дорогой. Съ перваго раза просто и прямо? Почти не сказавъ слова, едва взглянувъ другъ на друга? Да, вотъ это любовь, настоящая любовь! съ чувствомъ того-же безпредметнаго сожалѣнія, того-же безмолвнаго укора судьбѣ, продолжала думать Анна.

— Фатъма! такъ ты любишь Ахмета? вдругъ спросила она тихимъ, ласковымъ голосомъ, обративъ къ ней на-ходу свое доброе лицо.

— Да, ханымъ, я люблю Ахмета! отвѣчала восторженно Фатъма, и глазки ея загорѣлись, какъ черные брилліанты. — Черезъ три дня Ахметъ будетъ здоровъ, и я буду его женою...

Анна крѣпко поцѣловала ее и не спрашивала больше.

Но рядомъ съ прежнимъ чувствомъ сожалѣнія о самой себѣ, о своей ушедшей молодости, въ душѣ ея стала разливаться, какъ нѣжный багрянецъ зари, все болѣе и болѣе стирая темное настроеніе ея, тихая радость за счастье другого, за возможность этого счастья, и теплая вѣра въ міръ.

Фатъма была необыкновенно ласкова съ Евгеніемъ, увидя его такимъ грустнымъ. Но она избѣгала остаться наединѣ съ нимъ, какъ ни добивался онъ этого.

Бѣдный юноша совершенно терялся въ догадкахъ, что ему думать теперь? Она опять пришла къ нему, опять говорить такъ дружелюбно, смотреть на него такъ ласково... Можетъ быть, ея вчерашній разговоръ не болѣе, какъ минутный капризъ ея своеобразной дѣвственной природы.

Но въ ухахъ его не переставали звучать похороннымъ звономъ вчерашнія роковыя слова:

— Урусъ мнѣ не надо... совсѣмъ не надо!..

Они были сказаны съ такою горячею искренностью, что сомнѣваться было невозможно...

Напрасно Евгеній съ мучительною пытливостью, съ безмолвною мольбою вглядывался въ эти черные и влажные глаза, въ которыхъ горѣлъ непонятный ему огонь. Они ничего не сказали ему и смотрѣли еще загадочнѣе.

— Ты сегодня такъ же свѣжа, какъ распутившійся утромъ цвѣтокъ, дочь Уланъ-бея, привѣтливо сказалъ старшій Смаилъ, искренно любуясь ея красотой и молодостью. — Счастливъ будетъ тотъ юноша, который назоветъ тебя своею женою и поклонится тебѣ передъ книгой пророка.

— А я скажу тебѣ другое, добрый ага, съ знаменательною улыбкой быстро отвѣтила Фатъма. — Счастлива та дѣвушка, ко-

торой отцомъ станетъ такой мудрый и почтенный мужъ, каковъ Смайлъ-бей...

— Поди ко мнѣ, милая птичка изъ садовъ рая, еще ласковоѣ сказала старикъ, улыбаясь довольною улыбкою.

Онъ взялъ обѣ ея маленькія ручки въ свою широкую и мягкую руку и, не выпуская, глядя ей дружелюбно въ глаза, спросилъ ее:

— Скажи мнѣ, кто научилъ тебя бесѣдовать такъ свободно и разумно, когда я знаю, что женщины ваши, какъ и у насъ, турокъ, никогда не выходятъ изъ своихъ комнатъ и никогда не видятъ человѣка, отъ котораго-бы можно было услышать что-нибудь, кромѣ глупыхъ старыхъ слетней?..

— Разумъ у меня не больше, какъ у птицы, которая стрекочетъ и съ которою ты меня справедливо сравнилъ, добрый ага, съ веселой шутливостью болтала Фатьма, которая уже перенесла на ласковаго старика свое чувство къ сыну.— Я говорю все, что у меня на сердцѣ, и если то, что я говорю, ты находишь хорошимъ, не я виновата въ этомъ...

— Мудрая красавица Шехерзада, которая могла тысячу ночей и одну ночь забавлять великаго Халифа, была навѣрное похожа на тебя, дочь Уланъ-бея, сказалъ старикъ, все еще лаская рукою ручки Фатьмы. — Иди съ миромъ, и да будетъ на твоей дѣтской головѣ благословеніе Аллаха...

Старику, повидимому, показалось не вполне приличнымъ продолжать слишкомъ долго бесѣду съ молодой дѣвушкой, и онъ отпустилъ ее, съ величественностью патриарха поднявшись съ мѣста и неспѣшно направляясь къ дому Головиныхъ, гдѣ его ждалъ больной сынъ...

Анна одна провожала Фатьму изъ воротъ дома.

Евгенію тоже хотѣлось пойти за ними, но Фатьма, протянувъ ему руку на прощанье, вѣско потрясла ее и сказала смѣясь:

— Прощай, миленькій урусъ... не надо ходить къ Фатьмѣ. Фатьмѣ надо ханымъ говорить... тихо говорить... тихо, тихо... никто не знаетъ...

Евгеній огорченный, растерянный, стоялъ и въ недоумѣніи смотрѣлъ имъ вслѣдъ.

А Фатьма, очутившись въ лѣсу, прилегла на плечо Анны съ граціозною шаловливостью котенка и шептала ей, опустивъ на глаза свои длинныя рѣсницы:

— Ханымъ, не смѣй любить Ахмета... Аллахъ далъ ханымъ Сергѣй-ага, Фатъма — Ахметъ; у Фатъма винжалъ есть, тонкій, тонкій. Ахметъ не сталъ любить Фатъма, Фатъма убилъ Ахметъ, сама Фатъма убилъ... Любилъ оба... оба умиралъ... закончила она съ какимъ-то страстнымъ замираніемъ голоса.

— Глупая, глупая дѣвочка! засмѣялась Анна. — О чемъ ты говоришь? Развѣ ты не знаешь, что я люблю своего мужа и не промѣняю его ни на кого?.. Къ тому-же твой Ахметъ годится мнѣ скорѣе въ сыновья, а не въ мужа... ты, однако, преревнивая змѣйка!..

— О, Фатъма — змѣйка! хотела истерически Фатъма, прячась, по-прежнему, на плечъ Анны. — Обнялъ, какъ змѣйка, укусилъ, какъ змѣйка...

Евгеній Марковъ.

(Продолженіе будетъ.)

ДЖОРДЖЪ-ГЕНРИ ЛЬЮИСЪ.

I.

Въ первыхъ числахъ прошлаго декабря умеръ одинъ изъ даровитѣйшихъ писателей нашего времени, Джорджъ-Генри Льюисъ, которому современное поколѣніе не въ одной только Англіи, но и во всемъ образованномъ мірѣ обязано многими свѣтлыми страницами въ исторіи своего умственного развитія. Льюисъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому ученому цеху, не былъ изъ числа тѣхъ безстрастныхъ специалистовъ, которые застываютъ на какой-нибудь одной отрасли знанія. Главной его задачей было то общеобразовательное дѣло, которое требуетъ очень близкаго и основательнаго знакомства съ приемами и выводами всѣхъ научныхъ отраслей и которое вноситъ жизнь и свѣтъ въ обыденное-міросозерцаніе интеллигентной массы; оно не создаетъ ни блестящихъ гипотезъ, ни великихъ открытій, отмѣчающихъ эпохи геніевъ, но дѣлаетъ гораздо больше этого—учить и направляетъ общественную мысль въ ея скромной и повседневной сферѣ,—въ томъ, что называется *common life*. Въ этомъ отношеніи Льюисъ былъ не блестящимъ и остроумнымъ дилетантомъ, успѣвшимъ отовсюду захватать разрозненныхъ клочковъ разнообразныхъ знаній и выводовъ и преподнести ихъ намъ въ болѣе или менѣе привлекательномъ и популярномъ видѣ, — нѣтъ, въ этомъ дѣлѣ онъ былъ великимъ мастеромъ, и мы лишаемся въ немъ самаго даровитаго внѣ-школьнаго педагога, въ какихъ теперь чувствуется астоятельная потребность. Нельзя, слѣдовательно, искренне не

пожалѣть о его смерти именно въ тотъ моментъ, когда спросъ на подобныхъ дѣятелей начинаетъ повсюду примѣтно возрастать, когда даже наиболѣе застоявшіяся общества ожидаютъ своего умственного и матеріальнаго процвѣтанія отъ своихъ ближайшихъ руководителей, тѣхъ рядовыхъ работниковъ, которые прямо и непосредственно удовлетворяютъ потребностямъ большинства. Это обыденность — *common-life* — и была постоянно въ виду у скороненнаго недавно на Хайгетскомъ кладбищѣ писателя. Для нея онъ учился физиологій, рѣзалъ моллюсковъ на берегахъ Средиземнаго моря, рылся въ головоломныхъ метафизическихъ трактатахъ греческихъ мудрецовъ и еще менѣе удобоваримыхъ ихъ новѣйшихъ подражанійхъ и толкованійхъ. Последнимъ и любимымъ его трудомъ были: „Вопросы мысли и жизни“, которыхъ смерть не дала ему довести до конца. По образцу его „Физиологій обыденной жизни“, составляются теперь „Химіи обыденной жизни“, „Гигіены обыденной жизни“ и сотни тому подобныхъ трактатовъ, часто имѣющихъ несомнѣнное научное значеніе, но направленныхъ главнымъ образомъ къ тому, чтобы прекратить убыточный и вредный для нашего времени разладъ науки и дѣйствительной жизни.

Льюисъ писалъ очень много и обо всемъ: о моллюскахъ и о „благородныхъ сердцахъ“, о Гёте, о философахъ, объ испанцахъ и объ актерахъ. Только о себѣ самомъ онъ не оставилъ ни строки, несмотря на то, что его личная жизнь была-бы для насъ въ высшей степени интересною и поучительною. Его многочисленныя литературныя друзья не пополнили еще до сихъ поръ этотъ біографическій пробѣлъ. Лучшіе англійскіе журналы и обзоры почтили память покойнаго сочувственнымъ надгробнымъ словомъ, но сколько-нибудь подробнаго жизнеописанія Льюиса мы еще не нашли ни въ одной иностранной литературѣ. „Fortnightly Review“, котораго Льюисъ былъ основателемъ, на совершенно новыхъ въ то время въ Англій литературно-комерческихъ началахъ, и гдѣ онъ усердно сотрудничалъ до конца своихъ дней, помѣстилъ въ своемъ первомъ выпускѣ за этотъ годъ краткую замѣтку, посвященную памяти его бывшаго издателя однимъ изъ его ближайшихъ друзей, извѣстнымъ белетристомъ Антони Троллопомъ; но этотъ некрологъ крайне узокъ и одностороненъ. Авторъ объявляетъ себя рѣшительно некомпетентнымъ судьей ученыхъ и об-

щественныхъ заслугъ своего умершаго пріятеля и хочетъ придать своей замѣткѣ исключительно личный характеръ.

„Всѣ, знавшіе Льюиса столь-же коротко, какъ я, почувствуютъ, что онъ унесъ съ собою въ могилу значительную часть нашихъ жизненныхъ удовольствій. Я считалъ Льюиса великимъ философомъ только потому, что слышалъ о немъ этотъ отзывъ отъ другихъ. Когда онъ давалъ себѣ трудъ познакомить меня съ какимъ-нибудь новымъ физиологическимъ явленіемъ, когда, напр., онъ сообщалъ мнѣ, что лягушка можетъ очень удобно жить и дѣйствовать безъ головного мозга, — я принималъ его слова за непреложную истину, но какъ за такую истину, къ которой я по-неволѣ долженъ былъ оставаться безучастенъ. Когда онъ прославлялъ или сокрушалъ какого-нибудь почтеннаго философа въ моемъ присутствіи, но, конечно, не для меня, а имѣя въ виду какого-нибудь другого, болѣе достойнаго слушателя, то я даже не слушалъ его словъ, но не могъ не любоваться его проповѣдническимъ жаромъ. Мнѣ не было рѣшительно никакого дѣла до прославляемаго или сокрушаемаго философа, но пылъ и юморъ самого Льюиса были для меня источникомъ истиннаго наслажденія. Никто на свѣтѣ не умѣлъ такъ живо и превосходно излагать и рассказывать что-бы то ни было, какъ онъ. Надо было видѣть, какъ онъ вскакивалъ со своего стула, постепенно воодушевляясь и воодушевляя своихъ двухъ-трехъ собесѣдниковъ и слушателей. Трудно рѣшить, сознавалъ-ли онъ или нѣтъ, какимъ онъ былъ одаренъ замѣчательнымъ сатирическимъ и комическимъ даромъ. Онъ постоянно дѣлалъ видъ, будто вовсе не сознавалъ, но та художественная законченность, съ которою онъ возводилъ на степень ѣдкой, остроумной сатиры самый обиденный рассказъ, усиливая выразительность своей страстной, но сжатой, лаконической рѣчи энергической жестивуляціею, могли-бы заставить предполагать обдуманность и искусство. Самая его наружность была превосходно приспособлена для подобныхъ сценъ. Какъ и всѣ порядочные люди, онъ вовсе не думалъ о своемъ нарядѣ, непредставлявшемъ, повидимому, ничего выдающагося. Его бархатный сюртучекъ, его изящныя туфли и всѣ другія принадлежности его туалета были такіа, какія встрѣчаются сплошь и рядомъ. Но на немъ онъ принимали какой-то своеобразный отпечатокъ. Казалось, будто избытокъ самобытности, переполнявшей его особу, изливался

на все, прикасавшееся къ нему. Никому, конечно, не пришло-бы въ голову назвать Льюиса красивымъ. Его густые, длинные волосы на исхудаломъ лицѣ, его нависшіе усы и вся его фізіономія производили гораздо больше впечатлѣніе болѣзненности, чѣмъ красоты. Но въ глазахъ его искрился чудный блескъ, котораго не могла помрачить никакая болѣзнь, никакія страданія; при одномъ взглядѣ этихъ чудныхъ, оживленныхъ глазъ на душѣ становилось пріятно. На своемъ очень распространенномъ фотографическомъ портретѣ Льюисъ выглядитъ какъ-то свирѣпо, раздраженно. Это выраженіе нерѣдко вызывалось, дѣйствительно, на его лицѣ неблагоприятными продѣлками различныхъ литературныхъ псевдо-знаменитостей, любящихъ морочить читающую публику и сбивать ее съ толку. Но улыбка скоро возвращалась на это привлекательное въ своей неправильности лицо... Минутное негодованіе истощалось быстро въ сверкающихъ искрахъ неподдѣльнаго, высокаго юмора, которымъ даже жертвы его нападокъ не могли не любоваться, какъ изящнымъ умственнымъ фейерверкомъ "...

„Что онъ былъ замѣчательный мыслитель, замѣчательный писатель и замѣчательный критикъ, — это знаютъ всѣ. Но немногіе имѣли удовольствіе извѣдать на опытѣ, что въ цѣломъ Лондонѣ не существовало другого собесѣдника, съ которымъ можно-бы было пріятнѣе провести часъ или два въ разговорѣ объ умственныхъ и литературныхъ вопросахъ, за чашкою кофе и съ сигарой въ зубахъ. Такимъ-то живетъ въ моемъ воспоминаніи этотъ Льюисъ, начавшій свою литературную карьеру съ драмъ и романовъ и закончившій ее въ качествѣ одного изъ наиболѣе передовыхъ и популярныхъ мыслителей нашего времени“.

Этотъ замѣчательный комическій и сатирической талантъ, котораго читатели „Жизнеописательной исторіи философіи“ и „Физиологіи обыденной жизни“ легко могли не подозрѣвать въ авторѣ этихъ двухъ образцовыхъ сочиненій, повидимому, унаслѣдованъ Льюисомъ отъ его дѣда, извѣстнаго актера Чарльза Льюиса; но намъ рѣшительно неизвѣстно, принималъ-ли этотъ дѣдъ какое-нибудь участіе въ воспитаніи Джорджа-Генри Льюиса, родившагося въ 1817 г. О дѣтствѣ Льюиса мы не имѣемъ рѣшительно никакихъ свѣденій. Отецъ его былъ человекъ совершенно заурядный во всѣхъ отношеніяхъ и располагалъ очень скудными денежными средствами. Повидимому, у Джорджа-Ген-

ри не было ни братьевъ, ни сестеръ, но отцу его нелегко было воспитать даже и единственнаго своего ребенка, который въ тому-же родился тщедушнымъ, чуть живымъ. Всю свою жизнь Льюисъ страдалъ не отъ какого-нибудь опредѣленнаго недуга, а отъ общей органической слабости. Эта послѣдняя слишкомъ часто является продуктомъ закопченнаго фабричнымъ дымомъ и морскими туманами климата большихъ англійскихъ городовъ. Въ семьяхъ достаточныхъ это вліяніе иногда удается поборотъ тѣмъ грубымъ физическимъ воспитаніемъ, которымъ англичане рѣзко отличаются отъ континентальныхъ народовъ Европы. Нынѣшняя система англійскаго воспитанія сложилась въ то время, когда о рациональномъ примирениі требованій гигиены съ условіями высшаго культурнаго интереса не могло быть и рѣчи. На практикѣ она дала благоприятные результаты въ томъ смыслѣ, что поколѣнія, рожденныя и воспитанныя въ миазматической атмосферѣ Лондона или другихъ промышленныхъ городовъ, окрѣпли мускулами въ ущербъ многимъ другимъ сторонамъ своего развитія, благодаря физическимъ упражненіямъ и разнымъ вспомогательнымъ средствамъ, возбуждавшимъ гомерическій аппетитъ, обильно удовлетворяемый кровавымъ ростбифомъ и бараньиными котлетами. Вычачья дебелость и огрубѣніе нервной воспримчивости сдѣлались въ Англии признакомъ породы и привилегированнаго общественнаго положенія. Педагогическій строй, временно вызванный неблагоприятными климатическими условіями, увѣковѣченъ рутинною.

Но Льюисъ не могъ получить хорошаго воспитанія, въ англійскомъ смыслѣ этого слова, и это впоследствии очень благоприятно отозвалось на всей его дальнѣйшей жизни и дѣятельности. Ему пришлось посѣтить многія изъ тѣхъ частныхъ и общественныхъ воспитательныхъ заведеній, которыя такъ хорошо теперь всѣмъ извѣстны, благодаря романамъ Дикенса, хотя онъ являлся въ нихъ временнымъ гостемъ. То по болѣзни, то по другимъ причинамъ, отецъ долженъ былъ брать его снова домой прежде, чѣмъ удушливый складъ этихъ разсадниковъ „джентльменовъ изъ Сити“ могъ оказать на воспримчивую натуру Джорджа-Генри свое подавляющее вліяніе. Долше другихъ онъ пользовался педагогическими заботами доктора Бёрни (d-r Burney), директора частнаго пансіона въ Гриничѣ, гдѣ и обучился довольно удовлетворительно греческой грамматикѣ. Но скоро отецъ переимѣстилъ его

въ другую школу на островъ Джерси (Jersey), гдѣ уже смягчающимъ образомъ сказывается французское вліяніе. Нѣкоторую часть своего отрочества Льюисъ провелъ въ самой Франціи. По-французски онъ, даже на старости лѣтъ, говорилъ такъ-же свободно, какъ и по-англійски, даже безъ оттѣнковъ птичьаго великобританскаго акцента. Лучшія философскія и публицистическія произведенія Льюиса убѣждаютъ насъ, что вліяніе нѣсколькихъ лѣтъ, еще юношею проведенныхъ имъ во Франціи, было для него благотворнымъ. Въ болѣзненномъ мальчикѣ рано развилась любовь къ чтенію, и онъ поддерживалъ ее преимущественно французскими литературными произведеніями.

Лѣтъ семнадцать Льюису пришлось, какъ говорится, стать на свои ноги, т. е. собственнымъ трудомъ добывать себѣ средства къ существованію. Онъ поступилъ скромнымъ клеркомъ въ контору какого то русскаго купца въ Лондонъ и пробылъ въ ней ровно настолько, чтобы навсегда получить отвращеніе отъ всякой комерческой дѣятельности. Его манила умственная и литературная жизнь; но безъ денежныхъ средствъ, безъ удовлетворительнаго образованія, онъ не видѣлъ никакой возможности оторваться отъ ненавистнаго прилавка. Не извѣстно, какимъ путемъ удалось ему вступить, лѣтъ двадцати отъ рода, въ одну изъ лондонскихъ медицинскыхъ школъ, хотя къ медицинѣ онъ не чувствовалъ ни малѣйшаго призванія.

„Sawbones“ (сѣятели костей) т. е. медицинскіе студенты, пользуются въ Англии и до сихъ поръ самою отчаянною и незавидною репутаціей. Объ этомъ мы можемъ узнать не только изъ „Записокъ пиквикскаго клуба“, но даже и изъ самоновѣйшихъ изслѣдованій и статей, посвящаемыхъ этому предмету передовыми англійскими писателями. Въ подтвержденіе своихъ словъ мы можемъ сослаться хотя-бы на доктора Уильяма Джилберта, одного изъ сотрудниковъ основанной Льюисомъ „Fortnightly Review“.

Организація медицинскаго образованія въ Лондонѣ настолько отличается отъ порядковъ, установившихся въ этомъ дѣлѣ во всѣхъ безъ исключенія просвѣщенныхъ странахъ Европы и Америки, что о немъ я не считаю лишнимъ сказать здѣсь нѣсколько словъ. Медицина не считается въ Англии професіей свободной, т. е. такой, которою заниматься можетъ всякій же-

лающій, если ему посчастливится найти клиентовъ, согласныхъ за болѣе или менѣе щедрое вознагражденіе пользоваться его услугами. Такое отношеніе государства къ медицинѣ, т. е. нестѣсняемость медицинско́й практики никакими официальными формальностями, встрѣчается въ настоящее время только въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ штатахъ сѣверной Америки, главнымъ образомъ въ Калифорніи, гдѣ рѣшительно никто не прешатствуетъ первому встрѣчному шарлатану лечить за деньги кого ему вздумается, устраивать публичные консультаціи и клиники и публиковать о своей дѣятельности въ газетахъ. Очень недавно еще прославился и нажилъ большое состояніе въ С.-Франциско какой-то французскій парикмахеръ, вздумавшій выдавать себя за китайскаго врача. Но это только частный случай, надѣлавшій много шума, благодаря той шарлатанской обстановкѣ, которою обставилъ себя отчаянный авантюристъ. Вообще-же говоря, свобода медицинско́й практики въ Калифорніи вовсе не такъ убыточна для публики и даже не такъ прибыльна для самозваныхъ врачей, какъ обыкновенно думаютъ приверженцы государственной опеки. Дѣло въ томъ, что въ калифорнскихъ городахъ учреждены уже съ давнихъ поръ общества врачей, недопускающія въ свою среду никакихъ самозванцевъ и составляющія списки всѣхъ врачей въ городѣ и въ околотеѣ, могущихъ доказать, что они дѣйствительно окончили медицинскій курсъ въ какомъ-бы то ни было заведеніи. Списки такихъ врачей ежедневно печатаются въ газетахъ и постоянно имѣются на лицо въ каждой аптекѣ. О подробностяхъ этого дѣла мы не станемъ распространяться потому, что Англія, во многихъ случаяхъ перешеголавшая Америку невмѣстательствомъ государства въ частныя дѣла гражданъ, держится, однакожь, въ вопросѣ о медицинско́й практикѣ діаметрально-противоположнаго начала. Медицинскій факультетъ (University College) въ Лондонѣ раздаетъ дипломы на званіе physician и surgeon, безъ которыхъ медицинская практика считается противозаконною, но факультетъ этотъ можетъ давать необходимое ученое образованіе только ничтожному числу ежегодно представляющихся соизыателей на эти дипломы. Громадное большинство „sawbones“ принуждены обучаться въ частныхъ школахъ, заводимыхъ для этой цѣли при всѣхъ столичныхъ госпиталяхъ. Школы эти не подчинены никакому контролю и ведутъ между собою гостинодвор-

скую борьбу, усиливаясь каждая заманить къ себѣ какъ можно больше слушателей, платящихъ за свое обученіе не меньше 30-ти фунтовъ стерлинговъ въ годъ. Плата эта представляется слишкомъ высокою сравнительно съ тѣмъ, чего требуютъ отъ своихъ посѣтителей всѣ безъ исключенія континентальныя университеты и академіи; а между тѣмъ лондонскія госпитальныя школы не доставляютъ своимъ студентамъ и половины тѣхъ удобствъ, которыя имѣются даже во второстепенныхъ и третъестепенныхъ университетахъ. Даже лучшая изъ этихъ школъ, при госпиталѣ св. Варфоломея, имѣющая среднимъ числомъ не меньше 550 слушателей каждый годъ, постоянно жалуется, что она не можетъ существовать на средства, доставляемыя самими студентами. Распорядители этой школы, т. е. врачи этого же самого госпиталя, выманиваютъ у благотворительнаго совѣта очень значительныя денежныя субсидіи, которыя приходится брать изъ фонда, назначеннаго собственно для содержанія неимущихъ больныхъ въ городскихъ госпиталяхъ. Интересами больныхъ жертвуютъ на каждомъ шагѣ интересамъ школы, но тѣмъ не менѣе, при значительномъ числѣ подобныхъ школъ, преподаваніе въ нихъ идетъ совершенно халатнымъ образомъ. Не только часто нѣтъ и рѣчи о замѣщеніи различныхъ кафедръ свѣдущими специалистами, но часто все преподаваніе утрачиваетъ совершенно университетскій характеръ. Школы стараются привлечь къ себѣ многочисленныхъ слушателей, назначая денежныя преміи тѣмъ изъ нихъ, которые будто-бы отличаются особенными успѣхами, но на дѣлѣ раздачею этихъ премій руководитъ самый беззастѣнчивый произволъ. Профессоры обращаютъ своихъ учениковъ въ совершенныхъ подмастерьевъ. Д-ръ Уильямъ Джильбертъ, у котораго мы заимствуемъ нѣкоторыя подробности, утверждаетъ, что, при посѣщеніи имъ лучшихъ лондонскихъ госпиталей, ему нерѣдко приходилось находить тамъ неопытныхъ юношей, неимѣвшихъ о медицинѣ ни малѣйшаго понятія. Докторъ, посѣщая госпиталь втеченіи всего только двухъ часовъ въ сутки, старается раздѣлаться и съ больными, и съ слушателями. Лечение и уходъ за больными передается лучшимъ ученикамъ, которые, въ свою очередь, передаютъ его младшимъ своимъ товарищамъ. Впрочемъ, и изъ лучшихъ учениковъ, окончившихъ въ госпитальной школѣ полный курсъ, не менѣе 30% ежегодно проваливаются на экзаменахъ въ University College, т. е. при-

знаются рѣшительно негодными къ медицинской практикѣ уже послѣ того, какъ они, быть можетъ, нѣсколько лѣтъ практиковали въ одномъ изъ лучшихъ госпиталей, привлекающихъ къ себѣ многочисленныхъ больныхъ громкими именами врачей, заглядывающихъ туда только на два часа въ сутки, чтобы и больныхъ осмотрѣть, и отчитать положенныя по школьному уставу лекціи.

Все это дѣлается и теперь въ лучшемъ и богатѣйшемъ лондонскомъ госпиталѣ св. Варфоломея, школа котораго получаетъ порою субсидіи изъ благотворительнаго фонда до 40,000 ф. стерл. въ годъ. Даже въ ней, по свидѣтельству того-же Джильберта, анатомическій театръ и камера для труповъ устроены такъ дурно, что онѣ заражаютъ весь госпиталь отвратительными и, конечно, ядовитыми миазмами. Легко представить себѣ, что должно было твориться въ той маленькой госпитальной школѣ, куда попалъ Дж. Г. Льюисъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, т. е. въ такое время, когда Англія, гордясь своимъ политическимъ прогрессомъ и индустриальнымъ развитіемъ, не только относилась съ постыднымъ равнодушіемъ къ безчисленнымъ неблагоприятнымъ остаткамъ дикаго средневѣкового строя въ своемъ общественномъ быту, но и держалась за эти отвратительныя курьезы, какъ за святыню. Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ пребыванія въ этой миазматической средѣ, Льюисъ бѣжалъ оттуда съ отвращеніемъ и ужасомъ; больной, раздраженный, имѣя впереди незавидную перспективу торговаго прилавка, какъ единственнаго убѣжища отъ грозившей ему, а, можетъ быть, ужъ и извѣданной, крайней нищеты и безпомощности.

Мы совершенно не знаемъ, какимъ путемъ ему удалось достать первую литературную работу. Работа эта во всякомъ случаѣ была очень скромной и не отвѣчала той блестящей роли, которую ему суждено было играть позднѣе на томъ-же литературномъ поприщѣ. Большая часть его произведеній этой первой эпохи осталась, какъ говорится, покрытою мракомъ неизвѣстности. Онъ подписывалъ ихъ вымышленными именами или не подписывалъ вовсе, признавая вполнѣ основательно, что онъ еще былъ недостаточно вооруженъ, чтобы явиться на умственномъ поприщѣ съ поднятымъ забраломъ. Онъ жадно хотѣлъ учиться, а не поучать другихъ. Онъ писалъ театральныя хроники въ грошевыхъ газе-

тахъ и чуть-было окончательно не пристрастился къ театру, къ которому питалъ нѣкоторую склонность до конца своихъ дней, вѣроятно, благодаря воспоминаніямъ своего ранняго дѣтства. Но впоследствии Льюисъ выработалъ себѣ очень серьезное отношеніе къ англійской сценѣ, которую онъ находилъ въ жалкомъ состояніи. Англія имѣетъ превосходныхъ актеровъ, воспитанныхъ на Шекспирѣ, и залы лондонскихъ, ливерпульскихъ, манчестерскихъ и другихъ театровъ всегда полны. Но нельзя-же втеченіи трехъ вѣковъ наслаждаться однимъ только Шекспиромъ, и мы, дѣйствительно, видимъ, что на лучшихъ англійскихъ сценахъ, послѣ „Гамлета“ и „Короля Лира“, превосходнымъ актерамъ приходится при роскошнѣйшей обстановкѣ играть пародіи такихъ французскихъ драмъ и комедій, которыя лѣтъ тридцать тому назадъ уже считались отжившими свое время на парижскихъ бульварныхъ сценахъ. Англійскіе театральные предприниматели и директоры держатся еще относительно драматическихъ писателей тѣхъ пріемовъ, которые во всей Европѣ были въ ходу въ XVI и XVII ст., т. е. смотрятъ на нихъ, какъ на ремесленниковъ. При каждой труппѣ имѣется свой шакеръ, „дѣлатель“ подлежащихъ представленію пьесъ, по большей части французъ, нещадно искажающій преимущественно устарѣвшія драмы своихъ соотечественниковъ, пользовавшихся громкою извѣстностью на парижскихъ бульварныхъ театрахъ временъ буржуазной монархіи и короля „Груши“ (Луи-Филиппа). Драммы эти, посредственныя и въ самомъ подлинникѣ, обыкновенно еще искажаются умышленно англійскими передѣльвателями, отчасти для того, чтобы лучше принаровить ихъ къ грубымъ вкусамъ публики, но главнѣйшимъ образомъ для того, чтобы избѣжать необходимости платить иностраннымъ авторамъ за право перевода ихъ произведеній. Въ такомъ положеніи сценическое искусство пребываетъ въ Англіи и до сихъ поръ. Мы узнаемъ изъ газетъ, что въ текущемъ году лондонское общество съ восторгомъ присутствуетъ на представленіяхъ „Ліонскаго курьера“, сантиментальной трагедіи въ восьми или десяти актахъ, имѣвшей огромный успѣхъ на парижскихъ сценахъ около полувѣка тому назадъ.

Льюисъ еще съ молодыхъ лѣтъ принималъ очень близко къ сердцу это крайне жалкое положеніе сценическаго искусства въ своемъ отечествѣ. Рано освоившись съ французскою литературою и французскими нравами, онъ обладалъ болѣе утонченными вкусами въ

этомъ дѣлѣ, чѣмъ большинство англійскихъ записныхъ театраловъ, а потому сценическія замѣтки, писанныя имъ, когда ему не было и двадцати лѣтъ отъ рода, были замѣчены и представляли для лондонскихъ читателей нѣкоторый интересъ. Самъ же Льюисъ помышлялъ о томъ, чтобы не только въ качествѣ оцѣнщика чужихъ произведеній служить дѣлу возрожденія драматическаго искусства на родинѣ Шекспира и Шеридана. Онъ задумывалъ планы обширныхъ драмъ; но его мучило сознаніе неудовлетворительности своего первоначальнаго образованія, и онъ жадно стремился пополнить этотъ пробѣлъ, не щадя никакихъ усилій. Съ особенною любовью брался онъ за безыменные компилятивныя работы многочисленныхъ въ Англій популярныя научныхъ и учебныхъ изданій. Ему рано удалось сдѣлаться однимъ изъ неутомимѣйшихъ сотрудниковъ извѣстной энциклопедіи Найта (Knight's Cyclopaedia), съ которою онъ долго не разлучался потомъ и для которой впервые была написана имъ его „Жизнеописательная исторія философіи“, впоследствии переработанная имъ нѣсколько разъ и сдѣлавшаяся капитальнѣйшимъ его произведеніемъ.

Такимъ-то образомъ, молодой Льюисъ, обратившись въ безыменнаго сотрудника справочныхъ словарей, имѣлъ возможность учиться, т. е. обогащаться самыми разнообразными книжными свѣденіями, сгруппированными въ совершенно случайномъ порядкѣ, и въ то-же время окупать этимъ плодотворнымъ для него трудомъ свое скромное юношеское существованіе. Благодаря необычайной жизненности и воспримчивости его ума, этотъ далеко неудовлетворительный методъ самообученія давалъ драгоценные результаты. вмѣстѣ съ тѣмъ ему удалось, нѣсколько обезпечивъ себя съ денежной стороны, предпринять поѣздку въ Германію, гдѣ онъ мечталъ окончить столь неудачно начатый имъ въ Лондонѣ курсъ медицины. Проекту этому, однакожъ, не суждено было завершиться вождѣннымъ успѣхомъ. Нервная, впечатлительная натура Льюиса, однажды оскорбленная безобразіемъ лондонскаго госпиталя, не могла уже примириться съ отталкивающимъ внѣшней обстановкою анатомическаго театра и хирургической клиники. За-то въ Германіи онъ быстро усвоилъ себѣ основательное естественно-научное образованіе, ставшее потомъ подкладкою всей его умственной и публицистической дѣятельности. Двухъ лѣтъ

правильныхъ занятій въ одномъ изъ нѣмецкихъ университетовъ оказалось достаточно для того, чтобы отрывочно и случайно нахватавша свѣденія улеглись въ стройномъ порядкѣ въ этой головѣ, щедро одаренной природою. Убѣдившись, что медицинское поприще для него навсегда закрыто, Льюисъ возвратился въ Лондонъ съ твердою рѣшимостью не покидать того литературнаго пути, на которомъ онъ уже успѣлъ завоевать себѣ довольно прочное положеніе.

Онъ оставилъ свою туманную родину въ 1838 г., когда ему было немногимъ болѣе двадцати лѣтъ. Но онъ не бѣжалъ изъ нея, какъ Байронъ, проникнутый презрѣніемъ и ненавистью къ этой странѣ парадоксовъ, общественной несправедливости и подавляющаго сплина. Онъ отправился въ гремѣвшую тогда на весь міръ своею ученою славою Германію для того, чтобы овладѣть орудіемъ, которое съ дѣтства манило его къ себѣ, — орудіемъ знанія и мысли, при помощи котораго онъ замышлялъ преобразовать непривлекательный общественный и умственный бытъ своихъ земляковъ. Въ началѣ сороковыхъ годовъ мы снова находимъ его въ Лондонѣ, уже готоваго къ битвѣ, но, повидимому, еще незнающаго, съ какой стороны начать задуманное имъ дѣло обновленія и возрожденія. Съ удвоенной энергіей онъ принимается снова за прежніе свои журнальные и компилятивныя труды. Едва-ли существовалъ въ цѣломъ Лондонѣ хоть одинъ, сколько-нибудь приличный литературный органъ, въ которомъ Льюисъ не помѣстилъ-бы нѣсколькихъ замѣтокъ по самымъ разнообразнымъ предметамъ научнаго, критическаго и чисто-общественнаго характера. До конца своихъ дней онъ часто бывалъ вынужденъ прибѣгать къ гостепріимству этихъ журналовъ изъ чисто-экономическихъ расчетовъ. По англійскому обыкновенію, большая часть его статей выходили въ свѣтъ безъ подписи имени автора, которымъ, впрочемъ, никто не интересовался.

Антони Тролопъ, — безспорно вполне компетентный судья въ подобныхъ дѣлахъ, — свидѣтельствуетъ, что Льюисъ въ высшей степени былъ одаренъ тѣмъ, чего не достаетъ очень многимъ почетнымъ мыслителямъ и писателямъ, т. е. рѣзкою, живою, привлекательною самобытною и замѣчательнымъ юморомъ. Можетъ показаться страннымъ на первый взглядъ, что, при этихъ качествахъ онъ долго остается совершенно незамѣтнымъ журналь-

нымъ компиляторомъ, умнымъ и добросовѣстнымъ, но непредставляющимъ рѣшительно ничего выдающагося, блестящаго. Вѣроятно, очень скоро, спекулируя на значительно позже сложившуюся литературную репутацію Льюиса, его друзья и наслѣдники соберутъ всюду разбѣянные его произведенія и издадутъ ихъ въ свѣтъ отдѣльною книгою. Сомнительно, однакожь, чтобы это изданіе прибавило что-нибудь существенное къ заслугамъ почтеннаго автора. Самъ онъ по крайней мѣрѣ очень мало цѣнилъ свои юношескіе журнальные труды, не обратившіе на себя ничего серьезнаго вниманія. Въ сороковыхъ годахъ Льюисъ былъ совершенно безличною „полезностью“ лондонскаго журнальнаго міра. Для начинающаго писателя едва-ли есть что-либо безотраднѣе этой скромной и крайне неблагодарной роли. Очутившись въ ней, молодой человѣкъ двадцати трехъ или четырехъ лѣтъ отъ рода въ большей части случаевъ долженъ бываетъ себѣ сказать, что ему отъ природы не достаетъ того, чѣмъ заманчива литературная дорога для всякаго начинающаго юнаго дарованія. Добывая свой насущный хлѣбъ почти ежедневною бесѣдою съ публикою о самыхъ разнообразныхъ предметахъ, какъ, казалось бы, не обмолвиться, хотя ненарокомъ, двумя-тремя вдохновенными страницами, въ которыхъ-бы рѣзко и ярко отразилась личность писателя со всѣмъ тѣмъ, что въ ней есть живого, страстнаго, цѣльнаго, заслуживающаго остановить на себѣ сочувственное вниманіе читателя. А между тѣмъ съ Льюисомъ было именно такъ; и было такъ именно потому, что онъ рано и вѣрно намѣтилъ себѣ то направленіе, въ которомъ впоследствии ему удалось оказать и своимъ соотечественникамъ, и даже отдаленнымъ иностранцамъ очень существенныя и цѣнныя услуги. Его манила съ молодыхъ лѣтъ не громкая слава писателя, покупаемая, при блестящемъ дарованіи, немногими смѣлыми и удачными страницами. Для пріобрѣтенія такой славы, ему, дѣйствительно, достаточно-бы было дать только свободный ходъ своему замѣчательному таланту остроумнаго и оригинальнаго рассказчика. Но онъ хотѣлъ быть тѣмъ, что мы выше назвали, — учителемъ общества, популяризаторомъ знаній въ средѣ его. Его мучила и не шутя сокрушала та до-нельзя скудная роль, которую вопросы и выводы науки и мысли играли въ средневѣковомъ быту его соотечественниковъ. Его лично-умственная и художественная среда при-

тягивала къ себѣ неудержимыми влеченіями; но онъ не хотѣлъ уходить въ нее, какъ въ монастырь, оставляя своихъ, недоступныхъ этому свѣтлому стремленію, согражданъ коснѣть въ своемъ самодовольномъ отчужденіи отъ науки и мысли. Создать вокругъ себя, въ безцвѣтной обыденной жизни, потребную для него свѣтлую и осмысленную среду. — такова была съ самыхъ юношескихъ лѣтъ его главнѣйшая жизненная задача! Съ нею онъ соразмѣрялъ свои силы и весьма естественно долженъ былъ преувеличивать въ собственныхъ своихъ глазахъ несостоятельность этихъ силъ передъ поставленными имъ цѣлями. Учиться для того, чтобы учить другихъ, было для него самою настоятельною необходимостью. Вмѣсто того, чтобы давать просторъ своему художественному дарованію и юмору, онъ утомлялъ себя непрерывною работою въ архивной пыли ветхихъ книгохранилищъ и справочныхъ словарей. Экономическая необходимость одна заставляла его дѣлиться преждевременно съ публикою своими ученическими записками и школьными тетрадками. Вся энергія и самобытность его природы тратились въ это время на то, чтобы устоять въ тяжеломъ искусствѣ и не дать себя совратить съ однажды избраннаго имъ поприща.

Льюисъ много исписалъ печатныхъ листовъ всевозможными „влеченіями изъ прочитаннаго“, прежде чѣмъ ему удалось показать нѣкоторымъ своимъ друзьямъ то, что самъ онъ считалъ первымъ своимъ литературнымъ произведеніемъ. Это была трагедія изъ испанской жизни, озаглавленная „Noble heart“ („Благородное сердце“) написанная въ стихахъ и оконченная имъ въ часы досуга отъ компилятивныхъ своихъ работъ въ 1841 или въ 1842 г. Сантиментальное заглавіе, испанскія имена дѣйствующихъ лицъ и стихотворная форма этой трагедіи заставляютъ предполагать, что она была плодомъ напыщеннаго, восторженнаго лиризма, трудно примиримаго съ тѣмъ критическимъ и серьезнымъ направленіемъ, съ тѣмъ сочувствіемъ къ обыденной жизни, которое мы замѣчаемъ въ Льюисѣ чуть не съ отроческихъ лѣтъ. Предположеніе это, однакожь, вовсе не оправдывается самою трагедіею. Прежде всего она написана стихомъ настолько художественнымъ и звучнымъ, что ее отнюдь невозможно считать неудачною юношескою попыткою. Впослѣдствіи Льюисъ никогда уже больше не писалъ или по крайней мѣрѣ не издавалъ стиховъ;

но и это первое его произведеніе достаточно показываетъ, что въ началѣ своей карьеры онъ былъ далеко не дюжиннымъ рифмоплетомъ. Въ своемъ посвященіи „Благороднаго сердца“ своему другу Хельпсу, онъ объясняетъ, что не необузданное воображеніе занесло его въ эту, столь мало свойственную положительному направленію новѣйшаго времени, область доновъ Гомесовъ и доній Эльвиръ, говорящихъ о благородныхъ чувствахъ звучными бѣлыми стихами, а серьезная мысль осмыслить и возстановить упавшее драматическое искусство. Англійская сцена въ полномъ разложеніи—жалуется Льюисъ своему другу, — и болѣе другихъ ея отраслей упала та сценическая литература, которая должна и могла-бы быть самою вліятельною школою осмысленной и облагороженной жизни. Классическія произведенія сценическаго искусства выставляють на показъ публики идеалы иного времени, совершенно непригодные въ новѣйшемъ быту и неспособные оказывать руководящее вліяніе на современнаго зрителя. Новыя пародіи французскихъ драмъ, рассчитанныя на внѣшній эффектъ, потрясающія нервы, но оставляющія сердце и умъ совершенно незатронутыми, дѣлають изъ театра балаганъ и только льстятъ предразсудкамъ толпы. Литература лицежритъ передъ обществомъ, не смѣетъ даже говорить съ нимъ тѣмъ языкомъ, которымъ говорятъ между собою развитые порядочные люди; циничность содержанія или полную свою бессодержательность она прикрываетъ чопорными, натянуто-цѣломудренными фразами. Всему этому надо положить конецъ; надо изъ театральнаго подмостковъ сдѣлать родъ форума или кафедры, съ которой труженики мысли сообщали-бы публикѣ въ художественной и популярной формѣ плоды своихъ трудовъ, выставляя ей на видъ не отжившіе, не ходульные идеалы. Въ этихъ-то видахъ написана первая и единственная трагедія Льюиса, герой которой, донъ Гомесъ, долженъ выразить собою типъ идеально-благороднаго челоука по современнымъ понятіямъ. Трагедія перенесена въ испанскую обстановку XVI столѣтія потому, что въ дѣлѣ поученія публики ничѣмъ не слѣдуетъ пренебрегать, ни даже внѣшнимъ эффектомъ, блескомъ костюмовъ и декорацій, которыя пріятно развлекають глазъ и избавляють зрителя отъ утомленія. Для созданія этой трагедіи Льюисъ весьма тщательно изучилъ испанскій языкъ и классическій театръ. Прежде, чѣмъ ему удалось до-

биться постановки на сцену „Благороднаго сердца“, Льюисъ издалъ въ свѣтъ свои изслѣдованія объ испанской драмѣ, имѣвшія въ публикѣ порядочный успѣхъ и составленныя, дѣйствительно, умно и съ большимъ знаніемъ дѣла.

Мы не станемъ разбирать самой трагедіи, такъ-какъ самыя благія намѣренія, руководившія авторомъ, но нуждающіяся въ особомъ коментаріи для того, чтобы быть понятыми, служили уже достаточною причиною ея неудачи. Въ чтеніи она очень много теряетъ отъ того, что предназначалась авторомъ для сцены; а для представленія на сценѣ оказалась рѣшительно непригодною потому, что въ Льюисѣ не было даже элементарнаго знакомства съ техникою драматическаго искусства. Звучность стиха не могла искупить неумѣлости обрисовки характеровъ. Несотвѣтствіе между намѣреніемъ и исполненіемъ, между мыслью и сценическимъ развитіемъ производили въ цѣломъ непріятное, утомительное впечатлѣніе. Самому благодушно настроенному зрителю становилось досадно на автора за то, что онъ тратилъ свои благія намѣренія и свое несомнѣнное дарованіе на поприщѣ, къ которому его настойчивая умственная работа и его упорный кабинетный трудъ служили очень непригодною подготовкою. Добиться постановки на сцену „Благороднаго сердца“ было нелегко; но тутъ-то Льюисъ и показалъ, что въ его жилахъ течетъ чисто британская кровь, не нейтрализованная французскимъ вліяніемъ, столь рано отразившимся на его воспримчивомъ умѣ. Мѣрзя достоинство своей трагедіи количествомъ труда, затраченнаго на ея сочиненіе, Льюисъ хотѣлъ, во что-бы то ни стало, добиться представленія „Благороднаго сердца“ на сценѣ, и это удалось ему не раньше, какъ послѣ восьми лѣтъ упорныхъ хлопотъ и усилій. Въ столицѣ онъ не имѣлъ шансовъ на успѣхъ, а потому ѣдетъ въ провинцію, заводитъ новыя знакомства и связи; наконецъ, самъ становится актеромъ. Только подъ этимъ послѣднимъ условіемъ испанская трагедія Льюиса могла быть, наконецъ, исполнена на манчестерскомъ и ливерпульскомъ театрахъ въ 1849 г. Авторъ самъ игралъ въ ней главную роль дона Гомеса, но мы рѣшительно не имѣемъ никакихъ свѣденій о томъ, насколько Льюисъ былъ хорошимъ актеромъ. Во всякомъ случаѣ, на театральныя подмостки онъ вступилъ только въ этомъ единственномъ случаѣ

и въ чужихъ пьесахъ не игралъ никогда, кажется, даже въ качествѣ любителя.

Успѣхъ „Благороднаго сердца“ вовсе не отвѣчалъ ожиданіямъ автора. Трагедія эта, выдержавъ небольшое число представленій, была забыта совершенно. Въ 1851 г. Льюисъ напечаталъ ее, но она и въ чтеніи производила очень слабое впечатлѣніе. Льюисъ сдѣлалъ, однако, еще одну попытку на сценическомъ поприщѣ и въ томъ-же 1851 году явился передъ публикою со своею единственною комедіею „Game of speculation“. Въ техническомъ отношеніи онъ многому успѣлъ научиться, и комедія его, кажется, до сихъ поръ осталась на англійской сценѣ; во всякомъ случаѣ, она имѣла весьма порядочный успѣхъ. Но Льюиса успѣхъ этотъ далеко не удовлетворилъ. Комедія его бѣдна внутреннимъ содержаніемъ и могла имѣть только очень отдаленное и косвенное отношеніе къ тому просвѣтленію обыденной жизни лучами науки и мысли, которое Льюисъ всегда считалъ своею существенною задачею. Повидимому, онъ самъ признавалъ слабую сторону этого труда, а потому и пустилъ его въ свѣтъ подъ вымышленнымъ именемъ „Slings by Lawtence'a“; но любопытство публики было затронуто, и настоящее имя автора стало скоро извѣстнымъ не въ однихъ только лондонскихъ журнальныхъ кружкахъ. Успѣхъ комедіи Льюиса долженъ былъ убѣждать автора, что онъ способенъ развлекать публику своими сценическими произведеніями, но онъ хотѣлъ вовсе не этого, а потому насъ нисколько не удивляетъ, что послѣ этой относительно счастливой попытки онъ уже навсегда отказался отъ сценической литературы, хотя и оставался театральнымъ критикомъ до самаго конца своихъ дней.

Въ десятилѣтіе между этими двумя своими драматическими произведеніями, т. е. между 1841 и 1851 г., Льюисъ испыталъ свои силы на другомъ изящно-литературномъ поприщѣ. О первомъ его романѣ „Rose, Blanche and Violet“ мы не можемъ сказать рѣшительно ничего, такъ-какъ намъ не удалось достать этотъ первый опытъ начинающаго романиста. Впрочемъ, одно то уже, что романъ этотъ совершенно кануль въ Лету два или три года спустя послѣ своего появленія и потому уже никогда не выплывалъ изъ нея, несмотря на громкую извѣстность, которую авторъ спискалъ себѣ на другомъ поприщѣ, избавляетъ насъ отъ

труда вдаваться въ дальнѣйшія изслѣдованія его судьбы. Мы не знаемъ, каковы были намѣренія автора, но можемъ съ полною основательностью сказать, что исполненіе и тутъ не отвѣчало намѣреніямъ. Другой романъ Льюиса, „Ранторпъ“ („Ranthorpe“), появившійся почти одновременно съ первымъ въ 1848 г., имѣлъ нѣсколько лучшую участь. Онъ выдержалъ два или три англійскихъ изданія и вскорѣ былъ переведенъ на нѣмецкій языкъ. Тролопъ утверждаетъ, будто многія англійскія леди и миссъ, никогда небравшія въ руки ни „Жизнеописательной исторіи философіи“, ни „Физиологіи обыденной жизни“, до сихъ поръ знаютъ Льюиса только какъ творца этого, во всякомъ случаѣ очень посредственнаго романа. Въ „Ранторпѣ“ Льюисъ пытается продолжать то, что начато имъ въ „Благородномъ сердцѣ“, т. е. рисовать будто-бы жизненными чертами и красками людей съ сильнымъ характеромъ и съ благородными стремленіями, руководящихся не отжившими идеалами и не правилами прописной морали. Но героевъ своихъ Льюисъ беретъ не изъ дѣйствительной жизни, а придумываетъ изъ собственной головы, вслѣдствіе чего его романъ представляетъ въ сильнѣйшей степени тѣ недостатки, за которые онъ-же самъ упрекаетъ Дикенса, т. е. служить отраженіемъ не жизни, а вымышленной фантастической среды. У Дикенса въ сантиментальномъ или юмористическомъ туманѣ движутся по крайней мѣрѣ образы, всецѣло вырванные изъ животрепещущей дѣйствительности, съ необыкновеннымъ искусствомъ затрогиваются самые практическіе и насущные вопросы дня. Въ „Ранторпѣ“ мы не встрѣчаемъ ничего подобнаго и признаемъ въ немъ Льюиса только по отсутствію той литературной чопорности, лицемерія и уступчивости самымъ неблагоприятнымъ воззрѣніямъ публики, въ которыхъ Льюисъ, въ своемъ посвященіи „Благороднаго сердца“ Хельпсу, совершенно законно и основательно упрекаетъ модную англійскую литературу своего времени. Романъ этотъ можетъ привлекать и до сихъ поръ нѣкоторыхъ англійскихъ читательницъ своею рѣзкостью болѣе, чѣмъ оригинальностью, но достоинства его чисто отрицательныя; прочитавъ его, мы не составимъ себѣ ни малѣйшаго понятія о томъ, чѣмъ отличается его авторъ отъ довольно значительнаго числа тѣхъ искреннихъ и неглупыхъ романистовъ, которымъ тоже съ давнихъ поръ уже опротивѣлъ англійскій застои съ его бездушіемъ, ли-

цѣлѣнствомъ и ханжествомъ. Остановливаясь на подобныхъ произведеніяхъ позволительно было-бы только въ такомъ случаѣ, еслибы мы не знали за Льюисомъ цѣлаго ряда трудовъ, гораздо болѣе заслужившихъ всеобщее вниманіе и внесшихъ въ сокровищницу міроваго умственного развитія не одну дѣйствительно цѣнную ленту. Льюисъ оставляетъ романическое поприще такъ же скоро, какъ онъ оставилъ сценическую литературу для романа. Дѣло въ томъ, что онъ умственно и нравственно зрѣлъ и росъ по мѣрѣ того, какъ подвигались впередъ тѣ, чисто компилятивныя работы, которыхъ у него всегда было множество и которыми однѣми онъ продолжалъ окупать свою скромную, труженническую холостую жизнь. Льюисъ былъ одаренъ замѣчательнымъ художественнымъ дарованіемъ: въ этомъ не усомнится тотъ, кто прочелъ хоть одну страницу его лучшихъ, т. е. ученыхъ трудовъ. Но чтобы быть сколько-нибудь замѣтнымъ художникомъ, одного дарованія еще не достаточно. Льюисъ-же хотѣлъ учиться только одному: науцѣ въ самомъ живомъ и лучшемъ значеніи этого слова. Эту свою главную и единственную цѣль онъ преслѣдовалъ съ неутомимой настойчивостью даже тогда, когда передъ нимъ открывалась возможность комфортабельно отдохнуть на лаврахъ комика и романиста. Въ его лучшихъ литературныхъ произведеніяхъ художникъ слишкомъ робокъ и стѣсненъ предъ лицомъ мыслителя, а самъ мыслитель еще не созрѣлъ. Въ отдѣльныхъ историческихъ монографіяхъ, написанныхъ въ это-же самое время и явившихся въ „Edinburgh“ или въ „British quarterly Review“, художественная и мыслительная натура Льюиса идутъ уже рука объ руку. Художникъ не конфузится предъ мыслителемъ, хотя почтительно подчиняется ему. Мыслитель уже твердо стоитъ на своихъ ногахъ и служитъ надежнымъ и смѣлымъ руководителемъ своему спутнику. Біографическій очеркъ Джордано Бруно, появившійся первоначально въ одномъ изъ поминутыхъ періодическихъ изданій, читается съ большимъ интересомъ, чѣмъ любой романъ, но въ то-же самое время авторъ не впадаетъ въ историческій дилетантизмъ. Предъ поэтической, глубоко-человѣчною въ самыхъ своихъ слабостяхъ, фигурою неаполитанскаго мученика, Льюисъ ни на минуту не забываетъ той современной „common life“ (обыденной жизни), на служеніе которой онъ себя посвятилъ. Проникнутый искреннею любовью и неподдѣльнымъ уваженіемъ къ

этому бойцу, смѣло сходящему на костеръ безъ надежды, безъ иллюзій, съ однимъ только сознаниемъ своей правоты, Льюисъ, однако, не падаетъ ницъ къ его ногамъ, а скромно спрашиваетъ его: „съ твоимъ величїемъ и дарованїемъ, съ твоею непреклонностью, чуждою всякаго фанатизма, что сдѣлалъ ты для живого торжества человѣчности надъ животностью? Что завѣщалъ ты цѣннаго нашей обыденной жизни, внѣ которой все—тлѣнъ и суета, маскарадный нарядъ, шумиха, фанатическое самооблаженіе?..“

Менѣе интересны для насъ его чисто-историческія біографіи. изъ числа которыхъ „Жизнь Робеспьера“, появившаяся въ 1848 году, имѣла вполне заслуженный успѣхъ, благодаря не одному только талантливому изложенію, но также и безпристрастной опредѣленности воззрѣній автора на этого замѣчательнаго дѣятеля великой эпохи.

II.

Тролопъ совершенно справедливо замѣчаетъ о своемъ другѣ, что въ то время, когда онъ выступалъ передъ публикою въ качествѣ журналиста, критика, драматурга, онъ за кулисами, такъ-сказать, превращался въ ученаго и въ особенности въ философа. Льюисъ сильно нападалъ на тѣ безчисленные злоупотребленія, которыя въ англійскомъ, даже ученомъ языкѣ дѣлаютъ изъ слова *философъ*. Нельзя не замѣтить, что, дѣйствительно, англичане одни въ цѣлой Европѣ остались вѣрны еще и до сихъ поръ средне-вѣковой научной терминологіи. На языкѣ ихъ докторъ остается еще *физикомъ* (physician), а философіею считается все то, до чего нѣтъ дѣла практическому джентльмену изъ торговыхъ рядовъ. Даже всякій инструментъ, неимѣющій непосредственнаго приложенія къ дѣлу обмѣриванія и обвѣшиванія своего ближняго, — будь то микроскопъ или просто циркуль, — называется у нихъ философскимъ инструментомъ. Въ этомъ, конечно, нѣтъ еще большой бѣды. Что имя? Звукъ пустой! Однакожь, если множество очень разнообразныхъ вещей смѣшиваются подъ однимъ и тѣмъ-же названіемъ, то мы изъ этого вправѣ заключить, что и самими этими вещами интересуются мало, интересуются рѣдко и интересуются только тѣ немногіе избранники, которые и черезъ всякую путаницу словъ съумѣютъ все-же добраться до вразумительной сущности дѣла.

Что общаго, на-примѣръ, между очень практической операціею опредѣленія долготы и широты при помощи секстанта и между ученіемъ какого-нибудь Фалеса, глубокомысленно утверждавшаго, будто весь міръ видимый и невидимый происходитъ изъ воды? Конечно, общаго только то, что ни геодезическая операція опредѣленія долготы и широты, ни тяжеловѣсная метафизическая чепуха Фалеса не имѣютъ тѣснаго, замѣтнаго на всякій взглядъ соприкосновенія съ обыденною жизнью. Этого одного совершенно достаточно для того, чтобы очень фешенебельный, пожалуй, даже очень образованный англичанинъ окрестилъ и то, и другое общимъ именемъ философіи. Слѣдовательно, философія, по понятіямъ людей, вполне удовлетворяющихся подобнымъ языкомъ, есть все то, до чего обыденной жизни нѣтъ никакого дѣла. Англичанинъ, знающій основательно, что его предки временъ Іоанна Безземельнаго держались такого опредѣленія философіи, однакожь, завѣщали ему великую хартію, что его предки временъ королевы Елисаветы относились къ философіи точно такъ же, однакожь, создали всесвѣтное морское владычество его отечества, — имѣть героизмъ откровенно заявлять, что и онъ не думаетъ относиться къ философіи и къ философамъ иначе, какъ съ-высока, платонически. Онъ даже наивно убѣжденъ, что подобная откровенность заключаетъ въ себѣ нѣкоторое величіе духа и состоитъ въ непосредственной связи съ фактомъ обладанія великою хартіею и всесвѣтнаго владычества надъ морями. Онъ не презираетъ философовъ; онъ даже готовъ гордиться, что въ его отечествѣ нарождались порою эти загадочные дѣятели, что имена Бэкона, Гобса, Юма и пр. произносятся съ уваженіемъ даже глубокомысленный нѣмецъ и вѣтренный французъ. Но что дѣлали джентльмены, носившіе эти почтенныя имена, — джентльменъ изъ торговаго ряда этого не знаетъ и не хочетъ знать. Онъ ѣсть ростбифъ, пьетъ портвейнъ и эль, торгуетъ въ Сити, спекулируетъ въ Lombard street и изрѣдка готовъ дать шилингъ на преуспѣваніе какого-нибудь предпріятія, котораго пользы онъ не въ силахъ усмотрѣть и которое потому самому онъ и считаетъ за философское. Шилингъ онъ даетъ въ смутномъ чаяніи, что, быть можетъ, это то именно предпріятіе и обогатитъ Британію новымъ именемъ изъ такихъ, которыя съ почетомъ будутъ произноситься на континентѣ. Но что-же нужно дѣлать англичанину для того, чтобы его имя съ почетомъ произносилось на

Континентъ: нужно-ли для этого опредѣлять широты и долготы при помощи какихъ-то мудреныхъ инструментовъ, или же нужно говорить, что весь міръ произошелъ изъ воды? — до этого почтенному джентльмену изъ Сити опять-таки нѣтъ никакого дѣла. Онъ шилингъ далъ и поетъ: „Rule Britannia the vages..“

Эта откровенность англичанъ, дѣйствительно, въ высшей степени своеобразна. Всѣ другія европейскія страны давно уже ввели въ свой обычный разговорный языкъ такое обиліе философскихъ или научныхъ словъ, какъ-будто понятія, подразумеваемые подъ этими словами, встрѣчаются въ ихъ обиходъ каждый день и каждый часъ. Это явленіе, конечно, должно-же имѣть какую-нибудь причину, и эта причина, по нашему мнѣнію, кроется въ томъ, что у большинства европейцевъ великая хартия и всесвѣтное владычество еще въ будущемъ, а потому они и стараются усвоить себѣ какъ можно скорѣе языкъ этого будущаго; тогда какъ гордый Джонъ Буль умышленно говорить языкомъ давно отжившаго прошлаго, которое въ сущности давно уже ему самому перестало быть дорогимъ. Если мы перешагнемъ черезъ эти форменныя отлички и прямо поставимъ себѣ вопросъ: въ Англии или на континентѣ данныя науки и мысл находятъ себѣ наиболѣе широкое примѣненіе въ обыденной жизни?—то мы встрѣтимся съ такими усложненіями, которыя не легко распутать въ немногихъ словахъ. Континентальная Франція безспорно перешеголяла всю остальную Европу тѣмъ, что она *умствуеетъ быстро и умно живетъ*, но за-то въ ней-же мы найдемъ такія уклоненія отъ этого преобладающаго историческаго ея направленія, которыхъ не представляетъ ни самодовольная въ своемъ чрезмѣрно-будничномъ настроеніи Англія, ни даже сама ученѣйшая Германія, такъ основательно упрятавшая въ книги весь продуктъ своей мыслительной способности, что для житейскаго обихода его уже и не остается у нея вовсе. Сравнительно-географическія изслѣдованія въ этомъ направленіи были-бы далеко не лишены интереса. Но если мы не захотимъ ограничиться однимъ повтореніемъ общихъ мѣстъ, то вынуждены будемъ слишкомъ отклониться отъ героя этого некрологическаго очерка, т. е. отъ Льюиса, который потому и представляется дѣйствительнымъ героемъ въ нашихъ глазахъ, что онъ посвятилъ всѣ свои недюжинныя силы на прекраще-

нѣ нелѣпаго и убыточнаго для всѣхъ разлада философіи и обыденности. Разладъ этотъ существуетъ и долго еще будетъ существовать въ самыхъ передовыхъ европейскихъ странахъ.

Культурный историкъ или антропологъ, говоря о западныхъ европейцахъ вообще, совершенно вѣрно утверждаетъ, что они представляютъ собою человѣческій типъ въ самомъ его отдаленномъ развитіи. Это еще не значить, будто развитію этому дальше уже идти некуда; а значить только, что изъ всѣхъ исторически-установленныхъ ступеней постепеннаго движенія, отъ первоначальной дикости къ недостигнутому нигдѣ идеалу человѣчности, нами пережиты уже тѣ, на которыхъ остановились въ большемъ или меньшемъ отдаленіи другъ отъ друга всѣ извѣстные намъ народы. Нѣтъ нужды, что какіе-нибудь индѣйцы или китайцы, исторически говоря, значительно старше насъ. Начавъ значительно прежде, они или были выкинуты изъ восходящаго шествія, не передавъ забытаго ими наслѣдія другимъ достойнымъ преемникамъ, или-же истощились въ усиліяхъ перешагнуть черезъ такую ступень, черезъ которую счастливые европейцы перешагнули легко, не потерявъ ни охоты идти впередъ, ни способности къ дальнѣйшему шествію. Вся новѣйшая наука убѣждаетъ насъ, что человѣкъ не существуетъ, какъ нѣчто готовое, данное природою, но что онъ представляетъ собою продуктъ труднаго и исполненнаго драматическихъ эпизодовъ процесса прежшвеннаго совершенствованія.

Всматриваясь нѣсколько ближе въ процессъ міроваго движенія, мы замѣчаемъ прежде всего, что путь, проходимый нами отъ варварства къ высшимъ стадіямъ человѣческой культуры, усыпанъ вовсе не цвѣтами. Нѣтъ, это глухая, суровая дебрь, которую сами-же шествующіе должны съ тяжелымъ трудомъ обращать въ доступную для человѣческаго шага дорогу. Шествующіе по этой трудной дорогѣ весьма естественно не могли или не умѣли забраться такъ далеко впередъ, сохраняя въ своихъ рядахъ стройный порядокъ, подобающій величавой процесіи: одинъ уцѣпилъ ногами за скалистый утесъ, терзается колючимъ терновникомъ и не видитъ, что тутъ-же, подлѣ него, проходитъ удобная колея; другой стремглавъ летитъ внизъ, столкнутый своимъ болѣе ловкимъ и сильнымъ сверстникомъ; здѣсь два, встрѣтившіеся на узкомъ проходѣ противника, истощаются въ отчаянной борьбѣ надъ про-

пастью, въ которой оба должны погибнуть при первомъ неловкомъ движеніи; тотъ, будучи поднять всеобщимъ движеніемъ на недоступную для него самого высоту, дико озирается и не можетъ понять, какъ очутился онъ на ней и что ему слѣдуетъ предпринять среди окружающей его суеты и движенія... Немного счастливецъ, отдающихъ себѣ опредѣленный отчетъ, откуда они пришли, что помогло имъ взобраться на эту высоту, какъ удержаться на ней, не мѣшая никому, а, напротивъ, помогая всеобщему успѣшному шествію... Культурный историкъ или антропологъ, удобно помѣстясь на безмятежной скалѣ научной созерцательности, снисходительно смотритъ на эту драматическую давку и борьбу, даже не считая свалившихся въ пропасть. По мальтусовымъ прогрессіямъ онъ разсчиталъ, что всѣмъ состязающимся все равно не оказалось-бы мѣста на слѣдующей высшей ступени. „Такъ плодовиты, — глубокомысленно замѣчаетъ онъ, — что своимъ дыханіемъ небо закоптятся, если-бы всѣ взобрались въ свѣтлое приволье, воображаемое ими впереди“. Да и что значить для него побѣжденный человѣкъ въ мировой борьбѣ! Развѣ *видъ* не улучшается отъ подобныхъ очистительныхъ жертвоприношеній? За участь-же *вида* онъ спокоенъ вполне; вѣдь еще хуже дрались и толкались, пока взлѣзли на эту ступень; значить и впередъ пойдутъ, очищая себѣ путь все тѣмъ-же нецеремоннымъ путемъ борьбы за существованіе. Таковъ неумолимый законъ природы!

Но не всякій способенъ сосредоточить всѣ свои помыслы на видѣ и на законахъ природы до того, чтобы не возмущаться до глубины души звукомъ человѣческихъ череповъ, разбивающихся въ дребезги объ острые камни, стопами упавшихъ и безъ пощады, даже безъ оглядки давимыхъ ногами толпы, прерывистымъ, изнуряющимъ дыханіемъ тѣхъ, кто выбивается изъ послѣднихъ силъ, чтобы не раздѣлить самому этой печальной участи... „Все это просто возмутительно, — говоритъ вслухъ иной смѣльчакъ, — да и далеко не доказано къ тому-же, чтобы именно таковъ былъ законъ природы“...

„Заключенія, выводимыя вами изъ изслѣдованій надъ дѣятельностью людей, — говоритъ онъ современному мудрецу, — могутъ быть не болѣе какъ приблизительно вѣрныя догадки. Чтобы онѣ получили достовѣрность, необходимо прежде всего,

чтобы человѣчество завершило свое полное развитіе или чтобы вы сами витали надъ человѣчествомъ, какъ вольтеровскій Микромегасъ виталъ надъ землею“. *) „Да и что такое законъ природы? Только-что освободившись отъ схоластическихъ и догматическихъ оковъ, неужели мы снова должны безропотно преклониться передъ фразой: *законы управляютъ рядами явленій*? Безспорно, это очень удобная и эластическая фраза, но вѣдь ваши законы не управляютъ въ дѣйствительности ничѣмъ или же вы обратите ихъ въ нѣчто, совершенно сходное съ отжившими метафизическими сущностями... Существуютъ факты, неуловимые въ своемъ многообразіи. Ради удобнѣйшаго ихъ подчиненія нашему уму, вполне позволительно группировать ихъ такъ, чтобы внутреннее ихъ единство выступало на видъ съ возможною наглядностью. Но такіе законы не осуждаютъ на гибель никого. Попробуемъ лучше уговорить карабкающихся впередъ, чтобы они по крайней мѣрѣ безъ нужды не топтали и не давили другъ друга. Прежде всего разслѣдуемъ, конечно, вопросъ: какъ взобрались мы на ту ступень, на которой стоимъ теперь? Прощедшее для будущаго не законъ, но оно заключаетъ въ себѣ много руководящихъ указаній для настоящаго. Оглядка — великій принципъ самыхъ большихъ, какъ и самыхъ малыхъ человѣческихъ начинаній“...

Но чуть только зашла рѣчь о прошедшемъ, какъ уже со всѣхъ сторонъ раздаются крикливые голоса. Сидя на чужихъ плечахъ, тошіе и худосочные мудрецы съ фоліантами въ рукахъ и въ головахъ заявляютъ самыя разнообразныя и противорѣчивыя притязанія. „Двадцать пять вѣковъ, — говорятъ они, — европейское человѣчество не только подвизается на этомъ многотрудномъ пути, но еще и пишетъ глубокомысленные трактаты о томъ, какъ слѣдуетъ успѣшно подвигаться на немъ. Мы только и дѣлаемъ, что изучаемъ эти трактаты во всѣхъ ихъ утонченностяхъ и мелочахъ. Отъ Ману и Капила до Шопенгауэра и Гартмана никто не изрекалъ даже самой отъявленной метафизической чепухи безъ того, чтобы мы не помѣтили ее самымъ тщательнымъ образомъ на на-

*) Андре Лефевръ въ предисловіи къ его „Religions et mythologies comparées“. Дальнѣйшія слова въ кавычкахъ не заимствованы, однакожъ, изъ этого сочиненія, хотя въ сущности французскій мыслитель излагаетъ ту-же самую мысль.

шей скрижали. Изъ высшей умственной дѣятельности двадцати пяти вѣковъ мы извлекли квинтъ-эссенцію и жизненный сокъ. Передъ нашею премудростью ничтожны и мелки всѣ науки, потому что каждая изъ нихъ вѣдаетъ только свой крошечный уголокъ вашихъ житейскихъ нуждъ и человѣческихъ стремлений. Наше-же ученіе есть наука всѣхъ наукъ, теорія всѣхъ теорій. Имя ей философія, и творецъ ея — пророкъ. Идите подъ наше знамя, и вы безпечно войдете въ чертогъ обѣтованный“.

Фоліанты въ ихъ рукахъ имѣютъ такой внушительный и почтенный видъ; содержаніе ихъ невѣдомо никому. Философы такъ величаво, презрительно относятся ко всему, кромѣ проповѣдуемаго ими спасительнаго ученія; слишкомъ поглощенные всеобщемо давою, они, конечно, и не слышатъ даже этихъ пискливыхъ голо-совъ. Но людьми болѣе спокойными и болѣе разсудительными начинается овладѣвать недоумѣніе. „Вѣдь не шуточное дѣло — двадцать пять вѣковъ. Много и упорно работала человѣческая мысль въ эти вѣка. Возможно-ли предположить, чтобы она городила одинъ только вздоръ и не выработала-бы ничего цѣннаго для насъ, пригоднаго въ нашемъ затруднительномъ положеніи? Желательно-бы узнать въ самомъ дѣлѣ, что написано въ этихъ внушительнаго вида фоліантахъ“.

Даже такой скептической и смѣлый умъ, какъ Прудонъ, не любившій брать на себя роль цехового спасителя отечества и отъ души желавшій, чтобы отечество спасало само себя, съ мужицкою своею рѣзкостью говорить (во введеніи къ Justice): „положеніе ваше скверно; но что-же вы и дѣлали съ тѣхъ поръ, какъ вступили въ эпоху такъ-называемаго просвѣщенія?“ И онъ отвѣчаетъ словами Поля-Луи Курье: „вы платили и молились. Попробуйте философствовать, авось дѣло пойдетъ лучше“.

Новѣйшее европейское общество, т. е. то, которое вышло изъ гигантскаго переворота конца прошлаго столѣтія и изъ неурядицы наполеоновскихъ войнъ, можно упрекнуть во многомъ; но совершенно несправедливо было-бы его обвинять въ сознательномъ, систематическомъ пренебреженіи мысли вообще и даже философіи въ частности. Конечно, фамусовское: „пофилософствуй — умъ вскружится“ можно еще услышать въ западной Европѣ и въ настоящее время, но развѣ отъ какого-нибудь разбогатѣвшаго лондонскаго мясника или отъ фран-

пузскаго комми-воажера, обдѣлывающаго свои дѣла подѣ могущественнымъ покровительствомъ монсиньоровъ и иезуитовъ. Но, вообще говоря, уже въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ кредитъ мысли стоялъ чрезвычайно высоко на западно-европейскихъ рынкахъ. Это, впрочемъ, легко понять: за первые пятьдесятъ лѣтъ текущаго столѣтія, западно-европейское человѣчество осуществило гораздо больше своихъ лучшихъ и прогресивныхъ задачъ, чѣмъ за какіе-нибудь пятьсотъ лѣтъ передъ тѣмъ. Безчисленныя техническія открытія измѣняли нашу обыденную жизнь съ изумительною быстротою и заставляли преклониться передъ своимъ благотворнымъ величіемъ даже самыя ограниченныя и самыя косныя умы. Всякому стало ясно, что эти техническія открытія сваливались не съ неба, что они были плодомъ вѣками накопившагося, медленно созрѣвшаго мышленія, которое будучи освобождено отъ всякаго рода средневѣковыхъ стѣсненій всего только нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, уже покрывало Европу чуть не сказочными чудесами. При видѣ того, что совершалось въ дѣйствительности, самый скептическій смертный невольно ожидалъ отъ этой благотворной мысли осуществленія еще большихъ чудесъ въ будущемъ и проникался къ ней глубокимъ, часто навнымъ почтеніемъ. Жрецы этой мысли, сами называвшіе себя философами, пользовались не только платоническимъ уваженіемъ, но и дѣйствительною силою. Въ Германіи, безъ преувеличенія можно сказать, Гегель былъ царемъ больше, чѣмъ полдюжины всякихъ немедіатизированныхъ еще курфюрстовъ и эрц-герцоговъ. Во Франціи Наполеонъ, а затѣмъ правительство реставраціи, вынуждены были весьма серьезно считаться съ Ройе-Коляромъ, Менъ де-Вираномъ и нѣкоторыми другими безвѣстнѣйшими изъ смертныхъ, черпавшихъ все свое значеніе единственно въ томъ, что публика считала ихъ философами. Со времени же іюльской монархіи, дѣйствительное господство, опиравшееся на избирательный цензъ, т. е. на господствующія воззрѣнія самой прозаической буржуазіи, дающей обыденной жизни наиболѣе прѣсный и постный тонъ, — всецѣло перешло въ руки философскаго эклектизма. Къ философамъ, эклектикамъ и трансценденталистамъ ѣздили на поклоненіе изъ самыхъ отдаленныхъ странъ. Одно слово Гегеля было закономъ даже для тѣхъ, кому никогда не приходила въ голову смѣлая мысль, что слова величайшихъ мудрецовъ могутъ имѣть дѣйстви-

тельное значеніе только въ тѣхъ размѣрахъ, въ которыхъ они подлежатъ пониманію людей сѣраго, будничнаго труда и обыденной жизни.

Мы не станемъ, вмѣстѣ съ ироническимъ итальянскимъ историкомъ Джузеппе Феррари, утверждать, будто всѣ эти французскіе эклектики, съ Кузеномъ во главѣ, были просто незастѣнчивые шарлатаны, нагло спекулировавшіе на то почти фетишистское поклоненіе, которое они въ качествѣ философовъ, т. е. жрецовъ чистаго мышленія, сдумали внушить почтенной, но невѣжественной публикѣ. Не считаемъ нужнымъ повторять желчныя выходки Шопенгауэра противъ „трехъ софистовъ“, какъ онъ называлъ три свѣтила нѣмецкаго трансцендентализма, вообще и въ частности противъ Гегеля, котораго онъ считалъ главнѣйшимъ виновникомъ „обще-нѣмецкаго отупѣнія мозговъ...“ Дурны были не тѣ люди, которымъ поклонялись; дурно было, что преклонялись передъ чѣмъ-то такимъ, о чемъ никто не имѣлъ яснаго понятія.

Что такое философъ? Горе тому, кто вздумалъ-бы обратиться съ подобнымъ вопросомъ къ мудрецамъ, которыхъ приговоръ общественнаго мнѣнія считалъ наиболѣе состоятельными въ подобномъ дѣлѣ. На него обрушились - бы цѣлые потоки восклицаній и удивленій. Каждый мудрецъ считалъ, конечно, за философію только собственную свою метафизическую систему или систему, считающую имъ за свою; на всѣхъ-же соперниковъ, противниковъ или собратьевъ по ремеслу онъ смотрѣлъ съ величавымъ презрѣніемъ или съ яримъ негодованіемъ. Кому повѣрить? Чье мнѣніе принять? Да и есть-ли прокъ выбирать и вѣрить кому-нибудь, коль скоро всѣ говорятъ равно непонятнымъ головоломнымъ языкомъ?

Изъ всѣхъ европейскихъ государствъ одна только Франція, слѣдуя примѣру своей сосѣдки Германіи и не желая отставать отъ другихъ, завела у себя философію по обязанности службы, въ родѣ невиннаго эклектизма и философовъ на жалованьи. Мѣра была рѣшительная. Посмотримъ-же, какой она дала плодъ? На это въ немногихъ словахъ отвѣчаетъ намъ парижскій критикъ, Габріель Девиль, въ журналѣ „Science Politique“, (вып. 1-го января текущаго года): „втеченіи долгихъ вѣковъ, — говоритъ этотъ почтенный авторъ, — французская молодежь должна была потѣтъ надъ варварскими infolio схоластической фило-

софіи и надъ разрѣшеніемъ силогизмовъ in barbara и in balipton. Освобожденіе отъ этой рутинѣ было привѣтствуемо криками одобренія и радости. Но теперь намъ приходится чуть-что не сожалѣть о ней. Старая схоластическая философія, съ своими шутковскими формами, не лишена была смысла. Намъ дали замѣнъ ея философію безъ всякой оригинальности, безъ единого свѣтлаго и живого проблеска, безъ энергіи и искренности. Эта философія не имѣетъ даже достоинства быть смѣшною: ея единственное качество—пустота. Св. Фому Аквинскаго замѣняетъ ей Викторъ Кузень; ея пророки—Жюль Симонъ, Поль Жане, Каро...—жалкая плеяда, неспособная ни прославить, ни просвѣтить наше столѣтіе“. „Философія эта состоитъ изъ четырехъ частей: анализъ, громко выдаваемый ею за психологію, изумляетъ своею ребяческою наивностію; сводъ правилъ, считаемый за логику на ея условномъ языкѣ, смѣшитъ своею сбивчивостію и неудачнымъ изложеніемъ; ея этика, или мораль представляетъ собою акробатскую пляску на канатѣ, натянутомъ между туманно-либеральными стремленіями съ одной стороны и ветхимъ столбомъ отжившаго догматизма—съ другой... Ея роль—подрѣзывать крылья всякому смѣлому порыву и замѣнять свѣточъ разума тусклою лампадкою, которая своимъ, во всѣ стороны виляющимъ свѣтомъ только болѣе усиливаетъ потемки, свойственныя отъ природы человѣческому уму...“ Ученики искренніе, но мало способные проникать въ самую суть дѣла, тупѣютъ еще болѣе отъ изученія этой казенной и университетской философіи; ученики болѣе смѣтливые понимаютъ очень хорошо, что тутъ все дѣло только во фразистомъ лицемеріи; они развращаются, утрачиваютъ всякую нравственную удержъ. Они видятъ, что эта философія неискренна, что она придумана для того, чтобы задуть пылкость юношескаго ума, что она создана левыми, но безцеремонными людьми, очень поверхностными, желающими угодить и догматизму, и здравому смыслу и думающими поддѣть на удочку и тотъ, и другой“. „А какіе коментаріи на эти доктрины дасть намъ поведеніе самихъ доктринеровъ, проповѣдующихъ ихъ!“

„Одурять или развращать—таковъ девизъ этой эклектической философіи французскаго университета“.

Если дѣло это стоитъ такъ печально еще въ центрѣ француз-

ской мудрости въ 1878 году, то гдѣ-же было любознательному простому смертному, лѣтъ тридцать тому назадъ, искать отвѣта на крайне существенный для нашего умственного развитія вопросъ: да что-же такое философія? Какія упованія мы вправѣ возлагать на нее? Что добыли цѣннаго тѣ сотни-двѣ мудрецовъ, которыхъ греческія, арабскія, латинскія и инныя имена мы изъ вѣка въ вѣкъ приучены повторять съ умиленіемъ?

До какой степени вопросы эти стояли на очереди во всемъ читающемъ мірѣ въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, мы можемъ судить уже по тому, что наша отечественная литература, самая скудная философскимъ развитіемъ изъ всѣхъ европейскихъ литературъ и всѣхъ болѣе отчужденная отъ міровыхъ вопросовъ мысли и жизни, дала, однако же, на нихъ свой отзывъ... И у насъ были свои философы, хотя и недалеко ушедшіе отъ гоголевскаго Хомя Брута, но все-таки не лишеныя способности пофилософствовать въ тонѣ Кирѣвскаго или приснопамятнаго Бурачка. Въ Англии, на эти-же самые вопросы рѣшился дать болѣе законченный, хоть и менѣе блестящій отвѣтъ Льюисъ, неудавшійся драматургъ и романистъ, безымянный компиляторъ и критикъ многихъ повременныхъ изданій. Его „Жизнеописательная исторія философіи“ сразу выдвинула его на крайне почетное мѣсто въ ряду передовыхъ мыслителей и руководителей умственного развитія цѣлаго ряда современныхъ ему и послѣдовавшихъ за нимъ поколѣній.

Уже въ 1846 г. это замѣчательное произведеніе появилось въ своемъ первоначальномъ видѣ въ коллекціи, издаваемой Найтомъ (Knight) подъ общимъ именемъ „Cyclopaedia“. Проще и толковѣе нельзя было подойти къ вопросу, что такое философія, чѣмъ это сдѣлалъ Льюисъ, желавшій предварительно уяснить эту интересную задачу для себя. Въ первоначальномъ изданіи этого сочиненія, нѣтъ никакого слѣда предвзятаго рѣшенія автора отвѣтить такъ или иначе на этотъ вопросъ. Съ практичностью и настойчивостью истиннаго англичанина, онъ рѣшился прежде всего рассмотреть всѣ философіи, когда-либо появлявшіяся въ Европѣ, отъ временъ Фалеса и до Огюста Конта вклучительно, изрекашаго во имя науки смертный приговоръ надъ метафизикою минувшихъ вѣковъ. Знакомая, въ хронологическомъ порядкѣ ихъ

появленія, со всѣми философскими системами, Льюисъ просто сводилъ каждую къ ея простѣйшему изложенію.

Художественный талантъ Льюиса останавливался на каждой изъ нихъ съ подобающей долею сочувствія и вниманія. Такимъ образомъ, весь цвѣтъ премудрости безъ малаго двадцати-пяти вѣковъ уложился въ рамки четырехъ небольшихъ томовъ послѣдовательнаго и увлекательнаго, часто драматическаго разсказа. Трудъ, конечно, былъ громадный; но полученный результатъ вознаграждалъ за него съ лихвой. Мы имѣемъ въ виду, впрочемъ, не денежное вознагражденіе, такъ-какъ первое изданіе „Жизнеописательной исторіи философіи“ Льюиса оплачивалось издателемъ по очень скудной построчной цѣнѣ и, чтобы довести до конца этотъ громадный трудъ, Льюисъ былъ принужденъ постоянно отрывать отъ него и тратить свои силы и свое время на другія, постороннія работы. Но за то авторъ самъ пережилъ въ своемъ умѣ всю міровую эволюцію человѣческаго ума въ погонѣ за химерою абсолютнаго знанія.

Это первое изданіе „Жизнеописательной исторіи философіи“ встрѣтило въ публикѣ довольно холодный пріемъ, и оно, дѣйствительно, было только скелетомъ или остовомъ того стройнаго, художественнаго произведенія, которое Льюисъ издалъ только въ 1857 г. подъ тѣмъ-же самымъ заглавіемъ. Между самыми разнохарактерными на первый взглядъ философскими ученіями существуетъ на дѣлѣ такая тѣсная внутренняя связь и такая преемственность, что нерѣдко истинный смыслъ какого-нибудь ученія уяснялся Льюису тогда только, когда онъ далеко уходилъ впередъ и совершенно неожиданно для себя встрѣчался съ его позднѣйшимъ пополненіемъ или развитіемъ. Такимъ образомъ, цѣлыя главы, уже напечатанныя, приходилось передѣлывать вновь. Къ тому-же при такомъ способѣ работы невозможно было соблюсти стройную соразимѣрность частей. Всего-же болѣе это первое изданіе грѣшило тѣмъ, что въ немъ авторъ излагаетъ исторію мысли по мѣрѣ того, какъ онъ самъ ее узнаетъ, не имѣя возможности выработать себѣ опредѣленное отношеніе къ излагаемому предмету. Конечно, немало-важною заслугою было уже просто собрать въ такой общедоступной и популярной формѣ столь громадный матеріалъ, который приходилось извлекать съ немалымъ трудомъ изъ самыхъ темныхъ и не-

приступныхъ архивныхъ дебрей. Не должно забывать, что „Жизнеописательная исторія философіи“ Льюиса была первою въ этомъ родѣ попыткою на какомъ-бы то ни было языкѣ, и всего нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, она была единственною въ своемъ родѣ попыткою. До Льюиса никто не считалъ возможнымъ говорить о философіи, ни даже объ исторіи ея, простымъ общедоступнымъ языкомъ и иначе, какъ съ точки зрѣнія какой-нибудь философской системы. А вѣдь вся суть дѣла заключалась не въ томъ, чтобы оцѣнить, на примѣръ, скептицизмъ съ точки зрѣнія идеализма или тотъ и другой съ точки зрѣнія враждебнаго имъ обонимъ матеріализма и т. п... Все дѣло было именно въ томъ, чтобы уяснить тотъ смыслъ, который всѣ эти измы имѣютъ съ точки зрѣнія обыденной жизни, желающей вступить съ мыслью въ самый интимный союзъ. Да и имѣютъ-ли они съ этой точки зрѣнія какой-нибудь смыслъ и значеніе?

Вѣроятно, Льюисъ гораздо раньше придалъ-бы своему сочиненію ту окончательную отдѣлку, которой столь существенно не доставало первоначальному его изданію; но только съ 1851 г. ему удалось основать свой собственный журналъ „The Leader“ („Руководитель“). По программѣ и по тенденціи, журналъ этотъ былъ совершенно сходенъ съ начатымъ значительно позже, по инициативѣ того-же самаго Льюиса, „Fortnightly Review“, занимающимъ и до сихъ поръ самое почетное мѣсто въ англійской журналистикѣ. Но во времена „Leader'a“ за самимъ Льюисомъ не было еще нѣсколькихъ лѣтъ громкой философской и литературной извѣстности, а передъ нимъ не было тѣхъ фондовъ, которые потомъ удалось собрать для обезпеченія его новаго литературнаго начинанія. Просуществовавъ съ геройскими усиліями около трехъ лѣтъ, „Leader“ палъ, оставивъ по себѣ добрую память въ передовыхъ англійскихъ кружкахъ и чувствительный дефицитъ въ карманахъ своего издателя. Съ 1854 г. для Льюиса снова начался періодъ трудной работы на страницахъ чужихъ „Review“, часто проникнутыхъ очень несочувственнымъ ему направленіемъ. Въ промежуткѣ этихъ-то новыхъ своихъ работъ онъ преобразилъ, уже изданный имъ въ нѣсколько хаотическомъ видѣ, свой богатый историко-философскій матеріалъ въ ту „Жизнеописательную исторію философіи“, вышедшую въ 1857 г., которую знаетъ

весь интересующійся этими вопросами міръ, въ подлинникѣ или въ переводѣ, такъ-какъ она давно уже сдѣлалась достояніемъ всѣхъ европейскихъ литературъ. Въ самой Англии она была издаваема потомъ въ 1867 и 1871 гг., каждый разъ въ значительно-измѣненномъ и улучшенномъ видѣ.

Излишне было-бы вдаваться здѣсь въ подробный разборъ этого сочиненія, которое и въ русскомъ переводѣ подъ редакцію г. Спасовича вышло уже болѣе пятнадцати лѣтъ тому назадъ. Позволю себѣ только въ немногихъ строкахъ напомнить здѣсь тотъ окончательный приговоръ, который Льюисъ произноситъ надъ философію, т. е. надъ метафизику, противопоставляемую имъ на французскомъ позитивистскомъ основаніи мифологическому воззрѣнію съ одной стороны и съ другой — точнымъ пріемамъ науки.

„Философія, — говоритъ онъ на первой-же страницѣ своего введенія, — по самому существу своихъ стремленій представляетъ нѣчто въ родѣ лабиринта, въ которомъ ея усталые ревнители осуждены вѣчно блуждать по извилистымъ стезямъ, протоптаннымъ ихъ предшественниками, и зная притомъ, что эти предшественники не могли найти себѣ выхода“. „Философія была постоянно въ движеніи, но движеніе ея было круговое, и этотъ фактъ тѣмъ поразительнѣе, что составляетъ совершенный контрастъ съ прямолинейнымъ движеніемъ науки... Современная намъ философствующая Германія трудится надъ разрѣшеніемъ тѣхъ-же вопросовъ, надъ которыми трудились еще древніе греки, и при этомъ то-же безсиліе методовъ, тѣ-же ничѣмъ не оправдываемыя надежды. Исторія философіи представляетъ намъ зрѣлище, какъ тысячи умовъ и въ томъ числѣ самые великіе умы, которыми гордится человѣчество, настойчиво сосредоточивали всѣ свои усилія на разрѣшеніи вопросовъ, которые считаются самыми жизненными вопросами, и какъ всѣ эти усилія привели только къ тому убѣжденію, что люди весьма легко могутъ впадать въ заблужденіе и что нѣтъ никакой надежды, чтобы мы когда-нибудь достигли разрѣшенія этихъ вопросовъ. Единственное завоеваніе, совершенное до сихъ поръ философію, было критическое, т. е., иными словами, психологическое... Она имѣетъ дѣло не съ трудностью, а съ невозможностью; ея вопросы недоступны положительному знанію, а потому для нея невоз-

моженъ никакой прогрессъ"... „Наши усилія, наша страсть, наши надежды имѣють предметомъ истину, а не высprenнiя воззрѣнiя; намъ нужно дѣйствительное знанiе, а не притязанiе на знанiе. Если мы не въ состоянiи достигнуть до извѣстныхъ высотъ, то лучше признаться, что высоты эти недосыгаемы, а не обманывать себя и другихъ звонкими фразами“.

„Философія была предтечею науки. Она извлекала благороднѣйшую часть человѣка изъ-подъ владычества животной апатiи и безпомощнаго невѣжества; она питала его умъ могучими стремленiями, упражняла его въ великихъ усилiяхъ, давала ему неутолимую жажду знанiя, облагородившую его жизнь, и сдѣлала его способнымъ удесатерить свое существованiе и свое счастье. Сдѣлавъ все это, она сходитъ со сцены. Въ насъ она возбуждаетъ только историческiй интересъ"... „Исторiя философіи есть исторiя человѣческихъ заблужденiй, но не человѣческаго безумiя"... А въ заключенiи: „Новѣйшая философія и начинается, и кончается методомъ; въ обоихъ случаяхъ методъ приводитъ къ положительной наукѣ и устраняетъ метафизику"... „Исторiя философскихъ умозрѣнiй представляетъ намъ постепенное прогрессивное движенiе только по тѣмъ вопросамъ, которые доступны положительному изслѣдованiю... Новѣйшая философія свела всѣ свои притязанiя къ одному вопросу: *имѣемъ-ли мы идеи, независимыя отъ опыта?* Какъ ни брались за рѣшенiе этого вопроса, отвѣтъ постоянно получался отрицательный. Въ заключенiе напомнимъ читателю, не убѣжденному въ невозможности философіи, что прежде, чѣмъ философствовать, онъ долженъ рѣшить вопросъ: *имѣемъ-ли мы идеи, независимыя отъ опыта?*“

Надо-ли прибавлять, что эта книга Льюиса вызвала во всѣхъ философскихъ трущобахъ ужасный переполохъ. Ученныя совы встрепенулись въ своихъ сумрачныхъ академическихъ и архивныхъ пещерахъ, почуя, какъ заколебалась подъ ними ихъ вѣковая насѣсть. Негодованiю не было мѣры. „И во что только не мѣшается этотъ неудавшiйся писака, гаеръ, скоморохъ! Развѣ не замѣчаете, что онъ просто глумится надъ философіею и надъ вами?“ Обвиненiямъ въ невѣжествѣ, въ дерзости, въ нечестiи не было конца. Фредерикъ Гарисонъ, очень сочувственный Льюису критикъ, говорить, что даже друзья этого писателя боялись, что

его исторія философіи, своею искренностью и самостоятельными отношеніемъ ко многому изъ того, передъ чѣмъ англійская публика привыкла раболѣпно и лицемерно преклоняться съ давнихъ поръ, погубить его навсегда въ общественномъ мнѣніи. Ничего подобнаго, однакожь, не случилось. Враждебный шумъ, неразсчитливо поднятый противниками, только больше обратилъ вниманіе всего читающаго люда на это замѣчательное сочиненіе. Изъ любопытства книгу Льюиса брали въ руки даже тѣ, кому никогда не пришлось-бы въ голову обратиться къ ней изъ любознательности. Прочитавъ въ ней всего только нѣсколько страницъ, увлекались живостью и занимательностью разсказа; съ удивленіемъ замѣчали, что предметъ, котораго самое имя обыкновенно наводитъ скуку и уныніе, оказывался въ сущности интереснымъ, чуть не какъ романъ. Отрицая безусловный смыслъ метафизики, Льюисъ мастерски улавливалъ историческій смыслъ cadaго мало-мальски знаменательнаго ученія и преемственную связь ихъ между собою. Имена и факты, которые иной читатель слышалъ уже много разъ, но рѣшительно не могъ удержать въ памяти, усваивались черезъ посредство Льюиса легко, такъ-какъ являлись мастерски сгруппированными въ легко-понятномъ порядкѣ... По признанію самого „Times“, который, конечно, не могъ дружелюбно отнестись къ направленію Льюиса, если англійскіе образованные читатели и знаютъ что-нибудь о философіи, то они обязаны этимъ его „Жизнеописательной исторіи философіи“. Самые горячіе противники, т. е. тѣ философы по ремеслу, профессора, экзаменаторы и т. п., которые съ наибольшею яростью обрушились на этого профана, смѣло вторгавшагося въ ихъ заповѣдную область и отбивавшаго у нихъ хлѣбъ, почитывали, однакоже, Льюиса тайкомъ, строго воспрещая его чтеніе своимъ питомцамъ, въ особенностѣ-же тѣмъ, которые желали получить философскій дипломъ. Но и эти послѣдніе, давая иногда на торжественныхъ испытаніяхъ осмысленный отвѣтъ, тѣмъ самымъ изобличали, что и ихъ коснулся этотъ „Сеничкинъ ядъ“. Короче говоря словами того-же самаго Фр. Гарисона, „эта маленькая книга, продававшаяся за пол-кроны, убила метафизику“.

Въ своемъ введеніи Льюисъ очень обстоятельно объясняетъ читателю, что собственно онъ разумѣетъ подъ словомъ *философія*,

и не оставляетъ никакого сомнѣнія, что подѣ этимъ словомъ у него слѣдуетъ понимать собственно метафизику, т. е. притязаніе на собственное знаніе, пріобрѣтенное абсолютными методами, неподлежащими провѣркѣ наблюденіемъ и опытомъ. Надѣ этою-то философіею онъ и изрекаетъ свой, уже выше приведенный, приговоръ, несомнѣнно свидѣтельствующій о томъ, что самъ авторъ стоитъ внѣ кругового метафизическаго вращенія. Это отношеніе Льюиса къ философіи, весьма естественно, сближало его съ школою, незадолго передъ тѣмъ сложившеюся въ Парижѣ подѣ именемъ позитивизма, или контизма, такъ-какъ основателемъ его является хорошо всѣмъ извѣстный теперь, но тогда очень мало читавшійся, Огюстъ Контъ, бывшій сен-симонистъ и репетиторъ математики въ политехнической школѣ. Во Франціи О. Контъ встрѣтилъ очень дѣятельную оппозицію, справа—отъ официальнаго эклектизма, слѣва—отъ вольтеріанскаго матеріализма и якобински-сантиментальной философіи по Ж. Ж. Руссо. Въ Англии французскому новатору посчастливилось гораздо больше. Миссъ Гарриетъ Мартино перевела на англійскій языкъ курсъ „Положительной философіи“ О. Конта въ сокращенномъ видѣ и очищенный отъ многихъ такихъ своихъ особенностей, которыя даже самыми ревностными контистами признаются за продуктъ „патологическаго состоянія“, т. е. умственнаго разстройства своего учителя. Передовые люди Англии,—почти всѣ громко извѣстныя въ настоящее время имена: Дж. Ст. Милль, Гербертъ Спенсеръ, Льюисъ, которые давно уже перестали довольствоваться узкою философіею „здраваго смысла“ по Риду и по шотландцамъ и ограниченнымъ сенсуализмомъ по Локку,—отнеслись крайне благосклонно къ этому новому за-ламаншскому ученію, основныя начала котораго не можетъ отвергать въ настоящее время ни одинъ здравый умъ. Краеугольный камень позитивизма заключается въ томъ, что онъ не признаетъ человѣческой умъ способнымъ имѣть идеи, независимыя отъ опыта, что онъ строго ограничиваетъ сферу абсолютнаго отъ сферы относительнаго и считаетъ только послѣднюю доступною нашему философскому изслѣдованію, что онъ, наконецъ, философское знаніе хочетъ строить не на отвлеченныхъ положеніяхъ, а на научныхъ данныхъ и подѣ строгимъ контролемъ наблюденія и опыта. Эти основныя положенія были приняты въ Англии многими такими мыслителями,

которые впоследствии отвергли не только „продукты его патологического состоянія“, но и весь его системный построения. Таковъ, наприѣръ, Гербертъ Спенсеръ, построившій на тѣхъ-же самыхъ основаніяхъ свою собственную систему, имѣющую надъ контовскою то несомнѣнное преимущество, что выводы опыта и наблюденія, т. е. точныя науки, знакомы ея творцу гораздо ближе, чѣмъ О. Конту. Да къ тому же Герб. Спенсеръ одаренъ замѣчательно-художественнымъ темпераментомъ; тогда какъ О. Контъ до конца осгавался раздражительнымъ школьнымъ учителемъ, съ примѣсю какого-то семинарски-сенсимонистскаго, мистическаго отѣнка. Неудивительно, что англійскіе позитивисты, сколько-нибудь прославившіеся на какомъ-нибудь научномъ поприщѣ, или сходились съ О. Контомъ только въ немногихъ общихъ чертахъ, или же потомъ разошлись съ нимъ болѣе или менѣе существенно. Правовѣрными контистами до сихъ поръ остались въ Англійи такіе сомнительные философы, какъ, напр., Ричардъ Конгревъ, а во Франціи скучные корифеи „Revue Occidentale“. Позитивисты того господствующаго направленія, которому служить органомъ журналъ, издаваемый гг. Литтре и Вырубовымъ, изображаютъ собою, такъ-сказать, контистскій лѣвый центръ, а въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ должны быть признаны и чистыми отщепенцами.

Льюисъ былъ однимъ изъ первыхъ англичанъ, рѣшительно и смѣло ставшихъ подъ знамя позитивизма и даже съ гербомъ Огюста Конта на своемъ партизанскомъ значкѣ. Однакожь, къ его „Жизнеописательной исторіи философіи“ это его знамя имѣло еще очень мало отношенія. До самой послѣдней его главы (т. е. до 2-й главы XI-го отдѣла), о контистской системѣ нѣтъ ни прямого, ни косвеннаго упоминанія во всемъ этомъ сочиненіи. Правда, весь планъ его „Исторіи“ строго положительный. Разъясняя вопросъ: что такое философія? онъ показываетъ намъ, чѣмъ она была въ разныя времена, отъ своего начала въ Европѣ съ Фалесомъ до О. Конта, который чисто-хронологически былъ тогда новѣйшимъ представителемъ. Этому своему фактическому изложенію онъ подводитъ итоги, которые каждый читатель можетъ провѣрить собственнымъ умомъ. Позитивизма этого быть нельзя; но этотъ позитивизмъ не навязываетъ намъ никакихъ системъ, никакой школы. Выводы Льюиса оказываются неблаго-

приятными для метафизики. Но, если предположить, что онъ никогда прежде не слышалъ имени позитивизма и съ учениемъ О. Кюнта былъ вовсе незнакомъ, то онъ долженъ былъ-бы придти въ этомъ отношеніи точно къ такимъ-же выводамъ. Если вы дѣлите 1 на 3, то, получивъ въ частномъ 0,33, вы уже не продолжаете дѣленія, а ставите нѣсколько точекъ и говорите, что эта дробь безконечная, періодическая. Точно также Льюисъ констатируетъ слѣдующій фактъ: „древнія изслѣдованія о происхожденіи знанія закончились скептиками, стоиками и новой академіей, т. е. скептицизмомъ, здравымъ смысломъ и опять скептицизмомъ. Новѣйшія изслѣдованія создали доктрины Берклея, Юма, Рида и Канта, т. е. идеализмъ, скептицизмъ, здравый смыслъ и опять скептицизмъ. Бесплодность прежнихъ изслѣдованій вызвала въ Александріи новую, отчаянную попытку: разумъ уступилъ мѣсто экстазу... То-же самое мы видимъ въ Германіи съ Шеллингомъ“. Ясно, слѣдовательно, что и тутъ та-же безконечная періодическая дробь, а Льюисъ чисто фактически опредѣляетъ ея періоды.

Точно такъ же самостоятельно относится Льюисъ и къ другому положенію, возведенному контистами въ философскій законъ, т. е. къ чередованію въ развитіи человѣческаго сознанія суетвѣрія, метафизики и науки. „Въ языческомъ міросозерцаніи, — говоритъ онъ, — все нравственное образованіе людей состояло въ искусствѣ снискать милость боговъ. Греческая философія раскрывала людямъ всю важность человѣческихъ дѣлъ, всю важность нравственныхъ началъ, и поставила эти начала на мѣсто умилостивительныхъ обрядовъ. Этой заслугой мы обязаны Сократу“. А съ Аристотелемъ метафизика передаетъ полученное ею отъ мифологіи наслѣдіе наукъ. Въ своей „Исторіи философіи“ Льюисъ не провозглашаетъ контовскаго закона о трехъ методахъ или трехъ возрастахъ міросозерцанія, а просто свидѣтельствуетъ историческій фактъ чередованія, преемственности.

Положительной философіи и О. Кюнту Льюисъ посвящаетъ особый томъ, изданный имъ въ 1853 г. и давно уже переведенный по-русски. Въ нашихъ глазахъ это сочиненіе имѣетъ гораздо меньше интереса и значенія, чѣмъ капитальный его трудъ по исторіи философіи. Льюисъ очень благоразумно поступилъ, отдѣливъ свое изложеніе положительной философіи отъ своей *Biographical history of Philosophy*. Благодаря этому разграниченію,

онъ былъ совершенно въ правѣ сказать о послѣдней въ 1857 г., что она представляетъ собою исторію философскихъ системъ, совершенно независимую отъ метафизическихъ воззрѣній. Только въ концѣ года, въ коллекціи парижскаго издателя Рейнвальда—Bibliothèque des Sciences Contemporaines, появился новый опытъ такой-же независимой исторіи философіи Андре Лефевра. Не безъинтересно будетъ провести нѣкоторую паралель между этими двумя книгами, посвященными одному и тому-же предмету, но появившимися болѣе чѣмъ на двадцатилѣтнемъ разстояніи одна отъ другой и порожденными столь различными между собою обществами, какъ лондонское и парижское.

В. Васардинъ.

(Окончаніе слѣдуетъ.)

ВЪ ЧУЖОЙ СЕМЬѢ.

(Посвящается Нинѣ Ивановнѣ Еремѣевой.)

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

IV.

Какъ смотрѣлъ Петръ Степановичъ Дмитровскій на свой союзъ съ Лизанькой и *какъ* отнесся онъ въ легкомысленному поступку этой милой особы, зналъ достовѣрно одинъ Ртищевъ. Трое сутокъ сряду проливалъ Петръ Степановичъ слезы и испускалъ тяжелые вздохи передъ своимъ другомъ. Печаль его была такъ глубока, покорность судьбѣ и христіанское смиреніе такъ безграничны, что у Ртищева не достало духу напомнить ему, какъ онъ отговаривалъ его жениться на дѣвицѣ Трапичкиной и въ какихъ мрачныхъ краскахъ описывалъ ему послѣдствія подобной женитьбы. Онъ даже прибернулся на Николинку, когда этотъ послѣдній, съ лакейскою наглостью и грубостью, началъ угрюмо выражать свое мнѣніе о поступкѣ бывшей госпожи.

— Такого пассажи всегда можно было отъ нихъ ожидать, потому что онѣ, по своей ничтожности, нашей деликатности и благородства ни за что не могли понять... Гдѣ-же, помилуйте! Я всегда совѣтовалъ Петру Степановичу супругу изъ дворянской фамиліи выискать; сконфузили вы себя совсѣмъ такимъ выбо-

ромъ, говорю, всё благородные господа васъ осуждать будутъ...

Николинъка говорилъ это именно въ ту минуту, когда Ртищевъ, узнавши про несчастіе, постигшее Петра Степановича, прибѣжалъ навѣстить его.

— Пошелъ вонъ, дуракъ! закричалъ на него Сергѣй Александровичъ.

Но Николинъка не ушелъ. Онъ ограничился тѣмъ, что попытался къ двери, гдѣ остановился, заложивъ руки за спину и склонивъ печально голову на бокъ. И хорошо онъ сдѣлалъ, что не ушелъ; его вскорѣ пришлось-бы снова позвать; безъ него съ Дмитровскимъ трудно было въ чемъ-бы то ни было сговориться; на всё вопросы, совѣты и утѣшенія у бѣднаго Петра Степановича находилась только одинъ отвѣтъ:

— Богъ съ немъ! Обидѣла она меня, огорчила, но я ей зла не желаю; пусть наслаждается съ Перепелкинымъ, если можетъ, если совѣсть допустить!..

Должно быть, у Лизаньки совѣсть была преобладающая. У нея дѣстало присутствія духа и сообразительности собрать и увезти большую часть своихъ вещей и оставить мужу лаконическую записку, въ которой она извѣщала его, что долго боролась со страстью къ Перепелкину и, наконецъ, не вытерпѣла и рѣшилась послѣдовать за нимъ въ Москву. Она просила Петра Степановича не сердиться на нее и выслать ей, какъ можно скорѣе, видъ на жительство и вещи, которыя она не успѣла захватить съ собою (слѣдовалъ подробный адресъ одной изъ тетокъ поручика Перепелкина за Москвой рѣкой), а также тѣ три тысячи рублей 5% билетами, которыя онъ подарилъ ей прошлаго года въ день ея ангела: „вы у меня ихъ потомъ взяли, сказали, что у васъ цѣлѣе будутъ, и я вамъ ихъ отдала, потому что у меня и въ мысляхъ не было съ вами разстаться, но деньги эти—мои, и я прошу васъ скорѣе мнѣ ихъ выслать“... наивно объясняла Лизанька въ письмѣ, которое Петръ Степановичъ передалъ Ртищеву, съ просьбой прочесть его вслухъ.

— Неужели вы исполните ея просьбу? спросилъ Сергѣй Александровичъ.

У оскорбленнаго супруга промелькнула улыбка на губахъ.

— Съ какой-же стати, помилуйте! Ужъ не такъ-же я глупъ

въ самомъ дѣлѣ, чтобъ собственными средствами господина Перепелкина продовать! Видѣ на жительство я имъ выплю; тряпочки, которыя здѣсь оставили, тоже акуратно сложу въ карточку и отправлю имъ, а деньги—нѣтъ-съ! Деньги—вещь серьезная и существенная; при деньгахъ ихъ амуры дольше могутъ продержаться, а мой авантажъ въ томъ и состоитъ, чтобъ Лизанька скорѣе свою легкомысленность постигла и про законнаго супруга вспомнила... Тогда она сама большое спасибо за то скажетъ, что я ея капиталецъ отъ расхищенія уберегъ... Можетъ быть, Петръ Степановичъ и не доживетъ до этой минуты,—прибавилъ онъ съ глубокимъ вздохомъ, — ну, панихиду по немъ отслужать, добрымъ словомъ вспомнать, мы и на томъ утѣшимся!..

Ртищевъ взглянулъ на Николинку. Этотъ, кажется, только того и ждалъ, чтобы самымъ рѣзкимъ образомъ выразить протестъ противъ смиренія и терпимости своего господина.

— Э-эхъ! громко крикнулъ онъ, презрительно махнувъ рукой, и поспѣшно вышелъ изъ комнаты, шумно хлопнувъ дверью.

— Вотъ до чего набаловали вы этого скота! вырвалось у Ртищева.

Дмитровскій смиренно поднялъ глаза къ небу и печально вздохнулъ.

— Всѣхъ я избаловалъ, Сергѣй Александровичъ, во всемъ я одинъ виноватъ, но что-жъ теперь прикажете дѣлать? Ничего не поправишь, поздно!

— Ничуть не поздно. Я на вашемъ мѣстѣ нашель-бы Лизаньку, вернулъ-бы ее назадъ и задалъ-бы ей такую взбучку, что она у меня шелковая-бы стала, кипятился Ртищевъ. — Такъ безсовѣстно опозорить честнаго человѣка,—ну, на что это похоже?

— Зачѣмъ-же-съ? Помилуйте! Зачѣмъ мнѣ ихъ нагонять и силой къ себѣ тащить? Силой тутъ ничего не подѣлаешь, надо кротостью и терпѣнiемъ... Придетъ часъ воли божіей, одумаются и сами вернутся... Ну, тогда и видно будетъ, какъ съ ними поступить. А теперь пока пусть побѣгаютъ; пусть она испробуетъ, каково съ бездомнымъ поручикомъ по свѣту мотаться!.. Не разъ тогда и Петръ Степановичъ припомнится!.. А что вы на-счетъ моего позора выражаете, такъ это однѣ только пустыя слова, вотъ что я вамъ доложу! Никакого я тутъ позора для себя не вижу,

что жена моя съ поручикомъ Перепелкинымъ пошалить вздумала; весь позоръ на ней, а не на мнѣ-съ. Дамамъ-же все спускается: потолкуютъ, посудачатъ, да и перестанутъ. Надо и то сказать, про кого только въ нашемъ городѣ не толкуютъ! Начать перебирать, такъ окажется, что развѣ только грудныхъ младенцевъ злые языки оставляютъ въ покоѣ... Ужь на что вы, Сергѣй Александровичъ, дикаремъ живете, ни съ кѣмъ не сходитесь, а тоже и про васъ кто-то на-дняхъ разсказывалъ Лизанькѣ, что до Миленскаго дошли слухи про ваши свиданія съ его женой у рѣшотки ихъ сада и что теперь онъ ни на шагъ ее отъ себя не отпускаетъ. Говорятъ даже, будто и переѣзжаютъ они отсюда собственно потому, что онъ приревновалъ ее къ вамъ. Все это пустыя сплетни, разумѣется, а между тѣмъ многіе готовы имъ вѣрить... Ну, стоитъ-ли послѣ этого смущаться городскими слухами и толками? Въ нашемъ-же дѣлѣ, если и будетъ кому конфузъ, то ужъ, конечно, не мнѣ и не Лизанькѣ, потому что про ихъ полъ даже и въ Писаніи сказано: „сосудъ скудельный“, а будетъ конфузъ г-ну Перепелкину, который, со свойственнымъ поручику легкомысліемъ, рѣшился на такую рискованную и убыточную штуку, не разсчитавши предварительно ни своихъ силъ, ни средствъ...

Долго еще распространялся Петръ Степановичъ, но Ртищевъ давно уже не слушалъ его. При первомъ-же намекѣ о сплетняхъ, ходившихъ по городу про семейство Миленскихъ и про него, мысль о Наташѣ неотвязно завертѣлась въ его умѣ.

Такъ вотъ почему она теперь не поджидаетъ его больше у рѣшотки!.. Ее не пускаютъ, мужъ ревнуетъ и дѣлаетъ ей сцены!.. Въ первую минуту представленіе это пріятно защекотало его самолюбіе и даже вызвало на его губахъ усмѣшку, но чѣмъ больше вдумывался онъ въ положеніе, тѣмъ менѣе находилъ его привлекательнымъ, не только для Наташи, но также и для себя. Мучительная тревога, овладѣвшая имъ, съ минуты на минуту усиливалась; ему страстно захотѣлось увидѣть ее, узнать отъ нея самой, какъ ее мучатъ изъ-за него... Слушать философскія разсужденія лизанькинаго супруга сдѣлалось просто нестерпимо, и, торопливо распроставшись съ нимъ, Сергѣй Александровичъ вышелъ на улицу.

Скорѣе-бы пробѣжать черезъ пирожковскій садъ, отворить

калитку, перескочить канаву и очутиться передъ дверью Миленскихъ!.. Бронислава, вѣроятно, дома нѣтъ; онъ спроситъ Марью Казиміровну, а эта вызоветъ свою невѣстку „бавить гостя“...

И при одномъ воспоминаніи о миломъ и дорогомъ личикѣ, которое черезъ нѣсколько минутъ предстанетъ передъ нимъ, у Ртищева забилось сердце такъ, какъ никогда не билось. Господи! Какъ она ему дорога и необходима! Какъ могъ онъ такъ долго не видѣть ее? Что за жизнь велъ онъ всѣ эти дни, какъ тосковалъ и скучалъ — ужасъ! Все ему сдѣлалось противно — занятія по службѣ, возня съ Марочкой, все, что прежде занимало его... Даже приключеніе съ Дмитровскимъ развлекло его только на самое короткое время... Теперь онъ ясно сознавалъ, что ему ничего и никого не нужно, кромѣ Наташи. До сихъ поръ ему казалось, что онъ думаетъ объ ней только тогда, когда видитъ ее, на самомъ-же дѣлѣ оказывалось, что она одна и постоянно наполняетъ его душу...

Приближаясь къ тому мѣсту, гдѣ онъ надѣялся ее видѣть, онъ пошелъ медленнѣе; прежней увѣренности въ успѣхъ въ немъ уже не было; тысячи преградъ и сомнѣній одно за другимъ подымались въ его воображеніи...

„Есть особенное Провидѣніе для влюбленныхъ“, гласитъ французская поговорка.

Вѣроятно, это Провидѣніе и заставило его замедлить шагъ еще больше, подходя къ дому прелата. Благодаря этому замедленію, Ртищевъ очутился у воротъ его велебности именно въ ту минуту, когда Наташа съ мужемъ выходила на улицу.

Раскланялись, подали другъ другу руки, произнесли какія-то слова... Что именно? Ртищевъ не помнилъ; онъ говорилъ и слушалъ точно во снѣ, но, вѣроятно, онъ спросилъ про Ксаверію, про Марію Казиміровну, а у него освѣдомлялись о Дмитровскомъ... Не она, нѣтъ. Она все время молчала и смотрѣла куда-то въ сторону. Одинъ только разъ глаза ихъ встрѣтились, и ея взглядъ такъ смутилъ его, что вся кровь отхлынула къ сердцу и на мгновеніе потемнѣло въ глазахъ. Но онъ успѣлъ замѣтить, что она очень похудѣла съ тѣхъ поръ, какъ они не видѣлись; глаза ея сдѣлались больше и темнѣе, а вся она показалась ему какъ-то меньше, тоньше и еще жалче, чѣмъ онъ воображалъ ее себѣ.

Брониславъ ничего не замѣчалъ. Онъ былъ очень любезенъ и разговорчивъ; однако не пригласилъ Ртищева войти въ домъ, когда они дошли вмѣстѣ до крыльца и, пропустивъ жену впередъ, продолжалъ на улицѣ начатый разговоръ о предстоящемъ ихъ путешествіи за границу. Разъ десять повторилъ онъ, что они уѣзжаютъ *совсѣмъ* изъ Э-ска, что никогда сюда не вернуться... Повторялъ съ усмѣшкой, иронически напирая на тѣ слова, которыя Ртищеву было особенно больно слышать... А онъ, Сергѣй Александровичъ, со всѣми такой смѣлый и дерзкій, онъ молчалъ передъ этимъ заносчивымъ полякомъ; онъ ощущалъ передъ нимъ неловкость какую-то, чуть-ли не робость, точно школьникъ, точно человекъ, проникнутый и уничтоженный превосходствомъ своего противника. Онъ смотрѣлъ ему прямо въ глаза, не осмѣливаясь оглянуться въ ту сторону, гдѣ была Наташа, къ тому окну, изъ котораго, какъ онъ чувствовалъ, она смотритъ на него.

Онъ оглянулся туда только въ ту минуту, когда Миленскій распростился съ нимъ и скрылся за дверью своего дома, но Наташи уже не было тогда у окна.

Когда Брониславъ вошелъ въ гостиную, первымъ его движеніемъ было подойти къ женѣ, схватить ее за руку и грубо отдернуть ее въ сторону.

— Я не хочу, чтобъ вы переглядывались съ этимъ нахаломъ! прошипѣлъ онъ, задыхаясь отъ злости.

Наташа вся похолодѣла и высвободила руку изъ его руки.

— Не называйте его такъ при мнѣ, прошептала она, взглядывая на него съ отчаянною рѣшимостью.

— Почему? Вы его любите?

Она молча опустила голову.

— Да, вы его любите, продолжалъ онъ, не спуская съ нея пристальнаго взгляда;—я это давно видѣлъ, но мнѣ нужно было ваше собственное признаніе; теперь я знаю, что дѣлать.

Весь этотъ вечеръ и слѣдующій день прошли въ обыкновенныхъ занятіяхъ и разговорахъ; онъ только по-временамъ взглядывалъ на нее съ такой усмѣшкой, которая краснорѣчивѣе всякихъ словъ выдавала его злыя думы, но къ вечеру Брониславъ не вытерпѣлъ и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, спросилъ: давно-ли она любовницей Ртищева?

Наташа съ перваго раза не поняла этого вопроса, но онъ не долго оставлялъ ее въ недоумѣніи.

— Я хочу все знать, все! Не только день и мѣсто, но также часъ и минуту моего позора! Вамъ эта минута должна быть памятна. Какъ-бы ни была развратна отъ природы женщина, какъ-бы ни были распущены нравы въ ея семьѣ, однако, есть вещи, отъ которыхъ каждая мать остерегается свою дочь... А вѣдь у васъ тоже есть мать, Наталья Михайловна, чему она васъ учила?

Наташа вспыхнула.

— Какъ вы смѣете!..

Голосъ ея порвался въ рыданіяхъ, но, кажется, гнѣвъ ея только усилилъ его ярость.

— Какъ смѣете вы на меня такъ кричать? произнесъ онъ, понижая голосъ до шепота;— что-же касается меня, то я докажу вамъ, что умѣю быть и смѣлымъ, и проникательнымъ, и терпѣливымъ, когда дѣло идетъ о защитѣ моей чести. Вамъ это слово непонятно, васъ никогда не учили его понимать; но я заставлю васъ поступать такъ, какъ-будто вы съ дѣтства знакомы съ нимъ. Мнѣ надо знать, съ какихъ поръ Ртищевъ вашъ любовникъ, и я это узнаю, хотя-бы для этого мнѣ надо было обратиться къ нему самому...

— Онъ даже не знаетъ, что я его люблю, замѣтила она, переставая рыдать.

Брониславъ долго смотрѣлъ на нее молча, а затѣмъ снова началъ усмѣхаться и спросилъ: неужели она воображаетъ, что ей можно вѣрить?

Прошло еще нѣсколько дней. По-видимому, въ жизни Миленскихъ ничего не измѣнилось. Онъ, по-прежнему, занимался черченіемъ и рисованіемъ, требуя, чтобъ и жена его сидѣла въ той-же комнатѣ, съ книгой или работой въ рукахъ; но теперь, съ тѣхъ поръ, какъ она ему созналась въ своей любви къ Ртищеву, дня не проходило, чтобъ онъ не доказывалъ ей, что нѣтъ такого дѣла, заботы или думы, которыя затмили-бы хотя на минуту это признаніе въ его памяти.

Съ каждымъ днемъ проявлялъ онъ свою ревность капризѣе и страннѣе. Случалось иногда, что въ присутствіи постороннихъ онъ

отзывалъ ее въ сторону для того, чтобъ оскорбить ее какинь-нибудь намекомъ на-счетъ ея чувства къ Ртищеву.

Однажды, сидя рядомъ съ нею за чайнымъ столомъ, онъ воспользовался минутой, когда Марія Казиміровна разговаривала съ прелатомъ, и, нагнувшись къ женѣ, сказалъ:

— Совѣтую пани Миленской предупредить возлюбленнаго, чтобъ онъ не трудился приходить сегодня на свиданіе: я весь вечеръ останусь дома и не позволю вамъ выходить въ садъ.

Онъ произнесъ слова эти такъ громко, что даже прелать съ удивленіемъ оглянулся на него, а затѣмъ перевелъ вопросительный взглядъ на Марію Казиміровну и, пожимая плечами, замѣтилъ, что, вѣроятно, сынъ ея боится, чтобъ супруга его не простудилась, гуляя поздно вечеромъ по росистой травѣ.

— Но ты могъ-бы выражать твою заботливость крошечку по-деликатнѣе, прибавилъ онъ, обращаясь съ тонкой усмѣшкой къ наташиному мужу.

Съ этого дня его велебность началъ зорко слѣдить за перипетіями печальной драмы, разыгрывающейся въ домѣ Миленскихъ; все чаще и чаще взглядывалъ онъ мелькомъ и какъ-будто невзначай то на Миленскаго, то на его жену. Это случалось почти всегда въ такое время, когда можно было думать, что онъ занятъ разговоромъ съ кѣмъ-нибудь или погруженъ въ просматриваніе какой-нибудь газеты или журнала. Брониславъ очень скоро это замѣтилъ и началъ остерегаться. Теперь, когда прелать былъ тутъ, онъ по цѣлымъ вечерамъ оставлялъ жену въ покоѣ, но зато какъ вымещалъ онъ свою вынужденную сдержанность, оставаясь съ нею наединѣ!

Иногда онъ вдругъ мѣнялъ тонъ и, не переставая злобно усмѣхаться, умолялъ ее сознаться ему во всемъ: гдѣ она видится съ Ртищевымъ, черезъ кого передаютъ они другъ другу записочки, куда прячетъ она его письма? Онъ клялся ей всѣми святыми, что, если она ему чистосердечно во всемъ сознается, онъ проститъ ее и постарается все забыть, что ему будетъ легче жить, зная всю правду, чѣмъ путаться въ сомнѣніяхъ и предположеніяхъ.

А когда она отвѣчала на это, что ей не въ чемъ сознаваться, что никогда ничего подобнаго не было между нею и Ртищевымъ, онъ презрительно смѣялся и говорилъ, что ему хотѣлось только испытать ее, но что ему не нужно признаній.

— Я и безъ того все знаю! Неужели вы думаете, что меня можно провести? повторялъ онъ, наслаждаясь ея бессильнымъ гнѣвомъ.

Чего хотѣлъ онъ достигъ такимъ систематическимъ преслѣдованіемъ? До какой степени ожесточить ее?

Она, наконецъ, не вытерпѣла и спросила это у него. Долго смотрѣлъ онъ на нее молча, съ какимъ-то неопредѣленнымъ выраженіемъ въ глазахъ, не то ироніи, не то жалости, и объявилъ, что онъ шутилъ.

— Неужели вы могли принимать въ серъезъ мои намеки, Наталья Михайловна? Печальное-же вы составили себѣ мнѣніе о моемъ характерѣ и правилахъ!

Она не вѣрила своимъ ушамъ.

— Вы шутили?

— Разумѣется, шутилъ. Почему-же мнѣ и не пошутить съ вами? Развѣ вы не издѣваетесь надо мной? Развѣ вы не заставляете меня каждую ночь разыгрывать глупѣйшую роль въ вашей спальнѣ? Вы даже рѣшились наклеветать на себя, чтобъ избавиться отъ моихъ ненавистныхъ ласкъ, вы рѣшились запачкать себя признаніемъ въ такомъ преступленіи, которое честный человѣкъ не вправѣ простить женщинѣ, носящей его имя! Почему-же и мнѣ не пошутить съ вами? повторилъ онъ, не спуская съ нея выразительнаго взгляда.

— Я вамъ сказала правду, прошептала Наташа.

Глаза его сверкнули, но онъ очень скоро овладѣлъ собою.

— Полноте, Наталья Михайловна! Развѣ можно сознаваться въ такой правдѣ мужу? Въ такой правдѣ женщинѣ стыдно сознаваться даже передъ самой собой... Вы пошутили; обдумайте хорошенько мои слова и перестаньте капризничать; сознайтесь, что вы пошутили.

Цѣлый мѣсяцъ Наташа не выходила въ садъ. Ртищеву пришлось, наконецъ, убѣдиться, что свиданія у рѣшотки навсегда прекратились. Видѣться съ нею въ ихъ домѣ тоже не было возможности: въ какое-бы время онъ ни позвонилъ у двери Миленскихъ, ему всегда объявляли, что старая пани занята по хозяйству, а молодая отдыхаетъ, и никого не велѣно принимать. Такое

положеніе дѣлъ могло продлиться неопредѣленное время, вплоть до ихъ отъѣзда за границу...

И у него до боли сжималось сердце при мысли, что онъ, можетъ быть, никогда не увидитъ Наташу, что она никогда не узнаетъ, какое огромное мѣсто она занимаетъ въ его сердцѣ, какую роль играетъ въ его жизни. Дольше терпѣть не хватило силъ; онъ рѣшился высказать ей все это письменно. Мало того, онъ рѣшился передать ей письмо черезъ Марихну.

Должно быть, Ртищевъ совсѣмъ рехнулся отъ наплыва новыхъ чувствъ, волновавшихъ его душу, чтобъ рѣшиться на такую отчаянную мѣру. Впрочемъ, надо и то сказать, что выбора не было. Не Марію-же Казиміровну сдѣлать посредницей между нимъ и женою ея сына.

Подкарауливъ минуту, когда Миленскій прохаживался одинъ вдоль рѣшотки, отдѣлявшей ихъ садикъ отъ улицы, а темнорусая головка Наташи промелькнула въ одномъ изъ оконъ мезонина, Сергѣй Александровичъ вызвалъ Марихну и передалъ ей запечатанный конвертъ безъ надписи.

— Наталья Михайловна одна? спросилъ онъ при этомъ.

— Една, муй пане, убирается въ своей комнатѣ къ обѣду.

— Отдайте ей, пожалуйста, это письмо... скорѣе, если можно.

— Заразъ, пане, отвѣчала съ добродушною поспѣшностью старая служанка.

Она не выказала при этомъ ни удивленія, ни любопытства; трудно было сомнѣваться въ томъ, что порученіе будетъ исполнено въ точности. Въ первый разъ втеченіи послѣднихъ шести недѣль Ртищевъ отошелъ немного успокоенный отъ дверей этого проклятаго дома, изъ котораго, съ самаго пріѣзда въ 3-скъ, онъ постоянно выходилъ чѣмъ-нибудь очарованный и взволнованный.

Теперь Наташа читаетъ его письмо; теперь она знаетъ, какъ онъ ее любитъ и на какія жертвы онъ готовъ для нея, мечталось ему.

А Марихна, между тѣмъ прошла прямо въ садъ и отдала письмо Брониславу. Этотъ внимательно прочиталъ посланіе Ртищева, затѣмъ положилъ его въ карманъ и, кажется, совершенно забылъ о немъ. Весь день не говорилъ онъ ни слова Наташѣ, но въ тотъ-же вечеръ, проходя съ зажженной свѣчей черезъ спальню, онъ остановился передъ кроватью, на которой

спала или притворялась спящей его жена, и началъ смотрѣть на нее. Онъ часто это дѣлалъ, почти каждую ночь, но каждый разъ поспѣшно удалялся при малѣйшемъ ея движеніи; сегодня-же онъ не тронулся съ мѣста даже и тогда, когда она раскрыла глаза и вопросительно посмотрѣла на него. Онъ былъ очень блѣденъ; углы рта его опустились; въ рукѣ, которую онъ протягивалъ къ ней, было стиснуто письмо.

— Извините, что я передаю вамъ это такъ поздно, сказалъ онъ, ставя свѣчу на столикъ у кровати.—Это письмо лежитъ у меня въ карманѣ съ самаго утра, но я все ждалъ удобной минуты... Намъ надо о многомъ переговорить, Наталья Михайловна, но прежде прочтите это, я подожду.

И съ этими словами онъ опустился на стулъ, стоявшій у кровати, а она машинально развернула письмо и начала его читать.

Ей было холодно, по всему тѣлу пробѣгала дрожь, челюсти судорожно сжимались, а въ головѣ стояла какая-то странная пустота: мысли, соображенія, воспоминанія, — все это куда-то испарилось; слова, мельбавшія передъ ея широко раскрытыми глазами, гулко отдавались въ мозгу, повторяясь на тысячи ладовъ, точно эхо въ безпредѣльномъ пространствѣ. Въ чемъ состояло письмо, она не помнила и не понимала; одно только было ясно, это то, что онъ тоже ее любитъ, — любить такъ, какъ она никогда не мечтала быть любимой.

„Вы не можете себѣ представить, какъ я васъ люблю, — писалъ Ртищевъ, — я и самъ узналъ это только съ тѣхъ поръ, какъ не вижу васъ и ничего о васъ не слышу. Еслибы насъ не разлучали, я-бы, можетъ быть, продолжалъ приходить къ вамъ, продолжалъ-бы отогревать мою душу вашимъ участіемъ, не забывая о томъ, какимъ именемъ назвать то дивное чувство, которое меня тянетъ къ вамъ. Я весь переродился, со мной дѣлается что-то странное... У меня одна мечта, одно желаніе: знать, что вы счастливы и что этимъ счастьемъ вы обязаны мнѣ... Я ужасно тоскую безъ васъ, но съ тѣхъ поръ, какъ я узналъ, какъ васъ преслѣдуютъ изъ-за меня, одинъ Богъ знаетъ, чего мнѣ стоитъ воздерживаться отъ искушенія сказать вашему мужу, чтобы онъ не мучилъ васъ, что я никогда не буду искать случая встрѣтиться съ вами... Я готовъ для васъ

на все, на всё жертвы, и мнѣ за это ничего отъ васъ не надо... Я васъ люблю гораздо больше самого себя; судите сами: вы стоите въ моей душѣ такъ высоко, что у меня даже нѣтъ желанія предложить вамъ то, что обыкновенно предлагаютъ въ подобныхъ случаяхъ любимой женщинѣ. Но когда я вспоминаю, что васъ скоро увезутъ за-границу и что вамъ тамъ будетъ еще хуже, чѣмъ здѣсь, я съума схожу отъ бѣшенства, я чувствую, что *долженъ* помѣшать этому... Что дѣлать? Хотите, чтобъ я поѣхалъ къ вашей матери и рассказалъ ей все? Не согласится-ли вашъ мужъ разстаться съ вами? Вашъ бракъ такое печальное недоразумѣніе! Между вами нѣтъ ни любви, ни дружбы, ни довѣрія; вы не нужны другъ другу и ничѣмъ не связаны... Позвольте мнѣ переговорить съ нимъ объ этомъ; мнѣ кажется, что у меня найдутся слова, способныя убѣдить его...

Наташа невольно взглянула на Бронислава. Онъ сидѣлъ передъ нею все въ той-же позѣ, откинувшись на спинку кресла и скрестивъ на груди руки; пристальный взглядъ его былъ устремленъ на письмо, трепетавшее въ ея похолодѣвшихъ пальцахъ; сдвинутыя озабоченно брови придавали всему лицу суровый видъ.

Нѣтъ, Ртищевъ ошибался: не найдется такихъ словъ, которыми можно сломить желѣзную волю этого человѣка, заставить его поступиться тѣмъ, на что онъ смотритъ, какъ на долгъ и честь.

— Кончили? проговорилъ онъ, протягивая къ ней руку. — Дайте мнѣ это письмо.

Она безпрекословно повиновалась.

Повидимому, эта покорность его тронула.

— Видите-ли вы, Наталья Михайловна, началъ онъ тихимъ, ровнымъ голосомъ, рѣзко отчеканивая только нѣкоторыя слова, — въ каждомъ благоустроенномъ государствѣ, честный человѣкъ имѣетъ право надавать пощечинъ или убить того наглеца, который осмѣлится написать подобное письмо его женѣ... Но къ счастью г-на Ртищева, наше положеніе въ здѣшнемъ обществѣ исключительное, и мнѣ невозможно проучить его такъ, какъ онъ того заслуживаетъ... Господину предсѣдателю это извѣстно... Я не хочу приписывать его смѣлость именно этому обстоятельству; нѣтъ, вашъ поклонникъ, можетъ быть, и не трусъ, Наталья

Михайловна; я только говорю, что прежде, чѣмъ оскорблять человека, не мѣшаетъ подумать о томъ — равна-ли борьба между оскорбляющимъ и оскорбляемымъ... Господинъ Ртищевъ не нашелъ нужнымъ остановиться на этомъ соображеніи, и такое легкомысліе, въ его лѣта и при его общественномъ положеніи, даетъ жалкое понятіе о его правилахъ и характерѣ...

Что-же касается до поведенія Сергѣя Александровича съ Наташей, Брониславъ клеймилъ это поведеніе низкимъ эгоизмомъ и безразсудною жестокостью.

— Онъ даже не потрудился узнать хорошенько человека, съ которымъ ему пришлось-бы посчитаться прежде, чѣмъ достигнуть до васъ. Изъ его плановъ на вашу будущность, изъ тѣхъ предложеній, которыя онъ осмѣливается вамъ дѣлать, ясно видно, что онъ никакого понятія не имѣетъ ни о моихъ правилахъ, ни о характерѣ, ни о вашей обстановкѣ... И такой человекъ смѣетъ врывать въ чужую семью, позволяетъ себѣ судить о чувствахъ мужа къ женѣ, о томъ, нужны-ли вы мнѣ или нѣтъ!.. Вотъ ужъ именно, какъ у васъ говорится, не спросясь броду, сунулся въ воду, прибавилъ онъ съ горькой усмѣшкой.

И развернувъ письмо, онъ внимательно перечиталъ его, а затѣмъ поднесъ къ свѣчѣ. Пламя охватило листокъ и въ одно мгновеніе скрутило и пожрало его, но мгновеніе это показалось цѣлою вѣчностью Наташѣ... Она слѣдила растеряннымъ взглядомъ за легкими черными бабочками, которыя отлетали одна за другою и, покружившись въ воздухѣ, исчезали безслѣдно и съ неуловимой быстротой. Въ мозгу ея стояла все та-же звонкая, оглушительная пустота; нервы такъ натянулись, что по-временамъ она вся замирала, и ей безпрестанно казалось, что она теряетъ сознание. Иногда голосъ мужа явственно и рѣзко звучалъ въ ея ушахъ, а порой онъ вдругъ обрывался и снова начиналъ гудѣть далеко, далеко... Иногда ей казалось, что фигура Бронислава, съ его блѣднымъ лицомъ и страстными, блестящими глазами, такъ близко надвигается на нее, что она чувствуетъ его дыханіе, различаетъ каждую складочку между его сдвинутыми бровями, и вдругъ его точно какии-то толчкомъ отдергивало отъ нея въ такую даль, что трудно было отличить его отъ черныхъ тѣней, наполняющихъ углы комнаты... А затѣмъ, холодный трепетъ охватывалъ ее съ ногъ до головы, кровь при-

ливала къ мозгу, и Наташа снова видѣла мужа все на томъ-же креслѣ у ея кровати; взглядъ его былъ задумчивъ и печаленъ, голосъ спокойный и ровный, каждое его слово съ убійственною ясностію достигало до ея слуха, а затѣмъ больно, больно отзывалось въ сердцѣ.

Онъ говорилъ все о томъ-же, о долгѣ и обязанностяхъ, о ничтожности личнаго счастья передъ такими мировыми вопросами, какъ общественная нравственность и повиновеніе законамъ, установленнымъ во имя этой нравственности, о святости семейнаго начала и объ обязанности каждаго развитого члена общества поддерживать это начало. По его мнѣнію, только смерть можетъ разлучить супруговъ... Русскіе на все смотрятъ легкомысленно; они, какъ дурно-воспитанныя дѣти, надъ всѣмъ издѣваются и ни во что глубоко не вникаютъ...

— Но я никогда не соглашусь ни на какую сдѣлку, которая имѣла-бы цѣлью разлуку съ вами, повторялъ онъ, — потому не соглашусь, что, по нашимъ понятіямъ, положеніе мужа, повинутаго женою, смѣшно, позорно и безчестно, а честь нашу мы ставимъ выше всякаго счастья, выше самой жизни... Вы меня не любите, продолжалъ онъ;—мнѣ долго не хотѣлось этому вѣрить, но теперь я убѣжденъ въ этомъ, и каково мнѣ жить съ подобнымъ убѣжденіемъ, одному Богу извѣстно! Но пока я одинъ это знаю, смотрѣть людямъ въ глаза еще можно, и надежда на лучшіе дни еще не исчезла.

А затѣмъ, помолчавъ немного, онъ прибавилъ:

— Врядъ-ли я когда-нибудь заставлю васъ понять мои принципы и сочувствовать моимъ взглядамъ на жизнь, но что вы не будете ошелоняться отъ нихъ, ни въ вашихъ словахъ, ни въ дѣйствіяхъ, за это я поклялся передъ Богомъ и передъ людьми въ тотъ день, когда далъ вамъ мое имя, и клятву свою исполню свято, Наталья Михайловна, прошу васъ этому вѣрить.

Зачѣмъ онъ ей говорить это? Развѣ она этого не знаетъ? Господи! Да она думаетъ объ этомъ постоянно съ той минуты, какъ начала сознательно относиться къ новому чувству, которое съ такой неумолимой силой овладѣло ею!

Вопросъ этотъ выражался только въ ея взглядѣ; высказать его не было силъ—слова замирали въ горлѣ. Богъ его знаетъ,

какъ истолковывалъ онъ ея молчаніе, но только тонъ его сдѣлался мягче, выраженія менѣе суровы и рѣзки. Онъ замѣтилъ ея блѣдность, обратилъ вниманіе на то, что ея руки и ноги холодны, какъ ледъ, и что вся она дрожитъ, какъ въ лихорадкѣ.

— Вамъ надо принять что-нибудь успокоительное, иначе вы не заснете, сказалъ онъ, подходя къ маленькому шкафчику у окна и вынимая изъ него пузырекъ съ тѣми каплями, которыя онъ самъ принималъ съ нѣкоторыхъ поръ каждый вечеръ, передъ тѣмъ, какъ ложиться спать.

— Выпейте это, продолжалъ Брониславъ, подавая ей рюмку съ водой, въ которую онъ осторожно налилъ три-четыре капли изъ пузырька.— Не бойтесь, печально улыбнулся онъ въ отвѣтъ на ея недоумѣвающій взглядъ, — я не хочу васъ отравить. Чтобы отравиться, надо выпить, по крайней мѣрѣ, половину этого пузырька.

Она выпила, и странное ощущеніе спокойствія разлилось по всему ея тѣлу; мысли одна за другою отлетали все дальше и дальше; она начала засыпать... Но сонъ этотъ не походилъ на тотъ, который каждую ночь отрывалъ ее на время отъ мучительныхъ думъ и чувствъ; это было какое-то новое, никогда еще не испытанное ощущеніе полнѣйшаго покоя, полнѣйшаго отрѣшенія отъ всѣхъ жизненныхъ проявленій; она не засыпала, а какъ-будто все глубже и глубже уходила въ какую-то бездонную, безграничную пропасть, темную и молчаливую, какъ могила, не ощущая при этомъ ни страха, ни любопытства, ни удивленія.

Цѣлую недѣлю ждалъ Ртищевъ отвѣта на свое письмо. По городу ходили настойчивые слухи о скоромъ отъѣздѣ Миленскихъ за-границу; толковали о томъ, что они уѣзжаютъ раньше, чѣмъ предполагали, потому что жена Бронислава заболѣла ка-кимъ-то страннымъ недугомъ... Миленскаго нигдѣ не было видно; онъ не отходилъ отъ Наташи и не приглашалъ ни одного изъ здѣшнихъ докторовъ лечить ее.

Измученный всѣми этими толками, а еще больше своими собственными заключеніями и соображеніями, Ртищевъ рѣшился отправиться къ прелату и узнать отъ него что-нибудь положитель-

ное о здоровьѣ Наташи и о планахъ ея мужа. Прелата онъ не засталъ дома, а въ тотъ-же день вечеромъ нашель на своемъ письменномъ столѣ письмо или скорѣе записку, запечатанную облаткой и надписанную незнакомымъ почеркомъ, но онъ тотчасъ-же догадался, чей это почеркъ, и волненіе его было такъ велико, что онъ долго медлилъ прежде, чѣмъ открыть письмо. Онъ позвалъ Авдотью Марковну и спросилъ у нея:

— Кто это принесъ?

— Какой-то мальчишка, батюшка. Вобъжалъ, запыхавшись, въ кухню, спросилъ, здѣсь-ли предсѣдатель Ртищевъ живетъ? Здѣсь, говорю. Ну вотъ, говорить, отдайте ему. Вытащилъ записочку эту изъ-за пазухи, сунулъ мнѣ въ руку, да и драго.

Наташина записка была коротенькая:

„Для меня никто ничего не можетъ сдѣлать; они слишкомъ сильны, а главное, они правы, вотъ что всего ужаснѣе!.. Вы ихъ вовсе не знаете... Они—не злые люди; они во многомъ даже лучше насъ, но только съ ними холодно, такъ холодно, что силъ нѣтъ больше терпѣть! Люблю тебя больше жизни, милый мой, родной, но что-жъ мнѣ дѣлать? Эти два года въ чужой средѣ исковеркали всю мою душу... Дѣйствовать противъ совѣсти, жертвовать чужимъ спокойствіемъ для своего личнаго счастья, утѣшать себя мыслью, что всѣ такъ поступаютъ — ничего этого я теперь не могу, а жить такъ, какъ они живутъ, однимъ только сознаниемъ исполненнаго долга — мнѣ тоже не подъ силу... Ну, что-жъ мнѣ дѣлать?“

V.

Прошло болѣе полугода. Въ одно пасмурное, туманное и сырое февральское утро, множество экипажей тѣснилось у зданія окружнаго суда. Изъ нихъ выскакивали нарядныя дамы, любопытныя и болтливыя, съ преобладающимъ выраженіемъ удовольствія на лицахъ. Еще-бы! На это засѣданіе стремился весь городъ, многимъ пришлось отказаться отъ надежды на него попасть! Надо было заручиться сильною протекціею въ самомъ святилищѣ правосудія, и одинъ фаетъ обладанія такою протекціею и возможность хвастаться ею всему свѣту,—одно это сколько можетъ доставить наслажденія!

Протекція эта, въ лицѣ чиновниковъ судебного вѣдомства, облеченныхъ въ мундиры, снова вѣла назадъ и впередъ по лѣстницамъ, сѣнямъ и коридорамъ, встрѣчала дамъ, вводила ихъ въ залу засѣданія и разсаживала на скамейкахъ, предназначенныхъ для публики.

Гулъ несмолкаемой болтовни, плохо сдержаннаго смѣха и восклицаній поднимался все выше и выше въ гулкой залѣ, съ красивыми высокими сводами; но вдругъ все смолкло, всѣ головы обернулись къ маленькой двери, изъ которой долженъ былъ выйти подсудимый. Между представительницами нѣжной и прекрасной половины человѣческаго рода нашлись такія, у которыхъ достало духу приблизить къ глазамъ лорнетки и бинокли. Наступила минута торжественнаго ожиданія. Маленькая дверь отворилась, и Брониславъ Миленскій показался въ ней, сопровождаемый двумя жандармами. Его не вдругъ можно было узнать: волосы его посѣдѣли, глаза ввалились, во взглядѣ, которымъ онъ довольно равнодушно обвелъ глупо глазѣющую на него толпу, выразалось холодное презрѣніе. Онъ былъ одѣтъ въ изношенный сюртукъ, безъ малѣйшей претензіи на эффектъ, но какъ человѣкъ, у котораго привычка къ извѣстнаго рода щеголеватости не можетъ уничтожиться даже такимъ испытаніемъ, какъ шестимѣсячное одиночное заключеніе.

Почти одновременно съ его появленіемъ, судебный приставъ провозгласилъ, что идетъ судъ.

— Всѣмъ надо вставать, объявила Лизанька Дмитровская окружающимъ ее дамамъ.

— Приглашаю встать! громкимъ голосомъ возвѣстилъ приставъ.

— Вотъ видите, улыбнулась торжествующей улыбкой супруга Петра Степановича.

Судъ развѣстился по своимъ мѣстамъ, и секретарь началъ чтеніе обвинительнаго акта.

Изъ этого акта оказывалось, что 18-го сентября 187... года Марія Казиміровна Миленская, мать подсудимаго, прождавши свою невѣстку къ утреннему чаю до десяти часовъ, сама отправилась къ ней въ спальню, чтобъ разбудить ее, и, подойдя къ кровати, нашла молодую женщину въ безчувственномъ состояніи, которое она приняла за обморокъ. Испробовавъ безуспѣшно всѣ домашнія

средства, употребляемая обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ, Миленская послала водовоза, находившагося въ то время у нихъ въ кухнѣ, за врачомъ Джуглинскимъ, а служанку Марихну за сыномъ, который въ тотъ день вышелъ изъ дома очень рано и объявилъ, что будетъ завтракать у прелата. Врачъ Джуглинскій былъ дома и немедленно послѣдовалъ за посланнымъ Миленской. На крыльцѣ онъ встрѣтился съ Брониславомъ, и оба одновременно вошли въ домъ и поднялись по лѣстницѣ въ мезонинъ; но тутъ, у двери въ спальню, Миленскій, неизвѣстно почему, остановился. Докторъ вошелъ одинъ и послѣ осмотра, длившагося пять минутъ, не больше, объявилъ, что Наталья Миленская умерла. Едва только успѣлъ онъ произнести это слово, какъ подсудимый вбѣжалъ въ комнату и вскричалъ: „отравилась!“ На что мать его немедленно возразила: „ты тому причиной!“ Вскрытіе трупа показало, что дѣйствительно, смерть Натальи Миленской произошла отъ паралича сердца, вслѣдствіе приѣма сильной дозы морфія. Изъ слѣдствія, возбужденнаго по этому дѣлу, выяснилось, что подсудимый давно употребляетъ морфію, какъ наркотическое средство противъ бессонницы, и что онъ нѣсколько разъ давалъ его своей женѣ. Отъ словъ, вырвавшихся у нихъ въ тотъ моментъ, когда врачъ объявилъ о смерти Натальи Миленской, ни подсудимый, ни мать его не отказывались на послѣдовавшихъ затѣмъ вопросахъ, но, не отрицая того факта, что, дѣйствительно, онъ раза три давалъ своей женѣ морфія, чтобъ успокоить ея нервы, Миленскій упорно утверждаетъ, что ни въ тотъ день, ни наканунѣ онъ къ этому средству не прибѣгалъ и не понимаетъ, откуда она могла достать тотъ ядъ, которымъ она отравилась, такъ-какъ пузырекъ съ его каплями былъ найденъ въ томъ шкафчикѣ, гдѣ онъ всегда хранился, и количество заключавшейся въ немъ жидкости не убавилось. Родители Натальи Миленской, дѣйствительный тайный совѣтникъ Свѣтловъ и супруга его Елена Свѣтлова, спрошенные судебнымъ слѣдователемъ города С.-Петербурга, въ ноябрѣ мѣсяцѣ того-же года, показали, что подозрѣнія на зятя имѣть не могутъ, потому что всегда считали его человѣкомъ добрымъ и честнымъ; допустить-же мысль о самоубійствѣ дочери имъ тоже крайне затруднительно: Наталья Миленская вышла за-мужъ по любви. Выбору ея родители не вполне сочувствовали, но тѣмъ не менѣе они согласились благословить ее на этотъ

бракъ. Права она была кроткаго, покорнаго и впечатлительнаго, характера скорѣе слабого и нерѣшительнаго.

То-же самое подтвердили и прочіе свидѣтели: мать подсудимаго, прислуга и знакомые, знавшіе покойницу. Всѣ эти люди, расходясь въ нѣкоторыхъ подробностяхъ относительно ея домашней обстановки и насколько она была счастлива и любима въ чужой семьѣ, всѣ единогласно соглашались въ томъ, что ея привязанность и покорность мужу были безграничны и что на такой рѣшительный поступокъ, какъ самоубійство, она была неспособна. Достать ядъ ей тоже, по ея обстановкѣ въ чужомъ городѣ, не было никакой возможности: у нея не было ни друзей, ни знакомыхъ; она нигде не выходила одна, никого не принимала. У подсудимаго-же найдено было нѣсколько рецептовъ на полученіе морфія изъ аптекъ и изъ складовъ аптекарскихъ товаровъ. Тотъ пузырекъ, изъ котораго, по его словамъ, онъ давалъ приемы въ двѣ-три капли женѣ, былъ привезенъ имъ изъ Варшавы; на ярлыкѣ, прилѣпленномъ къ нему, было напечатано названіе одной изъ аптекъ этого города. Подсудимый увѣряетъ, что онъ привезъ всего только одинъ такой пузырекъ, но увѣреніе это никакими доказательствами не подтверждается. То обстоятельство, что между предметами, найденными въ комнатѣ покойницы, не отыскалось слѣдовъ того пузырька, флакона, коробочки или бумажки, въ которой находился ядъ, которымъ отравлена Миленская, одинъ этотъ фактъ ясно доказываетъ, что преступленіе совершено лицомъ, имѣвшимъ сильныя причины скрывать всѣ слѣды употребленнаго имъ для того яда.

— Да, я и теперь такъ думаю, мысленно повторилъ Ртищевъ, слушая чтеніе акта, въ которомъ каждое слово такъ живо напоминало ему тѣ муки сомнѣній, жалости, гнѣва и досады, которыми онъ терзался, направляя обвиненіе на Бронислава Миленскаго именно въ томъ смыслѣ, въ которомъ оно теперь читается передъ судомъ и присяжными.

Онъ до того измучился этимъ дѣломъ, что чуть-было не поплатился жизнью за желаніе, во что-бы то ни стало, подвести Миленскаго подъ уголовный судъ за отравленіе жены. Доктора объявили его весьма близкимъ къ чахоткѣ, когда сенаторъ Ртищевъ, его старшій братъ, почти силой оторвалъ его отъ пагубной дѣятельности

въ З—скѣ и увезъ за-границу. А когда, мѣсяца два спустя, отогрѣтый южнымъ солнцемъ, новыми впечатлѣніями и нѣжными попеченіями Павла Александровича, Ртищевъ умилился настолько, что разсказалъ ему свою исторію съ Наташей, описалъ ему, какое именно чувство онъ питалъ къ женѣ Миленскаго и какая пустота у него теперь въ душѣ,—сенаторъ не на шутку испугался и далъ себѣ слово удерживать его за-границей до тѣхъ поръ, пока не удастся выхлопотать ему мѣсто гдѣ-нибудь подальше отъ города З-ска. Съ этою цѣлью, онъ заставилъ его подать прошеніе о продленіи отпуску и такъ краснорѣчиво доказывалъ ему неудобство, бесполезность и даже опасность подвергаться новой пытке, присутствуя при процесѣ Миленскаго, что, повидимому, Сергѣй Александровичъ вполне согласился съ нимъ и не заговаривалъ больше въ его присутствіи о судебной драмѣ, готовящейся въ З-скѣ по его програмѣ. Но въ одно прекрасное утро, прогуливаясь съ братомъ на берегу моря въ окрестностяхъ Неаполя, онъ объявилъ ему, что ѣдетъ на нѣсколько дней въ Римъ, а недѣлю спустя сенаторъ получилъ депешу изъ Россіи, въ которой Сергѣй увѣдомлялъ его, что засѣданіе по дѣлу Миленскаго назначено на 28-е февраля и что не присутствовать ему на этомъ засѣданіи нѣтъ никакой возможности.

Онъ пріѣхалъ сюда наканунѣ, вошелъ въ залу суда вмѣстѣ съ предсѣдательствующимъ и сѣлъ за колонну, позади этого послѣдняго. Во время чтенія обвинительнаго акта, Ртищевъ ни разу не поднялъ глазъ съ портфеля, наполненнаго бумагами, который онъ держалъ раскрытымъ на колѣняхъ.

Объ его волненіи и о напряженномъ вниманіи, съ которымъ онъ слѣдилъ за каждымъ словомъ происходящаго въ залѣ слѣдствія, можно было судить только по торопливости, съ которой онъ перелистывалъ эти бумаги, и по нервному трепету, пробѣгавшему по его пальцамъ, когда онъ дотрогивался до нѣкоторыхъ изъ нихъ. Если онъ такъ старательно прятался за колонну и такъ избѣгалъ обертываться по сторонамъ изъ боязни быть узаннымъ, то это былъ напрасный трудъ—его ужъ давно узнали и давно болтали о немъ въ пестромъ кружкѣ дамъ, украшавшемъ первые ряды скамеекъ, отведенныхъ для публики. Можно даже сказать, что имъ занимались почти столько-же, сколько подсудимымъ.

— Посмотрите, вотъ и Ртищевъ, сказала Лизанька Дмитровская, когда кончилось чтеніе обвинительнаго акта и предсѣдатель, послѣ приведенія свидѣтелей къ присягѣ, объявилъ перерывъ засѣданія на полчаса.

Ее закидали вопросами:

— Давно-ли онъ пріѣхалъ? Почему не онъ предсѣдательствуетъ?

— Зачѣмъ ему предсѣдательствовать? рѣшительнымъ тономъ объявила Лизанька. — Это было-бы крайне неловко съ его стороны. Всѣмъ извѣстно, что дѣло имъ направлено... По его настоянію арестовали Миленскаго; онъ указывалъ, кому дѣлать допросы и въ какомъ духѣ... Ужъ послѣ этого ему предсѣдательствовать вовсе не кстати...

Какъ достойная супруга человѣка мѣтившаго въ предсѣдатели, Лизанька выучилась выражаться авторитетно и техническими словами. Впрочемъ, не одному этому выучилась она за послѣднее время. Экскурсія въ запрещенную область преступной любви кончилась такъ, какъ предвидѣлъ Петръ Степановичъ: супруга его вернулась къ нему, умудренная житейскимъ опытомъ и ошипанная наручиномъ Перепелкинымъ настолько, чтобъ на всю жизнь получить отвращеніе къ романическимъ приключеніямъ. Что именно произошло между ею и мужемъ въ первые дни послѣ ея возвращенія подъ супружескій кровъ, осталось для всѣхъ тайной. Лизанька не рассказывала этого даже самымъ близкимъ своимъ пріятельницамъ, но если судить по внѣшнимъ признакамъ, все обошлось благополучно. Петръ Степановичъ самъ повезъ свою супругу на балъ въ собраніе и такъ явно ухаживалъ тамъ за нею, такъ сладко улыбался всякому, кто оказывалъ ей вниманіе, что сомнѣваться въ томъ, что онъ все простилъ и забылъ, было-бы трудно. Постороннимъ оставалось только слѣдовать этому мудрому примѣру и также простить Лизаньку. Всѣ такъ и сдѣлали, а многіе даже впали въ крайность и нашли, что приключеніе съ паручикомъ Перепелкинымъ послужило ей въ пользу; теперь характеръ Лизаньки окончательно установился; она какъ-то вдругъ остепенилась, обаялась и выглядѣла вполне опытной и вѣской особой во всѣхъ своихъ взглядахъ и приговорахъ. Однимъ словомъ, она точно предвидѣла, что мужа ея за это время повѣсятъ чиномъ и званіемъ; она явилась къ нему въ тотъ самый

моментъ, когда онъ крѣпко нуждался въ подругѣ, вполнѣ созрѣвшей для такой представительной роли, какъ роль супруги товарища предсѣдателя.

— Слѣдствіе было поручено Мандатову, рассказывала г-жа Дмитровская, — но Мандатовъ всѣмъ обязанъ Ртищеву и чихнуть не смѣетъ безъ его позволенія... Мой Петръ Степановичъ представлялъ все это прокурору, но развѣ съ такимъ капризникомъ, какъ нашъ Андрей Петровичъ, сговориться?

— Г. Ртищевъ былъ, кажется, очень хорошъ съ семействомъ Миленскихъ? спросила дама, недавно прѣхавшая въ З—скъ и еще не вполнѣ знакомая съ исторіями и сплетнями этого города.

— Еще-бы! Онъ одно время былъ до безумія влюбленъ въ сестру Миленскаго и даже хотѣлъ жениться на ней, но она предпочла карьеру оперной пѣвицы, успѣшила объяснить Гвоздичкина, просовывая свою маленькую, зѣбуную головку между головами сидящей передъ нею публики и выпуская свои слова такимъ шипящимъ шепотомъ, что не только окружающая публика, но также и судьи, будь только они въ залѣ, могли-бы слышать.

Лизанька Дмитровская отнеслась крайне недружелюбно къ этому непрошенному вмѣшательству въ ея бесѣду со сливками З—ской аристократіи и, оглянувъ черезъ плечо свою бывшую повровительницу, надменнымъ тономъ объявила, что она говоритъ суцій вздоръ.

— Ксаверія кокетничала съ Ртищевымъ, а ему нравилось ея пѣніе, вотъ и все!

— Помилуйте! Я отъ самой Марьи Васильевны слышала, что онъ бывалъ у нихъ только тогда, когда увѣренъ былъ тамъ встрѣтить мадемуазель Миленскую...

— Я не знаю, что ваша Марья Васильевна говоритъ, но, мнѣ кажется, что никто лучше насъ съ Петромъ Степановичемъ этой исторіи знать не можетъ... Ртищевъ у насъ бывалъ каждый день и все намъ рассказывалъ, рѣшительно все... Одно время она была къ нему неравнодушна.

— Ну ужъ, извините, скорѣе онъ былъ къ ней неравнодушенъ, перебила ее Гвоздичкина.

Лизанька презрительно пожала плечами.

— То-есть ни крошечки! Ртищевъ вовсе не такой человекъ,

чтобъ влюбляться; онъ просто насмѣшничаетъ надъ всѣми и даже, можно сказать, ни на какое глубокое чувство не способенъ. Да и понятно, всю жизнь провелъ въ разныхъ столицахъ, и все это ему такъ надоѣло!.. Совсѣмъ разочарованный!..

— А какъ вы думаете, mesdames, отравилъ Миленскій свою жену или нѣтъ? полюбопытствовала пріѣзжая дама, которую подсудимый интересовалъ больше препирательствъ мадамъ Дмитровской съ мадамъ Гвоздичкиной на-счетъ Ртищева.

— Разумѣется, отравилъ. Стоитъ только взглянуть на него: посмотрите, какой онъ блѣдный, совсѣмъ злодѣемъ выглядить!

Лизанька презрительно усмѣхнулась.

— Это ровно ничего не доказываетъ, объявила она, знаменательно поджимая губки.

— Знаете, вчера я была у Пыжовыхъ, начала рассказывать вице-губернаторша, — тамъ говорили, что Миленская сама отравилась и что еслибъ слѣдствіе не было такъ пристрастно направлено...

— Понятно, что Пыжовы такъ говорятъ: защитникъ Миленскаго — ихъ племянникъ.

— А вы съ нимъ знакомы?

— Съ Жуковымъ-то? Еще-бы! Онъ у насъ каждый день бываетъ.

— Говорятъ, что у него замѣчательный талантъ?

— Не знаю, право... онъ съ мужемъ все въ пикетъ играетъ и ни въ какіе разговоры не вступается.

— Увидимъ, какъ-то онъ будетъ защищать Миленскаго!

— Миленскаго вовсе не такъ трудно защищать, какъ думаютъ... Петръ Степановичъ говорилъ, что улики противъ него самыя слабыя... Очень можетъ быть, что она сама отравилась.

— Ахъ, какъ это невѣроятно! заспорила Гвоздичкина. — На такія штуки только отъ несчастной любви пускаются, а объ ней ничего такого не было слышно, за нею даже никто не ухаживалъ...

— А ему и подавно не для чего было отравлять ее!

— Извините-сь, для него былъ прямой расчетъ отдѣлаться отъ нея... Во-первыхъ, она ему давно надоѣла; это и мать его оворила, и всѣ... А, во-вторыхъ, слѣдствіе открыло о немъ

ужасныя вещи! Онъ постоянно жилъ за-границей, Богъ знаетъ, въ какихъ обществахъ... и, наконецъ...

Она понизила голосъ.

— И, наконецъ, у него тамъ семейство; онъ, говорятъ, отъ живой жены женился на Свѣтловой... Я знаю навѣрное, что у него была переписка съ какой-то женщиной, въ Италиі или въ Швеціи, ужъ не умѣю вамъ сказать.

— Зачѣмъ такъ далеко забираться? Довольно и того, что о немъ Раиса Чуваева рассказываетъ... Они знакомы съ дѣтства, ей всё его шашни извѣстны... Представьте себѣ, въ Москвѣ двѣ дамы за него даже на дуэль выходили!

— Что вы?

— Право! И не то, чтобъ въ шутку, а на самомъ дѣлѣ... Пистолеты были заряжены, и онѣ даже ранили другъ друга.

Лизанька Дмитровская презрительно пожала плечами.

— Раисѣ нельзя во всемъ вѣрить. Все это вздоръ, и противъ Миленскаго одна только и есть серьезная улика — это его восклицаніе, помните? Докторъ не успѣлъ еще разобрать, въ чемъ дѣло и отъ чего жена его умерла, а онъ кричитъ: „отравилась!..“ Это всѣмъ тогда показалось подозрительнымъ.

— Хорошъ также отвѣтъ матери... Что это, перерывъ кончился?

Приставъ провозгласилъ, что идетъ судъ. Дамы зашептались тише.

— Кого это приказали ввести?

— Не знаю, право, Хлопскаго, кажется...

— Жаль, что Раисы нѣтъ. Она говорила, что непременно будетъ на этомъ засѣданіи... Знаете, одно время Миленскій ей очень нравился, и еслибъ не Хлопскій... А встати о Хлопскомъ: я слышала, что этому мальчику, наслѣднику Пирожковой, гораздо лучше и будто у Раисы съ паномъ пошло на разладъ!

— Не вѣрьте этому: мальчику вовсе не лучше; напротивъ того, онъ совсѣмъ идіотъ и въ чахоткѣ къ тому-же... Да еслибъ онъ и выздоровѣлъ, ему все равно ничего не достанется... старуха Пирожкова въ прошломъ мѣсяцѣ переимѣнила завѣщаніе въ пользу дочери.

— Это то знаменитое завѣщаніе, о которомъ такъ хлопоталъ Ртищевъ?

— То самое. Мы ему тогда съ Петромъ Степановичемъ совѣтовали не вмѣшиваться въ это дѣло... Съ какой стати, поми-луйте! Какъ тамъ ни толкуйте, а все-же Раиса законная дочь, тогда какъ мальчишка этотъ, Богъ знаетъ, чей сынъ!.. Вступаться за него даже безнравственно...

— Ш-ш-ш-ш! Ш-ш-ш-ш! раздалось со всѣхъ сторонъ.

Барыни смолкли. Передъ судомъ стояла Марія Казиміровна.

Предсѣдательствующій спрашивалъ у нея, что ей извѣстно о смерти ея невѣстки, Натальи Миленской?

Она повторила то, что было уже сказано въ обвинительномъ актѣ и прибавила къ этому, что у ея сына былъ всегда упорный и суровый характеръ, что онъ мучилъ жену свою ревностью и взыскательными требованіями.

— Ну, эта изъ породы стойковъ, „подумалъ Ртищевъ.— Она его утопить окончателно“!

— Что это? Да она его обвиняетъ! раздались сдержанныя восклицанія въ публикѣ.

Миленская говорила медленно и твердо, не громко, но настолько явственно, что ломаная рѣчь ея была всѣмъ понятна.

Защитникъ попросилъ ее припомнить, къ кому именно ревновала ея сынъ свою жену.

— Къ кому-же могъ онъ ее ревновать, пане Боже! вскричала она съ негодованіемъ. Брониславова была доброе, ласковое дѣcko... вохала мужа надъ вшистыми и ни на крокъ безъ его позволенія не отходила.

— Стало быть, мужъ былъ несправедливъ къ ней, и это ее очень огорчало? продолжалъ настаивать защитникъ.

„И этотъ тоже ровно ничего не знаетъ“, замелькало въ головѣ Ртищева.

— Она была дитя, панъ, дитя чистое, якъ пташка беззаботная! Нудно ей сдѣлается, тропечку поплачетъ и вразъ смѣется... Каждое глупство ее бавило и радовало... Часомъ зяудится, скажешь ей: пуйдемъ, Наташа, до сусѣдскаго огорода, и она въ тѣнь моментъ очки вытретъ и летитъ убираться.

О, сколько воспоминаній возбудили эти слова въ душѣ Ртищева! Какъ живой предсталъ передъ нимъ пирожковскій садъ, съ Марочкой у пруда, съ тѣнистыми запущенными уголками, въ которыхъ было такъ уютно, такъ отрадно болтать съ Наташей!

А допросъ между тѣмъ продолжался.

— Вашъ сынъ женился по любви. Какая была причина его охлажденія къ женѣ? спрашивалъ предсѣдательствующій.

— Не вѣмъ, пане. Большая ружница была у нихъ, и въ лятахъ, и въ характерѣ... Не разумѣли они другъ друга... Наша жизнь и пшивычки были ей дивны; по нашему она, бѣдачка, някъ не могла научиться.

Марья Казиміровна смолгла и потупилась. Нельзя было обратить вниманія на тотъ фактъ, что она ни разу не взглянула на сына во время допроса. Подсудимый тоже не смотрѣлъ на мать и, кажется, не прислушивался къ ея словамъ. Взглядъ его, полный сосредоточенной думы, былъ пристально устремленъ въ окно, на широкія стекла котораго поднышавшая мятель надѣпляла фантастическіе узоры изъ блестящихъ снѣжныхъ хлопьевъ.

Сенаторъ Ртищевъ былъ правъ: Сергѣю Александровичу не слѣдовало присутствовать при этомъ засѣданіи. Съ первыхъ-же словъ обвинительнаго акта, въ душѣ его поднялось какое-то странное раздвоеніе; вѣра въ самого себя мучительно надламывалась, и онъ съ тоскою спрашивалъ себя: неужели онъ самъ сочинялъ этотъ обвинительный актъ? Неужели онъ самъ продиктовалъ его Мандатову? И какъ искренно, какъ глубоко онъ былъ тогда убѣжденъ, что всѣ его выводы и заключенія основаны на непреложной истинѣ! А теперь? Теперь онъ даже не въ силахъ припомнить, подъ какимъ именно впечатлѣніемъ все это имъ тогда думалось и писалось!.. Теперь онъ смутно предчувствуетъ за этой истиной другую, настоящую, много правдивѣе и справедливѣе...

Но гдѣ ее искать? Какъ выпутать ее изъ дисонанса оглушительно-громкихъ и ловко пригнанныхъ фальшивыхъ нотъ, подъ которыми она хоронится такъ безслѣдно, что даже тотъ, на котораго направлена облава, давно ужъ потерялъ надежду найти ее и указать на нее своимъ преслѣдователямъ и судьямъ? Подсудимый предпочитаетъ молчать; онъ чувствуетъ свое безсиліе заставить это панургово стадо свернуть съ того ложнаго пути, по которому оно бѣжитъ безъ оглядки, бѣжитъ такъ слѣпо и такъ усердно.

По-временамъ Сергѣй Александровичъ взглядывалъ украдкой

на Миленскаго, но тотчасъ-же отвертывался отъ него. Это блѣдное, измученное лицо теперь возбуждало въ немъ не одну только злобу; къ воспоминаніямъ о мученіяхъ, вынесенныхъ Наташей, начинали примѣшиваться такія мысли и сомнѣнія, которымъ невыразимо тяжело было поддаваться.

Онъ прислушивался къ голосу Маріи Казиміровны, и сердце его сжималось тоскливою жалостью и досадою. Какъ это случилось, что оба они—Ртищевъ, злѣйшій врагъ подсудимаго, и эта женщина—лицетвореніе любви къ нему, сошлись на одной почвѣ, что обоимъ имъ заползло одно и то-же подозрѣніе въ душу и что оба они, точно сговорившись, идутъ къ одной и той-же цѣли, оба губятъ Бронислава? Чего ей стоитъ такъ поступать! Вѣдь не можетъ-же она не видѣть, что каждымъ своимъ словомъ подтверждаетъ все сказанное въ обвинительномъ актѣ, что съ каждымъ ея словомъ сомнѣнія судей и присяжныхъ падаютъ одно за другимъ, а убѣжденіе въ виновности подсудимаго опредѣляется и уясняется все тверже и тверже!

До слуха Ртищева явственно долетали восклицанія: „Даже сама мать говорить! Какіхъ еще доказательствъ?“ и тому подобное.

Но почему-же на него слова свидѣтельницы производятъ совершенно обратное дѣйствіе? Почему ему такъ неудержимо хочется закричать ей, что жертва ея напрасна, что то, изъ-за чего она распинается, не есть истина, что онъ, Ртищевъ, цѣлыхъ шесть мѣсяцевъ былъ вполне убѣжденъ въ преступности Бронислава, а теперь не только сомнѣвается въ этомъ, но даже увѣренъ, что, можетъ быть, сейчасъ, сію минуту, какое-нибудь ничтожнѣйшее, повидимому, обстоятельство заставитъ всѣхъ, и его въ томъ числѣ, окончательно убѣдиться въ противномъ?

Прокуроръ напомнилъ свидѣльницѣ первый допросъ, на который она говорила, будто по-временамъ сынъ ея выказывалъ отвращеніе къ женѣ. Она отвѣчала, что это суцая правда и что причиной тому было неумѣнье покойницы угодить на характеръ мужа.

— Вначалѣ она бардзо ластилась до него; у насъ мужа не любятъ велькихъ ласкъ; а позднѣе, якъ онъ зачалъ ее менштровать, она охладѣла до него.

— Съ кѣмъ видѣлась тогда ваша невястка? спросилъ защитникъ.

— Брониславова была завше пше мнѣ, пане, видзялась тилько съ нашими добрыми пшеяталями.

— А я... неужели она забыла про меня? спрашивалъ себя мысленно Ртищевъ, тревожно взглядывая на защитника.

Этотъ послѣдній какъ-будто понялъ значеніе этого взгляда.

— У васъ были сношенія не съ однимъ польскимъ обществомъ, въ вашемъ домѣ бывали и русскіе? спросилъ онъ.

— Бывали, пане, бывали.

Она хотѣла еще что-то прибавить, но, точно раздумавши, смолкла; глаза ея, утомленные бессонницей и съ покраснѣвшими отъ слезъ вѣками, продолжали смотрѣть печальнымъ, угасшимъ взглядомъ на господина въ шитомъ мундирѣ, который допрашивалъ ее.

— Почему она не договариваетъ? Почему она такъ старательно избѣгаетъ произносить мое имя? не переставало мелькать въ головѣ Ртищева. — Вотъ сейчасъ, сейчасъ, — повторялъ ему внутренній голосъ, — сейчасъ защитникъ предложить такой вопросъ, отъ котораго все дѣло представится въ новомъ свѣтѣ, сейчасъ обнаружится, что изъ русскихъ только я одинъ былъ съ ними близокъ...

Ничего подобнаго не произошло; г. Жуковъ объявилъ, что ему больше спрашивать нечего, но за то г. прокуроръ началъ поспѣшно перелистывать лежавшія передъ нимъ бумаги и съ ехидной улыбкой попросилъ свидѣтельницу припомнить, не упрекали ли когда-нибудь подсудимый свою жену въ томъ, что она русская?

И при этомъ онъ съ торжествомъ взглянулъ на защитника.

— Попался, голубчикъ! говорилъ этотъ взглядъ.

— Дуракъ! процѣдилъ сквозь зубы Ртищевъ. — Не могъ ничего своего надумать, повторяетъ слово-въ-слово мои инсинуаціи!

И ему съ изумительною отчетливостью представилось то мѣсто въ дѣлѣ, гдѣ глухо намекалось на вліяніе національности въ рѣшеніи Миленскаго отравить свою жену. Теперь только ясно сознавалъ онъ пагубное вліяніе этого намека и какимъ ослѣпляющимъ, какимъ одурающимъ образомъ намекъ этотъ долженъ былъ подѣйствовать на людей, призванныхъ честно и безпристрастно судить дѣло!

Да, его инсинуація о вліяніи національности произвела боль-

шой эффектъ: судьи переглянулись, предсѣдательствующій приподнял голову и даже вытянулъ подбородокъ.

— И чему обрадовались, скоты? мысленно ругался Ртищевъ, — чему? сами не понимаютъ!

Одинъ изъ членовъ нагнулся къ своему сосѣду и шепнулъ ему что-то на ухо, а этотъ тотчасъ же схватилъ карандашъ и сдѣлалъ отмѣтку на лежащей передъ нимъ бумагѣ.

— Чтобъ не забыть вставить въ заключительную рѣчь, продолжалъ свои наблюденія Ртищевъ.

Досада его съ минуты на минуту усиливалась.

— Вотъ олухи-то царя небеснаго! Очень нужно таковой вздоръ записывать! прошепталъ онъ почти вслухъ.

Защитникъ тоже встрепенулся и насторожилъ уши, а у подсудимаго проскользнула по лицу насмѣшливая улыбка. Одна только Марія Казиміровна не выказала ни малѣйшаго волненія при этой новой нападкѣ; она отвѣчала и на этотъ вопросъ такимъ же ровнымъ и спокойнымъ тономъ, какъ и на прочіе.

— Чи-жь она винна, же русска? Бронекъ то добже зналъ, якъ до слюбу бралъ *)... Мдя Ксаверка завше мувила, же съ того ниць не выйдеть и же онъ не зробиць зъ нее польки.

— Ваша дочь не любила невѣстку? спросилъ прокуроръ.

— Моя дочка разумна кобета **), продолжала Марія Казиміровна, какъ-будто не слышавъ вопроса, — а Брониславова была чистое дещко, ниць не умала, ни работать, ни по хозяйству... Мешкала у насъ, якъ гостья, и, якъ гостья, нашихъ заботъ не пуймовала... Чи-жь можетъ то быть пріятно мужу, проше помислить, муй пане?

Она прибавила къ этому, что у нея былъ разговоръ съ сыномъ на этотъ счетъ, въ день его приѣзда изъ Варшавы, недѣль шесть до катастрофы. Брониславъ общалъ матери переимѣнить свое обращеніе съ женою и быть съ нею ласковѣе, если она сдѣлаетъ первый шагъ къ примиренію. Свидѣтельница сказала ему при этомъ:

— Брониса, паментай, же она не одной зъ нами вяры; у нихъ инна жизнь, не такъ смотрять на это москали, якъ мы... А

*) Когда вѣнчался.

***) Женщина.

„Дѣло“, № 6, 1879 г.

онъ отвѣчалъ, что жена „повинна на вшистро смотрѣть глазами мужа“.

Что потомъ произошло между молодыми супругами, Марія Казиміровна не знала. Она только видѣла, что сынъ ея не разставался съ женою ни на минуту, проводилъ ночи въ одной съ нею спальнѣ и что не слышно было между ними ни ссоръ, ни споровъ. Болѣзненный видъ и задумчивость Наташи она приписывала началу беременности и когда говорила объ этомъ сыну, онъ не разубѣждалъ ее. Вотъ почему никому въ домѣ не приходило въ голову обращаться къ докторамъ. Сама Наташа на нездоровье никогда не жаловалась; о томъ, что Брониславъ давалъ ей морфія противъ бессонницы, Марія Казиміровна слышала не отъ невестки, а отъ самого подсудимаго; однажды утромъ, онъ просилъ не беспокоить жену и не будить ее къ завтраку. „Наташа всю ночь не спала; къ утру я принужденъ былъ дать ей тѣхъ самыхъ капель, которыя самъ почти каждый день употреблялъ противъ бессонницы“, пояснялъ онъ при этомъ.

Послѣ Маріи Казиміровны допрашивали Марихну, которая повторила еще болѣе ломаннымъ языкомъ все, что сказала ея госпожа, присовокупивъ къ этому одну только пикантную подробность: она заявила, что Брониславъ хотя и проводилъ всѣ ночи въ одной спальнѣ съ женою, но ни разу не ложился на постель, приготовленную ему рядомъ съ нею, а спалъ въ креслѣ у окна. Старая служанка утверждала, что молодые господа уже съ годъ времени не жили, какъ мужъ съ женою.

Потомъ допрашивали доктора, пана Хлопскаго, прелата и читали показаніе неявившихся на судъ родителей несчастной Наташи, а также сестры подсудимаго. Всѣ эти показанія, какъ письменныя, такъ и словесныя отличались лаконизмомъ и уклончивостью; изъ нихъ ровно ничего нельзя было вывести, ни въ пользу, ни во вредъ подсудимому. Одинъ только прелать тонко намекнулъ на такое обстоятельство, которое, по его мнѣнію, набрасывало странную тѣнь на характеръ покойной Натальи Миленской и явно противорѣчило всѣмъ взглядамъ, составившимся на счетъ этого характера. Прелать былъ такого мнѣнія, что дѣвушку, рѣшившуюся выйти за-мужъ, вопреки желанія родителей, за малознакомаго ей человѣка, можно упрекнуть въ легкомы-

сли, упрямствѣ и даже, пожалуй, въ безнравственности, но ужь никакъ не въ недостаткѣ смѣлости и рѣшительности.

Прокуроръ подхватилъ на-лету это соображеніе и съ большимъ усердіемъ началъ развивать его въ своей рѣчи.

— Да, у Натальи Миленской достало смѣлости и энергій бороться даже противъ родительской власти, когда дѣло шло о томъ, чтобъ соединить свою жизнь съ жизнью любимаго человѣка. Она принадлежала къ числу тѣхъ ангеловъ во плоти, которые способны на чудеса самоотверженія, на геройскіе подвиги для любимаго человѣка, и если подсудимому можно было-бы доказать существованіе такого чувства въ ея душѣ, онъ, пожалуй, тѣмъ-же самымъ доказалъ-бы ея самоубійство. Но у него нѣтъ такого доказательства; скажу болѣе, у него подобнаго доказательства быть не можетъ, а потому онъ молчитъ, молчитъ упорно на всѣ вопросы... Молчаніе это многозначительно, гг. присяжные засѣдатели...

— Господи, какъ завирается! думалъ Ртищевъ, — самъ не понимаетъ, куда его заноситъ!

Съ первыхъ-же словъ этой рѣчи, онъ, точно ужаленный, поднялъ голову, вскинулъ глазами на оратора и смотрѣлъ на него такимъ пристальнымъ, вызывающимъ взглядомъ, что ораторъ навѣрно-бы смолкъ на полусловѣ, еслибъ замѣтилъ этотъ взглядъ, но г. прокуроръ былъ слишкомъ возбужденъ, чтобъ замѣчать что-бы то ни было. Г. прокуроръ былъ въ ударѣ; рѣчь его лилась потокомъ; блестящія, трескучія метафоры смѣнялись періодами самаго жалостнаго, самаго умилительнаго свойства; онъ распространялся о Наташѣ такъ, какъ-будто зналъ на-сквозь ея сердце, умъ, всѣ помыслы и чувства, изображая ее при этомъ въ самыхъ поэтическихъ краскахъ, напирая на ея чистоту и любовь къ мужу даже тогда, когда этотъ послѣдній на каждомъ шагу угнетаетъ и оскорбляетъ ее... Она все переноситъ съ покорностью; у нея одна мечта, одна надежда — вернуть его любовь, заслужить его довѣріе. Ей и въ голову не приходитъ искать въ чемъ-бы то ни было утѣшенія или развлеченія.

— Ты-то, ты-то почему это знаешь? не переставалъ мысленно волноваться Ртищевъ.

Описавъ мрачными красками преступленіе Миленскаго, адскую

ловкость и предусмотрительность, съ которыми онъ привелъ свое намѣреніе въ исполненіе, г. прокуроръ снова перешелъ къ Наташѣ и снова въ голосъ его зазвучала нота глубокой симпатіи и печали.

— Вспоминая все это, господа, я уношусь мыслью далеко, въ тотъ домъ, въ ту комнату, къ тому ложу, на которомъ Наталья Миленская найдена жертвой. Обращу-ли я взоръ къ происходившему въ судебномъ засѣданіи, я вижу передъ судомъ стоящихъ друзей и родственниковъ подсудимаго, родную мать его... Но не для того пришли сюда эти люди, чтобъ отстаивать его; нѣтъ, они сюда явились обвинителями!.. Сама мать его объявляетъ намъ, что не ангель смерти сомкнулъ уста и очи той, о комъ лились и льются слезы здѣсь, сама мать утверждаетъ, что сынъ ея питалъ отвращеніе къ супругъ за то, что она была неловка, ласкалась къ нему не во-время, не умѣла угождать ему... скажемъ лучше, не умѣла хитрить и притворяться... Да, это говорить сама мать!.. И слышенъ вздохъ, и видны слезы, замѣтна скорбь души безъ словъ... скорбь безпредѣльная, скорбь затаенная... Вы, люди опыта и мудрости житейской, найдите скорбь сильнѣе этой скорби, и слабый голосъ мой умоляетъ передъ вами! Онъ смолкнетъ, смолкнетъ скоро...

— О, дай-то Богъ! мысленно взмолился Ртищевъ, котораго начинала уже пробирать лихорадка отъ досады и раздраженія.

Но, нѣтъ, г. прокуроръ намѣренъ былъ еще долго нести ерунду прежде, чѣмъ смолкнуть. Окончивъ характеристику подсудимаго, его жертвы, ихъ родныхъ и знакомыхъ, онъ принялся за свою собственную; онъ объявилъ, что хотя мощь духа и сила слова не на сторонѣ его, однако, онъ намѣренъ отрѣшиться отъ всѣхъ правилъ, установленныхъ судебнымъ обычаемъ и многолѣтнею практикою, и доказывать вину Миленскаго приемомъ новымъ, до сихъ поръ небывалымъ, до сихъ поръ неизвѣданнымъ и имъ самимъ на этотъ случай созданнымъ.

— Этого еще не доставало! почти вслухъ прошепталъ Ртищевъ.

А г. прокуроръ, между тѣмъ, продолжалъ:

— Я назвалъ дѣло сложнымъ, назвалъ дѣло важнымъ, но не съ цѣлью славословить себя, а лишь съ тою цѣлью, чтобъ мнѣ, душой

изнывшему, душой разбитому, физически усталому, не пришлось-бы утомлять васъ потокомъ словъ, обиліемъ выводовъ... Я буду кратокъ и спрошу васъ, господа: возможно-ли допустить такое предположеніе, чтобъ двадцатилѣтняя женщина рѣшилась на самоубійство, рѣшилась уйти навсегда со сцены жизни, никому не закричавъ послѣднаго „прости“, никому не открывши своей тайны, никого не прося пожалѣть, поплакать о ней? Возможно-ли допустить подобную аномалію? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Еслибъ Наталья Миленская рѣшилась на самоубійство, она объяснила-бы это въ предсмертномъ письмѣ тому человѣку, который довелъ ее до такого исхода, и человѣкъ этотъ былъ-бы вынужденъ представить намъ это письмо, дабы признаніемъ вины меньшей избавиться отъ кары за вину большую. Такого письма не нашлось у подсудимаго, и на всѣ распросы объ его отношеніяхъ къ женѣ онъ отвѣчаетъ молчаніемъ... презрительнымъ, — скажетъ его защитникъ, осторожнымъ, — утверждаетъ обвинитель, утверждаю я. Отсутствие сознанія въ обвиняемомъ поддерживаетъ сомнѣніе въ судьяхъ. Но Наталья Миленская могла сообщить свое намѣреніе другимъ лицамъ, скажете вы? Мы это имѣли въ виду и съ этой цѣлью собрали всю переписку покойной за послѣдніе три-четыре мѣсяца. Мы собрали ее, пересмотрѣли, оцѣнили, взвѣсили... Переписка эта не обширна: нѣсколько писемъ къ родителямъ и къ братьямъ, вотъ и все; но и въ этихъ строкахъ проскользнулъ-бы какой-нибудь намекъ, слышалась-бы жалоба, чувствовалась-бы тоска предсмертной агоніи, еслибъ что-либо похожее на мысль о самоубійствѣ тайлось въ душѣ ея. Не забудьте, господа, что ей было только двадцать лѣтъ, что, по свидѣтельству знавшихъ ее людей, это была натура впечатлительная, откровенная и общительная, характера скорѣе слабого, чѣмъ сильнаго... Повторяю, мы искали подобнаго намека и ничего не нашли...

Ртищевъ оглянулъ залу: судьи были серьезны, публика растрогана, присяжные мрачны. Защитникъ видимо волновался и безпрестанно взглядывалъ на подсудимаго, который все также безстрастно смотрѣлъ на высокое, бѣлое окно. Равнодушіе, выразившееся въ глазахъ Миленскаго, смахивало порою на безсмысліе... Сергѣй Александровичъ машинальнымъ движеніемъ схватился за боковой карманъ, въ которомъ лежала записная книжка съ письмомъ Наташи.

— Слышитъ-ли подсудимый рѣчь прокурора? Слѣдить-ли онъ за направлеиенъ этой рѣчи и за тѣмъ, какимъ именно способомъ наиѣреваются утопить его? Знаетъ-ли онъ, чувствуетъ-ли, что въ этой залѣ есть человекъ, отъ котораго зависить его спасеніе и который терзается вопросомъ: слѣдуетъ-ли есмь жертвовать ради истины и надо-ли открывать ее даже и тогда, когда открытіе это повлечетъ за собою торжество зла?

Вопросы эти одинъ за другимъ возникали въ умѣ Ртищева въ то время, когда, не спуская взгляда съ Миленскаго, онъ безсознательно вынималъ изъ кармана записную книжку, раскрывалъ ее и развертывалъ вчетверо сложенный листокъ. Перечитывать наташино письмо ему было не для чего; онъ зналъ его наизусть, да онъ и не въ силахъ былъ-бы это сдѣлать... Отъ милыхъ строкъ повѣяло такимъ холодомъ, и сердце такъ болѣзненно жалось, что съ минуту времени онъ ничего не видѣлъ и не слышалъ.

А г. прокуроръ между тѣмъ продолжалъ ораторствовать, продолжалъ доказывать, что жена Миленскаго никого не любила, кромѣ мужа, и никому не жаловалась на судьбу...

И подъ звуки этой рѣчи, съ начала до конца банальной, напыщенной и лживой, переломъ, начавшійся въ душѣ Ртищева съ первой минуты его вступленія въ залу засѣданія, окончательно свершился: онъ сложилъ письмо и положилъ его въ конвертъ. А затѣмъ все также машинально и точно повинуясь какой-то могучей таинственной силѣ, онъ подозвалъ къ себѣ судебного пристава и приказалъ ему передать этотъ конвертъ защитнику подсудимаго.

Больно защемило ему сердце при этомъ! Такъ-же больно, какъ въ ту минуту, когда онъ узналъ про смерть Наташи!.. Отказываясь отъ счастья отомстить за нее, онъ вторично терялъ ее, — терялъ безвозвратно! Однако, у него достало силъ прослѣдить за первыми послѣдствіями своей жертвы: онъ видѣлъ, какъ приставъ подошелъ къ маленькому вертявому господину съ бѣлымъ значкомъ и какъ этотъ послѣдній встряхнулъ головой, принимая письмо, а затѣмъ любопытнымъ взглядомъ обвелъ залу прежде, чѣмъ открыть его. Ртищеву показалось, будто хитрые и блестящіе его глазки съ особеннымъ упорствомъ остановились на немъ, а также будто и Миленскій перевелъ на него свой про-

зительный взглядъ, улыбаясь при этомъ саркастической и злой усмѣшкой, ну, вотъ въ точь въ точь, какъ при послѣднемъ свиданіи съ Наташей въ тотъ осенній вечеръ, когда они встрѣтились втроемъ на улицѣ и когда Брониславъ съ такимъ злорадствомъ повторялъ ему, что онъ увозитъ жену за-границу.

А потомъ все вдругъ смѣшалось и спуталось, въ ухахъ поднялся гулъ, въ глазахъ всё образы сливались и мѣнялись... Онъ не видѣлъ сумятицы, поднявшейся въ залѣ засѣданія, и съ какимъ изумленіемъ предсѣдательствующій пробѣждалъ письмо, переданное ему защитникомъ... Озадаченные лица членовъ, смущеніе прокурора и растерянные взгляды, которыми онъ взглядывалъ на присяжныхъ въ то время, когда и они, въ свою очередь, съ большимъ волненіемъ и смятеніемъ перечитывали документъ, бросавшій такой новый, такой неожиданный свѣтъ на дѣло... Ртищевъ ничего этого не видѣлъ. Порой ему казалось, что не Миленскій, а онъ самъ сидитъ на скамьѣ подсудимыхъ, а что съ прокурорскаго мѣста не г. Мандатовъ, а сенаторъ Ртищевъ грозитъ его упреками за то, что онъ опять сунулся туда, куда его не спрашивали, и, по обыкновенію, все перепуталъ, все испортилъ своимъ вмѣшательствомъ... А когда онъ обращался къ публикѣ, то, вмѣсто болѣе или менѣе знакомыхъ лицъ, онъ видѣлъ Марочку въ томъ видѣ, когда его вытащили изъ пруда съ синѣвшими губами и помутившимся взоромъ... Онъ видѣлъ Ксаверію, блѣдную и гнѣвную, съ распущенными волосами, въ бѣломъ платьѣ, усѣянномъ лиловыми бантиками... Бантики эти, казалось ему, откалывались сами собою отъ платья, падали къ его ногамъ, а затѣмъ исчезали безслѣдно... А рядомъ съ нею расплывшаяся Пирожкова манила его къ себѣ жирнымъ пальцемъ, указывая на Раису Петровну, которая покатывалась со смѣха. За ними выступалъ панъ Хлопскій, прелать, Марихна, Марія Казиміровна и даже Лизанька Дмитровская съ мужемъ, — всё дѣйствующія лица той комедіи, окончившейся драмой съ такой печальной развязкой и съ такимъ неловкимъ, неудачнымъ концомъ!..

И вдругъ изъ-за всѣхъ этихъ фигуръ, мелкихъ, смѣшныхъ или жалкихъ, началъ выдвигаться образъ Миленскаго, мало-помалу заслоняя и затѣвая всѣхъ.

Ртищеву показалось такъ больно и обидно встрѣтиться съ торжествующимъ взглядомъ этого человѣка, что онъ рѣшился вы-

звать образъ Наташи и закрылъ глаза, чтобъ остаться съ нею наединѣ... Она явилась немедленно, какъ всегда, когда онъ призывалъ ее, но такая печальная и съ такимъ упрекомъ во взглядѣ, что душа его заняла больнѣе прежняго... Онъ открылъ глаза... Фантасмагорія разсѣялась, призракъ исчезли; все было по-прежнему въ залѣ засѣданія, съ тою только разницей, что всѣ взгляды были устремлены на защитника и что его тонкій, крививо-рѣзкій голосъ раздавался по всей залѣ. Ясно и отчетливо читалъ онъ вслухъ то письмо, которое полгода тому назадъ Ртищевъ нашелъ на своемъ письменномъ столѣ и пробѣжалъ съ такимъ замираніемъ сердца.

Письмо это не объясняло, какимъ образомъ Наташа достала ядъ, которымъ она отравилась; въ немъ даже не упоминалось о ея намѣреніи отравиться, но въ немъ такъ ясно выражалась любовь къ постороннему человѣку! Она называла этого человѣка „роднымъ и милымъ“, признавалась ему въ своемъ безсиліи бороться противъ деспотизма чужой среды и условій той жизни, въ которую закинула ее судьба, — „что-жъ мнѣ дѣлать, что-жъ мнѣ дѣлать?“

Въ этомъ крикѣ, дважды вырвавшемся изъ ея наболѣвшей души, звучало столько отчаянья, въ наивномъ сознаніи ея безпомощности выражалась такая нестерпимая сердечная мука, что Ртищевъ съ ужасомъ себя спрашивалъ: какъ могъ онъ, имѣя въ рукахъ такой документъ, цѣлыхъ полгода преслѣдовать Миленскаго и ни разу не усомниться въ его виновности?

Неужели нужна была фальшиво направленная рѣчь взбалмошнаго прокурора для того, чтобъ заставить его прозрѣть, перейти на путь безпристрастія и указать этотъ путь другимъ?

Воспоминаніе объ этихъ другихъ заставило его оглянуться: публика ликовала и съ живѣйшимъ участіемъ слушала торжествующую рѣчь защитника, лица присяжныхъ просвѣтлѣли... Слава Богу! Недоразумѣніе выяснилось, ошибка исправлена, Миленскій спасенъ!.. Сейчасъ вынесутъ оправдательный приговоръ и глупая, слѣпая толпа, вѣчно впадающая въ крайности, пожалуй, даже устроить овацію наташиному мужу... Почему-же нѣтъ? Сергѣй Александровичъ чувствовалъ себя способнымъ участвовать въ этой оваціи, и сердце его преисполнилось радостнымъ умиленіемъ...

Ему теперь казалось, что ближе этого поляка у него нѣтъ челоуѣка въ мѣрѣ! Чуждый и враждебный ему по рожденію, по преданіямъ и по обстоятельствамъ, столкнувшимъ ихъ на жизненномъ пути, онъ одинъ изъ всей окружавшей толпы могъ вполне понять и оцѣнить его поступокъ... Онъ волей-неволей долженъ уважать его за этотъ поступокъ.

Ртищевъ обернулся къ подсудимому, и всѣ эти мечты внезапно разлетѣлись въ прахъ! Лицо Миленскаго не выражало ни благодарности, ни умиленія; оно пылало гнѣвомъ... Между бровями врѣзывалась глубокая морщина, губы шептали проклятіе... Онъ искалъ кого-то взглядомъ, и когда глаза ихъ встрѣтились, Сергѣй Александровичъ прочелъ въ нихъ столько ненависти и презрѣнія, что ему вдругъ все сдѣлалось ясно: упорное молчаніе и холодное спокойствіе подсудимаго во время слѣдствія, осторожные отвѣты и недомолвки преданныхъ ему людей, а также какой жестокой, незалечимый ударъ нанесъ онъ имъ всѣмъ, выдавъ тайну, которую оскорбленный мужъ рѣшился унести съ собою на каторгу и похоронить тамъ навсегда, вмѣстѣ со своимъ загубленнымъ счастіемъ и разбитой карьерой!

Ртищевъ понялъ, что судьба столкнула его съ однимъ изъ рѣдкихъ экземпляровъ той породы людей, для которыхъ слово „честь“ не есть пустой звукъ условнаго и повладистаго свойства, и горькое чувство досады на самого себя затопило его душу.

„Опять неудача! Опять ошибка! И неужели всегда такъ будетъ?“ спрашивалъ онъ себя, порывисто срываясь съ мѣста и поспѣшно удаляясь изъ залы засѣданія.

Н. Северинъ.

(Окончаніе.)

ЩЕБЕТЪ ЛАСТОЧКИ.

Щебечетъ ласточка, предвѣстница весны,
Разсказывая мнѣ поспѣшно, но понятно
О красотѣ иной, далекой стороны,
Гдѣ дышется легко, свободно, благодатно.
Тамъ человѣка нѣтъ. Тамъ мудро и тепло
Царить правдивая, цвѣтущая природа,
И солнце ясное высоко и свѣтло
Взираетъ съ высоты лазуреваго свода.
Роскошно-дѣвственны лѣса тамъ и луга,
Потоки свѣтлые, широкія долины...
Тамъ пальмъ колеблются перистыя вершины
И вьются быстрыхъ рѣкъ крутые берега.
О, птичка ранняя, повѣдай мнѣ, зачѣмъ
Страну чудесъ мѣнять на скудную природу?
„На сѣверъ, говорить, я прилетаю съ тѣмъ,
Чтобъ принести весну скорбящему народу.
Я повидаю блескъ и роскошь дальнихъ странъ
И, улетая въ міръ печальный и забытый,
Я дѣлаюся тамъ, подъ кровомъ поселянъ,
Ко всѣмъ довѣрчивой, желанной, домовитой...
Любя, я странствую!.. Въ деревнѣ мирный домъ,
Друзей страдающихъ и помню я и знаю,
Тамъ грязью гнѣздышко лѣплю я подъ конькомъ
И сѣномъ, волосомъ и пухомъ выстилаю.
Тамъ засыпаемъ мы и дружныя встаемъ
Съ закатомъ золотымъ и розовымъ разсвѣтомъ
И, восхваляя все, живущее трудомъ.
Несется щебетъ нашъ и будить трудъ со свѣтомъ.
Тяжелому труду съ собою приношу
Я радость и тепло желанное и знаю,
Что въ души бѣдняковъ энергію вливаю
И свѣтъ во тьму сердець страдающихъ вношу.“

Н. Бобылевъ.

ГОСПОЖА АНДРЕ.

РОМАНЪ

ЖАНА РИШПЭНА.

ГЛАВА XLII.

Тифозная горячка шла своимъ порядкомъ, но со страшной силой.

Люсьенъ сначала чувствовалъ, какъ тиски, сжимавшія ему виски, все болѣе и болѣе суживались. Эта боль была постоянная, незатихавшая ни на секунду. По-временамъ надъ глазами онъ вдругъ чувствовалъ, словно громадный винтъ впивался въ его лобъ съ быстротою молніи. Послѣ этихъ острыхъ страданій, имъ овладѣвала одуряющая тяжесть. Голова у него была какъ-бы налита свинцомъ. Мало-по-малу слабость обнаруживалась во всемъ его тѣлѣ. Онъ просыпался отъ этой истомы со страшной болью. Потомъ его бросало въ жаръ и кожа его становилась сухой, огненной. Всѣ эти явленія слѣдовали одно за другимъ или мѣшались, пересѣкаемыя частымъ изліяніемъ крови изъ носа, которая падала крупными, тяжелыми каплями. Въ первые дни онъ былъ въ памяти и могъ оцѣнить нѣжныя попеченія г-жи Андре, которая исполняла свои обязанности сидѣлки, какъ истая женщина и мать, привыкшая нянчить больныхъ дѣтей. Это помогало Люсьену перенести испытываемыя имъ мученія. Особенно его изнуряла головная боль. Эта безостановочная боль мало-по-малу притупила въ немъ всѣ внѣшнія чувства и даже разсудокъ. Сначала онъ искалъ слова, а потомъ ему стало трудно собрать свои мысли.

Его умъ отуманивался медленно, какъ-бы кто напускалъ на него мракъ. На шестой день онъ впалъ въ безпамятство и сталъ бредить.

— Теперь болѣзнь овладѣла организмомъ, сказалъ докторъ Бурпитъ; — мы увидимъ, какъ она станетъ дѣйствовать на свободѣ.

До сихъ поръ онъ ставилъ преграды прогрессивному, всепожирающему развитію болѣзни, а теперь сталъ сдерживать слишкомъ быстрое усиленіе жара. Г-жа Андре присутствовала, съ истерзаннымъ сердцемъ, безумными надеждами и восторженнымъ удивленіемъ, при этомъ тайномъ, невѣдомомъ поединкѣ. То она видѣла Люсьена въ припадкѣ такого изстуженнаго бреда, что она ждала его смерти каждую минуту, то, напротивъ, подъ влияніемъ слабительнаго и ледяныхъ компрессовъ, врагъ отступалъ. Это была подземная война, въ которой болѣзнь вела мины, а докторъ подводилъ контр-мины. По прошествіи семи дней наступила открытая борьба.

Головная боль уменьшилась, но на тѣлѣ появились маленькія розовыя чечевицеобразныя пятна, словно торжествующая болѣзнь ставила свои значки на взятой приступомъ цитадели. Вся грудь была ими испещрена. Это продолжалось три дня, и тогда ихъ замѣнили почти незамѣтныя шероховатости, которыя лопались подъ пальцами, оставляя послѣ себя каплю пота. Лицо безобразно распухло и пожелтѣло, какъ пергаментъ. Ротъ, постоянно открытый, обнаруживалъ между опухшими губами, рѣзко отличавшіеся отъ лиловыхъ десенъ, зубы, бурные, покрытые сажнымъ камнемъ, и языкъ, страшный на взглядъ, сухой, растресканный, черный и вѣчно дрожащій, какъ у попугаевъ. Эти вѣшніе симптомы только доказывали, какія ужасныя страданія терзали несчастное тѣло внутри. Какія пытки переносилъ больной—было ясно видно до совершенному притупленію всѣхъ его чувствъ. Это уже было не одуреніе, а просто столбнякъ. Онъ ничего не понималъ, ничего не слышалъ. Глухой, неподвижный, лежалъ онъ въ полномъ оцѣпененіи, какъ мертвое тѣло, сохраняя живымъ только глаза, которые бессмысленно глядѣли въ пространство, ничего не видя, какъ зрачки слѣпого. Это оцѣпененіе нарушалось только по-временамъ неожиданными судорожными движеніями, при чемъ все тѣло вдругъ приподнималось съ необыкновенной силой. Потомъ разомъ, безъ

малѣйшаго предувѣдомленія, возвращался бредъ, но въ формѣ болѣе лютой, чѣмъ въ первомъ періодѣ. Съ Люсьеномъ дѣлались припадки, какъ у бѣшеннаго, на котораго надѣваютъ смирительную рубаху. Въ эти минуты Люсьена едва сдерживали два фельдшера, которые дежурили при немъ. Г-жѣ Андре не было тутъ мѣста; она не могла бороться съ необыкновенной силой больного. Она плакала и старалась нѣжными словами, если не заглушить, то хоть убавить его безумныя страданія; но онъ ничего не слышалъ и продолжалъ бороться, пока не падалъ на постель, какъ безчувственная масса. Тогда имъ овладѣвала спячка, изъ которой ничто не могло его вывести. Жизнь проявлялась въ немъ только желчной рвотой, покрывавшей его зеленой, вонючей жидкостью, точно тифъ хотѣлъ прежде осквернить свою жертву, а потомъ уже ее убить. Видя своего Люсьена неподвижнымъ, безчувственнымъ среди этихъ мязмовъ, г-жа Андре невольно вспоминала молодого человѣка, какимъ она его знала прежде, блестящаго, живого, свѣжаго, съ сверкающими глазами и розовыми губами. Она выходила изъ себя при видѣ жестокаго недуга, превратившаго прекраснаго юношу въ такую отвратительную безчувственную массу. Она хотѣла вырвать эту бѣдную жертву изъ когтей безжалостнаго врага; она бросалась на грудь Люсьена, безумно рыдала, ласкала его голову, омывала ее слезами, припадала своими губами къ его отвратительному рту и старалась вдохнуть жизнь своимъ поцѣлуемъ въ эту грудь, изъ которой только вырывалась отрыжка гноя и могилы.

Теперь была середина третьяго періода. Симптомы должны были предсказать смерть или выздоровленіе. Еслибъ положеніе больного ухудшилось, то конецъ былъ близокъ. Ему оставалось жить не болѣе нѣсколькихъ дней. Наступилъ вечеръ послѣ жаркой битвы, когда отступление превращается въ бѣгство, или побѣда одерживается кавалерійской атакой. Докторъ Вурпитъ подалъ знакъ къ атакѣ и двинулъ старую гвардію медицины—возбуждающія средства. Тифъ стали смѣло рубить ударами мускуса, эфировъ, хереса, *amontillado au quinquina* и другихъ укрѣпляющихъ средствъ. Въ сорокъ восемь часовъ позиція была взята. Всѣ патологическія явленія ослабѣли, поддаваясь мужественному напору медицины.

Черезъ нѣсколько дней всякая тѣнь неминущей опасности ис-

чезла. Тѣло больного быстро приходило въ себя. Страшный бредъ исчезъ и уже болѣе не терзалъ несчастный мозгъ, мучимый кошмарами. Съ нимъ вмѣстѣ прошелъ и столбнякъ. Лицо Люсьена потеряло неподвижное, безчувственное выраженіе маски. Всѣ его черты разжимались. Глаза стали живыми и останавливались сознательно на предметахъ; ихъ стеклянная неподвижность таяла подъ пламенемъ мысли.

— Ну, сказалъ однажды докторъ Бурпигъ, — вотъ уже недѣля, какъ прошелъ третій семидневный періодъ болѣзни. Теперь я отвѣчаю за больного.

И, крѣпко пожимая руку г-жи Андре, онъ прибавилъ.

— Я очень доволенъ. Благодарю васъ за то, что вы мнѣ дали случай вылечить такой прекрасный видъ тифозной горячки.

ГЛАВА XLIII.

Теперь необходимъ былъ только благоразумный надзоръ за больнымъ при постепенномъ возвращеніи здоровья. Выздоровливаніе послѣ тифозной горячки очень медленно и опасно; каждый возвратъ ея можетъ быть смертеленъ. Дѣло доктора было окончено, и г-жѣ Андре предстояло одной замѣнить леченіе самымъ внимательнымъ и нѣжнымъ уходомъ.

Люсьенъ радостно вкушалъ необыкновенную прелесть выздоровленія отъ тяжелой болѣзни, когда всякая мелочь кажется столь отрадной и впервые понимаешь, какое неоцѣнимое благо — жизнь. Онъ находилъ въ пищѣ, во снѣ невѣдомую дотолѣ сладость. Воздухъ, которымъ онъ дышалъ, имѣлъ какую-то новую для него свѣжесть. Положивъ свою руку въ руку г-жи Андре, онъ наслаждался постепеннымъ возвращеніемъ своихъ силъ. Теперь, когда она нѣжно гладила ему грудь, онъ ощущалъ живительное прикосновеніе ея пальцевъ, оставлявшихъ слѣды на его воскресшемъ тѣлѣ.

Однако, по-временамъ она была вынуждена прибѣгать къ строгости, потому что Люсьенъ, считая себя совершенно здоровымъ, не желалъ подчиняться необходимой осторожности. Онъ хотѣлъ встать, выйти на воздухъ, насладиться солнечными лучами. Но въ особенности онъ проявлялъ ненасытный аппетитъ и постоянно

требовалъ ѣды, такъ-что отказывать ему было очень больно. Но она имѣла мужество не обращать вниманія на его просьбы. Онъ тогда сердился, плакалъ, и его желанія только усиливались отъ отказа. Онъ говорилъ, что г-жа Андре мучила его для своей забавы. Онъ былъ жестокъ и несправедливъ, какъ избалованный, большой ребенокъ.

Вскорѣ онъ сталъ выказывать и другія желанія, которымъ она еще менѣе уступала. Нѣжное прикосновеніе ея ручекъ возбуждало въ немъ вновь сладострастные порывы, и онъ старался превратить эту нѣжность въ ласки, въ поцѣлуи. Положивъ голову на грудь г-жи Андре, онъ вдыхалъ въ себя опьяняющее благоуханіе, бралъ ее за талью, простиралъ руки къ ея корсажу, искалъ обнаженного мѣстечка ея соблазнительнаго тѣла. Но она тогда вскакивала, строгая, гнѣвная. Она упрекала его съ горечью за эти поползновенія влюбленнаго, которыя могли повредить его быстрому выздоравливанію. Она уходила отъ него, словно она была ядъ, котораго онъ хотѣлъ испить, и чтобъ уничтожить всякую тѣнь соблазна, переставала даже прикасаться къ нему рукою. Она становилась холодной, мраморной; ее какъ-будто что-то отталкивало отъ него. Она смотрѣла на него съ какимъ-то ужасомъ, точно мать, замѣчающая въ сынѣ физическую къ ней страсть.

Эта холодность очень огорчала Люсьена. Видя, что всё его попытки побороть странное обращеніе съ нимъ г-жи Андре не увѣнчались успѣхомъ, онъ вообразилъ, что она его разлюбила. Хотя эта нелѣпая мысль опровергалась ея постоянными нѣжными попеченіями, по она мало-по-малу росла въ его головѣ, тѣмъ болѣе, что онъ въ тайнѣ сохранялъ ее, лелѣялъ, холилъ. Однажды, посмотрѣвъ на себя въ зеркалѣ, онъ увидалъ, какъ болѣзнь страшно измѣнила его, и нашелъ въ этомъ причину равнодушія его любовницы. Онъ былъ глубоко огорченъ.

„Она не можетъ меня болѣе любить, подумалъ онъ; — она всегда видитъ во мнѣ отвратительный трупъ, за которымъ она ухаживала“.

Въ то-же время онъ сталъ замѣчать, что она смотрѣла на доктора Бурпита не съ однимъ уваженіемъ, а съ нѣкоторою нѣжностью. Онъ не сумѣлъ распознать во взглядахъ этой благородной женщины глубокую благодарность. Онъ сталъ ее ревновать. Его нервная натура, возбужденная еще болѣе болѣзнью и воспо-

минаніями о недавнемъ бредѣ, приводила его къ самымъ нелѣпнымъ и дикимъ предположеніямъ. Конечно, этотъ докторъ, этотъ англичанинъ, столь сухой и холодный, съ его мраморнымъ, неподвижнымъ лицомъ, окаймленнымъ полу-русой, полу-сѣдой бородой, не походилъ на обольстителя женщинъ. Съ другой стороны, г-жа Андре никогда не подала ему ни малѣйшаго повода сомнѣваться въ ея вѣрности. И, однако, онъ все болѣе и болѣе думалъ о возможной связи между ними. Самая чудовищность подобнаго факта, при теперешнемъ разстроенномъ его состояніи, убѣждала его въ томъ, что онъ правъ. Онъ вспоминалъ всѣ извѣстныя исторіи обманутыхъ мужей; онъ убѣждалъ себя, что женщины очень странны; онъ повторялъ прежніе софизмы, когда онъ презиралъ любовь и полагалъ, что онъ отлично знаетъ женщинъ. Онъ думалъ о страшной драмѣ „Онъ и она“, читая которую онъ такъ сердился на Жоржъ-Занда и такъ сожалѣлъ большого, котораго обманывала жена съ докторомъ у самаго его изголовья. По несчастью, онъ думалъ, что разсуждаетъ совершенно здраво, и вѣрилъ въ дѣйствительность болѣзненныхъ фантазмагорій, которыя были въ сущности послѣднее эхо его бреда.

Хотя онъ упорно молчалъ объ этомъ, но г-жа Андре вскорѣ замѣтила, что его мучила какая-то непріятность, преслѣдовавшая его мысль. Она, наконецъ, отгадала, въ чемъ дѣло. Въ присутствіи доктора, Люсьену какъ-то становилось неловко и непріятно, что не могло ускользнуть отъ вниманія г-жи Андре, и она легко поняла, что его терзала ревность, хотя и ни на чемъ неоснованная. Болѣе благоразумная, чѣмъ Люсьенъ, она приняла эту безумную выходящую за послѣдній остатокъ бреда, но тѣмъ менѣе беспокоилась, что докторъ Бурпигъ собирался вскорѣ уѣхать въ Америку.

Онъ простился съ нею такъ-же оригинально, какъ началъ свое знакомство. Онъ написалъ ей слѣдующее письмо:

„Сударыня!

„Моему больному необходимъ шестимѣсячный отдыхъ. Вотъ двѣ тысячи франковъ. Примите увѣреніе въ моемъ искреннемъ уваженіи.

Джонъ Бурпигъ“.

Г-жа Андре хотѣла передать Люсьену радостную вѣсть, но онъ встрѣтилъ ее гнѣвной вспышкой. Въ послѣдніе дни онъ впол-

нѣ убѣдился въ справедливости своихъ подозрѣній, благодаря непонятному, невѣдомому источнику денегъ, которыхъ, повидимому, было много въ домѣ. Онъ не могъ долѣе сдерживать своего негодованія и грубо воскликнулъ:

— Маделена, ты меня обманываешь!

Г-жа Андре замерла, услыхавъ это обвиненіе; но черезъ минуту она пришла въ себя и подумала, что ей не слѣдовало сердиться на послѣдній припадокъ бреда. Она просто нагнулась и хотѣла поцѣловать Люсьена.

— Оставь меня! продолжалъ онъ внѣ себя отъ гнѣва; — я знаю все. Докторъ твой любовникъ.

— Люсьень, отвѣчала она съ нѣжной мольбою въ голосъ, — ты съума сошелъ. Успокойся.

— Нѣтъ, нѣтъ. Я слишкомъ давно страдаю. Я хочу съ тобою объясниться. Откуда ты берешь деньги?

Г-жа Андре вздрогнула отъ ужаса. Въ этомъ напряженномъ состояніи, въ которомъ находился Люсьень, нельзя было ему сказать всей правды. Онъ не повѣрилъ-бы безкорыстной щедрости эксцентричнаго англичанина, и ея рассказъ только еще болѣе разстроилъ-бы его, подкрѣпляя только его подозрѣнія. Поэтому она на минуту смутилась.

— Скажешь-ли ты мнѣ, откуда эти деньги? повторилъ онъ грознымъ тономъ.

Въ головѣ ея вдругъ мелькнула мысль спасти все ложью и она отвѣчала спокойно:

— Отъ Фресона.

Какъ ушатою холодной воды обдало Люсьена, и вся его злоба мгновенно пачезла. Онъ и не подумалъ о Фресонѣ. Однако, это объясненіе было очень просто и вѣроятно. Все его негодованіе разразилось горькими слезами и пламеннымъ раскаяніемъ. Онъ укорялъ себя въ низкой подозрительности, просилъ прощенія у г-жи Андре. Онъ стыдился за себя и не зналъ, какъ загладить свою вину. Она обняла его и старалась успокоить нѣжными ласками.

— Ребенокъ, безумецъ, говорила она; — перестань, я на тебя не сержусь. Я не помню даже, что ты кричалъ. Вѣдь ты не могъ вѣрить такой нелѣпности. Это не ты говорилъ, а проклятый тифъ. Не плачь! Я тебя люблю! Какъ могу я не любить

тебя? Еслибъ ты зналъ, съ какииъ счастьемъ я за тобою ухаживала!

— О! лепеталъ Люсьенъ,—какъ могъ я повѣрить...

— Не говори болѣе объ этомъ, голубчикъ. Впрочемъ, ты не увидишь болѣе доктора: онъ уѣхалъ въ Америку.

— Тѣмъ хуже; я желалъ-бы попросить у него извиненія. Какой я неблагодарный! Онъ мнѣ спасъ жизнь! Но по крайней мѣрѣ я могу у тебя вымолить прощеніе. Вотъ видишь, я не виноватъ...

И по естественной реакціи его любовь пріобрѣла еще большую страстность послѣ минутнаго сомнѣнія, какъ его здоровье стало крѣпче и цвѣтуще послѣ болѣзни. На этотъ разъ г-жа Андре не могла вырваться изъ его объятій, и они оба упали на постель, которую смерть едва не усыпала имортелями; теперь-же ихъ пламенные поцѣлуи покрывали ее розами.

На слѣдующій день г-жа Андре раскаялась въ своей лжи. Она поставила себя въ ложное положеніе относительно Люсьена и не могла выдти изъ него, не возбудивъ снова подозрѣній, уже болѣе основательныхъ. Сознавъ въ томъ, что вчерашній ея отвѣтъ былъ обманъ, и сказать всю правду, т. е. что деньги были даны докторомъ Бурпитомъ, значило дать снова широкій просторъ ревности Люсьена. Но съ другой стороны, если онъ самъ какъ-нибудь разгадаетъ тайну, то уже ни что на свѣтѣ не убѣдитъ его въ невинности г-жи Андре. Единственнымъ средствомъ спасенія было просить помощи Фресона. Но г-жа Андре знала его теперь слишкомъ хорошо, чтобъ надѣяться на великодушіе такого эгоиста. Она теперь вполне оцѣнила его буржуазную душу и понимала, что онъ руководствовался только личными интересами. Послѣ выздоровленія Люсьена, она нѣсколько разъ перечитала отвратительное письмо Фресона. Негодованіе, которое она не ощутила въ первую минуту, благодаря тому, что сто франковъ были для Люсьена, какъ стазанъ воды въ пустынѣ, теперь выводило ее изъ себя. Вся низость этого письма, полного клеветами и лицемѣріемъ, била прямо въ глаза. Однако, какъ тогда она думала только о спасеніи физической жизни, такъ и теперь, заботясь лишь о нравственномъ его спокойствіи, она рѣшилась допить чашу униженія до дна и, забывъ объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ ей Фресономъ, обратиться къ нему съ просьбой о новой

услугъ. Это былъ одинъ изъ величайшихъ залоговъ любви и преданности, которые она когда-нибудь давала Люсьену. Она обращалась съ мольбою къ человѣку, котораго презирала. Она приносила въ жертву свое благородное негодованіе на этого презрѣннаго, мѣщанскаго эгоиста.

Но отвращеніе, съ которымъ она написала ему это письмо, оказалось очень полезнымъ для успѣха ея плана. Она инстинктивно нашла тѣ доводы, которые всего могущественнѣе могли подѣйствовать на Фресона. Она не говорила ему ни о великодушіи, ни о благородствѣ, ни о самопожертвованіи, а только о деньгахъ. Она отослала ему сто фразковъ, увѣдомила о выздоровленіи Люсьена и прибавила, что, вслѣдствіе непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, она получила довольно значительную сумму денегъ и, не желая, чтобъ Люсьенъ объ этомъ зналъ, она сказала, что Фресонъ прислалъ деньги на его болѣзнь, а потому надѣялась, что Фресонъ не выдастъ ее. Вотъ все, что она у него просила.

Фресонъ отвѣчалъ ей со слѣдующей почтой, что принимаетъ на себя предложенную роль и съ удовольствіемъ сдѣлаетъ все, что отъ него зависитъ, для опезпеченія счастья его друга. Онъ сожалѣлъ, что не могъ оказать болѣе дѣйствительной помощи во время болѣзни Люсьена, но теперь будетъ вѣчно къ услугамъ г-жи Андре.

Она нисколько не удивлялась этому низкому и пошлomu письму. Очевидно, Фресонъ растаялъ при одномъ словѣ „деньги“ и становился снова другомъ, узнавъ, что нищета миновала. Между тѣмъ и Люсьенъ написалъ ему благодарственное письмо, и Фресонъ разсыпался въ увѣреніяхъ самой нѣжной къ нему привязанности.

— Послѣ тебя, сказалъ Люсьенъ, прочитавъ г-жѣ Андре письмо Фресона, — онъ любить меня болѣе всѣхъ на свѣтѣ.

Въ карманѣ у нея лежало первое письмо низкаго лицемѣра, и ей много стоило, чтобъ не показать его. Но дѣло шло о счастье Люсьена. Она прикусила губы и мужественно отвѣчала:

— Да, Фресонъ тебя очень любить.

ГЛАВА XLIV.

Годъ, слѣдовавшій за выздоровленіемъ Люсьена, былъ удивительно сладостнымъ для него: безъ работы, безъ заботъ, безъ усталости, но и безъ скуки—обычнаго гнета празднаго существованія. Г-жа Андре съ замѣчательнымъ искусствомъ находила ему занятія и удаляла отъ него все, что могло ему надобѣсть, какъ вѣрная раба отгоняетъ мухъ отъ своего спящаго господина. Умъ Люсьена былъ такъ перевернутъ болѣзнью, что онъ испытывалъ особое счастье, приводя въ порядокъ свои мысли; но ему надо было сдѣлать это тихо, не спѣша, и ничто не было ему такъ отрадно, какъ сознаніе, что г-жа Андре производила для него эту работу съ легкими бесѣдами, мирными разсужденіями и особливо чтеніемъ, которымъ она убаюкивала его, какъ бабушка баловня-внука.

Благодаря деньгамъ доктора Бурпита, жизнь ихъ протекала спокойно, счастливо, и они разнообразили ее болѣе изысканными жизненными удовольствіями, чѣмъ живущіе своими рентами обыкновенные буржуа, на которыхъ они очень походили. Каждый день они гуляли въ паркѣ Монсо. Они усаживались на большую скамью и, прислонившись къ выгнутой спинкѣ, обхватывавшей ихъ талии, дышали свѣжимъ воздухомъ, тѣшили глаза и мысль прелестной картиной, развертывавшейся передъ ними. На пескѣ, залитомъ солнечными лучами, играли, весело смѣясь, нарядно одѣтыя дѣти; сквозь зеленую листву деревьевъ виднѣлись золоченныя рѣшетки богатыхъ домовъ и полныя роскошныхъ цвѣтовъ сады, которые окружаютъ этотъ паркъ богатыхъ. Здѣсь не видно было блестящей роскоши, которая возбуждаетъ зависть бѣдняковъ, а, напротивъ, здѣсь было то пріятное для глаза довольство, которое даже утѣшаетъ бѣдняковъ, придавая имъ какой-то внѣшній видъ благоденствія. Прелесть этой мѣстности увеличилась еще съ приближеніемъ ночи, когда уже нельзя было въ общей смутной массѣ разглядѣть каждое отдѣльное дерево и когда одуряющій шумъ Парижа замиралъ въ макушкахъ деревьевъ, какъ грохотъ волнъ на песчаномъ берегу. Однако, въ этомъ зрѣлищѣ было нѣчто иное, чѣмъ въ зрѣлищѣ морского берега или зеленого дуга, нѣчто чисто парижское. Оно не овладѣвало всѣмъ вашимъ существомъ, не поража-

ло васъ своимъ величіемъ, какъ картины природы, но оно нѣжно щекотало вашу душу. Такое точно впечатлѣніе производитъ современный пейзажъ, кажущійся ненатуральнымъ, но чарующій васъ своимъ изяществомъ искусства. Нѣтъ ничего пріятнѣе для парижанина и артиста, какъ эта странная смѣсь вѣчной природы и скоропреходящей современности. Немногіе это понимаютъ и цѣнятъ. Люсьенъ и г-жа Андре принадлежали къ этимъ немногимъ. Они не подвергали анализу свое ощущеніе, но наслаждались имъ. Они съ удовольствіемъ распознавали чисто парижскій оттѣнокъ всего, что ихъ окружало, эту яркую, звонкую нотку среди безмолвнаго хора деревьевъ, травы, звѣздъ. Этотъ паркъ, наводненный природой, но запечатлѣнный печатью Парижа, походилъ на флаконъ духовъ, который, колыхаемый волнами океана, все-же сохранилъ-бы благоуханіе цвѣтовъ.

Въ видѣ развлеченія, хотя эти ежедневныя удовольствія ихъ нисколько не утомляли, они иногда отправлялись гулять въ Сент-Уанъ, этотъ странный, скудный и трогательный уголокъ деревни въ парижскомъ предмѣстьи. Для этихъ экскурсій они преимущественно выбирали воскресенье и находили особую прелесть вмѣшаться въ народную толпу, послѣ утонченныхъ ощущеній уединеннаго, мирнаго парка Монсо. Они присоединялись къ толпамъ мелкихъ чиновниковъ, конторщиковъ и работниковъ, которые искали за городскими укрѣпленіями зелени и чистаго воздуха. Въ подобныя дни въ атмосферѣ какъ-бы стоитъ веселье. Вся дорога кишитъ яркими цвѣтами, быстро движущимися фигурами, крикомъ, смѣхомъ, пѣснями. Рука объ руку проходятъ счастливыя парочки и цѣлыя вагаты весельчаковъ. Вотъ идутъ старички: мужъ въ опрятномъ, но старомодномъ сюртукѣ, жена съ громаднымъ пунцовымъ бантомъ на шеѣ; веселые и довольные собою, они толкаются направо и налево, представляя очень любопытную картинку. Но особенно пріятно смотрѣть на работниковъ. Народъ веселится на-распашку. Здѣсь встрѣчаешь поддонки предшѣстій; правда, тамъ и сямъ попадается на тротуарахъ молодежь, уже здорово выпившая, но большая часть толпы состоитъ изъ честныхъ труженниковъ, лица которыхъ ясно выражаютъ, что они всю недѣлю энергично исполняютъ свой долгъ. Это недурные товарищи въ прогулкѣ. Они дышатъ силой и здоровьемъ. Отецъ семейства ведетъ за руки своихъ дѣтей и часто несетъ на

плечахъ свое младшее дѣтище. Жена, молодая, свѣжая, обыкновенно выдается той особенной пикантной красотой, которая отличаетъ парижанокъ даже въ грошевомъ чепцѣ. Дойдя до первой травки, семья останавливается; дѣти начинаютъ рѣзвиться, мать усаживается на землю, расправивъ юбки, а отецъ, снявъ спортукъ, вдыхаетъ въ себя свѣжій воздухъ, махая руками, словно хочетъ надышаться имъ на недѣлю.

Люсьенъ и г-жа Андре проходили среди этихъ семей съ какии-то религиознымъ уваженіемъ и никогда не находили ихъ смѣшными. Все это казалось имъ очень хорошимъ, похвальнымъ. Они такъ-же садились на зеленый газонъ, и сердца ихъ были пресволнены мирнаго, тихаго блаженства. Въ этомъ общеніи съ грубыми, простыми, но здоровыми и мощными людьми ихъ тонкая, изящная натура находила много прелести, какъ гастрономъ иногда лакомится деревенской похлебкой въ хижинѣ поселяннина.

Потомъ они спускались по мѣловымъ дорогамъ къ Сенѣ. Конечно, это не была ихъ хорошенькая рѣчка въ Аблонѣ, уединенно извивавшаяся подъ тѣнью нависшихъ старыхъ вѣтвей и среди миниатюрнаго дѣвственнаго лѣса камышей, кувшиновъ и водяныхъ лилій. И, однако, это зрѣлище имъ не казалось ни грустнымъ, ни пошлымъ, несмотря на обнаженные берега, пыльную дорогу и шумную толпу. Пароходы, полные веселой публикой, казались даже красивѣе маленькихъ лодочекъ, на которыхъ гребли парижане, вырвавшіеся на свободу въ праздникъ. Изъ всѣхъ кабачковъ и трактировъ неслись смѣхъ, крики, шумъ, запахъ кухни, стукъ бутылокъ и грубыя уличныя шутки. Часто соблазненные опьяняющей атмосферой общаго веселья, они усаживались за деревянный столикъ и требовали фрикасе изъ кроликовъ—это любимое лакомство рабочаго люда. Ихъ одежда, болѣе приличная, чѣмъ у другихъ, не возбуждала, однако, ни въ комъ зависти, потому что бѣдность положила свою печать на ихъ изящную внѣшность, и ихъ принимали за артистовъ, которыхъ буржуазія считаетъ отщепенцами, но народъ уважаетъ, какъ друзей.

Вечеромъ они возвращались домой среди общей давки, не боясь измать своей одежды. Только по-временамъ, когда ихъ толкали, г-жа Андре прижималась ближе къ Люсьену, и толпа несла ихъ впередъ, какъ морская волна чаекъ. Они громко смѣялись и кричали другъ другу нѣжныя слова любви, такъ-какъ

въ окружавшемъ ихъ шумѣ не слышно было обыкновеннаго разговора. Иногда они даже брали примѣръ съ проходившихъ мимо парочекъ и цѣловались подѣ шумокъ. Они возвращались дошлой усталые, запыленные и хриплые отъ невольныхъ криковъ; ноги ихъ утомились, голова была тяжела, но на сердцѣ у нихъ было ясно, свѣтло.

ГЛАВА XLV.

Однако, двѣ тысячи франковъ доктора Вурпита не могли длиться вѣчно, и г-жа Андре начинала съ безпокойствомъ думать о быстро приближавшейся нищетѣ. Она не говорила объ этомъ ни слова Люсьену, чтобъ его не тревожить, и даже намекнула ему, что Фресонъ открылъ безграничный кредитъ до того времени, когда его другъ совсѣмъ поправится и будетъ въ состояніи зарабатывать себѣ кусокъ хлѣба. Къ тому же она такъ искусно вела хозяйство, что Люсьенъ никогда не считалъ, сколько денегъ выходило и скоро-ли у нихъ не останется ни гроша. А это время быстро приближалось. Несмотря на всѣ чудеса экономіи, маленькій капиталъ скоро таялъ. Тщетно отыскивала г-жа Андре самыя дешевыя удовольствія, тщетно сокращала всѣ расходы, за исключеніемъ того, что шло лично на Люсьена, тщетно сама переносила лишения, — источникъ, изъ котораго она въ теченіи года черпала средства для поддержки Люсьена здоровымъ и счастливымъ, видимо изсякъ.

Чтобъ не очутиться вдругъ безъ куска хлѣба, она исподоволь принялась за прежнюю свою работу, благодаря которой явился на свѣтъ „Фердинандъ“. Она мужественно углубилась въ чащу рукописей Люсьена, съ цѣлью извлечь изъ нихъ что-нибудь, могущее принять опредѣленную форму и явиться въ печати.

На этотъ разъ она встрѣтилась съ большими задрудненіями чѣмъ въ первый, потому что Люсьенъ былъ совершенно неспособенъ оказать ей какую-бы то ни было помощь. Во-первыхъ, у него голова была еще очень слаба, и г-жа Андре не хотѣла, чтобъ онъ такъ скоро послѣ болѣзни занялся серьезнымъ литературнымъ трудомъ. Во-вторыхъ, еслибъ онъ и исполнѣ владѣлъ всѣми своими умственными способностями, онъ

отшатнулся-бы отъ этой работы изъ отвращенія къ хаосу замѣтокъ, набросанныхъ имъ въ продолженіи трехъ мѣсяцевъ безумной плодовитости. Онъ даже не могъ прочесть всю эту груду отрывочныхъ идей, беспорядочныхъ фразъ, нестѣланныхъ образовъ. Поэты вообще имѣютъ хорошую или дурную привычку писать импровизаціи, и имъ необходимо большое усиліе, чтобъ пересмотрѣть и исправить эти импровизаціи, особливо, когда онѣ имъ кажутся неудачными. Люсьенъ съ гордостью держался этой теоріи, столь противорѣчащей общественному мнѣнію, и не могъ принудить себя къ терпѣливой мозаичной работѣ, которую многіе принимаютъ за талантъ потому только, что она, дѣйствительно, иногда, повидимому, его замѣняетъ.

— Что-же дѣлать? говаривалъ онъ г-жѣ Андре, — я не могу штопать моихъ фразъ. Конечно, я не утверждаю, что стихи и проза рождаются самопроизвольно, но исправлять однажды написанное нельзя. Я примѣняю къ поэту то, что Байронъ сказалъ о тигрѣ: однажды упустивъ свою жертву, тигръ никогда ее не преслѣдуетъ. Въ послѣдніе двадцать лѣтъ много смѣялись надъ вдохновеніемъ, и я первый хохоталъ. Но я ошибался. Отличительный характеръ художника именно вдохновеніе. Или лучше бросимъ это нелѣпое, карикатурное слово. Я замѣняю вдохновеніе болѣе точнымъ словомъ — возбужденіемъ и я правъ. У художника бываетъ горячка воображенія, и въ этомъ возбужденномъ состояніи онъ пишетъ. Это безспорно. Я знаю, что происходитъ во мнѣ. Когда мнѣ кажется, что у меня есть что-то въ головѣ, я чувствую необходимость освободиться отъ этой зародившейся мысли. Я становлюсь тогда беременной женщиной, которая чувствуетъ приближеніе родовъ. Тогда я пишу, т. е. рожаю. Эти роды болѣе или менѣе трудны; иногда я страдаю и мечусь, чтобъ создать одну строку, въ другой разъ страницы такъ и льются за страницами. Если дѣтище является сильнымъ, здоровымъ, прекраснымъ, то тѣмъ лучше. Но однажды рожденное дѣтище я не могу передѣлывать, вытравить ему носъ или исправить позвоночный столбъ. Въ послѣднемъ я случаѣ поступаю, какъ отцы въ Спартѣ: „а, ты уродъ, ты дурно сложенъ, ты больной, сынъ мой! прощай; въ клоаку недоносковъ!“

Г-жа Андре оспаривала эту слишкомъ абсолютную идею и защищала несчастныя рукописи отъ насильственной смерти рукою отца.

— Вотъ вы, мужчины, всё таковы, отвѣчала она. — Еще не много и вы объявите, что всему конецъ послѣ поцѣлуя, который зарождается ребенокъ. Вы не знаете, что такое чувство материнское. Но вѣдь за родами идетъ кормленіе грудью. Маленькаго, слабенькаго ребенка можно сдѣлать сильнымъ, здоровымъ нѣжными попеченіями. Выростить ребенка, это все равно, что родить его вторично, и каждый день совершается подобное чудо; больной ребенокъ дѣлается здоровымъ человѣкомъ, благодаря ласкамъ и заботамъ матери.

Люсьенъ смѣялся надъ этимъ материнскимъ упорствомъ, но не имѣлъ ей работать надъ расчисткой своего литературнаго хаоса. Въ сущности онъ, лѣнивый, былъ очень доволенъ, что другой работаетъ вмѣсто него, и онъ гордился, что даже въ безпорядочныхъ наброскахъ г-жа Андре могла найти матеріалъ для картины.

— Ты хочешь обтесать моихъ китайцевъ, говорилъ онъ съ улыбкой, — хорошо, я тебѣ ихъ передаю на руки. Ты такъ добра и терпѣлива, что, можетъ быть, и сдумѣешь сдѣлать что-нибудь изъ этихъ уродовъ.

Дѣйствительно, она что-нибудь сдѣлала. Изъ вавилонской башни его неоконченнаго романа она благополучно вытащила нѣсколько камней, фризозъ и колонъ, изъ которыхъ выстроила два маленькаго дома, два отдѣльныхъ разсказа. Но въ этотъ трудъ она вложила гораздо болѣе своихъ собственныхъ силъ, чѣмъ въ первый романъ Люсьена. Она теперь не имѣла, какъ прежде, къ своимъ услугамъ всѣхъ идей, вырванныхъ одна за другой изъ разговоровъ съ поэтомъ. У нея теперь были только отрывочные наброски, которые она сама должна была обрабатывать въ одно цѣлое. Но она замѣтила, что ей работы прибавилось, и выказала прежнюю скромность въ трудѣ, который теперь въ дѣйствительности былъ ея личный. Она стала авторомъ, сама того не замѣчая, и, благодаря этому невѣденію, она писала лучше, чѣмъ еслибы принялась за сочиненіе сознательно одна. Тогда ее сдерживалъ-бы страхъ своей неспособности и неопытности; она стала-бы слишкомъ заботиться объ отдѣлкѣ каждой фразы и наткнулась бы на тысячу преградъ невѣдомаго ей ремесла. Напротивъ, теперь она писала просто, заботясь только о томъ, чтобы отгадать мысли Люсьена. Такимъ образомъ, эти два разсказа вышли прелестны-

ми очерками; анализъ характеровъ въ нихъ былъ вѣрный, натуральный, а изложеніе простое, ясное, безъ всякаго жеманства и искусственности. Люсьенъ никогда не писалъ-бы ихъ такимъ трезвымъ, реальнымъ тономъ, никогда не придалъ-бы имъ такого свѣтскаго, изящнаго оттѣнка.

Эти рассказы были тотчасъ куплены и напечатаны, благодаря чему къ скудному бюджету г-жи Андре прибавилось четыреста франковъ. Люсьенъ не считалъ для себя это униженіемъ, потому что г-жа Андре сумѣла его убѣдить, что онъ одинъ былъ авторомъ всѣхъ своихъ произведеній, и она сама искренно этому вѣрила.

— Ты правъ, говорила она, — тебѣ не слѣдуетъ исправлять свои рукописи. Это не твое дѣло. Ты поэтъ, ты сочинитель; черная работа приводитъ въ порядокъ твои сочиненія недостойна тебя. Это мое дѣло. Ты мнѣ даешь золото и полированные брилліанты, а я уже дѣлаю изъ нихъ серьги и броши. Набросай мнѣ только общій ихъ рисунокъ, укажи мѣсто для каждаго камня, объясни, какого эффекта ты хочешь достигнуть, и я уже все исполню. Вѣдь это очень нетрудно. Тутъ необходимы только терпѣніе и вниманіе. Такіе люди, какъ ты, могутъ обходиться и безъ этихъ мелочныхъ качествъ. Мы, женщины, привыкли къ вышивкѣ. Но въ сущности творецъ вышитой подушки не рука, застывшая шерстями канву, а изобрѣтательный умъ, сочинившій рисунокъ и подобравшій цвѣта шерсти.

Люсьенъ легко соглашался съ этими пріятными ему аргументами и искренно гордился этими сравненіями. Г-жа Андре, говоря такимъ образомъ, была не менѣе искренна. Теперь она уже не покидала своего труда, поощряемая удовольствіемъ, которое она доставляла Люсьену, и успѣхомъ своихъ усилій.

Вскорѣ она совершенно разобрала матеріалы недоконченнаго романа и создала книгу изъ этой груды безпорядочныхъ замѣтокъ. Тутъ ей пришлось еще болѣе труда, чѣмъ съ двумя рассказами. Ей приходилось сочинять, прибѣгать къ помощи своего собственнаго воображенія. Надо было возводить зданіе отъ фундамента до крыши. Люсьенъ набросалъ только характеры дѣйствующихъ лицъ и нѣсколько эпизодовъ; общей нити сюжета не существовало. Основная мысль романа была затемнена массой отрывочныхъ фразъ, и онъ самъ хорошенько не зналъ, на какомъ фонѣ онъ хотѣлъ вы-

вести всё эти причудливые узоры. Онъ только смутно помнилъ, что хотѣлъ изобразить литературный міръ, и, какъ юный авторъ, онъ запутался въ лабиринтѣ автобіографіи. Онъ очень мало еще жилъ въ средѣ, которую намѣревался изобразить, и потому только набросалъ замѣтки, наблюденія, мысли, но не рассказъ, даже не канву рассказа. Однако, г-жа Андре собрала всё эти отрывочныя подробности и нашла или просто сочинила общую нить для связи всего въ одно цѣлое. Приятно же она обратилась къ помощи метода, столь удавшася ей при сочиненіи „*Фердинанда*“; она заставляла Люсьена говорить о своемъ романѣ, выпытывала у него, что онъ хотѣлъ изобразить, представляла на его обсужденіе тѣ перемѣны, которыя она считала необходимыми, и, такимъ образомъ, мало-по-малу создала произведеніе, въ которое она одна вдохнула жизнь, хотя Люсьенъ и считалъ себя его творцомъ.

Въ этомъ романѣ еще болѣе, чѣмъ въ первомъ, г-жа Андре совершенно безсознательно была авторомъ. Но, странно сказать, она отрѣшилась отъ своихъ женскихъ качествъ, пагубныхъ для книги того содержанія какое она воспроизводила, и писала ее горячимъ, рѣзкимъ тономъ, вполне свойственнымъ этому памфлету въ формѣ романа. Она такъ хорошо усвоила себѣ мысли Люсьена, что, казалось, писала подъ его диктовку. Она сама даже удивлялась жгучимъ фразамъ, лившимся съ ея пера. Она не подозрѣвала, что въ созданіи этой книги, представлявшей нѣчто вродѣ исповѣди Люсьена, она также принимала большое участіе, внося въ этотъ трудъ всю свою душу. „*Мошеники пера*“ (такъ назывался этотъ романъ-памфлетъ) выражали справедливое негодованіе и ненависть, возбужденныя въ ея сердцѣ первыми неудачами Люсьена на литературномъ пеприщѣ, въ самую горькую и мрачную эпоху ихъ жизни. Ей ничего не стоило говорить въ жестокихъ, кровавыхъ выраженіяхъ о людяхъ, которыхъ она ненавидѣла и презирала, о такихъ клеветникахъ и сплетникахъ, какъ Перинья, Маршель и Денизе, причинившихъ столько страданій ея Люсьену, описывала ихъ съ злобнымъ ехидствомъ, которое тѣмъ сильнѣе било въ цѣль, что прикрывалось добродушнымъ юморомъ. Француженка и парижанка до кончиковъ ногтей, она инстинктивно умѣла наносить смертельныя раны изящными, легкими фразами, которыя кружились въ воздухѣ, какъ птицы, и вонзались въ тѣло врага, какъ стрѣлы.

Перечитавъ вѣстѣ съ Люсьеномъ всю книгу, она испугалась своей смѣлости.

— Надо многое смягчить, сказала она; — это слишкомъ рѣзко, слишкомъ ядовито. Въ такомъ видѣ книга надѣляетъ скандала.

— Тѣмъ лучше, отвѣчалъ Люсьенъ; — „Скромныя радости“ умерли оттого, что отъ нихъ пахло молокомъ. Отъ этой книги несетъ уксусомъ и перцемъ. Она жжетъ небо. Всѣ поднимутъ крикъ и будутъ принуждены выкрикивать съ тѣмъ вѣстѣ и мое имя.

ГЛАВА XLVI.

Дѣйствительно, новое сочиненіе Люсьена надѣлало скандала.

На этотъ разъ онъ напечаталъ его не въ неизвѣстномъ журналѣ, какъ „Фердинанда“ и два разсказа, которые принесли ему деньги, но не произвели никакого шума. Его трудъ съ удовольствіемъ взяла извѣстная газета, которая была очень довольна помѣстить въ фельетонѣ романъ, долженствовавшій поднять цѣлую бурю.

Ловкій издатель, чужь борьбу, обставилъ появленіе романа всевозможными рекламами, несмотря на сопротивленіе Люсьена. Вскорѣ на всѣхъ углахъ парижскихъ улицъ появились громадныя красныя афиши со слѣдующимъ соблазнительнымъ объявленіемъ:

Прочтите въ „Парижанинѣ“.

„Мошенники пера“.

Романъ-памфлетъ.

сочиненіе

Люсьена Фердоля.

„Этотъ замѣчательный трудъ, которому предстоитъ громадный успѣхъ, не представляетъ, какъ всѣ фельетонные романы, лабиринтъ невѣроятныхъ приключеній; это изслѣдованіе дѣйствительной жизни, знакомящее публику съ любопытными тайнами жизни литераторовъ. Плачь и скрежетъ зубовой поднимется среди литературныхъ искателей приключеній и отравителей прессы“.

Имя Люсьена оставалось до сихъ поръ почти неизвѣстнымъ,

несмотря на „Скромныя радости“, „Фердинанда“ и два рассказа. Его знали только въ маленькомъ литературномъ кружкѣ, изъ котораго онъ совершенно исчезъ послѣ своей дуэли. Тѣ, которые относились къ нему не очень враждебно, считали его однимъ изъ тѣхъ мелкихъ талантовъ, которыми никогда не суждено пробить себѣ дорогу. Даже враги забыли о немъ, очень довольные, что задушили его съ перваго дебюта и что онъ боролся съ нищетою, не рѣшаясь ни на какой смѣлый шагъ, чтобъ побороть злую судьбу. Поэтому шумная реклама объ его романѣ и помѣщеніе его въ одной изъ самыхъ распространенныхъ газетъ въ Парижѣ поразило, какъ громомъ, этотъ маленькій кружокъ, распространяя страшную панику.

Первый-же фельетонъ доказалъ основательность паники. Въ одной части прессы, гдѣ писали несчастные, которыхъ такъ злобно бичевалъ Люсьенъ, поднялись волли и протесты. Даже крупныя газеты приняли участіе въ пламенной полемикѣ, завязавшейся по поводу „Мошенниковъ пера“. Перинья, Денизе и имъ подобные молодцы имѣли друзей повсюду и, сотрудничая въ консервативныхъ и въ либеральныхъ органахъ, они, конечно, имѣли возможность помѣстить свои отвѣты. Однако, они не посмѣли отвѣчать открыто. Подобная защита означала-бы, что они себя признали въ портретахъ „Мошенниковъ пера“, которые были такъ удачно нарисованы, что каждая выведенная личность имѣла смѣсь качествъ нѣсколькихъ живыхъ личностей. Такъ одинъ изъ героевъ, чрезвычайно похожій на Перинья и картавившій, какъ онъ, въ то-же время имѣлъ бретерскія замашки Денизе. Все это было смѣшано г-жею Андре съ такимъ ехидствомъ, что затронутымъ лицамъ опасно было высказать слишкомъ открыто свое негодованіе. Поэтому они повели тайную борьбу, нападая на самое сочиненіе, на его тенденціи, на рѣзкій его тонъ, на принесеніе въ жертву сюжета удовольствію кого-нибудь укусить. Его критиковали, какъ романъ, не смѣя опровергать его, какъ памфлетъ. Но критика эта дышала такими личностями, такой ожесточенной бранью и такой предвзятой недобросовѣстностью, что она только доказывала достоинство разносимаго въ прахъ сочиненія. На этотъ разъ, вмѣсто заговора молчанія, враги Люсьена сдѣлали ему самую шумную рекламу, и его романъ, прежде чѣмъ окончился печатаніемъ въ газетѣ, имѣлъ громадный успѣхъ.

— Молодцы, думалъ Люсьень, — мои враги мнѣ только дѣлають большую услугу.

Весь этотъ шумъ поднялъ на ноги издателей. Люсьену теперь уже не надо было бѣгать въ нихъ. Онъ получилъ изъ редакцій газетъ пять писемъ съ предложеніемъ выгодныхъ условій. Онъ не торопился заключать условія, по совѣту г-жи Андре и изъ личнаго желанія поводить князей книжной торговли, которые еще недавно отвергивались отъ него съ презрѣніемъ. Онъ выжидалъ, и предложенія становились все соблазнительнѣе и соблазнительнѣе. Изъ-за его книги передрались всѣ издатели.

Одно изъ самыхъ любопытныхъ явленій литературной жизни въ Парижѣ — это быстрота, съ которою возникаютъ нѣкоторыя репутаціи. Часто, несмотря на большой талантъ, даже геній, художникъ теряетъ много лѣтъ, пока ему удастся занять видное мѣсто. Публика долго и упорно отказываетъ вамъ въ своемъ вниманіи, сама не отдавая себѣ отчета почему. Съ другой стороны, напротивъ, счастье беретъ васъ иногда за руку, быстро выводитъ изъ мрака на свѣтъ, показываетъ васъ всѣмъ и трубитъ о вашей славѣ рьянымъ гласомъ. Вы вдругъ становитесь знаменитостью. Если у васъ, дѣйствительно, есть талантъ, то тѣмъ лучше. Но надо сознаться, что иногда судьба ошибается и вмѣсто того, чтобъ зажечь на парижскомъ небѣ новое свѣтило, она прикрѣпляетъ фонарь.

Свѣча или звѣзда былъ Люсьень, но онъ сразу попалъ на небо. У него купили „Мошенниковъ пера“ по громадной цѣнѣ. Ему обѣщали значительную плату за полное собраніе его сочиненій и выдали тотчасъ, въ видѣ преміи, 5,000 франковъ. Наконецъ-то онъ вышелъ изъ мрака неизвѣстности и ступилъ на лѣстницу славы и богатства!

ГЛАВА XLVII.

— Мнѣ надо пойти въ Табуре, сказалъ Люсьень.

— Ты правъ, отвѣчала г-жа Андре; — я никогда тебѣ не посоветую быть трусомъ. Ты не Перинья, который извергаетъ ядъ на проходящихъ, спрятавшись въ подвалѣ. Ты сказалъ правду, имѣй мужество постоять за нее. Къ тому-же я увѣрена, что между изображенными тобою людьми найдутся и такіе, которые

стали еще болѣе уважать тебя со времени выхода этой книги. Наконецъ, у тебя есть и нѣсколько друзей среди этого лагеря завистниковъ. Наржо, вѣроятно, лисуется.

Она не ошиблась. Появленіе Люсьена въ Табуре было торжественнымъ событіемъ. Онъ нарочно выбралъ для этого вечеръ перваго представленія новой пьесы въ Одеонѣ. Весь литературный міръ былъ на-лицо. Люсьенъ съ пламеннымъ счастьемъ и гордостью принималъ поздравленія самыхъ вліятельныхъ критиковъ, которые почтительно обращались съ нимъ, какъ съ звѣздой первой величины. Многіе изъ нихъ искренно радовались, что, наконецъ, нашелся храбрецъ, высказавшій громко то, что всѣ думали про себя. Въ прессѣ и въ гостинныхъ существуетъ извѣстная терпимость, въ силу которой нельзя говорить всякому правду и приходится пожимать руки людямъ, которыхъ нисколько не уважаешь; даже въ гостинныхъ любятъ людей, которые берутъ на себя обязанность общественнаго судьи. Въ свѣтской толпѣ, нежелающей высказывать своихъ тайныхъ мыслей, скрывается болѣе честности, чѣмъ можно предположить съ перваго взгляда. Люсьенъ былъ удивленъ, съ какимъ искреннимъ жаромъ многіе высказывали ему свое сочувствіе. Конечно, онъ замѣтилъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что нѣкоторымъ было какъ-то неловко въ его присутствіи и что они съ притворнымъ восторгомъ привѣтствовали его. Но подобныя привѣтствія еще болѣе льстили его самолюбію, какъ дань уваженія равныхъ враговъ, преклонявшихъ передъ нимъ голову.

Пріемъ, сдѣланный ему старыми друзьями, былъ также смѣшанный: одни выразили ему самое пламенное сочувствіе, другіе, очевидно, были смущены болѣе, чѣмъ лица, незнавшія его лично. Тѣ, кто любили искренно искусство, восторгались благороднымъ негодованіемъ, съ которымъ Люсьенъ бичевалъ въ своей книгѣ псевдо-художниковъ. Каждый истинный поэтъ чувствовалъ, что его возвышалъ этотъ краснорѣчивый протестъ противъ тѣхъ презрѣнныхъ писаекъ мелкой прессы, которые живутъ сплетнями и клеветой, каждый съ гордостью узнавалъ себя въ героя Люсьена и былъ ему благодаренъ за это возвышенное удовольствіе. Но мелкіе людишекъ, которые такъ долго и безнаказанно выдавали себя за поэтовъ, грубые честолюбцы, которые въ сущности были только чернорабочими литературы, узнавъ

себя въ портретахъ, нарисованныхъ Люсьеномъ, затаили противъ него глубокую, низкую злобу. Но они не смѣли высказывать своего негодованія. Успѣхъ Люсьена, его счастливый, мужественный видъ, воспоминаніе объ его дуэли съ Денизе, — все придавало ему теперь характеръ страшнаго бойца. Съ нимъ надо было обходиться осторожно; публика была за него и, заявивъ себя публично оскорбленнымъ его сатирою, можно было подвергнуться общему смѣху или презрѣнію. Люсьенъ теперь драпировался славой, которая въ Парижѣ составляетъ непроницаемую кирасу. Самые ярые враги его не чувствовали въ себѣ достаточно смѣлости, чтобъ искать слабую сторону этой кирасы. Поэтому они ходила передъ нимъ на заднихъ лапахъ и слѣдовали примѣру избитыхъ собаченоевъ, которыя вмѣсто того, чтобы кусать палку, лизуть ее.

Маршель былъ низкопоклонниче всѣхъ. Этотъ негодяй, изображенный въ книгѣ такъ вѣрно, что всякій могъ его узнать, не зналъ, какъ довольно низко изогнуться передъ Люсьеномъ. Его похвалы и дифирамбы доходили до колѣнопреклоненія. Онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ, понимая, что его лицезрѣіе видно всѣмъ, и старался улыбками скрыть свой скрежетъ зубовный.

— О, вы не только написали великолѣпную книгу, но сдѣлали прекрасное дѣло! восклицалъ онъ съ напускнымъ энтузіазмомъ. — Вы отомстили за насъ всѣхъ. Вы одни были способны на такой великій подвигъ. Вы просто герой!

Люсьену становилось тошно, но онъ не имѣлъ храбрости отнять свою руку, затаченную въ щегольскую перчатку, отъ восторженныхъ пожатій этого презрѣннаго литературнаго іезуита. Онъ не могъ добить лежачаго врага.

Наржо былъ жестокосерднѣе его.

— А! воскликнулъ онъ, входя въ кофейню; — Маршель благодарить своего фотографа.

Всѣ замерли. Люсьенъ, добрый и великодушный по природѣ, былъ пораженъ этой неделикатной выходкой. Маршель позелѣнѣлъ, какъ заржавѣвшая мѣдная монета.

— Да, да, продолжалъ Наржо; — я знаю, что правда — голова Медузы; но я ее показываю всѣмъ. Если трусы ее боятся, то тѣмъ хуже для нихъ.

— Наржо, пожалуйста, замолчи, сказалъ шепотомъ Люсьенъ.

— Какъ-бы не такъ! отвѣчалъ Наржо; — я не сестра милосердія, я не перевязываю ранъ. Я, какъ бедуины, сношу голову раненому.

Мишель вздрогнулъ и страшно засверкалъ глазами. Всѣ боялись, что онъ бросится на Наржо. Но послѣдній смотрѣлъ ему прямо въ глаза съ такимъ хладнокровнымъ презрѣніемъ, что низкій трусъ зашатался, злобно нахлобучилъ шляпу, отеръ рукой двѣ крупныя слезы стыда и вышелъ изъ кофейни.

— Какая грязь! произнесъ Наржо такъ громко, чтобъ бѣглець могъ его слышать.

Въ эту минуту вошелъ Перинья. Этотъ мошенникъ пера былъ по крайней мѣрѣ человѣкъ умный. Несмотря на свою трусость, онъ понялъ, что не могъ молчать въ присутствіи своего врага. Слишкомъ многочисленная публика смотрѣла на нихъ. Губы его задрожали, въ глазахъ помутилось; но онъ поборолъ свой страхъ и сказалъ съ гримасой, которой онъ старался придать видъ улыбки.

— Ну, вы проложили себѣ дорогу! При этомъ вы немного меня помяли, ну, да я на васъ не сержусь. Ваша выходка гениальная, и я протягиваю съ удовольствіемъ вамъ руку.

Наржо не сказалъ ни слова, тронутый удивительнымъ тактомъ Перинья. Люсьенъ былъ слишкомъ художникъ въ душѣ, чтобъ не оцѣнить мужество въ трусѣ, и съ восторгомъ отвѣчалъ:

— Вы благородный противникъ.

Дѣйствительно, изъ всѣхъ комплиментовъ, слышанныхъ имъ въ этотъ вечеръ, слова Перинья всего болѣе польстили его самолюбію. Онъ находилъ въ нихъ странную, дикую предель ласки гienны, наполняющей гордостью сердце укротителя звѣрей.

ГЛАВА ХѢVIII.

Впродолженіи двухъ лѣтъ положеніе Люсьена такъ измѣнилось, что надо было подумать и объ измѣненіи образа жизни. Онъ сталъ почти богачемъ. Чтобъ пополнить томъ разсказовъ, онъ написалъ четыре новыхъ разсказа, за которые ему заплатили очень дорого. Этотъ сборникъ и перепечатанные „Фердинандъ“ и „Скромныя радости“ продавались очень хорошо въ виду шума, произведеннаго „Мошенниками пера“. Но этотъ памфлетъ раску-

„Дѣло“, № 6, 1879 г.

пался, какъ хлѣбъ, — до того жадеиъ Парижъ на всякій скандалъ! Въ одинъ годъ вышло восемнадцать изданій. Все это приносило значительный постоянный доходъ и, вмѣстѣ съ преміей въ пять тысячъ, составило хорошенъкое состояніе. Будущее представлялось Люсьену въ самыхъ радужныхъ краскахъ. Онъ не могъ болѣе вести жизнь бѣдняка. Съ другой стороны, слава имѣеть свои притязанія, и блавенъ судьбы не можетъ скрываться въ неизвѣстности. Разъ, что вы принадлежите къ тому небольшому числу извѣстныхъ людей, который называютъ *вѣтъмъ Парижемъ*, вы уже не принадлежите себѣ. Вамъ необходимо себя показывать и другихъ смотрѣть. Вы — одинъ изъ актеровъ великой современной комедіи и должны часто появляться на сценѣ; иначе публика васъ забудеть. Сначала это рабство не только не тяжело, но даже пріятно. Люсьенъ съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ сталъ вести эту жизнь на-показъ, что она льстила его самолюбію. Къ тому-же г-жа Андре первая доказала ему всю ея необходимость. Она слишкомъ любила Люсьена, чтобъ его привязать къ своей юбкѣ. Она ясно отдавала себѣ отчетъ въ его новомъ положеніи, какъ женщина умная и преданная ему.

— Теперь, когда ты одержалъ побѣду, ты долженъ пользоваться ею, говорила она. — Я была-бы эгоистка, еслибъ держала тебя вѣчно при себѣ. Лавры не ростутъ въ тѣни.

Въ то-же время она думала о своемъ возрастѣ, который не позволялъ ей вступить вмѣстѣ съ Люсьеномъ на триумфальную колесницу. Она не понимала упорства кокетокъ, нежелающихъ разстаться съ своей юностью. Она очень хорошо знала, что ей за сорокъ лѣтъ. Наступала минута, предсказанная ею, страшная минута, когда она будетъ старухой, а онъ еще молодымъ человекомъ, во всей красѣ и свѣжести своихъ юныхъ силъ. Хотя она все еще сохраняла изящную, тонкую талью, хотя на ея прекрасномъ лицѣ не видно было ни одной морщины, она все-же не могла болѣе показываться вездѣ подъ руку съ Люсьеномъ. Въ послѣднее время у нея стали появляться сѣдые волосы. Живя съ Люсьеномъ, она всегда скрывалась отъ свѣта, но теперь ей приходилось скрываться еще болѣе. Девять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ она гуляла съ нимъ въ Люксембургѣ и ихъ принимали за мужа и жену. Теперь она не посмѣла-бы это сдѣлать. Она все это сознавала безъ всякой горечи, но на сердцѣ у нея

было тяжело. Она не сердилась на Люсьена, который любилъ ее по-прежнему и смотрѣлъ на нее тѣми-же глазами. Напротивъ, она была ему очень благодарна за то, что онъ не замѣчалъ, какъ шло время, и на этомъ основывала свои надежды о безконечности ихъ связи. Только она не могла не думать о лучшихъ средствахъ поддержать пламя, которое могло теперь длиться только по привычкѣ. Всегда въ ея любви была доля материнской привязанности, и она теперь рѣшила все болѣе и болѣе предоставлять этому чувству нѣжной преданности брать верхъ надъ пламенной страстью.

Такимъ образомъ, она съ удивительнымъ тактомъ и благоразуміемъ устроила ихъ новую жизнь. Они наняли большую квартиру, раздѣленную на двѣ части, какъ самая жизнь Люсьена. Въ одной половинѣ находились его кабинетъ и гостиная, гдѣ онъ принималъ своихъ друзей, товарищей, журналистовъ; въ другой—былъ тайный гинекей, куда не проникалъ никто, кромѣ Люсьена. Г-жа Андре окружала его своими ласками въ этомъ невѣдомомъ, тайномъ гнѣздѣ и требовала, чтобъ ея присутствіе въ домѣ никому не было извѣстно. Люсьенъ пользовался втайнѣ семейнымъ счастьемъ, а передъ свѣтомъ велъ жизнь холостую. Эта разумная двойственная система принесла свои плоды, и оба были ею очень довольны. Хотя Люсьенъ никогда не зналъ скуки въ ихъ прежней, уединенной жизни, но онъ, повидимому, былъ еще болѣе доволенъ новой жизнью и, возвращаясь домой съ шумнаго, блестящаго вечера, онъ ощущалъ такую отраду у своего тихаго, домашняго очага, что его любовь къ г-жѣ Андре принимала особую нѣжность. Онъ наслаждался своимъ мирнымъ семейнымъ счастьемъ съ лѣнливой нѣгой, которая трогала сердце г-жи Андре, какъ ласки счастливаго ребенка.

ГЛАВА XLIX.

Она снова принялась за работу, такъ-какъ Люсьенъ совершенно привыкъ писать только рукою своей любовницы. Онъ довольствовался тѣмъ, что объяснялъ ей мысли, витавшія въ его головѣ, и перечитывалъ ея сочиненіе, когда оно уже было готово. Онъ даже все менѣе и менѣе снабжалъ ее матеріялами, предаваясь своей обычной праздности еще болѣе съ тѣхъ поръ, какъ его жизнь

начала наполняться свѣтскими развлеченіями. Она-же съ своей стороны также привыкла къ этой постоянной работѣ, по прежнему убѣжденная, что Люсьенъ ей диктовалъ то, что она черпала изъ своего собственнаго ума. И, однако, она теперь вступила на совершенно новую, невѣдомую для нея почву. Она взялась отдѣлать комедію Люсьена, но не имѣла ни малѣйшаго знанія сцены и была принуждена влагать въ уста дѣйствующихъ лицъ комедіи свою простую, естественную рѣчь.

— Это не годится, думала она; — по крайней мѣрѣ когда все будетъ готово, то Люсьенъ получить готовый матеріалъ для поправокъ и помарокъ. Онъ примѣнить къ требованіямъ сцены то, что я стараюсь изобразить какъ можно реальнѣе.

Такимъ образомъ, безъ всякихъ усилій, она написала хорошую комедію. Женщины, которыя никогда не бываютъ поэтами и очень рѣдко романистами, имѣютъ замѣчательную инстинктивную способность къ разговорной формѣ рѣчи. Это всегда чувствуетъ въ обычныхъ, ежедневныхъ бесѣдахъ съ ними. Онѣ всегда разговариваютъ живо, весело, пикантно. Ихъ пустая даже болтовня граціозна и слушается съ удовольствіемъ. Самые умные мужчины не умѣютъ разговаривать; они разсуждаютъ, разглагольствуютъ, декламируютъ. Самые блестящіе собесѣдники въ сущности только импровизируютъ журнальныя статьи или лекціи. Однѣ женщины имѣютъ тайну легкаго, блестящаго, остроумнаго разговора. Кромѣ того, онѣ всѣ актрисы, т. е. въ томъ смыслѣ, какъ это слово разумѣютъ въ гостинныхъ, а его разумѣютъ въ гостинныхъ почти такъ-же, какъ и въ театрѣ. Дѣйствительно, онѣ отличаются искусствомъ представляться тѣмъ, чѣмъ онѣ въ сущности никогда не были, и выражать то, что онѣ думаютъ, высказывая это не только словами, но всей своей фигурой. Женщины-писательницы обыкновенно уродуютъ эти естественныя свои качества излишней искусственностью, но г-жа Андре сохранила ихъ во всей свѣжести, и по этой уже одной причинѣ ея комедія вышла прелестной.

Это была простая исторія несчастной любви въ уединенномъ провинціальномъ уголкѣ. Авторъ не задавался никакими высокими темами, не защищалъ никакихъ нравственныхъ тезисовъ, ничего не старался доказать, ничего не обличалъ, а потому его комедія жила. На легкой канвѣ были разбросаны изящныя узоры, гра-

ціозныя картинки, свѣжія сельскія идиліи, живою, остроумный разговоръ, комическія черты площадной, буржуазной среды. И всѣ эти прелестныя подробности связывались быстро развивавшейся фавбулой, интересъ которой не ослабѣвалъ ни на минуту. Наконецъ, пьеса отличалась честнымъ, нравственнымъ, изящнымъ тономъ, который невольно приводилъ въ восторгъ всѣхъ порядочныхъ людей.

Въ это самое время одинъ изъ театровъ, посвященныхъ современнымъ правоописательнымъ пьесамъ, потерпѣлъ нѣсколько неудачъ съ комедіями проповѣдями, которыя ужасно надоѣли публикѣ. Директоръ искалъ чего-нибудь новаго, нѣжнаго, свѣжаго. Пьеса Люсьена поспѣла какъ-разъ во время. Ее приняли съ восторгомъ.

— Вотъ твой послѣдній приступъ, сказала г-жа Андре; — однажды завоевавъ театръ, ты займешь мѣсто между маршалами литературы, какъ ихъ называетъ Бальзакъ.

Несмотря на свою радость, она безпокоилась. Главное, ее тревожила мысль, что Люсьенъ будетъ посѣщать кулисы для репетицій. Она съ ужасомъ думала объ его молодости и о тѣхъ соблазнахъ, которые онъ долженъ былъ встрѣтить въ мірѣ актрисъ. Но она мужественно заглушала въ своемъ сердцѣ эти грустныя предчувствія и говорила добродушно:

— Если ты хочешь держать въ своихъ рукахъ актеровъ и особенно актрисъ, то не позволяй бросать себѣ въ глаза пыли, а особенно пудры.

ГЛАВА I.

Что должно было случиться, то и случилось. Пудра пахла слишкомъ хорошо.

Продолжая считать себя вѣрнымъ г-жѣ Андре, Люсьенъ не могъ не находить извѣстную прелесть въ окружавшихъ его блестящихъ женщинахъ. Самъ-же онъ, молодой, красивый, знаменитый, служилъ мишенью общаго вниманія актрисъ. Вскорѣ его взгляды остановились на одной изъ нихъ, Бертѣ Фокетеръ, меланхоличной блондинкѣ двадцати-семи лѣтъ, игравшей роли *ingénues*. Онъ сначала упрекалъ себя за этотъ капризъ и вполнѣ сознавалъ, какой черной неблагодарностью было обманывать свою любовницу. Поэтому

онъ старался устоять противъ соблазна. Но для дурного дѣла всегда можно найти хорошіе предлоги. Люсьенъ нашель много аргументовъ въ пользу своей измѣны, которая, конечно, будетъ только минутной, неизмѣющей никакого значенія.

Съ своей стороны Берта Фокетеръ замѣтила, что она нравилась Люсьену. Это польстило ея самолюбію. Овладѣть этимъ молодымъ авторомъ, у котораго на глазахъ свѣта не было любовницы, значило восторжествовать надъ всѣми другими женщинами, которыя скалили на него зубки. За кулисами уже держали пари за побѣду той или другой актрисы. Желаніе доставить выигрывать тѣмъ, которые вѣрили въ ея силу, главнымъ образомъ подстрекало Берту. Конечно, она не чувствовала къ Люсьену ни тѣни любви. Быть можетъ, въ ней заговорило сладострастіе, да и то врядъ-ли. Эта ingénue на сценѣ уже давно была одной изъ самыхъ развратныхъ кокотокъ. Ея пресыщенныя желанія возбуждались только растленіемъ невиннаго юноши, знакомствомъ съ какой-нибудь новой формой разврата, а Люсьенъ не былъ ни стаганомъ ключевой водой, ни рюмкою перцоваго абсента. Но другія жаждали испить этого источника, и Берта Фокетеръ хотѣла черпнуть изъ него первой. Она отдалась Люсьену изъ одной гордости.

Она поступила въ этомъ случаѣ по-гусарски, не теряя времени на любезности и вздохи. Однажды утромъ, послѣ репетиціи, она повезла Люсьена къ себѣ завтракать и въ своемъ роскошномъ будуарѣ нравственно разстегнулась послѣ перваго бутерброда, безнравственно послѣ втораго и отдалась ему за рюмкой вина между грушей и сыромъ.

Люсьенъ вскорѣ увидѣлъ, что нельзя по своей волѣ ограничить каприза. Пришелся-ли онъ по вкусу Бертѣ или она хотѣла его закрѣпить за собою, боясь, что другія его отнимутъ, только она превратила этотъ случайный завтракъ въ ежедневную привычку. Дни у нея были свободны, у Люсьена также; значить, ни что не мѣшало имъ проводить ихъ вмѣстѣ. Еслибъ она потребовала ночи, то онъ, навѣрное, порвалъ-бы эту минутную связь, такъ-какъ г-жа Андре была еще слишкомъ дорога его сердцу. По несчастію, Берту содержалъ банкиръ, который сохранялъ въ своемъ карманѣ ключъ ея будуара, и могъ, какъ хозяинъ, явиться къ ней каждую ночь. Это обстоятельство помогло Люсьену про-

должать свои отношенія съ Бертой. Минутный капризь становился серьезной связью. Онъ имѣлъ двухъ любовницъ.

Это неловкое положеніе дѣлало его несчастнымъ. Въ сущности онъ предпочиталъ г-жу Андре. Онъ любилъ только ее. И, однако, онъ не смѣлъ бросить Берту. Какъ всѣ люди слабохарактерные, онъ ждалъ чего-то, самъ не зная чего, и надѣялся, что какой-нибудь счастливый случай выведетъ его изъ этого ложнаго положенія. Эта надежда заставляла его признавать свою нравственную слабость, и онъ не только мучился самъ, но и мучилъ другихъ. При мысли о возможной катастрофѣ, онъ сердился на себя, на судьбу, на Берту, на г-жу Андре, и въ концѣ-концовъ на обманутой женщинѣ онъ вымещалъ болѣе всего свою злобу. Однако, она ничего не отгадывала. Долгія отлучки Люсьена, который часто не возвращался домой цѣлый день, она объясняла себѣ репетиціями. Его озабоченный видъ и даже его холодность она приписывала неприятностямъ, преслѣдующимъ всякій дебютъ на сценѣ новаго автора. Однако, холодность Люсьена и особенно та форма, въ которой она проявлялась, должна была бы возбудить въ ней тревогу. Поцѣловавъ равнодушно свою любовницу и боясь, чтобы она этого не замѣтила, онъ пускался въ совершенно искусственныя изліянія любви, въ которыхъ звучало лицемеріе.

Впрочемъ, г-жу Андре удерживала отъ подозрѣній главнымъ образомъ забота, наполнявшая все ея существо, — забота объ успѣхѣхъ пьесы. Ее гораздо болѣе тревожило первое представленіе, чѣмъ вѣрность ея любовника. Она упрекала себя, что дозволила Люсьену сдѣлать въ пьесѣ такъ мало поправокъ. Комедію играли почти въ томъ видѣ, какъ ее написала г-жа Андре, и это ее пугало. Она безпокоилась, что сдѣлала, по неопытности, много ошибокъ, которыхъ Люсьень изъ лѣни не поправилъ. Въѣсть съ тѣмъ, она съ ужасомъ думала о толпѣ враговъ, которые съ нетерпѣніемъ ждали случая отстичить счастливому автору „Мошениковъ пера“. Она говорила себѣ, что только громадный успѣхъ комедіи могъ заставить ихъ сложить оружіе и, по скромности, она не считала свое произведеніе заслуживающимъ такого успѣха. Она чувствовала муки болѣе жгучія, чѣмъ муки всякаго автора, наканунѣ перваго представленія своей пьесы. Ей казалось, что она выпустила на бой своего рыцаря, недостаточно закаливъ его

противъ зависти и ненависти. Она думала, что онъ также безпокоился объ успѣхѣ комедіи, и старалась нѣжными ласками его успокоить и развлечь. Ей и въ голову не приходило, что первое представленіе пугало его совершенно по другой причинѣ: съ прекращеніемъ репетицій у него не будетъ предлога уходить изъ дома на цѣлые дни. Она принимала тревогу измѣнника, боящагося, что отероютъ его тайну, за благородную тревогу художника, недовѣряющаго своему гению. Она всѣми силами пыталась его развлечь и поддержать въ немъ увѣренность въ несомнѣнномъ успѣхѣ. Она лелѣяла его съ такой нѣжностью, что сердце Люсьена наполнялось укорами совѣсти, какъ сердце женщины при видѣ, какъ обманутой ею мужъ ласкалъ-бы сына ея любовника, считая его своимъ.

ГЛАВА LI.

Всѣ тревоги г-жи Андре ступевались громаднымъ успѣхомъ пьесы. Первое представленіе было для нея однимъ безконечнымъ блаженствомъ. Скрытая въ ложѣ, среди неизвѣстныхъ ей лицъ, она съ восторгомъ присутствовала при торжествѣ своего поэта. Въ эти сладкія минуты она вкушала такое блаженство, о какомъ она никогда и не мечтала. Во-первыхъ, слава Люсьена принимала въ ея глазахъ ощутительную форму. То счастье, которое она нѣкогда испытывала, цѣлуя страницы „Скромныхъ радостей“, теперь вернулось къ ней, но увеличенное во сто разъ при видѣ на сценѣ произведенія ея любовника. Потомъ, хотя она и не отдавала себѣ въ этомъ отчета, она смутно радовалась, что въ этомъ торжествѣ была доля и ея собственной работы. Она все еще совершенно искренно считала пьесу исключительнымъ трудомъ Люсьена, но все-же, несмотря на всѣ ея старанія ступевать свою личность, ей было отрадно слышать фразы, вылившіяся изъ-подъ ея пера, мысли, которымъ она придала ихъ граціозную форму. Слова, летавшія въ воздухѣ съ нѣжнымъ щебетомъ птицъ, были рождены, взлелѣяны, высижены ею, и теперь прелестныя птички весело щебетали вокругъ своей матери.

Еслибъ она не сидѣла въ темномъ уголкѣ закрытой ложи и не держала постоянно передъ лицомъ большой вееръ, случайные ея

сосѣди непремѣнно замѣтили-бы, какъ она каждую минуту то краснѣла, то блѣднѣла. Она смотрѣла въ ротъ каждому актеру, ловила каждое слово, и рукоплесканія публики заставляли ее вздрагивать отъ счастья. Отъ времени до времени она отрывала на минуту свои взоры отъ сцены и быстро оглядывала залу. Съ судорожнымъ биеніемъ сердца она смотрѣла на ложи, полныя блестящихъ, но безмолствовавшихъ дамъ, на балконъ амфитеатромъ, что возбуждало въ ея головѣ мысль о циркѣ, на аренѣ котораго гладиаторомъ былъ ея Люсьенъ. Она боялась замѣтить скучное, зѣвующее лицо. Но съ наибольшимъ страхомъ, какъ главнокомандующій на полѣ битвы, она слѣдила за каждымъ движеніемъ критиковъ, сидѣвшихъ въ оркестрѣ. Она старалась по ихъ лицамъ отгадать ихъ мнѣнія. Ее выводило изъ себя хладнокровіе большинства этихъ господъ, которымъ театръ набилъ оскомину. Она сердилась на недостатокъ въ нихъ энтузіазма, забывая, какъ тяжело ихъ ремесло и что они въ ладѣ критики были не корсарами, а каторжными гребцами. Когда-же кто-нибудь изъ нихъ выражалъ знакомъ одобреніе ловкой фразѣ или реальной сценѣ, она тотчасъ замѣчала этотъ знакъ, хотя ея глаза были прикованы къ сценѣ, и едва не кричала громко „спасибо“.

Однако, одобреніе критиковъ и успѣхъ пьесы усиливались съ каждой сценой. Всѣ находились подъ вліяніемъ простой, очаровательной прозы; безъ шума, безъ треска, ея пьеса побѣдила всѣ сердца, и общее удовольствіе выразилось подъ конецъ громкими, единодушными рукоплесканіями. Г-жа Андре опустила вуаль, чтобъ скрыть свои слезы, когда первый актеръ вышелъ къ рампѣ и среди криковъ „браво“ и аплодисментовъ объявилъ:

— Милостивныя государыни и государи, комедія, которую мы имѣли честь сыграть передъ вами, принадлежитъ перу г. Люсьена Фердоля.

Вся зала разразилась восторженными рукоплесканіями, и г-жа Андре едва не упала въ обморокъ. Ей казалось, что ея дорогой Люсьенъ, одержавъ побѣду, былъ произведенъ на полѣ битвы изъ солдатъ прямо въ генералы.

(Продолженіе будетъ.)

НЕМНОГИМЪ.

Тамъ, гдѣ почвы для творчества нѣтъ,
Гдѣ корыстны и пошлы мотивы—
Въ грязномъ мірѣ безстыдной наживы,
Что такое несчастный поэтъ?

Этотъ міръ, что онъ можетъ намъ дать?
Грязь несвойственна чистому храму.
Страшно въ грязную, сорную яму
Дарованья и силы бросать!

Нѣтъ, не стоитъ для этого жить!
Мы погасимъ огонь вдохновенья;
Въ сферу грязи, корысти и тлѣнья
Свѣточъ слова не станемъ вносить.

Въ этомъ мірѣ плута-богача,
Гнусныхъ женщинъ, червонныхъ валетовъ
Чуть лишь силу желѣзныхъ браслетовъ
И дрожать лишь руки палача.

Развѣ властное слово сказать
Можно мертвымъ, духовно убогимъ?
Нѣтъ, служить суждено намъ немногимъ,
Что умѣютъ любить и страдать!

Не могу я писать по заказу
И кроить по размѣру статьи—
Не ложатся въ холодную фразу
Возбужденныя мысли мои;

Но, тепломъ вдохновенья объятый,
Даже боль я готовъ забывать,
Если примется коршунъ проклятый,
Коршунъ мысли мнѣ сердце клевать.

И тогда, хоть скорблю и страдаю,
Окрыляется быстро мой стихъ
И стихомъ налету я хватаю
Злого коршуна мыслей моихъ.

Н. Вобылевъ.

ЛЮДИ И ПРАВЫ ВЪ КИТАѢ!

(China. A history of the laws, manners and customs of the people. By John Henry Grey. In two volumes. London, 1878).

I.

Нигдѣ въ мірѣ извѣстные общественные идеалы и государственныя границы не развиты и не осуществлены такъ полно, какъ въ Китаѣ, въ которомъ власть, окруженная ореоломъ божественности, вооруженная всевозможными средствами предупрежденія, авторитета и наказанія, вмѣшивается въ мельчайшія подробности частной жизни, неумолимо караетъ за каждое отступленіе отъ закона, все видитъ, все слышитъ, все знаетъ черезъ своихъ безчисленныхъ агентовъ. Всеобъемлющая, чрезвычайно сложная система наказаній обнимаетъ всю жизнь китайца и превращаетъ все государство въ какой-то чудовищный громадный острогъ. Преступникъ, попавшійся въ какомъ-нибудь преступленіи или-же только заподозрѣнный въ немъ, проходитъ часто черезъ цѣлый рядъ уголовныхъ мытарствъ, прежде чѣмъ ему объявятъ окончательный приговоръ. Каждая власть, начиная съ отца и кончая „священно-единицъ“ богдыханомъ, обладаетъ правомъ наказанія. Представимъ себѣ, что обвиняется земледѣлецъ. Прежде всего его судятъ старѣйшины деревни и, если находятъ виновнымъ въ незначительномъ преступленіи, то присуждаютъ къ заключенію въ деревенской кутузкѣ или къ публичной выставкѣ въ клѣткѣ. Но если при

слѣдствіи обнаруживается, что дѣло важное, то подсудимаго отсылають къ судья, котораго, примѣнительно къ нашимъ порядкамъ, можно назвать волостнымъ (пу). Пойманъ, напр., мужикъ на мелкой кражѣ; деревенскіе судьи, выпытавъ у него признаніе во всѣхъ кражахъ, совершенныхъ втеченіи послѣднихъ четырехъ лѣтъ, отсылають его къ судья слѣдующаго ранга. Этотъ судья снова изслѣдуетъ дѣло и, если находитъ, что преступникъ подлежитъ высшей инстанціи, препровождаетъ его окружному судья, который, въ свою очередь, можетъ передать его губернатору, а послѣдній главному суду провинціи, который судить тягчайшія преступленія. Но и главный судъ не постановляетъ приговора, а, разобравъ дѣло, препровождаетъ его и преступника къ генералъ-губернатору, который, если преступленіе состоитъ въ отцеубійствѣ, измѣнѣ и т. п., въ свою очередь передаетъ дѣло главному суду въ Пекинѣ, этотъ — верховному совѣту, а послѣдній уже, рассмотрѣвъ весь процессъ, докладываетъ императору. Почти всѣ смертные приговоры, такимъ образомъ, утверждаются самимъ богдыханомъ, который, обыкновенно, ежегодно милуетъ трехъ или четырехъ преступниковъ, ставя противъ именъ ихъ въ спискѣ приговоренныхъ знакъ карандашомъ. Но этихъ отмѣченныхъ карандашомъ преступниковъ освобождаютъ не тотчасъ, а снова вносятъ въ списокъ осужденныхъ на два слѣдующіе года, и они получаютъ помилованіе только въ томъ случаѣ, если карандашъ богдыхана отмѣтитъ ихъ три года сряду.

Въ послѣднее время упомянутая процедура нѣсколько сокращена, и генералъ-губернаторы въ нѣкоторыхъ случаяхъ сами утверждаютъ смертные приговоры, не относясь въ Пекинъ, но все-таки во всѣхъ другихъ случаяхъ эта система мытарствъ остается въ полной силѣ. Чтобы судить о варварствѣ ея, достаточно сказать, что въ каждой инстанціи преступникъ подвергается слѣдствію, а китайское слѣдствіе состоитъ, главнымъ образомъ, въ пыткѣ. Судья сидитъ за столомъ, покрытымъ красною скатертью, а подсудимый стоитъ передъ нимъ на колѣняхъ, такъ-какъ считается виновнымъ до тѣхъ поръ, пока не докажетъ своей невинности. Самая легкая пытка состоитъ въ слѣдующемъ: подсудимый стоитъ на колѣняхъ, обнаженный до пояса; руки его держатъ два палача, а третій бьетъ его по спинѣ изъ всѣхъ силъ бамбуковою палкою. Если отвѣты пытаемаго кажутся судья неудовлетвори-

тѣльными, пускають въ ходъ орудіе, сдѣланное изъ двухъ полосъ твердой кожи, сшитыхъ вмѣстѣ на одномъ концѣ, съ вложенною между ними третьей полосою, которая придаетъ имъ эластичность; орудіе это имѣетъ видъ подошвы, и бьютъ имъ по щекамъ такъ сильно, что нерѣдко вываливаются зубы и ротъ страшно распухаетъ. Если и послѣ этой пытки судья не удовлетворенъ, то палачъ бьетъ подсудимаго толстой линейкой по лодыжкамъ и часто при этомъ ломаетъ кости. Не помогаетъ эта пытка — прибѣгаютъ къ новой. Ставятъ толстыя, тяжелыя козлы, привязываютъ къ нимъ руки стоящаго на колѣняхъ подсудимаго за большіе пальцы, а ступни за тѣ-же пальцы подтягиваютъ веревками къ козламъ и бьютъ палками по обнаженнымъ пяткамъ. Послѣ такой пытки, арестантъ не можетъ стоять, и его относятъ въ тюрьму въ корзинѣ. Если онъ все еще не признался, то черезъ нѣсколько дней его подвергаютъ другимъ пыткамъ, описывать которыя было-бы утомительно. Пытка играетъ въ китайскомъ судопроизводствѣ до того исключительную роль, что ей, наравнѣ съ подсудимымъ, подвергаются даже свидѣтели. „Я, — рассказываетъ Грей, — видѣлъ однажды, какъ передъ окружнымъ судьей въ Намгоѣ стояли на колѣняхъ два китайца, оба съ цѣпами на шеѣ; такъ-какъ обоихъ ихъ били по спинѣ палками, то я и подумалъ, что они соучастники въ одномъ преступленіи. Одною изъ нихъ подозрѣвали, однакожъ, только въ томъ, что онъ былъ свидѣтелемъ преступленія, и, чтобы добиться отъ него справедливыхъ показаній, подвергали пыткѣ. Въ томъ-же судѣ въ 1860 г. отецъ и сынъ были вызваны въ качествѣ свидѣтелей одного убійства. Они утверждали, что ничего знать не знаютъ, вѣдать не вѣдаютъ; ихъ пытали и посадили въ тюрьму. Родственники несчастныхъ обратились ко мнѣ, чтобы я ходатайствовалъ объ ихъ освобожденіи передъ комисарами союзниковъ (Кантонъ тогда былъ взятъ англичанами и французами). Комисары хлопотали, но безъ всякаго успѣха. Генераль-губернаторъ объявилъ имъ, что упомянутые свидѣтели преднамѣренно упорствуютъ въ дачѣ показаній, имѣющихъ для дѣла чрезвычайно важное значеніе. Послѣ этого, отца и сына нѣсколько разъ приводили въ судъ, подвергали жестокимъ пыткамъ, отъ которыхъ сынъ вскорѣ умеръ. Родственники оставшагося отца, которому было уже 70 лѣтъ, боясь, чтобы и онъ не умеръ въ тюрьмѣ, снова обратились ко мнѣ,

чтобы я еще разъ попросилъ комисаровъ о вмѣшательствѣ. Въ сопровожденіи одного изъ нихъ, я отправился въ ямунъ *). Я вошелъ въ тюрьму, чтобы увидѣться со старикомъ. Подходя къ нему, я былъ пораженъ видомъ его лица, чрезвычайно распухшаго, вслѣдствіе ударовъ, полученныхъ имъ наканунѣ. Его губы, десны и языкъ такъ распухли, что онъ едва могъ объясниться съ сопровождавшимъ меня переводчикомъ. На-завтра комисары снова просили генераль-губернатора объ его освобожденіи, но тоже напрасно, а черезъ нѣсколько дней, послѣ новой пытки, на которой онъ, по-прежнему, заявилъ, что ничего не знаетъ о дѣлѣ, несчастный старикъ умеръ въ тюрьмѣ. Даже гражданскіе процессы часто не обходятся безъ пытокъ. Иски обыкновенно разбираются сначала третейскимъ судомъ, а если онъ не приводитъ тяжущихся къ соглашенію, дѣло поступаетъ въ officialный судъ. Истецъ подкупаетъ прежде всего второстепенныхъ чиновниковъ ямуна, чтобы они дали ему возможность объясниться съ судьей. Если онъ заплатилъ хорошо, то его допускаютъ въ одинъ изъ внутреннихъ домовъ ямуна, гдѣ на колѣняхъ онъ ждетъ прибытія начальника. Начальникъ принимаетъ его прошеніе и назначаетъ день для разбирательства. На рѣшеніе низшаго судьи можно апеллировать постепенно всѣмъ высшимъ, вплоть до богдыхана; сообразно съ степенью суда, увеличиваются и расходы на взятки.

Независимо отъ пытки, одно уже содержаніе подсудимаго или свидѣтеля въ тюрьмѣ можетъ стоить ему жизни. Тюремныя камеры — клѣтки, въ которыхъ человѣку трудно повернуться. Арестанты никогда не моются, не чешутся, заживо пожираются червями, а нечистоты ихъ скопляются тутъ-же въ камерахъ, въ ящикахъ, ничѣмъ даже не покрытыхъ. Въ центрѣ тюрьмы стоитъ алтарь съ идоломъ бога арестантовъ, смягчающаго, за известную плату, сердца тюремщиковъ. Надъ входомъ-же въ острогъ нарисована голова тигра съ кровавыми глазами и разинутую пастью, а во входѣ стоитъ алтарь съ гранитной статуей тигра; это богъ, которому молятся уже не арестанты, а тюремщики, чтобы онъ лучше стерегъ заключенныхъ. Кромѣ подсудимыхъ и свидѣтелей, въ тюрьмѣ содержатся заложники, иногда цѣлыя семейства,

*) Зданіе присутственныхъ мѣстъ.

арестуемые въ тѣхъ случаяхъ, когда какой-нибудь ихъ родственникъ, совершившій преступленіе, скрылся, и освобождаемые не прежде, чѣмъ его поймаютъ или онъ явится самъ. Многіе изъ нихъ, такимъ образомъ, проводятъ въ тюрьмѣ всю свою жизнь. Въ случаѣ важныхъ преступленій, эти заложники, даже завѣдомо невинные, казнятся смертью или, по крайней мѣрѣ, посылаются въ ссылку. Кромѣ тѣсноты и грязи, заключенные страдаютъ еще отъ налагаемыхъ на нихъ варварскихъ взысканій. Арестантовъ нерѣдко подвѣшиваютъ къ потолку веревками, продѣтыми подъ мышками, и они остаются по суткамъ въ такомъ положеніи, не касаясь пола своими ногами. Грей видѣлъ одного заключеннаго, которому впродолженіи цѣлыхъ трехъ сутокъ не дозволяли садиться. Нѣтъ ничего удивительнаго, что при такой обстановкѣ арестанты мрутъ, какъ мухи, и покойниця, существующія при каждой тюрьмѣ, постоянно наполнены трупами, часто совершенно обезображенными и искалѣченными пыткой. Надзиратели, ключники, сторожа, всѣ служащіе въ тюрьмахъ — люди самые загрубѣлые, которымъ совершенно чуждо чувство состраданія. Смотритель тюрьмы, обыкновенно, покупаетъ свою должность у мѣстнаго начальства и, вовсе не получая жалованья, живетъ только тѣмъ, что онъ вымогаетъ у родни заключенныхъ. Смотритель-же и кормитъ арестантовъ, продавая имъ по самой дорогой цѣнѣ сквернѣйшій рисъ, зелень, топливо. Казенныя кормовыя до того незначительны, что арестантъ можетъ купить только дневную порцію риса и, не имѣя средствъ на его приготовленіе, часто принужденъ ѣсть его сырымъ.

Столько мытарствъ долженъ пройти китайскій арестантъ еще до наказанія! Мелкаго вора, повѣсивъ ему на шею украденную вещь или ея изображеніе, водятъ по улицамъ: впереди идетъ барабанщикъ и бьетъ въ свой *гомъ*, а сзади преступника, обнаженнаго до пояса и со связанными на спинѣ руками, держа его за веревку, идетъ палачъ, который жестоко бьетъ его связкою бамбуковыхъ прутьевъ и кричитъ: „вотъ какъ наказываютъ воровъ!“ „Кровь летится ручьями, — говоритъ Грей. — Я помню, какъ наказывали въ предмѣстьѣ Кантона, въ которомъ я жилъ, одного вора, укравшаго часы. Чиновникъ, назначенный для его наказанія, былъ очень толстъ и отъ усердія, съ которымъ онъ исполнялъ свою обязанность, почти не могъ дышать, прежде чѣмъ

провелъ осужденнаго по всѣмъ улицамъ, назначеннымъ судомъ. Китаецъ, у котораго были украдены часы, видя, что воръ избавится отъ части присужденныхъ ему ударовъ, взялъ изъ рукъ обезсилѣвшаго чиновника пучекъ бамбука и немилосердно началъ хлестать имъ по спинѣ вора“. Иногда за мелкое воровство наказываютъ и длинною бамбуковою палкою, но въ такомъ случаѣ дѣйствіе происходитъ на дворѣ суда передъ судьями. Осужденнаго раздѣваютъ и даютъ, смотря по обстоятельствамъ, отъ 10 до 100 ударовъ. „Я однажды видѣлъ, какъ такимъ образомъ наказывали старика, который при каждомъ ударѣ жалобно кричалъ. Его страданія вовсе не трогали судей. Зрѣлище видимо даже доставляло извѣстнаго рода наслажденіе, и на лицахъ судей и всѣхъ другихъ чиновниковъ видна была пріятная улыбка“. Кромѣ сѣченья, за мелкіе поступки въ Китаѣ полагается *кангъ*, толстая, пальца въ четыре, квадратная, аршина въ два, доска съ круглымъ отверстіемъ посрединѣ, въ которое продѣвается шея преступника. Съ такимъ воротникомъ осужденный выставляется гдѣ-нибудь въ бойкомъ публичномъ мѣстѣ, около храма, на базарѣ и т. д.; ему невозможно лечь; онъ можетъ только стоять или сидѣть, а между тѣмъ тяжелый кангъ страшно утомляетъ весь организмъ. Кангъ надѣваютъ нерѣдко даже на людей почтенныхъ, на купцовъ, за какую-нибудь торговую провинность, на зажиточныхъ фермеровъ, за несвоевременную уплату аренды и т. д. Иногда одинъ кангъ дѣлается съ двумя отверстіями для двухъ человѣкъ; соучастниковъ воровства, напр., или подравшихся сажаютъ въ одинъ кангъ. Наказанные такимъ образомъ живутъ, большею частію, милостынею, если у нихъ нѣтъ родственниковъ, которые приносили-бы имъ пищу. Слѣдующая ступень наказанія — заключеніе въ клѣтку, иногда до того низкую, что человѣкъ можетъ сидѣть въ ней только на корточкахъ, иногда-же узкую и высокую, почти въ человѣческій ростъ; голова заключеннаго въ обоихъ случаяхъ продѣвается сквозь отверстіе крышки клѣтки, составляющей кангъ, и притомъ иногда такъ, что въ то время, какъ шея заключеннаго обхвачена этою деревянною петлею, а руки скованы, ногами онъ не достаетъ земли и можетъ стоять только носками на нижнихъ перекладинахъ клѣтки, если не желаетъ удавиться. Большею частію, заключенные въ такой клѣткѣ, преимущественно воры

и разбойники, умираютъ на третій или даже на второй день, когда ножныя пальцы уже не въ состоянїи поддерживать тѣла, и оно виснетъ на деревянной петлѣ канга. Гораздо легче этой клятвы тяжелые камни, привѣшенные къ шеѣ преступника, который тоже выставляется съ ними ежедневно на уличный позоръ, или ножныя колодки, въ которыя садятъ рядошъ по нѣскольку осужденныхъ. За наименѣ важныя государственныя преступленія обрѣзываютъ уши. За убійство отца, мужа, матери, брата, дяди и наставника слѣдуетъ казнь *минъ-ши*: виновнаго привязываютъ къ кресту и, смотря по обстоятельствамъ дѣла, разрѣзываютъ его на 120, 72, 36 или 24 части и, только въ случаѣ особой высочайшей милости, на 8 частей. При разсѣченіи на 24 части, первымъ и вторымъ взмахомъ ножа вырѣзываютъ брови, третьимъ и четвертымъ—мускулы плечъ, пятымъ и шестымъ—груди, седьмымъ и восьмымъ—мясо между кистью руки и локтемъ, девятымъ и десятимъ— между локтемъ и плечомъ, одиннадцатымъ и двѣнадцатымъ срѣзываютъ мясо съ пятокъ, тринадцатымъ и четырнадцатымъ—икры, пятнадцатымъ и шестнадцатымъ пронзаютъ сердце и отрубаютъ голову, затѣмъ отрубаютъ руки, ноги и т. д. Этой же казни подвергаются часто государственные преступники. Второй родъ смертной казни—отсѣченіе головы, полагающееся разбойникамъ, бунтовщикамъ, убійцамъ, пиратамъ, насилвателямъ женщинъ и т. д. „26 сентября 1872 г.,—рассказываетъ Грей,—я былъ въ кантовской тюрьмѣ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ, какъ должны были выйти на казнь 22 преступника. Когда я пришелъ, никто изъ нихъ еще не зналъ, что предстоитъ имъ. Мой слуга-китаецъ сказалъ имъ, что черезъ нѣсколько минутъ ихъ казнятъ, но надзиратель успокоилъ ихъ, увѣряя, что это ложь. Черезъ нѣсколько времени явился чиновникъ съ бумагою въ рукахъ и громко прочиталъ списокъ приговоренныхъ къ смерти. Каждый арестантъ отзывался, слыша свое имя, и его немедленно сажали въ корзину, чтобы отнести на мѣсто казни. При выходѣ изъ тюрьмы, генераль-губернаторскій чиновникъ задавалъ ему вопросы: какъ зовутъ, какой уроженецъ, сколько времени сидѣлъ въ тюрьмѣ, за что, кто соучастники преступленія? Чиновникъ свѣрялъ отвѣты съ лежавшими передъ нимъ документами и, убѣдившись въ личности осужденнаго, отправлялъ его... Осужденные, обыкновенно, совершенно спокойны. Иногда они даже

кичаться своимъ хладнокровіемъ. Однажды, въ 1870 году, я видѣлъ, какъ выносили на казнь 35 человекъ, и четверо изъ нихъ, при видѣ многочисленной толпы зрителей, громко хохотали, потѣшаясь надъ нею, а одинъ подшучивалъ, замѣчая, что вотъ и онъ, наконецъ, сдѣлался важнымъ бариномъ, котораго несутъ двое слугъ въ корзинѣ. Когда преступниковъ вынесутъ, родные и друзья, обыкновенно, угощаютъ ихъ пирожками, супомъ, виномъ, свинымъ саломъ, корнемъ бетеля для жеванія, отъ котораго они пьянѣютъ. Впрочемъ, вино и свиное сало предпочитаютъ въ этомъ случаѣ, но не у всякаго арестанта есть друзья, которые могутъ въ послѣдній разъ угостить его. Изумительно то спокойствіе, съ которымъ осужденные ѣдутъ передъ казнью. Многие изъ нихъ съ полнѣйшимъ равнодушіемъ курятъ. Случается, правда, что нѣкоторые и плачутъ. Послѣ этого угощенія, которое совершается на дворѣ суда, преступниковъ несутъ на мѣсто казни, обстановка которой разнообразится, смотря по роду преступленія и общественному положенію осужденнаго. Грей рассказываетъ, какъ казнили одного полковника за измѣну и трехъ пиратовъ. Послѣднихъ несли на казнь въ обыкновенныхъ открытыхъ корзинахъ, а полковника въ закрытомъ паланкинѣ, окруженномъ ротою солдатъ, за которою слѣдовалъ въ офиціальномъ паланкинѣ окружной начальникъ, а за нимъ, въ паланкинѣ-же, чиновникъ для принесенія жертвы, полагающейся при этомъ, пяти геніяшъ, чтобы они не допустили души казненныхъ мстить исполнителямъ правосудія. Рядомъ съ ними ѣхалъ герольдъ верхомъ, съ небольшимъ чернымъ флагомъ, на которомъ было написано: „по повелѣнію императора“. Когда процессія прибыла на мѣсто казни, на которомъ уже стоялъ палачъ съ широкимъ мечомъ, солдаты обружили столъ, покрытый краснымъ сукномъ, и чиновникъ, пріѣхавшій въ первомъ паланкинѣ, сѣлъ въ кресло, тоже покрытое краснымъ сукномъ и стоявшее во главѣ стола. Пиратовъ безцеремонно выбросили изъ корзины прямо въ грязь, образовавшуюся отъ дождя, шедшаго всю ночь; для полковника-же былъ разостланъ коверъ, и его поддерживали подъ мышки два ливрейныхъ лакея, такъ-какъ онъ былъ совершенно пьянъ, выпивъ на дворѣ суда огромную бутылку вина и съѣвъ большой кусокъ свиного сала. Когда помощникъ палача установилъ преступниковъ на колѣни, наклонивъ ихъ головы по направленію къ столу, за которымъ сидѣлъ чиновникъ,

послѣдній далъ знакъ палачу начинать, и менѣе чѣмъ въ 12 секундъ три головы были уже отрублены. Лакеи полковника покрыли его тѣло дорогими коврами, другіе его слуги жгли серебряную и золотую бумагу, которая должна служить ихъ господину вмѣсто денегъ въ мірѣ духовъ. Затѣмъ полковничье тѣло положили въ богатый гробъ и унесли для погребенія въ общей усыпальницѣ его предковъ; обнаженные-же трупы пиратовъ черезъ нѣсколько времени уволокли, чтобы закопать на кладбищѣ преступниковъ. Казнимые, обыкновенно, держатся совершенно спокойно и совершенно равнодушно подставляютъ свою шею подъ топоръ палача, но нѣкоторые сопротивляются и ругаются. Въ Кантонѣ однажды, изъ 15-ти казенныхъ одинъ обратился къ палачу со слѣдующею рѣчью: „обезглавленный человѣкъ можетъ возродиться на землѣ только для выполненія самой презрѣнной и низкой должности, именно — палача. Палачъ-же не можетъ избѣгнуть позорной смерти. Вотъ ты и подожди, пока я возрожусь и годиковъ черезъ 18, когда буду уже палачемъ, я, въ свою очередь, отрублю тебѣ голову!“ Въ іюнѣ 1866 года въ Кантонѣ казнили 16 человѣкъ. Одинъ изъ нихъ завязалъ жесточайшую перебранку съ чиновникомъ, заправлявшимъ церемоніей, доказывая ему, что онъ не въ состояніи согнуть своей шеи. Чиновникъ постарался успокоить его, говоря, что онъ не врагъ, а другъ ему, что его осудилъ не онъ, а „священно-единный“, что смерть неизбежна, и если осужденный согласится самъ наклонить голову, то и не почувствуетъ, какъ палачъ отрубить ее; преступникъ, наконецъ, согласился и согнулъ шею. Въ 1869 г., 28 человѣкъ приговоренныхъ къ смерти начали бунтовать на мѣстѣ казни и кричать о помилованіи, не хотѣли становиться на колѣни, боролись съ палачами, и вышла отвратительная бойня, на которую, впрочемъ, совершенно равнодушно смотрѣла публика, нервы которой совершенно свыклись съ подобными зрѣлищами. Головы казенныхъ часто выставляются на шестахъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они совершили преступленіе, дабы при видѣ ихъ „другимъ не повадно было“ такъ поступать. Третій видъ казни—удавленіе. Преступника ставятъ на камень, лежащій при подножій креста, къ которому его привязываютъ, а палачъ медленно затягиваетъ накинутую ему на шею петлю. За этою казнью слѣдуетъ пожизненная ссылка въ Манджурію и другія отдаленнѣйшія мѣста, гдѣ одни

обрабатываютъ землю, другіе работаютъ на желѣзныхъ заводахъ, при постройкѣ казенныхъ зданій и т. д. Наконецъ, существуетъ ссылка въ мѣста не столь отдаленныя, на 15, на 10 лѣтъ, на 3 года.

Описавъ подробно уголовную систему китайцевъ, достопочтенный „архидіаконъ“ Грей говоритъ: „въ этихъ главахъ я изобразилъ много такого, что должно возбудить въ читателѣ негодованіе. Никто не въ состояніи читать спокойно объ этихъ судахъ, въ которыхъ господствуютъ несправедливость и безграничная жестокость; о чиновникахъ, продажность которыхъ губить цѣлыя невинныя семейства; о тюрьмахъ, въ которыхъ люди гниютъ въ отвратительныхъ нечистотахъ; о варварскихъ наказаніяхъ, напоминающихъ собою самыя мрачныя страницы европейской исторіи. И я не могу не высказать здѣсь замѣчанія, какъ глубоко должны мы быть благодарны судьбѣ за то, что живемъ въ странѣ, судьи которой неподкупны и законы которой проникнуты духомъ Слова, заповѣдующаго и правителямъ, и народамъ „быть справедливыми и милосердными“. Мнѣ кажется, что достопочтенный архидіаконъ слишкомъ ужъ превозноситъ Европу на счетъ Китая. Во-первыхъ, давно-ли Европа избавилась отъ пытокъ и казней, не только не уступающихъ китайскимъ, но даже превосходящихъ ихъ своею жестокостью, какъ, напр., сожженіе на кострѣ или наказаніе шпигрутенами на смерть? Развѣ есть въ Европѣ страна, въ которой не было-бы смертной казни? Развѣ въ Англии не наказываютъ до сихъ поръ арестантовъ кошками, а матросовъ линьками? Во-вторыхъ, новѣйшія усовершенствованныя наказанія, вродѣ одиночнаго заключенія съ строжайшею дисциплиной, превращающею человѣка въ автомата, *относительно европейца* нисколько не легче китайскихъ наказаній *относительно* китайца. Европейскій организмъ уже отвыкъ отъ кнотовъ и палокъ, и ему не выдержать варъ, которыя сравнительно легко переносятъ китаецъ, но для европейскихъ нервовъ и европейскаго мозга утонченныя наказанія такъ-же тяжелы, какъ тяжелы бамбукъ или кангъ для притунѣлыхъ нервовъ китайца, и послѣдній, по всей вѣроятности, предпочтетъ свое отечественное жесточайшее тѣлесное наказаніе одиночному заключенію въ образцовой англійской тюрьмѣ. Въ исторіи наказаній — прогрессъ только внѣшній, часто относительный.

II.

Едва ли существуетъ какая-нибудь другая религія, которая-бы до такой степени подходила къ самымъ разнообразнымъ направленіямъ теоретической мысли, какъ конфуціева. Китайскіе раціоналисты, атеисты, матеріалисты считаютъ себя учениками Конфуція, и въ то-же время самые грубые суевѣры, идолопоклонники молятся ему, какъ богу. Но удовлетворяя людей, стоящихъ на столь различныхъ ступеняхъ умственного развитія, Конфуцій внушаетъ всѣмъ своимъ поклонникамъ, безъ исключенія, вѣру въ одинъ и тотъ-же общественный идеалъ, воплощеніемъ котораго служить китайское государство. „То государство образцовое, говоритъ онъ, гдѣ государь—государь, отецъ—отецъ, сынъ—сынъ, министр—министръ“. Въ этомъ отношеніи и раціоналистъ, и невѣжественный идолопоклонникъ совершенно согласны между собою, и китайскій умъ, выдресированный государственною дисциплиною въ продолженіи нѣсколькихъ тысячелѣтій, до сихъ поръ не можетъ выйти изъ заколдованнаго круга, созданнаго всѣмъ ходомъ предыдущей исторіи и освященнаго авторитетомъ Конфуція. Вслѣдствіе причинъ, которыя еще предстоитъ выяснитъ наукѣ будущаго, китайцы до послѣдняго времени сохраняли во всей первобытной чистотѣ древнее поклоненіе предкамъ, съ тѣмъ только различіемъ, что первобытный дикарь боится и почитаетъ лишь умершихъ предковъ, а культурный китаецъ одинаково поклоняется, какъ умершимъ, такъ и живымъ, отцу, матери и т. д. Въ безусловномъ повиновеніи старшимъ—вся государственная жизнь Китая; въ поклоненіи предкамъ—вся его религія. Во всей обширной имперіи нѣтъ ни одной хижины, въ которой каждое утро и вечеръ не молились-бы передъ домашнимъ алтаремъ умершимъ родственникамъ; вся страна усыяна могилами, памятниками, храмами, которые поддерживаютъ постоянно нравственную связь сотенъ миліоновъ живущихъ съ миліардами умершихъ китайцевъ. Китайское государство—громадное кладбище; для обитателей этого государства свѣточъ жизни свѣтитъ изъ могилъ, и призракъ мертвеца указываетъ правила жизни. Не одно суевѣріе сковываетъ китайскій умъ, потому что онъ скованъ и у раціоналистовъ, а нѣчто другое, что равно выражается и въ китайскомъ суевѣріи, и въ китайскомъ раціонализмѣ, хотя необходимо замѣ-

тять, что масса китайскаго народа — одна изъ суевѣрнѣйшихъ въ мѣрѣ. Раціонализмъ Конфуція усвоенъ только людьми образованными; для всѣхъ остальныхъ его ученіе имѣетъ только практическое значеніе, какъ заповѣдь патріархальной морали, и умы народа заняты міросозерцаніемъ, неимѣющимъ ничего общаго съ конфуціанствомъ. Впрочемъ, даже въ книгахъ Конфуція народное суевѣріе находитъ себѣ достаточную пищу, а именно въ ученіи о *шинахъ* или духахъ, управляющихъ разными частями вселивной. Но еще болѣе, чѣмъ конфуціанство, искажено ученіе Лао-цзе о высшемъ благѣ, превратившееся въ чудовищную систему мистическаго тауизма, сущность котораго состоитъ въ общеніи съ духами, съ мифическимъ міромъ „Западной Небесной Царицы“ и „Восточнаго Небеснаго Отца“. Было время, когда даже конфуціанцы почти поголовно увлекались этими бреднями и помогали извѣстному деспоту Чи-Гванг-Ти, хотѣвшему истребить всѣ книги, войти въ сношеніе съ упомянутымъ міромъ духовъ. „Когда конфуціанцамъ это не удалось, — говоритъ историкъ Китая, — за дѣло взялись тауисты, надѣясь достигнуть волшебной страны морскимъ путемъ. Составилась экспедиція изъ нѣсколькихъ тысячъ дѣвицъ и юношей, подъ предводительствомъ тауистскаго жреца Су-фу. Предполагали, что видъ такого множества представителей дѣвственной чистоты очаруетъ безсмертныхъ; ихъ обычная нелюдимость будетъ побѣждена, и они явятся передъ мощнымъ повелителемъ Китая. Су-фу вернулся изъ этой экспедиціи, увѣряя, что онъ видѣлъ волшебную страну издали, но не могъ достигнуть ея, по причинѣ противныхъ вѣтровъ. Планъ, однакоже, не былъ оставленъ. Су-фу и другіе видѣлись и бесѣдовали съ духами, и извѣстны были люди, достигшіе безсмертія посредствомъ употребленія какихъ-то лечебныхъ травъ. Чи-Гванг-Ти рѣшился поэтому употребить всѣ средства, чтобы увидѣться съ духами и получить, во что-бы то ни стало, упомянутое лекарство. Онъ кружилъ по странѣ, то инкогнито, то открыто, надѣясь хоть гдѣ-нибудь встрѣтить геніевъ; въ Чи-фу и другихъ приморскихъ мѣстностяхъ онъ вглядывался въ морскую даль, удивляясь, что волшебная страна не является передъ нимъ изъ нѣдръ океана. Тысячи народа принуждены были бросаться въ море и въ рѣки, чтобы искать духовъ. Но все было напрасно. Наконецъ, послѣ двѣнадцатилѣтней жестокой тираніи и безплодной погони за ду-

хами и напиткомъ безсмертія, его убѣдили еще разъ лично отправиться въ Чифу стрѣлять акуль, которыхъ ему изобразили злыми духами, недопускающими къ нему добрыхъ геніевъ. Съ большими усиліями удалось подвести акулу подъ выстрѣлы императора, и онъ убилъ ее нѣсколькими стрѣлами, но прежде, чѣмъ вернулся домой, онъ заболѣлъ и умеръ. Черезъ два года, въ продолженіи которыхъ сынъ превзошелъ отца жестокостью и безуміемъ, династія прекратилась. При слѣдующей династіи пошли въ ходъ болѣе сбыточные предпріятія, чѣмъ отысканіе волшебной страны въ шан-тунгскомъ заливѣ, но пятый императоръ этой династіи снова принялся за дѣло Чи Гванг-Ти и цѣлыхъ 50 лѣтъ позволялъ себя дурачить такимъ же образомъ. Онъ былъ, однакожь, храбрѣе упомянутаго тирана и, довѣрившись вѣроломной стихіи, самолично плавалъ по морю болѣе десяти дней. Въ послѣдніе два года своего царствованія онъ глубоко сожалѣлъ о своей глупо растроченной жизни“. Послѣ этихъ нелѣпныхъ путешествій, тауисты пустились въ алхімію, добываясь возможности превращать дешевые металлы въ золото и серебро и открыть напитокъ безсмертія. Они бредили „духовной медициной“, источниками нектара и т. д., и ихъ религія превратилась въ чудовищную систему суевѣрій. Чтобы успѣшнѣе соперничать съ буддистами, имѣвшими воплощеніе божества въ лицѣ Шакьямуни, тауисты обоготворили Лао-цзе, и обѣ вѣры, стараясь угодить наклонностямъ народа, взапуски создавали все новыхъ и новыхъ боговъ, обоготворяя героевъ или персонифицируя какой нибудь принципъ, напр., войны, богатства, долготѣія. Жрецы тауизма чрезвычайно многочисленны; они живутъ, большею частію, въ монастыряхъ, но многіе удаляются для подвиговъ въ пустыню, въ надеждѣ заслужить скорѣйшее переселеніе въ міръ духовъ. Нѣкоторые изъ нихъ изучаютъ въ монастыряхъ философскія сочиненія Лао-цзе, но немногіе понимаютъ подлинный смыслъ ихъ. Большею-же частію, они занимаются алхіміей, астрологіей и сношеніемъ съ душами умершихъ. Они чрезвычайно популярны въ народѣ, особенно у женщинъ, и считаются спеціалистами по части изгнанія духовъ изъ домовъ и людей. Имъ вѣрятъ даже многіе образованные, ученые и богатые люди, прибѣгающіе къ ихъ помощи въ случаѣ болѣзни, вселенія демона въ тѣло родственника и т. д. Кромѣ монаховъ, есть также тауистскія монахини, которыя перѣдко подвер-

гаютъ себя жесточайшимъ истязаніямъ. Одна, напр., замуравивъ себя въ стѣнѣ, оставивъ отверстіе для одной головы и давъ обѣтъ тогда только покинуть каменный мѣшокъ, когда милостынею наберетъ сумму, достаточную для постройки храма. Большинство же этого духовенства состоитъ изъ такихъ-же шарлатановъ и развратниковъ, какъ и буддійскіе ламы, и духовный глава тауизма живетъ съ царскою пышностью въ одномъ монастырѣ въ провинціи Кіанген. Онъ считается въ Китаѣ такимъ-же божествомъ, какъ буддійскій далай-лама.

Обезображенный народными суевѣріями буддизмъ, по числу своихъ послѣдователей и влиянію духовенства, даже превосходитъ тауизмъ. Буддизмъ въ Китаѣ превратился въ самое грубое поклоненіе идоламъ и легіонамъ боговъ, во главѣ которыхъ стоитъ тройца: Будда прошедшаго, Будда настоящаго и Будда будущаго. Самые чудовищныя мифы, миліоны боговъ, безчисленное множество идоловъ, которыхъ бываетъ въ нѣкоторыхъ храмахъ до 10,000, многочисленное духовенство, обширныя и богатые монастыри, божественный далай-лама, управляющій буддійскою церковью—все это дѣйствуетъ подавляющимъ образомъ на народный умъ и поддерживаетъ непоколебимость авторитета буддійской религіи. Первоначальный философскій смыслъ ея неизвѣстенъ китайскимъ буддистамъ, и большинство ихъ стремится лишь къ тому, чтобы послѣ смерти попасть „въ чистую землю западнаго неба“. Лучшимъ средствомъ для этого считается аскетическій подвигъ, умерщвленіе плоти. Въ буддійскихъ монастыряхъ всегда много отшельниковъ, которые въ продолженіи долгихъ лѣтъ не имѣютъ никакихъ сношеній съ людьми, не моютъ тѣла, не стригутъ волосъ и ногтей, спятъ на гвоздяхъ, растрavляютъ себѣ раны на тѣлѣ и т. д. Но эти подвижники составляютъ меньшинство; большинство буддійскаго духовенства состоитъ изъ праздныхъ тунеядцевъ, безсовѣстно эксплуатирующихъ вѣрующую массу. Духовенство это набирается изъ всѣхъ классовъ общества, но преимущественно изъ низшихъ, среди которыхъ оно пользуется громаднымъ авторитетомъ. Въ Монголіи треть мужскаго населенія принадлежитъ къ духовенству, и есть монастыри, въ которыхъ считается до 10,000 монаховъ въ каждомъ. Многіе родители уже съ дѣтства, иногда даже до рожденія своихъ сыновей предназначаютъ ихъ въ монашество. По всей странѣ бродятъ въ оди-

ночку и партіями монахи нищенствующихъ орденовъ, обирая народъ и окончательно сбивая его съ толку. Развратъ монаховъ превосходитъ всякое воображеніе: монастырскіе нравы возбуждаютъ негодованіе во всякомъ порядочномъ и развитомъ китайцѣ. Грей рассказываетъ объ одномъ монахѣ, что у него есть нѣсколько домовъ и не менѣе 200 наложницъ. Другого монаха и его любовницу публично бичуютъ на улицахъ Кантона. Третій убиваетъ остановившагося въ монастырѣ сборщика податей, чтобы овладѣть его деньгами и т. д. Не лучше монаховъ и монахини, и вообще буддійскіе монастыри—притоны пьянства, разврата, тунеядства и преступленій. Понятно, что такіе центры религіозной жизни не могутъ имѣть на народъ никакого облагораживающаго вліянія; благочестіе здѣсь—пустая формальность, а всякая нравственная заслуга передъ божествомъ замѣняется платою, взимаемою съ вѣрующаго духовенствомъ.

Кромѣ конфуціанъ, тауистовъ, буддистовъ, въ Китаѣ есть еще магометане и небольшое число христіанъ, но не слѣдуетъ представлять себѣ, что всѣ эти религіи строго разграничены одна отъ другой; напротивъ, китаецъ, можно сказать, исповѣдуетъ по немногу каждую изъ нихъ; онъ поклоняется Конфуцію, но въ то-же время молится и Лао-цзе, и Буддѣ, обращается къ искусству тауистскаго жреца, а отъ него идетъ къ буддійскому. Мало этого, независимо отъ этихъ жреческихъ религій, у народа есть свои собственныя вѣрованія и боги, которыхъ, по необходимости, должны признавать и жрецы всѣхъ религій. Эти боги—національные герои, воины, государственные люди, ученые. Во главѣ ихъ стоитъ богъ войны—Кван-ти, генераль, умершій въ 3-мъ году по Р. Х. Въ 1855 г., за помощь, оказанную имъ при пораженіи мятежниковъ при Нанкинѣ, императоръ сравнялъ его съ Конфуціемъ. Онъ считается покровителемъ мира и семейнаго счастья, и въ каждомъ домѣ его изображеніе стоитъ на алтарѣ предковъ. Богъ учености—Манг-Чангъ тоже чрезвычайно популяренъ среди народа, въ которомъ почти нѣтъ людей, неумѣющихъ ни читать, ни писать. Есть богъ дождя—„Царь-Драконъ“, Лунг-Вонгъ. Въ случаѣ засухи, его умоляютъ о дождѣ сначала окружный начальникъ; если-же успѣха нѣтъ, то за дѣло берется губернаторъ и издаетъ прокламацію, воспрещающую народу, впредь до распоряженія, употреблять въ пищу мясо и рыбу. Если-же Лунг-Вонгъ не

слушаетъ и губернатора, то къ нему торжественно обращается самъ генераль-губернаторъ и, въ сопровожденіи толпы опечаленныхъ обывателей, идетъ въ храмъ его, надѣвъ, въ знакъ смиренія, рубище, съ цѣпью на шеѣ и съ кандалами на ногахъ. Во главѣ процессіи несутъ 4 хоругви съ надписями: *вѣтеръ, дождь, громъ, молнія*. Послѣ молитвъ и жертвъ, генераль-губернаторъ препровождаетъ Лунг-Вонгу собственноручно написанное имъ прошеніе, сожигая его на священномъ огнѣ; палатъ пушки, бьютъ барабаны, гремятъ литавры. Буде-же и послѣ этого все-таки нѣтъ дождя, то, очевидно, богъ уснулъ, и народъ въ такомъ случаѣ выноситъ статую его изъ храма на улицу, чтобы палаціе лучи солнца пробудили его. Между популярнѣйшими богами считается также покровитель городовъ Шинг-Вонгъ, замѣчательный, между прочимъ, тѣмъ, что прежде въ китайской табели о рангахъ онъ занималъ мѣсто ниже генераль-губернаторскаго, и только императоръ Кіен-Лунгъ возвелъ его степенью выше, такъ-что теперь каждый генераль-губернаторъ въ годовщину его рожденія приноситъ ему жертву, собственноручно обмываетъ его статую и облачаетъ ее въ новый казенный мундиръ. Шинг-Вонгъ помогаетъ во многихъ болѣзняхъ. Изъ множества другихъ боговъ можно указать: на популярнаго Пактая, предъ лицомъ котораго купцы, равно какъ наниматели и наемщики, заключаютъ свои договоры, а подозрѣваемые приносятъ очистительную присягу; на „Царицу Небесную“, урожденку Фукиена, боготворимую въ особенности матросами и рыбаками; на Кунъ-Ямъ, богиню милосердія; на Кумфа, покровительницу женщинъ и дѣтей, жившую въ XV вѣкѣ нашей эры; это — Венера, прародительница китайцевъ; наконецъ, на „Великаго мудреца всего неба“, божественную обезьяну, которая помогаетъ въ особенности беременнымъ женщинамъ и играетъ.

Въ китайскомъ пантеонѣ, такимъ образомъ, есть боги для всѣхъ профессій, для всѣхъ общественныхъ положеній, для всѣхъ случаевъ жизни. Религія здѣсь — дѣло чисто житейское, и боги только помогаютъ людямъ въ дѣлахъ ихъ. Богъ арестантовъ, напр., смягчаетъ, съ одной стороны, сердце тюремнаго начальства, а богъ тюремщиковъ, съ другой стороны, охраняетъ интересы тюремнаго начальства, не допускаетъ арестантовъ до побѣга и т. д. Дорого обходятся китайскому народу миліоны духовныхъ посред-

никовъ между нимъ и этими богами, но ему еще мало этихъ посредниковъ, и, независимо отъ безчисленнаго духовенства тауистскаго, буддѣйскаго, магометанскаго, страна кишитъ всевозможными знахарями, колдунами, астрологами, вызывателями духовъ, снотолкователями и т. д. Многочисленные фізіономисты, съ ученымъ видомъ знатокъ, предсказываютъ судьбу человѣка по чертамъ его лица, рукъ и другихъ членовъ. За фізіономистами слѣдуютъ слѣпые предсказатели, которые бродятъ по всей странѣ съ китайскою гитарою за плечами; жожаками имъ служатъ молодые парни. Эти слѣпцы превосходно знаютъ древнюю исторію Китая; отъ нихъ можно услышать много поучительнаго въ китайскомъ смыслѣ; къ нимъ нерѣдко прибѣгаютъ для примиренія семейныхъ ссоръ и несогласій, и въ добавокъ ко всему они предсказываютъ будущее. Независимо отъ нихъ, существуетъ другой классъ предсказателей по билетикамъ, на которыхъ сдѣланы разныя надписи. Нѣсколько сотъ такихъ билетиковъ перетрахируются въ ящикѣ; затѣмъ желающій поворожить вынимаетъ ихъ нѣсколько, а предсказатель толкуетъ на разные лады сдѣланныя на нихъ надписи. На каждой ярмаркѣ, при каждомъ празднествѣ, во всякомъ людномъ мѣстѣ стоитъ непремѣнно такой предсказатель съ ящикомъ, окруженный толпою желающихъ ворожить. И въ Китаѣ вы не услышите протеста противъ этихъ обманщиковъ: рационалистъ-конфуціанецъ думаетъ, что вѣра и суевѣріе необходимы для грубой черни, а буддѣйскіе и тауистскіе жрецы не могутъ вооружаться противъ нихъ, потому что и сами занимаются тѣмъ-же ремесломъ. Четвертый классъ предсказателей ворожить тоже картами, но ихъ выбираетъ прирученная птица, и надписи, сдѣланныя на этихъ картахъ, такъ ясны, что не требуютъ коментаріевъ. Затѣмъ слѣдуютъ ворожен, которыя вмѣсто птицъ употребляютъ черепахъ. Шестой классъ, одинъ изъ самыхъ важныхъ, состоитъ изъ специалистовъ, выбирающихъ счастливыя мѣста для погребенія и живающихъ большія деньги, равно какъ и истолкователи сновъ, въ которые вѣрятъ почти всѣ китайцы. Эти послѣдніе специалисты не только толкуютъ сны, но и продаютъ вѣрнѣйшія средства для предупрежденія несчастій, указываемыхъ дурными снами. Еще болѣе важную роль играютъ астрологи. Не заключается ни одного брака, не начинается ни одного важнаго дѣла, не предпринимается путешествіе безъ того, чтобы не обратиться предвари-

тельно къ астрологу, который указываетъ счастливые дни и часы, рассматриваетъ гороскопы и даетъ требуемыя указанія. Кромѣ множества частныхъ астрологовъ, въ „министерствѣ небесныхъ дѣлъ“ есть особый департаментъ, ежегодно издающій придворный астрологическій календарь, разсылаемый по всей имперіи и всюду встрѣчаемый съ величайшими почестями и церемоніями. Несмотря на то, что въ этомъ календарѣ подробно перечислены счастливые и несчастные дни, кометы, затмѣнія, — провинціальные администраторы, относительно послѣднихъ, въ свою очередь, предупреждаютъ народъ особыми манифестами, указывая съ точностью время затмѣнія и предписывая барабанный бой, колокольный звонъ, пушечную пальбу, чтобы напугать *небесныхъ собакъ*, имѣющихъ напасть на свѣтило. Многочисленный классъ вѣдунговъ специально занимается изгнаніемъ духовъ изъ жилищъ и тѣлъ больныхъ людей, соперничая въ этомъ случаѣ съ жрецами тауизма и буддизма. Особый классъ специалистовъ составляютъ спириты, входящіе въ общеніе съ духами и заставляющіе ихъ писать. Имъ вѣрять и чернь, и люди образованные, китайскіе Вагнеры и Бутлеровы. Въ пріемномъ кабинетѣ таковаго спирита стоитъ алтарь и на немъ идолъ духа. Посѣтителю, наклонившись передъ алтаремъ и принеся жертву, обращается къ духу и ждетъ отвѣта отъ медиума, который подводитъ его къ столу, усыпанному пескомъ. Медиумъ беретъ орудіе письма, имѣющее форму Т; горизонтальная перекладина служитъ рукояткою, концы которой медиумъ поддерживаетъ указательными пальцами обѣихъ рукъ, а нижній конецъ этого костыля упирается въ песокъ и быстро пишетъ какіе-то кабалистическія слова, немедленно переводимыя на китайскій языкъ помощникомъ медиума. Дѣло, какъ видите, дѣлается гораздо проще, чѣмъ въ Европѣ, а между тѣмъ практика у медиумовъ громадная, и жрецы буддизма и тауизма давно уже открыли въ своихъ храмахъ подобныя-же почтовые конторы для сношенія смертныхъ съ безсмертными. Наконецъ, въ Китаѣ множество заклинателей змѣй, тоже причастныхъ чертовщинѣ, галателей по костямъ предковъ и вѣдьмъ, въ общепринятомъ значеніи этого слова. Вся жизнь китайца, такимъ образомъ, съ рожденія до могилы, каждый день, каждый часъ находится въ зависимости отъ вліянія таинственныхъ силъ, и главная забота его состоитъ въ огражденіи себя отъ несчастій съ помощью жрецовъ,

астрологовъ, гадателей, придворнаго календаря и т. д. Строжайшая патріархальная дисциплина, чудовищная эклектическая мифология, заимствованная изъ нѣсколькихъ религій, система жесточайшихъ уголовныхъ наказаній, многочисленное воинство жрецовъ, знахарей, вѣдьмъ и вдобавокъ вопіющая бѣдность народной массы, — это такія условія, подъ совокупнымъ давленіемъ которыхъ даже многочисленный народъ можетъ сдѣлаться идиотомъ, хотя при этомъ можетъ и не лишиться животной сметливости, необходимой для производства какихъ-нибудь шелковыхъ тканей или фарфоровой посуды.

III.

Учебныхъ заведеній и учителей въ Китаѣ едва-ли не больше, чѣмъ храмовъ и жрецовъ, и послѣдній бѣднякъ имѣетъ возможность дать своимъ дѣтямъ хоть какое-нибудь образованіе. При этомъ образованіе не ограничивается одними мужчинами, и хотя въ сѣверномъ Китаѣ женщины вообще учатся мало, за то въ южномъ Китаѣ женскія учебныя заведенія почти такъ-же многочисленны, какъ и мужскія. Дѣтей посылаютъ въ школу уже съ шестилѣтняго возраста, позаботившись предварительно выбрать подходящаго учителя, который, обыкновенно, дѣлается другомъ дома и вторымъ отцомъ своего ученика. Въ школахъ царитъ строжайшая дисциплина и этикетъ; при входѣ въ классъ ученикъ прежде всего преклоняется передъ изображеніемъ Конфуція, которое есть въ каждой школѣ, потомъ кланяется учителю и своимъ товарищамъ и, наконецъ, садится. Въ каждой школѣ имѣется запасъ бамбуковыхъ прутьевъ, которыми за малѣйшую неисправность учитель наказываетъ какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ. Все китайское образованіе состоитъ въ доскональномъ, схоластическомъ изученіи древнихъ національныхъ классиковъ, которое начинается сборникомъ изреченій, состоящихъ изъ трехъ начертаній каждое; въ этихъ изреченіяхъ преподаются уроки морали, исторіи, зоологіи. Затѣмъ слѣдуетъ болѣе пространный учебникъ — *тысячный*, въ которомъ каждое изреченіе состоитъ изъ четырехъ начертаній и каждыя два изреченія образуютъ рифмованный куплетъ, а тысяча начертаній составляетъ главу или отдѣлъ. Наконецъ, книга одъ, въ которыхъ каждое изреченіе состоитъ изъ пяти начертаній,

поучаетъ дѣтей прилежанію, благоговѣнію передъ національными мудрецами и т. д. Такимъ образомъ, съ перваго-же начала ученія, и память, и умъ воспитанника получаютъ довольно работы, но не имѣютъ ни малѣйшей свободы для самостоятельнаго развитія; все уже предварительно размѣрено, распредѣлено и рассчитано для нихъ, и даже слова ихъ учебниковъ расположены въ извѣстныхъ, строго опредѣленныхъ формахъ и сочетаніяхъ, какъ солдаты на парадѣ. Дальнѣйшее образованіе идетъ совершенно въ томъ-же духѣ. Воспитанники изучаютъ четыре *шу*, священныя книги, составленныя учениками Конфуція, и *менциемъ*, содержащія въ себѣ правила морали и общественной жизни, ученіе о золотой срединѣ. Затѣмъ слѣдуетъ приписываемая Конфуцію книга о сыновней благочестіи, пять священныхъ *кинговъ*, исторія и литературныя упражненія по классическимъ образцамъ. Вся система образованія, такимъ образомъ, вполне національна, и о значеніи ея читатель можетъ судить, приблизительно, по слѣдующему сравненію: предположимъ, что такая-же система господствуетъ въ Россіи; никакія науки не извѣстны, русская исторія изучается по лѣтописямъ, главное-же вниманіе устремлено на изученіе „Домостроя“ попа Сильвестра и разныхъ „изборниковъ“ до-петровскаго времени... Освоившись съ праотческою премудростью, молодые люди держатъ въ Китаѣ экзамены на ученныя степени, открывающія доступъ къ важнѣйшимъ должностямъ государства, но и эти ученые патентованные мужи въ сущности ничѣмъ не отличаются отъ учениковъ первоначальной школы, и все ихъ образованіе состоитъ исключительно въ болѣе или менѣе всестороннемъ знакомствѣ съ древними мудрецами и классиками, въ усвоеніи ихъ духа и способа письменнаго изложенія своихъ мыслей. Все образованіе проникнуто безусловною вѣрою въ авторитетъ традиціи. Классики китайцевъ—боги ихъ; каждый печатный листокъ для китайца—священный предметъ; ученые, обыкновенно, нанимаютъ особыхъ рабочихъ, которые, рассказывая по городамъ и деревнямъ, кричатъ: „берегите печатную бумагу!“ и собираютъ малѣйшіе клочки ея, которые потомъ сжигаются съ церемоніей.

Кромѣ классиковъ, у китайцевъ множество сочиненій историческихъ, поэтическихъ, астрологическихъ, романовъ, повѣстей и т. д. Публичныхъ библиотекъ въ Китаѣ вовсе нѣтъ, и ихъ замѣняютъ до извѣстной степени чтенія публичныхъ лекцій объ

исторіи и классикахъ; плату они берутъ самую ничтожную и, одновременно съ чтеніемъ, торгуютъ сигарами и плодами. Газета въ Китаѣ всего одна, официальная, о которой мы уже говорили въ „Дѣлѣ“ 1878 г. Газета эта разсылается по провинціямъ и въ каждой изъ нихъ перепечатывается для мѣстнаго употребленія; если провинціальный издатель что-нибудь прибавить или убавить, сравнительно съ пекинскимъ оригиналомъ, то получаетъ 100 пакохъ и ссылается на три года. О текущихъ событіяхъ народъ узнаетъ изъ отдѣльныхъ листовъ, которые, какъ у насъ телеграммы, продаются по улицамъ. Вотъ, напр., какъ описывалось въ этихъ листовъ взятіе Пекина англо-французами. „Узнавъ, что принцъ Тсенгъ отступилъ въ Тунг-Чоу, англичане и французы раздѣлили свои силы. Большинство ихъ пошло на Тунг-Чоу, и англичане велѣли 1000 своихъ всадниковъ начинать дѣло. Принцъ Тсенгъ также приказалъ своей татарской кавалеріи дать битву, и 700 англичанъ было убито первымъ-же залпомъ. Затѣмъ пошла пѣхота, стрѣльба и бой закипѣли всюду, и ревъ пушекъ продолжался непрерывно цѣлый день. Англо-французы были истреблены; изъ каждого десятка ихъ убито 8 или 9; офицеръ Парксъ и другіе, вмѣстѣ съ нимъ взятые въ плѣнъ, казнены, а въ уцѣлѣвшихъ и бѣжавшихъ въ Таку войскахъ едва осталось 5,000 ч. Атакуя Тунг-Чоу, они хотѣли потомъ ударить на Пекинъ. Когда же принцъ Тсенгъ, послѣ пораженія этихъ буйныхъ варваровъ, увидѣлъ, что они хотя и не въ силахъ напасть на Тунг-Чоу, но все-таки не оставили своихъ намѣреній относительно Пекина, то послалъ императору докладную записку, чтобы безпрепятственно впустить ихъ въ Пекинъ и тамъ взять всѣхъ живыми. Поэтому всѣ ворота Пекина были отворены. Болѣе 20,000 англичанъ и французовъ двинулись прямо на Пекинъ и, черезъ 7 или 8 дней безпрепятственнаго пути, достигли Юенг-Минг-Юена, въ 100 ли отъ столицы. Этотъ обширный дворецъ богатъ чудными цвѣтами, рѣдкими плодами и безчисленнымъ множествомъ несравненныхъ драгоценностей. Это величайшій дворецъ во всѣхъ 18-ти провинціяхъ Срединной имперіи. Англійскія войска вступили въ него и жили здѣсь нѣсколько дней, а генераль ихъ съ 500 офицерами поѣхалъ взглянуть на Пекинъ. Они увидѣли татарскихъ солдатъ съ дугообразными бровями и горящими глазами, разминавшихъ свои члены, скрежетавшихъ зубами, сжимавшихъ кулаки

и пылавшихъ желаніемъ броситься со стѣнъ на враговъ. Но такъ какъ принцъ Тсенгъ не подавалъ еще знака, то они и остались на своихъ мѣстахъ. Когда-же англичане вернулись изъ Пекина въ упомянутый дворецъ, то принцъ Тсенгъ приказалъ пекинскому гарнизону напасть на англо-французовъ и всѣхъ ихъ изрубить въ куски. Татарскія войска были очень рады этому и въ числѣ 1,000 чел. кинулись въ битву. Они осадили дворецъ и сражались день и ночь. Англичане и французы разбиты на-голову. 15,000 ихъ убито, 5,000 бѣжало въ Таку; но они снова напали на армію принца Тсенга, и въ послѣдовавшей битвѣ убито ихъ еще 4,000. Болѣе 1,000 чел. взято живыми; имъ, по повелѣнію принца Тсенга, выкололи глаза, отрѣзали носы и отослали ихъ обратно въ Таку. При видѣ ихъ, у англійскаго и французскаго адмираловъ вздулась печень и разлилась желчь. Они хотѣли отступить съ уцѣлѣвшими солдатами въ Шанхай, но помѣшалъ морозъ; боясь насмѣшекъ всѣхъ варваровъ другихъ странъ, они остались пока въ Таку. Слышно, что всѣ газеты варваровъ говорятъ, будто Пекинъ былъ взятъ и его величество императоръ и министры его бѣжали, но все это ложь и не заслуживаетъ ни малѣйшаго довѣрія; свидѣтелями-же битвы при Таку были болѣе 30-ти военныхъ кораблей, принадлежащихъ американцамъ, испанцамъ, голландцамъ и русскимъ". Подобныя объявленія говорятъ не объ однихъ только политическихъ событіяхъ, но также обо всемъ, что входитъ въ составъ нашихъ газетныхъ объявленій и обличительныхъ статей, направленныхъ иногда противъ мелкаго начальства, чаще всего противъ богатыхъ и сильныхъ обидчиковъ изъ частныхъ лицъ. Бѣднякъ, неимѣющій средствъ напечатать такое объявленіе, садится, обыкновенно, у дома своего обидчика и громко жалуется всѣмъ проходящимъ. Грей видѣлъ, напр., старуху, которая, сидя у какого-то дома, обвиняла владѣльца его въ томъ, что онъ укралъ ея дочь. При такомъ отсутствіи политической печати, при неимѣніи желѣзныхъ дорогъ и телеграфовъ, въ Китаѣ нѣтъ даже почты, и письма пересылаются съ разными оказіями, съ капитанами судовъ, съ купцами и т. д. При этомъ невозможны ни живой обмѣнъ мыслей, ни общественное мнѣніе по сколько-нибудь общимъ вопросамъ національной жизни; всѣ живутъ болѣе или менѣе узкими интересами своихъ насиженныхъ отечественныхъ гнѣздъ, въ оковахъ традиціи, подъ

давленіемъ авторитета древнихъ мудрецовъ и въ чадѣ вздорныхъ суевѣрій.

IV.

Характеръ китайскаго брака и семьи достаточны извѣстны, и нѣтъ надобности говорить о нихъ подробно. Цѣль брака—рожденіе сыновей, во что-бы то ни стало; если не родить, первая жена, можно взять еще нѣсколько; если причина бесплодія въ мужѣ, то онъ поручаетъ дѣло пріятелю. Китайцевъ женятъ чрезвычайно рано; даже слабому, въ гробъ смотрящему, юношѣ родители прискиваютъ невѣсту, чтобы онъ не умеръ холостымъ, и довольны, если хотя онъ умретъ, то, по крайней мѣрѣ, послѣ первой брачной ночи. При этомъ въ Китаѣ женятъ не только живыхъ, но и мертвыхъ, именно души умершихъ мальчиковъ на душахъ умершихъ дѣвочекъ. Бумажная кукла, изображающая жениха, въ полномъ свадебномъ костюмѣ, садится въ залѣ его родительскаго дома, и въ 9 часовъ вечера въ домъ родителей умершей невѣсты посылается экипажъ съ церемоніальною просьбою отпустить душу невѣсты въ домъ жениха. Такъ-какъ изъ трехъ душъ, которыя китайская психологія признаетъ у каждаго человека, одна послѣ смерти поселяется въ таблицѣ предковъ, то эту таблицу и отправляютъ къ жениху, вмѣстѣ съ бумажною куклою невѣсты, которую и сажаютъ рядомъ съ женихомъ. Столъ передъ новобрачными уставленъ кушаньями, а жрецы тау поютъ положенныя молитвы, послѣ чего куклы жениха и невѣсты сжигаются вмѣстѣ съ множествомъ бумажнаго приданаго, денегъ, утвари, скота, прислуги. Жена находится въ безусловномъ повиновеніи у мужа; онъ легко можетъ прогнать ее, давъ разводное письмо; за невѣрность онъ имѣетъ право убить ее, вмѣстѣ съ ея любовникомъ. Но расчетливые китайцы не часто прибѣгаютъ къ послѣднему средству и предпочитаютъ вымучивать у пойманныхъ ими любовниковъ денежную плату за безчестіе; если-же любовникъ бѣденъ, то его публично бичуютъ на улицѣ, вмѣстѣ съ его подругою, послѣ чего онъ изгоняется изъ мѣста жительства, а невѣрная жена продается работорговцу или содержателю публичнаго дома. „Въ 1870 г.,—разсказываетъ Грей,—я видѣлъ, какъ на кантонскихъ улицахъ наказывали самымъ жестокимъ образомъ мо-

„Дѣло“, № 6, 1879 г.

лодого человѣка, лѣтъ 20 ти, и его любовницу. Руки ихъ были связаны на спинѣ, а послѣдняя совершенно обнажена. Ихъ засталъ мужъ и передалъ суду старшинѣ округа. Нѣкоторые изъ послѣднихъ хотѣли утопить любовниковъ въ рѣкѣ, но большинство рѣшило наказать ихъ тѣлесно, проведя по главнымъ улицамъ предмѣстья, въ которомъ они жили. Послѣ наказанія, юношѣ позволили вернуться къ его матери, а его любовницу мужъ продалъ въ публичный домъ за 100 долларовъ. На другой день я посѣтилъ наказаннаго юношу и ужаснулся, увидавъ, какъ были изуродованы его спина и плечи“.

Ни у одного культурнаго народа такъ не развито дѣтоубійство, какъ у китайцевъ. Убиваютъ преимущественно дѣвочекъ и убиваютъ бѣдняки, неимѣющіе чѣмъ содержать ихъ; но нерѣдко и люди богатые, не задумываясь, отдѣляются такимъ же образомъ отъ своихъ дочерей. Грей передаетъ, напр., какъ онъ разговаривался съ однимъ богатымъ землевладѣльцемъ объ его семействѣ. Землевладѣлецъ разсказалъ, что у его брата было 3 сына и 4 дочери, но изъ послѣднихъ жива только одна, 3-же убиты при самомъ рожденіи. Когда-же Грей выразилъ по этому поводу свое негодованіе, то китайскій джентльменъ хладнокровно замѣтилъ, что это вовсе не считается у нихъ преступленіемъ. И не только дочь, но и сына родители могутъ убить, продать, заложить. „Среди живущаго на водахъ кантонской рѣки населенія, — говорятъ Грей, — я видывалъ, какъ разсерженные матери бросали въ воду своихъ дѣтей, и когда малюткамъ удавалось подняться на поверхность воды и ухватиться за край лодки, разъяренныя матери снова отталкивали ихъ въ волны. Однажды я былъ свидѣтелемъ потрясающей сцены. Одинъ юноша съ лодки проигралъ на берегу больше, чѣмъ онъ могъ заплатить; его хотѣли задержать, но онъ потребовалъ, чтобы позвали его родителей. Явилась мать, заплатила долгъ и, прогнавъ сына въ лодку, столкнула его въ воду внизъ головой. Юноша выплылъ и, держась за лодку, просилъ прощенія, но мать снова продолжала его толкать въ воду, пока, наконецъ, не вмѣшался я, видя, что парень долженъ утонуть. По близости въ то время стояло много другихъ лодокъ, но всѣ бывшіе на нихъ видимо думали, что юноша вполнѣ заслужилъ то, что надъ нимъ дѣлала мать“. Родители сплошь и рядомъ бьютъ даже взрослыхъ, семей-

ныхъ дѣтей и нерѣдко изгоняютъ ихъ изъ дома, заставляя ихъ идти въ нищіе, чернорабочіе, монахи. Часто китайскій джентльменъ заключаетъ своего взрослого сына въ кандалы и колодки и выставляетъ на позоръ посѣтителемъ. За то малѣйшее оскорбленіе, нанесенное родителямъ, карается въ Китаѣ такъ, какъ нигдѣ въ мірѣ. Одинъ сынъ съ помощію жены побилъ мать; оба они были обезглавлены; теща казеннаго жестоко наказана палками и сослана; студентамъ округа, въ которомъ совершилось преступленіе, было запрещено держать экзамены впродолженіи трехъ лѣтъ; всѣ мѣстные чиновники были сосланы, а домъ, оскверненный преступленіемъ, сравненъ съ землею. Въ 1865 году, виновные въ томъ-же мужъ и жена сожжены живыми въ печи; начальникъ рода, къ которому принадлежали они, казненъ удавленіемъ; сосѣди, жившіе направо и налево отъ преступниковъ, получили по 80-ти палокъ и сосланы; старшина сословія ученыхъ кандидатовъ, къ которому принадлежалъ казенный, получилъ тоже 80 палокъ; двоюродный дядя преступника, другой дядя и два старшихъ брата казнены; губернаторъ и окружной начальникъ лишены должностей; мать преступницы получила позорныя клейма на лицо и сослана, а отцу дали 80 палокъ и сослали. И дѣти не только при жизни родителей, но даже послѣ смерти ихъ остаются у нихъ въ зависимости, будучи обязаны молиться имъ передъ домашнимъ алтаремъ, приносить жертвы, угощать въ опредѣленные сроки ихъ души, содержать въ извѣстномъ порядкѣ ихъ могилы, — и все это подѣ страхомъ жесточайшихъ уголовныхъ наказаній. Независимо отъ этого, содержаніе покойниковъ стоитъ очень дорого; на одинъ уже гробъ уходитъ чуть не все состояніе, а мѣста для могилъ такъ цѣнны, что вовсе недоступны для бѣдняковъ; наконецъ, частыя тризны доводятъ этотъ бюджетъ до весьма чувствительныхъ размѣровъ. Родственники обязаны доставлять покойникамъ въ опредѣленные сроки извѣстное содержаніе и посылать имъ подарки, сопровождаемые письмами. Вотъ одно изъ подобныхъ писемъ: „Авонгъ, твой глупый младшій братъ, посылаетъ тебѣ два знамени, съ начертанными на нихъ словами сожалѣнія. Посылаю также жареную свинью, двѣ корзинки пирожковъ, плоды, бутылку вина и 10 талей деньгами. Оплакивая горячими слезами твою смерть, я печалюсь, что ты такъ мало жилъ на землѣ. 3-го числа, 10-го мѣсяца, 3-го года царствованія Тунг-Чи“.

При многочисленности китайскаго пролетаріата, джентльменахъ Срединной имперіи не приходится жаловаться на недостатокъ рабочихъ рукъ, и люди зажиточные не имѣютъ даже надобности въ рабочей прислугѣ, такъ-какъ держатъ рабовъ и рабынь, которыхъ вообще можно купить очень дешево, отъ 50 до 100 долларовъ за штуку, и это еще въ сравнительно благополучное для народа время; въ періоды-же неурожая, мятежа и другихъ бѣдствій бѣдняки продаютъ своихъ дѣтей долларовъ по 5-ти. Многие игроки продаютъ дѣтей, чтобы выручить деньги для игры. Рабы совершенно безправны, и господинъ можетъ дѣлать съ ними, что хочетъ, какъ и со своими дѣтьми. Госпожа, напр., забиваетъ на смерть свою горничную, выбрасываетъ на улицу трупъ ея, и это совершенно безнаказанно сходитъ ей съ рукъ. Въ Кантонѣ, господинъ, заподозрившій мальчика-раба, связавъ его, бросилъ въ рѣку, — и дѣло съ концемъ. Грей свидѣтельствуетъ, что въ большинствѣ зажиточныхъ семействъ положеніе рабовъ очень сносно, что господа относятся къ нимъ съ патріархальною фамильярностью и т. д. Все это, конечно, справедливо, но тѣмъ не менѣе домашнее рабство все таки принадлежитъ къ безчисленнымъ язвамъ, развѣдающимъ впродолженіи тысячелѣтій китайскій общественный организмъ и отравляющимъ всѣ его жизненные соки. Рабство жены, рабство дѣтей, рабство невольниковъ, рабство подданныхъ сгноили до основанія Небесную имперію.

V.

Общественная и уличная жизнь Китая не менѣе оживлена, чѣмъ въ западной Европѣ, и, кромѣ дѣлового рабочаго движенія, доставляетъ каждому множество способовъ отдохнуть, повеселиться, поглазѣть: религіозныя процесіи, даровые театры подъ открытымъ небомъ, музыканты, маріонетки, китайскія тѣни, лавочки съ лотереями и притоны азартной игры, заклинатели змѣй, астрологи и предсказатели, канатные плясуны, харчевни, чайныя, трактиры и т. д., и т. д. И несчастный китаецъ сплошь и рядомъ совершенно дурѣетъ въ этомъ чаду, на смерть закуривается опиумъ, проигрываетъ женъ, дѣтей, собственные пальцы, которые поочередно отрубаетъ партнеръ и т. д. Между ресторанами особенно

замѣчательны тѣ, въ которыхъ кушанья готовятся изъ собакъ и кошекъ по такой, напр., такѣ:

кошачье мясо, чашка.	10	центовъ.
мясо черной кошки, чашечка	5	”
вино, бутылка.	3	”
” $\frac{1}{2}$ бутылки	1 $\frac{1}{2}$	”
мороженое, чашка.	2	каша.
сало черной кошки 1 таль	4	цента.
глаза черного кота, пара	4	”

Сытный обѣдъ въ этихъ многочисленныхъ ресторанахъ стоитъ копейекъ 15. Крысы также идутъ въ пищу и во множествѣ продаются въ мясныхъ лавкахъ. Бѣдный и расчетливый народъ не брезгаетъ ничѣмъ. Вѣроятно, нигдѣ въ мірѣ, кромя развѣ джунглей Индіи, въ которой живутъ парии, эта бѣдность не рѣжетъ глаза такъ, какъ въ Китаѣ. Калѣки, прокаженные, слѣпцы встрѣчаются на каждомъ шагу, такъ-какъ благотворительныя заведенія чрезвычайно малочисленны, и даже сѣумасшедшіе содержатся въ домахъ родственниковъ, какъ дикіе звѣри, на цѣпяхъ. Только по зимахъ правительство открываетъ въ нѣкоторыхъ городахъ ночлеги для бездомныхъ и голодныхъ, опасаясь въ противномъ случаѣ возстанія ихъ. Это не нищія, а умирающіе съ голода бѣдняки, разоренные неурожаями, наводненіями, податями, разбойниками; нищія-же составляютъ правильно организованные цехи, имѣющіе свои уставы и свое начальство. Эти цеховые нищія живутъ еще недурно, но масса другихъ, неимѣющихъ средствъ оплачивать вступленіе въ цехъ, ведетъ жизнь голодныхъ собакъ и во множествѣ умираетъ на дорогахъ и городскихъ улицахъ. И на какія только штуки не пускаются эти несчастные, чтобы добыть кусокъ хлѣба! Одни нарочно заражаются проказой и лѣзутъ въ каждую лавку, чтобы только купецъ скорѣе вытолкалъ ихъ и выбросилъ на улицу милостыню. Другіе полосуютъ себя бритвами, кровь обливаютъ все ихъ нагое тѣло, и за это зрѣлище имъ даютъ изрѣдка подачка. Третьи изъ всѣхъ силъ бьютъ головою о стѣну или каменную мостовую, пока имъ не подадутъ. Вотъ исхудалый, нагой нищій ложится въ дверяхъ магазина и говоритъ, что онъ умираетъ; купецъ даетъ ему грошъ и прогоняетъ. Многіе бьются между собою лбами такъ, что иногда падаютъ за-мертво и уже болѣе не нуждаются въ милостынѣ.

Нѣкоторые зажигаютъ на головѣ огонь и, перенося страшныя мученія, держатъ его, пока сострадательный зритель не поможетъ имъ.

Ужасна и глубоко поучительна эта физическая и нравственная нищета народа, который то и дѣло гибнетъ отъ голода цѣлыми миліонами, не надѣется ни на какую свѣтлую будущность и находитъ свободу только въ самоубійствѣ, которое не свирѣпствуетъ ни въ одной странѣ такъ сильно, какъ въ Китаѣ! Убиваютъ себя во множествѣ разорившіеся игроки, мужчины и женщины, убиваютъ себя молодые люди, которымъ не удалась карьера, убиваютъ себя невинно оклеветанные и оскорбленные, убиваютъ себя чиновники, навлекшіе на себя гнѣвъ правительства, убиваютъ себя обанкрутившіеся купцы, убиваютъ себя, чтобы отомстить врагу, такъ-какъ душа самоубійцы будетъ мучить его, убиваютъ себя въ припадкахъ меланхоліи и притомъ въ такомъ множествѣ, что китайцы даже вѣрятъ въ особаго демона, который будто-бы наталкиваетъ ихъ на самоубійство, убиваютъ себя невѣсты, потерявшія своихъ жениховъ, и вдовы, жизнь которыхъ представляется одною непрерывною цѣпью лишеній и страданій. Самоубійство вдовъ въ нѣкоторыхъ провинціяхъ такъ-же часто, какъ въ Индіи. Очевидецъ-англичанинъ описываетъ слѣдующую сцену: „нѣсколько дней назадъ, черезъ наше предмѣстье шла китайская процесія, сопровождающая молодую женщину въ богатомъ паланкинѣ, одѣтую въ пурпуръ и золото. Это была бездѣтная вдова, только-что лишившаяся мужа и надѣявшаяся найти въ загробномъ мірѣ вѣчное счастье... Едва мы прибыли на назначенное мѣсто, какъ показалась и процесія, двигавшаяся отъ дома вдовы къ чему-то вродѣ эшафота или висѣлицы, воздвигнутой среди поля; тутъ были сотни народа и въ томъ числѣ множество женщинъ, одѣтыхъ въ праздничные костюмы. Когда процесія дошла до эшафота, вдова, при помощи одного родственника, поднялась на эшафотъ, привѣтствовала всѣхъ собравшихся и начала завтракать съ родственниками. На столъ посадили ребенка; вдова ласкала его и забавляла своимъ ожерельемъ. Затѣмъ, взявъ нарядную корзину съ рисомъ, травами и цвѣтами, она начала раздавать ихъ присутствующимъ, обращаясь къ каждому съ какимъ-нибудь ласковымъ словомъ, благодаря ихъ за вниманіе и объясняя мотивы своего поступка. Тутъ пушечный выстрѣлъ возвѣстилъ, что настало время для соверше-

нiя послѣдняго акта ея жизни, но оказалось, что еще не пришелъ ея братъ; рѣшились подождать его, а пока онъ явится, мы опишемъ орудiе самоубiйства. Висѣлица состояла изъ двухъ столбовъ по обѣимъ сторонамъ эшафота и бамбуковой перекладины сверху, съ середины которой спускалась веревка съ петлей и небольшимъ деревяннымъ кольцомъ, покрытымъ краснымъ шелковымъ платкомъ. Когда братъ пришелъ, вдова внимательно осмотрѣла петлю и вложила въ нее свою голову, чтобы убѣдиться въ годности снаряда; потомъ, освободивъ голову, послала послѣднее „прости“ присутствующимъ и снова надѣла петлю, покрывъ свою голову краснымъ платкомъ. Подставки были удалены изъ-подъ ея ногъ, и она повисла въ воздухѣ. Съ необыкновеннымъ самообладанiемъ она протянула руки впередъ и держала ихъ сжатыми, пока конвульси не разъединили ихъ и она умерла. Тѣло висѣло съ полчаса, затѣмъ его унесли родственники. Это уже третiй случай подобнаго самоубiйства впродолженiи нѣсколькихъ недѣль. Власти не въ силахъ противодѣйствовать этому, и въ честь примѣрной вдовы, обыкновенно, сооружается монументъ“.

Да, китайцы умѣютъ умирать, но что-же это за жизнь, выработавшая такое ужасное умѣнье?..

С. Ш.

НА ВОЛЮ БОЖЬЮ.

(Изъ жизни заброшенныхъ дѣтей.)

Въ бурю, въ легкомъ челнокѣ,
Окруженный тучи мглой,
Плылъ младенецъ по рѣкѣ,
И несло его волною...

Жуковскій.

I.

„У-у“... уныло гудитъ фабричный гудокъ, призывая на работу. Окутанныя сѣрымъ полумракомъ осенняго, ранняго утра, спятъ улицы, снятъ мрачныя, сѣрыя стѣны громадныхъ каменныхъ домовъ на главныхъ улицахъ города, но въ домахъ фабричныхъ мѣстностей уже начинается проглядывать трудовая жизнь: огоньки засвѣтились въ окнахъ, и замелькали уже въ нихъ силуэты людей. И вотъ, по плохо-мощенымъ, грязнымъ тротуарамъ, спѣшно зашагали съезжившіяся фигуры рабочаго люда. Мрачно, сонливо выглядятъ ихъ худыя, испытаныя лица, еще грязныя отъ вчерашней работы; ни однимъ словомъ не перемолвятся между собой эти люди. Да и о чемъ говорить? Тяжелая фабричная работа, вѣчное присутствіе между машинами успѣли уже наложить свой характерный отпечатокъ, преобразить и людей въ тѣ-же безмолвныя машины. Даже мальчики-подростки, ходящіе на работу, и тѣ пріобрѣли всѣ отличительные признаки настоящихъ рабочихъ: ни въ движеніяхъ, ни въ лицахъ ни малѣйшаго оживленія, ничего дѣтскаго. Мрачныя и отупѣлыя, они идутъ молча вмѣстѣ съ другими.

„У-у-у“... повторяетъ гудокъ свою унылую ноту, и бѣда теперь тѣмъ, кто опоздаетъ на работу. Проспавшій рабочій, услышавъ это „второе предостереженіе“, вскакиваетъ послѣшно съ своего жесткаго ложа и, на-скоро набросивъ на плечи кой-какія отрепья, бѣжить сломя голову на фабрику.

За то этотъ второй гудокъ никто уже не просыпаетъ, и слышать всѣ, какъ слышала его постоянно и вставала по немъ Матрена Селиверстовна. Нездоровилось-ли ей съ вечера, или гость у барина засидѣлся за полночь, или Степа блажилъ, не давалъ покоя,—Матрена Селиверстовна все равно встанетъ въ свое время, засвѣтитъ на кухнѣ керосиновую лампочку и примется за работу. Всѣ спать еще, изъ спальни слышенъ густой храпъ Степана Петровича, а она уже шмыгаетъ щеткой по его сапогамъ и галошамъ, перебиваетъ посуду, наливаетъ самоваръ или, разведя огонь подъ шесткомъ, варить кофе для старшаго сына, Тяшки. И, несмотря на то, что положеніе ея въ домѣ Степана Петровича было такого рода, что она могла вполне разыгрывать „барыню“, она этого себѣ никогда не позволяла. Даже никто не слышалъ отъ нея слова жалобы на свою судьбу. Безобидная вообще была Матрена Селиверстовна! Такою она слыла еще въ деревнѣ, въ родительскомъ домѣ, потомъ за-мужемъ за солдатомъ—человѣкомъ, хотя и смиреннымъ, но крайне безпорядочнымъ, да еще предававшимся „чаркѣ“,—такою-же осталась она и теперь, когда, поступивъ къ господину Крышкину кухаркой, сдѣлалась „заодно“ его фавориткой. Случилось-же это какъ-то совершенно незамѣтно и просто...

Степанъ Петровичъ Крышкинъ былъ холостякъ, лѣтъ 40—45, и служилъ гдѣ-то чиновникомъ. Чиновничья, будничная жизнь засосала его давно и окончательно, и время онъ „убивалъ“ такъ, какъ убиваетъ безчисленное множество людей, ему подобныхъ. Послѣ обѣда—сонъ, глубокій и внушительный, до ужина, потомъ ужинъ, чай и опять сонъ до утра. Утромъ хожденіе на службу, послѣ которой, какъ въ сказкѣ о бѣломъ быгѣ, начиналось обычное времяпровожденіе, варьировавшееся иногда приходомъ сослуживца, Финогена Алексѣевича Подстругалова, тоже холостяка и почти сверстника Крышкину.

Развлеченіемъ для обоихъ служилъ всегда пикетъ, за который они, какъ только сойдутся, сейчасъ-же и сядутъ, записывая про-

игрыши и выигрыши и, по окончаніи игры, предаваясь различнымъ математическимъ выкладкамъ.

— А ну-ко, Финогенъ Алексѣичъ, скажетъ, бывало, Крышкинъ, — сосчитаетесь-ко! И если онъ зналъ, что въ выигрышѣ, то улыбался при этомъ самымъ ироническимъ образомъ.

— Извольте, сосчитаетесь, добродушно соглашался Подстругаловъ, бралъ карандашъ, величественно подвигалъ къ себѣ листокъ бумаги и самымъ добросовѣстнымъ образомъ погружался въ ряды цифръ.

Тоже дѣлалъ и Крышкинъ, и затѣмъ наступало продолжительное молчаніе; только слышно было, какъ карандаши двигаются по бумагѣ.

— Съ проигрышемъ. Финогенъ Алексѣичъ, торжественно и не безъ нѣкотораго злорадства провозглашалъ Крышкинъ, продолжая улыбаться.

Подстругаловъ-же при выигрышѣ не позволялъ себѣ такъ относиться къ партнеру. Онъ только красивыми, крупными цифрами аккуратно запишетъ свой выигрышъ на отдѣльную бумажку и положить ее въ бумажникъ до слѣдующаго раза. При этомъ лицо его сохраняетъ всегда спокойное, какое-то глубокомысленно-сосредоточенное выраженіе; даже улыбки торжества не появятся на немъ. Такихъ „выигрышей“ и „проигрышей“ накапливалось у обоихъ порядочное количество. Иногда для разнообразія оба начнутъ подводить итоги и выпишутъ такую громадную сумму, „если считать на деньги“, что даже Степанъ Петровичъ, человекъ не особенно наивный, поражался ею.

— Вотъ-бы столько денегъ! скажетъ Крышкинъ.

— Гмъ! Да, не дурно-бы, кратко замѣтитъ Подстругаловъ и погрузится въ размышленія.

— Позвольте, Финогенъ Алексѣичъ, тотчасъ-же прерываетъ его мечты Крышкинъ, — что-бы вы стали дѣлать, если-бы были такъ богаты?

— Я?... Гмъ!.. Т. е., принимая въ соображеніе... того... я-бы... женился-бы.

— Ну?

— Ну... и женился-бы.

— А потомъ?

— Потомъ были-бы дѣти, уже съ нѣкоторымъ увлеченіемъ

продолжаетъ Подстругаловъ, краснѣя и смущенно улыбаясь, — знаете, эдакіе славные маленькіе пузыри. Я вѣдь ужасно люблю дѣтей!

— Ха, ха, ха, расхохочется Крышкинъ, — пустяки все это, пу-стя-ки-сь!

— Н...нѣтъ, не говорите, рискнетъ заспорить Подстругаловъ, но Крышкинъ только махнетъ рукой, и тотъ смолкнетъ.

Въ такихъ разговорахъ, да въ игрѣ въ пикетъ проводилъ Степанъ Петровичъ все свое свободное время. Въ театры и клубы онъ не ходилъ, сперва потому, что не было средствъ, а потомъ уже не тлнуло, да и обидѣлся и облѣнился онъ порядочно. Книгъ Степанъ Петровичъ не читалъ вовсе, находя ихъ пустыми, въ гости ходить не любилъ. Лѣнь, да какая-то угрюмая несообщительность помѣшала ему и жениться. Характеръ у него былъ крайне неровный, неуживчивый. Случалось, что какой-нибудь пустякъ доводилъ его до бѣшенства. Маменьки и папеньки, вызнавшіе его характеръ, поостереглись на-счетъ дочекъ, и Степанъ Петровичъ такъ и остался холостякомъ на всю жизнь.

Не разъ подумывая о томъ, какъ-бы пополнить недостатокъ своего прозябанія введеніемъ въ него женскаго элемента, онъ остановился на выборѣ подходящей прислуги. Хорошимъ кухаркамъ приходилось платить большое жалованье, и то за одну только страпню; все равно—некому было ни пуговицу пришить, ни починить что; да кромѣ того попадались все или пьяницы, или воровки, а нѣтъ, такъ и то, и другое вмѣстѣ. Степанъ Петровичъ рѣшилъ, не спѣша, пріискать какую-нибудь бабу, которая-бы за небольшое, сравнительно, жалованье, была-бы полной хозяйкой въ домѣ. Задача была не легкая и не рѣшалась скоро, но Степанъ Петровичъ и не торопился, выжидая случая. И случай, наконецъ, представился. Возвратясь разъ со службы, Крышкинъ увидѣлъ двери съ лѣстницы въ свою квартиру отпертыми. Блѣдный и перетрусившій, онъ вошелъ въ кухню и натолкнулся на слѣдующую картину: на полу, въ растяжку, лежала мертвецки-пьяная, недавно рекомендованная кухарка, а подлѣ нея валялся разбитый полштофъ. Въ себя, отъ бѣшенства, Степанъ Петровичъ заперъ квартиру и побѣжалъ на никольскій рынокъ. Тамъ онъ нанялъ первую попавшуюся бабу, которая заявила ему сразу, что готовить только „русскія кушанья, и то, батюшка, на деревенскій

скуса“. Но Степану Петровичу было не до „скуса“; баба показала ему степенной и разсудительной, и онъ въ тотъ же день покончилъ съ нею.

Новая прислуга и была Матрена Селиверстовна. Она сразу же заявила себя съ хорошей стороны, водворивъ чистоту и порядокъ въ квартирѣ. Степанъ Петровичъ смотрѣлъ, наблюдалъ и самодовольно поспѣивался въ усн. Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. За это время Степанъ Петровичъ съ удовольствіемъ узналъ о новыхъ достоинствахъ Матрены Селиверстовны: она хорошо гладила крахмальныя рубашки, чисто шила и отлично вязала носки... Степанъ Петровичъ прибавилъ жалованья и началъ звать Матрену Селиверстовну по отчеству. Нѣсколько конфузившаяся сперва, она стала потомъ относиться къ этому просто и скромно, не задирая носъ и не фамильярничая. Тогда Степанъ Петровичъ обратилъ вниманіе на послѣднюю статью своей кухарки, — ея наружность. Наружность оказалась самой обиденной, даже нѣсколько вульгарной, и нужно было много воображенія, чтобы назвать Матрену Селиверстовну „бабой ничего себѣ“. Сухопарая, высокая и сутуловатая, со скуластымъ лицомъ, усѣянными веснушками, молчаливая и серьезная, она заставила, на первыхъ порахъ, задуматься даже самого Степана Петровича, хотя онъ, съ его каменнымъ лицомъ, изрытымъ оспой, конечно, былъ не изъ числа красавцевъ. Единственно, что было въ ней хорошаго, — это глаза, большіе, лучистые. Ихъ мягкое, доброе выраженіе невольно привлекало каждого... И вотъ, однажды, Степанъ Петровичъ, по окончаніи игры въ пикетъ, вмѣсто того, чтобы начать обычныя математическія выкладки, повелъ съ Подстругаловымъ такой разговоръ:

— А замѣтили-ли, Финогенъ Алексѣичъ, какой у меня нынче порядокъ водворился?

— Гмъ! Замѣтилъ.

— Теперь ужъ не то, не правда-ли?

— Не то, это вы правду...

— То-то и есть. Теперь за что ни возьмитесь, все въ порядкѣ. И стаканъ чистъ (Подстругаловъ только-что взялъ стаканъ съ чаемъ и внимательно посмотрѣлъ на него), и въ комнатѣ не

хаосъ ужь больше, и бѣлье въ порядкѣ. Нѣтъ, скажите откровенно, вы замѣтили перемѣну?

— Замѣтилъ, я же говорю...

— Еще бы! самодовольно улыбнулся Крышкинъ.

— Я полагаю, Степанъ Петровичъ, т. е. принимая во вниманіе чистоту... гмъ!.. что новая кухарка...

— Тсъ! строго погрозилъ Крышкинъ, кивнувъ при этомъ на дверь въ кухню, — не *кухарка*, Финогенъ Алексѣичъ, а экономка, въ полномъ смыслѣ слова эконо-ном-ка! Золото, а не женщина, добавилъ онъ уже съ нѣкоторымъ увлеченіемъ.

Подстругаловъ ничего не сказалъ, но много понялъ и въ слѣдующій свой приходъ, на обычный поклонъ Матрены Селиверстовны, отвѣтилъ:

— Здравствуйте, Матрена Селиверстовна!

А когда она, относившаяся къ нему съ большимъ уваженіемъ и даже какъ будто побаивавшаяся его, хотѣла снять съ него пальто, онъ вѣжливымъ движеніемъ отстранилъ ее, снялъ самъ и повѣсилъ. Съ тѣхъ поръ онъ всегда относился къ Матренѣ Селиверстовнѣ очень вѣжливо.

Черезъ годъ Крышкинъ неожиданно позвалъ его въ кумовья. Подстругаловъ ничего не сказалъ и согласился крестить, внутренне вовсе не одобряя поведенія товарища. Старый холостякъ, лелѣвшій въ мечтахъ утопію счастливой семейной жизни „на законномъ основаніи“, не могъ ни понять, ни извинить столь легкаго отношенія къ „священнымъ обязанностямъ человѣка“.

Рожденіе ребенка крайне не понравилось и Крышкину, но только уже совсѣмъ въ другомъ смыслѣ.

„Вотъ еще не было печали, — ворчалъ онъ, лежа послѣ убійственного пятичасоваго сна „передъ чаемъ“ на своемъ диванѣ и съ раздраженіемъ вслушиваясь въ пискъ новоявленного крохотнаго человѣчка, — чортъ знаетъ что такое, беспокоитъ только! Ишь ореть!“

И онъ въ который уже разъ шелъ на кухню, проникалъ за ситцевую драпировку и убѣждалъ Матрену Селиверстовну развязаться съ „пискуномъ“, т. е. отдать въ воспитательный.

— Въ шпитательный! восклицала та; — нѣтъ ужь, Степанъ Петровичъ, не говорите лучше! Дѣлайте со мной, что хотите, хоть убейте, а въ шпитательный не отдамъ, ни за что не отдамъ!

И она порывисто прижимала къ груди уморительнаго, птицеобразнаго ребенка, напоминавшаго нѣсколько самаго Степана Петровича въ миниатюрѣ.

Крышкинъ приходилъ въ отчаяніе, бѣсновался, но ничего не могъ сдѣлать съ упорной бабой: онъ только уходилъ подъ конецъ въ кабинетъ и спалъ еще больше, какъ-бы стараясь заспать это непріятное обстоятельство.

Ребенокъ между тѣмъ сталъ подростать и дѣлаться помѣхой даже самой матери въ ея работахъ, но Крышкинъ пересталъ настаивать на отправленіи его въ воспитательный: время прошло, да и мнѣніе Степана Петровича измѣнилось. Ребенокъ выправился, сталъ еще болѣе походить на отца и начиналъ ему нравиться. Матрена Селиверстовна подмѣтила перемѣну въ хозяйнѣ и однажды, улучивъ минуту, когда Крышкинъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа, попросила у него позволенія выписать изъ деревни своего перваго сына, Тишку, въ качествѣ няньки для Степы.

Степанъ Петровичъ изъявилъ свое полное согласіе.

И вотъ, въ одно сырое, пасмурное, зимнее утро, послѣ ухода Крышкина на службу, въ квартиру его ввалилась закутанная въ платкахъ баба съ разными кадучками и корзинками, ведя за руку краснощекаго мальчугана. Мальчуганъ былъ въ старой ватной вацавейкѣ и закутанъ не менѣе бабы въ нѣсколько платковъ, концы которыхъ волочились по полу.

Баба оказалась сестрой Матрены Селиверстовны, а мальчуганъ — сыномъ Тишкой.

Послѣ радостной встрѣчи, не обошедшейся безъ слезъ, началось угощеніе кофеемъ. Баба внесла съ собою въ кухню какой-то специфическій деревенскій запахъ, отнюдь не непріятный для тѣхъ, кто бывалъ въ деревнѣ, какой-то здоровый, свѣжій, возбуждающій. Пахло какъ-будто горячимъ хлѣбомъ, свѣжимъ, только-что скошеннымъ сѣномъ; словомъ, напоминало деревню. Матрена Селиверстовна словно ожила, словно стряхнула съ себя гнетущую апатію петербургскаго прозябанія. Она даже какъ-будто помолодѣла, съ наслажденіемъ вслушиваясь въ рассказы сестры о деревенскомъ житьѣ-бытьѣ: „Груньба косая вышла замужъ, Архипъ

въ солдаты попалъ, дядя Провъ корову и дворъ продалъ“; всѣ эти новости крайне занимали Матрену Селиверстовну, какъ-бы будя въ ней уснувшія воспоминанія прошлаго...

Но сестру, въ качествѣ деревенскаго человѣка, больше всего, конечно, интересовала обстановка городской квартиры. Матрена Селиверстовна поведя ее показывать:

— Вотъ это гостиная... (сестра мотнула головой, давая тѣмъ знать, что понимаетъ диговинное слово) вотъ кабинетъ Степана Петровича, вотъ его спальня, — ну и что-же... больше ничего, квартира маленькая...

— Цаво ты, родная, какая іона маленькая! удивлялась сестра, — цаво ему одному! Хорошо, хорошо, покачивала она головой, — цысто какъ! И квыты на подокнахъ, и картиночки, и всякія... всякія... Ахти, рѣдныя!

Она стремительно отступила на нѣсколько шаговъ, увидѣвъ въ углу кабинета какого-то человѣка, замахивающагося на нее палкой, но, замѣтивъ, что сестра смѣется, подошла ближе и разсмѣялась въ свою очередь.

— Вотъ нецыстикъ-то! Перепугалъ ажно! Ровно живой! Уту, бѣсъ!

И она стала въ подробностяхъ разсматривать облѣзлаго, однорукаго, древне-русскаго воина, размахивавшаго шестоперомъ.

Матренѣ Селиверстовнѣ становилось между тѣмъ какъ-то неловко: было около четырехъ часовъ, съ минуты на минуту могъ придти Степанъ Петровичъ и застать ихъ у себя въ кабинетѣ. А сестра, какъ нарочно, увлеклась самымъ подробнымъ осмотромъ барскихъ прихотей, подошла къ этажеркѣ, стала брать по одной и поглаживать различныя фарфоровыя бездѣлушки. И не мало усилій стоило Матренѣ Селиверстовнѣ увести ее, наконецъ, въ кухню.

А тамъ Типка сидѣлъ въ углу, на томъ-же сундукѣ, на который его посадили, и широко раскрытыми, недоумѣвающими глазами смотрѣлъ на занавѣску, за которой слышался плачь Степы.

Матрена Селиверстовна взяла ребенка на руки и любовно стала укачивать: „а-а, а-а, а-а“...

Сестра наклонилась и безучастно заглянула въ маленькое, покраснѣвшее отъ плача, лицо ребенка.

— Ишь ты! замѣтила она глубокомысленно и вздохнула, —
кольки время-то?

— Годикъ.

— Мальчишка?

— Мальчикъ.

— На отца схожъ?

Матрена Селиверстовна кивнула головой и потупилась; на глазахъ ея показались слезы.

— Вишь дѣло-то какое, сестринька! Что-жь будешь, голу-
бушка! Всѣ мы грѣшныя, всѣ подъ Богомъ ходимъ...

— Цаво-жь ты, цаво, стала успокаивать сестра и погладила ее
по головѣ, какъ ребенка, съ материнскою нѣжностью, — хорошъ-ли
целовѣкъ-то, юнъ-то, а? Аль дурной? Бьетъ нешто?..

Матрена Селиверстовна только отрицательно качала головой и
утирала слезы. Но сестра, съ хитростью деревенскаго человѣка,
подсѣла ближе и стала вывѣдывать и совѣтовать.

— Ты на нихъ не смотри, говорила она, кивая головой по
направленію къ кабинету, — извѣстное дѣло, — господа! Ишь цто!
Потѣшился — и назадъ! А ты не будь дура, неца ему въ зубы-
то глядѣть!.. Гдѣ можешь, своего не упусти. Платье тамъ вы-
проси али подарокъ какой; въ деревнѣ-то все пригодится... На
мальчишку вотъ тоже пусть цто вибудъ положить...

Матрена Селиверстовна молчала и сидѣла, опустивъ голову, а
на душѣ у нея стало такъ скверно отъ этихъ совѣтовъ, что
родная сестра была ей въ то время противна, и она отъ души
желала, чтобы та скорѣй уѣхала.

Отъѣздъ этотъ не замедлился. Дня черезъ три сестра собра-
лась въ обратный путь. Прощаясь съ Матреной Селиверстовной
и принимая отъ нея гостинцы роднымъ, въ видѣ чая, сахара,
кофе и проч., она строго наказывала:

— Смотри, сестра, береги Цишеньку, не давай его въ оби-
ду! Выворюкъ онъ мой. Вишь какой бѣлый да матерный, ровно
поросеночекъ, Господь съ нимъ!

— Да ужъ не безпокойся, сестра, улыбалась Матрена Сели-
верстовна, провожая гостью до воротъ, — цѣлъ будетъ, не бойся,
въ обиду не дамъ! Мое дитя, родное.

Тишка сидѣлъ въ это время въ кухнѣ и, по свойственному
всѣмъ дѣтямъ малодушеству, ревѣлъ на-пропалую. Бѣдняга опла-

кивалъ свою волю, какъ-бы предчувствуя, что въ городѣ уже не будетъ того, что было въ деревнѣ.

Плачь его вызвалъ изъ кабинета Степана Петровича. Зѣвая и потягиваясь, подошелъ онъ къ мальчугану, взъерошенная фигурка котораго едва вырисовывалась въ темномъ углу кухни, остановился передъ нимъ и, заложивъ руки за спину, спросилъ:

— Ты чего реवेशь, а?

Тишка молчалъ и продолжалъ плавать, очевидно, не считая себя обязаннымъ отвѣчать на вопросъ.

— Что ты реवेशь, я спрашиваю? повторилъ Крышкинъ, значительно повысивъ голосъ.

— Въ деревню хоцу! произнесъ сквозь слезы Тишка.

— Ишь ты какой... волченоекъ (Степанъ Петровичъ довольно ощутительно провелъ рукой по взъерошеннымъ волосамъ мальчугана)! Въ деревню хочешь! А не хочешь-ли я тебѣ смазь вселенскую сотворю, а?

Тишка не понялъ, конечно, что это за штука — смазь вселенская, но чутьемъ угадалъ, что это что-нибудь очень непріятное, и смолкъ.

— Вотъ такъ-то лучше, усмѣхнулся Степанъ Петровичъ, я тебѣ и впередъ не совѣтую ревшѣть, а то мы съ тобой, волченоекъ ты этакой, пожалуй, поссоримся и подеремся.

Тишка взглянулъ на него изподлобья. Взгляды ихъ встрѣтились, и что-то вродѣ ненависти другъ къ другу засвѣтилось въ нихъ.

На первыхъ порахъ Тишкѣ трудно было свыкнуться съ замкнутой городской жизнью. Его постоянно манило на воздухъ, на дворъ, на улицу, поглазѣть на прохожихъ, поиграть въ бабки, порѣзвиться... Но Степанъ Петровичъ сразу сократилъ эти поползновенія.

— Ты у меня смотри, замѣтилъ онъ ему однажды, — разъ навсегда тебѣ говорю: не затѣмъ я тебя кормлю, чтобы ты по заборамъ вѣшался да пропадалъ на улицѣ. Чтобъ этого я больше не видѣлъ, а не то...

И грозный, сверкающій взглядъ его перешелъ съ перепуганнаго тишкина лица на плеть трехвостку, висѣвшую для вѣщаго вну-

„Дѣло“, № 6, 1879 г.

шенія надъ тишкиной койкой. Увы, эта плеть появилась вскорѣ послѣ водворенія Тишки у Степана Петровича, и мальчугану пришлось уже разъ познакомиться съ нею...

А время между тѣмъ шло да шло, а съ нимъ подвигалась впередъ и дрессировка „волченка“. Тишка уже забылъ деревню и волю и, хотя по наружности, покорился нѣсколько жестокой ферулѣ Степана Петровича. Онъ его ненавидѣлъ, правда, и ненавидѣлъ такъ, какъ только могло ненавидѣть вообще его маленькое сердчишко, но все-таки оказывалъ ему всяческую покорность и послушаніе. Только, бывало, скроетъ свою косматую головенку въ колѣни матери и вдругъ расплачется горькими-прегорькими слезами. „Тишенька, голубчикъ, родной мой, что ты, что съ тобой?“ спрашиваетъ мать, но Тишка молчитъ и плачетъ, и видно только, какъ порывисто вздрагиваютъ его маленькія плечики...

II.

Гудокъ прогудѣлъ давно, сапоги и галоши Степана Петровича вычищены и лоснятся у порога затворенной двери спальни, самоваръ налить, только угля положить; скоро и Степанъ Петровичъ проснется, а Матрѣнѣ Селиверстовнѣ все не хочется будить Тишку. Подойдетъ она къ окну, взглянетъ на улицу: не то разсвѣтъ, не то сумерки. Мутный туманъ стоитъ въ воздухѣ; на небѣ влочья сѣрыхъ тучъ нависли; сыро, холодно, непріятно... „А у него сапожишки-то совсѣмъ износились“, вдругъ шевельнется въ ея головѣ, и она отойдетъ отъ окна, глубоко вздохнувши. Подойдетъ къ тишкиной койкѣ, остановится, посмотритъ: „вотъ они оба, голубчики, спятъ, да еще какъ сладко! Тиша улыбается даже! Разметался, — тепло въ кухнѣ-то... Вотъ изъ теплыни-то да на холодъ, — бѣда! Долго-ли простудиться? Спаси Боже, съ вечера-то какъ кашлялъ! Охти-хти! Не радость и двугривенные эти, что приносить!“

Отойдетъ Матрена Селиверстова, сядетъ на табуретъ, повѣситъ голову... А невеселыя думы уже посѣтили ее, бѣгутъ, расплываются... „Вечоръ много сѣдыхъ волосъ начесала, совсѣмъ, совсѣмъ сѣдые... Вотъ и здоровье что-то плохо, иной день такъ разнеможешься, съ постели-бы не встала! Видно, старость подо-

шла, а тамъ и смерть скоро... А Тиша-то, а Степа какъ останутся?..“

Въ кабинетѣ часы звонко отчеканили восемь. Матрена Селиверстовна быстро встала съ табурета, — всѣ тяжелыя мысли сразу разлетѣлись, — подошла она къ койкѣ, а Тиша уже проснулся, весело и бойко смотритъ на мать.

— Что ты меня не разбудила, мама: поздно, надо быть?

— Спалъ больно сладко, Тишенька, вотъ и не будила. На дворѣ, поди-ко, сыро да холодно. Какъ ужъ и пойдешь, не знаю!

— Ничто!

— То-то ничто! Сапожники-то вонъ совсѣмъ не гожи стали!

— Ладно, не гожи! У Кузьки Прожженаго, думаешь, лучше? Тоже всѣ въ дыркахъ. Сапожникъ чинилъ, чинилъ да и бросилъ!

Матрена Селиверстовна только рукой махнула: дескать съ тобой не сговоришься, а Тишка бойко вскочилъ съ сѣнника, одѣлся и прямо къ кофейнику. А кофейникъ заманчиво бурлитъ на шесткѣ, только сладкій, раздражающій обоняніе, паръ вырывается по-временамъ изъ носика.

Выпилъ Тишка кофе, напаялиъ свою кацавейку, спряталъ подъ полу небольшой холщевый мѣшочекъ и, ухорски надвинувъ шапченку, выбѣжалъ на улицу.

Холодная, пронизывающая сырость осенняго утра охватила его, и мурашки забѣгали по спинѣ. Онъ прибавилъ шагу и чуть-ли не бѣгомъ пустился по направленію къ Обводному каналу. Совсѣмъ разсвѣло. На улицахъ уже сновалъ народъ: шли женщины на табачную фабрику, кто съ кофейникомъ, кто съ чайникомъ, кто просто съ какой-нибудь посудиною; пробирались на рынокъ хозяйки съ корзинами; крупной рысю мчались порожніе ломовики; тащился извозчикъ съ пьянымъ забуддыгой. „Холодные сапожники“ ловко постукивали своими молотками, тутъ-же на улицѣ чиня огромные сапожищи, въ то время, какъ разутый „давалецъ“ терпѣливо сидѣлъ и ждалъ, ковыряя мозоли. Разсыпая миллионы всеръ, стучали молоты въ кузницахъ, и черезъ колѣнчатыя, узкія трубы видся дымокъ, наполняя улицы ѣдкимъ запахомъ гари.

Умѣривъ шагъ, Тишка шелъ теперь по набережной канала въ сторону владовыхъ Невского монастыря. Любилъ онъ очень эти

мѣста. Хотя нѣсколько они ему напоминали родную деревню съ такой-же тихой рѣкой, обрамленной крутыми берегами. Лѣтомъ, улучивъ свободную минуту, Тишка стремился на каналъ встрѣтиться съ товарищами и завязать какую-нибудь игру или, забравшись на пустую барку, начать удить. Но зимой было больше удовольствій: устраивалось катанье съ „горы“, катанье на одношъ „конькѣ“, игра въ снѣжки, сооруженіе „бабы-снѣгурки“.

Теперь-же онъ шелъ вдоль канала и только припоминалъ. Уже не до горъ и не до „бабы-снѣгурки“ было ему; недосугъ было заниматься такими пустяками. Несмотря на свои юные годы, Тишка уже былъ *работникъ* и зарабатывалъ для матери деньги, считая съ другими ребятами зерно около кладовыхъ. На эту-то работу и торопился онъ теперь.

Осеннимъ, тусклымъ колоритомъ окрасилась вся мѣстность Обводнаго канала. На немъ почти не было судовъ, за исключеніемъ барокъ, выгружавшихся уже безъ той кипучей лихорадочной дѣятельности, какая замѣчается лѣтомъ. Мрачныя фигуры мужиковъ въ полшубкахъ таскали какія-то доски, катали кирпичъ. Двѣ-три барки, предназначенныя на зимовку, пустыя, безъ снастей и стланей, тоскливо жались къ берегу, а кругомъ ихъ ужъ затянуло тонкимъ, прозрачнымъ, какъ стекло, льдомъ. На плоту какал-то баба ожесточенно колотила валькомъ по сѣрому мужицкому бѣлью, и унылое лязганье вальца, перемеживаясь съ угрюмой, лѣнивой бранью судовщиковъ разносилось по рѣкѣ. По берегамъ сновалъ рабочій людъ, визжали дверные блоки кабаковъ, ползъ водовозъ, расплескивая воду. Только гуси, очевидно, чувствуя себя въ своей стихіи, оглашали воздухъ рѣзкими гортанными криками. Прошелъ Тишка казачьи казармы, бассейнъ Николаевской дороги, и вотъ вытянулись передъ нимъ красныя громады кладовыхъ.

Но тутъ картина измѣнилась сразу. На всемъ пространствѣ узкой полосы берега Невы кипѣла спѣшная работа, сновали сотни народа, нагружая роспуски мѣшками зерна, выгружая съ барокъ и вагоновъ, таская хлѣбъ въ кладовыя. Въ воздухѣ висѣла крупная брань, раздавались перекоры, слышались шуточки и ос-

трыя словца. Подъ вагонами и роспусками проворно ползали оборванные мальчуганы, сгребая метелками просыпавшіяся зерна и наполняя ими свои мѣшечки. Тутъ тоже не обходилось безъ брани и толчковъ; по-временамъ завязывались настоящія драки.

— А, Ташка! привѣтствовали товарищи вновь пришедшаго, — что поздно?

— А что, проспалъ!

— Проспалъ, — воду хлѣбалъ! замѣтилъ Кузька Прожеженный, — тщедушный мальчуганъ съ испитымъ и нѣсколько нахальнымъ лицомъ. Онъ больше всѣхъ сновалъ подъ вагонами, мѣшокъ его былъ больше, чѣмъ у другихъ, и онъ ловчѣе прочихъ дѣйствовалъ метелкой. За то ему и попадало отъ товарищей! Но онъ за тычкомъ не гнался и, получивъ тумака, молча поправлялъ шапку, снова принимаясь за работу.

А работа такъ и кипѣла! Словно стая воробьевъ, разсыпались мальчуганы по всей набережной, перебѣгали, согнувшись, подъ колесами вагоновъ и телѣгъ, сновали у ногъ извозчиковъ...

Весь этотъ мелкій людъ были дѣти петербургскихъ бѣдняковъ, населяющихъ столь многочисленныя въ столицѣ чердаки и подвалы, дѣти выгнанныхъ со службы и пропившихся чиновниковъ, лишившихся заработковъ рабочихъ, изувѣченныхъ кондукторовъ, машинистовъ, стрѣлочниковъ и проч. Большая часть изъ нихъ были незаконнорожденныя, брошенныя вмѣстѣ съ матерью, какой-нибудь прачкой или кухаркой, на произволъ судьбы. Весною этихъ дѣтей можно видѣть около какого-нибудь строящагося дома собирающими щепки; лѣтомъ ихъ много попадаетъ на Невѣ и по Фонтанкѣ, съ остроумнымъ инструментомъ вродѣ остроги, прирѣпленной къ веревкѣ и приспособленной къ ловлѣ плывущихъ по водѣ дровъ; осенью и зимой эти дѣти или продаютъ календари, конверты и палочки сургуча, или ужь просто просятъ милостыню.

Тѣ-же, которыя собирали зерна около кладовыхъ, получили характерное прозвище „сметчиковъ“. Съ извозчиками, отъ которыхъ, главнымъ образомъ, зависѣло позволеніе сметать зерна, сметчики, благодаря взяткамъ, всегда находились въ хорошихъ отношеніяхъ. Совершенно достаточно было нѣсколькихъ копеекъ на кошку или пары папирозъ, чтобы тѣ уже не отгоняли отъ роспусковъ или вагона. И извозчики ознакомились за лѣто

со сметчиками настолько, что знали **каждаго** по имени. Тѣ-же, въ свою очередь, строго придерживались чисто артельныхъ традицій и гнали безжалостно всякаго, пришедшаго такъ-себѣ, съ вѣтру...

И такъ, работа кипѣла. Уже мѣшечки были наполнены до половины, какъ вдругъ кто-то изъ сметчиковъ крикнулъ:

— Прикащикъ идетъ!

Въ мигъ, точно испуганная стая птицъ, рассыпались сметчики по всѣмъ направлениямъ: кто спрятался за угломъ кладовой, кто забѣжалъ на ближайшій дворъ, кто скрылся подъ мостъ, а нѣкоторые изъ болѣе робкихъ пустились бѣжать по набережной канала.

Изъ-за угла показалось лицо прикащика, съ торчащими рыжими усами, съ посоловѣлыми, оловянными глазами на выкатѣ.

Онъ шелъ въ теплой чуйкѣ, съ поднятымъ воротникомъ, въ ваточномъ картузѣ, съ заложеной за бортъ лѣвой рукой, помахивая въ правой толстой, суковатой палкой. Шелъ онъ медленно, съ перевальцемъ, и, дойдя до извощиковъ, какъ только раскрылъ ротъ, принялся ругаться. Извощики молча продолжали таскать кули. Наругавшись вдоволь и потыкавъ зачѣмъ-то палкой въ нѣкоторые кули, прикащикъ остановился, вынулъ папироску, закурилъ и мутнымъ взглядомъ окинулъ районъ набережной. Вдругъ ему кинулась въ глаза маленькая фигурка Тишки, ползавшаго подъ вагономъ и невидѣвшаго его приближенія. Съ несвойственной для свой солидности ловкостью, онъ подскочилъ къ мальчугану и схватилъ его за волосы.

Тишка извивался, какъ ужъ, но не могъ вырваться изъ могучихъ рукъ прикащика. Отчаянные вопли, испускаемые бѣднягой, заглушались здоровымъ хохотомъ глядѣвшихъ на эту расправу извощиковъ.

Оттаскавъ Тишку и внушительно погрозивъ пальцемъ другимъ, прикащикъ той-же развалистой походкой пошелъ назадъ.

Не успѣла его фигура скрыться за угломъ, какъ сметчики опять налетѣли со всѣхъ сторонъ. Надъ Тишкой трунили ужасно, и больше всѣхъ Кузька.

— Что, Тишка, спрашивалъ онъ не безъ злорадства, — лихо прикащикъ оттаскалъ?

— Важно, братцы, поджигала остальные, — почитай, всѣ волосы повытаскалъ.

— На заводъ оставиль-ли?

— Поди, теперь Тишка плѣ-ши-вый сталь.

— Поважи-ка голову, Тишка, сними шапку.

— Дуракъ ты, Тишка, замѣтилъ Прожженный наставительнымъ тономъ, — бить позволилъ! Я-бы его такъ кусанулъ... небось, помниль-бы меня!

Тишка молчалъ, не отругивался и не отшучивался. Тяжело и скверно было на его душѣ. Къ ощущенію физической боли при-мѣшивался стыдъ, что онъ былъ прибитъ на глазахъ у всѣхъ; жаль было также и просыпавшихся зеренъ. Подумаль-было Тишка, отчего онъ въ самомъ дѣлѣ такой дуракъ, не укусилъ прикащика, да тотчасъ-же раздумалъ: „укуси его, такъ онъ, пожалуй, и убиль-бы. И никто-бы не вступился, а только смотрѣли-бы всѣ да хохотали. Кто тутъ вступится? Народъ ужъ такой! Нѣтъ, лучше, что не укусилъ; а волосы побольать-побольать да перестануть...“

И Тишка усердно принялся за работу. А тутъ еще молодой извозчикъ поманилъ его къ вагону и, когда онъ подошелъ, велѣлъ подставить мѣшочекъ къ порядочной дырѣ въ кулѣ, которую тотъ нарочно прободалъ своимъ крюкомъ. И, подымая куль на плечи, чтобы снести къ роспускамъ, извозчикъ нѣсколько разъ тряхнулъ имъ такъ, что зерно такъ и потекло въ мѣшочекъ....

День склонялся къ вечеру. Быстро наступили осеннія сумерки. Съ моря надвигались сизыя и мохнатяя тучи, края которыхъ позлащались косыми лучами заходящаго солнца. Набережная окуты-валась туманомъ, и въ этомъ туманѣ уже замигали отдаленныя точки фонарей. Работа на набережной прекратилась, и центръ дѣятельности перенесся въ ближайшіе кабаки и трактиры. Тамъ то-и-дѣло хлопали двери, и группы уставшихъ рабочихъ толк-лись и галдѣли около гостепріимныхъ заведеній...

Всей гурьбой сметчики вошли во дворъ одной грязной мелоч-ной лавочки. Сѣдой, плотный хозяинъ стоялъ на порогѣ и, сни-сходительно усмѣхаясь, указывалъ сметчикамъ куль, куда они должны были высыпать свои мѣшочки.

— Съ грязью не принимаю, не принимаю съ грязью! покри-кивалъ онъ на проходившихъ мальчугановъ. — У кого съ грязью, —

не нужно! Пожажи-ка! остановилъ онъ Тишку, очевидно, не доверяя ему, какъ самому младшему.

Тишка съ гордостью подалъ свой мѣшочекъ. Извозчикъ удружилъ: пшеница была чистая и крупная, зерно въ зерну.

— Ишь ты! усмѣхнулся лавочникъ.— Даромъ что малъ, а ловокъ, шельмецъ! Ну, нечего дѣлать, надо тебя отдѣльно рассчитать!

Онъ высыпалъ зерно въ другой кулъ, пошелъ къ выручкѣ и вынесъ оттуда два новенькихъ двугривенныхъ.

У Тишки сердце ёкнуло, такъ онъ былъ радъ, что его рассчитали отдѣльно! Чаще всего приходилось отправляться со всеми въ трактиръ, гдѣ и производилась дѣлжка. Почти всегда она начиналась перекурами, бранью, иногда потасовкой и оканчивалась выпивкой и игрой на билиардѣ. Тишкѣ, по глупости и малодѣтству, не нравилось это. Трактиръ былъ грязный, извозничій. Пахло въ немъ, какъ во всѣхъ такихъ трактирахъ, какой-то прѣлью вмѣстѣ съ изгарью спиртныхъ напитковъ. Въ маленькой, сырой и душной комнатѣ стоялъ облѣзлый билиардъ съ прорванными сукномъ, парю кривыхъ киевъ и крошечными шарами, напоминающими картофелины. На этомъ билиардѣ играли сметчики; сюда требовались водка, пиво, закуска; здѣсь-же происходила и дѣлжка. Маркеръ не присутствовалъ никогда. Какъ только являлась компанія, онъ или уходилъ по своимъ дѣламъ, или располагался соснуть на диванѣ въ сосѣдней комнатѣ, предоставляя игрокамъ дѣлать, что угодно.

Сметчики играли партію за партіей; сами ставили шары, считали очки. Передъ уходомъ ихъ являлся заспанный маркеръ и получалъ за партію, за которыя сметчики рассчитывались честно, безъ утайки; Тишка не постигъ еще премудрости билиардной игры, но, приходя съ другими, сидѣлъ, тараща уставшіе глазенки и скучая непомѣрно. Не обходилось, конечно, и безъ того, чтобы его не заставили выпить стаканъ пива или рюмку водки. Но пиво онъ пилъ рѣдко, и то по необходимости, такъ-какъ подвергался, наравнѣ съ другими, вычету части заработка въ пользу той суммы, которую предполагалось „прогулять“. Отъ водки-же Тишка не отказывался. Рюмка водки приводила его въ какое-то восторженное состояніе: онъ пѣлъ, дурачился, хохоталъ и, уходя домой, предавался такимъ разнообразнымъ фантазіямъ, что совер-

шенно не замѣчалъ того длиннаго пути, который ему приходилось сдѣлать.

Теперь-же путь этотъ показался ему необыкновенно длиннымъ. Онъ спѣшилъ домой, спѣшилъ порадовать мать своимъ первымъ крупнымъ заработкомъ. Онъ ужъ заранѣе зналъ, что она скажетъ, какъ она ему улыбнется... „Спасибо, Тишенька,—скажетъ ему мать,—спасибо, сыночекъ! Что за Тиша у меня, молодецъ да и только!“ И она погладитъ его по курчавой головѣ, а онъ, по обыкновенію, спрячетъ эту голову въ ея колѣни, и такъ хорошо ему будетъ, такъ хорошо!..

Масляные фонари тускло мигали вдоль погрузившейся во мракъ набережной канала; по дорогѣ, справа и слѣва, шлепали чьи-то ноги; разбрызгивая грязь, съ грохотомъ мчались ломовики, а Тишка все шибче и шибче шель домой, побрякивая деньгами въ карманѣ штанишекъ, весь погруженный въ свои дѣтскія размышленія.

III.

Случилось, однако, что вмѣсто того, чтобы идти домой, Тишка юркнулъ въ подвалъ къ дворникамъ. Духъ гордости обурялъ его; ему захотѣлось похвастаться и передъ ними своимъ заработкомъ.

Дворниковъ въ домѣ было трое, и всѣ они очень дружили съ Тишкой. Дружба завязалась съ того, что они разъ прогнали со двора цѣлую ораву мальчишекъ, сбравшихся, изъ-за какихъ-то расчетовъ въ бабки, поволотить его. За это Тишка бѣгалъ для нихъ въ кабакъ за сороковками и исполнялъ разные другія порученія, считая своей непремѣнной обязанностью почаще посѣщать дворницкую. Почему-то нравилась ему и эта промозгшая конура съ огромной закоптѣлой печью и грязными койками по стѣнамъ, и сами ея обитатели, изъ которыхъ больше другихъ привлекалъ его молодой парень Карпъ съ его гармоніей. Гармонія эта просто приводила въ восторгъ Тишку. Во-первыхъ, она была велика, даже очень велика; потомъ, басы въ ней были густые-прегустые, все равно какъ въ трактирной „машинѣ“, и еще полагался колокольчикъ. Карпъ не умѣлъ имъ дѣйствовать, какъ слѣдуетъ, но все-таки приводилъ его безпрестанно въ движеніе, что

производило немалый эффектъ. Подъ веселый часъ, когда на столѣ красовалась бутылъ и дворницкая не лишена была женскаго элемента, состоявшаго изъ кухарокъ и прачекъ, въ этомъ подвалѣ шель дымъ коромыслоу. Карпъ игралъ, *наяривалъ*, какъ принято было выражаться въ этомъ обществѣ, другой молодой дворникъ, Силантій, плясалъ, и даже старшій между ними, Еремѣй, самъ хмурый, старый Еремѣй, и тотъ топалъ въ тактъ ногой, подтягивая силпыми голосомъ.

Теперь въ дворницкой было тихо, какъ въ гробу. Обитатели ея лежали каждый на своей койкѣ и предавались невеселымъ размышленіямъ о распроклатой дворницкой участи. Ненявнїе деньги усугубляло ихъ мрачное настроеніе: выпить было не на что. Они даже огня не зажгли, и въ конурѣ было темно, хоть глазъ выколи.

Тишка хотѣлъ уже вернуться, но Силантій окликнулъ его.

— Кто тамъ пляется, лѣшіе?

— Я, робко отозвался Тишка.

— Кто ты?! Много васъ тутъ! Чего надо?

— Тишка, надо быть, замѣтилъ Карпъ и повернулся на другой бокъ.

Еремѣй заворочался на свой койкѣ, сладко зѣвнулъ и, поднявшись, зажегъ жестяную лампочку. Красноватый, едва мерцающій свѣтъ озарилъ худое, хмурое лицо Еремѣя съ рѣденькой, рыжеватой бородкой, мрачныя, закоптѣлыя стѣны дворницкой, три грязныя койки и всключенныя головы лежавшихъ дворниковъ.

Еремѣй поставилъ лампочку на столѣ, сѣлъ передъ ней и, подперевъ голову руками, задумался. Тишка, по обыкновенію, помѣстился у входа на сундучкѣ. Наступило продолжительное молчаніе; слышно было только, какъ Карпъ сопѣлъ и похрапывалъ.

— Ты что-жь это, съ работы? спросилъ Еремѣй.

— Съ работы.

— Домой идешь?

— Домой.

— Гмъ!

Еремѣй устался въ лампочку и погрузился въ созерцаніе нагорѣвшей свѣтильни, а Тишку такъ и подмиывало сообщить радостное извѣстіе о своемъ громадномъ заработкѣ. Наконецъ, онъ

не выдержалъ и, что называется, „выпалилъ“, краснѣя и заминаясь:

— Дядя Еремѣй... я... я... сорокъ копеекъ заработалъ!..

— Ишь ты, удивился Еремѣй, — ужь больно что-то много!

— Много!.. Да что, сегодня посчастливилось! Извозчикъ одинъ знакомый такой-то пшеницы отсыпалъ!.. Сысочь отдѣльно рассчиталъ!.. Можетъ, и завтра тотъ извозчикъ попадетса.

— Ишь ты, повторилъ Еремѣй, — что-жь, Тишка, литки, что-ли?

При словѣ „литки“, Силантій поднялъ голову и глянулъ на говорившихъ; даже Карпъ пересталъ храпѣть и какъ-бы прислушивался. Тишка-же словно съ неба упалъ: онъ не рассчитывалъ, что дѣло приметъ такой оборотъ.

— Ну, ну, не бойса! успокоилъ его Еремѣй, видя, что Тишка готовъ начать ревѣть, — я такъ только... Небось, жаль стало денегъ? Матери несешь?

Тишка молчалъ, недовѣрчиво поглядывая на старика.

— Какія съ него литки, замѣтилъ Силантій, — ну его... Вотъ-бы взаимы у него взять! До завтра только!..

— До завтра только, вздохнулъ Еремѣй.

— Завтра въ третій номеръ за пачпортомъ пойдемъ, такъ отдадимъ, сказалъ Силантій.

— Вѣрно, отдадимъ, подтвердилъ Еремѣй.

— Что-жь, дядя Еремѣй, коли до завтра, такъ я вамъ повѣрю! съ апломбомъ заявилъ Тишка и горделивымъ взглядомъ обвелъ дворницкую.

— Ай-да молодець, Тиша, спасибо! Видишь-ли, выпить намъ смерть хочется, а не на что... Пропились, значить! признался Еремѣй.

Тишка уже вытащилъ свои два новенькіе двугривенные и положилъ ихъ на столъ. Видъ блестящихъ монетъ подѣйствовалъ на всѣхъ возбуждающимъ образомъ. На хмуромъ лицѣ Еремѣя появилась сладкая улыбка, Силантій всталъ, толкнулъ подъ-бокъ Карпа, и оба начали одѣвать поддевки.

Нѣсколько минутъ спустя, вся компанія, съ Тишкой въ хвостъ, входила въ ближайшую портерную.

Портерная была грязная, сыровато-теплая, угарная комната, съ какими-то буро-сѣрыми обрывками кисей на окнахъ, долженствовавшими изображать занавѣски, съ двумя-тремя горшками герани и номеромъ „Полицейскихъ Вѣдомостей“ на одномъ изъ столиковъ. За стойкой стояла толстая, мрачная женщина съ подвизанной щекой; въ углу, около топившейся чугунки, ползалъ худой, болѣзненный ребенокъ въ коротенькой, до нельзя засаленной рубашонкѣ. Пріятеля потребовали двѣ пары пива, Пиво налито было и Тишкѣ. Затѣмъ вся компанія пустилась въ бесѣду: толковали о своемъ житьѣ-бытьѣ, судили жильцовъ, критиковали сосѣдей по дому.

Отъ гомона, стоявшаго въ портерной, гдѣ помимо дворниковъ было еще нѣсколько человѣкъ посѣтителей, отъ клубовъ табачнаго дыма и ѣдкаго угара, синимъ чадомъ носившагося по комнатахъ, а больше всего отъ выпитаго стакана пива, Тишка началъ раскисать. Мало-по-малу онъ сталъ чувствовать, какъ что-то плотное, мягкое и теплое какъ-бы облегалo его тѣло, надавливало на голову, путало мысли и словно связывало языкъ. Онъ сидѣлъ въ углу на стулѣ, подлѣ окна съ геранью, и ему была видна вся портерная съ ея гостями. Въ синемъ чадѣ вырисовывались какія-то бородатые, обрюзглыя, полупьяныя лица, съ подносимыми ко рту стаканами; дымили носогрѣйки и папироски; кричали и спорили голоса; кто-то пѣлъ, кто-то въ тактъ пѣсни притопывалъ каблуками; тоскливо нылъ ребенокъ; хлопали пробки и булькало пиво.

И все, что совершалось теперь передъ глазами Тишки, проходило въ какомъ-то туманѣ, а между тѣмъ голова работала, глаза смотрѣли, силясь видѣть, Тишка старался что-то понять. А кругомъ все сильнѣе и сильнѣе кипитъ пьяная, кабацкая жизнь, завязываются задушевные, откровенные разговоры и во всѣхъ ихъ, нѣтъ-нѣтъ, да и проглянетъ что-то тоскливое, хватающее за душу.

— Нѣтъ, врешь, врешь, говорю, Миколай Иванычъ, слышится Тишкѣ изъ отдаленнаго угла, гдѣ засѣдаетъ группа полшубковъ, — такъ дѣлать не годится! Есть-ли на тебѣ крестъ? Крестъ-то есть-ли, говорю?

— Ого, раздается изъ толпы слушателей, — какъ ты его!..

— А что мнѣ?

— Извѣстно, что ему? Все равно, была не была!

— Да какъ-же, братцы!.. Годъ слишкомъ водить. Въ раззоръ раззорилъ, подлець! Что я теперь?.. Ну, что?!

— Нѣтъ, вотъ какъ я въ прошломъ году подрядчика нашего отчиталъ, такъ ужь отчиталъ! Будетъ меня помнить!

— Да чего съ ними канителиться! Позволь-ко ему, онъ тебя живьемъ съѣстъ!

— Съѣстъ, видитъ Богъ, съѣстъ!

— А ну ихъ! Наливай-ко, братъ!

Булькаетъ пиво, и, въ антрактѣ прекратившейся бесѣды, до ушей Тишки долетаютъ слова другой компаніи. Двѣ подозрительныя личности, наклонившись другъ къ другу и чуть-чуть не соприкасаясь носами, бесѣдуютъ сбоку Тишки вполголоса.

— Сашку, небось, знаешь?

— Знаю!

— Вотъ онъ и забрался вечеромъ, — дѣло осенью было, — въ Лѣсной... Калитку-то запереть забыли, а балконъ-то со стеклянной дверью... Развернулся, баць въ стекло! — въ дребезги...

— Ссс...

Разговоръ сталъ еще тише. чуть-чуть можно было улавливать отдѣльныя слова: „хоть-бы кто... ни-ни... смотреть — столовая... мебель фигурная... уголь-то и отлетѣлъ... съ двухъ ящиковъ поря-дочно серебра набралъ... да шубку дамскую...“

— Пей, Тиша, пей, голубчикъ, протягивается вдругъ къ Тишкѣ жилистая, мохнатая рука Еремѣя съ полнымъ стаканомъ пива.

Тишка оглядывается на своихъ и замѣчаетъ, что ихъ уже не четверо, а шестеро: рядомъ съ Еремѣемъ сидятъ двое земляковъ. Льется пиво, льется и задушевная бесѣда съ земляками. Одинъ Карпъ, успѣвшій сбѣгать въ дворницкую за гармоніей, не принимая участія въ разговорѣ, сидитъ задумчивый и выводитъ своимъ нѣжнымъ теноркомъ злодѣйски-задушевные трели:

Я вечеръ въ лу-у-ужа-хъ гуляла,

Гру-у-у-устъ хотѣла-а ра-а-а-зогнать...

— Пей-же, пей, Тиша, что приунылъ? приглашаетъ Еремѣй, продолжая тянуться со стаканомъ.

— Не могу!.. Не хочу я!.. отказывается Тишка, отдаваясь весь постепенно охватывающему его сладко-щемящему чувству

наслажденія „дивной гармоніей“. Эти звуки, кажется, онъ никогда не забудетъ! Онъ жадно упивается ими и ждетъ только, ждетъ съ нетерпѣніемъ чудодѣйственнаго колокольчика. А, вотъ онъ, наконецъ! „Клингъ-клингъ, клингъ-клингъ“, слышится его серебристое звяканье, и затѣмъ опять нѣжный тенорокъ:

Гру-у-у-усть хотѣла-а ра-а-а-а-зогнать...

— Да пей-же, чего куражишься! злится Ережѣй, расплескивая пиво.

Тишка отпиваетъ изъ стакана и снова устремляетъ все свое вниманіе на гармонію. А Карпъ уже играетъ другую пѣсню, и звуки изъ нѣжныхъ, минорныхъ переходятъ въ густые, басовые, разухабистые перекаты, словно и гармонія, и пѣвецъ уже не тѣ, и колокольчикъ не дѣлаетъ своихъ тоскливыхъ „клингъ, клингъ“, а дребезжитъ и заливается, какъ оглашенный.

Ахъ, ты, милая моя,

Я тебя потѣшу:

Сошью торбу и мѣшокъ,

На тебя повѣшу!..

какимъ-то рѣзкимъ, грубымъ голосомъ поетъ Карпъ, и куда дѣвалось выраженіе сосредоточенной грусти на его лицѣ? Во всю свою ширину улыбается оно теперь, доснится и багровѣетъ отъ прилива необузданной, безшабашной веселости, охватившей пѣвца. Притопывая въ тактъ ногой и потрясая кудрами, Карпъ насмѣшливо ослабляется кому-то въ пространство, будто эта *милая*, о которой онъ поетъ съ такой жгучей ироніей, сидитъ теперь передъ нимъ, и вотъ онъ, весело смѣясь и вапѣвая, надѣнетъ на нее эту торбу и пуститъ въ міръ, въ *кусочки*...

— Ахъ, ахъ, ахъ, подхватываютъ земляки пѣсню, неустово стуча ногами.

— Фю, фю, фю, свиститъ Силантіѣй, ёрзая на стулѣ отъ нетерпѣнія пуститься въ плясъ, и вдругъ порывисто сдергивается съ мѣста и вылетаетъ на середину. Въ ту-же минуту изъ отдаленнаго темнаго угла выскакиваетъ смѣшная фигура пропившагося субъекта, въ оборванномъ курткѣ и растерзанныхъ галошахъ на босую ногу, и принимается выплясывать передъ Силантіемъ. И все закружилось и завертѣлось передъ Тишкой въ какомъ-то безпорядочномъ хаосѣ. Вотъ мелькаетъ сизый, толстый носъ пропойцы и тутъ-же скуластое лицо Силантія, вотъ дрыгнула въ

воздухъ рука въ засаленномъ обшлагѣ, метнулась галоша и звучно шлепнулась кому-то на столъ... А кругомъ шумъ и хохоть, и крики, и брань, и визгъ ребенка, и туманъ, непроницаемый сизый туманъ...

И вдругъ, среди всей этой суматохи и тумана, Тишекъ послышалось знакомое имя. Моментально онъ какъ-бы пришелъ въ себя, прислушался... Еремѣй разговаривалъ съ землякомъ о его матери. Землякъ, совершенно пьяный, уставился глазами въ одну точку на залитомъ пивомъ столѣ и больше молчалъ, изрѣдка икая и утвердительно покачивая головой. А Еремѣй, все больше и больше воодушевляясь, рассказывалъ про Матрену Селиверстовну.

— Малець-то ея тутъ. Тоже не маленькій, понятіе имѣеть... И эдакая, можно сказать, пакость!

Онъ плюнулъ съ ожесточеніемъ и попалъ на сапогъ земляка.

— И тотъ тоже, еще бариномъ называется! Это если нашему брату, мужику, и то не годится. Мужъ-то ея въ солдатахъ...

— Оно то-чно, произнесъ собесѣдникъ, какъ-бы съ трудомъ выдавливая изъ себя слова, — а только это, что на счетъ его, значить, такъ оно... того... ты неправильно... Потому развѣ мы должны объ этомъ думать?

Онъ оторвался, наконецъ, отъ своей точки и глянулъ на Еремѣя мутнымъ, посоловѣлымъ взглядомъ, стараясь придать ему вопрошающее выраженіе.

— Одно только... развѣ это наше дѣло? Наше дѣло мужское... а онѣ, бабы, должны завсегда себя соблюдать, потому, примѣрно, скажемъ въ слову: родить!

— Да чего ужъ: родила!

— Ну!? (Землякъ торжественно посмотрѣлъ на Еремѣя, словно радуясь, что его предположеніе оправдалось.) То-то оно вотъ и есть!

— Ахъ, ты, Боже мой, Боже мой! заговорилъ Еремѣй. — И народъ-же нынче!.. Безстыжая, какъ есть безстыжая!.. Эхъ, Сеня! (Еремѣй подвинулся ближе, взялъ руку земляка, съ чувствомъ пожалъ ее и отбросилъ.) Эхъ, Сеня! Что говорить!.. Одному мнѣ только знать! (Онъ ударилъ себя кулакомъ въ грудь.) Тьфу, не стойтъ говорить! Да ничего! воодушевился онъ вдругъ, угрожающе

глядя въ пространство, какъ-бы видя передъ собой „безстыжую бабу“, — вотъ, погоди ужъ, подрастетъ мальченка... или, при-иѣрно, мужъ объявится...

— Потѣха! хихивнулъ собесѣдникъ, мысленно представляя себѣ тотъ скандалъ, который можетъ разыгратъ у чиновника, когда „мужъ объявится“.

— Эка, подумаешь, слава—любовница! брюзжалъ Еремѣй; — въ госпожи тоже норовить! Съ нами, мужиками, и не знается; пройдетъ мимо—носъ воротить. Мадамъ-бармоть! Кабы не Тишка, а-бы ей показаль! Мальченку жалко, потому онъ ровно сирота выходить.

— Это точно, что сирота, вздохнулъ землякъ.

— Ему тоже не сладко! Чиновникъ-то злющій-презлющій. Да! Ну, вотъ и жалко. Что ты будешь дѣлать!

И, преисполненный чувствомъ сожалѣнія, онъ налилъ стаканъ пива и потянулся къ внимательно слушавшему Тишкѣ.

— Выпей, Тиша, выпей, голубчикъ.

Тиша толкнулъ протягивавшуюся къ нему руку и отвернулся. Что-то странное произошло вдругъ съ нимъ; какъ-бы жгучимъ ощущеніемъ обиды прониклось все его существо. Его мать бранили, и бранили за то, что она *любовница*. Это слово ему случалось слышать нѣсколько разъ; онъ зналъ его значеніе, но онъ никакъ и подумать не могъ, что оно могло относиться и къ его матери. Онъ видѣлъ, что она стирала, шила, видѣлъ, что Степанъ Петровичъ относился къ ней всегда, какъ къ прислугѣ, приказывалъ, иногда покрикивалъ на нее, и никогда, никогда до сихъ поръ онъ не замѣтилъ ничего такого, изъ-за чего можно-бы было назвать ее любовницей. Зачѣмъ-же Еремѣй вретъ, зачѣмъ онъ, наконецъ, его сожалѣть, обидно сожалѣть? „Мальченку жалъ!“ Что онъ ему такое? Какъ-же онъ смѣетъ, какъ онъ смѣетъ только?..

И, возмущенный до глубины души поступкомъ Еремѣя, онъ крикнулъ ему:

— Врешь ты, мамка не любовница!

— Ахъ!.. вскрикнулъ было Еремѣй и вдругъ затихъ, опустилъ голову и отвернулся, но за то земляка чрезвычайно разсмѣшило восклицаніе Тишки.

— Ого-го! такъ и покатился онъ.— Эхъ ты шишъ, много ты понимаешь!

— Я не шишъ! еще громче крикнулъ Тишка.

О, какъ-же онъ возненавидѣлъ этого рыжаго дурака съ его красной, пьяной рожей! Пусть только онъ выростетъ большой да встрѣтится съ нимъ гдѣ ни на есть, ужъ онъ припомнить ему обиду!.. Не онъ будетъ, если только не припомнить и ему, и Еремѣю!

Между тѣмъ восклицаніе Тишки вызвало среди гостей всеобщій дружный хохоть. Это окончательно обезкуражило его. Готовый разревѣться, съ судорожно-подергивавшимися губами, онъ сползъ со стула и, ни на кого не глядя, не отвѣчая на удерживанія Еремѣя, выпелъ изъ портерной.

IV.

Глухая улица спала. Прохожихъ почти не было вовсе. Бросая скудныя полоски свѣта, чуть-чуть мерцали немногіе масляные фонари; издали слабо доносились трещетки дворниковъ, да гдѣ-то, ужъ совсѣмъ далеко, лѣниво лаяли собаки. Тишка дошелъ до самаго дома, но не захотѣлъ идти къ матери, сѣлъ на тумбу и снялъ шапку.

Голова его пылала; въ ней происходила какая-то путаница. Въ ушахъ словно еще дребезжалъ колокольчикъ и всхлипывала гармонія; въ глаза назойливо лѣзла фигура земляка; мелькали лица дворниковъ; припоминались отрывками разговоры въ портерной и ко всему этому почему-то примѣшивалось воспоминаніе о томъ, какъ билъ его прикащикъ. И все-таки, помимо всего этого, возставало еще что-то такое, что-то главное, важное, что болѣзненно сжимало душу и вызывало слезы на глаза... И это-то главное Тишка никакъ не могъ постичь, никакъ, несмотря на всѣ свои усилія, не могъ объяснить себѣ. Пытаясь разгадать смыслъ того, что говорилъ Еремѣй, путаясь и теряя поминутно нить соображеній, Тишка почувствовалъ, какъ незамѣтно, мало-по-малу стало заползать въ его душу чувство какой-то холодной злобы къ матери. „Еремѣй не вретъ,— думалось Тишкѣ, — онъ любить, жалѣетъ меня. А вотъ почему онъ сказалъ, что я сирота? Да развѣ мамка—не моя мамка? Зачѣмъ-же она меня лю-

бить? „Тишенькой“, „соколикомъ яснымъ“... „дитятвой“ своимъ называется? А Еремѣй говорить, что я сирота! Любовница, говорить, чиновникова любовница! Вреть, вреть онъ все, пьяный напился! А* можетъ, и не вреть, можетъ, это правда, все правда!“

И мучительная работа шла въ его отуманенной головѣ. Мысли бѣжали, чередуясь одна съ другою...

„Да чего ужь, родилѣ!“ припомнилась ему вдругъ цѣликомъ фраза Еремѣя, и тотчасъ-же передъ глазами его возсталъ образъ брата Степы. „Да развѣ онъ братъ мнѣ?“ возникло опять новое сомнѣніе. „Онъ сынъ Степана Петровича, а не тятки. Такъ гдѣ же тятка-то мой?“

И съ новыми мучительными потугами Тишка силился припомнить отца, но не выходило ничего, кромѣ смутной, неясной, какъ давнишней, полузабытый сонъ, картины: покосившаяся, ветхая избенка съ пучками развѣвающейся соломы на крышѣ, лѣстница съ поломанными ступеньками, крошечныя сѣнцы, полуразвалившаяся, закоптѣлая печь, щелеватый полъ, широкія лавки и на одной изъ нихъ фигура спящаго тяжелымъ, пьянымъ сномъ солдата... Волосы его гладко острижены; короткіе, черные усы оттопырились, ротъ полураскрытъ и въ углубъ губъ бродитъ назойливая муха; воротъ рубахи разстегнутъ и виднѣется край смуглой, мохнатой груди; жилистыя руки свѣсились съ лавки, и одна нога въ высокомъ, стоптанномъ сапогѣ съ подкованнымъ каблучкомъ тоже свѣсилась и почти касается пола... Это отецъ... Тишеѣ помнится, что онъ его какъ-будто разъ только и видѣлъ, и то спящимъ.

Тогда былъ теплый лѣтній вечеръ. Тишка только-что прибѣжалъ съ задворковъ и, удивленный присутствіемъ чужого чело-вѣка, спросилъ о немъ у матери. Мать назвала его отцомъ и наказала быть тише. Они поужинали вдвоемъ и легли спать, а на утро, когда Тишка проснулся, солнце ярко глядѣло въ низенькое оконце, воробьи щебетали... Отца уже не было. И тогда не было Степы, а Степу онъ увидѣлъ ужь потомъ, когда пріѣхалъ съ теткой изъ деревни и сидѣлъ въ кухнѣ, а за занавѣской плакалъ маленькій ребенокъ, котораго мать называетъ его братомъ. Да какой-же онъ ему братъ, когда онъ родился отъ Степана Петровича? Такъ вотъ она какая, мамка! „Безстыжая!“ Да, да, она скверная, безстыжая, гадкая! Какъ она смѣетъ ла-

свать Тишку, называть его дорогимъ дитяткой, соволикомъ яснымъ, когда у ней есть и Степка? Пусть съ нимъ и нянчится, пусть его называетъ, какъ хочетъ. Тишка вовсе не ея сынъ; онъ сынъ того солдата, что спалъ на лавкѣ. Вотъ пусть только тотъ придетъ (о, онъ непременно придетъ!) Тишка все, все ему расскажетъ и уйдетъ съ нимъ, непременно уйдетъ, не останется съ нею, пусть у ней Степка... А они съ тяткой уйдутъ совсѣмъ, совсѣмъ уйдутъ. И Тишка пойдетъ съ тяткой въ походъ, сдѣлается тоже солдатомъ, будетъ воевать, много, много турокъ убьетъ, сто человекъ убьетъ, и ему дадутъ на грудь медаль, все равно какъ у Федосѣича, который амбары караулитъ. И потомъ Тишка сдѣлается старый-престарый, тоже будетъ караулить амбары и курить трубку, а извозчики будутъ подчивать его въ трактирѣ и давать деньги. А мамку не нужно, совсѣмъ не нужно, и онъ никогда, никогда къ ней не придетъ!..

Однако, онъ всталъ и пошелъ домой лѣнвивымъ, нарочно замедленнымъ шагомъ. Вѣдь онъ только зайдетъ, посмотритъ („мужъ объявится“, мелькнуло у него въ головѣ), а если ему мамка скажетъ что, то онъ и уйдетъ. Но мать ничего ему не сказала, а только погрозила пальцемъ, чтобы онъ былъ тише. Онъ слышалъ, какъ изъ спальни доносился храпъ Степана Петровича, и подумалъ, что мать остерегла его, чтобы онъ не разбудилъ того, но мать указала ему на занавѣску. Тишка подошелъ на цыпочкахъ, отдернулъ занавѣску и... о, восторгъ! увидѣлъ отца, который спалъ, отвернувшись лицомъ къ стѣнѣ. Тишка хотѣлъ броситься къ нему, обвить руками...

— Эй, мальчикъ, мальчикъ!..

Тишка раскрылъ глаза и увидѣлъ себя сползшимъ съ тумбы и сидящимъ на тротуарѣ. Прямо надъ нимъ стоялъ солдатъ, закутанный въ башлыкъ, изъ-подъ котораго торчали только черные усы.

— Заснулъ? Экой ты, братецъ! Гдѣ живешь-то?

— Въ этомъ домѣ, отвѣтилъ Тишка, вглядываясь въ солдата.

— Гмъ! У кого-же ты живешь?

— У мамки.

Тишка все пристальнѣе и пристальнѣе всматривался въ солдата. Сладкое предчувствіе неожиданно-хорошаго возникало въ

немъ. Но солдатъ былъ очень высокаго роста и изъ-за башлыка трудно было разглядѣть черты лица.

— Зачѣмъ-же ты тутъ заснулъ?

— Я сѣлъ на тумбу и заснулъ.

Солдатъ засмѣялся и, пошаривъ въ карманъ шинели, вынулъ мѣдную монету.

— На вотъ тебѣ на булку!

Онъ всунулъ Тишкѣ въ руку монету и пошелъ.

— Тятка, тятка! винулся за нимъ Тишка, но солдатъ повернулъ въ улицу и скрылся. Тишка пробѣжалъ нѣсколько саженей и остановился, весь въ поту, едва переводя духъ. Солдата нигдѣ не было.

Солдата нигдѣ не было. Тишка пробѣжалъ еще раза три, возвращался назадъ, заглядывалъ во дворы, — напрасно!

Разочарованный, унылый, словно разбитый, пришелъ онъ домой.

— Гдѣ ты былъ, Тиша? встрѣтила его мать.

Тишка молчалъ.

— Что ты это какой, Тишенька, встревожилась она, — ужь не боленъ-ли?

— Ничего, буркнулъ Тишка, раздѣваясь.

— Ноги не промочилъ-ли? Ишь сапожонки-то... Да гдѣ-же ты это былъ, Тиша? Смотри-ка, ужь десять часовъ скоро!..

Тишка все молчалъ. Но мать растревожилась не на шутку.

— Да что-жь это, Тиша, ты и сказать ужь не хочешь! заговорила она обидчивымъ тономъ.

— У дворниковъ былъ.

— Что-жь ты тамъ дѣлалъ?

— Сидѣлъ.

— Ай, ай, ай, Тишенька, укоризненно покачала головой Матрена Селиверстовна, — у дворниковъ просидѣть столько времени!.. И что за сласть тамъ у дворниковъ? Поди, пьяные они всѣ! А ужь я ждала, ждала своего Тишеньку! Думаю, Господи, не случилось-ли что съ нимъ, не задавили-ли, не обидѣли-ли на улицѣ?..

Она сидѣла теперъ подлѣ его койки, на табуретѣ, и съ любовью перебирала его мягкіе, шелковистые волосы. Тишка лежалъ

молча и упорно смотрѣлъ въ стѣну. Какія мысли роились въ его дѣтской головѣ, какія чувства волновали его душу?..

Часы пробили одиннадцать. Мать встала, потушила огонь, раздѣлась и стала усердно молиться на выглядывавшую изъ темнаго угла своей ярко-вычищенной ризой старинную икону Божьей Матери. Помолившись, она поправила ночникъ и, зайдя за занавѣску, улеглась.

Наступили томительная ночная тишина и полумракъ. Ночникъ слабо мигалъ, бросая по закоптѣлому потолку громадныя тѣни отъ стоявшихъ на полкѣ вострюль... Изъ спальни доносился жѣрный храпъ Степана Петровича. Гдѣ-то въ углу скребла мышь.

И среди наступившей тишины вдругъ послышался тихій, вопрошающій шепотъ:

— Мамка, а, мамка?

— Что, Тишенька?

— Ты спишь?

— Только засыпать стала.

— Слушай-ка, что я тебѣ сказать хочу... Есть у насъ тятка?

— Какъ-же, Тишенька, есть. А что?

— А гдѣ онъ?

— Въ солдатахъ, Тишенька, въ солдатахъ. Охъ-хо-хо!

— А онъ добрый?

— Добрый.

— Съ черными усами?.. Высокій?

— Что это тебѣ вздумалось, Тишенька? Что ты разспрашиваешь?

— Я его видѣлъ, восторженно зашепталъ Тишка и сѣлъ на своемъ сѣнникѣ, сложивъ ноги калачикомъ.

— Гдѣ? Что ты, Тишенька, Господь съ тобой, во снѣ нешто?

— Нѣтъ, не во снѣ! А знаешь, я тамъ на улицѣ заснулъ, а солдатъ меня разбудилъ. Высокій-превысокій, усы черные. Онъ спросилъ, гдѣ я живу, и на булку мнѣ далъ, вотъ! Потомъ онъ ушелъ, а я за нимъ побѣжалъ, долго бѣжалъ, кричалъ: „тятъза, а, тятка“, а онъ такъ и не слышалъ и ушелъ. Я знаю, мамка, это тятка былъ, убѣжденнымъ тономъ закончилъ Тишка, все продолжая сидѣть и смотрѣть вызывающимъ взглядомъ на занавѣску.

— Нѣтъ, Тишенька, послышалось оттуда, — ты заснулъ, да во снѣ и увидѣлъ. Татенька тутъ нѣтъ, татенька съ полкомъ ушелъ, далеко, охъ какъ далеко, въ самую туретчину. И вѣсточка о себѣ вотъ ужъ сколько времени не даетъ! Писалъ разъ, а теперь и не пишетъ, и невѣдомо, живъ или померъ!

И тотчасъ-же припомнились Матренѣ Селиверстовнѣ рассказы знакомыхъ бабъ, получавшихъ отъ мужей письма съ войны... „Морозы-то тамъ теперь страсть какіе! И мерзнутъ, и голодаютъ солдатики, потому все горы кругомъ высокія-превысокія, лѣса страшные, а жилья-то нѣтъ... А турки-то эти самые злые-презлые, мучительски мучаютъ нашихъ, издѣваются“.

Разыгралась фантазія Матрены Селиверстовны, и представилось ей, что стоитъ ея Иванъ Семеновичъ на горѣ, въ караулѣ; снѣгомъ его заноситъ, глаза слѣпнуть, ноги знобить, а сзади на него турка бритый лѣзетъ, саблей замахивается.

Раздумье взяло бабу... „Можетъ, и въ живыхъ ужъ давно нѣтъ Ивана Семеновича. Въ сырую могилушку положила спать пуля турецкая, сабля острая. Бросили въ яму, да и зарыли безъ христіанскаго погребенія... Вотъ душенька-то его теперь и ходитъ, роднымъ показывается, проситъ, чтобы отпѣли по-христіански. Откуда было Тишкѣ видѣть? Ужъ, надо быть, душа Ивана Семеновича приходила... Вотъ еѣ ней, небось, не приходитъ, потому грѣшна она, охъ какъ грѣшна. А младенцу и явилась, потому онъ ангелъ еще; какъ помретъ, его душа прямо къ Господу...“

И объятая суевѣрнымъ страхомъ, Матрена Селиверстовна тутъ-же положила отслужить по мужѣ панихиду и теперь помолиться за него. Она встала и вдругъ услышала, какъ упала и покати-лась мѣдная монета. Тихонько вышла она за занавѣску, — монета подкатилась къ ея ногамъ. Она нагнулась и подняла: это были двѣ копейки стараго, николаевскаго чекана. Матрена Селиверстовна посмотрѣла на Тишку; онъ лежалъ ничкомъ, уткнувшись головой въ подушку и подобравъ подъ себя ноги, точно стоя на колѣняхъ. Лѣвая рука была поджата подъ грудь, правая, въ которой онъ, очевидно, держалъ монету, свѣсилась съ сѣнника.

Долго стояла надъ нимъ Матрена Селиверстовна и все покачивала головой.

— Сирота, сирота, утерла она рукавомъ набѣжавшія слезы, —

и думать нечего! Вонъ и спать такъ. Правду люди говорятъ: коли дѣти ничкомъ начнутъ спать, сироты будутъ! Непусти Господи!

И взглядъ ея поднялся на икону, а губы зашептали молитву.

V.

Съ недѣлю Тишка проходилъ какъ въ чадѣ. На улицѣ-ли, на работѣ-ли, утромъ иди къ владовымъ и вечеромъ возвращаясь домой, въ каждомъ, проходившемъ мимо него, солдатъ онъ готовъ былъ признать отца, осматривалъ его, забѣгалъ впередъ, заглядывалъ въ лицо. Но все было напрасно! Тотъ солдатъ, котораго разыскивалъ Тишка, явился ему, какъ призракъ, и, какъ призракъ-же, исчезъ.

Тогда словно какое-то отчаяніе напало на Тишку. Онъ бросился отыскивать отца и рѣже сталъ ходить на работу, иногда по цѣлымъ днямъ просиживая у дворниковъ, съ которыми возобновилъ дружбу. И, странное дѣло, онъ уже не возмущался теперь ихъ отзывами о матери; напротивъ, онъ какъ-будто съ злорадствомъ, нарочно, вызывалъ ихъ на это, поддавая и прибавляя отъ себя подробности, которыя онъ не зналъ и долженъ былъ выдумывать. А какъ ему хотѣлось знать все, все до капельки! Стараясь не подать вида, спокойный по наружности и подчасъ даже ласковый, онъ зорко и страстно слѣдилъ за отношеніями матери къ Степану Петровичу, ловилъ ихъ слова, мимоленные взгляды, подмѣчалъ интонацію ихъ голосовъ. Неосторожные родители, нѣжничающіе при дѣтяхъ, не знаютъ, какой страшный, неотразимый вредъ приносятъ они имъ, какія, хотя и смутныя, но возмущающія и отравляющія дѣтскую душу, чувства возбуждаютъ они въ нихъ!

Степанъ Петровичъ былъ остороженъ, но кое-что, конечно, не могло укрыться отъ наблюдательнаго ребенка, хотя всѣ факты, добытые труднымъ путемъ выслѣживанія и подсматриванія, сами по себѣ оказывались ничтожными. Одно обстоятельство обратило на себя особенное вниманіе Тишки, это—довольно частое хожденіе матери въ кабинетъ. Тишку крайне занималъ вопросъ: что ей тамъ нужно, что она тамъ дѣлаетъ? Однажды онъ улучилъ удобную минуту, замѣтилъ, когда мать вошла въ кабинетъ, и припалъ

жадными глазами къ замочной скважинѣ. Долго смотрѣлъ онъ, не видя ни матери, ни Степана Петровича, но вотъ вдругъ мелькнулъ передъ его глазами бухарскій халатъ... Тишка оторопѣлъ и не успѣлъ отскочить отъ двери, какъ она распахнулась, и передъ нимъ предстала во весь ростъ гнѣвная фигура Степана Петровича. Мгновенно мощные пальцы Крышкина схватили Тишку за ухо и принялись его мять и вытягивать.

— Ага, подглядывать! зашипѣлъ Степанъ Петровичъ, — шпионить! Соглядатаемъ сдѣлался! Вотъ тебѣ, шпионъ, вотъ тебѣ, соглядатай! Вотъ тебѣ, вотъ тебѣ!..

Скорѣе отъ безсильной злобы, чѣмъ отъ боли, Тишка кричалъ на всю квартиру. На шумъ прибѣжала Матрена Селиверстовна и не безъ труда вырвала его изъ рукъ Крышкина.

— Ахъ, Тишенька, Тишенька, попеняла она сыну, — зачѣмъ ты это, нешто не знаешь его?.. Вѣдь чистый звѣрь, прости Господи! Нешто можно такъ бить ребенка?.. На кренделекъ, на, голубчикъ, пожуи да посиди тамъ за занавѣсочкой, дай ему ухотиться! Ишь растопоршился, крапивное сѣмя!

Послѣднее было сказано на столько громко, что Степанъ Петровичъ, вѣроятно, слышалъ, потому что хлопнулъ дверью и не выходилъ изъ кабинета цѣлый вечеръ.

Злоба душила его. Онъ сидѣлъ и грызъ ногти, проклиная тотъ часъ, когда онъ позволилъ Тишкѣ поселиться у себя.

— Только этого не доставало, чтобъ быть подъ надзоромъ въ своей собственной квартирѣ! думалось ему. — И подъ чьимъ надзоромъ? Дрянного мальчугана! Извольте радоваться! Нѣтъ, я прикончу это! У меня скоро! Маршъ въ деревню, и вся недолга! А нѣтъ, — въ ученье. Пора ужъ!

А Матрена Селиверстовна гладила въ это время Тишку по головѣ и совала ему въ руки крендель. Но Тишка кренделя не взялъ, чувствуя къ матери почти такую-же злобу, какую питалъ къ чиновнику.

— Ишь ты, шепталъ онъ, сидя за занавѣской, сжимая кулаки и грозя ими въ пространство, — тоже ругаетъ, а отчего не уйдетъ отъ него? Все хитрости одиѣ! Думаютъ, я не знаю! Я все, все знаю. Я буду подсматривать, всегда буду! На зло имъ буду! А бить будутъ, убѣгу!

На другой день послѣ работъ, сметчики пошли въ трактиръ на „дѣлежку“. По окончаніи дѣлежки, вмѣсто того, чтобы слѣзть домой, какъ это всегда было раньше, Тишка остался въ трактирѣ вмѣстѣ съ Кузькой, непринимавшимъ участія въ билиардной игрѣ.

Подъ оживленный говоръ игроковъ, стукъ шаровъ и заунывные звуки „машины“, Тишкѣ пришла мысль раскрыть Кузькѣ тайну своей жизни, излить передъ нимъ свое горе, услышать слово участія и совѣта.

Между сметчиками, Прожженный слылъ за бойкаго, смышленнаго малаго, недававшего при случаѣ спуска большимъ и умѣвшимъ выпутаться изъ какихъ угодно затруднительныхъ обстоятельствъ.

Чтобы нѣсколько расположить Прожженаго въ свою пользу, Тишка предложилъ угостить его рюмкой водки. Кузька не отказался.

И вотъ рюмка водки принесена и выпита; Кузька развалился на стулѣ въ небрежной позѣ сознающаго собственное превосходство человѣка и нещадно дымитъ папирской, тихонько покашливая въ руку. Изрѣдка только сквозъ пускаемые имъ густые клубы дыма выяснятся худое, испитое лицо, носикъ пуговицей и маленькіе, бѣгающіе, какъ мыши, желто-сѣрые, злые глазки, а затѣмъ все опять скрыто подъ непроницаемой завѣсой табачнаго дыма.

И, среди несмолкаемаго говора и бѣготни замасленныхъ половыхъ, ведется между ними тихая бесѣда.

— Такъ за ухо отодралъ?

— Да, отодралъ, сознается Тишка съ искренностью непосредственнаго человѣка.

— И больно было? слышится въ вопросѣ злорадная нотка.

— Больно.

— Что-же ты?

— Я... плакалъ! признается непосредственный человѣкъ.

— Ну, и дуракъ! вырывается изъ-за клуба табачнаго дыма, и между собесѣдниками наступаетъ молчаніе.

...Тррр... тамъ, тамъ... трр... тамъ“... слышится дребезжанье „машины“, въ которую, ради пришедшаго выпить бутылку пива „господина“, услужливый половой всунулъ испорченный валъ изъ „Робеспьера“.

А между собесѣдниками уже идетъ какое-то таинственное совѣщаніе.

— Знаешь, Тишка, что-бы ему сдѣлать! искряться и бѣгать злые глазки.

— Что?

— А вотъ что! Подкараулить, когда онъ вечеромъ будетъ уходить, да и протануть по лѣстницѣ веревку. Онъ пойдетъ, въ темнотѣ-то не замѣтитъ веревки, да и чебурахнется, и больно, больно убьется!

— Хорошо-бы это... Только онъ никуда не уходитъ. По вечерамъ все дома сидитъ. А вотъ что, Кузьма, если-бъ онъ померъ?

— Какъ померъ?

— Такъ, померъ-бы совсѣмъ.

— Это лучше, правда! А что, Тишка, много у него денегъ?

— Много, братъ!

— Ты видѣлъ? такъ и искряться, такъ и бѣгаютъ съ предмета на предметъ злые глазки.

— Видѣлъ! У него одежды много! Картины есть.

...Не бѣлые снѣжки во полѣ забѣлѣлись. .

хрипло стонетъ машина, а мальчуганы сидятъ близко-близко другъ къ другу и шепотомъ ведутъ странный разговоръ.

— Ты одинъ не можешь, шепчутъ злые глазки, все упорнѣе и упорнѣе впиваясь въ лицо собесѣдника, — гдѣ тебѣ! А ты со мною... Когда онъ помретъ, ты проберись къ нему въ комнату...

— Я боюсь покойниковъ, шепчетъ, весь дрожа, собесѣдникъ.

Злые глазки задумываются. Они тоже боятся покойниковъ, но зачѣмъ-же сознаваться въ такомъ малодушествѣ? Пустяки! Нужно приободриться, показать, что злые глазки ровно ничего не боятся!

— Эхъ ты, чего его бояться, мертваго? Небось, ужъ не встанетъ, храбро заявляютъ они, — а ты въ комнату проберись, да въ ящикъ посмотри. А когда найдешь деньги, спрячь подъ постель, а поутру и приноси на пристань въ мѣшкѣ, чтобъ никто не замѣтилъ. Деньги мнѣ отдай, я ихъ спрячу, я мѣсто знаю подъ бревнами, отличное мѣсто. Ужъ никто не найдетъ!..

— А ты мнѣ не отдашь потомъ?

— Половину отдамъ, а половину себѣ возьму.

— Ну, ладно! Я еще шапку его возьму. Хо-ро-шая шапка! А потомъ я уѣду въ деревню; мы тамъ богачами будемъ жать съ

мажкой. Ты прїѣзжай къ намъ, у насъ хорошо! Озеро большущее-большущее и рыбы много разной.

— А что мы купимъ?

— Лошадь.

— Какую?

— Черную.

— Сѣрю лучше.

— И сѣрю тоже.

— Знаешь что, Тишка?

— Что?

— Мы сдѣлаемся разбойниками. Лихо, братъ, будетъ! Я книжку такую купилъ, „Атаманъ“ называется. Какъ онъ въ лѣсу жилъ, на сѣрой лошади ѣздилъ, да все въ шелковомъ, да въ золотомъ платьѣ ходилъ...

...Лучина моя лучинушка...

стонеть машина, а „будущіе разбойники“ все сидятъ близко другъ къ другу, все таинственно шепчутся:

— А если таракана?

— Увидитъ.

— А мыло?

— Только рвать будетъ. Я проглотилъ разъ, балуясь; думалъ смерть,—вырвало только.

— Что-бы такое, Кузя?

— А вотъ, погоди, придумаемъ. Пойдемъ на канаву. По дорогѣ что-нибудь да придумаемъ.

VI.

Мертвая тишина въ квартирѣ Степана Петровича. Степанъ Петровичъ только-что проводилъ Подстругалова и заперся въ спальнѣ. Одинадцатый часъ вечера. На кухнѣ тоже тихо. Матрена Селиверстовна уложила Степу, прибралась съ посудой, даже немного пошла что-то себѣ и, помолвившись, легла спать. Она даже не подошла къ Тишкѣ, чтобы посмотрѣть, спитъ ли онъ? Въ послѣднемъ она была вполне увѣрена, такъ-какъ Тиша, какъ-только пришелъ, сейчасъ-же легъ и ужинать даже не захотѣлъ. Но Тишка не спалъ все время и лежалъ съ открытыми глазами, закрывая ихъ на минуту, когда ему казалось, что

мать вздумает подойти къ нему. Онъ лежалъ и думалъ, весь отдавшись впечатлѣніямъ бесѣды съ Кузьмой. И чѣмъ дальше, тѣмъ больше разигрывалось его воображеніе, и вотъ, наконецъ, цѣлый рядъ фантастически-причудливыхъ картинъ замелькалъ передъ его глазами.

Чудится ему, что за стѣнкой, тамъ, въ кабинетѣ, оттого такъ страшно тихо, что тамъ лежитъ покойникъ, Степанъ Петровичъ. Онъ ужасно похожъ на единственнаго покойника, видѣннаго Тишкой въ деревнѣ: лицо худое-прехудое, бѣлое, какъ бумага, губы сжаты, брови нависли на провалившіеся, полуоткрытые, стекловидные глаза.

Жутко становится Тишкѣ. Затаивъ дыханіе, не шевелясь, не смѣя моргнуть глазомъ, прислушивается онъ къ малѣйшему шороху, малѣйшему звуку.

„Да развѣ онъ померъ, развѣ онъ померъ“? шевелится въ головѣ тревожно-робкій вопросъ. „Какже“! отвѣчаетъ что-то, словно скрывающееся въ этой томительно-мертвенной тишинѣ, „его ужъ на погостъ свезли и похоронили, и никто, ровно никто ничего не зналъ“...

„Да неправда, неправда“! шевелится опять въ головѣ. Тишка напрягаетъ слухъ, прислушивается и уловляетъ мѣрное дыханіе Степана Петровича. И тотчасъ-же представленіе о покойникѣ исчезаетъ, а передъ глазами уже другая картина...

Дремуцій лѣсъ, а въ лѣсу изба. Въ избѣ сидитъ Тишка въ шапкѣ Степана Петровича, а противъ него мать. Она въ шелковомъ платьѣ и платкѣ, совсѣмъ какъ есть барыня. Только зачѣмъ-же это все тараканы кругомъ? И сколько ихъ, просто страсть! Такіе большіе-большіе, усами шевелятъ и все ползутъ, все ползутъ, все ихъ больше да больше накапливается, кажется, скоро всю комнату наполнять! „Вотъ татка придетъ, онъ ихъ прогонитъ“, страшаетъ Тишка таракановъ, а самого лихорадка бьетъ, холодный потъ выступилъ, потому что тараканы на него ползали, лѣзутъ все выше и выше, вотъ ужъ и до головы добрались, глаза хотятъ выѣсть. Тишка сбрасываетъ таракановъ, топчетъ ихъ, а они все лѣзутъ, все лѣзутъ, и ужъ не въ мочу ему съ ними бороться, силы ослабѣли, въ ужасѣ бѣгаетъ онъ по комнатѣ, кричить, прячется...

На утро онъ всталъ очень поздно, долго провозился съ одѣваньемъ и кончилъ все-таки тѣмъ, что не пошелъ на пристань, а, какъ былъ, въ платѣ и сапогахъ—завалился опять. Мать съ участіемъ подошла къ нему, тронула его за голову; онъ съ нескрываемой ненавистью оттолкнулъ ея руку и повернулся лицомъ къ стѣнѣ. Такъ прошелъ цѣлый день. Къ вечеру у него сдѣлался жаръ. Матрена Селиверстовна перепугалась, сбѣгала въ лавку за бузинымъ цвѣтомъ и стала его поить. На утро ему стало лучше, но Матрена Селиверстовна на пристань все-таки не пустила его. Тишка какъ-будто былъ очень доволенъ этимъ. Онъ теперь по нѣсколькимъ часамъ высиживалъ въ своемъ темномъ углу, что-то дѣлая втихомолку и старательно скрывая отъ матери и Степана Петровича. Впрочемъ, послѣдній рѣдко появлялся теперь въ кухнѣ. Онъ все еще продолжалъ дуться на Матрену Селиверстовну за „крапивное сѣмя“, придирался ко всякой мелочи, брюзжалъ и фыркалъ. Матрена Селиверстовна больше отмалчивалась, но очевидно было, что между обоними пробѣжала черная кошка.

Разъ какъ-то Степанъ Петровичъ пришелъ со службъ въ хорошемъ расположеніи духа и тихонько заглянулъ въ кухню, съ цѣлью посмотрѣть сына. Степа сидѣлъ на кровати съ игрушкой, Тишка подлѣ, на табуретѣ, весь погруженный въ растираніе чего-то въ помадной банкѣ.

— Что это у тебя? спросилъ Крышкинъ.

Тишка вздрогнулъ и инстинктивно спряталъ банку за спину.

— Покажи-ка сюда!

Тишка продолжалъ держать банку за спиной.

— Покажи, я тебѣ говорю!

Тишка упорно пряталъ банку. Руки его дрожали, лицо то блѣднѣло, то краснѣло, губы нервночески подергивались; онъ готовъ былъ разревѣться.

Степанъ Петровичъ взялъ его за руку, отнял банку, понюхалъ, сдѣлалъ гримасу и покачалъ головой. Пахло керосиномъ и еще какой-то дрянью. Въ банкѣ была какая-то масса, вродѣ помады или спуска.

— Зачѣмъ тебѣ это? спросилъ онъ.

— Такъ, чуть слышно отвѣчалъ Тишка.

— Какъ такъ? Зачѣмъ, я тебя спрашиваю? Что ты будешь дѣлать съ этой дрянью?

Тишка молчалъ.

— Все баловство одно въ головѣ! Смотри, чтобъ этой пачкотни я больше не видѣлъ! Еще какъ-нибудь ребенку попадетъ!

Онъ подошелъ къ окну, отеръ форточку и выкинулъ банку на дворъ.

Въ эту минуту въ кухню вошла Матрена Селиверстовна.

— Я-бы посоветовалъ хорошенько присматривать за твоимъ балбесомъ, замѣтилъ онъ ей съ нѣкоторой ядовитостью въ тонѣ, — онъ тутъ пакость какую-то растираетъ, того и гляди ребенка съ-дуру окормить.

— Что такое? Что такое? встревожилась Матрена Селиверстовна.

— Гадость какая-то! Я за окно выкинулъ.

На другой день была субота. Матрена Селиверстовна съ утра принялась за чистку мѣдной посуды и расположилась на полу со стѣлянкой кислоты и разными другими снадобьями. Тишка сидѣлъ тутъ-же, со Степой на рукахъ, и смотрѣлъ.

— Отчего это, мамка, кострюля такая чистая, свѣтлая стала, когда ты вонъ той суконкой провела?

— На суконкѣ кислота была, вотъ она и выѣла грязь-то, отвѣчала мать.

— А развѣ кислота выѣдаетъ?

— Какже, она вѣдь крѣпкая. Избави Боже, если опарапашь палець, да попадетъ, — разболится.

— А если ее выпить?

— Вотъ дурачекъ-то, выпить! Нешто можно?

— А что будетъ?

— Что будетъ? Помрешь, извѣстно.

— Такъ сразу и помрешь?

— А какже? Вѣдь она ѣдкая. Все нутро выѣстъ, ну и копецъ. Ты смотри, Тишенька, никогда не трогай!

Тишка ничего не сказалъ, но высмотрѣлъ и запомнилъ мѣсто, куда пряталась стѣянка съ кислотой.

Варшавичъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

ЮМОРИСТЪ ФРИЦЪ РЕЙТЕРЪ.

Въ ноябрѣ 1853 года, въ маленькомъ мекленбургскомъ городкѣ Ней-Бранденбургѣ, появилась въ печати книжка стихотвореній, въ предисловіи къ которой начинающій авторъ говорилъ, между прочимъ, слѣдующее: „мои стихи появляются въ свѣтъ не какъ дѣти знатныхъ людей—съ маленькими ушами и аристократическими ручками, стройной таліей и нѣжнымъ цвѣтомъ лица,—которыя всюду находятъ любезный пріемъ и благодарятъ за него въ изысканныхъ, отборныхъ выраженіяхъ. Нѣтъ! Это сборище уличныхъ мальчишекъ, въ грубомъ здоровьѣ весело кувыркаящихся другъ черезъ друга, не заботясь объ эстетическихъ положеніяхъ, со смѣющимися глазами, дозволяющихъ себѣ иногда шутку надъ людскою глупостью. Мѣсто ихъ забавъ не лощенный паркетъ какого-нибудь княжескаго салона, не поражающій яркими красками коверъ элегантнаго будуара; ихъ мірокъ — базарная площадь, пыльная дорога жизни; тамъ они толкаются, гоняются другъ за другомъ, наступаютъ на ноги прохожимъ, подшучиваютъ надъ возвращающимся домой крестьяниномъ, издѣваются надъ базарнымъ сторожемъ, строятъ гримасы городничему и забываютъ снимать шапку предъ господиномъ насторожъ. „Фу, какія гадкія!“ скажетъ кабая-нибудь почтенная дама, рассматривая ихъ издали въ лорнетъ и отворачиваясь съ отвращеніемъ: „ни одного намека на что-нибудь возвышенное, ни слѣда романтики въ фізіономіяхъ этой сволочи!“

Авторомъ этой книжки, такъ остроумно характеризовавшимъ

произведенія своей фантазіи, былъ домашній учитель Фрицъ Рейтеръ, рѣшившійся попытать счастья на литературномъ поприщѣ, для улучшенія своего, весьма неблестящаго, матеріальнаго положенія. Попытка оказалась очень удачною: чрезъ нѣсколько лѣтъ Фрицъ Рейтеръ сдѣлался популярнѣйшимъ и любимѣйшимъ юмористическимъ писателемъ всей Германіи.

И среди другихъ европейскихъ народовъ Рейтеръ, вѣроятно, пользовался-бы большею, чѣмъ теперь, извѣстностью, если-бы писалъ на литературномъ нѣмецкомъ языкѣ, а не на Plattdeutsch *) — мѣстномъ, народномъ языкѣ, на которомъ говорить населеніе, обитающее по берегамъ Балтійскаго и Сѣвернаго морей, на пространствѣ отъ Мемеля на крайнемъ сѣверо-востокѣ и до Ахена на юго-западѣ. Среди этого населенія Рейтеръ родился и провелъ всю свою жизнь, а потому языкъ народа былъ роднымъ его языкомъ: на немъ онъ говорилъ съ дѣтства, на немъ привыкъ мыслить, на немъ-же выступилъ потомъ на литературное поприще и началъ писать, и притомъ не случайно, не вслѣдствіе желанія быть оригинальнымъ, а въ силу чисто внутренней необходимости. Только на простомъ народномъ языкѣ Фрицъ Рейтеръ могъ выразаться мѣтко, энергично, съ добродушной наивною и простотою, съ поразительной образностью и непринужденнымъ юморомъ. Пробовалъ Рейтеръ писать и литературнымъ нѣмецкимъ языкомъ, но на этомъ языкѣ все выходило у него блѣднымъ, вялымъ, дѣланымъ; все кажется такимъ ничтожнымъ, такимъ вымученнымъ и манернымъ, что ни въ какомъ случаѣ не можетъ идти въ сравненіе съ его произведеніями на народномъ нижне-нѣмецкомъ языкѣ.

Нѣмецкая критика признаетъ Рейтера величайшимъ нѣмецкимъ юмористомъ, стоящимъ выше всѣхъ современныхъ нѣмецкихъ писателей, и видитъ въ немъ предтечу новаго процвѣтанія нѣмецкой литературы (**). Хотя Рейтеръ не разрѣшаетъ въ своихъ произведеніяхъ никакихъ міровыхъ задачъ, но онъ умѣетъ занять умъ и сердце, умѣетъ заставить читателя мыслить и раз-

*) Plattdeutsch, или нижне-нѣмецкое нарѣчіе имѣетъ гораздо больше сходства съ англійскимъ и въ особенности голландскимъ, чѣмъ съ нѣмецкимъ литературнымъ языкомъ, и находится къ послѣднему въ такомъ-же отношеніи, какъ языкъ ребенка къ языку взрослого человѣка.

**) Отто Глагау. Fritz Reuter und seine Dichtungen.

суждать, возбуждаетъ въ немъ гуманныя чувства. При всякомъ удобномъ случаѣ, Рейтеръ беретъ подъ свою защиту маленькаго человѣка; сердце его горячо бьется за бѣдныхъ или угнетенныхъ, въ средѣ которыхъ принадлежать преимущественно его герои; въ политическомъ-же и социальномъ отношеніи онъ вездѣ старается обнаруживать полное безпристрастіе. Недостатки и достоинства онъ ищетъ не въ какомъ-либо одномъ классѣ общества или партіи, а въ отдѣльной личности, въ характерѣ. Также онъ не преслѣдуетъ въ своихъ произведеніяхъ и педагогическихъ или нравственныхъ цѣлей. Онъ пишетъ не для такъ-называемаго народа или высшихъ классовъ, а для всѣхъ слоевъ общества. На поприще писателя Рейтеръ выступилъ уже вполне зрѣлымъ человѣкомъ, вдоволь извѣдавъ горе и радости жизни. Онъ бралъ матеріалъ, находившійся всего ближе подъ его руками, и изображалъ лишь то, что самъ видѣлъ, испыталъ и пережилъ.

У насъ имя Рейтера мало извѣстно, вслѣдствіе неудобочитаемости, неудобопереводимости его произведеній, какъ и всякаго вообще народнаго писателя. Даже сами нѣмцы, при чтеніи Рейтера, не могутъ обходиться безъ специально составленнаго для этого словаря: такъ много въ его произведеніяхъ выраженій непонятныхъ нѣмецкимъ читателямъ изъ образованнаго класса! *) Изъ всѣхъ произведеній Рейтера **) въ переводѣ на русскій языкъ ишется только одно: хроника-романъ „Ut de Franzosentid“, напечатанный въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ за 1878 годъ, подъ заглавіемъ: „Въ тринадцатомъ году“.

Фрицъ Рейтеръ родился въ 1810 году, въ маленькомъ городкѣ, Штавенгагенѣ, въ великомъ герцогствѣ Мекленбургѣ шверинскомъ, гдѣ отецъ его былъ бургомистромъ и городскимъ судьей. Человѣкъ чрезвычайно предприимчивый и энергическій, онъ, при крайне-доброесовѣстномъ исполненіи своихъ официальныхъ обязанностей, находилъ еще время для занятія разнаго рода промышлен-

*) Впрочемъ, при чтеніи сочиненій Рейтера въ послѣднихъ изданіяхъ можно обойтись и безъ словаря, такъ-какъ значеніе каждаго непонятнаго слова приведено въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ, что, разумѣется, гораздо удобнѣе, чѣмъ безпрестанно справляться въ словарь.

**) Полное собраніе его сочиненій состоитъ изъ 18 томовъ.

„Дѣло“, № 6, 1879 г.

ними предпріятіями. Разъ начавъ что-нибудь, онъ, уже несмотря на препятствія и затрудненія, доводилъ начатое дѣло до конца, съ настойчивостью и терпѣніемъ. На жизнь отецъ Рейтера смотрѣлъ серьезными глазами: онъ зналъ лишь одинъ трудъ и никакихъ удовольствій и даже едва позволялъ себѣ отдыхъ; ниѣя постоянно въ виду только удовлетвореніе нуждъ и достиженіе практическихъ цѣлей, онъ не признавалъ за ребенкомъ его неотъемлемого права быть ребенкомъ и требовалъ отъ него слишкомъ многого и иной разъ не по лѣтамъ. Очень рано между отцомъ и сыномъ обнаружился разладъ, который съ годами становился болѣе и болѣе рѣзкимъ и достигъ, наконецъ, крайней степени. Фрицъ Рейтеръ съ юныхъ лѣтъ привыкъ смотрѣть на отца съ нѣкоторымъ страхомъ, тогда какъ къ матери онъ чувствовалъ самую нѣжную привязанность. Женщина кроткая и необыкновенно начитанная, она обладала весьма подвижнымъ умомъ и богатой фантазіей. Читать и писать мальчикъ научился у матери. Шутя посвятила она его въ тайны азбуки и рано развила въ немъ любовь къ великимъ поэтамъ нѣмецкаго народа. Отъ матери, вѣроятно, наслѣдовалъ онъ свое поэтическое дарованіе, такъ-какъ отъ отца, человѣка черствого, практическаго, онъ могъ наслѣдовать только умъ и характеръ. Такъ, по крайней мѣрѣ, думалъ и самъ Фрицъ Рейтеръ.

Однако, и отецъ, какъ ни былъ занятъ, не упускалъ изъ вида сына. Съ ранняго возраста заботою отца было воспитать своего единственнаго сына здоровымъ, дѣятельнымъ человѣкомъ. Отъ всего сердца желалъ онъ снабдить его всѣми полезными знаніями и развить въ немъ сильный характеръ; для достиженія этихъ цѣлей онъ не жалѣлъ ни времени, ни денегъ, ни труда. Мальчикъ спалъ съ нимъ, сопровождалъ его ежедневно на прогулкахъ, долженъ былъ постоянно давать ему отчетъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ. Отецъ не могъ видѣть празднымъ ребенка и, послѣ дѣятельной работы днемъ, онъ находилъ время и силы заниматься съ сыномъ по вечерамъ.

Фрицъ Рейтеръ росъ въ отцовскомъ домѣ съ сестрой и двумя двоюродными братьями. Отецъ Рейтера былъ почему-то противъ посѣщенія дѣтьми общественной школы, и они учились дома; для руководства домашними занатіями, бургомистръ Рейтеръ приглашалъ своихъ знакомыхъ. Такихъ учителей у Фрица Рейтера

было очень много и самаго разнообразнаго характера: тутъ были и студенты, и провизоры, и часовые мастера, и даже портные подмастерья; но самымъ замѣчательнымъ изъ нихъ, имѣвшимъ сильное вліяніе на развитіе впоследствии изъ Рейтера юмориста, былъ сослуживецъ отца — ратманъ Герзе или „дядюшка Герзе“, какъ звали его дѣти. Этотъ оригиналъ является впоследствии дѣйствующимъ лицомъ въ двухъ произведеніяхъ Рейтера. Ратманъ Герзе, бывшій представительнымъ мужчиною, умѣлъ придавать себѣ видъ, импонировавшій на простыхъ людяхъ и дѣтей, а импонировать, пользоваться почетомъ, видѣть удивленіе къ себѣ — было для него необходимымъ жизненнымъ условіемъ. Гдѣ его считали звѣздою лишь второй величины или еще низшаго разряда, — ему было не по себѣ: онъ любилъ быть центромъ, испускающимъ свѣтъ, въ какомъ-бы онъ ни появлялся обществѣ. И всюду, гдѣ ему предоставляли такое положеніе, на окружающихъ лицъ изливался его оригинальный юморъ и распространялись кругомъ лучи его безграничнаго добродушія. О необыкновенномъ добродушіи „дядюшки Герзе“ свидѣтельствовала въ особенности сильная любовь къ дѣтямъ. Дѣти видѣли въ немъ кладезъ всякихъ знаній, ходячій справочный словарь, всегда охотно предлагавшій нужныя свѣденія, свой высокой авторитетъ. Когда-же его собственныя, многостороннія знанія оказывались недостаточными, онъ прибѣгалъ къ своей богатой и смѣлой фантазіи. Этотъ интересный, вѣчно веселый, созданный другомъ дѣтей человекъ занимался обученіемъ Рейтера правописанію, счисленію, рисованію и орфографіи. Но и учитель онъ былъ тоже не обыкновенный. Учить чистописанію онъ началъ съ печатныхъ и кудрявыхъ нѣмецкихъ заглавныхъ буквъ, рисованію со всякаго рода живописи: акварелью, масляными красками и эмалью. Самыми-же пріятными изъ всѣхъ уроками для дѣтей были уроки орфографіи, такъ-какъ „дядюшка Герзе“, по выраженію Рейтера, „въ горькій кофе орфографіи влялъ столько сахара, что онъ долженъ былъ казаться въ высшей степени пріятнымъ даже и непривыкшему къ нему дѣтскому горлу“. Онъ диктовалъ сочиненный имъ самимъ романъ со всѣми условіями романа, за исключеніемъ любви, которая, по его мнѣнію, была еще непригодна для дѣтскаго возраста его учениковъ. Романъ этотъ назывался по герою „Лѣвникомъ“ и начинался приключені-

емъ съ медвѣдемъ. Медвѣдь упрямо преслѣдуетъ охотника, который, наконецъ, спасается отъ него самымъ невѣроятнымъ образомъ и потомъ находитъ у себя въ яхтѣ маленькаго голаго ребенка, который и есть „лѣсникъ“ и съ годами становится героемъ романа. Монахи и монахини непрерывно стараются сдѣлать его несчастнымъ, что, однако, имъ не удается, такъ-какъ одинъ отшельникъ научилъ „лѣсника“ искусству дѣлаться невидимымъ. Это-то заманчивое искусство помогло не только скрыться на время герою романа, но и исчезнуть навсегда всему роману. Случилось это слѣдующимъ образомъ: когда рѣчь зашла объ искусствѣ дѣлаться невидимымъ, Фрицъ задалъ совершенно естественный для своихъ лѣтъ вопросъ: какъ этого можно достигнуть? Дядюшка Герзе, никогда незатруднявшійся отвѣтомъ, сказалъ, что онъ курилъ для этого бѣлену. Это объясненіе долго занимало ребенка, и, наконецъ, онъ рѣшается на практикѣ испытать это волшебное средство на отцовскомъ работникѣ. Онъ набилъ ему трубку бѣленой, которую прикрылъ сверху тонкимъ слоемъ отцовскаго табаку, и, сѣвъ напротивъ курящаго, началъ съ нетерпѣніемъ ожидать минуты, когда онъ исчезнетъ. Но, вмѣсто ожидаемаго исчезновенія, курившій началъ усиленно отплевываться и вдругъ схватилъ юнаго волшебника за воротъ съ словами: „проклятый мальчишка, какой чертовщпой ты набилъ мнѣ трубку?“ И затѣмъ юный волшебникъ былъ препровожденъ къ отцу, которому онъ и рассказалъ суть дѣла. Отецъ тотчасъ-же потребовалъ на просмотръ рукопись „Лѣсника“. Это былъ первый и единственный романъ, прочитанный имъ во всю свою жизнь; онъ назвалъ его самую глупѣйшею вещью въ мірѣ и посоветовалъ автору остановиться съ его произведеніемъ.

Ратманъ Герзе былъ всеобъемлющій геній, не только художникъ, поэтъ и музыкантъ, но и зналъ сотню другихъ мелкихъ искусствъ; вѣрвѣйшій другъ дѣтей, онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и самый ревностный товарищъ ихъ игръ. Вѣчно веселый и неутомимый, онъ училъ дѣтей тысячѣ различныхъ практическихъ приемовъ: то онъ училъ ихъ заряжать ружье и стрѣлять изъ него, то вырѣзать и обдѣлывать палки, то садить цвѣты и деревья, то ловить мышей и крысъ. Онъ дѣлалъ дѣтямъ змѣевъ и рисовалъ на нихъ страшныя фізіономіи; онъ самъ пускалъ ихъ и искренно радовался, когда его отвратительныя рожи смотрѣли

сверху на городъ и наполняли ужасомъ и удивленіемъ старыхъ бабъ. Онъ ходилъ съ дѣтьми по полямъ и каждой травкѣ умѣлъ подобрать какое-нибудь забавное латинское названіе; водилъ ихъ въ лѣсъ и истолковывалъ словами мелодіи пѣвчихъ птицъ.

Нечего и говорить, что дѣти были очень довольны своимъ учителемъ, но нельзя сказать того-же про бургомистра Рейтера. Онъ ясно видѣлъ, что эти занятія не приведутъ къ желаемой цѣли: дѣти не подготовятся достаточно для поступленія въ гимназію. Пришлось для этого избрать другой путь: отецъ Рейтера нанимаетъ постоянного учителя для приготовленія сына въ гимназію. Теперь занятія приняла систематическій порядокъ, но результаты были все-таки плохіе; Фрицъ Рейтеръ оказался очень лѣнивымъ ученикомъ и большимъ шалуномъ, что, разумѣется, сильно огорчало отца и нерѣдко выводило его изъ себя. Фрицъ не обнаруживалъ никакой охоты къ занятіямъ науками; то желалъ онъ сдѣлаться сельскимъ хозяиномъ, то художникомъ. Всего охотнѣе онъ рисовалъ, и не безъ таланта, — недаромъ ратманъ Герзе былъ его учителемъ; но у отца рисунки сына находили мало пощады; онъ немилосердно исправлялъ ихъ, и если иногда и одобрялъ, то все-таки и слышать не хотѣлъ объ искусствѣ, какъ жизненномъ призваніи сына. Фрицъ долженъ былъ снова приниматься за латинскій и греческій языки, но дѣлалъ въ нихъ медленные успѣхи, даже слишкомъ медленные, по мнѣнію отца. По истеченіи цѣлыхъ четырехъ лѣтъ домашнихъ занятій, недавшихъ особенно ошутительныхъ результатовъ, Фрицъ Рейтеръ поступаетъ въ гимназію, гдѣ, какъ и дома, не отличается прилежаніемъ. Очень медленно подвигается онъ впередъ по классной лѣстницѣ и съ грѣхомъ пополамъ кончаетъ курсъ.

Во время пребыванія въ гимназіи, Фрицъ Рейтеръ съ большою любовью занимается чтеніемъ и изученіемъ наиболѣе замѣчательныхъ писателей, какъ вѣмецкихъ, такъ и иностранныхъ. Изъ послѣднихъ любимцами его были Вальтеръ-Скоттъ, Шекспиръ и Оссианъ. Это чтеніе было не бесплодно, благодаря его необыкновенной памяти, въ которой всѣ сколько-нибудь замѣчательныя мѣста запечатлѣвались такъ прочно, что онъ безъ труда могъ цитировать ихъ ex abrupto. Какъ натура поэтическая, онъ не отличался пунктуальностью, любовью къ порядку и настойчивостью; онъ не звалъ цѣны деньгамъ, тратилъ ихъ больше, чѣмъ

слѣдовало, и, несмотря на щедрую поддержку отца, началъ рано входить въ долги. Какъ ни сильно желалъ онъ по выходѣ изъ гимназіи посвящать себя художественной дѣятельности, но мечтавъ его не суждено было осуществиться, вслѣдствіе рѣшительной оппозиціи отца, настаивавшаго и дѣйствительно настоявшаго, чтобы сынъ занялся изученіемъ правъ. Волей-неволей, Фрицъ Рейтеръ долженъ былъ уступить, и вотъ въ 1831 году онъ поступаетъ въ университетъ въ маленькомъ мекленбургскомъ городкѣ Ростокѣ. Однако, юриспруденція не пришлась ему по вкусу; съ первыхъ-же поръ она ему жестоко опротивѣла, а съ теченіемъ времени нелюбовь къ наукѣ у него перешла въ полную ненависть, такъ что онъ совсѣмъ прекратилъ посѣщеніе лекцій и, отдавшись исключительно удовольствіямъ, началъ принимать самое дѣятельное участіе во всѣхъ студенческихъ затѣяхъ и продѣлкахъ, которыя онъ впоследствии описалъ въ одномъ изъ своихъ первыхъ произведеній. Пробывъ въ Ростокѣ одинъ семестръ, Фрицъ Рейтеръ, съ согласія отца, перешелъ въ іенскій университетъ, въ который въ это время по преимуществу стремилась мекленбургская учащаяся молодежь.

Въ Іенѣ Рейтеръ еще меньше, чѣмъ въ Ростокѣ, удѣлялъ времени для занятій наукою. И здѣсь точно также онъ былъ рѣдкимъ гостемъ на лекціяхъ, въ особенности юридическихъ, хотя въ числѣ профессоровъ и было нѣсколько знаменитыхъ юристовъ; изъ наукъ его интересовала только математика и отчасти исторія. Зато, чѣмъ рѣже Фрицъ Рейтеръ показывался въ аудиторіи, тѣмъ чаще его можно было видѣть на студенческихъ пирушкахъ. Когда Фрицъ Рейтеръ пріѣхалъ въ Іену, университетъ, пользовавшійся раньше большою извѣстностью въ Германіи, начиналъ приходить въ упадокъ. Студенчество, отличавшееся въ двадцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія стремленіемъ къ идеаламъ, въ тридцатыхъ питалось одними воспоминаніями и преданіями, въ погонѣ за формою забыло о содержаніи и занималось по преимуществу „топленіемъ разума въ пиво“. Слѣдствіемъ этого было то, что общій тонъ у студенчества сдѣлался грубымъ и необузданнымъ. Фрицу Рейтеру очень понравилась безшабашная жизнь іенскаго студента; воспоминаніе объ Іенѣ у него осталось живымъ на всю жизнь, и онъ съ восторгомъ говоритъ въ своихъ произведеніяхъ о времени, проведенномъ въ Іенѣ.

Центромъ жизни іенскаго студенчества въ то время было общество „Allgemeine deutsche Burchenschaft“, возстановившееся около времени приѣзда Фрица Рейтера въ Іену. Это общество, зародившееся первоначально на почвѣ мечтаній о нѣмецкомъ Vaterland'ѣ—мечтаній, порожденныхъ великими войнами за освобожденіе, получило прочное основаніе въ 1817 году, въ Вартбургѣ, на празднествѣ въ память годовщины лейпцигской битвы, на которомъ нѣмецкая молодежь торжественно сожгла нѣкоторыя сочиненія Августа Коцебу.

Какъ натура живая, отзывчивая, Фрицъ Рейтеръ тотчасъ же по прибытіи въ Іену сдѣлался ревностнымъ членомъ общества, первоначальными учредителями котораго были его земляки, мекленбуржцы. Тѣ-же мекленбуржцы были въ разное время его руководителями и лучшими ораторами, да и теперь, по возобновленіи и реорганизаціи общества, Фрицъ Рейтеръ нашелъ въ его рядахъ много своихъ земляковъ.

Съ возобновленіемъ дѣятельности общества связывалось много пріятныхъ надеждъ; однако, имъ не суждено было осуществиться, такъ-какъ едва прошло нѣсколько мѣсяцевъ послѣ открытія общества, какъ въ средѣ его самымъ рѣзкимъ образомъ обозначилась уже рознь между двумя различными направленіями. Общество распалось на двѣ враждебныя партіи: армянянъ и германцевъ. Первая партія, многочисленнѣйшая, преслѣдовала чисто-научныя цѣли; она поставила себѣ задачею, путемъ нравственнаго, научнаго и физическаго развитія своихъ членовъ, приготовить для отечества добрыхъ гражданъ и тѣмъ способствовать развитію его благосостоянія. Вторая же партія преслѣдовала, прежде всего, чисто-политическія цѣли, сдѣлавъ своею главною задачею достиженіе свободы и единства Германіи. Болѣе предприимчивая партія германцевъ на общихъ собраніяхъ членовъ вела борьбу противъ миролюбивыхъ армянянъ и, наконецъ, одержала верхъ. Свою побѣду она формулировала на общемъ собраніи членовъ во Франкфуртѣ въ 1831 году, когда большинствомъ было принято рѣшеніе, согласно которому каждый членъ обязанъ былъ, если того потребуютъ обстоятельства, и силою содѣйствовать достиженію цѣлей общества. На послѣднемъ собраніи членовъ общества въ Тюбингенѣ въ 1832 году дѣло зашло еще дальше: тамъ постановлено было, что обществу, во что-бы то ни

стало, слѣдуетъ добиваться своей цѣли—единства и свободы Германіи.

Подъ давленіемъ событій, „германцы“ развивали бурную дѣятельность. Они посылали своихъ депутатовъ на гамбахское празднество, на которомъ были громко привѣтствованы „соединенныя свободныя государства Германіи“ и „конфедеративная Европа“; праздновали годовщину французской іюльской революціи. Къ числу этихъ экзальтированныхъ юношей принадлежалъ и Фрицъ Рейтеръ, всегда принимавшій дѣятельное участіе во всѣхъ сходкахъ и пирушкахъ и нерѣдко выходившій на дуэль за честь своей партіи.

Чѣмъ точнѣе, рѣзче опредѣлялась програма іенскихъ германцевъ, тѣмъ враждебнѣе становились ихъ отношенія къ армянянамъ, для выраженія презрѣнія къ которымъ они не находили достаточно способовъ. Сначала вражда между партіями выражалась лишь мелкими раздорами, но, наконецъ, въ январѣ 1833 года дѣло дошло и до кровавыхъ схватокъ. Для умиротворенія враждующихъ, въ Іену была двинута сильная военная команда. Съ появленіемъ военной силы, начались аресты и высылки изъ города; издано запрещеніе носить палки съ кинжалами и другое оружіе, давать у себя пріютъ студентамъ изъ другихъ университетовъ, носить ленты и коварды другихъ цвѣтовъ, кромѣ иѣстныхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ объявлены незаконными студенческіе кружки съ политическими тенденціями, а потому общества германцевъ и армянянъ должны были разойтись. Фрицъ Рейтеръ попалъ въ разрядъ исключенныхъ университетскимъ начальствомъ. Въ половинѣ февраля онъ долженъ былъ оставить Іену и, проживъ нѣкоторое время въ маленькомъ городкѣ Камбургѣ, поселился у отца въ Штавенгагенѣ.

Этимъ-бы, по всей вѣроятности, и кончилось все дѣло, и Фрицъ Рейтеръ въ скоромъ времени получилъ-бы снова возможность поступить въ университетъ, еслибы, на его несчастье, въ это время не была сдѣлана во Франкфуртѣ на Майнѣ попытка произвести возстаніе, имѣвшая для Рейтера, хотя и непринимавшаго въ ней никакого участія, роковыя послѣдствія.

Онъ былъ арестованъ какъ членъ компрометированнаго въ этомъ дѣлѣ извѣстнаго общества „Германія“. Въ то время, какъ по всей Германіи шли аресты, Фрицъ Рейтеръ безмятежно

проживалъ въ Штавенгагенѣ и, можетъ быть, въ первый разъ со времени своего студенчества усердно занимался своими лекціями. Прошло уже и лѣто; о Рейтерѣ, казалось, забыли или не считали его настолько опаснымъ, чтобы подвергнуть его лишенію свободы. Ободренный этимъ, Фрицъ Рейтеръ уговорилъ отца позволить ему поступить въ лейпцигскій университетъ, на что отецъ, и самъ не вѣрившій уже въ серьезную опасность, охотно далъ свое согласіе. Въ концѣ октября Рейтеръ отправился въ Лейпцигъ съ другимъ мекленбургцемъ. По пріѣздѣ туда, имъ обоимъ было отказано въ пріемъ въ университетъ, какъ подозрительнымъ личностямъ, вслѣдствіе чего они сочли за лучшее поскорѣе убраться изъ города. Раздумывая о томъ, куда-бы направиться теперь — обратно-ли въ Мекленбургъ или въ какой-нибудь другой университетскій городъ, Фрицъ Рейтеръ пріѣхалъ въ Берлинъ, гдѣ и былъ арестованъ черезъ нѣсколько дней послѣ пріѣзда. Съ этого времени начались странствованія Рейтера по различнымъ прусскимъ крѣпостямъ, продолжавшіяся цѣлыхъ семь лѣтъ и описанныя имъ впоследствии юмористически въ одномъ изъ его лучшихъ произведеній, подъ названіемъ: „*Ut mine Festungstid*“.

Рейтеръ былъ посаженъ въ берлинскую городскую тюрьму въ одну камеру съ ворами, грабителями и пр., но черезъ два мѣсяца его перевели въ окружную тюрьму, въ отдѣленіе для „привилегированныхъ“, къ числу которыхъ преимущественно принадлежали евреи, проворовавшіеся чиновники, „государственные измѣнники“. Здѣсь сидѣлъ Рейтеръ въ самомъ строгомъ заключеніи, лишенный книгъ и письменныхъ принадлежностей. Въ камерѣ у него былъ только иѣшокъ, набитый соломой, да вверху, высоко, видѣнъ былъ кусочекъ неба, величиною въ двѣ ладони. Рейтеръ былъ въ восторгѣ, когда ему удалось достать сломанную жестяную ложку, которую онъ отточилъ на подобіе ножа и рѣзалъ себѣ хлѣбъ. Этимъ-же импровизированнымъ ножомъ онъ вырѣзалъ изъ половицы щепку и превратилъ ее въ перо; изъ пережатой орѣховой скорлупы онъ сдѣлалъ иѣчто, похожее на чернила. При помощи этихъ самодѣльныхъ письменныхъ принадлежностей онъ пишетъ „плохіе стихи“, въ которыхъ изливаетъ накипѣвшую злобу, свое отчаяніе или, чтобы убить только время, пишетъ на память стихи своего тогдашняго любимца, Байрона.

Приговоръ надъ „демагогами“ еще не былъ пронанесенъ, они уже были разосланы по разнымъ крѣпостямъ. Послѣ года подслѣдственного ареста, Фрицъ Рейтеръ съ нѣсколькими товарищами былъ перевезенъ въ крѣпость Зильбербергъ, въ верхней Силезіи. Здѣсь сидѣлъ онъ, одолѣваемый тяжелыми думами, въ низкомъ, мрачномъ казематѣ: Сонъ и думы, думы и сонъ съ его видѣніями—единственное занятіе, которому могъ свободно предаваться Фрицъ Рейтеръ въ своемъ казематѣ. Будущее для него не существовало, или, по крайней мѣрѣ, представлялось безконечной ночью. Поэтому онъ мечталъ только о прошломъ: вотъ онъ ребенокъ и сидитъ у воротъ отцовскаго дома; рядомъ съ нимъ тетка его Христіана распѣваетъ пѣсни. Опять онъ бродитъ съ дядюшкой Герзе по полямъ и лѣсамъ, и оба прислушиваются къ пѣнію птицъ. Или вотъ стоитъ онъ на площади въ Іенѣ, рапирн сверкаютъ, знамена развѣваются, пѣсни оглашаютъ воздухъ. Но вдругъ въ коридорѣ часовой роняетъ ружье, со стѣны раздается окликъ, который передается съ поста на постъ. Заключенный приходитъ въ себя. Предъ нимъ стоитъ голая дѣйствительность и сонливо смотритъ на него; ея дыханіе отзывается могилой и обдаетъ его леденящимъ холодомъ. Мѣсяць за мѣсяцемъ проходятъ, а его положеніе нисколько не измѣняется; онъ даже ничего не можетъ узнать о своей судьбѣ. Тоска и мученія неизвѣстности потрясли его до сихъ поръ бодрый духъ. Физически больной, нравственно усталый, пишетъ онъ изъ Зильберберга своему отцу, въ день третьей годовщины своего ареста: „Дорогой отецъ! Еслибъ я когда-нибудь сталъ проклинать сегодняшнее число, то это по меньшей мѣрѣ было бы извинительно; я такъ и сдѣлалъ бы, еслибы не думалъ, что день, въ который я три года назадъ попалъ въ тюрьму, можетъ быть, сдѣлалъ счастливыми множество людей; меня-же онъ сдѣлалъ несчастнымъ: онъ лишилъ меня здоровья, счастья и—что еще хуже—житейскаго мужества. Поэтому я прошу тебя отъ всего сердца, сдѣлай еще одну попытку доставить мнѣ свободу; если-же она окажется неудачной, то перестань жертвовать своимъ временемъ и нравственнымъ спокойствіемъ химерѣ, столь-же баснословной и чудовищной, какъ и мифологическая химера. Я нахожусь уже на пути создать для себя пассивное мужество, высшею точкою котораго будетъ полная апатія, и если это стремленіе человѣка, пользующагося свободой, заключаетъ

въ себѣ *нѣчто* ужасное и даже грѣховное, то для заключеннаго оно не только спасительно, но, какъ я думаю, и вполнѣ согласуется съ нравственностью, — по крайней мѣрѣ, для заключеннаго моей категоріи“. Это полное отчаянія письмо содержитъ въ себѣ одинъ намекъ, который хорошо понялъ отецъ. Фрицъ Рейтеръ здѣсь самъ касается печальнаго *нѣчто*, составляющаго темное пятно его жизни; это нѣчто (питье запоемъ) и впоследствии, въ его счастья, омрачило ему наслажденіе и набросило нѣкоторую тѣнь на его славу. Утверждаютъ, что онъ уже въ гимназіи обнаруживалъ наклонность къ спиртнымъ напиткамъ; во всякомъ случаѣ, въ дикій, бурный іенскій періодъ эта наклонность уже ясно обозначалась въ немъ, и потомъ въ крѣпости, съ горя и отчаянія, развилась въ порокъ, рабомъ котораго онъ сдѣлался на всю жизнь, тщетно ведя съ нимъ борьбу до самой смерти.

Между тѣмъ, отецъ и берлинскіе родственники Фрица Рейтера не оставались въ бездѣятельности; они письменно и устно ходатайствовали предъ прусскимъ и мекленбургскимъ правительствами о выдачѣ его Мекленбургу. Но все было тщетно: три раза мекленбургское правительство требовало его выдачи и три раза получало отказъ. Наконецъ, по полученіи вышеприведеннаго письма, отецъ дѣлаетъ послѣднюю попытку: онъ передаетъ это письмо своему другу, который обращается съ ходатайствомъ прямо къ прусскому министру юстиціи фон-Кампцу. Этотъ злѣйшій врагъ „демагоговъ“, которому собственно и принадлежала инициатива преслѣдованій, отвѣчаетъ письмомъ, въ которомъ высказываетъ много участія къ страданіямъ „заблудшихся“ юношей вообще и въ частности самое теплое сочувствіе къ участи молодого Рейтера; онъ увѣряетъ, что „молодой Рейтеръ принадлежитъ къ лучшимъ и менѣе компрометированнымъ“, и въ заключеніе подаетъ надежду на милость короля. Обрадованный отецъ пишетъ своему, почти уже дошедшему до отчаянія, сыну, что ему не слѣдуетъ падать духомъ, что скоро должно все рѣшиться и наступить улучшеніе въ его достойномъ сожалѣнія положеніи. Однако, всѣмъ этимъ надеждамъ, всѣмъ этимъ иллюзіямъ суждено было разбиться въ прахъ. Послѣ долгихъ взвѣшиваній и колебаній, берлинская уголовная палата постановила, наконецъ, рѣшеніе по дѣлу демагоговъ и этимъ рѣшеніемъ неожиданно низвергла все, что заключенный, втеченіи мучительныхъ дней, недѣль

и мѣсяцевъ построилъ на заманчивой почвѣ успокоительныхъ увѣреній прусскаго министра. Мечты о скоромъ освобожденіи были развиты разомъ, и предъ Рейтеромъ предстала страшная дѣйствительность, предвѣщая еще болѣе страшную будущность... „Приговоренъ къ смерти“, гласилъ приговоръ суда. Королевско-прусская судебная палата, принявъ заключеніе своего члена-докладчика, признала факты покушенія на государственную измѣну и приговорила 39 человекъ изъ 204 обвиняемыхъ къ смертной казни; въ числѣ ихъ находился и Фрицъ Рейтеръ. Однако, судьи, постановляя смертный приговоръ, сами разсчитывали на королевское помилованіе, и оно не заставило ждать себя. Фридрихъ Вильгельмъ III, въ силу своей власти верховнаго судьи, измѣнилъ смертный приговоръ на 30 лѣтъ заключенія въ крѣпостяхъ.

„Васъ скоро освободятъ“, говорили юношамъ всѣ—защитники, судьи, родители, „васъ скоро освободятъ, не апеллируйте, не пытайтесь бѣжать, надѣйтесь на милость короля!“. И, дѣйствительно, помилованіе пришло, но не скоро. Фрица Рейтера переводили изъ крѣпости въ крѣпость въ странѣ, неизвѣстной надъ нимъ права, какъ надъ подданнымъ другого государства. Онъ долженъ былъ изучить всѣ прусскія крѣпости, познакомиться со всякаго рода прусскими тюрьмами. Если онъ находилъ гдѣ-нибудь знакомыхъ, людей сострадательныхъ, его тотчасъ-же перевозили нерѣдко за сотни миль. По городамъ и деревнямъ онъ проѣзжалъ со скоростью погребальныхъ дрогъ, сопровождаемый толпою уличныхъ мальчишекъ, которые, образуя при немъ свиту, въ видѣ привѣтствія называли его „мошенникомъ“ и другими столь-же почетными названіями. Когда телѣга останавливалась у трактира, его при выходѣ окружали старый и малый и осматривали со всѣхъ сторонъ, такъ-что онъ самъ, по его выраженію, начиналъ казаться себѣ въ высшей степени опаснымъ. Въ сопровожденіи той же свиты, отправлялся онъ къ ландрату или бургомистру, которые посылали съ нимъ въ трактиръ нѣсколькихъ почтенныхъ бюргеровъ изъ отставныхъ солдатъ, чтобы „они,—какъ говоритъ самъ Рейтеръ,— всю ночь курили у него его табакъ и вмѣстѣ съ тѣмъ смотрѣли за тѣмъ, чтобъ онъ не убѣжалъ и не зажегъ со всѣхъ четырехъ концовъ прусское государство“.

Въ началѣ 1837 года, Фрица Рейтера, по слабости зрѣнія, перевели изъ Зильберберга въ Глогау, а оттуда, 6 недѣль спустя,

въ Магдебургъ, гдѣ онъ встрѣтилъ многихъ своихъ товарищей. И какъ-же пережвѣлись эти молодые, здоровые бурши! Страшно изнуренныя, мертвенно-блѣдныя фигуры, немощныя тѣломъ и духомъ! Человѣкъ 10 во время его прїѣзда лежали въ лазаретѣ, но больны были всѣ: одинъ страдалъ легочной чахоткой, другой — сухоткой спинного мозга, третій — печенью и т. д. Переведенный и сюда по слабости зрѣнія, Рейтеръ попалъ въ камеру, въ которую никогда не проникалъ прямой лучъ свѣта; мїазмы, негодная для питья вода дѣлали свое: лазаретъ больше и больше наполнялся. Наконецъ, комендантъ магдебургской крѣпости, доводившій свою строгость до жестокости, умеръ, и Фрицъ Рейтеръ первый вырвался изъ Магдебурга. Но его ожидало еще худшее: при перѣздѣ въ крѣпость Грауденцъ, онъ еще разъ попался въ берлинскую окружную тюрьму, гдѣ ему пришлось спать четыре ночи на голомъ полу, на страшномъ холоду въ нетопленной камерѣ, голодному и прикрытому только своей одеждой. Отсюда онъ попалъ, наконецъ, въ Грауденцъ, подъ мягкую руку гуманнаго коменданта, который встрѣтилъ Рейтера, привезеннаго туда съ однимъ товарищемъ, слѣдующими словами: „изъ вашихъ бумагъ я вижу, что вы порядочные люди; здѣсь съ вами будутъ обходиться хорошо, такъ-такъ я не считаю своей обязанностью еще болѣе терзать людей, и безъ того уже находящихся въ несчастїи“. Комендантъ сдержалъ свое слово и былъ очень гуманенъ. Фрицъ Рейтеръ ожилъ; юношеская бодрость и веселость вернулись къ нему снова. Пользуясь относительно свободою, онъ занимался рисованїемъ и живописью, писалъ портреты товарищей, начальства, заочно родныхъ. Наконецъ, онъ получилъ даже позволенїе заниматься обученїемъ дѣтей. Вообще, время, проведенное въ Грауденцѣ, оставило въ Рейтерѣ прїятное воспоминанїе, несмотря на то, что онъ находился въ заключенїи.

Но наступила еще лучшая пережвѣна въ судьбѣ Фрица Рейтера. По прошествїи болѣе 5¹/₂ лѣтъ его заключенїя, прусскїй король, желая сдѣлать личное удовольствїе своему зятю, великому герцогу мекленбургскому, согласился, наконецъ, на выдачу его, но сохранилъ за собою право помилованїя.

Въ іюнѣ 1839 года, Фрица Рейтера изъ Грауденца препроводили въ мекленбургскую крѣпость Демницъ, гдѣ онъ былъ заключеннымъ почти только по имени. Комната въ крѣпости была

дана ему уже безъ желѣзныхъ гардинъ; онъ былъ принятъ въ домъ коменданта, какъ сынъ, могъ свободно расхаживать по крѣпости и городу и заниматься, чѣмъ угодно. Въ Демицѣ Фрицу Рейтеру жилось недурно. Къ сожалѣнью, охотиѣ всего онъ проводилъ время въ трактирахъ, гдѣ заводилъ ссоры и вообще злоупотреблялъ предоставленною ему свободою, такъ-что по-временамъ комендантъ бывалъ вынужденъ ограничивать ее.

Само собою разумѣется, несмотря на такую мягкость заключенія, Фрицъ Рейтеръ не переставалъ желать полученія полной свободы. Желаніе его исполнилось лѣтомъ 1840 года, когда король Фридрихъ-Вильгельмъ III прусскій умеръ и преемникъ его обнародовалъ амнистію всѣмъ политическимъ заключеннымъ. Послѣ 7-ми лѣтъ, проведенныхъ въ заключеніи, Рейтеръ, наконецъ, вышелъ на свободу, по которой онъ вздыхалъ дни и ночи. Однако, свобода не дала ему нравственнаго спокойствія; она показалась ему теперь даже бременемъ, такъ какъ онъ не зналъ, что дѣлать съ нею. Ему было уже 30 лѣтъ. Отношенія его къ отцу, и прежде не особенно хорошія, теперь стали уже совсѣмъ дурными. „Мы сдѣлались совершенно чужды другъ другу, — говоритъ Рейтеръ въ „*Ut mine Festungstid*“, — и въ этомъ я былъ виноватъ больше, чѣмъ онъ; но главная вина лежала тамъ, гдѣ лежали и мои семь лѣтъ; въ эти семь лѣтъ, вмѣстѣ съ моими надеждами, совсѣмъ захирѣли и его надежды; онъ привыкъ смотрѣть на меня такъ-же, какъ и я самъ смотрѣлъ на себя, — какъ на несчастье... Онъ составилъ себѣ для будущаго другой планъ, и я уже не входилъ въ его расчеты... Единственное живое существо, которое любило меня въ эту минуту и было привязано ко мнѣ, была моя маленькая собачка“.

Главною причиною охлажденія отца къ сыну было неумѣренное употребленіе сыномъ крѣпкихъ напитковъ. Порокъ этотъ рѣзче проявился у Фрица Рейтера во время болѣе свободной жизни въ Демицѣ, и слухи о немъ дошли до отца, который былъ сильно возмущенъ разгульною жизнью сына и началъ смотрѣть на него съ возрастающимъ недовѣріемъ и тайнымъ страхомъ. Тѣмъ не менѣе, онъ все еще не отказывался отъ своего первоначальнаго плана сдѣлать сына пристомъ и, по возвращеніи Фрица изъ крѣпости, убѣждалъ его еще разъ поступить въ университетъ. Проживъ у отца нѣсколько недѣль, осенью 1840 года Фрицъ Рей-

теръ поступилъ въ гейдельбергскій университетъ, причеъ общалъ отцу начать новую жизнь и усердно заняться науками, такъ чтобы черезъ годъ сдать всѣ экзамены. Однако, онъ не сдержалъ своего общанія и, вмѣсто занятія науками, предался еще сильнѣйшему, чѣмъ прежде, пьянству. Отецъ увѣщевалъ, просилъ, угрожалъ, умолялъ. Онъ писалъ сыну: „необходимо, чтобы ты пришелъ, наконецъ, въ себя и отказался отъ пагубнаго порока, который такъ обезображиваетъ тебя, унижаетъ твое человѣческое достоинство. Бѣги, какъ чумы, всякой капли крѣпкихъ напитковъ, иначе ты погибъ“.

Эти слова произвели свое дѣйствіе на Фрица Рейтера; онъ пришелъ въ себя, но скоро опять махнулъ на все рукой и началъ снова вести самую безшабашную жизнь, такъ что отецъ считалъ лучшимъ пригласить сына вернуться домой, но тотъ не поѣхалъ. Тогда отецъ послалъ за сыномъ въ Гейдельбергъ своего уполномоченнаго, снабдивъ его открытымъ письмомъ къ гейдельбергскимъ властямъ объ оказаніи содѣйствія для возвращенія домой „страдающаго умственно“ студента Фрица Рейтера. Въ другомъ письмѣ отецъ убѣждалъ сына безпрекословно повиноваться посланному; въ противномъ случаѣ, тотъ былъ уполномоченъ прибѣгнуть къ принудительнымъ мѣрамъ. Можно подумать, что дѣло идетъ о 15-ти или 16-ти-лѣтнемъ мальчикѣ, а не о 30-ти-лѣтнемъ мужчинѣ, такъ много испытавшемъ въ своей жизни. Удивительные нравы и обычаи царствовали въ то время въ Мекленбургѣ, впрочемъ, и во многихъ другихъ мѣстахъ Германіи. Не даромъ Гейне такъ ѣдко трунилъ всегда надъ мекленбургцами.

Фрицъ Рейтеръ возвратился въ Мекленбургъ осенью 1841 г., но не прямо въ Штавенгагенъ. Отецъ не хотѣлъ его видѣть, и онъ поселился пока у своего дяди пастора, всѣми силами старавшаго примирить отца съ сыномъ. Примиреніе отчасти состоялось, и Фрицъ началъ проживать то у отца, то у дяди, безъ всякихъ опредѣленныхъ занятій. Ведя праздную жизнь, онъ мало-по-малу утратилъ всякую твердость и началъ падать все глубже и глубже. Нерѣдко онъ исчезалъ изъ дома, пропадалъ по цѣлымъ днямъ въ трактирахъ и пилъ тамъ безъ просыпа. Отецъ посылалъ отыскивать сына, иной разъ самъ привозилъ его домой и запиралъ. По-временамъ между отцемъ и сыномъ происходилъ полнѣй-

шій разладъ, и они, живя подъ одной кровлей, сносились между собою письменно. Наконецъ, Фрицъ попросилъ отца выдать ему 400 талеровъ для переселенія въ Америку; не вѣря, чтобъ сынъ былъ въ состояніи привести въ исполненіе свой планъ, отецъ предложилъ ему прежде заняться сельскимъ хозяйствомъ въ Германіи. Фрицъ согласился и поступилъ на службу къ одному арендатору, вблизи родного города. И этотъ родъ дѣятельности не удовлетворилъ его; горячо принявшись за дѣло въ началѣ, онъ скоро охладѣлъ къ нему и, наконецъ, совѣшъ бросилъ занятіе сельскимъ хозяйствомъ. Карьера наемнаго управителя въ чужомъ имѣніи не плѣняла его, а завести свое собственное хозяйство у него не было средствъ, такъ-какъ отецъ, умершій въ 1845 году, хотя и завѣщалъ ему 5,000 талеровъ, но этотъ капиталъ могъ поступить въ его распоряженіе лишь въ томъ случаѣ, если онъ окончательно броситъ пить; до выполненія этого условія, онъ могъ пользоваться только процентами съ завѣщаннаго ему капитала. Занять-же денегъ для основанія своего хозяйства ему было негдѣ. Кто-бы рѣшился ссудить ему, кутилѣ, деньги? Его добрые знакомые только пожимали плечами и говорили въ одинъ голосъ: „изъ него ничего не выйдетъ, потому что онъ пьетъ“.

Пользуясь процентами съ завѣщаннаго капитала, Фрицъ Рейтеръ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ велъ бродячую жизнь. Пристаннице онъ находилъ себѣ то у тѣхъ, то у другихъ родственниковъ и знакомыхъ. Отъ нечего дѣлать онъ писалъ ихъ портреты или занимался съ дѣтьми рисованіемъ, математикой, игралъ съ ними, какъ ребенокъ, и оживлялъ все общество своимъ настоящимъ юморомъ. Куда ни пріѣзжалъ Рейтеръ, вездѣ онъ былъ пріятнымъ гостемъ, съ которымъ неохотно разставались хозяева. Будучи превосходнымъ разскащикомъ и имѣя всегда неистощимый запасъ разныхъ веселыхъ исторій и анекдотовъ, онъ приносилъ съ собою въ домъ радость и веселье; къ каждому празднику онъ сочинялъ подходящее стихотвореніе или какую-нибудь рифмованную шутку и преподносилъ ихъ хозяевамъ. Но охотнѣе всего, въ этотъ періодъ страннической жизни, Фрицъ Рейтеръ сходилъ съ разнымъ мелкимъ людомъ: крестьянами, земледѣльцами, ремесленниками, трактирщицами, школьными учителями и другими маленькими людьми, представлявшими богатый

матеріалъ для его наблюдательнаго ума. Во время своихъ странствованій съ мѣста на мѣсто, онъ охотно заговаривалъ съ каждымъ ребенкомъ, съ каждой старухой, въ особенности-же съ учениками разныхъ ремесленниковъ, нищими, бродягами, и вель съ ними продолжительныя, интересныя бесѣды. Съ величайшимъ усердіемъ, съ истиннымъ наслажденіемъ предавался онъ изученію этихъ деревенскихъ людей, подобно ему, много переиспытавшихъ въ жизни. Всѣ герои, которыми онъ обогатилъ потомъ нѣмецкую литературу и снискалъ симпатіи нѣмецкой публики, были плодомъ его наблюденій въ этотъ періодъ бродячей жизни.

Въ бурномъ 1848 году въ образѣ жизни Рейтера произошла перемѣна. Хотя онъ, наученный опытомъ, и относился нѣсколько скептически къ охватившему Германію движенію, тѣмъ не менѣе, избранный своими согражданами, согласился быть ихъ представителемъ въ собраніи депутатовъ отъ обоихъ Мекленбургговъ. Онъ не обманулся въ своемъ предчувствіи бесплодности тогдашняго нѣмецкаго движенія, вскорѣ вернулся домой и повелъ прежній образъ жизни.

Въ 1850 году Фрицъ Рейтеръ, по совѣту друзей, переселился въ Пруссію. Въ заключеніи къ „*Ut mine Festungstid*“, онъ рассказываетъ, какъ въ одинъ прекрасный день замѣтилъ, что его утлая ладья сидитъ слишкомъ глубоко, потому что онъ загрузилъ ее напрасными желаніями и надеждами;—что онъ поочередно выкинулъ за бортъ професіи юриста, художника и сельскаго хозяина, а затѣмъ облекся въ „узкій заплатанный сюртукъ школьнаго учителя“. Главною побудительною причиною къ этой перемѣнѣ образа жизни была любовь. Намѣреваясь жениться, Фрицъ Рейтеръ долженъ былъ подумать о пріисканіи средствъ для содержанія себя и будущей жены, такъ-какъ по завѣщанію, въ случаѣ женитбы, онъ терялъ право на пользованіе процентами съ оставленнаго отцомъ капитала. Для пріобрѣтенія средствъ къ жизни, онъ и поселился въ маленькомъ прусскомъ городкѣ Трептовѣ, гдѣ, по рекомендаціи друзей, нашель себѣ учениковъ и за два гроша въ часъ обучалъ ихъ всякимъ премудростямъ и даже искусству плаванія.

Лѣтомъ 1851 года Фрицъ Рейтеръ женился. Средства къ жизни у молодой четы, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, оставались весьма ограниченными и даже скудными, такъ-какъ уроками „Дѣло“, № 6, 1879 г.

по два гроша за часъ нельзя было зарабатывать много. Молодая женщина, тоже неимѣвшая никакихъ матеріальныхъ средствъ, старалась возмѣстить это своимъ личнымъ трудомъ и вносила свою лепту въ хозяйство, давая уроки музыки. По общимъ отзывамъ биографовъ, жена Рейтера имѣла на него громадное и благодѣтельное вліяніе. Она обладала всѣмъ, чего не доставало ему: осмотрительностью и стойкостью, самообладаніемъ и предприимчивостью. По ея побужденію, онъ выступилъ и на литературное поприще. Жизнь его шла теперь такимъ порядкомъ: давъ втеченіи дня нѣсколько уроковъ, вечеромъ онъ брался за перо, записывалъ анекдоты и шутки, слышанныя имъ еще во время бродячей жизни, преимущественно отъ крестьянъ, и излагалъ ихъ стихами. Скоро такихъ рифмованныхъ анекдотовъ у него набрался небольшой томикъ. Онъ рѣшилъ выпустить его въ свѣтъ, хотя и не рассчитывалъ на обширный кругъ читателей, вслѣдствіе особенности языка и слишкомъ мѣстнаго интереса всѣхъ этихъ анекдотовъ и шутокъ. Послѣ продолжительныхъ, но тщетныхъ поисковъ издателя для своего перваго произведенія, Рейтеръ рѣшился, наконецъ, издать его самъ. Необходимыя для изданія деньги ссудилъ ему одинъ его знакомый, и, такимъ образомъ, въ ноябрѣ 1853 года, появились въ свѣтъ его „Läuschen im Rithels, nieder-deutsche Stichtwörter eines lustigen Inhalts, aus dem Mecklenburgisch-Pommerschen Volksmunde“. Книжка разошлась очень быстро, такъ-что черезъ шесть недѣль потребовалось второе изданіе ея. Необыкновенный успѣхъ книги среди мѣстнаго населенія, среди земляковъ Рейтера, обусловливался содержаніемъ ея, взятымъ прямо изъ реальной народной жизни. Одинъ былъ самъ участникомъ въ томъ или другомъ анекдотѣ другой не разъ слышалъ ту или другую забавную исторію отъ такой-то и такой-то, всѣмъ извѣстной, личности, и вдругъ теперь эти забавныя исторіи всѣ находятся въ книжкѣ, очень удачно пересказанныя стихами...

Бойкая распродажа книги отразилась прежде всего на матеріальной обстановкѣ Рейтера. Съ этихъ поръ онъ могъ себѣ дозволить такую роскошь, какъ ѣсть рыбу, „жареную не на водѣ, а на маслѣ“. Ободренный успѣхомъ, Рейтеръ, не бросая уроковъ, сталъ удѣлять больше времени литературнымъ работамъ, такъ-что въ слѣдующемъ году издалъ еще двѣ новыя книги. Въ началѣ 1855 года онъ предпринялъ изданіе еженедѣльнаго литератур-

наго листка, но черезъ годъ долженъ былъ пріостановить изда-
ніе, такъ-какъ листокъ имѣлъ весьма малый успѣхъ въ публикѣ.
Съ прекращеніемъ листка, разрушились надежды Рейтера на воз-
можность отказаться навсегда отъ неблагодарной въ матеріальномъ
отношеніи профессіи учителя и поддерживать существованіе исклю-
чительно литературнымъ трудомъ. Желая еще болѣе улучшить
свое матеріальное положеніе, Рейтеръ началъ писать комедіи и
шутки, но и тутъ потерпѣлъ неудачу. При совершенномъ незна-
ніи имъ сцены, а можетъ быть, и вслѣдствіе отсутствія у него драмати-
ческаго дарованія, всѣ пьесы Рейтера имѣли сомнительный успѣхъ и
скоро сошли со сцены. Рейтеръ созналъ свою ошибку и тотчасъ-же
сошелъ съ ложнаго пути. Однако, прежде чѣмъ стать на настоя-
щую дорогу — юмористическаго писателя, онъ сдѣлалъ еще одинъ
ложный шагъ: написалъ трагическій рассказъ въ стихахъ „Безъ
пристанца“, который самъ Рейтеръ считалъ однимъ изъ лучшихъ сво-
ихъ произведеній. „Я написалъ эту книгу своею собственною кровью,
въ интересахъ страждущаго человѣчества“, говорилъ онъ. Сюжетомъ
рассказа служитъ мрачный эпизодъ изъ мекленбургской народной
жизни. Слуга, въ припадкѣ бѣшенства или изъ ненависти и ме-
сти, убиваетъ своего господина и бѣжитъ въ Америку, гдѣ ски-
тается, не находя себѣ покоя, между тѣмъ какъ оставленная имъ
невѣста, послѣ родовъ, сходитъ съ ума и кончаетъ свою жизнь
самоубійствомъ. Между тѣмъ, несмотря на такой трагическій сю-
жетъ, рассказъ не произвелъ сильнаго впечатлѣнія на читателей,
такъ-какъ онъ, въ дѣйствительности, лишенъ всякой жизненной
правды и до тошноты переполненъ патетическими мѣстами и сан-
тиментальными изліяніями. При чтеніи, рассказъ не производитъ
никакой иллюзіи, и читатель тотчасъ-же видитъ, что авторъ взялся
за дѣло, которое ему не по таланту.

Наконецъ, послѣ долгихъ блужданій и шатаній, Фрицъ Рей-
теръ выступилъ и на свою настоящую дорогу: въ концѣ 1859
года появился его хроника-романъ „Ut de Franzosentid“, от-
крывшій собою рядъ отдѣльныхъ прозаическихъ рассказовъ, вы-
ходившихъ подъ однимъ общимъ названіемъ „Olle Kamellen“ *).

*) Olle Kamellen буквально значитъ — старая ромашка. Давая своимъ произ-
веденіямъ такое названіе, авторъ хотѣлъ этимъ выразить, что онъ должны слу-
жить, нѣкоторымъ образомъ, средствомъ противъ страданій человѣческаго духа,
подобно тому, какъ ромашка въ средѣ народа служитъ испытаннымъ средствомъ
противъ всякаго рода легкыхъ страданій человѣческаго тѣла.

Романъ „*Ut de Franzosentid*“ положилъ основаніе той громадской популярности, которую теперь пользуется имя Фрица Рейтера во всей Германіи; послѣ его появленія, о Рейтерѣ заговорила вся нѣмецкая періодическая печать. Автору шлютъ привѣтственные письма, за общей подписью, люди, пользующіеся извѣстностью въ нѣмецкой литературѣ, какъ Поль Гейзе и другіе; въ Мюнхенѣ, для изученія произведеній Рейтера, образовалось общество съ большимъ числомъ членовъ; появились рапсоды, талантливыя чтенія произведеній Рейтера, которые, разѣзжая по большимъ городамъ Германіи, собирали себѣ обильную жатву и приобрѣтали Рейтеру новыхъ поклонниковъ. Для Фрица Рейтера настало время успѣха, скоро превзошедшаго его скромныя ожиданія.

Прежде всего этотъ литературный успѣхъ отразился, разумеется, на матеріальномъ положеніи Рейтера; его, до сихъ поръ очень скромная, житейская обстановка быстро измѣнилась къ лучшему. Послѣ долговременныхъ, тщетныхъ поисковъ издателя для своихъ сочиненій и послѣ опытовъ изданія ихъ на свой счетъ, — опытовъ, сопровождавшихся иной разъ траги-комическими пассажирами (такъ, одинъ разъ, какой-то штетинскій книгопродавецъ, за взятые у Рейтера экземпляры его сочиненій, прислалъ, вмѣсто наличныхъ денегъ, колбасъ, окороковъ и другой копченой снѣди), — Рейтеръ нашелъ, наконецъ, издателя, который повелъ это дѣло съ выгодой для себя и для автора, спросъ на сочиненія котораго росъ все болѣе и болѣе. Рейтеръ попалъ въ категорію немногочисленныхъ писателей, произведенія которыхъ не только читаются въ Германіи, но раскупаются и находятъ себѣ почетное мѣсто въ домашнихъ библіотекахъ. О бойкости спроса на сочиненія Рейтера можно судить по тому, что онъ впоследствии получалъ дохода 20,000 талеровъ въ годъ. Вообще, Рейтеръ представляетъ собою одинъ изъ немногихъ въ нѣмецкой литературѣ примѣровъ — писателя, пользовавшагося сравнительно громадными доходами отъ своихъ произведеній. По словамъ Отто Глогау, одного изъ біографовъ Рейтера, сочиненія его разошлись при его жизни въ количествѣ до полумиліона томовъ; за нихъ онъ получилъ отъ издателя, въ видѣ гонорара, болѣе ста тысячъ талеровъ.

Романомъ „*Ut de Franzosentid*“, написаннымъ Рейтеромъ въ пятидесятилѣтнемъ возрастѣ, онъ сдѣлалъ такой громадный шагъ впередъ, какого отъ него никто не могъ ожидать. Изъ робкаго,

начинающаго писателя, съ посредственнымъ успѣхомъ дѣлавшаго опыты въ различныхъ областяхъ поэзіи, онъ вдругъ превратился въ настоящаго художника. Мастерскою рукою воспроизводитъ онъ въ этомъ романѣ типы, столь цѣльные, жизненно-правдивые и оригинальные, что они сразу возбудили глубокій интересъ среди читающей публики. Предъ этимъ романомъ блѣднѣетъ и отступаетъ на задній планъ все написанное Рейтеромъ раньше. Мѣрная стихотворная рѣчь, повидимому, только сковывала, стѣсняла Рейтера; только отказавшись отъ нея, онъ началъ свободно и щедро изливать свой юморъ, составлявшій его дѣйствительную силу, его истинную природу. Въ этомъ романѣ, по своей законченности, представляющемъ лучшее произведеніе Рейтера, вполне обнаружился не только комическій и юмористическій талантъ его, но и умѣнье выражать трогательное и благородное, не впадая въ фальшивую сентиментальность и напыщенный пафосъ; кромѣ того, въ „Ut de Franzosentid“ больше единства дѣйствія, больше связи и соразмѣрности въ частяхъ, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ его произведеніяхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обладаетъ и недостаткомъ, присущимъ почти всѣмъ произведеніямъ Рейтера: въ немъ нѣтъ собственно героя, но ихъ нѣсколько.

Съ 1860 по 1864 годъ Фрицъ Рейтеръ написалъ всѣ свои лучшія произведенія; въ 1862 году онъ продалъ первую часть большаго романа „Ut mine Stromtid“ и свои мемуары „Ut mine Festungstid“, если можно такъ назвать его юмористически-поэтическое описаніе своихъ страданій. Мемуары эти онъ писалъ 25 лѣтъ спустя, будучи свободнымъ, счастливымъ и довольнымъ человѣкомъ. По прошествіи столь продолжительнаго времени, ему было трудно и даже невозможно сдѣлать, въ истинномъ смыслѣ слова, историческое описаніе 7-ми лѣтъ, проведенныхъ имъ въ крѣпостяхъ. Потому его мемуары представляютъ собою смѣсь вымысла и правды. Что правда и что вымыселъ въ этихъ мемуарахъ, — авторъ объясняетъ самъ въ письмѣ къ одному своему другу: по его словамъ, вездѣ, гдѣ онъ говоритъ о своихъ страданіяхъ, онъ передаетъ факты; истина и вымыселъ перемежались лишь тамъ, гдѣ онъ разсказываетъ веселые эпизоды изъ этого тяжелаго для него времени. Мемуары Рейтера отнюдь не іереміада или самопрославленіе; нигдѣ не изображаетъ онъ себя мученикомъ, нигдѣ не высказываетъ онъ ненависти къ своимъ преслѣдовате-

лямъ,—ненависть съ лѣтами угасла въ немъ; однако, при воспоминаніи о пережитыхъ имъ страданіяхъ, въ немъ быстро просыпается ненависть къ несправедливости, жестокости и пошлости...

Въ 1863 и 1864 годахъ вышли вторая и третья части романа „Ut mine Stromtid“, по своему объему и значенію составляющаго самое капитальное сочиненіе Рейтера. Въ немъ онъ далъ лучшее, что только могъ дать, и съ нимъ творчество его истощилось. Романъ выступаетъ изъ тѣсныхъ рамокъ этого рода поэтическихъ произведеній и примыкаетъ къ общему культурному движенію, которое въ нѣмецкой литературѣ, обыкновенно, связывается съ именемъ Густава Фрейтага. Какъ содержаніе романа „Ut de Franzosentid“ взято авторомъ изъ времени его дѣтства, изъ круга его семейства и родного города, такъ и въ „Ut mine Stromtid“ дѣйствіе происходитъ опять въ его отечествѣ и болѣею частію въ то время, когда онъ велъ бродячую жизнь. Очевидно, рассказъ основанъ на пережитомъ самимъ авторомъ, но тѣмъ не менѣе личность его отступаетъ совсѣмъ на задній планъ. Авторъ выступаетъ самъ лично лишь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, когда онъ вставляетъ въ рассказъ то или другое личное воспоминаніе. „Ut mine Stromtid“ рисуетъ намъ жизнь деревенскаго обитателя въ сѣверной Германіи, отъ колыбели до могилы, его труды и занятія, его заботы и надежды, его радости и печали. Въ романѣ дѣйствуетъ все населеніе южнаго побережья Балтійскаго моря и вступаетъ другъ съ другомъ во взаимныя отношенія; тутъ выведены дворянинъ и пасторъ, помѣщикъ и арендаторъ, трактирщикъ и крестьянинъ, поденьщикъ и бездомный скиталецъ. Каждому изъ нихъ отведено свое мѣсто, каждый въ предѣлахъ своего кружка вѣрно списанъ съ жизни. Время бродячей жизни не пропало для Рейтера даромъ: самъ не сознавая того и не предчувствуя, онъ собиралъ тогда матеріалъ для этого романа. Здѣсь вполне и надлежащимъ образомъ оцѣнено все, что испыталъ и подиѣтилъ авторъ, прожившій цѣлый десятокъ лѣтъ среди деревенскаго люда, ежедневно вступавшій съ нимъ въ сношенія на равной ногѣ, ѣвшій и пившій съ нимъ, работавшій и отдыхавшій. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что талантливый авторъ могъ правдиво изобразить нравы и обычаи деревенскаго люда.

Въ романѣ „Ut mine Stromtid“ авторъ трактуетъ о самыхъ обыденныхъ вещахъ, о самыхъ простыхъ отношеніяхъ; онъ раз-

сказываетъ просто и спокойно, но, несмотря на то, умѣетъ привлекать къ себѣ вниманіе читателя. Нѣмецкая публика встрѣтила этотъ романъ съ одушевленіемъ и восторгомъ и съ величайшимъ нетерпѣніемъ ожидала его продолженія. Но это не было лихорадочное любопытство, обыкновенно возбуждаемое тенденціознымъ или сенсационнымъ романомъ; дѣло объяснялось проще: дѣйствующія лица чрезвычайно заинтересовали читающую публику и разожгли въ ней желаніе поскорѣ видѣть и слышать ихъ снова. Этотъ маленькій мирокъ, ведущій упорную борьбу за существованіе, эти люди, работающіе не только изъ любви къ труду, но и потому, что они не могутъ существовать безъ работы, праздно, снискали себѣ глубокую симпатію нѣмецкой публики. Въѣствъ съ тѣмъ, въ этомъ романѣ талантъ Рейтера достигъ высшей, кульминаціонной точки развитія; всѣ позднѣйшія произведенія его носятъ уже на себѣ слѣды явнаго упадка таланта. Рейтеръ становится почти неузнаваемъ: его свѣжестъ и самобытность исчезаютъ; въ лучшемъ случаѣ, онъ можетъ только повторяться; юморъ его пропадаетъ, и онъ дѣлаетъ надъ собою чрезвычайныя усилія, но тщетно. Читатель замѣчаетъ, какъ авторъ хлопочетъ лишь о томъ, чтобы развить незамысловатую фабулу, какъ воображеніе измѣняетъ ему, и онъ съ трудомъ можетъ протянуть нить дѣйствія. Дѣйствующимъ лицамъ не достаетъ живости и жизненной правды: это все прозаическія, тривиальныя фигуры. Къ этой категоріи принадлежатъ два послѣднія произведенія Рейтера: „Dörchlänchtling“ и „De Mecklenbörgschen Montechi un Kapuletti oder de Reis' nah Konstantinopol“, изъ которыхъ первое вышло въ 1866 г., а послѣднее въ 1868 году. Послѣ этого, Фрицъ Рейтеръ не писалъ уже ничего до самой смерти въ 1874 году, за исключеніемъ нѣсколькихъ патріотическихъ стихотвореній, которыми онъ откликнулся на событія 1870 года.

Самую блестящую пору своей литературной дѣятельности Фрицъ Рейтеръ провелъ въ Ней-Бранденбургѣ, маленькомъ городкѣ въ герцогствѣ мекленбургъ-стрелицкомъ, гдѣ въ первое время онъ долженъ былъ давать уроки, для увеличенія своихъ матеріальныхъ средствъ. Только черезъ 3 года по переселеніи туда, онъ получилъ возможность вести безбѣдную жизнь, не давая уроковъ, пользуясь одними доходами отъ продажи своихъ сочиненій. Въ Ней-Бранденбургѣ у Фрица Рейтера была масса знакомыхъ; онъ

былъ самую популярною личностью въ городѣ. Но лучшими друзьями его были школьники, гимназисты старшихъ классовъ. Когда гимназисты устраивали свой ежегодный, такъ-называемый, „Turnfahrt“, Рейтеръ надѣвалъ на себя дорожную сумку и фляжку и, вооружившись узловатою палкой, подъ веселыя пѣсни, отправлялся съ юношами въ поле, принося съ собою въ юношескую компанію оживленіе и веселость. По прежнему, Рейтеръ былъ усерднымъ посѣтителемъ трактировъ, гдѣ онъ много пилъ, сходясь при этомъ съ полуобразованными людьми, среди которыхъ иной разъ онъ находилъ оригиналовъ, которыхъ выводилъ въ своихъ произведеніяхъ. Послѣ каждаго запоя, онъ по цѣлымъ недѣлямъ страдалъ физически и нравственно, горько жаловался на свою судьбу, жалѣлъ свою жену. Выздоровѣвъ, онъ опять брался за перо и работалъ прилежно, усидчиво. Иногда онъ пилъ и во время работы и тогда, подъ вліяніемъ алкоголя, писалъ лучшія вещи; въ такія минуты онъ рассказывалъ далеко занимательнѣе, чѣмъ въ трезвомъ состояніи. Съ теченіемъ времени, у него расплодилось въ городѣ столько пріятелей и товарищей по бутылкамъ, что жена, желая избавиться отъ нихъ, убѣдила Рейтера переселиться куда-нибудь въ другое мѣсто, тѣмъ болѣе, что, отъ неумѣреннаго употребленія крѣпкихъ напитковъ, здоровье его начало расшатываться. И дѣйствительно, лѣтомъ 1863 г. чета Рейтеровъ переселилась въ Эйзенахъ, при подошвѣ Вартбурга, гдѣ Рейтеръ купилъ себѣ мѣсто для постройки дома. Весною 1864 г. Рейтеръ предпринялъ, для поправленія здоровья, путешествіе на востокъ—въ Константинополь и Смирну; однако, это путешествіе не поправило его здоровья; напротивъ, только утомило его.

Много и тяжело страдалъ Рейтеръ физически; но велики были нравственныя утѣшенія, которыя доставляли ему слава и почести, воздаваемые соотечественниками. Въ 1867 году одно ученое учрежденіе назначило Рейтеру премию за романъ „Ut mine Stromtid“. Родной городъ Штавенгагенъ посадилъ въ честь его дубъ, и въ зданіи ратуши, гдѣ родился талантливый юмористъ, въ память этого событія поставилъ мраморную доску. Близъ Эльгерсбурга, въ тюрингенскомъ лѣсу, недалеко отъ „скалы Гёте“, Рейтеру была подарена скала и названа его именемъ. Въ 1863 году ростокскій университетъ поднесъ Рейтеру почетный

дипломъ доктора философіи, въ знакъ уваженія къ „знаменитѣйшему мекленбургскому писателю“. Многіе торговые корабли получили названіе „Фрицъ Рейтеръ“ и разносятъ славу его имени далеко за моря. Для изученія его произведеній, въ различныхъ городахъ Германіи основались ферейны, которые ежегодно торжественно празднуютъ день рожденія Рейтера. Сцены изъ его произведеній сдѣлались любимыми сюжетами для большихъ картинъ. Самыя произведенія Рейтера распространены не менѣе, чѣмъ произведенія нѣмецкихъ классиковъ, среди высшихъ и низшихъ слоевъ нѣмецкой публики. Ихъ можно видѣть въ рукахъ нѣмецкой знати, помѣщиковъ и арендаторовъ, купцовъ и чиновниковъ, школьныхъ учителей и трактирщиковъ. И не въ одной Германіи читаются онѣ, но вездѣ, гдѣ только живутъ нѣмцы, за Атлантическимъ океаномъ, въ преріи, въ блокаузѣ... Герои Рейтера сдѣлались народными, выраженія ихъ превратились въ пословицы. Однако, всѣ почести и отличія нисколько не измѣнили Фрица Рейтера; онъ всю жизнь оставался простымъ, скромнымъ человѣкомъ, другомъ дѣтей и мелкаго люда.

Весною 1868 года Фрицъ Рейтеръ поселился въ собственной виллѣ, постройка которой стоила около 30,000 талеровъ. Каждый туристъ, проѣзжавшій чрезъ Эйзенахъ, желалъ видѣть знаменитаго человѣка, сказать ему нѣсколько лестныхъ словъ; многіе терзали, мучили его пустыми разговорами или докучливыми разспросами, такъ-что онъ, наконецъ, при входѣ на свою виллу сдѣлалъ на доскѣ слѣдующую, нѣсколько странную надпись: „Д-ръ Фрицъ Рейтеръ. До обѣда не разговаривать“. Знаменитый юмористъ желалъ, по крайней мѣрѣ, до обѣда оставаться въ покоѣ, но многіе и тогда проникали въ домъ или осаждали его до тѣхъ поръ, пока ихъ не впускали. Непрошенные гости не давали ему покоя даже и во время болѣзни.

Неумѣренное употребленіе крѣпкихъ напитковъ, отъ которыхъ онъ не отказывался до самой смерти, въ-концѣ концовъ совершенно разстроило его здоровье, такъ-что возстановить его ему не удалось уже никакими леченіями. Весною 1874 года съ Рейтеромъ сдѣлался ударъ, и онъ лишился употребленія ногъ. Послѣ этого, силы Рейтера начали быстро падать, и 12 іюля 1874 г. онъ умеръ.

Своимъ развитіемъ, знаніемъ жизни и людей Рейтеръ болѣе

всего обязанъ своему личному характеру, умѣнью сходитья съ людьми, способностью возбуждать къ себѣ любовь и уваженіе. Въ школѣ и изъ книгъ онъ научился немногому. Судьба не баловала его; она толкала его то туда, то сюда и загнала въ пропасть, изъ которой онъ спасся только случаемъ. Долгіе годы жизни въ тюрьмѣ, шатанія съ мѣста на мѣсто безъ опредѣленныхъ занятій, годы учительства, доставили ему цѣлое сокровище знаній, незамѣтно развили въ немъ поэтическое дарованіе. И на его творчество никто не имѣлъ вліянія. Ни съ кѣмъ онъ не разговаривалъ ни о своихъ планахъ и проектахъ, ни о своихъ книгахъ и успѣхахъ. Только написанное уже онъ читалъ своимъ знакомымъ, но ко всякимъ возраженіямъ былъ чувствителенъ и рѣдко отвергалъ даже фактическія замѣчанія и указанія. Не по собственному вдохновенію, а только подъ вліяніемъ другихъ, онъ взялся въ первый разъ за перо писателя; очевидно, у него не доставало честолюбія, а равно и увѣренности въ себѣ. Собственнымъ творчествомъ Фрицъ Рейтеръ былъ бѣденъ; онъ не могъ придумать длинной фабулы; вмѣсто того онъ пользовался чужимъ матеріаломъ, но умѣлъ придать ему особенную окраску, переработать его по-своему. Если Фрицъ Рейтеръ бѣденъ воображеніемъ, зато онъ необыкновенно богатъ героями и характерами. Почти необозримый рядъ образовъ проходитъ предъ глазами читателя въ его произведеніяхъ. Рейтеръ умѣлъ характеризовать своихъ героев нѣсколькими штрихами. Какъ ни многочисленны у него дѣйствующія лица, но каждое изъ нихъ имѣетъ свой особый рѣзкій отпечатокъ, стоитъ живымъ предъ глазами читателя, и всѣ онѣ, въ особенности юмористическія, возбуждаютъ тотчасъ-же его симпатію, приковываютъ къ себѣ его вниманіе. Эта полнота и это разнообразіе характеровъ свидѣтельствуютъ о богатомъ опытѣ автора и необыкновенной наблюдательности его.

Фрицъ Рейтеръ хорошо знаетъ горе, разрушающее вѣру въ лучшій міръ. Онъ знаетъ слабости и пороки и умѣетъ выставить ихъ; но знаетъ онъ и внутреннія добрыя качества человѣка и умѣетъ показать ихъ читателю. Его характеры правдивы; онъ представляетъ ихъ читателю, каковы они есть, безъ всякихъ прикрасъ; все, что они дѣлаютъ, поражаетъ читателя, возбуждаетъ смѣхъ, трогаетъ. Любовь къ правдѣ у Рейтера соединяется съ

сердечною добротою. Положивъ его книгу, читатель вздыхаетъ свободнѣе, люди кажутся ему милѣе. Читатель чувствуетъ себя болѣе близкимъ къ природѣ и родственнымъ ей. Маленькій мірокъ открываетъ читателю юмористъ, но мірокъ достойный существованія“ *). Такъ характеризуетъ Рейтера извѣстный нѣмецкій критикъ Юліанъ Шмидтъ, и этою характеристикомъ мы закончимъ нашъ біографическій очеркъ Фрица Рейтера.

*) Julian Schmidt. Neue Bilder aus den geistigeneben unserer Zeit.

БЕЗДОМНЫЙ.

РОМАНЪ.

(Окончаніе).

ГЛАВА X.

Недѣли проходили за недѣлями — безконечно-длинные, мучительныя недѣли!

Въ тотъ день, когда нѣмецкая армія обогнула арку Звѣзды и спустилась по Елисейскимъ полямъ, сержантъ маршевыхъ батальоновъ пришелъ навѣстить своего брата.

— Пруссакамъ, сказалъ онъ, — все-таки не достанутся наши пушки съ Пасси и Марсова поля. Вчера мы успѣли перетащить ихъ на Монмартръ.

Минуло шесть недѣль съ того дня, какъ Поль получилъ рану. Хирургъ сдѣлалъ послѣднюю операцію и сказалъ: „черезъ нѣсколько дней вы можете смѣло встать, а до тѣхъ поръ—полнѣйшее спокойствіе“. Гренье навѣщалъ теперь своего молодого пріятеля каждый день; онъ сообщилъ ему, что получилъ письмо изъ дома отъ своей матери и что тамъ все здоровы. Письма изъ провинцій, дѣйствительно, стали получаться; Поль тоже не оставался безъ нихъ. Эдмонъ писалъ ему нѣсколько разъ; Мишонъ тоже поздравилъ его съ храбрымъ поведеніемъ во время войны, и подъ этимъ письмомъ дрожащая рука Селины приписала нѣсколько словъ. Двадцать разъ въ день молодой человѣкъ перечитывалъ эти слова. Его, стало быть, по-прежнему любили, и онъ любилъ. Отъ него одного теперь зависѣло взглянуть на эти прошедшіе шесть мѣсяцевъ, какъ на дурной сонъ,

снова вернуться къ прерванному счастью, снова приняты за осуществленіе приостановленныхъ плановъ. Отчего-же сердце его не ощущало прежней радости? Отчего, видя предъ собою свѣтлое будущее, онъ не находилъ уже въ себѣ счастливаго энтузіазма своей природы?

Иногда онъ пытался сбросить съ себя это бремя унынія и разочарованія. „Что мнѣ за дѣло, — думалъ онъ, — до этой страны, которая сама отдаетъ себя на гибель? Чѣмъ общественное униженіе можетъ нарушить счастье отдѣльныхъ личностей? Побѣждаетъ нація или падаетъ передъ непріателемъ, — развѣ это можетъ служить основаніемъ для того, чтобы влюбленные начинали меньше любить другъ друга, чтобы семейная жизнь утрачивала свою прелесть?.. Меня погубила, — продолжалъ онъ, — картина Парижа въ сентябрѣ. Я пережилъ безумный сонъ. Но теперь, когда я проснулся, прежнее время возвратится. Развѣ годъ тому назадъ я заботился хоть сколько-нибудь о свободѣ, объ отечествѣ, о справедливости? Въ то время я довольствовался подобіемъ любви. Теперь меня будетъ удовлетворять любовь дѣйствительная. Мои товарищи поступаютъ очень благоразумно, стараюсь забыть про войну и думать только о томъ, какъ-бы поскорѣе вернуться домой“...

Онъ вызывалъ образъ Селены, онъ видѣлъ передъ собою это чистое лицо ребенка, съ его перламутровой кожей и сіяніемъ изъ золотыхъ волосъ; кузина Марта была подлѣ нея, и обѣ онѣ, стоя на порогѣ сѣраго домика, говорили ему: „вернись!“ Старикъ Мишонъ находился тутъ-же и ожидалъ его съ ласковой, отеческой улыбкой.

— Но вѣдь это истинное блаженство, говорилъ себѣ молодой человѣкъ, — блаженство!

И онъ негодовалъ на самого себя за то, что не ощущалъ полного счастья...

2-го марта Парижъ узналъ о заключеніи мира. Гренъ вошелъ въ лазаретъ блѣдный, какъ смерть. Поль протянулъ къ нему руки.

— А, вы тоже страдаете, сказалъ онъ; — бѣдный мой другъ!

— Ничего, это пройдетъ... Только, надо правду сказать, сильно меня эта штука ошеломила. Сидѣлъ я у цирюльника, ждалъ своей очереди побриться и слушалъ, что толковали другіе. Былъ

тутъ одинъ баринъ, который, какъ видно, зналъ всё дѣла, и объяснялъ, почему мы подписали миръ: во-первыхъ, Парижъ сдался, чтобъ не умереть съ голода; затѣмъ всё наши войска были или въ плѣну, или побиты; ни денегъ, ни времени, чтобъ составить новыя арміи; половина Франціи въ рукахъ пруссаковъ, — что-жь тутъ подѣлаешь?.. Этотъ баринъ говорилъ тоже, что Франція — страна совсѣмъ безъ горъ, вся плоская, съ большими городами, рѣками, желѣзными дорогами, такая, говорить, страна, въ которой нельзя вести партизанскую войну, какъ въ другихъ земляхъ, напримѣръ, въ Испаніи, во время Наполеона. Ну, словомъ, объяснялъ такъ, что всё съ нимъ соглашались. Только вдругъ одинъ рабочій, котораго только-что кончили брить, встаетъ, вытираетъ лицо салфеткой и говоритъ: „Это пустяки! А по-моему, мира подписывать не слѣдовало“. — „Такъ что-же слѣдовало дѣлать; спрашиваютъ другіе, — если сопротивляться нельзя было?“ — „А вотъ что слѣдовало сказать пруссакамъ: вы сильнѣе, ну, такъ оставайтесь у насъ, грабьте насъ, жгите, убивайте, дѣлайте, что хотите, но мы не подпишемъ“...

— А! вскричалъ Поль, — наконецъ!

— Онъ только эти слова и сказалъ. Но сказалъ такъ, что всё, которое были тутъ, стали за него. А я, — вы вѣдь знаете, какъ я люблю свою матушку и каково-бы мнѣ было, если-бы пруссаки вломились въ нашу ферму, — я, однако, взялъ этого рабочаго за руку и говорю ему: „вы славный человекъ, и все, что вы сказали, сущая правда...“

— Да, истинная правда! Но не одинъ языкъ, а сто тысячъ языковъ должны были-бы бросить ее въ лицо холоднымъ и вялымъ эгоистамъ! Бѣдная Франція, бѣдный Парижъ! Вы погибли навсегда! Мы лишились своего сердца!

— Что такое? произнесъ чей-то голосъ.

Это былъ сержантъ маршевыхъ, батальоновъ, стоявшій у постели своего брата и слушавшій весь разговоръ между Гренье и Полемъ.

— Что такое? повторилъ онъ. — Мы лишились своего сердца. Парижа? Кто это сказалъ? Должно быть, у людей память коротка. Развѣ Парижъ пріѣтствовалъ наполеоновскій *суп д'ѣта*? Развѣ Парижъ вернулъ во Францію Бонапартовъ? Въ эти ужасные девятнадцать лѣтъ, съ перваго до послѣдняго дня, кто воевалъ

съ наполеоновской имперіею, какъ не мы, парижане? Мы, что-ли, объявили эту войну? Ужь, конечно, нѣтъ! Зато кто 4-го сентября потребовалъ себѣ оружія? Мы всѣ, сколько насъ есть, — артисты, купцы, буржуа, рабочіе! Кто, изнемогая отъ голода и усталости, говорилъ, однако, 1-го февраля своимъ депутатамъ: „мы обязываемъ васъ не вступать ни въ какіе мирные переговоры съ непріателемъ“? Мы, опять-таки мы! Впродолженіи пяти мѣсяцевъ осады мы говорили, повторяли тысячу разъ: „заставляйте насъ терпѣть холодъ, голодъ, нищету, все, что хотите; за это мы просимъ у васъ одной только милости: пустите насъ драться!“ Въ этой милости намъ отказали. И вотъ теперь надъ нами издѣваются! Говорятъ, что Парижъ недостойнъ оставаться столицей Франціи! Насъ чураются, точно зачумленныхъ казихъ! А знаете, за что? За то, что Парижъ — патриотъ, что Парижъ — республиканецъ! Ну да, это правда, мы хотѣли войны; ну да, Парижъ — республиканецъ! Все, что мы уже вынесли, что перетерпѣли, что еще придется намъ вытерпѣть, — все это для насъ вздоръ, если не тронуть республики!.. Но если кто наложитъ на нее руку!.. О, пусть только попытается наложить... тогда...

Поль, тронутый до глубины души этимъ крикомъ скорби, сжалъ руки сержанта въ своихъ и сказалъ:

— Что-бы ни случилось, я никогда не отстану отъ васъ!..

ХІ.

Между тѣмъ, въ маленькомъ сѣромъ домикѣ, куда рвалась душа Поля и гдѣ двѣ молодыя дѣвушки не переставали говорить о немъ и ждать его, — положеніе дѣлъ приняло нѣсколько другой видъ. Однимъ изъ усерднѣйшихъ посѣтителей семейства нотаріуса сдѣлался другъ отсутствующаго жениха — Эдмонъ Лорестанъ. Да и какъ было ему не пріѣзжать часто, когда Поль самъ просилъ его объ этомъ? Но мало-по-малу эти посѣщенія приняли особенный характеръ. Подпрефектъ республики и бывший мэръ имперіи вели между собою долгія бесѣды, какъ бесѣдуютъ официальные личности, имѣющія претензію смотрѣть на вещи съ высшей точки зрѣнія и понимать истинную суть дѣла.

Въ этихъ бесѣдахъ Эдмону приходилось говорить о республиканскихъ чувствахъ Поля; онъ съ прискорбіемъ отзывался о его чрезмѣрной экзальтаціи. Старикъ Мишонъ, каждый разъ, какъ заходила рѣчь объ этомъ предметѣ, сердито наморщивалъ брови. Зато политическія „убѣжденія“ его собесѣдника приходились ему по-сердцу. Хамелеонъ Эдмонъ уже успѣлъ перемѣнить своего божка: удивленіе, которымъ онъ еще недавно, судя по его словамъ, былъ проникнутъ къ Гамбетѣ, перенеслось теперь на Тьера.

— Ни республика, ни монархія! восклицалъ онъ. — Франція, одна Франція!

Старикъ нотариусъ выражалъ ему свое удовольствіе за то, что онъ такъ хорошо понимаетъ и усваиваетъ уроки событій.

Миръ былъ подписанъ, но Поль не вернулся домой. Прошло еще нѣсколько времени — и Селина получила письмо, отнявшее у нея послѣднюю надежду. „Если Франція, — писалъ онъ своей невѣстѣ, — оправится отъ своего пораженія, она будетъ обязана этимъ республикѣ... Упроченіе во Франціи республиканскаго правленія — это нашъ нравственный реваншъ, первый реваншъ!.. О, моя дорогая невѣста! Не думайте, что моя любовь къ вамъ уменьшилась; напротивъ того, она заняла еще больше мѣста въ моемъ надорванномъ сердцѣ. Благодаря ей, я понялъ всю прелесть мужественныхъ рѣшеній. Я хочу, чтобы человекъ, который вернется къ вамъ, былъ достоинъ васъ“.

Марта, читая вслухъ это письмо, раздѣляла все волненіе, которымъ оно было проникнуто. Благородная симпатія оживляла ея лицо. Вдругъ она остановилась и вскрикнула:

— Что съ тобой, Селина? Развѣ ты не чувствуешь того-же, что Поль?

— Несчастный! Несчастный! отвѣчала Селина, плача; — мой отецъ никогда не проститъ ему!

— Что тебѣ за дѣло, если ты любишь его?

— Отецъ выгонитъ его изъ дому...

— Что-жъ такое? Ты останешься вѣрна ему!

— Полю непременно слѣдовало возвратиться... Ты сильнѣе меня!.. Я безъ ужаса не могу подумать, что онъ уже шесть мѣсяцевъ, какъ оставилъ насъ... Въ первый разъ я ничего не сказала, я подчинилась обстоятельствамъ. Но теперь, когда всѣ

друзья возвращаются, снова не видѣть его, снова его ждать, думать, что онъ подвергается новымъ опасностямъ, знать, что онъ навсегда разошелся съ своимъ отцомъ, — нѣтъ, Марта, это слишкомъ, этого я не въ силахъ вынести... Я, наконецъ, ненавижу его республику, я ревную его къ ней! Онъ любитъ совсѣмъ не меня! Иначе онъ былъ-бы здѣсь, со мною!

— Что-же ты думаешь дѣлать?

— Что хочешь. Я не вѣрю больше ни во что! Я ни на что больше не надѣюсь!

И бѣдное дитя громко рыдало.

На слѣдующій день пріѣхалъ Эдмонъ. Онъ тоже получилъ письмо отъ Поля и отдалъ его Мишону съ словами: „вы простите моему другу, принявъ во вниманіе его молодость, неопытность, отчаяніе, вызванное въ немъ извѣстіемъ о капитуляціи; онъ поддался увлеченію“.

Нотаріусъ прочелъ письмо, ничего не отвѣчалъ и сильно наспулся. Эдмонъ пошелъ въ садъ къ Селинѣ.

— Что сказалъ отецъ? спросила она.

— Ничего. На вашемъ мѣстѣ, я приказалъ-бы Полю возвратиться.

— Ахъ, я это уже сдѣлала!

— И...

— Онъ больше не слушаетъ меня!..

Прошло нѣсколько времени. Обѣ дѣвушки стояли у окна и ждали появленія почтальона, какъ ждали его каждое утро, когда въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома увидѣли Гренье, уже давно возвратившагося изъ Парижа. Онъ почти бѣжалъ и махалъ какою-то бумагой.

— Письмо! разомъ крикнули дѣвушки и кинулись къ нему на встрѣчу.

— Да, письмо, — письмо изъ Парижа.

— Это не его почеркъ!

Всѣ трое страшно поблѣднѣли. Марта стала читать вслухъ. Это писала какая-то незнакомая женщина. Поль принялъ участіе въ возвращеніи Парижа и былъ снова раненъ; одна пуля разбилась ружье въ его рукѣ, другая ударила его въ плечо. Изнемогая отъ боли, онъ кое-какъ перетащился на ту сторону кладбища Лашеза и, подвигаясь все дальше и дальше, упалъ, на-

нецъ, передъ однимъ изъ домовъ предмѣстья. Хозяйка и дочь ея подняли его и пріютили. Письмо было отъ одной изъ нихъ. По ея словамъ, рана не представляла никакой опасности; черезъ нѣсколько дней больной совсѣмъ оправится и тогда попытается перебраться за-границу. Женщина, писавшая подъ диктовку Поля, умоляла его друзей не писать ему, такъ-какъ письма могли быть перехвачены, а затѣмъ послѣдовали-бы непріятности, какъ молодому человѣку, такъ и его хозяевамъ...

Марта доканчивала чтеніе, когда въ комнату вошелъ Мишонъ. Онъ увидѣлъ письмо, взялъ его и прочелъ. Мишонъ, подумавъ немного, сказалъ племянницѣ: „иди въ свою комнату и жди меня тамъ“. „А ты, прибавилъ онъ, обращай къ дочери, — ступай за мной“.

Отецъ и дочь, не смѣвшая поднять глаза отъ испуга и волненія, вошли въ кабинетъ нотаріуса.

— Съ тѣхъ поръ, какъ Гренъ возвратился, началъ старикъ, — ты писала г. Адану?

— Да.

— Сколько разъ?

— Два раза.

— Ты умоляла его возвратиться?

— Да.

— И онъ не возвратился?

Селина опустила глаза и не отвѣчала.

— Если онъ не возвратился, стало быть, онъ не любитъ тебя.

— О, нѣтъ, нѣтъ, любить! Но Марта объяснила мнѣ, что онъ пожертвовалъ своею любовью тому, что считалъ своимъ долгомъ.

— А! Это Марта изволила объяснить тебѣ? У тебя очень хорошая совѣтница!

Нотаріусъ протянулъ дочери письмо, которое, за нѣсколько минутъ до того, отдала ему Марта.

— Прочти еще разъ это письмо... Хорошо... Ну, теперь постарайся сказать мнѣ, какъ ты думаешь держать себя въ отношеніи г. Адана?

— Не знаю, батюшка. Мы еще ничего не рѣшили.

— Мы, т. е. мадмуазель Марта? Ну, я тебѣ помогу. Ты ви-

дишь изъ письма, что г. Аданъ сталъ на сторону недовольныхъ капитуляціей Парижа, что онъ присоединился къ возставшимъ и навлекъ на себя подозрѣнія высшихъ властей. Оставаться ему въ Парижѣ и, пожалуй, во Франціи едва-ли возможно... Положимъ, онъ уѣхалъ, напримѣръ, въ Швейцарію. Ты съ радостью поѣхала-бы къ нему туда?

— О, съ большою, большою радостью!

— А если-бъ онъ снова попросилъ у меня твоей руки, ты согласилась-бы выйти за него? Замѣть себѣ хорошенько, что ему уже никогда нельзя будетъ возвратиться во Францію и что, сдѣлавшись его женою, ты навсегда разстанешься съ твоимъ отцомъ и твоею родиною.

Селина не отвѣчала. Нотаріусъ задумался.

— Я вижу, наконецъ сказалъ онъ, — что ты колеблешься, начинаешь понимать, что оставаться при твоихъ прежнихъ планахъ было бы съ твоей стороны неблагодарностью и безуміемъ. Послушай меня, дитя мое. Твоя мать умерла, у меня нѣтъ никого, кромѣ тебя. Ты будешь богата и счастлива, — я этого хочу. И это сдѣлается, если у тебя хватитъ силы и духу отказаться отъ этого человѣка.

— Онъ несчастливъ. Я поступила-бы нехорошо....

— Это опять слова Марты? Слушай только своего отца. Только отцы знаютъ, что нужно для счастья ихъ дѣтей. Если ты попросишь у меня согласія на эту свадьбу, я не дамъ его. Если-бы ты вздумала выйти замужъ безъ моего позволенія...

— Батюшка!

— Если-бы ты вздумала выйти замужъ безъ моего позволенія, я никогда больше не пустилъ-бы тебя къ себѣ на глаза...

Онъ на минуту остановился и потомъ продолжалъ:

— Долго говорить я считаю бесполезнымъ. Запомни себѣ только вотъ что. Ты знаешь, какъ я тебя люблю? Но если мнѣ скажутъ: „ваша дочь выйдетъ за г. Адана или умретъ“, я, не задумываясь, предпочелъ-бы твою смерть. Я умеръ-бы вслѣдъ за тобою. Всякое несчастіе лучше и легче, чѣмъ позоръ такого брака...

— Батюшка, однакожь, Марта...

— Марту я завтра отвезу въ Ліонъ; она вернется въ тотъ домъ, гдѣ выросла. Посмотримъ, будетъ-ли она тамъ заниматься республиканскою пропагандой...

— Папа, не разлучайте меня съ Мартой! Она такъ любитъ меня, такъ мнѣ предана! Мы ея единственные родственники... безъ нея я умерла-бы отъ печали и скуки... Сжальтесь надъ вашими обѣими дочерьми!

Старикъ немного подумалъ и отвѣчалъ:

— Поклонись мнѣ памятью твоей матери, что не будешь больше писать г. Адану,—и Марта останется здѣсь.

Дѣвушка съ минуту колебалась и потомъ сказала съ какимъ-то отчаяніемъ:

— Клянусь вамъ!

— И ты откажешься отъ этого человѣка?

Селина зарыдала.

— Общай мнѣ, по крайней мѣрѣ, — такое обѣщаніе всякая дочь должна давать отцу, — что не будешь скрывать отъ меня ничего и никогда не выйдешь замужъ вопреки моему желанію. Ты колеблешься, дитя мое!...

Онъ обнялъ дочь, тихо поцѣловалъ ее въ лобъ, погладилъ ея волосы и щеки.

— Поди теперь, сказалъ онъ,—дай отдохнуть этой милой головкѣ!

Селина вышла. Онъ прошепталъ:

— Этой свадьбѣ не бывать!

ГЛАВА XII.

29 іюля 1871 г. человѣкъ, въ длинной синей блузѣ съ потертыми швами и старой войлочной шляпѣ, пріѣхалъ въ Женеву съ невшатальскимъ поѣздомъ и прямо со станціи направился въ городъ. Этого человѣка нетрудно было принять за привидѣніе: длинная борода и длинные волосы увеличивали желтизну впалыхъ щекъ; глаза, казавшіяся расширившимися отъ худобы лица, блестяли болѣзненнымъ огнемъ; одна рука висѣла безъ движенія вдоль тѣла; шель онъ съ трудомъ, немного хромяя. На набережной онъ спросилъ одного изъ прохожихъ, какъ пройти на почту, и, войдя туда, справился, нѣтъ-ли писемъ на имя Фрица Левенталя.

— Откуда вы ожидаете писемъ? спросилъ почтовый чиновникъ.

— Изъ Франціи.

Произнося эти слова, голосъ пріѣзжаго дрожалъ.

— Изъ Франціи, повторилъ онъ.

— Я слышалъ. Но изъ какого мѣста Франціи?

— Изъ Бурга, въ эскомъ департаментѣ.

Чиновникъ подавъ письмо. Поль, — читатели догадались, что это былъ онъ, — дрожащею рукою, тою, которая еще дѣйствовала у него, разорвалъ конвертъ и сѣлъ на одну изъ скамеекъ, поставленныхъ вдоль стѣнъ почтовой галереи. Выраженіе его лица теперь измѣнилось; сіяніе молодости и надежды вдругъ прогнало слѣды болѣзни, скорби и усталости; на губахъ показалась улыбка.

Онъ прочелъ письмо. Улыбка исчезла, лицо опять сдѣлалось мертвенно-желтымъ. Письмо состояло изъ нѣсколькихъ строкъ:

„Милостивый государь!

„Вамъ, безъ сомнѣнія, неизвѣстно, что со времени вашего отъѣзда изъ Франціи все ваше имущество конфисковано и что поэтому я не имѣю возможности получать съ него доходъ для доставленія вамъ.

Мишонъ“.

— Еще годъ тому назадъ онъ отдавалъ мнѣ свою дочь!.. Теперь я безпріютный скиталецъ!..

Болѣе часа просидѣлъ онъ тутъ, какъ ошеломленный, ничего не вида и не слыша. Прохожіе останавливались передъ нимъ и дѣлали свои заключенія:

— Разбойникъ, замышляющій какую-нибудь скверную штуку говорилъ одинъ.

— Пьяница, неизбѣжій чѣмъ опохмѣлиться! замѣчалъ другой.

— Несчастный, получившій печальное извѣстіе! съ состраданіемъ прошепталъ женскій голосъ.

Наконецъ, Поль вышелъ изъ своего забытья. Онъ сдѣлалъ движеніе энергической рѣшимости и двинулся дальше. Но силы измѣнили ему, ноги едва переступали съ мѣста на мѣсто. Онъ смотрѣлъ на вывѣски лавокъ и, повидимому, тревожился, не находя того, чего искалъ. Наконецъ, въ улицѣ Нѣмцевъ онъ остановился передъ грязною лавченкою, на дверяхъ которой были навѣшаны старья платья. Войдя въ эту трущобу, молодой человекъ съ трудомъ стащилъ съ себя блузу, потомъ снялъ жилетъ и, не говоря ни слова, протянулъ его хозяину лавки, съ любопытствомъ слѣдившему за всѣми его движеніями. Хозяинъ по-

нялъ; онъ взялъ жилетъ, тщательно осмотрѣлъ его и потомъ сказалъ:

— Три франка.

Поль, продолжая молчать, протянулъ руку. Получивъ три франка, онъ снова надѣлъ блузу, вышелъ и направился дальше. Скоро онъ опять остановился передъ дверью, надъ которою висѣлъ красный фонарь, украшенный надписью: „Меблированные комнаты. Ресторанъ“. Несчастный спустился по каменной лѣстницѣ и очутился въ сырой, темной, узкой комнатѣ, уставленной столиками. Онъ тяжело опустился на скамейку и сказалъ: „Бѣсть. Постель“. Но не успѣлъ онъ проглотить нѣсколько кусковъ, какъ свинцовый сонъ одолѣлъ его. Служанка сжалилась надъ нимъ; она позвала гарсона, и оба они, взявъ бѣднаго больного подъ руки, помогли ему взобраться на лѣстницу и растянуться на дрянномъ и страшно засаленномъ тюфячишкѣ.

Путешественникъ проснулся только на слѣдующій день, и когда расплатился, въ карманѣ у него осталось всего нѣсколько су. На нихъ онъ купилъ хлѣба и, спрятавъ его подъ блузу, нахлобучивъ шляпу, пошелъ снова бродить по городу. Веселый шумъ толпы, — день былъ воскресный, — яркій блескъ солнца, почти душливая жара скоро утомили его еще болѣе. Онъ опустился на одну изъ скамеекъ набережной и напрасно старался привести въ порядокъ, связать свои мысли. А между тѣмъ онъ чувствовалъ, сознавалъ необходимость подробно и точно обсудить свое положеніе. Гдѣ найти поддержку? На кого рассчитывать? Наканунѣ, выйдя изъ вагона на женевской станціи, онъ считалъ себя богатымъ. Изнемогая отъ усталости, страдая отъ своихъ двухъ ранъ, дурно одѣтый, онъ, однако, не падалъ духомъ въ увѣренности на скорую переѣзду: изъ Бурга нотаріусъ пришлетъ ему денегъ; нѣсколько недѣль отдыха и довольства возстановятъ упавшія силы; правда, у него отнята возможность возвратиться на родину, но онъ поселится гдѣ-нибудь на границѣ, въ разстояніи нѣсколькихъ часовъ отъ своихъ друзей; при сознаніи исполненнаго долга и воспоминаніи о вынесенныхъ опасностяхъ, жизнь сдѣлается еще когда-нибудь для него прекрасною; скитальчество когда-нибудь да прекратится, — вѣдь отецъ Селины слишкомъ любитъ ее для того, чтобы на-вѣки разлучить ее съ возлюбленнымъ...

Съ такими мыслями вступилъ бѣдный поэтъ на женевскую землю. Письмо Мишона поразило его въ голову и въ сердце. Все рушилось! Имущество конфисковано, невѣста отнята. Вѣчная нищета, вѣчное скитальчество и вѣчное одиночество!.. Этотъ ударъ ошеломилъ Поля. Притупилось тѣло, притупился духъ, — все точно замерло... Здоровый, сытный обѣдъ, постель въ свѣтлой и свѣжей комнатѣ, два слова: „она, по-прежнему, любитъ тебя“, — и молодой человѣкъ былъ-бы спасенъ. Но у него ничего не было. Онъ доѣдалъ послѣдній кусокъ хлѣба, и въ карманѣ не оставалось ни гроша... Черезъ нѣсколько часовъ наступитъ ночь. Гдѣ же онъ привлонитъ голову? Въ какую дверь рѣшится постучаться онъ въ такомъ видѣ, безъ платья, безъ бѣлья? Придется, можетъ быть, протянуть руку и просить милостыни? Или подождать, чтобъ его арестовали, какъ бродягу, и дали даровое помѣщеніе?..

Все это Поль смутно чувствовалъ и говорилъ себѣ: „надо на что-нибудь рѣшиться, надо придумать что-нибудь, надо непременно сдѣлать то, на что рѣшусь“. И онъ искалъ, искалъ — и не находилъ ничего. Утомленный мозгъ отказывался отъ работы... А въ это время картины прошлаго вертѣлись передъ нимъ пестрымъ калейдоскопомъ. Машинально, апатически повторялъ онъ: „Селина! Марта! Эдмонъ!“ и продолжалъ сидѣть на той же скамьѣ, на берегу озера, какъ-то бессмысленно, неподвижно глядя на крошки хлѣба, лежавшія на его блузѣ...

Наступилъ вечеръ. Полю захотѣлось ѣсть. Онъ всталъ и пошелъ. Черезъ нѣсколько времени слабость заставила его прислониться къ стѣнѣ одного дома. Мимо него прошли два человѣка. Въ ихъ разговорѣ Поль разслышалъ слово „Парижъ“.

— Господа! сказалъ онъ.

Проходившіе обернулись.

— Извините, пожалуйста... Вы говорили о Парижѣ. Не знаете-ли, гдѣ здѣсь собираются французскіе изгнанники?

— Знаешь, отвѣчалъ одинъ изъ нихъ. — Мы сами изгнанники.

— Меня зовутъ Поль Аданъ. Я былъ раненъ два мѣсяца тому назадъ подъ стѣнами Парижа, потому я видѣлъ униженіе моей родины, еще болѣе унижительный миръ; я не вынесъ всего этого, горячо протестовалъ и изгнанъ изъ отечества.

Лица этихъ двухъ человѣкъ поблѣднѣли, глаза свергнули; они пожали руки Полю.

- Пойдемте съ нами, сказалъ старшій;— мы проведемъ васъ.
— Это немного далеко, прибавилъ другой, — дайте мнѣ руку.

ГЛАВА XIII.

Въ томъ домѣ, куда привели Поля, онъ встрѣтилъ горячее сочувствіе и полную готовность помочь ему; но всѣ эти люди были бѣдны, — бѣдны почти такъ-же, какъ онъ самъ. Когда онъ разсказалъ свою исторію и опустился на скамью въ изнеможеніи, почти безъ чувствъ, когда приведшіе его сообщили, что нашли его прислонившимся къ стѣнѣ и едва-едва державшимся на ногахъ, что ему негдѣ даже переночевать, что онъ, можетъ быть, не ѣлъ со вчерашняго дня, — тогда нѣсколько рукъ опустились въ карманы, къ тощимъ кошелькамъ.

— Не нужно, сказалъ одинъ рабочій съ загорѣлымъ и энергическимъ лицомъ, — предоставьте это мнѣ!

Онъ подошелъ къ Полю и, сѣвъ подлѣ него, сказалъ:

— Вы меня не знаете, но я васъ знаю. Я не имѣю ни жены, ни дѣтей и зарабатываю въ день отъ шести до семи франковъ. Мы подѣлился моими двумя тюфяками и будемъ ѣсть вмѣстѣ до тѣхъ поръ, пока вы, дастъ Богъ, устроитесь какъ-нибудь. Идетъ, что-ли?

Поль поднялъ на него тусклые глаза и хотѣлъ что-то отвѣчать. Рабочій остановилъ его словами.

— Вы огорчаете меня отказомъ.

Молодой человѣкъ положилъ свои руки въ руки своего новаго друга, и они отправились.

Рабочій занималъ большую, свѣтлую комнату на набережной Живыхъ-Водъ. Изъ окна видъ открывался широко на озеро. Подѣливъ тюфяки, хозяинъ потребовалъ, чтобы гость взялъ въ свое распоряженіе кровать. Онъ помогъ Полю улечься, устроилъ ему поудобнѣе подушку и сидѣлъ около него до тѣхъ поръ, пока тотъ не заснулъ. Глубокое состраданіе овладѣло имъ при видѣ этого мертвеннаго изнеможенія, этого тяжелаго, болѣзненнаго сна. „Бѣдное дитя!“ повторялъ онъ и, наконецъ, уснулъ самъ, раставившись на тюфякѣ, положенномъ на полъ въ углу комнаты.

Когда Поль проснулся, солнце стояло уже высоко. Рабочаго не было дома, — онъ отправился въ свою мастерскую. Молодой человѣкъ открылъ окно. На небѣ не было ни облачка; легкій вѣтерокъ освѣжалъ воздухъ; звуки, доносившіеся изъ отдаленнаго города, смѣшались въ однообразномъ шопотѣ. Эта благодатная тишина природы хорошо подѣйствовала на настроеніе больного. Онъ долго сидѣлъ у окна, находя отраду въ своей слабости, освободившейся отъ физической боли. Его состояніе было похоже на состояніе выздоравливающаго.

— Мнѣ лучше, говорилъ онъ самъ себѣ, — я могу думать.

Двѣ потребности представились ему въ неотразимой настоятельности. Во-первыхъ, узнать все, что произошло въ домѣ нотариуса за этотъ послѣдній мѣсяцъ. Ограничился-ли гнѣвъ старика Мишона однимъ Полемъ или обрушился въ такой же степени на дочь и племянницу? Молодой человѣкъ не сомнѣвался въ любви Селины, но онъ зналъ ея слабость; бѣдное дитя страдало изъ-за него, для него. Ждать долѣе было невозможно; необходимо узнать, что тамъ дѣлается. Вторая потребность, менѣе возвышеннаго свойства, была, однако, не менѣе настоятельною и безотлагательною. Для того, чтобы жить, нанять квартиру, купить бѣлья и платья, нельзя было обойтись хоть безъ небольшихъ денегъ. Въ такомъ видѣ, въ такомъ костюмѣ невозможно показаться на улицу, а тѣмъ болѣе пойти куда-нибудь просить должности, занятія.

Одинъ только человѣкъ могъ въ одно и то-же время удовлетворить обѣимъ этимъ потребностямъ. Это былъ Эдмонъ. Правда, Поль соображалъ, что политическія причины разъединили теперь двухъ друзей; но онъ также былъ убѣжденъ, что Эдмонъ не поступитъ безжалостно съ побѣжденнымъ, взгляды котораго, болѣе крайніе, чѣмъ его собственные, были, однако, въ сущности одни и тѣ-же. И скиталецъ написалъ длинное письмо къ подпрефекту. Онъ рассказалъ ему все до послѣдней подробности, говорилъ, какъ брату, о своихъ душевныхъ волненіяхъ и своей нищетѣ.

Часу въ первомъ дня возвратился хозяинъ квартиры. Онъ принесъ завтракъ и, какъ наканунѣ, старательно ухаживалъ за своимъ больнымъ. Тронутый Поль, желая доказать доброму чело-

вѣку хотъ чѣмъ-нибудь свою благодарность, прочелъ ему письмо къ Эдмону и разсказалъ свою исторію.

Отвѣтъ подпрефекта не заставилъ себя ждать. Черезъ три дня почтальонъ вручилъ Полю страховое письмо со вложеннымъ въ него билетомъ въ пятьсотъ франковъ. О, какъ забилось сердце молодого человѣка, когда онъ сорвалъ печать! Этотъ билетъ былъ больше, чѣмъ деньги, — онъ доказывалъ, что другъ не измѣнилъ, онъ являлся, стало-быть, олицетвореніемъ вѣры, надежды, молодости!.. Но само письмо оказалось довольно лаконическимъ. Подпрефектъ сообщалъ въ короткихъ словахъ, что самъ Тьеръ, собственными устами, обѣщалъ ему въ скоромъ времени мѣсто префекта, что онъ много работаетъ и рѣдко посѣщаетъ семью нотариуса, что ему всегда будетъ очень пріятно получать извѣстія отъ стараго друга. Вотъ и все. Напрасно Поль нѣсколько разъ читалъ и перечитывалъ эти строки, онъ не нашелъ ничего больше въ нихъ, ни между ними.

— Предстоящая префектура совсѣмъ поглотила его, говоритъ онъ себѣ, разсуждая объ Эдмонѣ, — влюбленный понялъ-бы меня!

Грусть снова вернулась къ нему, но онъ скоро оправился:

— Нѣтъ, нѣтъ, я не хочу поддаваться унынію! Я напишу къ Гренъе, напишу прямо къ ней. Ни одинъ отецъ не можетъ помѣшать въ такомъ случаѣ; она любитъ меня, она отвѣтитъ мнѣ...

Онъ вышелъ изъ дома, купилъ бѣлья и платья, побрился и причесался. Рабочій, возвратившись вечеромъ, не узналъ своего квартиранта въ изящномъ джентльменѣ, котораго онъ засталъ у себя въ комнатѣ... Нищета принижаетъ тѣхъ, на кого она обрушивается. Но въ хорошо воспитанномъ, привыкшемъ къ хорошей жизни человѣкѣ, къ этому приниженію присоединяется чувство сравненія между тѣмъ, что онъ былъ, и тѣмъ, что сталъ, и это чувство совершенно парализуетъ его, отнимаетъ всякую энергію, доводитъ до апатіи въ отношеніи къ себѣ. Съ возвращеніемъ перваго луча матеріальнаго благосостоянія, противоположность обнаруживается съ такою-же силою: опущенный и смущенный взглядъ подымается и становится смѣлѣе; движенія пріобрѣтаютъ прежнюю гибкость; съ возможностью дѣйствовать возвращается и желаніе дѣятельности.

Поль, увидя себя въ прежнемъ приличномъ видѣ, снова ощутилъ въ себѣ бодрую силу своего возраста и своей натуры.

— Я веду васъ сегодня обѣдать, сказалъ онъ новому другу;— за десертомъ мы потолкуемъ.

Они вошли въ ресторанъ и усѣлись у окна, откуда видъ открывался на озеро. Обѣдъ шель весело, оживленно. Бѣлая скатерть, хорошая сервировка, вкусный столъ дѣйствовали на Поля и, помимо его вѣдома, довершали дѣло воскресенія, начатое у портного и парикмахера. Онъ разсказалъ собесѣднику свои планы до войны.

— Какъ только я полюбилъ, я понялъ величіе и прелесть труда. То, чѣмъ я хотѣлъ заняться въ то время по требованію чести, чтобы сдѣлаться достойнымъ моей невѣсты, то-же самое пытаюсь я дѣлать теперь еще по одной причинѣ—по необходимости зарабатывать насущный хлѣбъ. Къ несчастію, я не имѣю такой профессіи, какъ вы. Заняться здѣсь адвокатурой—для меня немислимо: у меня нѣтъ средствъ выжидать кліентовъ. Остается одинъ шансъ— найти какое-нибудь, хоть самое скромное мѣстечко въ какой-нибудь конторѣ или компаніи. Женева— городъ торговый и промышленный; здѣсь, я думаю, даже иностранцу нетрудно добыть себѣ занятіе.

— Труднѣе, чѣмъ вы полагаете. Но вы правы, и попытайтесь вамъ слѣдуетъ. Только совѣтую—берегите ваши деньги.

ГЛАВА XIV.

На слѣдующее утро, видя все въ розовомъ свѣтѣ, полный вѣры въ будущность, имѣя точкою опоры нѣсколько золотыхъ монетъ, брэнчавшихъ въ его карманѣ, Поль началъ обходить жевевскихъ банкировъ, выписавъ по адресной книгѣ ихъ адреса.

Первый блинъ вышелъ комомъ. Банкиръ, маленькій человѣчекъ, нараженный почему-то съ утра во фракъ и шелковый жилетъ, широко раскрытый на груди, на которой сверкали три бриліантовыя запонки, съ веселымъ, сіяющимъ, розовымъ лицомъ, — разсыпался въ любезностяхъ, но когда выслушалъ исторію просителя, то еще болѣе разсыпался въ извиненіяхъ... Разница въ политическихъ убѣжденіяхъ! Притомъ проситель — католикъ! А

банкиръ—тоже католикъ. И вдругъ—два католика такихъ диаметрально-противоположныхъ убѣжденій!.. Невозможно, рѣшительно невозможно!..

„Не туда попалъ! думалъ Польша, выходя на улицу; — какъ видно, мнѣ слѣдуетъ обратиться къ протестанту“.

Второй банкиръ былъ субъектъ иного свойства. Онъ напоминалъ собою старика Мишона: та-же длинная, холодная и сухая физиономія, тотъ-же сдержанный видъ, тотъ-же черный костюмъ. Этому до католицизма Поля не было никакого дѣла, такъ-какъ онъ былъ кальвинистъ, но изъ разсказа молодого человѣка онъ почему-то вывелъ заключеніе, что передъ нимъ стоитъ существо, насквозь проникнутое атеизмомъ и, поднявъ глаза къ потолку, онъ произнесъ гробовымъ голосомъ нѣчто вродѣ короткой проповѣди.

Тѣмъ аудіенція и кончилась.

— Нѣтъ, надо пойти другимъ путемъ, рѣшилъ Польша и обратился за справками къ одному молодому человѣку, съ которымъ познакомился въ кофейнѣ:

— Есть здѣсь, въ Женевѣ, какой-нибудь банкиръ изъ республиканцевъ?

— Да вѣдь въ Швейцаріи всѣ республиканцы, отвѣчалъ тотъ.

— Поймите меня хорошенько. Я ищу республиканца, незараженного жаждою прозелитизма ни въ пользу Піа IX, ни въ пользу Кальвина.

— А, вотъ что! Вамъ фран-масона нужно? Есть, есть и такіе.

И онъ далъ адресъ. Польша отправился къ фран-масону. Результатъ оказался тотъ-же, только съ нѣкоторыми варіаціями въ причинѣ отказа...

Бѣдный искатель занятій вернулся въ совершенномъ изнеможеніи въ свою комнату на набережной Живыхъ-Водъ.

— Что дѣлать, чтобы не умереть съ голода? спросилъ онъ своего друга рабочаго.

Тотъ покачалъ головою.

— Ищите еще. Только малодушный трусъ приходитъ въ отчаяніе отъ первыхъ неудачъ.

— Ваша правда. Я буду искать.

Но вездѣ повторялась та-же исторія. Къ концу недѣли всѣ банкиры были извѣданы. „Еще нѣсколько дней, думалъ Поль,— и я опять буду безъ копейки. Что дѣлать тогда? За что приняться?.. Когда мнѣ можно будетъ снова возвратиться во Францію? Когда съ моего имущества будетъ снятъ секвестръ?“

И передъ этою перспективою дней, недѣль, мѣсяцевъ безъ занятія для удовлетворенія жажды дѣятельности, безъ средствъ для добыванія насущнаго хлѣба, безъ любимаго существа, которое замѣнило-бы отечество,—молодой септалецъ опять впалъ въ глубокое уныніе... Но по-временамъ негодованіе закипало въ немъ и пробуждало энергію.

— Нѣтъ, говорилъ онъ,—я не поддамся апатіи! Я не трачу моей молодости въ бесполезныхъ поискахъ, въ ребяческихъ ожиданіяхъ, въ вѣчно разбивающихся надеждахъ, въ пустыхъ мечтаніяхъ! Если нужно, я выучусь какому-нибудь ремеслу!.. Я уйду въ Америку...

Но въ это время образъ Селины появился передъ нимъ... Онъ ждалъ письма, онъ позволялъ себѣ надѣяться даже на пріѣздъ ея... Вѣдь всего нѣсколько миль раздѣляли ихъ, и она любила его. Да, любила; онъ усомнился-бы во всемъ, только не въ этомъ... Наконецъ, письмо получилось. Оно было также страховое, какъ и письмо Эдмона.

— У васъ много добрыхъ друзей во Франціи! сказалъ почтальонъ.

Поль не слышалъ его. Онъ уже разорвалъ конвертъ и читалъ.

— Роспишитесь въ полученіи.

— Да, да... Здѣсь?.. Хорошо, хорошо.

Это писала Марта. Она сообщала все, до послѣдней подробности, рассказывала о тревогахъ своихъ и Селины, о холодномъ гнѣвѣ нотаріуса, о его запрещеніи дочери когда-бы то ни было писать жениху. Но Марта спѣшила прибавить: „я пишу за двоихъ“. Отъ Эдмона онъ узнали о конфискаціи имущества ихъ друга, и у нихъ одновременно явилась мысль—всѣ деньги, какія имъ удалось сберечь, отдать для оборота этому пострадавшему другу. Письмо оканчивалось словами: „Не унывайте! Надѣйтесь!“

Поль читалъ и перечитывалъ несчетное число разъ. Онъ проносилъ нѣкоторыя мѣста вслухъ, переходилъ отъ восторженнаго восхищенія къ тихому волненію.

— О! говорилъ онъ, — когда человѣка любить такъ, какъ любимъ я, онъ можетъ совершить все, что хочетъ... Теперь я вѣдь обезпеченъ на нѣсколько мѣсяцевъ! Какъ бережно стану я тратить этотъ маленькій капиталъ, каждая частица котораго представляетъ собою для меня лишній день независимости, достоинства, надежды на лучшее!.. Нѣтъ, я не уѣду изъ Женевы, потому что оставить этотъ городъ—значить оставить ее. Но эти милыя созданія принесутъ мнѣ счастье. Я становлюсь суевѣрнымъ. Невозможно, чтобы то, чего желаютъ онѣ, не сдѣлалось. Въ концѣ-концовъ моя энергія сломить всѣ препятствія...

Тѣмъ не менѣе, старанія отыскать какое-нибудь занятіе долго оставались безплодными. Наконецъ, однажды, сидя въ кофейнѣ, Поль увидѣлъ вошедшаго туда господина, лицо котораго показалось ему знакомымъ; вошедшій, въ свою очередь, смотрѣлъ на Поля съ тѣмъ-же выраженіемъ. Черезъ нѣсколько минутъ они узнали другъ друга.

— Мы ужинали вмѣстѣ годъ тому назадъ!

— Въ фридландской улицѣ!

— У „маленькаго пажа!“

— Душевно радъ съ вами встрѣтиться!

Этотъ господинъ вѣхалъ играть въ рулетку и остановился въ Женевѣ только на нѣсколько часовъ. Это былъ отчаянный и старый жуиръ, смотрѣвшій на политическія убѣжденія, какъ онъ самъ выражался, съ чисто-критической стороны, но человѣкъ умный и съ сердцемъ. Онъ выслушалъ исторію Поля и сказалъ:

— Пойдите обѣдать. Вы мнѣ позволите выпить за ваше здоровье?

— Отъ всего сердца, отвѣтилъ Поль;—мнѣ отрадно побыть съ человѣкомъ, который можетъ говорить мнѣ о Парижѣ, хотя, прибавилъ онъ съ серьезною улыбкой,—я далеко не тотъ, чѣмъ былъ при второй имперіи.

Они оставили кофейню и нѣсколько минутъ шли молча. Старый парижанинъ внимательно наблюдалъ своего компаньона. Молодость Поля возбуждала его симпатію. А можетъ быть, онъ и завидовалъ ему немного! Но особенно интересовала его, даже волновала мысль, что этотъ молодой человѣкъ, съ которымъ онъ встрѣчался у бульварныхъ актрисъ, пошелъ потомъ драться за свое отечество, свои политическія идеи, т. е. за такія вещи,

которыя представлялись ему, старому практику, чистыми отвлеченностями.

— Есть у васъ деньги? спросилъ онъ Поля съ нѣкоторою робостью.

— Очень немного. Однакожь, довольно для того, чтобы имѣть возможность перебиться нѣсколько мѣсяцевъ. Если я въ чемъ существенно нуждаюсь, такъ это въ мѣстѣ, какъ-бы скромно оно ни было. Я имѣю честолюбивое желаніе зарабатывать себѣ хлѣбъ.

Парижанинъ снова посмотрѣлъ на него и съ то-же робостью спросилъ:

— Какого-бы собственно мѣста желали вы? Мнѣ знакомъ здѣсь директоръ одной желѣзной дороги.

— Ахъ, поговорите, поговорите съ нимъ обо мнѣ! Если нужно, я пойду смазывать колеса и переносить багажъ...

Старый игрокъ пожалъ руку Поля.

— Меня ждетъ рулетка, но пусть ее ждетъ! Я пробуду лишній день въ Женевѣ и увидаюсь съ этимъ господиномъ.

На слѣдующее утро, въ условленный часъ, Поль засталъ въ той-же кофейнѣ своего парижскаго знакомаго. Первые слова старика были:

— Дѣло сдѣлано. Идете!

Одинъ изъ директоровъ лозанско-невшательской желѣзной дороги далъ Полю скромное мѣсто на иверденской станціи, съ жалованьемъ въ тысячу четыреста франковъ.

ГЛАВА XV.

Вскорѣ послѣ этой перемены въ судьбѣ молодого свитальца, Селина и Марта ходили по дорожкамъ своего садика.

— Онъ получилъ мѣсто! Получилъ мѣсто! повторала Марта. — Какое счастье!

— Да... да... разсѣянно говорила невѣста.

— Какъ холодно ты принимаешь это важное извѣстіе!

— Какое важное извѣстіе? Что Поль служитъ гдѣ-то на станціи желѣзной дороги?

— Нѣтъ, но что Поль зарабатываетъ себѣ хлѣбъ своимъ тру-

домъ, самъ удовлетворяетъ своимъ потребностямъ и нуждамъ, независимъ отъ другихъ, сохраняетъ въ своемъ несчастіи силу и достоинство характера, т. е. то, что такъ трудно сохранить, когда приходится бороться съ бѣдностью!

— Ты все преувеличиваешь!

— Потому что я нахожу его, дѣйствительно, великимъ! Какая разница между празднымъ и бесполезнымъ юношей, какимъ онъ пріѣхалъ сюда полтора года назадъ, и теперешнимъ зрѣлымъ человекомъ! Ты была первымъ двигателемъ этого преобразования. Ты въ-правѣ гордиться этимъ.

— Гордиться!.. Ахъ!..

— Ты недовольна, жалуешься... Да что-же можетъ сравниться съ блаженствомъ видѣть возвышеніе того, кого любишь? Развѣ ты можешь упрекнуть Поля хоть въ чемъ-нибудь?

— Во многомъ; но ты меня не поймешь. Во-первыхъ, онъ уѣхалъ. Ты одобрила это рѣшеніе; я была согласна съ папа и г. Лорестаномъ: по-моему, ему слѣдовало остаться. А когда представилась возможность возвратиться, какъ поступилъ онъ? Посоветовался-ли онъ со мною? Нѣтъ. Для него составляли все его политическія убѣжденія; я тутъ была совсѣмъ лишняя... Что со мною станется теперь?

— Не мнѣ указывать тебѣ твой образъ дѣйствій. Онъ заключается въ двухъ словахъ: вѣрить, ждать.

— Марта, тебѣ хорошо говорить, — ты сильна.

— Я пряма.

— Не будь жестока къ твоей бѣдной Селинѣ...

— Я только справедлива.

Въ эту минуту у домовой валички позвонили. Это пріѣхалъ Эдмонъ Лорестанъ.

Съ нѣкотораго времени подпрефектъ сдѣлался особенно частымъ посѣтителемъ дома нотариуса. Предлогомъ учащенія визитовъ онъ выставялъ предстоящее полученіе должности префекта и желаніе воспользоваться послѣднимъ временемъ близкаго сосѣдства, въ виду скорого отъѣзда. На самомъ-же дѣлѣ его привлекала Селина. Когда онъ увидалъ ее въ первый разъ, она поразила его своею красотою, но такъ-какъ это была невѣста его друга, то онъ отретировался, сказавъ себѣ: „здѣсь дѣлать нечего, проку мало!“ Это не былъ одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ возбуждаетъ со-

перничество и привлекаетъ борьба, точно такъ-же, какъ не принадлежалъ онъ и къ тѣмъ избраннымъ натурамъ, что могутъ любить безнадежно и съ самопожертвованіемъ. Когда-же съ Полемъ совершилась окончательная катастрофа, почтенный подпрефектъ сталъ предаваться постепенно соображеніямъ и расчетамъ, свойственнымъ мелкимъ натурамъ. „Селина сдастся, думалъ онъ. — Какая дѣвушка не сдастся-бы на ея мѣстѣ? Она забудеть. Въ такихъ случаяхъ забываютъ...“

Чувство, которое дочь нотаріуса возбуждала въ немъ, меньше походило на любовь, — этотъ человѣкъ не былъ способенъ ни на что страстное, — чѣмъ на очень живое влеченіе къ предмету, составленному изъ матеріальныхъ выгодъ брака съ единственною дочерью богатаго человѣка и въ то-же время изъ личныхъ прелестей невѣсты. Но этотъ анализъ ускользалъ отъ Эдмона. Дай ему на выборъ Селину и какую-нибудь пансіонерку, съ такимъ-же приданымъ, онъ не поколебался-бы. Ему казалось, что онъ, дѣйствительно, любитъ ее. Относительно Поля онъ ни за что на свѣтѣ не согласился-бы сдѣлаться виноватымъ, такъ-какъ былъ однимъ изъ тѣхъ спокойныхъ эгоистовъ, у которыхъ всякое угрызене совѣсти разстраиваетъ хорошее пищевареніе. Но развѣ сами событія не подсказывали ему теперь софизмовъ, необходимыхъ для успокоенія совѣсти? „Старикъ Мишонъ, говорилъ онъ себѣ подъ диктовку этихъ софизмовъ, — никогда не отдастъ своей дочери моему другу послѣ того, что случилось. Стало быть, не я отнимаю у Поля его невѣсту, — она не принадлежитъ уже ему, не принадлежитъ никому. Если она не выйдетъ за меня, то выйдетъ за другого. Пусть-же буду лучше я, чѣмъ другой“.

И будущій префектъ сталъ дѣйствовать съ своею обычною ловкостью. Онъ началъ съ отца и приводилъ старика въ восторгъ своими административными мѣрами. Въ то-же время онъ понималъ значеніе Марты и, чтобы привлечь ее на свою сторону, высказывалъ ей свои республиканскія убѣжденія, но она слушала его холодно и не отвѣчала. Зато Селинѣ его посѣщенія и бесѣды доставляли удовольствіе. Въ ея присутствіи онъ никогда не разсуждалъ о серьезныхъ предметахъ; онъ занималъ ее разсказами о разныхъ городскихъ новостяхъ, привозилъ ей журналы модъ и альбомы, пользовался всѣми случаями, чтобы деликатно говорить ей, что она красавица. Дурно отзываться о Полѣ было-бы не-

ловкимъ маневромъ, и Эдмонъ воздерживался отъ него. Каждый разъ, какъ ния его друга случайно попадало въ разговоръ, онъ тотчасъ-же замѣчалъ: „бѣдный Поль! У него было столько сердца!“ или: „столько ума!“ Но всѣ эти отзвны дѣлались въ прошедшемъ времени, тономъ надгробной рѣчи, точно говорившій хотѣлъ приучить дѣвушку къ мысли, что ея женихъ умеръ.

И этотъ образъ дѣйствій оказался успѣшнымъ. Милая дѣвочка, какъ всѣ дѣти, измѣряла свое собственное чувство чувствами другихъ относительно ея. Она любила, когда ее любили. Въ подобныхъ случаяхъ первое впечатлѣнiе — самое живое и самое сильное. Это первое впечатлѣнiе произвелъ на нее Поль. Поэтому онъ покамѣстъ занималъ еще въ ея сердцѣ первое мѣсто. Но не трудно было предвидѣть, что разлука и время мало-по-малу изгладятъ эту любовь. Между тѣмъ подпрефектъ все больше и больше нравился ей. Законъ равенства мало-по-малу сближалъ эти двѣ одинаковыя натуры, отъ которыхъ Марта рѣзко отдѣлялась непоколебимою прямою своихъ убѣжденiй, а Поль — горячностью и порывистостью своего энтузіазма.

Марта страдала. Послѣднiя политическiя событiя еще болѣе укрѣпили, закалили эту сильную натуру, нисколько не уменьшивъ въ ней способности любить. Она давала много, получала мало и не протестовала противъ несправедливости обвинѣна. Чистота ея жизни, привычка къ возвышеннымъ мыслямъ обнаруживались въ спокойствiи ея движенiй и рѣчи. Веселость ея имѣла вроткiй и добрый характеръ. Въ отношенiи къ Селинѣ она держала себя, какъ мать, и когда Селинѣ случалось проявлять наивный эгоизмъ избалованнаго ребенка, кузина не оскорблялась этимъ, чувствуя себя достаточно вознагражденною за свою преданность довѣрiемъ, которое дѣвушка питала къ ней. Старикъ Мишонъ всегда походилъ больше на простаго опекуна ея, чѣмъ на второго отца. Но она чувствовала, что онъ уважалъ ее, цѣнилъ по достоинству. Сирота вспоминала смерть своего отца: она помнила, какъ очутилась ребенкомъ въ чужомъ домѣ и какъ нашла здѣсь семейство, перестала быть одинокой.

Но теперь дядя уже не прощалъ ей ея приверженности къ Полю; кузина уже не повѣряла ей всѣхъ своихъ мыслей; Марта видѣла, что отецъ подозрительно слѣдитъ за нею, а на лицѣ дочери читала сдержанность, похожую на боязнь.

— Я понимаю, говорила себѣ Марта:—во мнѣ видятъ представительницу Поля. Дядя смотритъ на меня, какъ на помѣху его планамъ. Сама Селина уже не смѣетъ быть, по-прежнему, откровенной со мною. Бѣдный Поль! Еслибъ онъ зналъ все, что здѣсь дѣлается, — онъ, который такъ любитъ, для котораго въ этой любви заключено все!

Теперь благородная дѣвушка писала своему другу все чаще и подробнѣе. Окончивъ письмо, она прочитывала его вслухъ Селинѣ и спрашивала:

- Не припишешь ли ты что-нибудь?
- Ты знаешь, что папа запретилъ мнѣ...
- Я напишу подъ твою диктовку.
- Къ чему? Развѣ твое письмо идетъ не отъ насъ обѣихъ?

Марта повторяла: „бѣдный Поль!“ Такое отношеніе къ нему возмущало ея прямую, правдивую натуру. Но въ то-же время невольная радость обличала глубоко-затаенную тайну ея сердца. „Этотъ бракъ не состоится!“ говорила она и прибавляла: „Тѣмъ лучше! Потому что она не любитъ его, какъ слѣдовало-бы его любить, недостойна его любви!“

Съ наступленіемъ зимы, посѣщенія Эджона сдѣлались еще чаще. Нотаріусъ затворялся съ нимъ въ кабинетъ на цѣлыя часы; иногда онъ приглашалъ туда и дочь, и бесѣда продолжалась между троими. Скоро по мѣстечку разнесся слухъ, что дочь Мишона выходитъ замужъ за подпрефекта. Мартѣ ни слова не говорили объ этомъ ни дядя, ни кузина, но городскіе слухи дошли и до нея. Въ первую минуту тайна ея сердца порывисто прорвалась наружу: она вбѣжала въ свою комнату и, зарывавъ, воскликнула: „Свободенъ! Свободенъ! Онъ будетъ свободенъ!“ Но это былъ только минутный взрывъ. „Я поступаю неблагородно!“ сказала та себѣ и пошла къ кузинѣ, чтобы узнать всю правду.

— Селина, что происходитъ у насъ въ домѣ? спросила она, прямо приступивъ къ дѣлу.

— Но... ничего... отвѣчала та съ смущеніемъ лгущаго ребенка.

— Всѣ говорятъ, что твой отецъ выдаетъ тебя замужъ.

Селина потупила глаза.

— Мнѣ неизвѣстны намѣренія папа.

— Стало быть, они неизвѣстны тебѣ одной?

Дѣвушка молчала.

— Селина, я люблю тебя, Селина, отвѣчай мнѣ. Я вѣрю, что ты ничего не знаешь. Но предположь, что эти слухи основательны, что твой отецъ, дѣйствительно, рѣшился выдать тебя замужъ; какъ-бы ты поступила въ такомъ случаѣ? Ты не отвѣчаешь?

— Что-же мнѣ отвѣчать тебѣ? Когда отецъ приказываетъ, дочери остается только повиноваться.

— Даже тогда, когда эта покорность есть влѣтвопреступленіе?

— Папа говоритъ, что Поль первый нарушилъ данное слово.

— Это ложь! Ты знаешь, что онъ любитъ тебя, надѣется на тебя и ждетъ тебя...

— Но развѣ онъ можетъ вернуться во Францію? Развѣ я могу поѣхать къ нему въ Швейцарію?

— Нѣтъ, но ты можешь остаться его невѣстой! Любишь ты его?

— Мнѣ не позволяютъ больше любить его.

— Отвѣчай прямо—да или нѣтъ. Любишь ты его?

Селина заплакала и тихо, чуть слышно произнесла:

— Да.

— О, ты снова прежняя Селина! радостно воскликнула Марта.— Поцѣлуй меня! Все спасено!

— Нѣтъ.

— Нѣтъ?

— Ты знаешь моего отца. Онъ обѣщалъ мою руку г. Лорестану. Я никогда не найду въ себѣ силы сопротивляться ему.

— Г. Лорестанъ—негодяй, обманывающій своего друга!

— Г. Лорестанъ согласенъ съ папа: онъ находитъ, что я свободна. Безъ этого онъ не попросилъ-бы моей руки. Онъ любитъ меня.

— Онъ сказалъ тебѣ это?

— Да. Въ присутствіи отца.

— И ты согласишься слушать его? Поди, ты низкая дѣвушка!

— Марта!..

— Да, низкая... Тамъ, въ Швейцаріи, на чужой сторонѣ,

есть человекъ, несчастный, раззоренный, обязанный работать, какъ поденщикъ, чтобы не умереть съ голода. Этотъ человекъ — твой женихъ. У него одна мысль — ты; одно утѣшеніе — ты; одна надежда — ты. Ты говоришь, что любишь его, и — кидаешь его!..

— Марта!..

— Да, кидаешь! И для кого? Для другого, недостойнаго тебя,—для безсовѣтнаго честолюбца, который согласился служить второму правительству послѣ службы первому и который завтра измѣнитъ этому второму для третьяго, какъ измѣнилъ своему другу!

— Марта!..

— Оставь меня!

— Марта, ты когда-нибудь пожалѣешь, что такъ говорила со мною... Ты — мой единственный другъ, моя сестра...

— Твоя сестра...

Марта подбѣжала къ Селинѣ и, крѣпко обнявъ ее, со слезами на глазахъ, вся дрожа, сказала:

— Ну, да! Отъ тебя зависитъ, чтобы я осталась твоею сестрою, чтобы я стала любить тебя больше, чѣмъ когда-либо, чтобы я отдала тебѣ всю мою жизнь. Останься честною и не нарушай своей вѣтвы!

Дѣвушка тихо высвободилась изъ ея объятій.

— Еще ничего не сдѣлано, сказала она, — и до этой свадьбы еще далеко.

— Ахъ, произнесла Марта, опускаясь на стулъ, — вотъ какъ она отвѣчаетъ мнѣ! Полю погибъ!

Весь этотъ день и слѣдующій благородная дѣвушка старалась оставаться одна. Она ходила взадъ и впередъ по дому и по саду, съ тѣми внезапными и рѣзкими измѣненіями въ походкѣ и выраженіи лица, которыя обличаютъ внутреннюю борьбу. Наконецъ, утромъ третьяго дня она сказала себѣ: „прежде, чѣмъ на что-нибудь рѣшиться, посоветуюсь съ честнымъ человекомъ“. И она направилась къ домику Гренъе.

ГЛАВА XVI.

Скучно и безцвѣтно потянулись для Поля дни въ ничтожномъ городишкѣ, Иверденѣ, куда забросила его судьба. Несмо-

тря на всё, постигшія его, бѣдствія, въ немъ сохранялись еще во всей силѣ молодость, восторженность, постоянная потребность находиться въ обществѣ людей, равныхъ ему по развитію, потребность симпатическаго общенія съ человѣчествомъ, которую поселили и поддерживали въ немъ сперва его натура, потомъ его новыя убѣжденія.

Оторванный отъ родины и близкихъ, онъ жаждалъ встрѣтить и пожать чью-нибудь дружескую руку. Ему такъ хотѣлось увидѣть на окружавшихъ его лицахъ привѣтливую улыбку, услышать теплое, задушевное слово, — а вокругъ него двигались все чужіе, холодные люди, которымъ не было никакого дѣла до его страданій!.. И съ каждымъ днемъ онъ все больше и больше отрывался отъ жизни дѣйствительной, уходя въ призрачный міръ мечтаний и воспоминаній... Картины прошлыхъ лѣтъ, — тѣхъ лѣтъ, когда онъ еще не зналъ, что значитъ страданіе, — поочередно проходили передъ его глазами. Всѣ тѣ атрибуты благосостоянія, которые нѣкогда казались ему совершенно естественными условіями жизни: комфортабельная и удобная квартира, столовое бѣлье безукоризненной чистоты, вкусныя кушанья, живая и остроумная бесѣда, освѣщенные бульвары, музыка, хорошенькія лица, — все это воскресало въ его головѣ, какъ воспоминанія о потерянномъ раѣ. Потомъ на смѣну ихъ приходили другія картины. Вотъ, на берегу Средиземнаго моря, рядъ домовъ ослѣпительной бѣлизны; вотъ улицы Лондона, утонувшія въ туманѣ, сквозь который всѣтъ газа пробивается точно кровавыя звѣзды; вотъ бельгійскія фабрики, закопченныя и шумныя. Повидимому, нехорошо: тамъ палящій зной, здѣсь холодъ и шумъ, но зато вездѣ жизнь, дѣятельность, веселость, — вездѣ, кромѣ этого швейцарскаго мѣстечка... Тутъ ни солнца, ни газа, а главное — почти ни одного человѣка, который согласился-бы сблизиться съ вами, не освѣдожившись предварительно, кальвинистъ-ли вы и не принадлежите ли къ какому-нибудь другому кантону?..

Но бывали часы, когда Поль старался сбросить съ себя подавлявшее его уныніе.

— Да, говорилъ онъ, утѣшая самъ себя, — я парія въ мертвой странѣ; но я зарабатываю хлѣбъ собственнымъ трудомъ и отъ нея отдѣляется меня только нѣсколько верстъ.

Всего былъ лишенъ теперь несчастный: Парижа, Франціи, де

негъ, сообщества близкихъ и знакомыхъ, но у него оставалась Селина. Граница, черезъ которую не имѣла права переступить его нога, разъединяла только ихъ тѣла. Вечеромъ, когда онъ произносилъ: „моя милая невѣста!“ ему слышалось, какъ она отвѣчала: „мой милый женихъ!“ А когда на каждомъ изъ этихъ домовъ, окружавшихъ его, на каждомъ изъ этихъ лицъ онъ читалъ, написанное крупными буквами, слово я,—на его собственномъ домѣ и въ его сердцѣ бросалось ему въ глаза неизгладимое мы!

Великимъ утѣшеніемъ служили для него письма Марты. Она сообщала ему малѣйшія подробности ихъ домашней жизни, но не ограничивалась этимъ. Наученная воспоминаніями собственного дѣтства, она знала, что идеи становятся жизнью человѣка, однажды сразившагося за нихъ, и обсуждала въ бесѣдѣ съ другомъ тѣ идеи, которыя были рождены во Франціи событіями послѣдняго времени. Героическая дѣвушка надѣялась на организацію новаго національнаго собранія, на обнародованіе общей амнистіи... При чтеніи этихъ строкъ, яркій свѣтъ озарялъ темноту, окружавшую изгнанника. Онъ спѣшилъ отвѣчать своей утѣшительницѣ, и письма его, несвязныя, когда онъ говорилъ только о своихъ матеріальныхъ лишеніяхъ, становились краснорѣчивыми и пламенными, когда дѣло заходило объ его убѣжденіяхъ, его отечествѣ, будущности.

Одно время онъ двѣ недѣли не получалъ ни одной строки. Затѣмъ пришло письмо, въ которомъ имя Селины было упомянуто всего одинъ разъ: „она здорова“—вотъ все, что сказала Марта. Напрасно онъ читалъ и перечитывалъ это письмо: ничего больше не говорилось тутъ о пей, о той, которая составляла для него въ жизни все...

— Неужели меня не понимаютъ? говорилъ онъ, — неужели они не чувствуютъ, до какой степени мнѣ необходимо знать все: что она дѣлаетъ, что говоритъ, что ѣсть за обѣдомъ, какого цвѣта лента надѣта на ней? Нѣтъ, нѣтъ, Марта не понимаетъ меня! Но она сама, Селина!.. Вѣдь сестра читаетъ ей свои письма во мнѣ!

И онъ отправилъ къ Мартѣ всего нѣсколько строкъ: „Не говорите мнѣ больше о политикѣ; говорите только о себѣ самихъ!“ Марта отвѣчала ласковымъ, нѣжнымъ письмомъ, въ которомъ не было

ни слова о политикѣ, но не говорилось также и о Селинѣ... Поль написалъ снова: „Марта, умоляю васъ! Скажите мнѣ всю правду! Что происходитъ у васъ? Не подготавливаете-ли вы меня къ несчастію? Не дѣлается-ли Селина жертвою отцовскаго на-силія? Не измѣнилась-ли она сама?“ Но, написавъ эти строки, онъ сказалъ себѣ: „Нѣтъ, нѣтъ! Я не хочу, я никогда не буду сомнѣваться въ ней! Все, кромѣ этого сомнѣнія!“

И несчастный сталъ снова ждать.

XVII.

Каждый разъ, какъ приходилъ поѣздъ изъ Женевы, Поль отправлялся на станцію съ надеждою увидѣть знакомое лицо, услышать знакомый голосъ... Много времени прошло въ этихъ напрасныхъ ожиданіяхъ...

Черезъ недѣлю послѣ полученія послѣдняго письма Марты, онъ сидѣлъ въ обычное время на платформѣ станціи, когда изъ вагона подходившаго поѣзда раздался крикъ:

— Г. Поль!

И огромная фигура, съ дорожной сумкой въ рукѣ, вывалилась на платформу.

— Гренъе! Дорогой мой! кричалъ Поль, горячо обнимая пріѣзжаго; — вы, вы здѣсь! У меня! Боже мой, какая радость!

И онъ крѣпко сжималъ руки Гренъе, любовно разглядывалъ его — и вдругъ поблѣднѣлъ.

— Что случилось?

Гренъе не отвѣчалъ.

— Никто не заболѣлъ у васъ?

— Никто, никто, слава-богу.

— И вы пріѣхали только, чтобъ навѣстить меня?

Гренъе съ безпокойствомъ оглядѣлся вокругъ себя.

— Я понимаю, сказалъ Поль, — чужіе люди васъ стѣсняютъ...

Идите ко мнѣ. Тамъ никто не помѣшаетъ намъ.

Но нетерпѣніе было слишкомъ сильно. На дорогѣ отъ станціи Поль остановился и сказалъ:

— У меня не хватаетъ силъ ждать. Вотъ скамья, — сядемъ... Говорите!

Они сѣли, но молчаніе длилось еще нѣсколько минутъ. Гренъе

смотрѣлъ въ землю, потомъ поднялъ глаза; они встрѣтились съ глазами Поля.

— Спрашивайте меня, произнесъ онъ почти шопотомъ, — я буду отвѣчать на всѣ ваши вопросы.

— Что дѣлаетъ Селина? Она знаетъ, что вы поѣхали сюда?

— Меня послала сюда м-ль Марта...

Изъ блѣднаго лица Поля сдѣлалось мертвенно-зеленымъ. Испуганный Гренъ взялъ его за обѣ руки.

— Ну, полно, вѣдь вы мужчина... Лучше сказать вамъ все сразу. М-ль Селина выходитъ замужъ...

Молодой человѣкъ вскочилъ, какъ ужаленный.

— Селина?.. Неправда!..

— Полно, полно!.. Будьте мужчиной!..

— Это неправда!.. Ты обманываешь меня! Ты повторяешь заученный урокъ!.. Селина — замужъ! Это невозможно!.. Это... Впрочемъ, вѣтъ, — это правда; такія вещи нельзя выдумать... Извини меня... Она выходитъ замужъ... Да... За кого?..

Гренъ молчалъ.

— За кого?..

— За г. Эдмона Лорестана...

Поль дико захохоталъ, потомъ закачался, поднесъ руку къ сердцу и снова упалъ на свамью... Глаза его дико блуждали, губы беззвучно шевелились.

— Поль, повторилъ Гренъ, — Поль! Дорогой другъ мой!..

Но молодой человѣкъ не слушалъ его.

Наконецъ, онъ поднялъ голову и посмотрѣлъ вокругъ себя нерѣшительнымъ взглядомъ человѣка, вышедшаго изъ темной могилы на свѣтъ. Нѣсколько жалобныхъ стоновъ вырвалось изъ груди. Онъ вздрогнулъ, потомъ вдругъ выпрямился. Кровь снова поднялась къ лицу.

— Я не умеръ, къ несчастью, сказалъ онъ.

Черезъ нѣсколько минутъ они были въ его квартирѣ. Поль усадилъ гостя въ единственномъ креслѣ комнаты, самъ помѣстился на кровати и сказалъ:

— Я васъ слушаю. Теперь ужь не бойтесь ничего, вы можете говорить; я достаточно оправился...

— Ахъ, рассказъ мой будетъ недологъ. Вы знаете, что началось съ того, что г. Мишонъ запретилъ своей дочери писать вамъ.

— Знаю.

— Хотѣлъ онъ было запретить и мнѣ получать ваши письма. Ну, конечно, я только посмѣялся... Наполеоновское-то время вѣдъ кончилось... М-ль Марта приходила къ намъ на ферму каждый день, но приходила одна. Старикъ глазъ не спускалъ съ дочери и всюду бралъ ее съ собою... О г. Лорестанъ еще и рѣчи не было,—рановато ужъ это было-бы!.. Но зато батюшка не переставалъ возстановлять ее противъ васъ, рассказывалъ про васъ невѣсть какіе ужасы, сталъ даже говорить, что лучше ему видѣть ее мертвою, чѣмъ замужемъ за такимъ человѣкомъ, какъ вы... Бѣдная дѣвушка молчала и плакала, а вечеромъ пересказывала все сестрѣ, и та разстраивала все, что успѣвалъ сдѣлать отецъ за этотъ день. По субботамъ она читала ей ваши письма, а по воскресеньямъ пріѣзжалъ къ ней Лорестанъ. Тутъ оказывалось двое противъ двоихъ; только въ одной парочкѣ была ж-ль Селина, которая, какъ вы знаете, не изъ особенно храбрыхъ...

— Знаю, знаю. Дальше.

— Должно быть, дочки всегда кончаютъ тѣмъ, что соглашаются съ батюшками. Въ одномъ могу васъ завѣрить, что длилось это не мало... Этотъ господинъ почти-что поселился въ домѣ и не отходилъ отъ вашей невѣсты. Вмѣшались въ дѣло и патеры. Наконецъ, добились-таки, чего хотѣли.

— Но Марта, Марта?..

— Ахъ, она сдѣлала все, что могла. Только куда-же ей было совладать? Отъ нея все скрывали. До послѣдняго дня она не переставала защищать васъ. „Невозможно, говорила она,—чтобъ моя сестра была такою безсердечной. Я не буду вѣрить до тѣхъ поръ, пока ихъ не огласятъ въ церкви!..“ Вамъ она уже не смѣла писать. Наконецъ, разъ утромъ приходитъ она къ намъ. Бѣдняжка! Вотъ ужъ кто васъ любитъ, такъ любитъ! Мнѣ просто жаль было смотрѣть на нее... Вошла она и сказала только одно слово: „кончено!“ И упала на скамью, вотъ какъ вы только-что... Потомъ чуть слышно прибавила: „онъ не долженъ быть одинъ, когда узнаетъ эту новость...“ И при этотъ посмотрѣла на меня... Я отвѣчалъ: „вы знаете, что мой паспортъ при мнѣ...“

Глаза Гренъ наполнились слезами.

— Вотъ и все, докончилъ онъ;—я и пріѣхалъ.

Полю слушалъ неподвижный, нѣмой, какъ статуя.

— Ахъ, ты Господи! сказалъ добрякъ, цѣлуя его, — я, право, не знаю, что съ вами дѣлается... Хоть-бы вы заплакали немного!

— Нѣтъ.

Гренъ робко прибавилъ:

— М-ль Марта нѣсколько разъ напоминала мнѣ, чтобъ я не забылъ сказать вамъ, что ея сестра долго противилась.

— Да, пока не износились платья, въ которыхъ она ходила, когда я уѣхалъ! Довольно, прибавилъ онъ твердо и рѣшительно, — если хочешь, мы не будемъ больше говорить о ней, даже не произнесемъ больше ея имени...

Черезъ минуту онъ положилъ дрожащую руку на плечо своего собесѣдника и спросилъ:

— Но скажи мнѣ, — ты — мужчина, совѣтовавшій и мнѣ только-что быть женщиной, — если-бы, уѣзжая въ Парижъ, ты былъ женихомъ и, возвратившись, увидѣлъ, что твой другъ отнялъ у тебя невѣсту, что-бы ты сдѣлалъ?

— Я? Очень понятно, что: я-бы переломалъ ему ребра. Хотите, я за васъ переломлю ребра вашему пріятелю?

— Нѣтъ, я хочу не того, другъ мой: я хочу, чтобы ты одолжилъ мнѣ на время свой паспортъ, этотъ жилетъ, эту блузу и эту шляпу.

— Вы желаете съѣздить во Францію?

— Я буду назадъ черезъ два дня.

— Но это сумасшествіе! Васъ могутъ арестовать.

— Ну, что-жь! Пусть арестуютъ.

— И тогда сошлютъ.

— Дитя! Не все-ли мнѣ равно теперь?

Гренъ обдумывалъ.

— Отвѣчай, сказалъ Поль: — будь ты на моемъ мѣстѣ, что-бы ты сдѣлалъ?

— На взшемъ мѣстѣ... сдѣлалъ-бы то-же самое, что и вы!..

XVIII.

На слѣдующій день, въ то время, какъ Поль мчался въ вагонъ, дождь нотаріуса Мишона сверкалъ огнями; совершалось торжество обрученія. Гости собрались. Женихъ, получившій за недѣлю до того мѣсто префекта, сіялъ самодовольствомъ; Селина,

потерявшая опору въ Мартѣ, но неспособная обходиться безъ опоры, переходила отъ Эдмона къ отцу, отъ отца къ жениху. Марта сидѣла въ отдаленіи. Наканунѣ этого дня она заявила нотаріусу рѣшительное намѣреніе свое уѣхать изъ его дома и только по настоятельнымъ увѣщаніямъ старика согласилась не дѣлать этого до обрученія. Гости безмятежно пили кофе въ гостиной и разговаривали о политикѣ. Вдругъ у садовой калитки раздался сильный звонокъ.

Эдмонъ обмѣнялся взглядомъ съ будущимъ тестемъ.

— Я не ожидаю никого больше, сказалъ нотаріусъ.

Въ сѣняхъ послышались голоса. Черезъ минуту дверь гостиной отворилась, и въ комнату быстро вошелъ человекъ въ одеждѣ брессанскаго поселанина, съ низко надвинутой на лобъ шляпой. Нотаріусъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ нему на встрѣчу и спросилъ: „что вамъ угодно“? Незнакомецъ остановилъ его жестомъ и, снявъ шляпу, открылъ блѣдное лицо, черные глаза котораго горѣли лихорадочнымъ огнемъ.

— Поль! вскрикнули разомъ обѣ дѣвушки.

Молодой человекъ отстранилъ рукою Мишона, подошелъ къ группѣ, впереди которой неподвижно стоялъ Эдмонъ Лорестанъ, и, крикнувъ: „подлецъ! подлецъ!“ ударилъ его въ лицо.

Эдмонъ зашатался отъ сильнаго удара. Когда онъ выпрямился, Поль былъ уже у двери.

— Въ Женевѣ, черезъ два дня! снова крикнулъ онъ и исчезъ, захлопнувъ за собою дверь.

Все это произошло съ быстротою молніи...

Удивленіе, вызванное появленіемъ Поля, и то чувство ожиданія, которое всегда неразлучно съ чѣмъ-нибудь неопредѣленнымъ, на первыхъ порахъ точно парализовали присутствующихъ. Теперь они пришли въ себя. Поднялась суета и тревога.

— Схватите его! кричалъ Эдмонъ.

— Онъ, можетъ быть, вооруженъ! благоразумно замѣтилъ нотаріусъ, удерживая будущаго зятя.

Но Эдмонъ оттолкнулъ его и бросился впередъ; за нимъ последовали нотаріусъ и нѣсколько гостей.

— Схватите его! повторялъ женихъ.

Въ сѣняхъ лакей дрожалъ отъ испуга, прижавшись къ стѣнѣ. Нотаріусъ схватилъ его за руку.

— Гдѣ онъ? Отчего ты не остановилъ его?

— Онъ грозилъ мнѣ... У него былъ револьверъ...

— Куда онъ побѣжалъ?

Лакей указалъ глазами на дверь, выходящую въ садъ.

— Вонъ туда... Только вы не извольте ходить: онъ, пожа-
луй, выстрѣлитъ въ васъ.

Старикъ сталъ обдумывать.

— Господа, сказалъ онъ, наконецъ, — дайте знать жандар-
мамъ!.. Поскорѣе! Его непременно надо схватить, непременно!..
Гдѣ мой зять?

Эдмонъ, съ двумя гостями, искалъ Поля по всему саду.

— Вернитесь, вернитесь! кричали имъ; — онъ вооруженъ! Вер-
нитесь!

— Поздно! замѣтилъ одинъ изъ гостей.

— О, я найду его! кричалъ Эдмонъ внѣ себя.

— Вы его найдете въ Женевѣ, замѣтилъ тотъ-же гость.

— О, Боже мой, Боже мой! повторялъ патеръ, бывшій тоже
въ числѣ приглашенныхъ, поднимая руки къ небу.

Одни гости послѣшили уѣхать, другіе вернулись въ гостиную
и окружили Селину, лежавшую въ обморокѣ. Эдмонъ, схватив-
шись за голову руками, ничего не видѣлъ, ничего не слышалъ и
плакалъ отъ бѣшенства.

А между тѣмъ Поль былъ здѣсь-же, въ домѣ. Услыхавъ го-
лоса гнавшихся за нимъ гостей, онъ вспомнилъ, что въ сѣняхъ
была маленькая дверь, которую, обыкновенно, забывали запирать
на ключъ. Онъ слегка толкнулъ ее, дверь отворилась. Поль уви-
дѣлъ узкій коридоръ, окапчивавшійся лѣстницею, которая въ
эту минуту была освѣщена фонаремъ. Онъ прошелъ коридоръ,
поднялся по лѣстницѣ, не разсуждая, зачѣмъ дѣлаетъ это, по-
винуясь только инстинкту человѣка, убѣгающаго отъ преслѣдо-
ванія.

— Что дѣлать теперь? Куда спрятаться?

Онъ старался сообразить, смотрѣлъ вокругъ себя. Въ это время
на лѣстницѣ раздались шаги; кто-то поднимался. Поль машиналь-
но растворилъ какую-то дверь, потомъ затворилъ ее за собою и
очутился въ темной комнатѣ... Шаги приближались. Поль сдер-
живалъ дыханіе, чтобъ слышать малѣйшій звукъ. Онъ разслы-
шалъ шелестъ платья, слабый стонъ, шелкъ ключа въ замкѣ.

— Барышня, гдѣ спички? произнесъ женскій голосъ, видимо служанки.

Ей отвѣчалъ другой, болѣе мягкій голосъ. Поль узналъ Марту и понялъ, что она вела Селину. Онъ продолжалъ вслушиваться. Марта въ коридорѣ говорила служанкѣ:

— Не отходите отъ нея. Сидите у ея постели. Я только пережму платье и сейчасъ вернусь.

Комната, въ которой находился бѣглець, внезапно освѣтилась. Марта, стоя на порогѣ, вскрикнула.

— Что съ вами, барышня? спросила служанка, подбѣгая.

— Ничего, ничего. Я нечаянно ударилась. Пустяки... Идите.

Она вынула ключъ, заперла дверь изнутри и, блѣдная, какъ смерть, съ расширившимися зрачками, повернулась къ Полу:

— Вы! Вы!

Ничего больше не могла она произнести. Все тѣло ея дрожало. Ища опоры, она инстинктивно прислонилась къ двери, какъ будто для того, чтобы не позволить никому войти. Поль, наклонившись къ ней, держалъ ея руки и шепталъ: „Марта, дорогая Марта!“ И они смотрѣли другъ на друга и безъ словъ понимали одинъ другого...

Марта пришла первая къ сознанию дѣйствительности.

— Васъ ищутъ, васъ преслѣдуютъ, сказала она. — Мы погибли! Зачѣмъ вы не убѣжали?

— Не имѣлъ времени. Я кинулся по лѣстницѣ... Эта комната была отперта.

— Что вы намѣрены дѣлать теперь?

— Не знаю. Мнѣ некогда было подумать... Подождите!

Онъ съ минуту соображалъ, потомъ сказалъ:

— Я сейчасъ уйду.

— Уйдете?

— Да. Ваши домашніе думаютъ, что я уже далеко. Ночь темна. Можетъ быть, мнѣ удастся пробраться.

— Нѣтъ, нѣтъ, вездѣ разставлены караулы, васъ схватятъ!

— Не все-ли мнѣ равно теперь? Я сдѣлалъ, что хотѣлъ. Я увидѣлъ васъ. До всего остального мнѣ нѣтъ дѣла.

— Я не хочу, чтобы вы ушли! Завтра мы подумаемъ, найдемъ какое-нибудь средство... Предоставьте все мнѣ... А теперь мнѣ надо вернуться къ Селинѣ. Я унесу свѣчу. Вы не дѣлайте

ни малѣйшаго движенія... Даете-ли мнѣ слово, что не будете стараться убѣжать?

— Я буду дѣлать все, что вы скажете.

— Хорошо. Подождите меня.

Мало-по-малу въ домѣ водворилась глубокая тишина. Наконецъ, Марта возвратилась.

— Никто ничего не подозрѣваетъ, сказала она.

— Милая сестра!

— Я хотѣла сойти внизъ, принести вамъ хлѣба и вина; но побоялась, чтобы не замѣтили... Здѣсь у меня нѣтъ ничего, кромѣ куска поколада. Вы, конечно, страшно изнеможены. Кушайте!

Она сѣла въ кресло, смотрѣла на Поля и тихо повторяла: „кушайте, кушайте!“

— Нѣтъ, сказалъ онъ, вставая и хватаясь руками за грудь. — Я не знаю, что со мной... Я задыхаюсь... Силы на минуту воскресли во мнѣ, и я отомстилъ за себя! Теперь мнѣ хотѣлось-бы плавать, но я не могу, не могу!

Онъ сталъ на колѣни передъ нею и повторилъ: „нѣтъ, не могу!“ и зарыдалъ.

— Боже мой! говорила Марта;—тише, тише!

— Да, да!

Онъ грызъ платокъ, поднималъ къ ней лицо, покрытое слезами, а она тихо проводила рукой по его лбу и шептала, точно обращаясь къ ребенку: „ну, полно, полно!“

Наконецъ, сдержанныя рыданія несчастнаго перешли въ безмолвныя слезы. Полулежа у ногъ дѣвушки, онъ склонилъ утомленную голову на ея руки.

— Бѣдное дитя, сказала она, —вы устали!

— Нѣтъ, мнѣ хорошо...

Такъ прошло нѣсколько минутъ. Она встала и сказала:

— Завтра силы будутъ нужны вамъ. Вы совсѣмъ разбиты. Лягте на эту постель и засните!

— Но вы?..

— Я, отвѣчала она, зарумянившись отъ дѣвической стыдливости,—проведу ночь около Селины.

Поль попытался возражать; она материнскимъ тономъ призывала:

— Я хочу, чтобы вы заснули; а этого хочу!

Пришлось согласиться. Онъ легъ, не раздѣваясь, на постель и черезъ нѣсколько минутъ вѣрно заснулъ.

Марта вошла въ уборную, смежную съ ея спальней, и скоро вышла оттуда въ ночномъ negligé. Она приблизилась къ постели и долго, долго смотрѣла въ лицо Поля.

— Бѣдное, бѣдное дитя!.. Лишь-бы только ему удалось уйти!

Она думала только объ его бѣгствѣ, его спасеніи. Мысль, что въ ея комнатѣ былъ спрятанъ молодой человѣкъ, что она находилась тутъ съ нимъ съ глазу-на-глазъ, что онъ спалъ на ея постели, нисколько не смущала ее. Она была чиста и любила его... какъ друга.

Было уже поздно, когда Поль проснулся. Онъ услышалъ, какъ Марта говорила въ коридорѣ служанкѣ: „хорошо, хорошо. Вы очень утомлены; идите спать. Мою комнату я уберу сама“. Этотъ голосъ вдругъ воскресилъ передъ молодымъ человѣкомъ всю дѣятельность. Въ одно мгновеніе увидѣлъ онъ предъ собою все, случившееся въ эти послѣдніе два дня: пріѣздъ Гренъ въ Иверденъ, страшную вѣсть о замужествѣ Селины, свою рѣшимость отомстить, поѣзду, сцену съ Эдмономъ...

— Я далъ ему пощечину! — и онъ улыбнулся. — Что-же дѣлать теперь?

Но на-сколько были ясны его воспоминанія, на-столько-же утратилъ онъ способность соображать настоящее. Онъ чувствовалъ себя успокоившимся, облегченнымъ, но въ то-же время ощущалъ какую-то пустоту. Ничто не влекло его, ничто не шевелило; ему хотѣлось-бы, кажется, вѣчно оставаться здѣсь, лежа въ бездѣйствіи.

— Однакожъ, говорилъ онъ себѣ, — я долженъ уѣхать, я долженъ быть завтра въ Женевѣ.

Вошла Марта, неся бутылку вина, хлѣбъ, нѣсколько кусковъ ветчины.

— Кушайте, сказала она, улыбаясь. — А главное, не дѣлайте ни малѣйшаго шума. Я пойду, узнаю, что дѣлается...

И, показывая ключъ отъ двери, бывшій у нея въ рукѣ, прибавила:

— Вы мой плѣнникъ.

— Приходите скорѣе назадъ, сказалъ онъ, — я долженъ васъ видѣть.

Въ домѣ и на улицѣ раздавались шаги, голоса, движеніе.

„Это меня ищут! думалъ онъ; — пускай! Не все-ли мнѣ равно?..“

И онъ слабо улыбался, какъ больной, который уже пересталъ страдать, но у котораго нѣтъ еще силъ снова начать жить такъ, какъ онъ жилъ до своей болѣзни. Поль не поинтересовался даже посмотрѣть во дворъ сквозь занавѣски окна...

Въ полдень Марта пришла снова.

— Дядя, сказала она, — уѣхалъ въ Бургъ. Г. Лорестанъ остался здѣсь. Вчера вечеромъ между ними происходило совѣщаніе. Оскорбленный вами Лорестанъ объявилъ, что онъ считаетъ съ своей стороны невеликодушнымъ и даже постыднымъ способствовать усиленію уже тяготящаго надъ вами приговора, и что поэтому онъ не желаетъ преслѣдовать васъ. А дядя не хочетъ, чтобы онъ съ вами дрался. Наши гости, бывшіе свидѣтелями происшествія, дали слово сохранить все втайнѣ. Къ несчастію, сгоряча подняли тревогу, и васъ навѣрное арестуютъ на станціи желѣзной дороги. Вы должны уѣхать на лошадахъ.

— На лошадахъ?..

— Да. Я уже все устроила. Вы знаете моего поэта, конторщика дяди, Клода Берара. Онъ дѣлаетъ все, что я захочу. Я послала его въ Маконъ нанять кабріолетъ и лошадей. Онъ скажетъ, что его прислалъ мой дядя, и навѣрное получитъ экипажъ безъ всякихъ затрудненій. Какъ только стемнѣетъ, вы выйдете черезъ садъ и сойдетесь съ Бераромъ на бургской дорогѣ, въ полу-лье отсюда. Бераръ захватитъ для васъ пальто и шляпу.

Поль слушалъ, и удивленіе его къ энергической дѣвушкѣ росло все болѣе и болѣе.

— Что-же, вы недовольны вашей сообщницей? Какъ, вы еще не завтракали? Скорѣе-же садитесь за столъ!

Она замолчала, но черезъ нѣсколько секундъ продолжала, краснѣя:

— Я помогу моей кузинѣ одѣться и сведу ее въ садъ. Слугъ нечего опасаться...

Она остановилась, точно не рѣшаясь продолжать, но вскорѣ оправилась.

— Селина слаба, сказала она, — но она неспособна на измѣну. Хотите ее видѣть?.. Она больна.

Она ждала, устремивъ пристальный взглядъ на Поля. Моло-

дому человѣку показалось сперва, что любовь возвращается къ нему, но, вспомнивъ, что Селина станетъ женою другого, онъ отрицательно покачалъ головою.

— Не желаю, сказалъ онъ твердымъ голосомъ.

Глаза Марты заблестѣли.

— Не желаю, повторилъ Поль. — Она умерла для меня... Прошлое умерло, и никакими человѣческими силами не сдвинуть камня, подъ которымъ погребена моя любовь... Еслибъ я не обѣщаль этому негодяю ожидать его въ Женевѣ, мнѣ кажется, я охотно далъ-бы себя арестовать. Сидѣть въ тюрьмѣ или жить на чужбинѣ изгнанникомъ, право, разница не велика. Если я переносилъ изгнаніе, то только потому, что меня поддерживала надежда, но эта надежда исчезла... Да и на что мнѣ самая жизнь теперь?..

Она слушала его съ грустью и не отвѣчала.

— Вы понимаете меня, продолжалъ онъ. — Простите мнѣ мой эгоизмъ, милая сестра. Жить еще можно на свѣтѣ, если существуютъ такіе люди, какъ вы, Гренье и подобные вамъ. Мнѣ измѣнилъ мужчина, меня забыла женщина, — неужели изъ-за этого я долженъ сомнѣваться въ человѣческой честности? Но этотъ мужчина былъ моимъ стариннымъ другомъ; эта женщина была единственной женщиной, которую я искренно любилъ! Они разбили мое сердце, и я чувствую, что теперь ни на что негоденъ. Простите, что я говорю такъ съ вами...

— Я должна снова повинуть васъ, отвѣчала она. — Если хотите сдѣлать мнѣ удовольствіе, покушайте и выпейте немного вина. Я этого хочу.

— Извольте, я повинуюсь.

Она заходила еще нѣсколько разъ втеченіи этого дня, и они обмѣнивались нѣсколькими незначущими фразами. Опасаясь расстроить его рану, она не рѣшалась спрашивать его объ его жизни на чужбинѣ. Но каждый разъ, какъ она уходила, онъ думалъ о ней и сравнивалъ ее съ своей бывшей невестой. Какъ онъ былъ слѣпъ! Вотъ дѣвушка, которую ему слѣдовало полюбить! Но теперь уже поздно.

Въ шесть часовъ Марта снова появилась.

— Дядя пріѣхалъ, сказала она. — Онъ ничего не говоритъ. Приготовьтесь къ отъѣзду. Когда слуги сядутъ за ужинъ, а дя-

дя и кухня расположатся въ гостиной, вы можете смѣло отправляться; я предупреждаю васъ.

Стемябло. Пришла Марта и дружески простилась съ нимъ.

— Когда я войду въ гостиную, сказала она, — выходите и вы. Я сильно хлопну дверью, это послужитъ вамъ сигналомъ.

— Я пришлю вамъ денешу, какъ только буду въ безопасности, отвѣчалъ онъ.

Онъ взялъ ее за руки. Она нѣсколько дрожала.

— Увижу-ли я васъ снова? сказалъ онъ.

— Да, непремѣнно.

Онъ обнялъ ее и поцѣловалъ.

— Прощайте, сестра! Но что съ вами? спросилъ онъ тревожно, замѣтивъ ея сильное волненіе.

— Это ничего, пройдетъ!

Она пожала ему руку, пошла къ двери, но вдругъ вернулась и бросилась къ нему въ объятія.

— Прощайте! Нѣтъ, до свиданья!

Она удалилась твердымъ шагомъ. Вскорѣ хлопнула дверь гостиной, и онъ сошелъ въ садъ.

ГЛАВА XIX.

Гостиная была освѣщена одной лампой. Мишонъ, заложивъ руки за спину, медленно ходилъ взадъ и впередъ. Закутанная въ шаль, Селина лежала на кушеткѣ. Они молчали. Марта, войдя въ комнату, помѣстилась у окна, на подоконникѣ котораго стояла ея рабочая корзинка, и стала рыться въ ней, будто отыскивая что-то, ей необходимое; между тѣмъ она чутко прислушивалась и старалась проникнуть своимъ взглядомъ въ темноту. „Онъ вышелъ изъ сада, думала она, — онъ теперь въ полѣ, да поможетъ ему Богъ!“

— Марта, подозвалъ ее Мишонъ. — Я долженъ предупредить васъ, что вчерашнее происшествіе нисколько не измѣнило моихъ предположеній. Селина выйдетъ замужъ черезъ три недѣли.

Марта не отвѣчала и посмотрѣла на кузину, но та отвернулась отъ нея, стараясь избѣжать ея взгляда. Селина, очевидно, была неспособна на борьбу. Она молча соглашалась, лишь-бы ее не тревожили упреками.

„Какъ могъ Поль полюбить ея?—думала Марта.—А развѣ я не любила ея? Развѣ я не была очарована ею? Развѣ я не полагала, что у нея есть сердце? Но я уже не люблю ее болѣе, а онъ пришелъ въ отчаяніе, узнавъ, что потерялъ ее!“

— Я провела ночь подлѣ кухни, сказала она громко; — я устала; позвольте мнѣ уйти.

— Я пойду съ тобою, сказала Селина.

Когда молодыя дѣвушки поднялись наверхъ, Селина остановилась.

— Отецъ не говорилъ тебѣ, сказала она:— дуэль не состоится.

— А!

— Узнала ты что-нибудь?

— Ничего.

— Если узнаешь, ты скажешь мнѣ?

— Скажу.

Онѣ разошлись по своимъ комнатамъ. Марта цѣлую ночь не сомкнула глазъ; подъ утро она задремала, но вскорѣ проснулась и сошла въ контору. Тамъ ждалъ ее Клодъ Бераръ.

— Ну? спросила она.

— Я разстался съ нимъ въ трехъ лье за Бургонь. Онъ нанялъ въ гостинницѣ другой экипажъ. До сихъ поръ все шло отлично.

— Вы никого не встрѣтили?

— Нѣсколькихъ проѣзжихъ, но они не обратили на насъ вниманія. Изъ предосторожности мы объѣхали Бургъ.

— Болѣе ничего не случилось?

— Лошадь очень устала, я оставилъ ее въ Бургѣ и возвратился по желѣзной дорогѣ.

— Отлично.

— А что сказалъ г. Мишонъ, не заставъ меня, когда воротился?

— Ничего; онъ даже не замѣтилъ вашего отсутствія.

— О, тѣмъ лучше; всю дорогу я думалъ, что если онъ узнаетъ...

— Онъ никогда не узнаетъ. Наша тайна останется между нами двумя... Г. Клодъ, я очень довольна вами, вы мужественный человекъ, и я вамъ очень признательна... Что написали вы? Вы давно мнѣ ничего не читали.

— Я думаю, м-ль, отвѣчалъ Клодь таинственно, — я нашелъ сюжетъ, который вамъ понравится.

— Какой-же?

— Это сюжетъ опасный, отвѣчалъ онъ, понижая голосъ. — Я, впрочемъ, пока написалъ только заглавіе: „Изгнанникъ“ и составилъ програму.

— Изгнанникъ!

— Не такъ громко. Я представляю изгнанника на горѣ, откуда онъ издала видитъ свою родину. Къ нему прилетаетъ маленькая птичка. „Откуда ты?“ спрашиваетъ онъ ее. — „Изъ Франціи“, отвѣчаетъ она. — „Скажи мнѣ, что тамъ новаго?“ Между ними происходитъ разговоръ, по окончаніи котораго изгнанникъ горюетъ, что у него нѣтъ крыльевъ... Но что съ вами, м-ль?

— Не знаю, меня кольнуло въ сердце и сперлось дыханіе. На воздухъ это пройдетъ... До свиданья, г. Клодь; ваша тема очень хороша.

На другой день Марта получила телеграмму, которой Поль увѣдомлялъ ее о своемъ прибытіи въ Женеву, а черезъ нѣсколько дней возвратился и Гренъе.

— Если-бы не мать, я-бы остался при немъ, сказалъ Гренъе Мартѣ.

— Что-же? Онъ боленъ? Потералъ мѣсто?

— Ни то, ни другое, но г. Поль беспокоитъ меня. Онъ не ѣстъ, не спитъ, не слышитъ, когда съ нимъ говорятъ. Щеки у него ввалились; глаза горятъ, какъ въ лихорадкѣ. Я посоветовалъ ему уѣхать изъ Швейцаріи въ Англію или Америку и, какъ вы думаете, что отвѣчалъ онъ мнѣ? „На кой прахъ!“ сказалъ онъ. Мнѣ пришло на мысль, что, можетъ быть, онъ не совсѣмъ еще излечился отъ своей любви, и я произнесъ имя м-ль Селины. „Я не люблю ее болѣе“, отвѣчалъ онъ. Заговорилъ я о Лорестанѣ. „У меня нѣтъ ненависти къ нему; любовь и ненависть — все умерло во мнѣ“. Утромъ онъ акуратно ходитъ на свою работу, вечеромъ прогуливается; но все это онъ продѣлываетъ машинально, точно всѣ чувства заглохли въ немъ.

— Онъ не просилъ васъ писать?

— Просилъ, но тоже совершенно машинально.

— Говорилъ онъ обо мнѣ?

— Одинъ разъ.

По мѣрѣ того, какъ приближался день свадьбы Селины, Марта все болѣе и болѣе уединялась, стараясь не встрѣчаться съ гостями, теперь чаще, чѣмъ прежде, посѣщавшими домъ нотаріуса. Одна дума занимала ее теперь, и эта дума часто приводила ее въ сильное волненіе. Наконецъ, она написала письмо Полю и получила отвѣтъ всего въ десять строкъ.

Въ день полученія ею этого письма, Мишонъ заговорилъ съ нею о свадьбѣ Селины и сталъ умолять ее, чтобы она непремѣнно присутствовала на этой свадьбѣ.

— Это невозможно! отвѣчала она съ усиленіемъ, но твердо.

— Упрямица! сказалъ нотаріусъ. — Я болѣе не стану убѣждать тебя, но я никогда не забуду, что ты была старшей сестрой, почти матерью для Селины. Я-бы желалъ, чтобы ты осталась со мной до твоего замужества... Ты окончательнo рѣшилась оставить твоего стараго дядю?

— Да, отвѣчала Марта, опуская глаза,—я должна это сдѣлать.

— Ты уже взрослая дѣвушка; черезъ шесть мѣсяцевъ ты будешь совершеннолѣтняя. Я радъ, что мнѣ удалось увеличить твой капиталецъ. Въ этомъ кошелекѣ доходъ твой за нынѣшній годъ. Ты довольна, что получила деньги?

Марта дрожащею рукою взяла кошелекъ и сильно покраснѣла. Она поблагодарила дядю и послѣшила въ свою комнату.

Здѣсь провела она десять спокойныхъ, счастливыхъ лѣтъ; каждая вещь въ этой комнатѣ была дорога ей; теперь она прощалась съ нею. Тяжело сжалось сердце молодой дѣвушки; слезы невольно закапали изъ ея глазъ. Но скоро она отерла ихъ, и твердая рѣшимость изобразилась на ея лицѣ. Теперь уже ничто не могло поколебать ея рѣшенія.

XX.

Гревье былъ правъ. Поль пересталъ походить на человѣка, имѣющаго волю. Все онъ дѣлалъ теперь машинально, автоматически. Всѣ чувства умерли въ немъ вмѣстѣ съ любовью. Пробовалъ онъ спасти себя отъ апатіи и принимался за книги, но читать не могъ; брался за перо, но никакая идея не зарождалась въ его мозгу.—Наконецъ, ему надоѣло жить, и мысль о са-

жауобійствѣ становилась для него съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе привлекательной.

„Къ чему жить?—разсуждалъ онъ.—Какія обязанности могутъ меня удерживать? У меня нѣтъ ни семьи, ни отечества; я никому не нуженъ. Каждый такъ-же хорошо, какъ и я, можетъ исполнять мою работу. Если-бы гдѣ-нибудь шла борьба и я могъ сразиться за правое дѣло, я полетѣлъ-бы туда. Но вездѣ господствуетъ эгоизмъ; вездѣ люди руководствуются только личными интересами. Въ моей бездомной жизни только два исхода: жизнь работника, нестерпимая безъ семьи, или самоубійство“.

Наступила весна, но она не принесла съ собою облегченія Полю. Однажды, въ воскресенье, Поль, какъ обыкновенно, гулялъ по берегу озера и почувствовалъ, что ноги его трясутся, кровь леденѣетъ, а на лбу его выступили крупныя капли пота. Онъ былъ принужденъ присѣсть на обрубокъ дерева. „Если я останусь здѣсь, я не въ состояніи буду подняться“, подумалъ онъ, но мысль о болѣзни нисколько не смутила его.

„И къ лучшему! Скорѣе все кончится!“ сказалъ онъ вслухъ и пошелъ въ городъ. По крайней мѣрѣ четверть часа онъ поднимался въ свою квартиру въ третьемъ этажѣ и бросился на свою постель, безсильный, изнеможенный.

„Ахъ, приходила-бы смерть скорѣе!“ думалъ онъ.

Солнце ярко свѣтило къ нему въ окна. Онъ хотѣлъ встать, чтобы спустить шторы, но не могъ. Скорченными пальцами онъ натянулъ на себя одѣяло и закричалъ слабымъ голосомъ:

— Уберите это солнце! Тѣни! Дайте мнѣ тѣни!.. Ради Бога, пить! Я весь горю!..

Наступила ночь; его схватила горячка. Вскорѣ онъ потерялъ сознаніе. Сколько часовъ, сколько дней провелъ онъ такимъ образомъ — онъ не могъ дать себѣ отчетъ. Кто это стоитъ передъ нимъ? Тѣни или живые люди? Иногда казалось ему, что мужчины въ черныхъ одеждахъ наклоняются надъ его изголовьемъ. А то представлялась ему женщина, съ краснымъ лицомъ, гигантскаго роста. Случалось, видѣлъ онъ и другую жѣнскую фигуру, и это видѣніе дѣйствовало на него отрадно, успокоительно. Его восхищала ея грація, изящество всѣхъ ея движеній; ея кроткое блѣдное лицо съ успокоительной улыбкой нависло надъ больнымъ. Съ какой предупредительностію она подавала ему лекарство!

Она приходила ночью и исчезала, какъ только начинался день. Послѣ ея посѣщенія, Поль всегда чувствовалъ себѣ лучше, точно она уносила съ собою болѣзнь.

Одну ночь онъ не видѣлъ ея; онъ спалъ; но утромъ, открывъ глаза, онъ увидѣлъ ее у своего изголовья.

— А! сказалъ онъ,—такъ это не сонъ?

Онъ попытался подняться, но у него не хватило силъ на это.

— Марта!

— Да, это я! Вы заболѣли, и я пріѣхала за вами ухаживать.

Онъ жестомъ поблагодарилъ милую дѣвушку.

— У меня была сестра, продолжала она, — я потеряла ее. Тогда я вспомнила, что у меня остался братъ.

— Что вы говорите!

— Развѣ я не обѣщала вамъ, что мы увидимся?

— О, расскажите мнѣ... прошепталъ онъ, простирая къ ней руки.

— Какъ я сюда попала? Самымъ простымъ образомъ. Я объявила дядѣ, что до наступленія моего совершеннолѣтія я буду жить въ пансіонѣ, гдѣ воспитывалась. Въ тотъ самый моментъ, когда я хотѣла отправиться въ Ліонъ, Гренье рассказалъ мнѣ, какъ вы несчастны. Вмѣсто того, чтобы отправиться въ Ліонъ, я пріѣхала сюда. Вотъ и все.

— Вы ангель!

— Я женщина, видѣвшая страданія и сама страдавшая. Пріѣхавъ сюда, я остановилась у пастора и до сихъ поръ живу у него. Это очень близко отъ васъ. Мы видѣлись ежедневно.

— Вы останетесь въ Иверденѣ?

— Конечно.

— Марта! Марта! вскричалъ больной, смотря на нее съ признательностію, но, замѣтивъ, что она покраснѣла, прибавилъ:

— Сестра!

Марта и Поль уже три года женаты и живутъ въ Иверденѣ. Поль сохранилъ свое мѣсто. Онъ работаетъ цѣлую недѣлю, а въ воскресенье они встаютъ очень рано и поднимаются на гору, съ которой видна Франція. Но, вѣроятно, они скоро вернутся на родину, которую горячо и безпредѣльно любятъ.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

МУЖИКЪ, ВЪ САЛОНАХЪ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛЕ- ТРИСТИКИ.

(По поводу романовъ, повѣстей и очерковъ изъ народнаго быта гг. Иванова, Златовратскаго, Вологодина и А. Потѣхина.)

(СТАТЬЯ ВТОРАЯ.)

I.

Сколько-бы ни увѣряли насъ эстетики извѣстныхъ школъ (натуралисты, на примѣръ) будто объективное, совершенно безпристрастное отношеніе къ воспроизводимой дѣйствительности составляетъ обязательное, необходимое и неизбѣжное условіе всякаго истинно-художественнаго творчества, но все-таки очень сомнительно, чтобы какое-бы то ни было художественное воспроизведеніе дѣйствительности могло когда-нибудь вполнѣ удовлетворять этому требованію. Художникъ не фотографическій аппаратъ, не мертвая машина,—онъ прежде всего живой человѣкъ, и какъ-бы ни былъ этотъ живой человѣкъ индифферентенъ, безсмысленъ и, если угодно, тупоуменъ, онъ все-же не можетъ,—не можетъ въ силу присущихъ ему общечеловѣческихъ качествъ,—относиться съ безучастною объективностью къ жизни, къ поступкамъ, къ характерамъ, къ положенію окружающихъ его людей, къ воспроизводимой имъ дѣйствительности. А потому онъ всегда и неизбѣжно вноситъ въ свои воспроизведенія нѣкоторую (и нерѣдко весьма значительную) дозу своего внутренняго, чисто-субъективнаго міра, свои личныя пристрастія, симпатіи и антипатіи, свои личныя воззрѣнія, предразсудки, идеалы и фантазіи. Эти-то личныя воззрѣнія, идеалы, симпатіи и антипатіи и опредѣляютъ, главнымъ образомъ, характеръ его отношеній къ воспроизводимой имъ дѣйствительности; они за-

ставляютъ его смотрѣть на нее подъ тѣмъ или другимъ угломъ, останавливать свое вниманіе на тѣхъ или другихъ ея сторонахъ, освѣщать ихъ тѣмъ или другимъ свѣтомъ. Слѣдовательно, если мы хотимъ судить по дѣйствительности воспроизведенной и художественной о дѣйствительности реальной, объективной, мы всегда и прежде всего должны брать въ расчетъ ту субъективную призму, тѣ очки „личнаго міросозерцанія“, черезъ которыя художникъ наблюдаетъ послѣднюю. Нѣтъ сомнѣнія, что „погоня за мужикомъ“, какъ за объектомъ для белетристическихъ упражненій, обуславливалась и обуславливается (какъ мы старались показать въ первой статьѣ) нѣкоторыми общими, для всѣхъ белетристовъ одинаковыми, такъ-сказать, объективными причинами. Но несомнѣнно также и то, что, помимо этихъ общихъ объективныхъ причинъ, у каждаго белетриста были и свои частныя, субъективныя. И отъ этихъ-то послѣднихъ и должно было зависѣть главнымъ образомъ его отношеніе къ „мужицкой“ дѣйствительности, качество и характеръ тѣхъ субъективныхъ очковъ, черезъ которыя онъ глядѣлъ на нее. Само собою понятно, что прежде, чѣмъ мы начнемъ толковать о послѣдней, мы должны сказать нѣсколько словъ о первыхъ, т. е. объ очкахъ субъективнаго воззрѣнія.

Качество очковъ зависѣло, въ свою очередь, отъ общественнаго положенія, отъ привычекъ, нравовъ, отъ свойства той среды, къ которой принадлежалъ белетристъ. Лѣтъ сорокъ, пятьдесятъ тому назадъ наши воздѣлыватели вертограда отечественной словесности, а въ томъ числѣ и белетристы и поэты, принадлежали, какъ всѣмъ извѣстно, къ одной и той-же средѣ—къ средѣ привилегированнаго помѣщичьяго класса. Въ этомъ классѣ, какъ опять-таки всѣмъ извѣстно, господствующимъ взглядомъ на мужика былъ тотъ взглядъ, что „мужикъ—низшее, грубое и пассивное существо, что съ нимъ безъ палки ничего не подѣлаешь, что онъ по природѣ своей способенъ понимать лишь одну аргументацію—розги и зуботычины“. Это былъ общепризнанный взглядъ крѣпостного режима. Повидимому, его должна была-бы раздѣлять и тогдашняя отечественная литература. Но на самомъ дѣлѣ это было не такъ: въ литературѣ офиціальныи взглядъ на мужика утратилъ свои гражданскія права гораздо раньше, чѣмъ въ реальной, дѣйствительной жизни. Въ то время, какъ въ дѣйствительности мужика, по-прежнему, третировали, какъ холопа, въ то время, какъ реальная жизнь, по-прежнему, отказывалась признать въ немъ человѣка, созданнаго изъ одинаковой плоти и крови съ его обладателемъ,—въ это время литература самымъ почтительнѣйшимъ образомъ расшаркивалась передъ нимъ и осыпала его всевозможными комплиментами и всяческими миндальностями. Субъектив-

ный источникъ такихъ идеально-литературныхъ воззрѣній на мужика слѣдуетъ искать, разумѣется, въ общемъ складѣ и характерѣ индивидуальных міросозерцаній гг. воздѣлывателей вертограда россійской словесности. Хотя эти воздѣлыватели, какъ я только-что сказалъ, и принадлежали къ той-же крѣпостнической средѣ, съ которой ихъ связывали одиѣ и тѣ-же привычки, одни и тѣ-же интересы, но, тѣмъ не менѣе, ихъ міросозерцаніе далеко не всегда и не вполне гармонировало съ официальнымъ и общеобязательнымъ міросозерцаніемъ этой среды, — міросозерцаніемъ, выросшимъ на исторической почвѣ крѣпостныхъ отношеній; по многимъ пунктамъ оно находилось даже въ рѣшительномъ противорѣчій съ общимъ тономъ этихъ отношеній, что, однакожь, нисколько не мѣшало ему быть ихъ прямымъ, логическимъ послѣдствіемъ. Тутъ нѣтъ ничего страннаго: хотя жизненные пути дворянской интеллигенціи и были усыпаны розами матеріальныхъ благъ и матеріальнаго комфорта, но розы эти, какъ и всякія розы, были не безъ шиповъ. Конечно, не всякая господская нога чувствовала ихъ, но ноги наиболѣе привилегированныя, выхолонныя, извѣженныя, ноги „съ высшими потребностями“, не могли объ нихъ не спотыкаться. Подъ вліяніемъ довольно чувствительной боли, причиняемой шипами розъ, онѣ начинали не совсѣмъ дружелюбно относиться и къ самымъ розамъ, что, впрочемъ, не препятствовало имъ извлекать изъ послѣднихъ всю ту пользу, которую извлекали изъ нихъ и ноги, къ шипамъ нечувствительныя. Недружелюбное отношеніе къ „розамъ“ не вполне гармонировало съ официальнымъ міросозерцаніемъ среды. Отсюда само собою понятно, что люди, обладавшіе черезчуръ чувствительными ногами, не могли имъ удовлетвориться, что они должны были постараться внести въ него нѣкоторыя, болѣе или менѣе существенныя, поправки и измѣненія.

Характеръ этихъ поправокъ и измѣненій, естественно, долженъ былъ зависѣть отъ характера, отъ качества того умственного матеріала, который доступенъ былъ господамъ „чувствительнымъ ногамъ“. Матеріалъ-же этотъ, какъ всякій знаетъ, былъ и не обширенъ, и не разнообразенъ. Кое-какіе уцѣлѣвшіе памятники „сѣдой старины“, поросшей мхомъ забвенія, кое-какіе продукты официальной европейской науки, попадавшей къ нимъ изъ вторыхъ рукъ и, обыкновенно, заднимъ числомъ, кое-какіе обрывки мистическихъ философій, — вотъ и все. Однако, и этого скуднаго матеріала было достаточно, чтобы породить въ міросозерцаніи дворянской интеллигенціи нѣкоторое раздвоеніе. Одни „умы“, отдававшіе предпочтеніе „дозволеннымъ къ употребленію“ плодамъ съ западно-европейскаго древа „познанія добра и зла“, старались сокомъ этихъ плодовъ обновить и освѣжить неудо-
1*

рившее ихъ общепринятое міросозерцаніе; другіе-же, напротивъ, предпочитавшіе „плодамъ“ бесплодную мистику и архивную пыль историографическихъ памятниковъ, пытались передѣлать и переправить „казенныя доктрины“, при помощи именно этой мистики и этой пыли. Первые титуловали себя „западниками“, вторые „славянофилами“, мистическими народниками. И тѣ, и другіе относились одинаково недружелюбно (хотя нерѣдко это недружелюбіе было совершенно бессознательное) къ „розамъ съ шипами“, но и у тѣхъ, и у другихъ недружелюбіе это выражалось различнымъ образомъ и исходило изъ различныхъ умственныхъ мотивовъ. Въ то время, какъ одни черпали свои идеалы въ міросозерцаніи и жизни цивилизованныхъ народовъ Запада, насколько, разумѣется, это міросозерцаніе и эта жизнь были для нихъ открыты, другіе черпали ихъ въ жизни и міросозерцаніи собственныхъ прапрадѣдовъ. Намъ, конечно, нѣтъ надобности касаться здѣсь ни сущности, ни, тѣмъ болѣе, характеристическихъ особенностей обоихъ міросозерцаній; намъ нѣтъ также надобности распространяться и о вызвавшихъ ихъ на свѣтъ божій историко-общественныхъ условіяхъ; достаточно лишь констатировать фактъ ихъ существованія и опредѣлить то вліяніе, которое они должны были оказать на измѣненіе общеобязательнаго, офиціальнаго взгляда на мужика.

Мозги „западниковъ“, освѣженные сокомъ плодовъ съ древа европейской цивилизаціи, никакъ не могли — въ теоріи, по крайней мѣрѣ — переварить мысль, будто мужикъ не есть существо, по природѣ своей подобнсе имъ, господамъ. Ихъ теоретическое міросозерцаніе, въ какіе-бы компромисы они ни входили съ міросозерцаніемъ офиціальнымъ, обязывало ихъ признать въ принципѣ (на практикѣ-же, разумѣется, они чувствовали себя отъ всякихъ такихъ обязательствъ совершенно свободными), что „мужикъ есть тоже человѣкъ“. А если онъ „тоже человѣкъ“, то, очевидно, въ какія-бы нечеловѣческія условія онъ ни былъ поставленъ, въ его груди, подъ его сѣрымъ зипуномъ, затасканомъ и дырявомъ, должно биться человѣческое сердце, т. е. такое-же сердце, какое бьется и въ груди любого барина. Обладая барскимъ сердцемъ, барскою душою, онъ, естественно, долженъ быть способенъ проникаться и волноваться всѣми барскими чувствами и сантиментами, — иными словами, его душевный, нравственно-психическій міръ не можетъ ни въ чемъ существенномъ разниться отъ душевнаго міра его обладателя. Положеніе это шло въ разрѣзъ съ установившимся, офиціальнымъ взглядомъ на мужика, — взглядомъ, вполне, повидимому, оправдываемымъ житейскимъ опытомъ и житейскою практикою той среды, изъ которой вышли „запад-

ники". Сами они, по своему общественному положенію, по своему воспитанію, своимъ правамъ и привычкамъ, не могли да и не хотѣли ни отказываться отъ этой практики, ни продѣлывать какихъ-нибудь новыхъ опытовъ. Ихъ практика и ихъ опыты не выходили изъ предѣловъ практики и опыта, установленныхъ официальнымъ міросозерцаніемъ. Вслѣдствіе этого, оставя въ сторонѣ всякіе опыты, скрывъ подалше отъ любопытныхъ глазъ свою практику и соображаясь исключительно лишь съ логическими требованіями своего теоретическаго міросозерцанія, они начали просто сочинять, à priori составлять „мужицкую душу“ по образу и подобию своей собственной. Затѣмъ они спокойно вкладывали этотъ слѣпокъ дворянской души въ грубое, неуклюжее, корявое мужицкое тѣло, облекали это тѣло въ тѣ реальныя онучи и рубища, въ которыхъ ходили ихъ-же собственные реальныя пейзажи, ставили его въ ту-же реальную обстановку, въ которой стояли послѣдніе,—и дѣло было въ шляпѣ. Мужикъ, по всей своей внѣшности напоминающій реальнаго мужика, понималъ, чувствовалъ, страдалъ, наслаждался, сентиментальничалъ, кауририничалъ и т. п. совершенно такъ-же, совершенно по тѣмъ-же мотивамъ и тому-же рецепту, какъ и господа „благородные дворяне“ съ ихъ „разстроенными нервами“, съ ихъ „утонченными“ вкусами...

Я не спорю, что эта попытка „облагородить“, „одворянить“ мужицкую душу свидѣтельствуетъ о несомнѣнной гуманности и прекраснородности гг. белетристовъ „крѣпостнаго періода“; я не отрицаю того значенія, которое она должна была имѣть и которое она, дѣйствительно, имѣла въ исторіи нашего общественнаго развитія; но, надѣюсь, никто не станетъ спорить и противъ того, что это искусственное „облагороживаніе“ крестьянской души было не результатомъ добросовѣстнаго и всесторонняго изученія послѣдней, а простымъ логическимъ выводомъ изъ нѣкоторыхъ основныхъ посылокъ „западно-европейскаго міросозерцанія“. Добросовѣстное, всестороннее изученіе крестьянской души, въ силу непреодолимыхъ общественныхъ условий, было совершенно недоступно помѣщикамъ-белетристамъ. Вотъ почему белетристическія экскурсіи въ народную жизнь разныхъ гг. Григоровичей, Тургеневыхъ, Марко-Вовчокъ и всѣхъ тѣхъ, которые шли или идутъ по стопамъ ихъ, даютъ въ концѣ-концевъ несравненно больше матеріала для опѣнки ихъ собственныхъ, индивидуальныхъ свойствъ и возрѣній, чѣмъ для характеристики самой народной жизни. Вкладывая въ мужицкое тѣло свою барскую душу, они, хотя и не идеализировали мужика (т. е. не идеализировали съ точки зрѣнія самого мужика), но во всякомъ случаѣ искажали его, уродовали, представляли его не такимъ, какимъ онъ былъ въ дѣйствительности. Это искаженіе и уродованіе

(а съ точки зрѣнія „господь“—идеализація) не ограничивались однимъ лишь внутреннимъ міромъ, одною лишь мужицкою душою: душа человѣка выражается въ его словахъ, рѣчахъ, манерахъ, въ его поступкахъ, въ его отношеніяхъ ко всѣмъ окружающимъ его людямъ. Отсюда само собою очевидно, что, когда вы подтасовываете, искажаете душу, вы тѣмъ самымъ подтасовываете и искажаете и всѣ ея внѣшнія проявленія. Мужикъ съ „барскою душою“ не можетъ ни такъ говорить, ни такъ поступать, ни вообще такъ вести себя, какъ-бы на его мѣстѣ говорилъ и поступалъ мужикъ, съ своею собственною, неподдѣльною, реальною душою. Читателю стоитъ только припомнить, какимъ искусственнымъ, то холопски-слащавымъ, то семинарски-превыспреннимъ, то институтски-сентиментальнымъ слогомъ выражаются герои и героини тургеневскихъ пейзажъ и пейзажовъ, не говоря уже объ аркадскихъ мужичкахъ Григоровича и Марко-Вовчка... Если читатель припомнить эти невинныя упражненія въ живописаніи такъ называемой народной жизни, то онъ, конечно, согласится со мною; онъ согласится, что барская фальсификація мужика далеко не ограничивалась одною лишь его душою.

Но въ то время, какъ господа, вкусившіе плодовъ отъ древа западно-европейской цивилизаціи, тщились доказать, что мужикъ есть тоже человѣкъ, и съ этою цѣлью великодушно распространяли на мужицкую душу всѣ права и привилегіи души дворянской, въ это время (и даже раньше этого времени) наши историографы-мистики старались, въ свою очередь, подтянуть, поднять мужика на высоту, но уже не дворянскаго „прекраснодушія“, а своихъ собственныхъ мистическихъ идеаловъ. Этого требовала отъ нихъ логика теоретическаго міросозерцанія. Въ основѣ этого міросозерцанія лежитъ, какъ извѣстно, нѣкоторое мистическое представленіе о народѣ и народномъ духѣ. Смотри на реального мужика сквозь призму этого представленія, они, въ угоду своей теоріи, превратили его въ какое-то ходячее воплощеніе, въ какой-то сосудъ всевозможныхъ добродѣтелей (т. е. добродѣтелей только съ ихъ точки зрѣнія), долженствующихъ, по ихъ мнѣнію, выражать собою какой-то народный геній, какіе-то высшіе идеалы, сокрытые въ нѣдрахъ народной души. Добродѣтели эти, правда, не отличались большимъ разнообразіемъ: смиренномудріе, кротость, терпѣніе, всепрощающая любовь, трогательная покорность, преданность завѣтамъ и преданіямъ старины, беззавѣтная вѣра... и опять смиренномудріе, кротость и т. д.; но это-то именно и придавало желаемую простоту, цѣльность и единство мужицкой душѣ, въ противоположность душѣ „интеллигентныхъ“ людей,—людей, попорченныхъ ядовитымъ сокомъ гнилыхъ плодовъ западной цивили-

зации. Западники, по мнѣнію мистическихъ историографовъ, унизили, извратили, опошлили мужицкую душу, приравнявъ ее къ своей. Ихъ душа — душа больная, преисполненная суетной гордыни и суемудрія, обуреваемая сомнѣніями и безвѣріемъ, себялюбіемъ, завистью, алчностью и всѣми вообще гнусными пороками, порожденными европейскою культурою; тогда какъ, напротивъ, мужицкая душа, наполненная фантастическими добродѣтелями „народнаго гевія“ — душа здоровая, цѣльная, непосредственная, дѣйственно-непорочная, безхитростно-простая; она носитъ въ себѣ противодіе противъ всѣхъ ядовъ цивилизации; она — нашъ спасительный якорь; въ ней залогъ нашего могущества, нашей славы, нашего преуспѣянія. Такимъ образомъ, мужицкая душа оказалась не столь-же, но несравненно болѣе совершенною, прекрасною, человѣчною душею, чѣмъ барская.

Какъ видите, наши историографы далеко перещеголяли западниковъ, по части поддѣлки и фальсификаціи реального мужика, а потому и экскурсіи первыхъ въ область „народнаго духа“ имѣютъ еще меньше значенія для характеристики этого духа, чѣмъ даже экскурсіи вторыхъ. Баластъ предвзятыхъ, чисто-апріористическихъ теорій, готовыхъ, хотя и ни на чемъ неоснованныхъ, выводовъ мѣшаетъ имъ видѣть дѣйствительность такую, какова она есть, и заставляетъ ихъ принимать призраки своей разгоряченной фантазіи за реальныя, живыя существа. И сила этихъ предвзятыхъ теорій и произвольныхъ выводовъ такъ велика, что они не въ состояніи освободиться отъ ея гнетащаго вліянія даже и въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда счастливая или несчастная судьба ставитъ ихъ въ самыя благопріятныя условія для наблюденія и изученія реального мужика; вмѣсто того, чтобы пользоваться этими случаями, вмѣсто того, чтобы дѣйствительно наблюдать и изучать, они кастрируютъ, уродуютъ объекты своихъ наблюденій, подмѣчая въ нихъ лишь такія черты такія свойства, которыя признаетъ за ними ихъ теорія, и отвергая или проходя молчаніемъ все остальное. Въ видѣ примѣра мы можемъ указать... ну, хоть на г. Достоевскаго. Едва-ли хоть одинъ изъ современныхъ ему русскихъ белетристовъ имѣлъ возможность находиться такъ долго и въ такихъ близкихъ (извѣстно, что ничто такъ не сближаетъ людей, какъ общее несчастіе) отношеніяхъ съ сѣрымъ мужикомъ, какъ талантливый авторъ „Мертваго дома“. Правда, условія, при которыхъ „мужицкая душа“, такъ-сказать сама напрашивалась на его вниманіе, были нѣсколько исключительны, аномальны; но именно эта-то ихъ исключительность и аномальность и должна была облегчить ему трудъ ознакомленія съ нею. Притомъ-же рѣдко кто изъ нашихъ белетристовъ обла-

даетъ такую наблюдательностью, такую чуткою впечатлительностью, такую удивительною способностью къ психологическому анализу, какъ онъ. И что-же, однако? Несмотря на всѣ эти особенности своего таланта, несмотря на долгіе годы общей жизни съ „несчастливыми“, несмотря на всѣ свои самыя задушевные, самыя интимныя отношенія къ нимъ, онъ не только не отрѣшился, но, напротивъ, еще болѣе укрѣпился и утвердился въ своихъ мистическихъ взглядахъ на народъ. Подобно славянофиламъ, онъ видитъ въ мужикѣ сосудъ славянофильскихъ „національныхъ добродѣтелей“, воплощеніе славянофильскаго „національнаго идеала“, какого-то аскетическаго страстотерпца, который, какъ говоритъ поэтъ, „все терпитъ во имя Христа, чьи не плачутъ суровыя очи и не ропшутъ нѣмыя уста, чьи работаютъ грубыя руки...“

Такова сила тѣхъ предвзятыхъ теорій и тѣхъ субъективныхъ возрѣвій, подъ вліяніемъ которыхъ белетристы крѣпостнаго періода предпринимали свои экскурсіи въ область „народнаго духа“. Что-же удивительнаго, что въ результатъ этихъ экскурсій получались такія воспроизведенія, глядя на которыя, въ головѣ невольно возникаетъ вопросъ: „гдѣ лица эти видятъ? гдѣ разговоры эти слышатъ?“

II.

Нѣтъ сомнѣнія, что, въ свое время, и мистическій, и барственно-гуманно-либеральный взгляды на мужика оказали свою долю вліянія на смягченіе, гуманизированіе нашихъ общественныхъ нравовъ. Въ души юношей и юницъ, плававшихъ надъ несчастіями Антона-горемыки, съ замираніемъ души слѣдившихъ за судьбою „Рыбаковъ“, посвященныхъ въ тайны слезъ и страданій всѣхъ этихъ Марусенекъ, Сашенекъ, Глашенекъ и Дашенекъ, плѣнявшихся „прекраснодушіемъ“ „лѣсниковъ“ въ „Запискахъ охотника“, патриархальными типами дворовыхъ въ „Семейной хроникѣ“ и т. п., невольно прокрадывалось сомнѣніе на-счетъ непоколебимой истинности господствующаго офіціального взгляда на мужика. Конечно, подобныя сомнѣнія нисколько не препятствовали имъ проводить этотъ взглядъ на практикѣ въ своихъ конюшняхъ, спальняхъ, переднихъ, но, пропагандируя его въ переднихъ и на задворкахъ, они начали стыдиться защищать его въ своихъ гостинныхъ. Между ихъ хозяйственно-обиходною практикою и ихъ парадно-гостиннымъ міросозерцаніемъ произошелъ нѣкоторый разладъ, а отсюда смутное недовольство собою и своимъ положеніемъ, безотчетное стремленіе къ чему-то лучшему, болѣе человѣчному, болѣе нормальному... Само собою понятно, что литературные взгляды на мужика до нѣ-

которой степени сами были обусловлены этимъ настроеніемъ „дворянскихъ душъ“; но разъ они получили въ литературѣ право гражданства, они, въ свою очередь, оказали несомнѣнное вліяніе на его усиленіе и обостреніе, на дальнѣйшее размягченіе барскаго сердца. Въ этомъ отношеніи невозможно отрицать ихъ полезнаго значенія въ исторіи нашего общественнаго развитія; однако, значеніе это не слѣдуетъ преувеличивать; не слѣдуетъ забывать, что если крѣпостническій взглядъ на мужика былъ лживъ, то не менѣе (хотя и въ другомъ, болѣе гуманномъ смыслѣ) былъ лживъ взглядъ и сантиментальныхъ помѣщиковъ и ввѣвшихъ въ мистическое мракобѣсіе „исторіографовъ“. Возставая противъ господствующихъ невѣрныхъ представленій о мужицкой душѣ, они старались внушить обществу другія представленія, столь-же невѣрные, столь-же неосновательныя и апріористическія. Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы пролить нѣкоторый свѣтъ на вопросъ „о мужикѣ“, содѣйствовать его правильному рѣшенію, они только его запутывали и затемняли.

Отсюда само собою понятно, почему теперь,—теперь, когда, подъ вліяніемъ общихъ экономическихъ причинъ, указанныхъ въ первой статьѣ, вопросъ о мужикѣ выдвинулся на первый планъ, когда всѣ мы, къ кажимъ-бы лагерямъ и направленіямъ ни принадлежали, чувствуемъ потребность познакомиться съ настоящей, дѣйствительной народной жизнью, не поддѣлывая и не подкрашивая ее à la Григоровичъ и Марко-Вовчокъ, не коверкая и не искажая ее à la Н. Успенскій и К^о,—почему теперь ни мистическій, ни барственно-гуманно-либеральный взгляды на народъ не могутъ и не должны насъ удовлетворять. Мы начинаемъ понимать, что они, въ силу своего чисто-апріорнаго, метафизическаго характера, не даютъ и не могутъ намъ дать никакого истиннаго, достовѣрнаго знанія народной жизни. Они сдѣлали свое дѣло, они, дурно или хорошо, сыиграли свою роль, и имъ теперь ничего болѣе не остается, какъ удалиться за кулисы, уступить свое мѣсто другимъ взглядамъ, другимъ воззрѣніямъ, выведеннымъ и опирающимся на опытному изученію реальной дѣйствительности. Къ несчастію, однако, человѣкъ такъ ужъ устроенъ, что ему всегда бываетъ очень трудно разставаться съ своими иллюзіями, особенно съ иллюзіями дѣтства, хотя-бы послѣдующій опытъ жизни и убѣдилъ его въ ихъ лживости и полнѣйшей несостоятельности. Даже и тогда, когда онъ, повидимому, совершенно отъ нихъ отрѣшается, когда онъ окончательнo сдаетъ ихъ въ архивъ, они долго еще, хотя и незамѣтно для него самого, сохраняютъ надъ нимъ свою власть и, помимо его воли, вліяютъ на его отношенія къ окружающей дѣйствительности. Поэтому нѣтъ ничего удивитель-

наго въ томъ, что хотя наши иллюзиі на-счетъ мужика и утратили въ настоящее время свой *raison d'être*, хотя мы и сознаемъ ихъ полнѣйшую несостоятельность, но, тѣмъ не менѣе, мы все еще не можемъ расквитаться съ ними окончательно и безповоротнo, мы все еще, сами того не замѣчая, находимся подъ ихъ скрытымъ вліяніемъ. Правда, теперь уже рѣдко случается встрѣчаться *) въ салонахъ отечественной белетристики какъ съ мистическими мужиками—мужиками, воплощающими въ себѣ мистическія добродѣтели національнаго генія, такъ и съ мужиками одворяненными — мужиками, воплощающими въ себѣ барское „прекраснодушіе“; однако, хотя этотъ мистическій и одворяненный мужикъ и уступилъ свое мѣсто мужику, повидимому, реальному, но онъ не исчезъ безслѣдно; ниже мы увидимъ, что онъ продолжаетъ свое существованіе и, такъ сказать, уживается съ реальнымъ и неподдѣльнымъ мужикомъ..

До-реформенные белетристы занимались мужикомъ не потому чтобы мужикъ, взятый самъ по себѣ, представлялъ для нихъ какой-нибудь интересъ; нѣтъ, они просто видѣли въ немъ лишь нѣ который удобный предлогъ для конкретнаго выясненія того или другого положенія своего теоретическаго міросозерцанія, для вѣщаго обнаруженія той или другой своей душевной добродѣтели. Поэтому, хотя они, въ качествѣ помѣщиковъ, находились въ довольно близкихъ отношеніяхъ съ подвластными имъ крѣпостными, хотя они не прочь были, при удобномъ случаѣ, милостиво покалякать съ ними, пораспросить ихъ о ихъ житіѣ-бытіѣ, о ихъ семейныхъ дѣлишкахъ и т. п., но никогда имъ и на умъ не приходило дѣлать изъ сѣраго мужика предметъ какаго-то спеціальнаго изученія. Удостоится этой чести онъ могъ лишь тогда, когда гг. культурные люди заинтересовались имъ ради него самого, когда у нихъ, въ силу указанныхъ выше причинъ, пробудилась потребность познать его во всей его доподлинной реальности. Потребность-же эта пробудилась, какъ всѣмъ извѣстно, въ періодъ нашего *renaissance'a*,

*) Но хотя рѣдко, а все-таки случается; такъ, напр., не дагѣе, какъ въ прошломъ году въ „Вѣстникѣ Европы“ было помѣщено нѣсколько рассказовъ изъ народнаго быта („Любаша“, „Птичница“ и проч.),—рассказовъ, составленныхъ въ духѣ и по рецепту до-реформенныхъ, барственно-сентиментальныхъ воззрѣній на мужика. Хотя и по своему содержанію, и по своей формѣ они представляли не бохѣе, какъ плохое аляповатое подражаніе народнымъ рассказамъ гг. Марко-Вовчокъ, Григоровичей и подобныхъ имъ до-реформенныхъ белетристовъ, тѣмъ не менѣе газетные рецензенты отнеслись къ нимъ, насколько мнѣ помнится, довольно сочувственно; очевидно, ихъ подкупила въ пользу автора его барственно-сентиментальная точка зрѣнія; отсюда вы видите, что эта точка зрѣнія, что бы о ней ни говорили и ни писали, и до сихъ поръ еще не утратила въ нашей литературѣ своихъ гражданскихъ правъ.

т. е. въ періодъ окончательной ликвидаціи крѣпостнаго права. Къ этому-же времени относятся и первыя заправскія экскурсіи культурныхъ людей въ народную жизнь. Нельзя сказать, чтобы эти первыя экскурсіи увѣнчались особенно плодотворными результатами. Дѣло было новое, непривычное; къ тому-же экскурсіонисты отправились въ путь совѣмъ налегкѣ. Всестороннее, основательное изученіе народнаго быта, „народной души“, было имъ не подъ силу, да, по правдѣ сказать, у нихъ и времени-то не было для подобнаго изученія. Имъ нужно было торопиться. Поддѣльный мужикъ до-реформенной литературы мозолилъ глаза; повсюду предъявлялся спросъ на мужика реальнаго, и необходимо было удовлетворить этому спросу, какъ можно скорѣе... Въ виду этой необходимости, гг. экскурсіонисты старались по возможности съузить, ограничить сферу своихъ наблюденій: они схватывали, такъ-сказать, на лету первую попавшуюся имъ на глаза сценку изъ повседневной крестьянской жизни, записывали въ-торопяхъ отдѣльныя слова, выраженія и обороты мужицкой рѣчи, подмѣчали детальныя особенности мужицкихъ костюмовъ, мужицкихъ манеръ и т. п. и затѣмъ, на основаніи этого, на скорую руку добытаго матеріала, склеивали кое-какъ свои „очерки изъ народнаго быта“. Мужикъ, фигурировавшій въ этихъ очеркахъ, по своей внѣшности, по своей рѣчи, производилъ впечатлѣніе реальнаго мужика; рассказанныя въ нихъ сценки и случаи изъ крестьянскаго быта тоже отличались несомнѣнною реальностью,—они были списаны съ дѣйствительности съ стенографическою точностью. Однимъ словомъ, эти очерки вполне удовлетворяли всѣмъ требованіямъ такъ-называемой натуралистической школы: это, дѣйствительно, были фотографіи, снятыя съ живыхъ людей, это были стенографическіе отчеты подслушанныхъ разговоровъ, это были подлинныя протоколы различныхъ повседневныхъ событій крестьянской жизни. Но, преслѣдуя исключительно фотографическія, стенографическія и тому подобныя цѣли, наши экскурсіонисты не могли быть чрезмеръ разборчивы относительно матеріала для своихъ фотографій, отчетовъ и протоколовъ. Они брали все, что попадалось подъ руку. Имъ некогда да и незачѣмъ было разбирать, что стоитъ стенографировать и что не стоитъ, что годится для занесенія въ протоколъ и что не годится. Задача ихъ состояла лишь въ томъ, чтобы въ возможно-скорое время собрать возможно-большее количество возможно-точныхъ свѣденій о различныхъ частностяхъ и особенностяхъ реальной мужицкой жизни. Важны или не важны были эти особенности,—это ихъ не касалось; да если-бы и касалось, то это все равно, такъ-какъ у нихъ не было никакого опредѣленнаго критерія для распознаванія важнаго и существеннаго отъ

неважнаго, несущественнаго. Я уже сказалъ, что они отправились въ путь налегкѣ, не имѣя никакихъ предварительныхъ свѣденій о томъ предметѣ, который имъ предстояло изучать. Очувтившись среди „мужичья“, они очутились въ совершенно новомъ, невѣдомомъ для нихъ мѣрѣ; на каждомъ шагу ихъ ждалъ какой-нибудь непредвидѣнный сюрпризъ, и все казалось имъ здѣсь страннымъ, непріятнымъ, удивительнымъ. Представьте себѣ, читатель, что васъ внезапно перенесли-бы въ землю готентотовъ, о которыхъ вы, положимъ, не имѣете никакого понятія. Что прежде всего поразило-бы васъ? Ихъ лица, ихъ татуировка, ихъ внѣшность, ихъ жилища, звуки ихъ рѣчи. Все это съ самага-же начала обратило-бы на себя ваше вниманіе и живо врѣзалось-бы въ вашей памяти. Вы присутствуете затѣмъ при различныхъ актахъ повседневной готентотской жизни: вы видите, какъ они ѣдятъ, дерутся, пляшутъ, вы слышите ихъ пѣсни и т. п.; все это съ перваго раза производитъ на васъ сильное впечатлѣніе, и вы спѣшите занести все это въ свою памятную книжку. Но поживите съ готентотами подольше, свыкнитесь съ ихъ жизнью, войдите въ ея интересы, и то, что васъ такъ удивляло и поражало вначалѣ, покажется вамъ теперь настолько простымъ, естественнымъ, зауряднымъ, обыкновеннымъ, что вы почти и не станете обращать на него вниманія. Теперь въ вашей памятной книжкѣ не будетъ уже встрѣчаться отчетовъ и протоколовъ о томъ, какъ готентоты ѣдятъ и пьютъ, какъ они дерутся и пляшутъ, какъ они ходятъ и какъ они лежатъ и т. п., — въ ней не будетъ стенографическихъ описаній различныхъ случайныхъ деталей ихъ повседневной жизни; нѣтъ, вы будете отмѣчать въ ней лишь такіе факты, лишь такіе эпизоды, лишь такіа подробности, которыя имѣютъ, дѣйствительно, существенное значеніе для характеристики готентотскаго быта, для оцѣнки ихъ домашнихъ и общественныхъ отношеній, для выясненія степени ихъ умственнаго и нравственнаго развитія. Такимъ образомъ, содержаніе вашей памятной книжки, въ первый періодъ вашего пребыванія у готентотовъ, будетъ имѣть очень мало общаго съ ея содержаніемъ въ послѣдующіе періоды вашего знакомства съ ними. Въ первый періодъ она будетъ не болѣе, какъ безсвязнымъ, въ-торопяхъ, подъ первымъ впечатлѣніемъ составленнымъ сборникомъ случайныхъ фотографическихъ снимковъ, стенографическихъ отчетовъ о разныхъ несущественныхъ деталяхъ повседневной жизни. Въ послѣдующіе-же періоды она представитъ собою уже осмысленную картину этой жизни, въ ея наиболѣе общихъ, характерныхъ, типическихъ чертахъ.

„Очерки изъ народнаго быта“ нашихъ первыхъ экскурсіони-

стовъ въ народъ—это ваша памятная книжка въ первый періодъ вашего пребыванія у готентотовъ; это — первыя впечатлѣнія путешественника, нежданно-негаданно попавшаго въ среду невѣдомаго ему племени... Какъ этого путешественника прежде всего поражаютъ такія именно частности и детали въ жизни незнакомаго ему племени, которыя всего рѣзче отличаются отъ частныхъ и деталей жизни роднаго ему племени, такъ точно и нашихъ экскурсіонистовъ прежде всего и болѣе всего поразили въ мужикѣ тѣ внѣшнія особенности его наружности, его манеръ, его рѣчи, которыя рѣзче всего отличаютъ его отъ культурнаго чловека. Въ общей картинѣ мужицкой жизни эти особенности остаются обыкновенно въ тѣни, отодвигаются на задній планъ, и вы проходите мимо ихъ, почти ихъ не замѣчая. Но когда онѣ искусственно вырываются изъ этой общей картины, когда васъ заставляютъ на нихъ одиѣхъ сосредоточить все ваше вниманіе,—о, тогда онѣ необходимо произведутъ и должны будутъ произвести на васъ почти такой-же эффектъ, какой вы испытали, увидавъ въ первый разъ готентотовъ, съ ихъ раскрашенными тѣлами, съ ихъ уродливыми фізіономіями, съ ихъ странными кривляніями... Онѣ покажутся вамъ отчасти отвратительными, отчасти странными, а отчасти просто забавными.

Такое-то именно впечатлѣніе и оставляли въ большинствѣ культурныхъ людей первые фотогафо-стенографическіе опыты очерковъ изъ „народнаго быта“. Однихъ просто коробило отъ нихъ: „фи,—говорили они съ барскою брезгливостью, — какъ все это пошло, грязно, грубо!“ Другіе негодовали: „какъ можно выставлять народъ въ такомъ непривлекательномъ свѣтѣ? Къ чему это *нарочитое выставленіе* на общую потѣху народной глупости и неразвитости?“ Третьи просто смѣялись и благодарили авторовъ за невинное развлеченіе... на-счетъ мужика. Были, впрочемъ, и четвертые, которые не брызжали, не негодовали и не смѣялись, а злорадствовали: „вотъ онъ,—съ торжествомъ восклицали они,—вотъ онъ—ваша писаная торба, вашъ хваленый мужикъ! Любуйтесь на него: какъ онъ прелестенъ во всей своей реальной наготѣ! Какъ онъ уменъ! Какъ онъ находчивъ!“

Мы не имѣемъ ни малѣйшаго права думать, будто авторы „опытовъ“, возбуждавшихъ въ культурныхъ людяхъ подобнаго рода чувство, заранѣе на него рассчитывали; будто они, фотографируя случайно встрѣчавшихся бабъ и мужиковъ, стенографируя случайно подсмотрѣнныя сценки, случайно подслушанные разговоры, дѣлали все это съ ехиднымъ умысломъ осмѣять мужика, выставить его въ комическомъ видѣ, надругаться надъ его простотою и глупостью... О, нѣтъ, по всей вѣроятности, отправляясь въ

народъ, они не задавались никакою „заднею мыслью“ и всего меньше мыслью—напакостить и повредить мужику. Напротивъ, они хотѣли скорѣе реабилитировать его, снять съ него ту неприличную маску, которую на него напялили историографы-мистики и помѣщичьи-сентименталисты. На мѣсто выдуманнаго, картоннаго, теоретическаго мужика они хотѣли поставить мужика реальнаго, настоящаго, — мужика „заправскаго“. Они были убѣждены, что этотъ заправскій мужикъ окажется несравненно лучше, несравненно симпатичнѣе мужика мистическаго и мужика одворяннаго. И, конечно, они въ этомъ случаѣ не ошибались; бѣда только въ томъ, что у нихъ не хватило ни времени, ни охоты, а быть можетъ и умѣнья узнать и понять этого настоящаго, заправскаго мужика.

Но, какъ-бы то ни было, за ними все-таки остается та несомнѣнная заслуга, что они *первые* обратились къ опытному изученію „мужика“, *первые* (среди белетристовъ, разумѣется) возстали противъ барско-сентиментальнаго и мистическаго отношенія къ нему; они первые проложили культурнымъ людямъ путь въ народъ. До нихъ культурные люди изучали народъ съ барскаго крыльца помѣщичьей усадьбы, либо въ комфортабельномъ кабинетѣ; во сколько-нибудь интимныя бесѣды съ „мужикомъ“ они разрѣшали себѣ пускаться... развѣ только на охотѣ... Молодые белетристы, выступившіе въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ съ своими „очерками изъ народнаго быта“, поступали иначе: они брали котомку за плечи, натягивали на плечи крестьянскій зипунъ или мѣщанскую чуйку и смѣло шли въ невѣдомый имъ міръ крестьянской голытьбы. Они были не брезгливы; ихъ не смущали тѣсноота, угаръ и вонь курной избы; они безъ отвращенія хлѣбали прокислые „пустыя щи“ и закусывали „черствымъ „мякинникомъ“; они не обходили и деревенскаго кабачка, мѣсили съ „богомольцами“ грязь проселочныхъ дорогъ, толкались съ „тулупникомъ“ по ярмаркамъ и базарамъ; однимъ словомъ, они старались войти въ интересы повседневнаго крестьянскаго жителя-бытья, старались хоть на время, хоть нѣсколько дней или недѣль пожить одною жизнью съ мужикомъ. Они понимали, что безъ соблюденія этого условія, безъ этой „общности жизни“ культурный человекъ никогда не въ состояніи будетъ сойтись съ народомъ, узнать его, изучить его „душу“. Правда, ихъ знакомство съ народомъ, какъ я замѣтилъ выше, имѣло, такъ-сказать, чисто-мимолетный характеръ; они не успѣли или не умѣли заглянуть въ „глубь“ народной жизни, они скользили по ея поверхности,—внѣшнее, случайное, несущественное занимало ихъ гораздо болѣе внутренняго, су-

щественнаго, постояннаго; но начало было сдѣлано, примѣръ показанъ, путь проторенъ.

III.

Но если, съ одной стороны, спросъ на „мужика“ вызвалъ въ средѣ культурныхъ людей потребность сближенія съ народомъ, то, съ другой стороны, онъ возбудилъ также и въ людяхъ, уже сближенныхъ съ народомъ, по условіямъ ихъ общественнаго положенія, — въ людяхъ, съ дѣтства вращавшихся или, по крайней мѣрѣ, очень близко соприкасавшихся съ крестьянскою средою, возбудилъ желаніе подѣлиться съ культурнымъ человѣкомъ впечатлѣніями, вынесенными ими изъ этой среды. Это были впечатлѣнія и наблюденія не мимолетныхъ, случайныхъ наблюдателей, по доброй волѣ и съ предвзятою цѣлью предпринимавшихъ кратковременныя экскурсіи въ народную жизнь. Нѣтъ, этихъ людей сблизила съ народомъ сама жизнь; „мужицкій міръ“ не былъ для нихъ какимъ-то невѣдомымъ, загадочнымъ міромъ; они знали его, они освоились съ нимъ гораздо раньше, чѣмъ стали относиться къ нему сознательно. Отсюда само собою понятно, что они совсѣмъ иначе должны были взглянуть на всѣ тѣ мелочи и несущественныя детали, которыя такъ сильно поражали случайнаго экскурсіониста; они почти ихъ не замѣчали, но за то ихъ несравненно больше интересовали внутренній бытъ крестьянскаго міра, общественныя и семейныя отношенія его членовъ. Они не ограничивались, подобно белетристамъ-экскурсіонистамъ, фотографированіемъ и стенографированіемъ случайно попавшихся на глаза мужицкихъ физиономій, случайно подслушанныхъ разговоровъ, случайно подмѣченныхъ сценокъ; нѣтъ, они относились къ разнообразнымъ явленіямъ и эпизодамъ крестьянской жизни съ нѣкоторою критикою; они не брали все, что попадалось имъ подъ руку, они дѣлали нѣкоторый выборъ, и то, что они выбирали, старались изслѣдовать болѣе или менѣе обстоятельно, всесторонне. Въ этомъ-то и заключается ихъ несомнѣнное преимущество передъ белетристами-экскурсіонистами. Белетристы-экскурсіонисты первые проложили культурнымъ людямъ путь въ народъ; белетристы-же, вышедшіе изъ среды, близко и постоянно соприкасавшейся съ „мужицкимъ міромъ“, первые сдѣлали серьезную попытку основательно познакомиться съ этимъ міромъ, приподнять завѣсу, скрывавшую отъ глазъ культурныхъ людей его интимную внутреннюю жизнь.

Наиболѣе яркимъ и талантливымъ представителемъ этихъ белетристовъ былъ, безспорно, покойный Рѣшетниковъ. Если смотрѣть на произведенія Рѣшетникова съ чисто-эстетической точки

зрѣнія, то, конечно, нельзя не согласиться, что они очень мало удовлетворяютъ требованіямъ художественности. Его два лучшіе романа— „Подлиповцы“ и „Гдѣ лучше?“—растянуты, скучны, изобилуютъ повтореніями и излишнимъ многословіемъ, обличаютъ въ авторѣ полнѣйшее отсутствіе художественной фантазіи. Но за то вы находите въ нихъ массу драгоценныхъ и въ высшей степени любопытныхъ подробностей о повседневномъ крестьянскомъ житьѣ-бытьѣ, объ общественныхъ и семейныхъ отношеніяхъ рабочаго люда. Авторъ бралъ свой матеріалъ цѣлкомъ изъ живой дѣйствительности и неумѣло втискивалъ его въ рамки романическаго вымысла; хотя вымыселъ крайне бѣденъ, хотя онъ далеко не удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ придирчивой эстетической критики, но достоинство самого матеріала отъ этого нисколько не умалется. Рѣшетниковъ былъ не романистъ: онъ былъ добросовѣстнымъ, безпристрастнымъ хроникеромъ мужицкихъ горестей и печалей, сѣренькихъ, монотонныхъ „будней“ рабочаго человѣка, — „будней“, исключительно и всецѣло исполненныхъ тяжелой, непосильной, утомительно-однообразной борьбой и съ людьми, и съ природою „изъ-за куска насущнаго хлѣба“. Воспроизведеніе этой „борьбы“ со всѣми ея мелочами и подробностями и составляетъ главное содержаніе всѣхъ его хроникъ „народной жизни“. Хроники эти, если хотите, тоже походили на „фотографіи“ и „протоколы“, только содержаніе этихъ фотографій и протоколовъ было несравненно богаче и интереснѣе, чѣмъ у гг. белетристовъ-экскурсіонистовъ. Притомъ-же и отношеніе Рѣшетникова къ народу существенно разнилось отъ отношенія къ послѣднему культурныхъ людей. Авторъ „Подлиповцевъ“ былъ не случайнымъ, мимолетнымъ наблюдателемъ трудовой, рабочей жизни, онъ зналъ ее во всѣхъ ея подробностяхъ, зналъ не теоретически, а практически; всѣ ея тягости и невзгоды онъ извѣдалъ, такъ-сказать, на собственной шкурѣ; онъ самъ принадлежалъ къ рабочему люду; съ дѣтства вращался среди него, посвященный во всѣ его интересы, дѣля съ нимъ его маленькія радости и его великія горести; еще прежде, чѣмъ началъ мыслить, онъ привыкъ видѣть въ рабочемъ человѣкѣ близкаго, роднаго ему человѣка; онъ рано научился цѣнить и любить его. Но въ этой любви не было ничего приторнаго, сентиментальнаго, ничего такого, что напоминало-бы любовь къ мужику гуманнаго „барина“. Онъ относился къ нему просто и трезво, безъ брюзжащаго пессимизма и безъ восторженнаго оптимизма. Онъ не поднималъ его на пьедесталъ и не топилъ въ лужахъ грязи. Онъ представлялъ его намъ такимъ, какимъ зналъ его по собственному опыту, — такимъ, какимъ его сдѣлала окружающая его обстановка... Это трезвое,

безхитрое отношеніе къ мужику составляетъ несомнѣнное преимущество Рѣшетникова передъ всѣми, какъ предшествовавшими и современными ему, такъ и нынѣшними культурными, белетристами. Благодаря этому преимуществу, его рассказы изъ народной жизни представляютъ для критики въ высшей степени драгоцѣнный, поучительный, хотя и мало обработанный матеріалъ.

Однако, матеріалъ этотъ имѣетъ нѣсколько односторонній характеръ. Авторъ „Подлиповцевъ“ и „Гдѣ лучше?“ не отличался психологическою наблюдательностью; по крайней мѣрѣ въ его романѣ вы напрасно стали-бы искать тонкаго психологическаго анализа. Виѣшняя, матеріальная обстановка и, обуславливаемая ею, взаимныя отношенія рабочихъ людей занимаютъ его гораздо болѣе, чѣмъ ихъ, такъ-сказать, внутренній міръ. Въ душу ихъ онъ рѣдко заглядываетъ, а если и заглядываетъ, то затѣмъ только, чтобы посмотрѣть, какъ отражается на ней эта обстановка. Поэтому характеры его героевъ и героинь поражаютъ своимъ однообразіемъ и своею безличностью. Психологъ найдетъ ихъ черезчуръ блѣдными и безсодержательными; они не возбуждаютъ въ немъ ни малѣйшаго интереса; точно такъ-же и на зауряднаго читателя они не производятъ никакого, не только сильнаго, но даже сколько-нибудь опредѣленнаго впечатлѣнія. Нельзя сказать, чтобы эти характеры были дѣланые, искусственные, неправдоподобные; нѣтъ, каждое отдѣльное обнаруженіе ихъ во внѣ (разговоры, поступки) взятое само по себѣ, дышетъ реальною правдою; но, увь, изъ совокупности всѣхъ этихъ обнаруженій не получается никакого цѣльнаго, живого образа. Авторъ наблюдаетъ внѣшнюю жизнь своихъ героевъ, но не изслѣдуетъ, не изучаетъ ихъ жизни психической; за обстановкою у него почти не видно человѣка; по собраннымъ имъ даннымъ вы можете составить себѣ довольно ясное представленіе о крестьянскомъ житіѣ-бытѣ, о той тяжелой борьбѣ за существованіе, которую приходится выносить рабочему человѣку, но вы не воспроизведете по нимъ его внутреннего міра, его души. Хотя Рѣшетниковъ былъ поставленъ по отношенію къ этой „душѣ“ въ несравненно болѣе выгодныя условія, чѣмъ, напр., белетристы-экскурсионисты, но для ознакомленія съ нею культурнаго человѣка онъ сдѣлалъ почти такъ-же мало, какъ и они. Его романы представляютъ, главнымъ образомъ, интересъ общественно-этнографическій, но ничуть не психологическій. Густая завѣса, скрывающая внутренній міръ некультуривованнаго большинства отъ умственныхъ очей культивированнаго меньшинства, оставалась, по-прежнему, не приподнятою.

Покойный Левитовъ пытался-было приподнять ее, поглубже заглянуть въ мужицкую душу, но едва-ли его попытка можетъ

быть названа особенно удачною. Левитовъ, хотя и стоялъ по отношенію къ рабочему люду въ нѣсколько иныхъ условіяхъ, чѣмъ Рѣшетниковъ, однако, его нельзя причислить къ сонму мимолетныхъ культурныхъ наблюдателей народной жизни, къ сонму случайныхъ экскурсіонистовъ „въ народную жизнь“. Экскурсіонисты шли въ эту невѣдомую область исключительно ради удовлетворенія своей любознательности; имъ хотѣлось собственными глазами видѣть, что дѣлается въ этомъ темномъ мірѣ, прислушаться къ его странному жаргону и ощупать его плоть и кровь. Разъ имъ казалось, что цѣль эта достигнута, они удовлетворялись и спѣшили возвратиться домой, т. е. къ культурнымъ людямъ. Левитовъ, напротивъ, не задавался, повидимому, никакими теоретическими цѣлями; его влекла къ рабочему люду какая-то, для него самого, быть можетъ, безочетная, непреодолимая симпатія. Вѣчно толкаться среди этого люда, дѣлать съ нимъ его радости и печали, входить во всѣ крошечные интересы его будничной жизни — это доставляло ему высочайшее наслажденіе, это было потребностью его натуры. Онъ сближался съ рабочимъ человѣкомъ не изъ любознательности, а просто по любви. Среди культурныхъ людей онъ чувствовалъ себя какъ-будто не въ своей тарелкѣ; за то въ курной избѣ „мірска гочеловѣка“, въ грязной конурѣ какого-нибудь мѣщанинишки-пропойца, на мужицкомъ постройломъ дворѣ, въ тѣсномъ кабацкѣ среди мастеровыхъ, среди отрепанныхъ и обездоленныхъ „пивуновъ“, заливавшихъ водкою свое горе, онъ былъ какъ дома. Тутъ только, въ этой неприглядной, но слишкомъ знакомой ему обстановкѣ, онъ жилъ полною жизнью; тутъ только ему дышалось легко и свободно. Отсюда понятно, что его отношенія къ народной жизни были совершенно иныя, чѣмъ отношенія къ ней случайныхъ экскурсіонистовъ, вродѣ, напр., покойнаго Слѣпцова и др. Имъ, какъ я уже сказалъ, прежде всего бросалась въ глаза виѣшность, обстановка; Левитовъ же, напротивъ, сосредоточивалъ свое вниманіе главнымъ образомъ на „внутреннемъ человѣкѣ“. Вотъ почему на него мы должны смотрѣть, какъ на прямого предшественника новѣйшихъ изслѣдователей „мужицкой души“, о которыхъ мы будемъ говорить ниже; въ его очеркахъ интересъ психологическій является преобладающимъ интересомъ. Но, къ несчастію, собранный имъ психологическій матеріалъ былъ матеріаломъ весьма сомнительнаго достоинства. Левитовъ былъ чрезчуръ лирикомъ для того, чтобы быть хорошимъ наблюдателемъ; въ большинствѣ случаевъ, его воспроизведенія чужой души представляли собою лишь воспроизведенія субъективныхъ состояній его собственной души. А такъ-какъ его собственная душа отличалась необыкновенною нѣжностью, чувствительностью, если хотите, сантиментальностью, почти даже

женственностью, то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что онъ надѣлялъ тѣми-же качествами и души наблюдаемыхъ имъ объектовъ. Онъ поступалъ съ этими „душами“ совершенно такъ-же, какъ поступали съ „крѣпостными душами“ либерально-гуманные литераторы-помѣщики.

Вотъ почему отъ его „Степныхъ“ и другихъ очерковъ вѣетъ почти такую-же приторную слащавостью, тѣмъ-же институтскимъ сантиментализмомъ, какъ и отъ разныхъ „Антоновъ-горемыкъ“, „Игрушечекъ“ и иныхъ подобныхъ-же произведений „барской литературы“ крѣпостнаго періода. Конечно, въ его сантиментализмѣ не было той дѣланности, искусственности, того лицемерія, которыя сквозили въ сантиментализмѣ разчувствовавшихся „господъ“; его слезы не были „крокодиловыми слезами“; они шли прямо отъ сердца, они не были выжаты изъ глазъ чисто-механическими средствами; его нѣжность была нѣжностью искреннею, безхитростною, а не напускною, фарисейскою; но, тѣмъ не менѣе, результатъ былъ одинъ и тотъ-же: субъективныя чувства разстраивали ясность его зрѣнія, мѣшали ему трезво и безпристрастно относиться къ воспроизводимой имъ дѣйствительности и противъ его воли заставляли его искажать и поддѣлывать ее.

Такимъ образомъ, несмотря на высшей степени гуманное, симпатическое отношеніе къ народу автора „Степныхъ очерковъ“, несмотря на все его глубокое знаніе народной жизни, онъ по части „раскрытія“ народной души сдѣлалъ такъ-же или почти такъ-же мало, какъ и всѣ тѣ писатели, о которыхъ мы говорили выше.

IV.

Въ результатѣ оказывается, что ни господа белетристы изъ помѣщиковъ, ни белетристы-экскурсионисты, ни даже белетристы, вышедшіе изъ среды, очень близко соприкасавшейся съ народомъ, и весьма долго вращавшіеся между рабочимъ людомъ, не дали (или почти не дали) культурнымъ людямъ никакого существеннаго матеріала для правильнаго пониманія „народной души“, для уясненія того „внутренняго“ народнаго міра, безъ знанія котораго нельзя составить себѣ никакихъ стечливыхъ, никакихъ вѣрныхъ представленій о реальной дѣйствительности народной жизни. И тѣ, и другіе, а въ особенности третьи, сообщили намъ множество подробностей и деталей относительно внѣшней стороны крестьянскаго житья-бытья. Мы узнали, благодаря имъ, въ какой обстановкѣ живутъ крестьяне, какъ и что они ѣдятъ, какъ и что они пьютъ, какъ и во что они одѣваются, какъ они говорятъ, ра-
2*

ботають, нуждаются, веселятся, рождаются, вѣнчаются, умирають, и т. д., и т. д.; но всё эти знанія не давали еще намъ итога къ знанію народной жизни вообще; по нимъ мы не могли-бы нарисовать себѣ живой, ясно опредѣленной типической картины послѣдней; они были какъ-то черезчуръ разрознены, отрывочны, а потому во многихъ (быть можетъ, даже въ большинствѣ) случаевъ непонятны и необъяснимы; однимъ словомъ, они представляли собою сырой, почти необработанный матеріалъ. Чтобы хоть сколько-нибудь ориентироваться въ этомъ разнообразномъ матеріалѣ, нужно было прежде всего привести его въ нѣкоторый порядокъ. Такимъ образомъ, если прежде мы чувствовали настоящую потребность только въ собираніи возможно-большаго количества данныхъ о народной жизни, то теперь у насъ возникла не менѣе настоящая потребность въ систематизаціи, въ обобщеніи этихъ данныхъ. Въ белетристикѣ эта потребность къ обобщенію, упорядоченію нашихъ литературныхъ свѣдѣній о народѣ неизбѣжно и логически должна была вызвать спросъ на романы изъ народной жизни. А, разумѣется, разъ возникъ спросъ, не замедлило явиться и предложеніе. Г. Потѣхинъ сталъ фабриковать романы изъ народной жизни, чуть не по дюжинѣ въ годъ. Г. Вологдинъ, ободренный успѣхомъ своего перваго произведенія „Хроника села Смурина“, разразился въ прошломъ году новымъ большимъ романомъ „Кто во что гораздъ“ *). Г. Златовратскій тоже сталъ склоняться къ роману, хотя, увы, его первый романъ оказался преждевременно (т. е. до появленія въ печати) „загубленнымъ“ (см. его „Золотыя сердца“—„отрывокъ изъ загубленной повѣсти“, какъ значится на обложкѣ). Явились и другіе белетристы, начавшіе пробовать свои силы на народномъ романѣ. Перебирать ихъ здѣсь всѣхъ намъ нѣтъ никакой надобности: романы гг. Потѣхина и Вологодина могутъ служить характеристическими образцами этого новаго направленія современной белетристики и потому на нихъ однихъ мы и остановимся.

Авторы тѣхъ „очерковъ и разсказовъ“ изъ народнаго быта, о которыхъ мы говорили выше, не шли дальше болѣе или менѣе точнаго, фотографическаго воспроизведенія той или другой бытовой особенности народной жизни; при этомъ они не задавались никакими сложными психологическими задачами, не гонялись за обобщеніями, избѣгали всякихъ вымысловъ и старались только о

*) Мнѣ, быть можетъ, замѣтятъ, что романы изъ народнаго быта Рѣшетникова въ хронологическомъ порядкѣ предшествовали романамъ гг. Потѣхина и Вологодина. Но, какъ я уже сказалъ, „романы“ Рѣшетникова были романами только по названію; въ сущности-же на нихъ слѣдуетъ смѣтрѣть, какъ на простыя хроники.

вѣрности передачи дѣйствительно, доподлинно ими видѣннаго и слышаннаго.

Гг. романисты, разумѣется, не могли этимъ ограничиться: ихъ цѣль состояла не въ томъ только, чтобы подмѣчать, наблюдать, изучать отдѣльныя частности и особенности, а въ томъ, чтобы совокупить эти частности и особенности въ одно цѣлое, связать узломъ какой-нибудь, болѣе или менѣе драматической интриги. По отношенію къ послѣдней, первыя должны были играть роль аксессуаровъ, роль рамки въ картинѣ. Для самой-же картины изъ нихъ нельзя было извлечь почти никакихъ существенныхъ матеріаловъ, такъ-какъ они касались преимущественно внѣшней, если можно такъ выразиться, формальной стороны крестьянской жизни. Слѣдовательно, матеріаловъ для нея нужно было искать внѣ ихъ. Но гдѣ-же? Очевидно, въ частностихъ и особенностяхъ не внѣшней, а внутренней, психической жизни крестьянства. Но, на воре нашимъ романистамъ, спросъ на романы изъ народной жизни возникъ раньше, чѣмъ началась болѣе или менѣе основательная разработка, болѣе или менѣе безпристрастное изученіе этихъ частностихъ и особенностей. Что-же имъ было дѣлать? Одно изъ двухъ: или самимъ заняться наблюденіями и изслѣдованіями „мужицкой души“ въ ея разнообразныхъ проявленіяхъ, въ семейныхъ, общественныхъ и личныхъ отношеніяхъ, или-же, по примѣру белетристовъ „крѣпостнаго періода“, втиснуть въ готовые рамки крестьянскаго быта свою собственную душу или, выражаясь точнѣе, душу культурныхъ людей своей среды, своего кружка.

Какъ-же они поступили? За отвѣтомъ обратимся къ анализу ихъ произведеній.

Начнемъ съ г. Потѣхина. Я не стану, разумѣется, подвергать здѣсь разбору всѣхъ его романовъ и повѣстей изъ народнаго быта, находящихъ себѣ, втеченіи уже нѣсколькихъ лѣтъ, гостепріимный пріемъ въ „литературной усыпальницѣ“, извѣстной публикѣ подъ именемъ „Вѣстника Европы“. Это было бы и черезчуръ скучно, и совершенно бесполезно, такъ-какъ всѣ они написаны по одному шаблону, съ одинаковымъ талантомъ и одинаковымъ знаніемъ народной жизни. Даже характеры дѣйствующихъ лицъ, мотивы ихъ дѣятельности, ихъ взаимныя отношенія во всѣхъ романахъ болѣе или менѣе тождественны. А главное, во всѣхъ его романахъ вы встрѣчаетесь съ совершенно одинаковыми пріемами воспроизведенія „крестьянской души“, съ совершенно одинаковыми отношеніями къ внутреннему мужицкому міру. Любой изъ нихъ такъ-же хорошо ознакомитъ васъ съ этими „пріемами“, дастъ вамъ возможность такъ-же ясно опредѣлить себѣ эти „отношенія“, какъ и всѣ они, взятыя въ совокупности. По-

этому, если васъ интересуеть главнымъ образомъ лишь **вопросъ о томъ, какъ воспроизводитъ авторъ „мужицкіе характеры“, какъ относится онъ къ мужицкой жизни, то, прочтя одинъ романъ, вамъ уже не зачѣмъ будетъ читать остальныхъ.** Въ настоящее время только этотъ вопросъ насъ и занимаетъ; только рѣшивъ его въ томъ или другомъ смыслѣ, мы можемъ уяснить себѣ степень пригодности, поучительности того матеріала, тѣхъ общественныхъ или чисто-психологическихъ данныхъ, надъ которыми оперируетъ авторъ, которыя онъ наблюдаетъ (или сочиняетъ) и воспроизводитъ въ своихъ романахъ. Если данныя эти окажутся пригодными, поучительными, т. е. вполне соответствующими реальной дѣйствительности, то въ такомъ случаѣ, конечно, литературная критика должна будетъ заняться болѣе или менѣе тщательнымъ и обстоятельнымъ анализомъ ихъ, а, слѣдовательно, ей тогда придется повозиться уже не съ однимъ только взятымъ на удачу, а со всѣми или, по крайней мѣрѣ, съ большинствомъ произведеній автора. Наоборотъ, если общественно-психологическій матеріалъ послѣднихъ окажется ни на что негоднымъ, по самому способу его добыванія и воспроизведенія, то критикъ, проштудировавъ одинъ романъ, съ спокойною совѣстью можетъ бросить всѣ остальные подъ столъ.

И такъ, возьмемъ какой-нибудь романъ г. Потѣхина и постараемся выяснитъ на немъ его литературные приемы, по отношенію къ воспроизведенію народной жизни. Возьмемъ хоть его „романъ изъ сельской и фабричной жизни“ — „Около денегъ“. Я беру этотъ романъ не потому, чтобы онъ былъ лучше или хуже другихъ, а просто потому, что онъ первый попался мнѣ подъ руку.

Занимать васъ анализомъ фабулы, интриги романа, я, разумѣется, не стану; это совсѣмъ не интересно. Но, необходимо сказать нѣсколько словъ о самомъ характерѣ этой интриги; онъ совершенно одинаковъ во всѣхъ романахъ г. Потѣхина, не исключая и послѣдняго „Молодые побѣги“. Во всѣхъ его романахъ интрига, драма романа разыгрывается исключительно на почвѣ чисто-семейныхъ и семейно-индивидуальныхъ отношеній, т. е. запечатлѣна, если можно такъ выразиться, семейно-индивидуальнымъ характеромъ. Семья и взаимныя личныя отношенія ея членовъ стоятъ у него всегда на первомъ планѣ, сосредоточиваютъ на себѣ все его вниманіе, а „міръ“, община оставляются совершенно въ тѣни, отодвигаются на самый задній планъ или даже о нихъ совсѣмъ ничего не упоминается, какъ-будто ихъ совсѣмъ не существуетъ. Какъ-будто „крестьянская среда“, подобно средѣ „культурныхъ“ людей, представляетъ изъ себя простой только агрегатъ

другъ отъ друга изолированныхъ, замкнутыхъ семей, живущихъ чисто-личною, индивидуальною жизнью! Какъ-будто жизнь крестьянской семьи, ея интересы, ея стремленія также легко отдѣлить отъ жизни „крестьянскаго міра“, отъ его интересовъ и стремленій, какъ легко отдѣлить жизнь и интересы какой-нибудь, ну хоть дворянской семьи, — отъ жизни и интересовъ „дворянской среды“ вообще!

Когда въ романахъ, изображающихъ жизнь культурнаго или полу-культурнаго меньшинства, исключительно семейные и индивидуальные интересы выдвигаются на первый планъ, и на почвѣ этихъ интересовъ созидаются всевозможныя и невозможныя драмы, мелодрамы, комедіи и водевили, то тутъ, конечно, нѣтъ ничего удивительнаго; напротивъ, это вполне понятно и естественно: это меньшинство, дѣйствительно, только и занято своими индивидуальными и семейными интересами; оно живетъ, если можно такъ выразиться, вполне разрозненною жизнью; члены его (отдѣльныя семьи и индивиды) не связаны между собою никакими прочными, общими узами: „каждый самъ для себя, каждый самъ за себя“, „мнѣ ни до кого нѣтъ дѣла, и до меня никому не должно быть дѣла“ — такова ихъ мораль... Понятно, что въ этомъ царствѣ безграничнаго индивидуализма индивидуальныя похоти и страсти, чисто личныя, эгоистическія чувства должны были неизбѣжно стать главнымъ стимуломъ, основнымъ рычагомъ человѣческой жизни и дѣятельности. А отсюда само собою слѣдуетъ, что на нихъ-то, на этихъ „главныхъ стимулахъ“ и основныхъ рычагахъ и должны были сосредоточить все свое вниманіе гг. воспроизводители жизни и дѣятельности культурнаго меньшинства. Они должны были выдвинуть ихъ на первый планъ, потому что и въ реальной дѣйствительности они стоятъ на первомъ планѣ... Но вѣдь нельзя же каждую среду мѣрять на аршинъ своей культурной или полукультурной среды! Общественно-экономическія условія мужицкаго міра представляютъ весьма мало аналогіи съ общественно-экономическими условіями міра „господскаго“, а потому и отношенія семейныхъ и индивидуальныхъ интересовъ къ интересамъ общественнымъ въ первомъ должны имѣть совсѣмъ другой характеръ, чѣмъ во второмъ. И, дѣйствительно, если жизненный строй одного міра стремится подчинить общее частному, индивидуальному, то жизненный строй другого міра стремится, наоборотъ, индивидуальное подчинить общему. Въ одномъ мірѣ личная и семейная жизнь настолько отдѣлилась, настолько оторвалась отъ жизни общественной, что ихъ теченія почти никогда не смѣшиваются, что ихъ интересы почти всегда считаются интересами диаметрально-противоположными. Напротивъ, въ другомъ мірѣ интересы семейные

и личные настолько тѣсно сливаются и переплетаются съ интересами „мірскими“, общественными, что въ большинствѣ случаевъ трудно даже бываетъ опредѣлить, гдѣ кончаются одни и начинаются другіе. Въ одномъ—семья, личность стоятъ на первомъ планѣ, въ другомъ—на первомъ планѣ стоитъ „міръ“; въ одномъ—жизнь личная поглощаетъ жизнь общественную, въ другомъ—же—обѣ эти жизни почти неразъединимы. Въ одномъ—быть „мірскимъ“ человѣкомъ“, т. е. принимать общественные интересы если не ближе, то, по крайней мѣрѣ, такъ-же близко къ сердцу, какъ свои личные, семейные,—считается либо крайне предосудительною слабостью, чуть не преступленіемъ, либо возводится въ какую-то необычайную, изъ ряда вонъ выходящую доблесть, чуть-чуть не въ геройство; въ другомъ-же, напротивъ, мірской человѣкъ—это самый заурядный человѣкъ, и никому и въ голову не приходитъ ни возводить его въ герои, ни дѣлать изъ него преступника... Вотъ почему если въ большинствѣ „жизненныхъ драмъ“ культурныхъ людей „міръ“, мірской элементъ не играетъ никакой существенной роли, то этого никакъ нельзя сказать относительно большинства „мужицкихъ“ драмъ; изъ первыхъ онъ можетъ быть выброшенъ безъ особеннаго ущерба для ихъ правдоподобія, но, выбрасывая его изъ вторыхъ, мы искажаемъ ихъ реальный, ихъ истинный характеръ.

А между тѣмъ, такъ именно и поступаетъ г. Потѣкинъ: въ его романахъ „міръ“ блистаетъ полнѣйшимъ отсутствіемъ; всѣ жизненные драмы крестьянскаго міра онъ исключительно приурочиваетъ къ мотивамъ жизненныхъ драмъ культурныхъ людей. Говоря проще: онъ сочиняетъ „интриги“ для своихъ мужицкихъ романовъ, по образу и подобию интригъ, наполняющихъ и поглощающихъ жизнь той среды, въ которой онъ самъ вращается. И въ этомъ отношеніи его творческіе приемы рѣшительно ничѣмъ не отличаются отъ творческихъ приемовъ белетристовъ „крѣпостнаго“ періода.

Мы не станемъ подробно слѣдить за развитіемъ этихъ культурныхъ драмъ, перенесенныхъ романистомъ на мужицкую почву; онѣ не имѣютъ съ этой почвою никакой органической связи, а потому и не могутъ представлять для насъ ни малѣйшаго интереса. Достаточно только сказать, что въ нихъ, какъ это и подобаетъ въ культурной драмѣ, все вертится и сосредоточивается около насущнѣйшихъ интересовъ культурной жизни: половой любви, въ различныхъ ея видахъ и проявленіяхъ, и погони за деньгами, за наживой. Смѣшно было-бы воображать, будто крестьянскій міръ совершенно чуждъ этимъ интересамъ, но не менѣе смѣшно (говорю смѣшно, чтобы не употреблять другихъ, бо-

лѣе обидныхъ терминовъ) воображать, какъ это воображаетъ г. Потѣхинъ, будто они играютъ въ этомъ мѣрѣ столь-же господствующую, выдающуюся роль, какъ и въ той средѣ, въ которой вырастаютъ и блистаютъ гг. Юханцевы, Артемовскія, матушки Митрофанія, червонные валеты и ихъ доблестные присяжные защитники. Созерцая всѣхъ этихъ пейзазовъ и пейзажекъ, втиснутыхъ въ узкія рамки культурной драмы, вы совершенно забываете, что вы въ русской деревнѣ, среди русскихъ корявыхъ мужиковъ и бабъ; вамъ кажется, что это совсѣмъ не настоящіе мужики и бабы, а переодѣтые культурные люди, и вы переноситесь мыслью въ другую обстановку, въ другой, несравненно болѣе знакомый вамъ мѣръ, вы видите передъ собою вашихъ „милыхъ“ пріятелей и пріятельницъ, съ которыми вы чуть не ежедневно встрѣчаетесь въ театрахъ, клубахъ, на скачкахъ, въ засѣданіяхъ разныхъ ученыхъ и неученыхъ комисій, въ акціонерныхъ собраніяхъ и во всевозможныхъ патріотическихъ и благотворительныхъ обществахъ. Вы протираете глаза и съ удивленіемъ спрашиваете: зачѣмъ это всѣ эти почтенныя особы напялили на себя мужицкіе армяки и зипуны, зачѣмъ это вздумалось имъ говорить на такомъ странномъ жаргонѣ, заимствованномъ, очевидно, изъ какихъ-то, „вышедшихъ изъ употребленія“, книгъ древняго толка? Что за глупая, что за странная мистификація?!

Нѣкій хлыщъ изъ стаи славной „червонныхъ валетовъ“ влюбилъ въ себя 30-ти-лѣтнюю, перезрѣлую и некрасивую дѣву—дочь богатаго купца и уговорилъ ее тятенькины капиталы стибрить, при помощи, разумѣется, подобранныхъ ключей, а затѣмъ бѣжать съ нимъ (и съ капиталами, конечно) въ далекія страны, „гдѣ растутъ кедры ливанскіе, виноградъ и всякіе фрукты“. Влюбленная дѣва вытаскиваетъ изъ папенькинаго сундука все, что можетъ захватить, и относитъ свою добычу червонному валету; червонный валетъ благодарить, прячетъ деньги и затѣмъ во всѣ лопатки удираетъ отъ своей возлюбленной. Исторія очень обыкновенная и, по всей вѣроятности, у большинства нашихъ „милыхъ“ пріятелей и пріятельницъ она вызоветъ нѣкоторыя пріятныя или непріятныя воспоминанія, касающіяся ихъ собственной жизни или жизни близкихъ имъ людей. Эти перезрѣлыя дѣвы-ханжи, какъ кошки, влюбляющіяся въ перваго встрѣчнаго шалопая, эти шалопая, продающіе свою любовь и, при помощи сладкихъ рѣчей, а иногда и подобранныхъ ключей, обирающіе влюбленныхъ въ нихъ дѣвъ и ихъ родственниковъ, — кто изъ насъ не знакомъ съ ними? Кто изъ насъ не жалъ имъ руки, не говорилъ комплиментовъ, не рассыпался въ похвалахъ высокимъ добродѣтелямъ дѣвы-ханжи, такту и ловкости шалопая-проститутки? Но зачѣмъ этотъ нашъ ро-

манъ заставляють разыгрывать мужиковъ и бабъ? Зачѣмъ навязываютъ имъ наши чувства и нашъ языкъ, искаженный, впрочемъ, грубою поддѣлкою подъ яко-бы крестьянскую рѣчь? Послушайте, напр., какъ баба-ханжа (списанная, очевидно, съ какой-то ханжи великосвѣтской), поднеся своему червонному валету пачку асигнацій и умоляя его принять ихъ въ знакъ любви, выражаетъ ему свои чувства: „Отстань, Капитоша (Капитоша—онъ-же и червонный валеть—сдѣлалъ видъ, будто ему совѣстно взять за-разъ всю пачку), не говори о томъ больше; развѣ ты не мой, а я не твоя?.. Брось ты это (т. е. разговоръ о деньгахъ)... Говори ты лучше про любовь свою, про грѣхъ нашъ, про то, какъ мы жить съ тобою будемъ, какъ-бы намъ не разставаться... Да цѣлуй ты меня, обвиняй крѣпче, выжимай ты изъ меня всю тоску-заботушку... Вотъ твои куделечки, вотъ твои глазаньки ясные, вотъ твои уста сахарныя“... („Около денегъ“, стр. 163). Ну, совсѣмъ „кисейная барышня“, наслушавшаяся въ передней высокопарныхъ рѣчей заштатнаго дворецкаго, поступившаго въ псаломщики!

А вотъ еще курьезный образчикъ „бабихъ монологовъ“. Червонный валеть улепетнулъ отъ страстной дѣвы, оставивъ ее и безъ невинности, и безъ капиталовъ. Дѣва, разумѣется, негодуетъ и раздражается слѣдующей тирадой: „грѣшница, окаянная, богохульная, святыми словами его улещала, ангеломъ называла, идоломъ себѣ его дѣлала, поклонялась ему, любясь на красоту его тѣлесную, а въ душѣ-то что не видѣла: тамъ мракъ и ужасъ, змѣи и скорпи, ложь и соблазнъ всякій... Обольститель, погубитель ты мой, неужто совѣсть въ тебѣ есть, неужто сердце у тебя, а не земля въ груди положена?.. Умолю я у Бога сердце себѣ каменное, не жалостливое, чтобы коли ножъ возьму — рука-бы не дрогнула, коли яду достану да корчить тебя будетъ у меня на глазахъ—воды-бы тебѣ не подать испить. Вотъ какое сердце себѣ вымолю!.. И будешь ты лежать передо мною, въ крови плавать, либо по землѣ ползать, корчиться, а я буду стоять да спрашивать: таково-ли тебѣ сладко, какъ ты мнѣ сдѣлалъ?“... и т. д. (ib., стр. 221.)

Изъ какой лубочной мелодрамы выхваченъ этотъ напыщенно-семинарскій монологъ? Во всякомъ случаѣ, сочинитель этой мелодрамы долженъ былъ быть непременно культурнымъ человѣкомъ.

V.

Герои „культурныхъ драмъ“ должны, разумѣется, обладать всѣми тѣми качествами „культурнаго человѣка“, безъ которыхъ самыя эти драмы были-бы совершенно немислимы. Г. Потѣхинъ, какъ рома-

НИСТЬ, достаточно-таки „набившій себѣ руку“, очень хорошо это понимаетъ, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что характеры его мужиковъ и бабъ представляютъ собою не болѣе, какъ простой снимокъ, копіи съ характеровъ тѣхъ культурныхъ людей, среди которыхъ онъ самъ вращается, и внутренній міръ которыхъ дѣлаетъ ихъ наиболѣе приспособленными къ разыгрыванію вышеозначенныхъ драмъ. Въ самомъ дѣлѣ, перенесите мысленно всѣхъ этихъ Капитошъ, Степанидъ, Ивановъ Тереньтьевичевъ, Тереньтьевъ Савельичей и деревенскую камелію и ея почтенную матушку („Молодые побѣги“) и разныхъ другихъ дѣйствующихъ лицъ его романовъ въ тѣ сферы, гдѣ орудуя Гулакъ-Артемовскіе, Юханцевы, Горвицы, Поляковы, Варшавскіе и суровые Титы Титычы, въ сферы прожигающей жизнь золотой молодежи, продажныхъ камелій, изолгавшихся „дѣльцовъ“, сіятельныхъ ханжей, развратныхъ червонныхъ валетовъ и матушекъ Митрофаній; перенесите ихъ мысленно въ эти сферы „безпечальнаго житія“ и сравните затѣмъ ихъ характеры, ихъ чувства, ихъ стремленія и влеченія съ требованіями и условіями этой новой для нихъ обстановки,—обстановки, такъ рѣзко отличающейся отъ обстановки крестьянскаго міра,—и вы сейчасъ-же убѣдитесь, что между первыми и послѣдними не существуетъ ни малѣйшей дисгармоніи, что ихъ характеры вполне соотвѣтствуютъ требованіямъ среды, въ которую вы ихъ перенесли и съ которою ихъ среда, въ которой они родились и выросли, не имѣетъ почти ничего общаго. Чтобы приспособить ихъ въ этой не ихней средѣ, не нужно ни на одну іоту, ни на одинъ волосъ измѣнять ихъ психической фізіономіи; достаточно только замѣнить ихъ армяки, зипуны и сарафаны—фраками, скртуками, пиджаками, шелковыми и бархатными платьями, и вы не отличите ихъ отъ заправскаго культурнаго человѣка 96-й пробы.

Я не спорю, что съ чисто-технической точки зрѣнія, такое культивированіе деревенскихъ парней, молодежи, хозяевъ и хозяекъ составляетъ, если хотите, одно изъ достоинствъ потѣхнскихъ романовъ. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ безъ этого культивированія его мужики и бабы могли-бы такъ дружно разыгрывать „культурныя драмы“, развѣ они годились-бы тогда для своихъ ролей? Конечно, нѣтъ. Но техника—техникою, а правда—правдою. Требования техники соблюдены съ достаточнымъ тактомъ, но соблюдены-ли въ одинаковой степени требованія жизненной правды? Правдоподобно-ли, чтобы двѣ столь различныя среды, какъ среда „крестьянскаго міра“ и среда „культурнаго міра“, выработывали совершенно тождественные психическіе характеры, чтобы люди одной среды ничѣмъ существеннымъ (кромя развѣ своей внѣшности) не отличались отъ людей другой?

Вы, быть можетъ, замѣтите, что тѣ психическіе мотивы, на которые я указывалъ выше, и около которыхъ вертятся обыкновенно всѣ наши культурныя драмы—что эти мотивы совсѣмъ не составляютъ какой-то исключительной монополіи однихъ лишь культурныхъ людей, что, напротивъ, они имѣютъ въ высшей степени общечеловѣческой характеръ. Развѣ крестьяне болѣе, чѣмъ культурные люди, застрахованы отъ радостей и мукъ любви и ревности? Развѣ заботы о матеріальномъ обеспеченіи, о паживѣ, не играютъ никакой роли въ ихъ жизни и дѣятельности? О, безъ сомнѣнія. И я нисколько не думаю отрицать реальности общечеловѣческихъ свойствъ въ характерахъ потѣхинскихъ бабъ и мужиковъ. Но вопросъ здѣсь совсѣмъ не въ томъ, реальны-ли эти свойства или не реальны, могутъ-ли они быть присущи мужику или не могутъ. Вопросъ въ томъ: могутъ-ли характеры, представляющие собою лишь воплощеніе этихъ общечеловѣческихъ свойствъ, служить типическимъ выраженіемъ характера данной среды,—характера, выработавшагося и развившагося подъ спеціальными вліяніями извѣстныхъ, опредѣленныхъ историческихъ и общественно-экономическихъ условій? Возьмите любого человѣка, принадлежащаго къ извѣстной, средѣ, выросшаго среди извѣстныхъ общественныхъ условій, живущаго въ извѣстную историческую эпоху, и вы всегда отыщете въ его душѣ нѣкоторыя такія свойства, которыя общи всѣмъ людямъ, въ какое-бы время они ни жили, при какихъ-бы условіяхъ ни росли, къ какой-бы средѣ ни принадлежали. Но развѣ эти общія свойства будутъ служить характерными признаками его души? Развѣ та спеціальная среда, въ которую его поставила судьба, не положила на нихъ своего спеціального отпечатка? Развѣ рядомъ съ нимъ она не развила въ немъ другія свойства, исключительно присущія только ей одной? И развѣ не этими-то именно свойствами, исключительно присущими лишь людямъ извѣстной среды, и опредѣляется типическій характеръ этой среды?

Что мужикъ можетъ имѣть и имѣеть нѣкоторыя такія качества, которыя имѣютъ и культурные люди, объ этомъ, разумѣется, никто и не спорить, и доказывать подобную истину, хотя-бы даже и въ романахъ, прилично лишь людямъ, не успѣвшимъ еще вполне освоиться съ мыслію, что „мужикъ есть тоже человѣкъ“. Но вѣдь помимо общечеловѣческихъ свойствъ мужика, тѣхъ свойствъ, которыя сближаютъ его съ культурными людьми, у него есть и другія свойства,—свойства, такъ-сказать, спеціально ему присущія и отличающія его отъ барина, купца, чиновника и т. п. Вотъ эти-то свойства и составляютъ типическую особенность его „души“; въ нихъ-то главнымъ образомъ и выражается его ха-

раakterь, а между тѣмъ ихъ-то именно и не находимъ въ потѣхнскихихъ бабахъ и мужикахъ. Вотъ почему ни одинъ изъ его многочисленныхъ романовъ изъ „крестьянскаго быта“ (и напиши онъ еще тысячу подобныхъ—это будетъ все равно) не даетъ намъ никакого, хотъ сколько-нибудь цѣннаго матеріяла для ознакомленія съ внутреннимъ, психическимъ міромъ крестьянина. Во всѣхъ ихъ этотъ внутренній міръ воспроизводится лишь отчасти только съ одной стороны, съ той стороны, которая обща ему съ внутреннимъ міромъ русскаго человѣка вообще и культурнаго въ частности. Но этого мало: самый процессъ образованія общечеловѣческихъ свойствъ мужицкаго характера цѣликомъ списывается г. Потѣхнымъ съ процесса образованія этихъ-же свойствъ у культурныхъ людей. Такимъ образомъ, даже и здѣсь онъ является не самостоятельнымъ, правдивымъ наблюдателемъ мужицкой жизни, а простымъ сочинителемъ мужицкаго характера, по образу и подобию характеровъ его культурныхъ знакомыхъ. Приведемъ для большей ясности хотъ одинъ примѣръ.

Религіозная, мистическая экзальтація, подъ всевозможными видами и формами, можетъ проявляться и, дѣйствительно, при благопріятныхъ условіяхъ, проявляется у всѣхъ людей, стоящихъ на извѣстномъ уровнѣ умственнаго и нравственнаго развитія, къ какому-бы классу и полу они ни принадлежали, какое-бы общественное положеніе они ни занимали. Экзальтированные фанатики, истинно-вѣрующіе люди, мистики и просто ханжи встрѣчаются и въ великосвѣтскихъ салонахъ, и въ курныхъ избахъ, и на театральныхъ подмосткахъ, и въ монашескихъ кельяхъ, и за прилавкомъ „кулака“, и даже за конторкою ростовщика, и среди „черни непросвѣщенной“ и въ средѣ „просвѣщеннаго“ меньшинства. Въ этомъ смыслѣ качества, характеризующія мистика, религіознаго человѣка или ханжу, могутъ быть названы „общечеловѣческими“. Но, разумѣется, эти общечеловѣческія качества въ значительной степени видоизмѣняются подъ вліяніемъ данной среды, мѣстности, данной эпохи и извѣстныхъ общественно-экономическихъ условій. Кромѣ того, причины, вполне достаточныя для ихъ образованія въ одной средѣ, могутъ быть совсѣмъ не достаточны для образованія ихъ въ другой, и наоборотъ. Нужны одні причины, чтобы изъ мужика сдѣлать религіознаго мистика, и совсѣмъ другія, чтобы обратить въ мистицизмъ „барина“, купца, чиновника и т. п. Женщины привилегированныхъ классовъ чаще всего впадаютъ въ религіозное настроеніе или потому, что не умѣли во-время выдти замужъ, или просто отъ скуки, пресыщенія жизнью и т. п., не говоря уже, разумѣется, о вліяніи разныхъ фізіологическихъ и психическихъ особенностей организма культурной женщины. Подъ

вліяніемъ какихъ-же причинъ впадаетъ въ подобное-же настроеніе женщина-крестьянка? Разрѣшить этотъ вопросъ возможно, конечно, только путемъ опыта, путемъ непосредственнаго наблюденія, путемъ всесторонняго ознакомленія съ внутреннимъ міромъ и съ исторією развитія крестьянокъ, одержимыхъ религіозною экзальцією. Одну изъ такихъ крестьянокъ г. Потѣхинъ выставляетъ намъ въ лицѣ богомолки Степаниды („Около денегъ“). Степанида гдѣ до 30-ти или вообще до того возраста, когда уже женщину окончательно покидаетъ надежда выдти замужъ, когда она зачисляется въ разрядъ „старыхъ дѣвъ“, „перезрѣлыхъ невѣстъ“, жила у отца въ полномъ одиночествѣ. Ни въ чемъ необходимомъ она не нуждалась, никакихъ особенныхъ бѣдъ и горестей не испытывала, но за то и развитіемъ никакимъ не пользовалась. Дни проходили за днями, не внося въ ея жизнь никакого разнообразія, не давая ей никакихъ новыхъ впечатлѣній, ничѣмъ не нарушая ея душевнаго спокойствія, ея мирнаго, безрадостнаго и безпечальнаго прозябанія... и вдругъ, въ одинъ прекрасный вечеръ (а можетъ быть, и утро) „въ ней появились склонность къ богомолью и убѣжденіе, что она предназначена служить Богу, быть Христовою невѣстою“ („Около денегъ“, стр. 16).

Вслѣдъ за этимъ, она „ударилась въ богомольства“, „сдѣлалась излюбленною дочерью церкви“, „пріобрѣла въ деревнѣ нравственное вліяніе и уваженіе“, стала акуратно соблюдать посты, покупать пудовыя свѣчи, не манкировала ни одной службою, читала акафистъ въ мѣстной часовнѣ и вступила въ болшую дружбу съ приходскимъ священникомъ и со всѣмъ вообще причтомъ...

Все это прекрасно; но какъ, почему, по какому поводу произошла въ ней эта перемѣна, что настроило ея мысли на религіозный ладъ? Рѣшить эти вопросы необходимо для уясненія ея внутренняго міра, для уясненія внутренняго міра крестьянки-богомолки вообще. Не зная процесса возникновенія въ ней религіознаго настроенія, мы не въ состояніи ни опредѣлить себѣ его истиннаго характера, ни отличить его отъ подобнаго-же настроенія разныхъ великосвѣтскихъ богомолочъ и ханжей. Что-же сообщаетъ намъ объ этомъ процессѣ г. Потѣхинъ? А вотъ, послушайте:

„Въ извѣстномъ возрастѣ, — разсуждаетъ онъ, основываясь, очевидно, на своихъ наблюденіяхъ надъ знакомыми ему женщинами культурнаго меньшинства, — въ извѣстномъ возрастѣ, дѣвушки, невышедшія замужъ, никогда не испытывшія взаимной любви, обыкновенно или озлобляются, или начинаютъ сами себя обманывать, тѣша свое самолюбіе и притупляя скорбное чувство одиночества мыслью, что онѣ не вѣрятъ въ любовь, что онѣ всег-

да сами отвергали ее или по крайней мѣрѣ уклонялись отъ нея, что овѣ, наконецъ, призваны и предназначены къ другой долѣ, къ служенію высшимъ, неземнымъ цѣлямъ. Эта мысль ведетъ или къ ханжеству, или къ монашеству, или къ страстному обожанію кошекъ и собакъ, или просто къ темному разврату...“ (ib., стр. 17).

Что „кисейной барышнѣ“ культурнаго меньшинства, неуспѣвшей во-время поддѣпить жениха, ничего болѣе не остается дѣлать въ зрѣломъ возрастѣ, какъ утѣшать себя мыслью о тлѣнности земной любви, либо обожать собакъ и кошекъ, либо развратничать, либо, наконецъ, заняться ханжествомъ,—это совершенно въ порядкѣ вещей, и, конечно, кисейная барышня нисколько въ этомъ не виновата. Но вѣдь Степанида—не кисейная барышня: у „деревенскихъ барышень“ и безъ замужества дѣла по горло; всю жизнь его не передѣлаешь, работая отъ зари до зари, не складывая рукъ. Управиться хоть кое-какъ съ этимъ надобливимъ, неотступнымъ дѣломъ—вотъ цѣль, постоянно ею преслѣдуемая, а совсѣмъ не исканіе жениховъ и не эротическія утѣхи. Поэтому, если ей и не удастся во-время „окрутиться съ парнемъ“, какого судьба подсунетъ, то она, повѣрьте, не станетъ смотрѣть на свое существованіе, какъ на existence manquée, подобно „барышнѣ кисейной“. Ей некогда „утѣшать себя мечтами“ о тлѣнности любви или миндальничать съ собаками и кошками, а тѣмъ болѣе развлекать себя отъ скуки ханжествомъ. И если, тѣмъ не менѣе, она все-таки становится ханжею, то, значить, тутъ есть какая-нибудь другая причина... И вы, г. Потѣхинъ могли-бы найти ее, еслибъ вмѣсто того, чтобы списывать своихъ пейзазовъ и пейзажекъ съ вашихъ культурныхъ пріятелей и пріятельницъ, обратились-бы къ непосредственному, самоличному наблюденію и изученію реальныхъ бабъ и мужиковъ.

Приведенный мною примѣръ такъ рельефно, такъ наглядно обнаруживаетъ всю простоту и несложность творческихъ пріемовъ г. Потѣхина, по отношенію къ воспроизведенію крестьянскихъ характеровъ, что едва-ли нуждается въ какихъ-бы то ни было комментаріяхъ. И не думайте, чтобы это былъ примѣръ исключительный. Напротивъ, такихъ примѣровъ можно привести безчисленное множество. Переберите характеры всѣхъ дѣйствующихъ лицъ во всѣхъ народныхъ романахъ автора, и вы убѣдитесь, что каждый изъ этихъ характеровъ воспроизведенъ по тому-же шаблону и съ тѣми-же аксессуарами, какъ и характеръ Степаниды. Возьмите хоть ея возлюбленнаго, ея милаго Капитошу. Какъ и почему сталъ онъ червонымъ валетомъ? Еслибы дѣло шло о какомъ-нибудь недоучившемся недорослѣ изъ дворянъ, привыкшемъ жать тамъ, гдѣ не сѣялъ, и собирать тамъ, гдѣ ничего не оставлялъ, съ дѣтства вполне освоившемся съ жизнью паразита, тогда, пожалуй, и вопроса

этого не могло-бы возникнуть. Но вѣдь Капитоша не недоучившійся недоросль; онъ съ колыбели привыкъ къ труду, онъ даже любитъ трудъ, да и потребности его весьма ограничены... Откуда-же развилась въ немъ склонность къ паразитизму и эта неутолимая, вѣчно-мучающая культурныхъ людей жажда денегъ, денегъ и денегъ? Судя по его монологамъ, можно предполагать, что онъ сталъ червоннымъ валетомъ потому только, что додумался до безотрадной мысли о невозможности разбогатѣть, живя исключительно однимъ честнымъ трудомъ. Но одинъ-ли онъ додумался до этой истины? Или, лучше сказать, есть-ли такой мужикъ, которому она была-бы неизвѣстна, или который-бы въ ней сомнѣвался? Она можетъ помутить слабый умъ и сбить съ толку недоучившагося недоросля, но не взрослого человѣка, прошедшаго суровую школу труда и бѣдности, испытавшаго всевозможныя лишенія и на-всегда закаленного въ нихъ. У такого субъекта не можетъ явиться вдругъ, ни съ того, ни съ сего, непреодолимая похоть къ легкой наживѣ, которая такъ легко зарождается въ душенькѣ паразита, поставленнаго лицомъ къ лицу съ суровой школой нужды и лишеній, которыхъ онъ не испыталъ прежде... Вообще г. Потѣхинъ заставляетъ своего деревенскаго червоннаго валета оправдывать свое поведеніе передъ своею совѣстью и передъ своею женою совершенно такими-же аргументами и соображеніями, какими обыкновенно оправдываютъ себя червонные валеты „культурнаго меньшинства“. Какъ-будто, въ самомъ дѣлѣ, міросозерцаніе перваго, по общему своему складу и направленію, ничѣмъ существеннымъ не разнится отъ міросозерцанія послѣднихъ!

Но довольно о г. Потѣхинѣ. Анализъ его отношеній къ воспроизводимой имъ крестьянской жизни приводитъ насъ къ тому заключенію, что въ его романахъ намъ нечего искать никакихъ серьезныхъ данныхъ для оцѣнки и характеристики этой жизни. Перейдемъ теперь къ другому романисту изъ народнаго быта, къ г. Вологдину.

II. Никитинъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

ИЗЪ ИСТОРИИ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ.

(„Очерки исторіи сельской общины на сѣверѣ Россіи“ П. А. Соколовскаго. Спб. 1877. — „Экономическій бытъ земледѣльческаго населенія Россіи и колонизація юго-восточныхъ степей передъ крѣпостнымъ правомъ“ П. А. Соколовскаго. Спб. 1878.)

I.

Есть несомнѣнныя историческія свидѣтельства, что въ недавнемъ прошломъ Россія была страной чрезвычайно богатой естественными богатствами и почва ея отличалась производительностью, почти невѣроятной. Одною изъ плодороднѣйшихъ была земля рязанская, затѣмъ области: владимірская, нижегородская и мѣстности по берегамъ Оки, которыя давали отъ двадцати до тридцати зеренъ. Сѣверъ Россіи отличался подобною-же плодородностью, и побережье сѣверной Двины производило хлѣбъ, почти не требуя заботъ человѣка. Наименѣе плодороднымъ былъ центръ Россіи — область московская. За полосой хлѣбопашества, дальше на югъ, тянулись между Волгою и Дономъ безграничныя степи съ ихъ толстымъ слоемъ чернозема и почти тропическою растительностью.

Обработанная земля составляла сравнительно только незначительную часть общей площади Россіи, а остальное пространство было покрыто лѣсами. О русскихъ лѣсахъ сохранились почти баснословные рассказы европейскихъ путешественниковъ. Сѣверо-востокъ, сѣверо-западъ и сѣверъ Россіи были сплошь покрыты дремучими лѣсами, почти непроходимыми. Даже около самой Москвы были видны огромные пни, свидѣтельствовавшіе о недавно срубленномъ лѣсѣ. Мѣстности приволжскія, нынѣшній казанскій и вятскій край, также какъ и смоленская область, были

покрыты подобными-же лѣсами. Лѣса Россіи изобиловали пушными звѣрями. Повсюду водились: бѣлки, куницы, горностаи, а въ смоленской области даже и бобры. Нѣкоторыя мѣстности промышленности исключительно ловлею звѣрей.

Пчеловодство служило тоже важнымъ подспорьемъ для существованія, ибо лѣса изобиловали пчелами. Особенно распространено было пчеловодство въ земляхъ: казанской, нижегородской, муромской, рязанской и смоленской. Какъ звѣроловствомъ занимались цѣлыя селенія, такъ занимались цѣлыми селеніями и бортевымъ пчеловодствомъ. Бортевое пчеловодство почти не требовало никакого ухода. Пчелы клали медъ или въ дупла естественныя, или для нихъ приготовлялись борти, т. е. дупла искусственныя, или выдолбленныя колоды.

Рыбныя богатства были тоже громадны и неистощимы. Каждая рѣчка, каждое озерцо изобиловали рыбой, и промыселъ рыболововъ былъ промысломъ выгоднымъ и очень распространеннымъ. На Галичскомъ озерѣ, Бѣломъ, Переяславскомъ, на Волгѣ близъ Романова и во многихъ другихъ мѣстахъ существовали цѣлыя рыболовныя слободы, занимавшіяся исключительно рыболовствомъ. При такихъ естественныхъ богатствахъ, жизнь была привольной, простой, несложной, и экономической бытъ народа отличался всѣми условіями первобытной простоты.

II.

Но въ земельныхъ отношеніяхъ замѣчалось уже участіе внѣшнихъ вліяній, которыя колебали патриархальную простоту первобытныхъ отношеній. Древній, или первоначальный порядокъ раздѣла земли между отдѣльными родами, въ эпоху, о которой мы говоримъ, сохранился въ немногихъ мѣстахъ. Въ большинствѣ случаевъ, крестьяне сидѣли на земляхъ, принадлежащихъ землевладѣльцамъ, и пользовались своими участками на извѣстныхъ условіяхъ. Только въ областяхъ Новгорода и Пскова были крестьяне-собственники, называвшіеся своеземцами; остальные-же крестьяне жили не на своихъ земляхъ. Одни жили на земляхъ владѣльческихъ, другіе, называвшіеся черными, жили на земляхъ свободныхъ, верховнымъ собственникомъ которыхъ считался князь. Своеземцы начинаютъ исчезать, начиная съ шестнадцатаго столѣтія, да и черносошные крестьяне стали съ этихъ поръ уменьшаться.

Черныя земли были сначала единственнымъ видомъ земли въ Россіи. Затѣмъ правительство начинаетъ раздачу свободныхъ зе-

мель служилымъ людямъ и съ пятнадцатаго вѣка до того усилило эту раздачу, что свободное крестьянство стало исчезать съ необыкновенной быстротой. Въ шестнадцатомъ вѣкѣ, въ центральныхъ мѣстностяхъ Россіи, въ нынѣшнихъ уѣздахъ: московскомъ, коломенскомъ и звенигородскомъ совершенно исчезли черныя волости, а въ областяхъ новгородской и тверской онѣ составляли незначительную часть. Черносошные крестьяне сохранились больше всего въ сѣверныхъ окраинахъ Россіи, наприимѣръ, въ обонежской пятинѣ, благодаря только тому, что Россія приобрѣла на югѣ новыя земли, представлявшія для служилыхъ людей большую выгоду, чѣмъ сѣверныя окраины.

Такимъ образомъ, уже и въ тѣ времена почти вся русская земля находилась въ рукахъ частныхъ владѣльцевъ, и крестьяне жили то въ имѣніяхъ дворцовыхъ, то на вотчинныхъ и помѣстныхъ земляхъ служилыхъ людей, то на земляхъ чернаго и бѣлаго духовенства.

Но былъ разрядъ населенія, рѣзко отличавшійся отъ остальныхъ крестьянъ. То были холопы, или рабы. Они отличались инымъ экономическимъ положеніемъ и гражданской неполноправностью. Число земледѣльческихъ рабовъ вообще не было велико, и, по мнѣнію Бѣляева, количество несвободнаго населенія относилось къ массѣ вольнаго крестьянства, какъ 1 къ 300. Впрочемъ, отношеніе это измѣнялось, потому что во время голодовъ бѣдные продавали себя и дѣтей въ рабство. Слѣдуетъ замѣтить, что положеніе русскаго раба было вовсе не такъ ужасно и безотраднo, какъ положеніе римскаго раба. Хотя, по закону, холопъ находился въ полной зависимости отъ своего господина и, по двинской грамотѣ, господинъ могъ безнаказанно убить его; но въ то-же время между господиномъ и рабомъ не только существовали извѣстныя нравственныя связи, вслѣдствіе простоты тогдашнихъ отношеній, но и положеніе его, какъ рабочей силы, не было тоже особенно тягостно. Потребности тогдашнихъ землевладѣльцевъ немногимъ отличались отъ потребностей холоповъ и крестьянъ; раздѣляющая черта явилась уже послѣ, когда въ Россію проникла европейская цивилизація. Что-же касается собственно труда рабовъ, то онъ не могъ быть великъ, потому что не было ни сельскаго хозяйства, ни развитыхъ потребностей, ни промышленности, ни торговли въ нынѣшнемъ ея видѣ, а слѣдовательно, не могло явиться и такой напряженной потребности въ земледѣльческихъ продуктахъ, которая вызывала-бы особенное напряженіе силъ для ихъ добыванія. Г. Соколовскій думаетъ, что если можно находить степени у лучшаго и худшаго въ ужасномъ положеніи раба, то, безъ всякаго сомнѣнія, первыя эпохи слѣдуетъ считать самыми свѣтлыми въ исторіи рабства.

Ремесленность въ тѣ времена была развита слабо и имѣла форму мелкаго производства, связаннаго съ земледѣліемъ. Чаще другихъ ремеслъ попадаетъ въ писцовыхъ книгахъ ремесло кузнечное. Бывали деревни, въ которыхъ по писцовымъ книгамъ значилось по двѣ и по три кузницы. Названіе деревень, вродѣ Кузнецова и Кузнечково и т. д., показываетъ, насколько кузнечное ремесло было тогда развито. О плотникахъ упоминается гораздо рѣже. Въ тѣ времена каждый самъ сооружалъ себѣ, что ему было нужно, или приглашалъ своего сосѣда, которому тоже помогали въ свою очередь. Плотники, вовсе незанимавшіеся хлѣбопашествомъ, были рѣдки, или-же были или бобыли, или крестьяне непашенные. Еще рѣже, въ качествѣ самостоятельныхъ ремесленниковъ, являлись гончары и портные. Послѣ кузнечнаго, наиболѣе развитымъ ремесломъ была выдѣлка деревянныхъ издѣлій: бочекъ, кадокъ, корытъ, колесъ. Особенно сильно было развито колесное производство, и, напримѣръ, въ Мусѣтскомъ погостѣ обонежской пятины, была община изъ 33 колесниковъ, со старостой во главѣ. Изрѣдка встрѣчались въ деревняхъ сапожники, ложечники, ларечники, ведерники. Наконецъ, довольно многочисленный разрядъ составляли ямщики, особенно увеличившійся, когда натуральную повинность стали замѣнять сборъ „ямскихъ денегъ“.

III.

За исключеніемъ сѣверной полосы, въ большей части московскаго государства было настолько тѣсное населеніе, что явился уже трехпольный сѣвооборотъ. Главными хлѣбами были: рожь, овесъ, ячмень и грѣчиха. По писцовымъ книгамъ, въ числѣ засѣваемыхъ хлѣбовъ, пшеница почти не упоминается.

Такъ-какъ мы говоримъ о той переходной эпохѣ, когда Россія устанавливала земледѣльческій бытъ, то понятно, что земледѣліе не составляло исключительнаго занятія народа. Крестьяне занимались еще звѣроловствомъ, бортничествомъ, рыбною ловлею, и въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ занятія эти составляли самостоятельный промыселъ и почти единственный источникъ матеріальнаго существованія народа. Звѣроловство, бортничество и рыбная ловля входили настолько, какъ культурный элементъ, въ бытовой строй населенія, что даже и земледѣлію, едва возникшему въ болѣе правильной формѣ, сообщали характеръ извѣстной первобытности. Вообще, крестьянскій бытъ того времени отличался всѣми признаками первобытной культуры и слабой осѣдлостью.

Ремесленники встрѣчались чаще въ городахъ, а въ селахъ

ремесло служило только подспорьемъ земледѣлю и существовало какъ побочное занятіе. Такъ-какъ ремесленность являлась лишь подспорьемъ, то, конечно, не могло явиться класса ремесленниковъ.

Сельское населеніе распадалось на двѣ группы, и одну изъ нихъ составляли крестьяне-земледѣльцы или люди пашенные, а другую люди непашенные, называвшіеся въ новгородской землѣ поземщиками и жившіе промыслами, торговлею и ремеслами. Болѣе строгаго раздѣленія труда въ то время не существовало, да и существовать не могло, потому что оно не вызывалось ни условіями полудикаго быта, ни однообразіемъ потребностей и образомъ жизни народа. Въ этомъ случаѣ Россія представляла картину той переходной культуры съ отгѣнкомъ первобытности, когда земледѣлецъ въ одно и то-же время является и сельскимъ хозяиномъ, и ремесленникомъ, удовлетворяя, за немногими исключеніями, всѣмъ своимъ потребностямъ самъ.

Въ эти, не совсѣмъ отдаленныя отъ насъ, времена,—а мы говоримъ о ближайшей до-петровской Руси, — социальныя и экономическія требованія были настолько однообразны и просты, какъ онѣ бывають однообразны и просты во всякомъ первобытномъ обществѣ. При экономическомъ строѣ, когда каждый являлся личнымъ производителемъ и потребителемъ того, что онъ самъ дѣлалъ, когда не существовало иной промышленности, кромѣ ремесленной, да и то ограниченной немногосложными требованіями земледѣльческой жизни, когда не существовало внѣшней торговли и, какъ нерѣдко случалось въ то время, вывозъ продуктовъ за-границу даже запрещался, когда внутренняя торговля отличалась тою-же первобытностью, какъ и ремесленность, когда изобиліе естественныхъ богатствъ давало населенію возможность жить вполне обезпеченно, не прибѣгая ни къ особенной энергіи труда, ни къ увеличенію успѣшности его путемъ изобрѣтеній или новыхъ открытій, когда, вслѣдствіе всего этого, скопленіе средствъ и орудій производства въ однихъ рукахъ оказывалось часто ненужнымъ и даже невозможнымъ,—при такомъ экономическомъ строѣ, понятно, не могъ образоваться особый классъ населенія, въ рукахъ котораго явилась-бы промышленно-производительная власть и сила.

Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы признаки новаго времени уже не намѣтились въ этотъ періодъ; но они были еще слабы, хотя раздача земель помѣщикамъ, вотчинникамъ и монастырямъ положила уже основаніе раздѣленію населенія на двѣ большія основныя группы.

Въ крестьянской группѣ того времени нельзя не отмѣтить одинъ слой или разрядъ населенія, къ которому принадлежали

бобыли, казаки, подворники, захребетники, подсуѣдники и задворные люди. Всему этому люду, неимѣвшему земельной собственности, жилось несомнѣнно хуже, чѣмъ крестьянамъ. Но типомъ чистаго бездомнаго пролетарія былъ въ московской Руси казакъ. Казаки явились въ половинѣ шестнадцатаго вѣка, и ими назывались безземельные крестьяне, странствовавшіе изъ деревни въ деревню, изъ волости въ волость, и нанимавшіеся на разныя, преимущественно земледѣльческія, работы къ крестьянамъ и землевладѣльцамъ. Однимъ словомъ, казаки изображали собою тѣ свободныя руки, которыя предлагались на всякія надобности и на всякія работы. Такъ-какъ у казаковъ земли не было и они не платили поземельной подати, то и во всѣхъ другихъ повинностяхъ они принимали меньше участія, сравнительно съ крестьянами.

Какъ, однако, согласить слѣдующее противорѣчіе? Земли вездѣ много: она отличается необыкновеннымъ плодородіемъ; землевладѣльцы употребляютъ всевозможныя средства, чтобы привлечь къ себѣ крестьянъ,—и въ то-же время являются въ обществѣ захребетники, бобыли, подворники, казаки? Это явленіе объясняется тѣмъ, что земледѣліе не составляло исключительнаго средства для существованія. Земледѣльческій трудъ въ ту переходную эпоху былъ скорѣе выходомъ и, сравнительно съ звѣроловствомъ и рыболовствомъ, составлялъ занятіе болѣе тяжелое. Къ этому нужно прибавить, что вся тяжесть повинностей ложилась на землю, и сравнительно болѣе легкій трудъ, какъ звѣроловство, рыболовство или ремесленная промышленность, давалъ крестьянину возможность освободиться отъ налоговъ. Понятно, почему, по мѣрѣ увеличенія налога на землю, увеличивался классъ безземельныхъ крестьянъ.

Чѣмъ почва была неплодороднѣе и чѣмъ, слѣдовательно, на нее ложилась большая платежная тягость, тѣмъ увеличивалось болѣе число безземельныхъ. А такъ-какъ подобныя условія существовали преимущественно въ мѣстностяхъ ближайшихъ къ Москвѣ, то и число безземельныхъ возрастало по направленію отъ окраинъ къ центру. Впослѣдствіи всѣ эти безземельные люди двинулись въ южныя степи.

IV.

Ивентарь тогдашняго крестьянина былъ немногосложенъ и обходился недорого. Въ семидесятыхъ годахъ шестнадцатаго столѣтія крестьянская изба стоила десять алтынъ двѣ деньги. Въ Новгородѣ въ XIV—XV вѣкѣ хоромы, т. е. избу, клѣть и овинь,

можно было купить за двадцать денегъ. Скоть былъ точно также дешева. Лошадь въ тотъ-же періодъ можно было купить за 26—30 алтынъ, корову за 25 алтынъ, яловицу за семь денегъ, барана за гривну. Въ приходе-расходной книгѣ Корнильева-Камельскаго монастыря значится расходъ на покупку саней, хомута и дуги въ $3\frac{1}{2}$ алтына; весь расходъ на одежду составлялъ въ годъ для крестьянина 30 алтынъ. Чтобы поселенцу завестись полнымъ хозяйствомъ, нужно было отъ $2\frac{1}{2}$ до трехъ рублей.

При такой дешевизнѣ труда, работникъ цѣнился, конечно, не особенно высоко. При Василиѣ Ш-мъ поденщикъ зарабатывалъ въ Москвѣ до двухъ денегъ въ день. Въ тѣхъ-же приходе-расходныхъ книгахъ Корнильева-Камельскаго монастыря значатся слѣдующія цѣны казакамъ: одинъ получалъ одинъ рубль въ годъ, другой двадцать алтынъ, третій двадцать шесть. Нѣкоторымъ выдавалась плата необыкновенно малая: въ 3, 9, 12, 16 алтынъ. Средняя годовичная плата составляла 20 алтынъ. Если-бы подобный казакъ задумалъ завести самостоятельное хозяйство и сталъ для этого копить деньги, ему пришлось-бы работать отъ трехъ до пяти лѣтъ, но, обыкновенно, поселенцу оказывала помощь та община, въ которую онъ поселялся. Такъ, крестьянинъ тавренскаго стану взялъ у старосты и крестьянъ $\frac{5}{12}$ десятины земли; при этомъ община дала ему даромъ поль-избы, поль-прируба, половину сѣнника, поль-клѣти и мякинницы и освободила на годъ отъ всякихъ платежей. Если, такимъ образомъ, община, принимая къ себѣ новаго члена, давала ему средства, то слѣдовало-бы предполагать, что подобныя поощренія земледѣльческой осѣдлости должны были-бы привлекать къ земледѣлю и самостоятельному земледѣльческому хозяйству большое число рукъ. Почему-же одни изъ крестьянъ отказывались отъ земли, другіе поселялись и третьи поступали въ холопы? „Исключительно въ тяжелыхъ налогахъ на землю, раззорительности которыхъ усиливалась вслѣдствіе злоупотребленій намѣстниковъ, волостелей и другихъ чиновниковъ, лежалъ корень тѣхъ побужденій, которыя звали чернаго крестьянина къ помѣщику, а свободнаго въ кабалу и въ холопство“,— говоритъ г. Соколовскій.

Слѣдуетъ замѣтить, что землевладѣльцы постоянно стремились къ пріобрѣтенію рабочихъ рукъ и употребляли всѣ средства, чтобы приманить на свои земли крестьянъ. Они обѣщали переселяющимся пособіе, давали имъ льготы отъ государственныхъ податей, наконецъ, освобождали на извѣстный срокъ отъ всякихъ повинностей въ свою пользу. Землевладѣльцы какъ-бы соперничали въ этомъ случаѣ съ черными общинами, стараясь предоставлять переселенцамъ больше выгодъ, чѣмъ могли дать общины.

V.

Крестьяне, поселившіеся на владѣльческихъ земляхъ, составляли собственно рабочую силу и за право пользованія должны были нести извѣстныя обязательства. Самой обыкновенной формой этой обязательности было половничество. Впослѣдствіи половничество принимаетъ форму оброка, который въ началѣ шестнадцатаго вѣка заключался въ уплатѣ хлѣбомъ, а въ концѣ того-же столѣтія переходитъ въ половинность денежную. Барщина въ то время составляла рѣдкое исключеніе. Землевладѣльцы не имѣли ни средствъ, ни нужды заводить свои пашни и вести личное хозяйство. Земли раздавались за службу, т. е. на время; поэтому помѣщикъ не могъ быть увѣренъ, что имѣніе останется у него или не будетъ отобрано при первомъ случаѣ, и, конечно, не имѣлъ никакого интереса заниматься лично хозяйствомъ. Наконецъ, помѣстья бывали очень малы, особенно у служилыхъ людей низшихъ разрядовъ, а ихъ было большинство. Очень часто попадались помѣстья, въ которыхъ считалось 3—4 двора.

Одни только монастыри владѣли обширными землями на правахъ неограниченной собственности, и это обстоятельство дало монастырямъ возможность вести свое хозяйство на иныхъ основаніяхъ. Монастырямъ принадлежитъ первая мысль и осуществленіе барщины. Барщина была дѣломъ суровымъ и тяжелой кабалой. Крестьяне не находились еще въ такой безвыходности, чтобы подчиняться гнету барщинной зависимости. Благодаря приволью, они легко могли уходить, чтобы заниматься трудомъ болѣе удобнымъ и независимымъ. И вотъ, чтобы привязать руки къ своимъ землямъ, монастыри старались давать крестьянамъ возможно большія льготы, какихъ далеко не могли дать ни помѣщики, ни черносотенные.

Крестьяне, сравнительно съ нашимъ временемъ, обязывались трудомъ не особенно большимъ. Такъ, въ имѣніи Троицкаго монастыря, въ дмитріевскомъ уѣздѣ, крестьяне за пять десятинъ въ полѣ пахатной земли, за сѣнокосы и лѣса, которыми пользовались, обрабатывали въ пользу владѣльца полторы десятины. При обиліи земли и при даровомъ пользованіи лѣсомъ, 4—5-я часть продукта, которюю выплачивалъ работникъ, въ формѣ барщины или платы натурой, конечно, не была обременительной. Въ настоящее время, по свѣденіямъ, собраннымъ высочайше утвержденной комисіей для изслѣдованія сельскаго хозяйства, въ рязанской губерніи, напримѣръ, за одну десятину земли крестьяне обрабатываютъ въ пользу землевладѣльца тоже десятину т. е. въ 4—5 разъ больше,

чѣмъ въ шестнадцатомъ вѣкѣ. Нужно знать еще, что землевладѣлецъ того времени не могъ увеличить по произволу своихъ требованій, потому что крестьяне могли его оставить. Чуть помѣщикъ измѣнялъ условія къ худшему,—крестьяне уходили отъ него. При такомъ отношеніи крестьянъ къ землевладѣльцамъ, земледѣльческій трудъ находился въ условіяхъ болѣе свободныхъ и не имѣлъ того кабальнаго характера, который онъ получилъ впоследствии.

Вообще, крестьянинъ того времени чувствовалъ себя гораздо свободнѣе, и хотя мы, съ теперешней точки зрѣнія, находимъ тогдашнее его положеніе болѣе благоприятнымъ, но самъ крестьянинъ рассуждалъ иначе. Есть народныя традиціи, переходящія изъ поколѣнія въ поколѣніе и сохранившіяся сначала, какъ умственное наслѣдіе или преданіе о героическихъ временахъ, а затѣмъ принявшія характеръ мечтательнаго идеализма, дающаго направленіе народнымъ стремленіямъ. Такъ было и съ обществомъ того времени, о которомъ мы говоримъ. Оно находилось въ переходномъ состояніи отъ патріархальнаго быта къ новому экономическому строю и очень хорошо помнило то время, когда крестьянинъ трудился только для себя.

Сельское населеніе относилось не особенно привѣтливо къ помѣщикамъ и служилымъ людямъ и всякое стѣсненіе своей дѣятельности считало покушеніемъ на личный трудъ. Вздыхая о минувшихъ свободныхъ временахъ, легкое, по нашимъ нынѣшнимъ понятіямъ, обязательство сельское населеніе считало тяжелымъ и подчинялось ему неохотно. Нужно было много времени, чтобы сельскій производитель убѣдился, наконецъ, что прошлое сказочное и традиціонно ему извѣстное, блаженное состояніе свободы и независимости миновало безповоротно и что онъ долженъ подчиниться ходу исторіи и забыть рассказы о героическихъ временахъ. Крестьянинъ и подчинился; но онъ подчинился неохотно, отыскивая при всякомъ удобномъ случаѣ выхода къ лучшему. Землевладѣльцы не воспитались на народныхъ традиціяхъ, и ихъ цѣли и стремленія были иными. Явившись, какъ продуктъ новой исторіи, они преимущественно и служили ей; но въ то-же время они понимали, что въ отношеніяхъ землевладѣльца къ работнику должна быть извѣстная бережливость и что работникъ всегда можетъ уйти отъ него, если найдетъ требуемыя отъ него обязательства слишкомъ тягостными для себя. И вотъ, съ самаго начала шестнадцатаго столѣтія наблюдается постолнно возрастающая борьба этихъ двухъ элементовъ нашей экономической исторіи. Съ одной стороны отстаиваетъ свои права трудъ, выросшій на традиціи свободныхъ отношеній; съ другой—постепенно усиливаются извѣстныя, стягивающія его, обяза-

тельства. Въ началѣ работникъ, переходящій къ земледѣлю, имѣетъ еще много возможностей искать себѣ свободнаго выхода въ такихъ, неограничивающихъ его, занятіяхъ, какъ звѣроловство, рыболовство, гдѣ онъ чувствуетъ себя вполне свободнымъ; съ другой стороны, служилый помѣщикъ чувствуетъ себя еще очень слабымъ, чтобы удержать этого неосѣвшего работника на своей землѣ и преградить ему окончательный выходъ. Борьба окончилась тѣмъ, что традиціонное уступило вновь народившемуся и, съ развитіемъ осѣвшего земледѣльческаго быта, нѣкогда свободный личный трудъ очутился въ положеніи зависимости.

VI.

Въ тѣ времена, когда еще только началъ формироваться новый земледѣльческій бытъ, рядомъ съ нимъ выработывались и слагались и остальные подробности экономическихъ отношеній. Къ числу вопросовъ особенной важности принадлежалъ и тотъ податной вопросъ, разрѣшеніе котораго принадлежитъ нашему времени, вмѣстѣ съ вопросомъ крѣпостнаго права.

Съ возникновеніемъ земледѣльской промышленности, земля явилась преимущественнымъ предметомъ обложенія, и наши прады придумали для распредѣленія поземельныхъ налоговъ слѣдующій способъ. Вся заселенная земля московскаго государства дѣлилась на участки такой величины, что доходность ихъ была одинакова, и каждый участокъ облагался налогомъ одинаковаго размѣра. Такой участокъ назывался сохою. При различныхъ достоинствахъ земли, соха являлась величиной не только условной, но и произвольной, и измѣнялась по времени и по мѣстнымъ условіямъ. Сущность этой системы, сохранившейся и до сихъ поръ, заключалась въ томъ, что сумма заранее назначеннаго налога раздѣлялась на опредѣленные равныя доли между земледѣльческими хозяевами и каждый изъ нихъ платилъ соотвѣтственно получаемому имъ доходу съ земли. Если единица дохода получалась съ меньшаго пространства лучшей земли, то и соха считалась меньше; если-же земля была хуже, то соха была больше. Земля дѣлилась, обыкновенно, на три сорта: на худую, среднюю и хорошую. Напримѣръ, если въ соху хорошей земли полагалось 800 четвертей, то въ соху средней шло 1,000 четвертей, а худой—1,200. При обложеніи принималось во вниманіе количество и другихъ налоговъ, лежавшихъ на землѣ. Такъ-какъ черныя земли не платили оброка землевладѣльцамъ, то на нихъ падали преимущественно государственныя подати, и черныя сохи были мельче остальныхъ.

Онѣ заключали въ себѣ отъ четырехъ сотъ до шести сотъ четвертей. Монастырскія земли несли меньше государственныхъ податей, потому что часть крестьянскаго труда шла на монастырскія работы. Монастырская соха считала въ себѣ до 600 четвертей доброй земли. На помѣстныя и вотчинныя земли ложилась самая малая часть государственныхъ налоговъ, и здѣсь сохи были самыя большія. Въ сохѣ доброй земли полагалось 800 четвертей, въ сохѣ средней 1,000 и худой 1,200 четвертей. Самыя меньшія налоги падали на дворцовыя земли, гдѣ въ сохѣ полагалось 1,300 четвертей. Эти основанія, при всей простотѣ тогдашнихъ знаній, служатъ, однако, несомнѣннымъ доказательствомъ государственной и экономической мудрости нашихъ неученыхъ прагматовъ. Во-первыхъ, ими былъ принятъ и установленъ принципъ податной справедливости настолько въ чистомъ видѣ, что налоги ложились на всѣхъ равномерною тягостью; а во-вторыхъ, и самое распредѣленіе налоговъ являлось мѣрой не произвольной, а поставленной въ зависимость отъ условій доходности.

Такъ-какъ опредѣленіе поземельнаго дохода было невозможно безъ описанія земель, то наши прагматы придумали оцѣночную систему, называемую въ настоящее время кадастромъ. Первые намеки на инвентарныя описанія хозяйствъ становятся извѣстными съ тринадцатаго вѣка. Въ шестнадцатомъ столѣтіи описанія эти производятся уже очень часто. Напримѣръ, новгородскія земли, послѣ присоединенія ихъ къ Москвѣ, были описаны въ продолженіи двадцати лѣтъ два раза. Изъ описанія отдѣльныхъ хозяйствъ составлялись писцовыя книги, а лица, производившія описи, назывались писцами, описчиками и бѣльщиками. Въ описаніяхъ обозначались владѣльцы, количество семей каждаго села или деревни, число дворовъ и домохозяевъ, количество сѣна, лѣса; затѣмъ обозначалось, сколько крестьяне платятъ оброка и какіе крестьяне отправляютъ повинности на землевладѣльца. Когда всѣ свѣденія были собраны, дѣлался расчетъ, сколько въ мѣстности считать сохъ, и числомъ сохъ устанавливалась подать. Соха дробилась на болѣе мелкія единицы, которыя въ новгородскихъ владѣніяхъ назывались обжами, а въ московскихъ—вытями. Обжи и выти такъ-же, какъ и сохи, не имѣли опредѣленной величины, а измѣнялись, смотря по качеству почвы. Конечно, не обходилось безъ того, чтобы писцы не позволяли себѣ обсчитывать крестьянъ. Крестьяне, разумѣется, жаловались; писцамъ эти жалобы не всегда сходили съ рукъ даромъ, но злоупотребленіямъ вообще не было конца. Но мы говоримъ не объ этомъ. Мы говоримъ не о тѣхъ частностяхъ и неудобствахъ, которыя являлись на практикѣ, а объ основной идеѣ и принципѣ податнаго обложенія и о тѣхъ

средствахъ, которыми устанавливалась податная справедливость. Теоретически наши праѣды разрѣшили этотъ вопросъ настолько вѣрно, что намъ, внукамъ, придется только воспользоваться ихъ урокомъ и снова обратиться къ тому принципу, который они установили и который утратился по времени.

Подать того времени имѣла два вида: дань князю съ земли и поголовная подать, которая накладывалась только въ исключительныхъ случаяхъ. Зато повинности были чрезвычайно разнообразны. Наиболее обременительными изъ нихъ были повинности, ямская и ратная; кромѣ этихъ двухъ главныхъ повинностей, было множество мелкихъ, и изъ нихъ наиболее сложныя относились „къ городскому дѣлу“. Повинность судебная, или пошрины на содержаніе суда, а также кормленіе чиновниковъ, особенно при вымогательствѣ управителей, являлись для народа платежами очень разорительными. Постоянныя жалобы народа на вымогательства кончились тѣмъ, что царь Иванъ Грозный предоставилъ деревенскимъ общинамъ самимъ выбирать излюбленныхъ старостъ. Впрочемъ, это самоуправленіе давалось не даромъ: общины должны были покупать его за извѣстный оброкъ въ казну. Очень можетъ быть, что Ивана Грознаго побудило къ этой реформѣ не столько сочувствіе къ народу, сколько финансовыя соображенія. Во всякомъ случаѣ, народъ остался въ выигрышѣ, потому что вмѣсто произвольныхъ поборовъ онъ платилъ теперь опредѣленный налогъ.

VII.

До основанія Руси славяне жили отдѣльными племенами, и земля, занимаемая какимъ-либо племенемъ, составляла его общую собственность. Подобная-же идея принадлежности земли племени или народу встрѣчается въ первыхъ историческихъ эпохи и у остальныхъ историческихъ народовъ. Съ развитіемъ государственной власти, взглядъ на принадлежность земли измѣняется повсюду, и такое-же измѣненіе явилось и у насъ. Сначала право на землю перенеслось на князей, потомъ-же, съ утвержденіемъ единодержавія, собственникомъ земли является царь. Вслѣдствіе какихъ вліяній и когда совершилось перенесеніе права на землю на государя, неизвѣстно, но въ XV—XVI вѣкахъ земля называется уже „государевой землей“.

Перенесеніе права на землю съ народа на государя долгое время не измѣняло существенно взгляда на землю, какъ на общую собственность, и частной собственности почти не существовало. Черныя земли были въ полномъ смыслѣ государственными, и

частныя лица ни подъ какимъ видомъ не могли пріобрѣтать ихъ въ свою собственность, да и общины только пользовались ими, но права отчужденія не имѣли. Когда верховное право на землю перешло къ государю, черныя земли стали государевыми. Такія отношенія государя были и къ помѣстнымъ землямъ. Подъ помѣстьемъ въ то время разумѣлась не земля, а скорѣе доходъ съ извѣстнаго пространства земли, который давался служилому за его службу. Помѣстье не было чѣмъ-то постояннымъ: съ переменною обязанности измѣнялось и помѣстье, и его размѣръ. Служилый человекъ даже на мѣну помѣстья долженъ былъ испрашивать позволеніе государя. Понятно, что, будучи только временнымъ владѣльцемъ, служилый человекъ не могъ завѣщать помѣстья даже своимъ дѣтямъ. Наконецъ, помѣстье могло быть всегда отобрано.

Хотя происхожденіе вотчинъ совершенно иное, но и они, подобно помѣстьямъ, наконецъ, подчинились тому-же верховному праву. Въ XVI вѣкѣ всякое различіе вотчинъ отъ другихъ видовъ земель исчезаетъ, и они сдѣлались государственною собственностью.

Только монастыри, благодаря идеѣ, занесенной изъ Византіи, распоряжались своими землями совершенно самостоятельно. Но византійская идея слишкомъ противорѣчила народному воззрѣнію на землю, и русскіе государи, поддерживаемые сочувствіемъ народа, постоянно стремились ограничить права монастырей. Первое время это было довольно трудно, такъ-что Иванъ III долженъ былъ уступить, встрѣтивъ энергическій отпоръ церковныхъ соборовъ; но что не удалось Ивану III, то удалось Грозному.

Наконецъ,—послѣдній видъ земель—дворцовыя, хотя и составляли свободный видъ имущества, но князья владѣли ими не на вотчинномъ правѣ, до того была крѣпка идея о принадлежности земли государству и, въ лицѣ его, государю! Покоривъ Новгородъ, Иванъ III объявилъ новгородцамъ, чтобы они дали ему волости и села, „такъ-какъ намъ, великимъ князьямъ, государства своего держать на своей отчинѣ великомъ Новгородѣ безъ того нельзя“. Такимъ образомъ, великій князь смотрѣлъ на землю, какъ на вознагражденіе за свою службу.

Это воззрѣніе на землю окончательно измѣнилось только въ XVIII столѣтіи.

VIII.

Какія были формы крестьянскаго землевладѣнія до конца XV вѣка, опредѣлить въ точности, на основаніи историческихъ дан-

ныхъ, довольно трудно. Ни акты, ни писцовыя книга не задавались опредѣленіемъ отношеній крестьянъ. Одни имѣли судебный характеръ, другія—кадастровый. Тѣмъ не менѣе въ этихъ документахъ можно найти достаточныя свѣденія о хозяйственныхъ условіяхъ сельскаго населенія того времени.

Деревенская Русь XV—XVI вѣка дѣлилась на округа, которые въ новгородской области назывались погостами, въ московской—волостями, а въ псковской—губами. Округа эти имѣли въ то время судебно-административное значеніе. Немногіе сохранившіяся акты убѣждаютъ, что въ основаніи волостей лежало нѣкогда территоріальное начало и что села и деревни, принадлежавшія къ волости, были связаны между собою общиннымъ владѣніемъ землей.

Несмотря на то, что во времени, о которомъ мы говоримъ, свершилось уже распаденіе древнихъ союзовъ, тѣмъ не менѣе не только въ XV и XVI вѣкахъ сохранились еще мѣстами волости—общины, но послѣдніе остатки ихъ существуютъ еще и въ наше время. По недостатку источниковъ, конечно, нѣтъ возможности опредѣлить тогдашняго пользованія землею, но по остаткамъ, сохранившимся до нашего времени, можно, однако, составить понятіе о существовавшемъ тогда порядкѣ. Общественная запашка практиковалась только мѣстами, но, обыкновенно, пашия находилась въ подворномъ пользованіи. Остальныя угоды, какъ-то: пашбища, лѣса, рыбныя ловли, бортныя ухажья, а иногда луга, находились въ общемъ пользованіи поземельныхъ союзовъ, состоявшихъ изъ болѣе или менѣе значительнаго числа селеній. Такимъ образомъ, первоначальнымъ типомъ общины нужно признать общину волостную. А подъ волостной общиной разумѣлась группа селеній, владѣвшая сообща занятою ею землею. Бывали случаи, когда цѣлая волость владѣла безъ раздѣла; бывали другіе, когда нѣсколько поселковъ тянули къ какому-нибудь другому центру, называемому селомъ или сельцомъ; наконецъ, бывали случаи, когда деревни образовывали общину безъ центрального села или-же, наконецъ, двѣ волостныя общины составляли административный союзъ. Подобныя волостныя общины можно встрѣтить нынче въ сѣверныхъ губерніяхъ, на земляхъ казачьихъ, въ Сибирь и даже кое-гдѣ въ центрѣ Россіи. Г. Соколовскій встрѣчалъ ихъ въ подольскомъ уѣздѣ московской губерніи. На подобную-же общину въ серпуховскомъ уѣздѣ указываетъ „Сборникъ статистическихъ свѣденій по московской губерніи“. Г. Якушкинъ видѣлъ нѣсколько такихъ общинъ въ ярославской губерніи.

Хотя, такимъ образомъ, волостная община и была начальной формой крестьянскаго землевладѣнія, но въ концѣ XVI вѣка ее

начинаетъ смѣнять община деревенская. Каждый отдѣльный поселокъ образовываетъ отдѣльную группу, неимѣющую никакой связи по землѣ съ сосѣдними селеніями, и этотъ порядокъ отношеній, сдѣлавшійся господствующимъ, достался нашему времени.

IX.

Переселеніе крестьянъ, — говоритъ г. Соколовскій, — составляетъ характеристическую черту древне-русскаго быта. „До самаго конца XVI вѣка, на всемъ пространствѣ Россіи происходилъ постоянный отливъ и приливъ населенія. То-и-дѣло возникали поселки или отдѣльные двory въ однѣхъ мѣстностяхъ, въ то время какъ въ другихъ пустѣли цѣлыя деревни. Древняя исторія Россіи есть исторія колонизирующей страны. Повсюду, по характерному выраженію Щанова, стучалъ топоръ въ „черныхъ, дикихъ лѣсахъ“, шла повсемѣстная расчистка и распашка лѣсовъ. Повсюду ставились двory и починки, разроставшіеся въ деревни, сельца, села, погосты и слободы. Среди непроходимыхъ лѣсовъ и болотъ отыскивались оазисы плодородной земли, чистился и выжигался лѣсъ и заводилось хлѣбопашество. Эта великая колонизаціонная работа, охватывающая все обширное пространство восточной европейской низменности и продолжавшаяся тысячелѣтія, неконченная даже и въ настоящее время, составляетъ одинъ изъ величайшихъ подвиговъ въ исторіи грандіозной борьбы человѣка съ природой. И этотъ подвигъ совершенъ исключительно силами русскаго земледѣльца. Могутъ сказать, что дѣлу колонизаціи въ такой-же мѣрѣ содѣйствовали и землевладѣльцы, созывавшіе крестьянъ на жалованныя имъ земли. Но кромѣ обѣщаній, льготъ отъ податей въ продолженіи нѣкотораго времени, эти землевладѣльцы ничѣмъ не облегчали страдной работы русскаго земледѣльца. Единственными его помощниками были топоръ, соха и коса. Съ ними одними, среди чуждыхъ племенъ, по всей вѣроятности, не всегда дружественныхъ къ пришельцамъ, онъ завоевалъ для земледѣльческой культуры то громадное пространство, которое занято теперь русскимъ государствомъ. Великъ, непомерно тяжолъ былъ трудъ русскаго пioniра. Не имѣя ни географическихъ свѣденій, ни руководителей, лишенный даже въ большей части колонизируемой земли, гдѣ годная земля попадалась клочками, возможности идти въ обществѣ съ другими колонистами, снабженный самыми грубыми орудіями, онъ долженъ былъ, въ большинствѣ случаевъ, одинъ рубить и выкорчевывать лѣса, вспахивать новины, удобрять мало-плодородную почву, терпя при этомъ всѣ невзгоды изолированной жизни“.

До какихъ-же размѣровъ доходило переселеніе крестьянъ? Хотя точныхъ свидѣній по этому вопросу нѣтъ, но, судя по отрывочнымъ даннымъ, можно съ достовѣрностію сказать, что переселеніе усиливалось постоянно, по мѣрѣ приближенія къ введенію крѣпостного права. Въ XV столѣтіи, какъ видно изъ переписи того времени, населеніе мѣстами не только не уменьшалось, но даже увеличивалось. Но въ концѣ XVI столѣтія переселеніе принимаетъ почти эпидемическій характеръ. Въ это время количество пустошей, деревнищъ, селищъ и пустыхъ дворовъ далеко превосходитъ количество жилыхъ поселковъ. Напримѣръ, въ васильцевскомъ стану московскаго уѣзда въ 1570—80 годахъ на 46 поселкахъ приходилось пустыхъ: 1 погость, 2 сельца, 31 деревня, 124 пустоши, въ которыхъ исчезли уже всякіе слѣды жилья. Въ кошелевомъ стану на одну заселенную деревню съ 16 жителями приходилось 44 пустоши. Неменьшимъ количествомъ опустѣвшихъ поселковъ изобиловалъ и сосѣдній коломенскій уѣздъ, гдѣ на земляхъ разныхъ вотчинниковъ и помѣщиковъ было 70 пустыхъ сель, деревень и починковъ, 574 пустоши и 83 селища. Въ такомъ-же количествѣ оказалось опустѣлыхъ дворовъ въ уѣздахъ: вяземскомъ, тульскомъ и друг. Въ деревской пятинѣ новгородской области, спустя двадцать лѣтъ послѣ присоединенія къ Москвѣ, было еще густое населеніе, вовсе несклонное оставить свои земли; а черезъ 80 лѣтъ оказывалось 123 жилыхъ поселка и 977 пустыхъ деревень.

Въ чемъ-же причина этого постоянного переселенія и бродяжества? Причина крылась исключительно въ условіяхъ общественнаго быта. Въ дошедшихъ до насъ историческихъ актахъ постоянно встрѣчаются жалобы крестьянъ на намѣстниковъ, тиуновъ, доводчиковъ, на лихихъ людей и татей, жалобы на насильства, продажи и тяжбы. Крестьяне на владѣльческихъ земляхъ жалуются постоянно на прикащиковъ и доводчиковъ, которые берутъ оброкъ не по грамотамъ и не по окладу и требуютъ исполненія лишнихъ повинностей. Напримѣръ, изъ имѣнія суздальскаго епископства, послѣ того, какъ крестьяне были привлечены къ отбыванію повинности вмѣстѣ съ посадскими и волостными людьми, въ продолженіи четырехъ лѣтъ вышло 74 семьи. Крестьяне бѣжали отъ „разныхъ даней и разметовъ“, отъ опричнаго правяща и отъ чрезмѣрныхъ оброковъ за землю въ пользу служилыхъ людей.

Вмѣсто того, чтобы устранить причины, заставлявшія народъ разбѣгаться, правительство избрало иной путь и всѣми средствами старалось поддерживать авторитетъ тѣхъ людей, которые заставляли народъ бѣжать. Мѣры, принятія для удержанія народа, долго

не достигали своей цѣли и втеченіи двухъ столѣтій оставались безуспѣшными. Чтобы одолѣть препятствія и вѣковыя привычки народа, нужно было располагать такими средствами, какими тогдашнее правительство не располагало, тѣмъ болѣе, что оно дѣйствовало безъ всякаго плана. Трудность заключалась еще и въ томъ, что прикрѣпленіе къ землѣ не могло быть обобщено, и правительство не располагало никакими контрольными средствами. Кромѣ пашенныхъ крестьянъ, была масса людей нетяглыхъ и бобылей. Прикрѣпить всѣхъ ихъ было не къ чему. Конечно, ихъ можно было заставить взять землю насильно; но такой обычай не вошелъ еще тогда въ обыкновеніе. Понятно, что за переходящими людьми слѣдить было трудно, и, подъ именемъ вольныхъ людей, могли переходить тяглые крестьяне.

Тѣмъ не менѣе прикрѣпленіе къ землѣ совершалось очень энергически; помѣщику давалась все большая и большая власть надъ личностью крестьянина, и экономическій гнетъ усиливался изъ года въ годъ. Можетъ быть, мѣры прикрѣпленія удались-бы и гораздо скорѣе, если-бы окраины Россіи не представляли удобства для выхода изъ подобнаго положенія. На югѣ и востокѣ лежали привольныя степи съ богатой почвой и съ сильной растительностью, гдѣ можно было кормиться, даже не занимаясь земледѣіемъ. Эти привольныя окраины плѣняли воображеніе народа мечтами о „вольной волѣ“, и народъ стремился въ степи, гдѣ надъ нимъ не могло быть никакой власти, гдѣ никто не заставлялъ-бы его работать не на себя.

Московская власть, прикрѣпляя крестьянина къ землѣ, хотя и дѣйствовала въ видахъ фискальныхъ и государственныхъ, но нельзя не признать и того, что подобные интересы сливались съ интересами помѣщиковъ и служилыхъ людей, и отъ прикрѣпленія народа выиграло больше всего не государство, а лишь одна правящая часть его населенія.

Конечно, могло-бы случиться и хуже. Могло-бы случиться, что, вмѣсто прикрѣпленія народа къ землѣ, явилось полное рабство; помѣщикамъ укрѣпленіе холоповъ могло-бы быть даже выгоднѣе, хотя, съ другой стороны, едва-ли такой общественный строй оказался-бы выгоденъ для правительства. Не подлежитъ сомнѣнію, что одной изъ главныхъ причинъ, помѣшавшихъ развитію рабства, было общинное землевладѣніе. Имѣя тогдашній помѣщичь дѣло съ отдѣльными лицами, съ бобылями, холопами, онъ воспользовался-бы ихъ трудомъ такимъ-же образомъ, какъ пользовались трудомъ пролетаріевъ ирландскіе землевладѣльцы. Холопъ, не имѣя права уйти, долженъ былъ-бы подчиниться всѣмъ требованіямъ помѣщика, но община спасла Россію отъ этого

страшнаго состоянія. Въ то время, какъ помѣщикъ, являясь полновластнымъ господиномъ холопа, могъ-бы предлагать ему всякія условія, съ общиной и міромъ ему было бороться труднѣе. Если-бы владѣлецъ задумалъ уменьшить крестьянскую землю или повысить оброкъ, ему съ цѣлой общиной было-бы справиться гораздо труднѣе, чѣмъ съ отдѣльнымъ лицомъ. Община кромѣ того, не изображала собою и конкурирующей силы. Въ то время, когда каждое отдѣльное лицо, подѣ давлениемъ конкуренціи, закабаляло себя болѣе и болѣе, община являлась организаціей, на которую нельзя было дѣйствовать обыкновенными средствами. Силы-же для принудительныхъ мѣръ не доставало не только у владѣльцевъ, но даже и у правительствъ. Наконецъ, не слѣдуетъ забывать, что за общину стоялъ обычай, а его нельзя было не уважать, ибо оскорбленіе народныхъ традицій, конечно, не прошло-бы даромъ.

Другая услуга общины заключалась въ томъ, что она оберегала своихъ членовъ отъ бѣдности и экономическихъ несправедливостей, помогала исхудалымъ и вообще поддерживала благосостояніе народа, противодѣйствуя развитію пролетаріата. Наконецъ, та-же община явилась представительницей справедливости, и, только благодаря ей, оказалось возможнымъ то равенство крестьянскихъ участковъ и пропорціональныхъ податныхъ платежей, какое установилось повсюду въ древней Россіи. Такимъ образомъ, если община и не могла совершить экономическихъ чудесъ, то уже, по меньшей мѣрѣ, ее нельзя лишить ея главной заслуги—заслуги спасенія Россіи отъ рабства.

Г. Соколовскій заключаетъ такъ свое изслѣдованіе экономическаго быта русскаго земледѣльца передъ крѣпостнымъ правомъ: „Экономическій бытъ изображалъ собою переходное состояніе къ худшему. Причины упадка народнаго благосостоянія заключались не въ свойствахъ природы, представлявшихъ, напротивъ, самыя благопріятныя условія для экономическаго развитія, также не въ физическихъ и умственныхъ качествахъ народа, доказавшаго свою предпріимчивость и трудолюбіе успешной колонизаціей громадной страны, а исключительно въ условіяхъ государственнаго быта. Упадокъ этотъ начался съ того времени, когда, съ развитіемъ помѣстной и податной системъ, русскій крестьянинъ былъ превращенъ въ тяглую единицу. Свободное развитіе народа на общинныхъ началахъ сдѣлалось, вслѣдствіе наложенія тягла, невозможнымъ, и народу приходилось поступиться своими вѣковыми обычаями; но отказаться отъ самыхъ коренныхъ основъ своего міровоззрѣнія онъ, очевидно, не могъ безъ борьбы. Впродолженіи всего изслѣдуемаго періода крестьянство стремится различными

способами уклониться отъ подчиненія все возрастающимъ требованіямъ государства. Тягло падало на него преимущественно чрезъ землю, и крестьяне или отказываются отъ нея совершенно, или берутъ меньшіе участки, или, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, переходятъ съ однихъ земель на другія, гоняясь за льготами, хотя-бы и временными. Болѣе предприимчивыя личности начинаютъ выходить за предѣлы государства. Съ цѣлью обезпечить исправное отбываніе тягла, правительство прикрѣпляетъ крестьянство сначала къ землѣ, а затѣмъ къ личности помѣщика. Усиливающіяся экономическія тягости и ограниченіе личныхъ правъ крестьянъ вызываетъ побѣги за рубежъ, которые постепенно достигаютъ огромныхъ размѣровъ. Бѣглецы колонизуютъ юго-восточныя степи до Дона и Урала, устраивая свой бытъ на излюбленныхъ началахъ вольной общины. Продолжая усиливать мѣры взысканія за побѣги, правительство, вѣстѣ съ тѣмъ, стремится подчинить своему влиянію и выбѣжавшихъ изъ предѣловъ московскаго государства. Покореніе Казани и Астрахани дало ему возможность покрыть сторожами и огородами большую часть юго-восточныхъ окраинъ и поставить казачество въ зависимость отъ Москвы. Результатъ этотъ достигнутъ былъ послѣ долгихъ усилій, и самостоятельное существованіе казачества прекращается только въ XVIII вѣкѣ. Съ этой поры оно входитъ снова въ составъ тяглой массы, хотя и на болѣе выгодныхъ условіяхъ, сравнительно съ остальнымъ населеніемъ“.

X.

Общинный союзъ, основанный на общинной помощи, есть такая форма общежитія, которая можетъ примирять всевозможныя общественныя и экономическія требованія и можетъ существовать при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ. Общины чисто-земледѣльческія, полу-земледѣльческія, ремесленныя, промышленныя, торговыя существовали и въ древности, и въ средніе вѣка, существуютъ и въ новѣйшее время. Новгородъ, несмотря на разнообразіе своего населенія и его интересы, жилъ общинной жизнью. При всѣхъ теоретическихъ возможностяхъ, первоначальная русская община не сохранилась въ своемъ свободномъ, чистомъ видѣ и приняла тяглый характеръ. Спрашивается: былъ-ли этотъ переходъ естественнымъ фазисомъ въ исторіи русской общины, явившимся вслѣдствіе внутреннихъ причинъ или-же древнее устройство могло удержаться въ своихъ началахъ и община получила иное содержаніе, усовершенствовавшись въ своихъ приспособленіяхъ, не из-

мѣняя въ то-же время своего основного характера? Исторія русской общины не даетъ отвѣта на этотъ вопросъ, но мы можемъ его найти въ исторіи общинъ другихъ народовъ.

Общины, образовавшіяся у насъ на сѣверо-западѣ, на западѣ, на сѣверо-востокѣ, имѣли въ великомъ Новгородѣ, Псковѣ и Вяткѣ центральныя правительства. Правительства эти были, однако, слишкомъ слабы, чтобы вести борьбу съ московской властію уже только по одному тому, что не имѣли другого войска, кромѣ временнаго ополченія. Ополченцы были слишкомъ плохими войсками, чтобы устоять противъ организованныхъ армій ливонскихъ рыцарей и московскихъ царей, предводимыхъ опытными ратными людьми. Когда, наконецъ, Новгородъ и Псковъ, не выдержавъ напора Москвы, должны были сдаться силѣ, московская царская власть, признавъ землю собственностью цари и великаго князя, противопоставила немедленно общинному началу начало личное. Цѣлью всѣхъ стремленій московской власти было могущество и величіе государства, а не единоличное счастье, бывшее идеаломъ общины. Общиной московское правительство воспользовалось, какъ однимъ изъ средствъ служенію себѣ и весьма послѣдовательно стало стремиться къ достиженію этой цѣли.

Московская власть прежде всего постаралась создать себѣ въ общинѣ постоянныхъ слугъ, связанныхъ присягой князю, и указала общинамъ выбирать старость, цѣловальниковъ, сотскихъ, десятскихъ и пятидесятскихъ. Выбирать въ эти должности велѣно было лучшихъ людей, которые-бы были „собою добры и къ нашему дѣлу пригожи“. Чтобы сообщить крестьянскому самоуправленію тяглый характеръ, московское правительство дало общинѣ власть надъ ея отдѣльными членами. Прежде всего былъ ограниченъ срокъ перехода крестьянъ юрьевымъ днемъ. Затѣмъ общинѣ была поручена раскладка податей, размѣръ которыхъ опредѣлялся московской властію. Общины играли въ этомъ случаѣ пассивную, подчиненную роль. Размѣръ податей и налоговъ опредѣлялся центральной властію, община не могла ни уменьшить ихъ, ни протестовать противъ нихъ и должна была безропотно повиноваться требованію. Все, что ей предоставлялось, заключалось лишь въ томъ, чтобы справедливой раскладкой, по возможности, уменьшить плачевную тягость.

Далѣе московская власть постаралась сообщить своимъ выборнымъ чинамъ возможно-сильную полицейскую власть, повелѣвъ „старостамъ и сотскимъ, и пятидесятскимъ, и десятскимъ, и всѣмъ людямъ беречи на-крѣпко, чтобъ у нихъ на посадѣ, въ станѣхъ, и волостѣхъ татей и разбойниковъ, и ябедниковъ, и подписчиковъ, и всякихъ лихихъ людей не было, и приѣзду-бъ ни къ кому

лихихъ людей не было". Выборные начальники должны были слѣдить, чтобы въ деревняхъ не было непозволительныхъ игръ, кормчества, разврата, и крестьяне, къ которымъ прїѣзжали посторонніе люди, обязаны были доводить объ этомъ до свѣденія старость, цѣловальниковъ или сотскихъ, и пятидесятскихъ. вмѣстѣ съ тѣмъ, и землевладѣльцы получили право вмѣшательства въ общинную полицію, и вообще власть общины была доведена почти до нуля. Постоянныя вмѣшательства внѣшней власти привели къ тому, что первобытное отношеніе общины совсѣмъ измѣнилось, и то, что она дѣлала прежде по сознанію необходимости и вслѣдствіе внутреннихъ требованій, стало исполняться теперь по обязанности.

Въ общинномъ судѣ совершалась подобная-же переимѣна. Прежде судъ сложился по вѣчевой формѣ; но, съ подчиненіемъ московскимъ князьямъ, онъ сдѣлался судомъ правительственнымъ, и право на него передавалось иногда землевладѣльцамъ. Хотя землевладѣльцы и даже правительственные чины не могли судить безъ выборныхъ отъ общины, но эта уступка не спасла древняго общиннаго суда.

Вотъ главные средства московской власти, которыми постепенно была уничтожена автономія русской общины, и прежній ея свободный характеръ смѣнился тягловымъ.

Конечно, трудно рѣшить, могли-ли цѣли московскаго правительства достигнутыя иными средствами и какъ-бы ему слѣдовало поступать и могло-ли оно поступить иначе; но историческій фактъ заключается въ томъ, что община, не доразвившись, должна была уступить другой, болѣе сильной формѣ.

XI.

Въ какой-же формѣ досталась нашему времени древняя наша русская община, и въ какомъ положеніи находится этотъ вопросъ въ настоящее время? Въ отвѣтъ мы считаемъ удобнѣе всего привести подлинныя слова изслѣдователя и тотъ выводъ, которымъ онъ оканчиваетъ свой „Очеркъ исторіи сельской общины“. „Давая каждому возможность приложить свой трудъ и обеспечивая безспорное пользованіе продуктами этого труда,—говоритъ г. Соколовскій, — народная система признаетъ землю неотчуждаемою собственностью всѣхъ жителей извѣстной территоріи. Основанная на началахъ взаимности и общинности, народная система устанавливаетъ равенство членовъ въ трудѣ и продуктѣ, во всѣхъ годахъ и потеряхъ, признавая этотъ путь единственнымъ для

практическаго осуществленія идеи общаго блага. Начала эти, составляющія продуктъ народнаго самосознанія, воспитаннаго на вѣковомъ опытѣ, проникають весь строй экономической жизни крестьянства даже и въ настоящее время, несмотря на всевозможныя неблагопріятныя вліянія. Внутри общины, конечно, нѣтъ и, повидимому, не можетъ явиться причинъ къ саморазрушенію; напротивъ, какъ мы старались доказать, — говоритъ г. Соколовскій, — она обладаетъ замѣчательною способностью приспособляться ко всѣмъ возможнымъ условіямъ, не отступая ни въ чемъ отъ своихъ основныхъ началъ. Отвѣчая болѣе, чѣмъ система индивидуализма, реальнымъ потребностямъ народа, общинная система пользуется повсемѣстно самою крѣпкою привязанностью со стороны народа, которую, по выраженію одного лица, сообщавшаго свои наблюденія „комисіи для изслѣдованія сельскаго хозяйства“, можно искоренить только насильственными мѣрами. Опасность грозитъ совсѣмъ съ другой стороны. Общественное мнѣніе, значеніе котораго въ данномъ случаѣ, какъ выразителя взглядовъ заинтересованной и притомъ вліятельной стороны, не подлежитъ сомнѣнію, въ послѣднее время стало относиться къ ней все болѣе и болѣе враждебно. Выставивши назадъ тому 20 лѣтъ цѣлый рядъ талантливыхъ и энергическихъ защитниковъ общины въ литературѣ и въ средѣ губернскихъ комитетовъ, предъ сокрушающими доводами которыхъ должна была, наконецъ, совершенно замолчать незначительная партія противниковъ, которой не помогли ни авторитеты политической экономіи, ни измышленія о фискальномъ происхожденіи общины, — общественное мнѣніе послѣ уничтоженія крѣпостнаго права явно стало склоняться на сторону насильственнаго уничтоженія общиннаго землевладѣнія. Для доказательства напомнимъ читателю пренія по докладу г. Бушена на сельско-хозяйственномъ съѣздѣ 1865 года, ходатайства петербургскаго земства въ 1870 году о введеніи подворнаго владѣнія и, наконецъ, мнѣнія большинства лицъ, выслушанныхъ „комисіей для изслѣдованія сельскаго хозяйства“ 1872 года. Даже прежніе горячіе защитники общины, какъ, напримѣръ, г. Кошелевъ, стоявшій до уничтоженія крѣпостнаго права за возможно-полную самостоятельность ея, стали теперь находить, что крестьянамъ даны были слишкомъ широкія права, совершенно несоотвѣтствующія ихъ развитію, и видѣть въ общинѣ причину неудачи крестьянской реформы. Вѣрной своимъ прежнимъ взглядамъ осталась лишь группа защитниковъ, но очевидно, что одна она не можетъ вести успѣшной борьбы. Положеніе 19 февраля служитъ памятникомъ безпристрастнаго отношенія законодательства къ народной системѣ распредѣленія земли. Правда, нѣкто-

рья статьи положенія доказываютъ слишкомъ ясно, что отдѣлъ объ общинномъ владѣннн составленъ подѣ влияннмъ мысли о неизбежномъ естественномъ саморазрушенн поземельной общины: въ положенн весьма точно, напримѣръ, опредѣлены правила, которыхъ слѣдуетъ держаться при переходѣ отъ общиннаго къ подворному владѣнню, между тѣмъ какъ вовсе не предполагается возможнымъ обратное явленн. Нѣкоторыя постановленн даже облегчаютъ такой переходъ, именно предоставленн права раздѣла общинныхъ земель на подворные участки $\frac{3}{4}$ голосовъ мнрскаго схода, вмѣненн въ обязанность общинѣ выдѣлять въ одномъ обрубѣ участки домохозяина, желающаго выйти изъ общины и уплатившаго всю, приходящуюся на его долю, часть государственной ссуды, предоставленн усадьбы въ наслѣдственное пользованн семьямъ и, наконецъ, введенн начала большинства вмѣсто обычнаго начала единогласн; но во всемъ положенн нѣтъ и намекъ на какое-либо намѣренн насильственно ускорить процессъ разрушенн общины. Въ докладѣ-же высочайше утвержденной „комиссн для изслѣдованн сельскаго хозяйства въ Россн“ 1872 г. мысли о содѣйствн къ выходу изъ общины, напротивъ, дано широкое развитн, а разосланные въ 1876 г. въ присутствн по крестьянскимъ дѣламъ вопросы объ удобнѣйшемъ выполненн этой мѣры и вообще о способахъ замѣны общиннаго владѣнн подворнымъ доказываютъ, что заключенн комиссн приняты во вниманн“.

Въ заключительныхъ словахъ г. Соколовскаго заключается порядочная доза лиризма. Можетъ быть, это одна изъ причинъ, почему его выводъ утрачиваетъ часть своей научной убѣднтельностью. Изслѣдованн г. Соколовскаго было-бы, разумѣется, полнѣе, если-бы онъ, не удовлетворяясь почти исключительно историко-юридической точкой зрѣнн, подкрѣпилъ-бы свои выводы и экономической теорнй. Мы не отрицаемъ, что индивидуальное воззрѣнн туго поддается убѣднтельности экономическихъ доводовъ, если они не принадлежать теорнн индивидуализма. Но, съ другой стороны, если нельзя отрицать также, что всякое изслѣдованн тѣмъ убѣднтельнѣе и неотразимѣе, чѣмъ полнѣе и многообразнѣе факты, которыми оно пользуется, то нужно заключить, что и изслѣдованн г. Соколовскаго не потеряло-бы ничего отъ большей массы экономическихъ доказательствъ. Во всякомъ случаѣ, нельзя оставить безъ вниманн изслѣдованн г. Соколовскаго, и мы рекомендуемъ ихъ вниманню даже такихъ читателей, которые не особенно расположены къ теоретическимъ размышленнямъ и которые полагаютъ, что въ вопросахъ, освѣжаемыхъ г. Соколовскимъ, нельзя уже сказать ничего новаго. Многн думаютъ, что вопросъ объ общинѣ, какъ экономическомъ явленн, есть вопросъ оконченный.

Конечно, такое мнѣніе могло явиться у людей, недостаточно знакомыхъ съ вопросомъ и съ тѣми изслѣдованіями экономической науки, которыя только въ недавнее время опредѣлили вполне производительную сущность и выгоду солидарности и сочетанія труда. Съ этой точки зрѣнія вопросъ объ общинѣ, какъ экономическомъ явленіи, — вопросъ, далеко еще несданный въ архивъ ни народной, ни государственной жизни, и всякое поспѣшное разрѣшеніе его, особенно съ точки зрѣнія индивидуализма, не обѣщаетъ быть разрѣшеніемъ правильнымъ. Г. Соколовскій, сколько это видно изъ его заключительныхъ словъ, смотритъ нѣсколько пессимистически и полагаетъ, что идея коллективности, выражающаяся въ русской общинѣ, проиграла свое дѣло. Но если, съ другой стороны, обратить вниманіе на труды новѣйшихъ изслѣдователей и на тотъ поворотъ, который совершается въ экономической наукѣ, то есть основаніе предполагать, что идея коллективности только-что еще начинаетъ приобрѣтать общественное значеніе и завоевывать себѣ мѣсто въ наукѣ. Поэтому можно предположить, что лирической пессимизмъ г. Соколовскаго, не имѣя для себя достаточныхъ научныхъ основаній, лишенъ и силы убѣдительности, чтобы его можно было принять за несомнѣнный точный выводъ и послѣднее слово науки.

И. Шелгуновъ.

НОВЫЯ КНИГИ.

Картинки домашняго воспитанія. Педагогическіе этюды
А—вой. Спб., 1879.

Воспитывать дѣтей—значить придавать имъ образъ и подобіе воспитателя, значить влагать въ нихъ тѣ мысли и чувства, тѣ нравственныя влеченія и духовныя немощи, которыми гордится или страдаетъ взрослое поколѣніе, уже прошедшее, вслѣдъ за школьною ферулою, другую, болѣе суровую и наиболѣе воспитывающую ферулу—ферулу жизни. Недостатки и достоинства этого взрослого поколѣнія, естественно, прививаются, путемъ воспитанія, и къ молодымъ его отпрыскамъ, неизбѣжно сказываются въ самой конструкціи педагогическихъ идеаловъ и въ выборѣ педагогическихъ мѣръ. Въ точномъ, реальномъ смыслѣ, воспитаніе есть какъ-бы отливка мягкой безформенной массы въ готовые, выработанные жизнью, образцы, и какъ въ природѣ сохраняются и распространяются тѣ особи, которыя, посредствомъ подбора, наиболѣе приспособились къ вліяніямъ окружающей среды и всего лучше жились съ условіями даннаго мѣста и времени, такъ точно и въ общественной жизни наибольшій успѣхъ и значительнѣйшая доля счастья выпадаютъ на долю тѣхъ людей, которыхъ воспитаніе вооружило достаточными средствами для того, чтобы пробить себѣ тропу въ томъ или другомъ направленіи,сообразномъ съ живыми интересами различныхъ общественныхъ слоевъ. Говоримъ: „съ интересами“, потому что въ практической жизни эти интересы стоятъ донинѣ на первомъ планѣ, тогда какъ „идеи“,—сами по себѣ хотя-бы очень возвышенныя и симпатичныя, но не служащія выраженіемъ и опорой глубоко-сознаваемыхъ насущныхъ потребностей,—играютъ на сѣмъ свѣтѣ скромную и сомнительную роль. Въ этомъ смыслѣ Спенсеръ глубоко правъ, когда говоритъ, что вос-

питаніе, ради личнаго счастья самихъ воспитываемыхъ, не можетъ задаваться слишкомъ идеальными цѣлями, для которыхъ нѣтъ мѣста въ дѣйствительной жизни, что оно не должно обгонять очень далеко господствующіе нравы и обычаи. Въ противномъ случаѣ, воспитанная на отвлеченныхъ идеалахъ личность, неприготовленная къ житейской борьбѣ и разомъ сброшенная съ отвлеченныхъ высотъ въ житейскую грязь, рискуетъ или сломиться подъ гнетомъ враждебныхъ обстоятельствъ и бесплодно сгнуться въ неравномъ бою, или, отказавшись вполне отъ неосуществимыхъ идеаловъ, какъ отъ фантастическихъ бредней, немедленно пристроиться къ самому лакомому куску изъ отечественнаго пирога. Середины тутъ быть не можетъ, такъ-какъ общественная жизнь сильнѣе школы, и если она отрицаетъ цѣликомъ возвышенные школьные идеалы, то, естественно, сдумаетъ побороть ихъ такъ или иначе. Въ результатѣ — разочарованіе, нравственная дряблость, немощь въ борьбѣ или успокоительная философія, что одно, молъ, дѣло—теорія, а другое — практика, и что написанное въ умныхъ книжкахъ такъ пусть и остается въ складахъ человѣческаго ума, не переходя въ жизнь. Совсѣмъ иначе становится вопросъ, когда общественная жизнь, путемъ долгаго и устойчиваго развитія, выработала, наконецъ, истинно-человѣческія формы и отношенія, когда живыя и плодотворныя идеи уже осѣли и скристаллизовались въ видѣ прочныхъ учреждений, гарантирующихъ просторъ для честной, разумной дѣятельности; въ этомъ случаѣ и школа, выставя широкіе идеалы, какъ путеводныя нити въ жизни, никого не обманываетъ, никому не готовитъ разочарованій, ничего не сулитъ такого, что лопається, какъ мыльный пузырь, при первой встрѣчѣ съ неумолимой дѣйствительностью. Однимъ словомъ, между школою и жизнью должно существовать извѣстное соответствіе, и одинаковый вредъ происходитъ и тогда, когда воспитательные идеалы стоятъ на низменномъ уровнѣ, сравнительно со всѣмъ строемъ общественной жизни, и тогда, наоборотъ, когда они расплываются въ метафизическомъ пространствѣ, не зная и не желая знать, для какого общества готовится идеальный питомецъ.

Справедливость этихъ соображеній уже давно испытываютъ на себѣ наши чадолюбивые родители, производящіе всевозможные педагогическіе эксперименты надъ своими безотвѣтными младенцами. Сколько жалобъ, сѣтованій, упрековъ и даже проклятій слышится за послѣднее время отъ людей, обманутыхъ своими воспитательными теоріями! Сколько разбитыхъ надеждъ, обманутыхъ ожиданій, искалѣченныхъ жизней встрѣчалось и встрѣчается на тѣсномъ полѣ нашей семейной жизни! И во всемъ-то

виноваты теоріи, виноваты книжки, внушившія ту или другую мысль, и правы остаются только сами родители, неумѣвшіе сообразить, что всякая теорія требуетъ сознательнаго къ ней отношенія и что ни одинъ соціологическій законъ не сбывается при отсутствіи тѣхъ или другихъ условій для его осуществленія!..

„Картинки домашняго воспитанія“ представляютъ цѣлую коллекцію весьма интересныхъ наблюденій автора надъ курьезами и трагическими сторонами нашего педагогическаго столпотворенія. Независимо отъ воли автора, безъ всякихъ подчеркиваній и нажиманій, по всей книгѣ красною нитью проходитъ мысль, что въ томъ первозданномъ хаосѣ, въ какомъ нынѣ мы обрѣтаемся, при шаткости и неустойчивости нашихъ общественныхъ отношеній, никакое раціональное воспитаніе, строго говоря, невозможно, такъ-какъ всѣ высокіе воспитательные идеалы отражаются у насъ въ жизни самыми нелѣпыми послѣдствіями.

Авторъ книги рассказываетъ, что дурные практическіе результаты воспитанія ся собственныхъ дѣтей поставили ее въ недоумѣніе: „Гдѣ именно ошибка? Какъ я просмотрѣла? Въ какой моментъ я потеряла золотую середину и попала въ крайность? Какъ поправить дѣло и можно-ли поправить вообще? Не будетъ-ли эта поправка простой ломкой, еще болѣе вредной, нежели самая ошибка? Дѣло это, важное само по себѣ, еще важнѣе тѣмъ, что я врядъ-ли найду ему разрѣшеніе гдѣ-либо на сторонѣ, тѣмъ болѣе, что ясныхъ, опредѣленныхъ данныхъ я не знаю гдѣ искать, потому что гдѣ-же тотъ типъ, тотъ идеалъ, къ которому долженъ въ настоящее время стремиться человѣкъ, занимающійся воспитаніемъ дѣтей?“

„Я читала многое множество книгъ, касающихся дѣтскаго воспитанія, говорила со многимъ множествомъ лицъ, компетентныхъ и не компетентныхъ въ этомъ дѣлѣ, лицъ разныхъ національностей, и въ результатѣ приобрѣла винегретъ въ головѣ. Одинъ рекомендовалъ одно, другой именно этимъ страдалъ, третій предлагалъ стремиться къ такой-то цѣли, четвертый положительно совѣтовалъ противное. Слушая все это, голова моя шла кругомъ. Я бросила все, не стала никого слушать, выбрала двѣ-три мысли, подходящія къ моимъ убѣжденіямъ, и начала дѣйствовать, принявъ, главнымъ образомъ, за основаніе дать дѣтямъ моимъ воспитаніе, діаметрально-противоположное тому, которое получила сама. Понятно, что при подобной системѣ не обошлось безъ угловатостей; я не могла миновать ошибокъ, часто теряла балансъ, совершенно безсознательно, фатальнымъ образомъ впадала въ крайности и только тогда понимала свои ошибки, когда было уже поз-

дно, когда дѣло было сдѣлано. Короче сказать: убоявшись однажды нѣкоторыхъ результатовъ моего протеста противъ существовавшаго и существующаго воспитанія, я рѣшилась присмотрѣться, какъ другіе родители ведутъ своихъ дѣтей, какія идеи руководятъ большинствомъ и какъ проводятъ они эти идеи въ дѣло“.

Свои педагогическіе визиты авторъ начинаетъ съ одного свѣтскаго семейства, въ которомъ 11-ти-лѣтняя Ада, стройная и высокая дѣвочка, изящная, начиная съ манеръ и кончая костюмомъ и прической, — разыгрываетъ уже роль свѣтской дѣвушки, толкуетъ о Николини и отпускаетъ очаровательные афоризмы, вродѣ того, напримѣръ, что *une demoiselle bien élevée n'a pas des secrets*. Затѣмъ слѣдуетъ г-жа Критская, женщина необыкновенно добродѣтельная, патронеса нѣсколькихъ благотворительныхъ обществъ и, по своей репутаци, *образцовая мать*. У этой образцовой матери есть восхитительный маленькій Ваня, всегда одѣтый въ бархатную курточку, голандское бѣлье, всегда съ тщательно-отдѣланными ногтями, какъ у большого, — вообще мальчикъ, по виду, очень любезный и предупредительный. Скрамность-же и стыдливость Вани, по увѣренію мамыши, не имѣетъ границъ. Но всѣ эти прелестныя качества начинаются и оканчиваются въ гостиной, на глазахъ образцовой мамыши, и какъ только мальчикъ освобождается изъ-подъ надзора, такъ онъ и начинаетъ повѣсничать, драться и сквернословить. Еще далѣе мы встрѣчаемъ образчикъ чисто обломовскаго воспитанія: за балованнымъ Васей ухаживаютъ съ болѣзненнымъ самоотверженіемъ его мамыша, бабушка и тетка; всѣ онѣ смотрятъ въ глаза ему, холятъ и нѣжатъ, какъ апельсинное дерево въ оранжереѣ, сами глядятъ ему бѣлье, заказываютъ обѣдъ по его вкусу и тщательно удаляютъ все, что могло-бы не понравиться этому домашнему тирану. Грубый морякъ, находящійся въ родствѣ съ этою семьею, называетъ ее „фабрикой искусственнаго приготовления людей“. Изъ этой, отывающейся помѣщичью стариной, дѣтской фабрики авторъ попадаетъ къ „новымъ“ людямъ, которые воспитываютъ дѣтей на самыхъ модныхъ основаніяхъ, предоставляя имъ полную и безусловную свободу,—и, конечно, свободу прихотей и капризовъ, потому что разума и самообладанія немного найдешь въ дѣтскомъ возрастѣ. Отрекаясь отъ всякаго воспитательнаго вліянія на дѣтей, предоставляя ихъ, такъ-сказать, своей собственной судьбѣ, либеральные родители какъ-бы вовсе не понимаютъ того, что теорія *laissez faire, laissez passer*, уже оказавшаяся несостоятельной въ политической экономіи, также мало приноситъ толку и въ системѣ воспитанія. Въ сущности эта теорія, прикрывая собой полную без-

дѣятельность родителей, только повторяетъ на-изнанку тѣ халатные взгляды, съ которыми старомодные родители относились къ воспитанію своихъ дѣтей. Старомодные родители, не слыжавъ ни о какой педагогикѣ, предоставляли своимъ дѣтямъ расти, „какъ крапива у забора“; либеральные-же родители-педагоги, уцѣпившись за нѣкоторыя модныя слова (вродѣ свободы, самодѣятельности и пр.), пришли къ тому успокоительному выводу, что въ дѣтской натурѣ сидитъ такой неисчерпаемый родникъ всякихъ доблестей, что ему надо только не мѣшать пробиваться наружу. Понятно, что можетъ произойти изъ такого причудливаго пониманія дѣтской свободы, соединеннаго со столь-же причудливымъ представленіемъ о первобытной чистотѣ дѣтской природы.

Воспитанная въ понятіяхъ этой ново-зеландской свободы, не признающей никакихъ разумныхъ ограниченій, безъ которыхъ немислима, однако, общественная свобода,—дѣти г-жи Лыковой дѣлаютъ что хотятъ, учатся и не учатся, смотря по тому, какъ Богъ на душу положить, знакомятся съ кѣмъ попало, тратятъ деньги на что вздумается, толкуютъ обо всемъ, что только взбрѣдетъ имъ въ голову, причемъ ихъ сужденія отличаются тою легковѣсною рѣшительностью, которою обладаютъ въ избытѣ всѣ неумные и плохо образованные люди. Не привыкши ничѣмъ стѣсняться, эти милыя дѣти, въ присутствіи гостей, говорятъ о нихъ, какъ о мертвыхъ, подвергая нещадной критикѣ ихъ наружность, костюмъ, привычки и т. п. Авторъ книги имѣлъ несчастье надѣть шелковое платье со шлейфомъ и приколотъ шиньонъ прежде чѣмъ начать свои визиты, и вотъ масса замѣчаній посыпалась на это ея одѣяніе. Особенно злой критикѣ подвергнулся браслетъ, въ которомъ развязныя дѣти нашли „остатокъ варварства“. „Дикая!“—прикрикнула на гостью одна изъ дѣвочекъ и звонко захохотала. И хотя гостя очень остроумно оправдывалась за свой туалетъ, сказавши занозѣ-дѣвочкѣ, что она „была въ такихъ домахъ, гдѣ, какъ и у васъ, очень обращаютъ вниманіе на туалетъ и по нему составляютъ себѣ понятіе о людяхъ, только въ обратномъ смыслѣ“, тѣмъ не менѣе дѣти не переложили гнѣвъ на милость и, уже составивъ себѣ понятіе о новой знакомой, презрительно, изподлобья посматривали на нее. Мимоходомъ поучили ее, что когда, дескать, въ Самарѣ голодъ, то никто не долженъ надѣвать шелковыхъ платьевъ, и, довольная своимъ умственнымъ и нравственнымъ превосходствомъ, перенесли разговоръ на другіе предметы.

Слѣдующая картина переноситъ насъ туда, гдѣ техника и система воспитанія доведены до послѣдней степени совершенства,—словомъ, въ нѣмецкую семью, твердо вѣрующую въ непогрѣши-

мость своих педагогических идеалов и твердо намѣтившую ту практическую цѣль, къ которой нужно стремиться въ воспитаніи дѣтей. Цѣль воспитанія была для нихъ ясна, опредѣленна; они шли неуклонно по указанной дорогѣ создавшаго ихъ круга, не испытывая ни опасеній, ни волненій, ни разлада въ примѣненіи своей теоріи къ практикѣ. Имъ *требовалось* выработать въ дѣтяхъ чисто-практическія стремленія, которыя имѣли-бы прямыя, непосредственныя отношенія къ жизни. Для этого имъ нужно было дать дѣтямъ необходимыя привычки и развить въ нихъ техническую сноровку и выдержку, съ помощью которыхъ тѣ, безъ излишнихъ трудовъ, достигали-бы того, что родители находили для нихъ полезнымъ. Родители старательно воспитывали волю ребенка, для того, чтобы пріучить эту волю подавлять всѣ движенія и порывы, несовмѣстные съ заранее предназначенной программой, и допускать ихъ только тогда, когда они были во-время и къ мѣсту. Конечно, въ силу нѣмецкаго характера, несмотря на всю реальность и практичность стремленій, женскій персоналъ прививалъ дѣтямъ, какъ это ни покажется несообразнымъ на первый взглядъ, идеализмъ, который не мѣшалъ, однакоже, по своей туманности, практическимъ цѣлямъ воспитанія, но ощущался вездѣ и постоянно, какъ запахъ“.

Въ этомъ акуратномъ и чопорномъ семействѣ ребятишки, начиная съ 5-ти лѣтъ, уже приступали къ выполненію „предназначенной программы“ и усердно продѣлывали всѣ дѣтскія упражненія, направленныя къ развитію безусловной дисциплины и повиновенія старшимъ. Упраженія эти размѣрены не только по часамъ, но даже по минутамъ и чуть только прошла одна лишняя минутка, какъ рачительная мамаша уже кричитъ дѣтямъ: *ist genug!*

Картина снова мѣняется, и мы присутствуемъ при воспитательныхъ опытахъ нѣкоторой, весьма цивилизованной, Надежды Антоновны, которая и косы стрижетъ, и простое суконное платье носить, и до того даже стираетъ свой цивизмъ, что, имѣя достаточно средствъ купить мыльницу или пепельницу, считаетъ такую издержку непроизводительною: мыло такъ-же хорошо можетъ лежать на бумажкѣ, а пепелъ можно бросать на полъ. Если на дѣтяхъ Надежды Антоновны не было признаковъ бѣлья, то это значитъ, что надѣвать каждый день чистый воротничекъ и рукава — роскошь: прислуга слишкомъ занята, чтобы утруждать ее этимъ; самой-же мамашѣ некогда, ибо она вся погружена въ возвышенные вопросы и болѣетъ о всемъ мірѣ, кромѣ своихъ собственныхъ дѣтей; а такъ-какъ въ грязныхъ воротничкахъ ходить нехорошо, — значитъ, лучше ходить совсѣмъ безъ воротничка и рукавовъ. Своего девятилѣтняго мальчика эта безжалостная фра-

зерка до того напичкала всякими цивическими чувствами, всякими толками о людскомъ горѣ и страданіи, что у бѣднаго ребенка совершенно разстроилась вся нервная система и онъ отъ младыхъ ногтей сдѣлался добычею докторовъ. Очень часто изъ препарированныхъ такимъ образомъ дѣтей выходятъ помѣшанные или же ранніе самоубійцы, и въ такомъ печальномъ явленіи нѣтъ ничего загадочнаго или непредвидѣннаго. Сыночекъ Надежды Антоновны по цѣлымъ часамъ находится въ нервномъ раздраженіи; у него безпрестанно слезы на глазахъ, и то „міровое зло“, которое ему спозаранку наваливаютъ на невыносимыя плечи, конечно, можетъ только раздавить въ немъ всякую энергію, всякую способность къ активной работѣ. Что-же изъ него выйдетъ потомъ, когда нужно будетъ дѣйствовать? Онъ будетъ только скорбѣть — и ничего больше.

Прежде всего ему нужно выздороветь.

Послѣ цивической мамашы, мы встрѣчаемся съ одною изъ свѣтскихъ представительницъ женской эмансипаціи, которая протестуетъ противъ подчиненности женщинъ, толкуетъ о самостоятельномъ трудѣ и въ то-же время сама толчетъ воду въ ступѣ, разбрасывая на свои наряды нажитыя чужимъ трудомъ деньги и выискивая себѣ молодыхъ и красивыхъ любовниковъ. Тѣмъ не менѣе, свою дочь она воспитываетъ чуть не на монашескомъ положеніи, втолковываетъ ей необходимость учиться и жить своимъ трудомъ, забывая, что своимъ собственнымъ примѣромъ она разрушаетъ всю силу хорошихъ нравученій и возбуждаетъ къ себѣ только страшную ненависть дочери. Не верхъ-ли это лицемерія и обмана?

Въ концѣ книги авторъ снова выводитъ передъ нами либеральную послѣдовательницу теоріи *laissez faire, laissez passer* и въ разговорѣ съ нею резюмируетъ тотъ выводъ, который неизбежно вытекаетъ изъ всѣхъ представленныхъ картинъ. Либеральная мамаша, испытавъ уже на практикѣ плачевныя послѣдствія своихъ педагогическихъ экспериментовъ, изливаетъ слѣдующимъ образомъ свои позднія lamentaціи: „Я не знаю, что дѣлать съ моими дѣтьми... Иногда на меня находитъ отчаяніе. Рѣшительно ничего не понимаю: кто правъ, кто виноватъ; но, очевидно, тутъ виноватый есть... и этотъ виноватый, вѣроятно, я. Что я просмотрѣла, что испортила—не знаю. Я знаю только одно: что у меня была цѣль жизни—дѣти, а теперь оказывается, что я пришла къ совершенно инымъ результатамъ, чѣмъ тѣ, которыхъ добивалась. Я въ положеніи курицы, которая думала вывести цыплятъ... что я говорю! орлять... вотъ что я думала, и вдругъ оказалось Богъ знаетъ что...“ — „Но въ чемъ-же дѣло?“ — „Сама не знаю!“ — „Однако,

какъ-же это, что такое? — „Да просто я пришла къ тому заключенію, что я или совсѣмъ дура, ничего не понимаю, или что мать не можетъ, не должна быть воспитательницей своихъ дѣтей. На это должны быть специалисты... нужна другая обстановка: общественная жизнь, школа, что-ли! Однимъ словомъ, совсѣмъ не то, что мы можемъ имъ дать. А мать, потому только, что она мать, не можетъ, въ особенности если она страстно относится къ дѣлу. Вы знаете: охота смертная, да участь горькая“. — „Однако, мы видимъ много примѣровъ...“ — „Чтобы мать, добросовѣстная, умная женщина нашего времени... нашего злосчастнаго круга сказала вамъ, что она довольна результатами своего воспитанія, — не вѣрю! Или она вретъ, или сама ничего не понимаетъ...“

— Нѣтъ... вотъ madame Doppelmейеръ...

— Нѣмка?.. вы-бы такъ и сказали: про нѣмокъ я ничего не говорю и про такихъ женщинъ, „которыя похожи на нѣмокъ... Тѣ, можетъ быть, и знаютъ, гдѣ раки зимуютъ. Онѣ и могутъ. Видите-ли, онѣ имѣютъ преимущество передъ нами. Она знаетъ навѣрно, что она дѣлаетъ. У нея есть три-четыре истины, она и стоитъ на нихъ. Учись хорошо, какъ показано въ програмѣ, одобренной министерствомъ народнаго просвѣщенія; не расточай, а лучше сберегай; не пачкай платья, умѣй быть пріятнымъ... Почему я знаю, чему она ихъ учить? Но чему она ихъ учить, того, конечно, достигаетъ“... — „Ну, а мы-то почему не можемъ добиться того, чего хотимъ?“ — „Ахъ, Боже мой! Потому, что мы вопросъ ставимъ шире. Она хочетъ воспитать практическаго человѣка, она сама практическая, — ну, и воспитываетъ, конечно... *А мы не знаемъ сами, чего хотимъ. Мы всего хотимъ!*“ — „Да! мы всего хотимъ, мы хотимъ нашей кружечкой зачерпнуть весь океанъ“, сказала она со вздохомъ. — „Да, именно кружечкой! Что мы знаемъ? Чего мы сами стоимъ? Ничего!.. *Въ насъ вѣдь нѣтъ ничего такого настоящаго, цѣльнаго, опредѣленнаго...* У насъ только стремленія, побужденія, желанія, ощущенія, — больше ничего, и все это мы принимаемъ за нѣчто. А знанія настоящаго, такого, которое необходимо, когда берешь на себя воспитать живую человѣческую душу, человѣка, полезнаго себѣ и другимъ, — вотъ этого знанія у насъ нѣтъ. Мы сами ходимъ чуть-ли не ощупью, безпрестанно спотыкаемся, *сами мы слѣпы, глухи, глухи, сами рабы до кончика ногтей, а хотимъ прокладывать путь свободному, новому человѣку!*“ Она сильно была взволнована. На глазахъ у нея блестѣли слезы. Видно было, что она выкрикивала съ болью свою мучительную мысль. „Знаете-ли, къ какому еще я пришла результату? Такъ-какъ условія, въ которыхъ мы всѣ существуемъ въ настоящее время, ненормальны, невозможны, такъ-какъ вездѣ, если не ложь,

то потворство лжи, разладъ, компромисы, независящія причины,— значить, *недѣ и искать среды, которая была-бы совсѣмъ подходящею* и которую мы желали-бы для нашихъ дѣтей... Однимъ словомъ, нѣтъ такой среды, въ которой мы не мали-бы имъ, не *вносили-бы въ ихъ душу разлада!*"

О своихъ дѣтяхъ разочарованная мать говорить: „Я не знаю, какіе они будутъ люди, но теперь въ нашемъ ребенкѣ ничего нѣтъ самостоятельнаго: ни мысли, ни чувства,—*все мы ему преподнесли раньше даже, чѣмъ могъ быть запросъ.* Ничего онъ на своихъ плечахъ не вынесъ, ничего не прочувствовалъ; онъ пользуется готовыми мыслями, которыя даже зачастую ничего ему не говорятъ. Обернули мы ему жизнь мякишемъ и искусственно играемъ на его сердцѣ разные этюды по своему усмотрѣнію. Гдѣ-же тутъ явиться энергичному лицу съ самостоятельной мыслью? Такихъ людей нельзя искусственно фабриковать: они сами вырабатываются. А мы своихъ дѣтей обезсиливаемъ воспитаніемъ... Воспитаніе, которое мы давали дѣтямъ, было неровное, чуждое результатовъ, добытыхъ и жизнью, и знаніемъ. *Наше общественное неустройство и на воспитаніе дѣтей дѣйствовало разрушающимъ образомъ.* Ну, что, кажется, свобода? Что можетъ быть лучше свободы? А я и на свободѣ обожглась; мнѣ она дала дурные результаты... Свобода должна идти рука объ руку съ самостоятельностью, съ стянїемъ на своихъ ногахъ и отвѣтственностью за свои поступки. Но возможно-ли это на практикѣ? Свобода истрачивается на мелочахъ, въ пустякахъ, а иногда и дурно истрачивается. Выработается этимъ путемъ своеволие, самодурство, а не свобода... Мою свободу и свободу сестры Маши дѣти всегда попирали ногами. Мы были имъ вѣрные слуги. Онѣ многое не выучились уважать. Онѣ не уважаютъ чужого труда и, представьте, онѣ—барышни въ полномъ смыслѣ слова. Удивительное дѣло! Я ведрами, такъ-сказать, лила въ нихъ демократическіе принципы, а онѣ больше аристократки, чѣмъ демократки“.

Эти выстрадавныя горькимъ опытомъ материнскія сѣтованія какъ нельзя лучше выражаютъ всю безтолковую сумятицу нашего домашняго воспитанія и наглядно доказываютъ, что только въ нормально-устроенной общественной средѣ становится возможнымъ рациональное воспитаніе. Безъ этого-же существеннаго условія, никакія педагогическія затѣи, никакія модныя и немодныя теоріи не приведутъ ни къ чему путному, такъ-какъ не жизнь подчиняется школѣ, а школа жизни.

Живописная Россія. Отечество наше въ его земельномъ, историческомъ, племенномъ, экономическомъ и бытовомъ отношеніяхъ. Тевсть извѣстнѣйшихъ русскихъ писателей подъ редакціей П. П. Семенова. Изд. Вольфа. Вып. I и II. Спб. 1879.

Въ своей рекламѣ объ этой книгѣ книгопродавецъ Вольфъ говоритъ, что мысль объ изданіи ея возникла у него уже много лѣтъ назадъ, можетъ быть, еще въ то время, когда Булгаринъ издавалъ „Россію“, украденную имъ у Иванова, а Тентентниковъ хотѣлъ „описать Россію во всѣхъ отношеніяхъ“. Долго готовился г. Вольфъ къ трудному подвигу изданія; наконецъ, оно состоялось, и издатель взываетъ къ патриотизму россиянь, прося ихъ поддержки предиріятію, полезному Россіи вообще и небезполезному карману Вольфа въ частности. „Русское общество,—говоритъ онъ,— на всякое дѣло, клонившееся къ возвеличенію нашей родины, было всегда отзывчиво; не разъ представлялись ему случаи доказывать, насколько дорого ему его отечество, насколько слава Россіи связана съ его жизнью. Настоящее изданіе имѣетъ цѣлью представить Россію на всемъ ея пространствѣ, со всѣми богатствами и красотами ея природы, со всѣми задатками ея силы и могущества. Показать Русь въ этомъ видѣ — есть дѣло патриотизма, дѣло дорогое для каждаго русскаго. Инициативу этого патриотическаго дѣла мы приняли на себя, но чувствуемъ, что если на нашъ зовъ не откликнется все русское общество, всѣ истинно-русскія сердца въ палатахъ и въ хатахъ, въ городахъ и деревняхъ, всѣ, кому дорога слава нашей родины, то предиріятіе наше должно будетъ, за слабосиліемъ одного человѣка, не достигъ той степени полноты и художественности выполненія, которыя мы предначертали себѣ заранѣе. Только дружная поддержка со стороны публики, могущая выразиться какъ въ пополненіи имѣющагося у насъ матеріала, такъ и въ возможно-усиленной подпискѣ на изданіе, дабы, хотя отчасти, возмѣстить огромныя издержки, сдѣланныя уже нами и предстоящія еще впереди, — можетъ помочь намъ довести начатое дѣло въ предположенныхъ нами размѣрахъ, съ должною полнотою и безукоризненностію содержанія до конца“.

По двумъ первымъ выпускамъ трудно сказать, насколько изданіе г. Вольфа достигнетъ своей главной цѣли—„возвеличенія нашей родины“, но несомнѣнно, что оно „преузорчато преукраситъ“ ее рисунками Каразина и другихъ „лучшихъ художниковъ“. Гра-

вюры вообще очень хороши, но большая часть рисунковъ сочинена словно для балета, слишкомъ ужъ эффектно и пригомъ грубо-эффектно. Вотъ, на примѣръ, „Охота съ рогатиной“: дремучій лѣсъ, свѣтъ, огромный медвѣдь и мужикъ, поддѣвшаго его на рогатину, а позади мужика мальчикъ бѣжитъ двухъ-трехъ, тоже наступающій на медвѣдя съ поднятымъ топоромъ! Еще эффектнѣе „Полярное сіяніе“ и „Шкуна, затертая льдами“. Г. Каразинъ сочиняетъ виды природы Ледовитаго океана такъ-же легко, какъ сочинялъ онъ виды Африки, иллюстрируя путешествіе Костенко. Мы говоримъ о сочиненіи, потому что г. Каразинъ никогда не бывалъ ни въ Африкѣ, ни на крайнемъ сѣверѣ.

Текстъ „Живописной Россіи“ тоже, кажется, будетъ поддѣлать иллюстраціямъ г. Каразина. Конечно, статьи, обѣщанныя гг. Забѣлинымъ, Семеновымъ и Потанинымъ, будутъ содержательны и интересны, но большую часть статей сочиняютъ такіе „известнѣйшіе писатели“, какъ Мережковскій, Охочинскій, Барановскій, Ивановскій, Киркоръ, Ю. Кузнецовъ, Малаховъ, Оленицынъ, С. Смирновъ, Старицкій и т. д. Что это за господа, откуда они появились и какъ попали въ „известнѣйшіе писатели“ — известно одному Вольфу. Изъ писателей-же, дѣйствительно известныхъ съ той или другой стороны, главная работа по этому изданію поручена гг. Максимову, Мордовцеву, Немировичу-Данченко, Ключникову, Лѣскову и т. д. Подборъ болѣе или менѣе одношерстный, а первые два выпуска, начатыя Максимовымъ, конченныя Данченко и иллюстрированныя, главнымъ образомъ, Каразинымъ, представляютъ изъ себя нѣчто вполне однородное, цѣлостное, хотя и годное болѣе для балета, чѣмъ „къ возвеличенію нашей родины“.

Во-первыхъ, и г. Максимовъ, и г. Данченко до страсти любить образныя выраженія, заковыристыя обороты, самодѣльную оригинальную фразеологию, съ помощью которыхъ такъ легко прикрыть передъ простодушнымъ читателемъ и скудость знаній, и беспорядочность изложенія. Г. Максимовъ, на примѣръ, вмѣсто того чтобы сказать: „здѣсь водятся рябчики“, пишетъ: „тамъ родился живой представитель и характерный типъ въ пернатомъ царствѣ лѣсного бродяги, постоянно мѣняющаго мѣсто и непривычнаго къ осѣдлой жизни. Это рябчикъ, одинъ изъ видныхъ и благодарныхъ кормильцевъ голоднаго промышленнаго лѣсного люда“ (стр. 10). „Одиночество, къ которому стремится въ лѣсу каждое дерево (??), постоянно рисуетъ лѣсъ какъ-бы осиротѣлымъ, какъ-будто прежніе товарищи покинули *ихъ*“ (стр. 19). У г. Данченко тоже есть эта слабость къ заковыристости, но, по крайней мѣрѣ, всегда можно понять, что хочетъ сказать онъ;

станетъ въ позу, скрестить на груди руки, воскликнетъ: „непроглядная глушь!“ — и пошелъ, и пошелъ (стр. 61). Тутъ онъ и „ухомъ слышитъ, какъ трава растетъ“ (стр. 64); тутъ и „точно пролито расплавленное золото, какъ жаръ горитъ спѣлая морошка“ (стр. 65); тутъ и озера, глубина которыхъ превосходить 70 сажень, а между тѣмъ дно видно „совершенно ясно“ (стр. 66) и т. д. Словомъ, и у г. Максимова, и у г. Данченко — цѣлыя груды цвѣтовъ краснорѣчія, которыми они стараются украсить угрюмую природу крайняго сѣвера, которая подъ перомъ ихъ выходитъ гораздо привлекательнѣе, чѣмъ въ дѣйствительности или въ извѣстной книгѣ Гартвига. Но эти цвѣты краснорѣчія еще не такъ вредятъ достоинству книги, какъ недостаточное знакомство авторовъ съ предметомъ, о которомъ они пишутъ, отсутствие серьезной эрудици и легкомысленная наклонность доходить до всего своимъ умомъ. Г. Данченко, котораго, къ слову, архангельскій статистическій комитетъ еще недавно уличилъ въ лживости его картинъ сѣвера, незнакомъ, какъ видно, даже съ сочиненіями Кастрена и руководится исключительно Максимовымъ, Гофманомъ, Латкинымъ, Иславинымъ, да собственнымъ умомъ, доводящимъ его до измышлений, которыя могутъ вызвать только улыбку у всякаго мало-мальски начитаннаго этнографа. Объясняя, напр., родовыя прозвища самоѣдовъ, онъ говоритъ, что одни изъ нихъ называются *ного-тмссей* отъ *ного*—песецъ, потому что занимаются песцовымъ промысломъ; другіе — *пырерка-логей* отъ *пыре* шука, потому что занимаются пучьимъ промысломъ (стр. 82) и т. д. Неопытный читатель, конечно, повѣритъ и такому объясненію родовыхъ прозвищъ, и тому, что у самоѣдовъ существуетъ специальный „шучій промыселъ“. Еще лучше объясняетъ г. Данченко самоѣдскій обычай класть покойниковъ глазами на западъ: „это значитъ, что жизнь человѣка исчезаетъ, какъ солнце подъ небосклономъ“ (стр. 92). Хотя-бы Тэйлора вы прочитали, г. Данченко, а то съ такими руководителями, какъ гг. Максимовъ, Латкинъ и вашъ собственный разумъ, можно договориться еще не до такой чепухи. Вотъ, напр., что говоритъ г. Максимовъ: „инородцы живутъ въ полномъ порабоженіи могучими силами природы дремучихъ лѣсовъ, которые ихъ обездолили и принизили почти до звѣринаго состоянія. Древесное царство, предназначенное для обезпеченія жизни людей на землѣ и снабженное неисчислимымъ избыткомъ скрытыхъ даровъ и сокровищъ къ увеличенію земныхъ богатствъ, — для лѣсныхъ обитателей финскаго племени превратилось въ царство бѣды и несчастій. Лѣса выразились въ ихъ жизни только враждебными силами несокрушимаго могущества. Они поддерживаютъ жизнь этихъ племенъ лишь самымъ ничтож-

нымъ количествомъ своихъ сокровищъ. По этой причинѣ лѣсные инородцы быстро вырождаются и исчезаютъ съ лица земли цѣлыми племенами“ (стр. 18). Но вѣдь у насъ вырождаются и инородцы горныхъ странъ, и инородцы степей, напр., барабинскіе татары, и инородцы острововъ, алеуты, курильцы и т. д., причемъ-же тутъ лѣса-то? Народная жизнь сѣвера особенно замѣчательна тѣмъ, что въ ней до сихъ поръ удержалась болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, древняя сельская община, описанная въ послѣднее время Лалашемъ, Потанинымъ, Соколовскимъ и т. д. Г. Максимовъ не только ничего не говоритъ о ней, но даже утверждаетъ, что жители „живутъ разбросанно, малыми селеніями, отдѣльными домами, всѣ намѣренно обособляются“ и т. д. (стр. 21). Не говоря ничего объ общинѣ, авторъ зато распространяется о роли, какую играетъ въ ней *большакъ*. „Для своевременнаго совѣта и возможныхъ предостереженій, на случай неожиданныхъ бѣдъ, въ русскихъ земледѣльческихъ общинахъ выродился крупный типъ совѣтчика и охранителя, до сихъ поръ въ великорусскомъ народѣ неисчезающій, подъ особеннымъ именемъ *большака*. За нимъ—вѣковѣчная давность и дѣяніями заслуженное право на уваженіе. Въ каждой общинѣ одному изъ такихъ большаковъ—готовое мѣсто и безусловное послушаніе. Онъ всѣмъ равно дорогой человѣкъ, потому что каждому полезенъ и всякаго превзошелъ умомъ и жизненнымъ опытомъ. За нимъ идутъ туда, куда онъ соблаговолитъ повести; безъ него никто не снимается съ мѣста. Нарождается онъ въ трудолюбивой многочисленной семьѣ; нуждаются въ немъ и цѣлыя общины, составившіяся изъ множества этихъ отдѣльных семей“.

„Выдѣляетъ большака изъ толпы его крѣпкій умъ, изощренный продолжительными наблюденіями надъ мудреною жизнью земледѣльца среди многочисленныхъ враговъ, которыхъ онъ почти всѣхъ знаетъ на память, и противъ каждаго хранить въ запасахъ этой памяти способы обороны и средства отпора. Воздержная жизнь до сѣдыхъ волосъ сохранила ему и эту острую память, и крѣпкое здоровье, которое даетъ ему возможность не отставать отъ другихъ въ работѣ и служить всѣмъ примѣромъ. Строгое отношеніе къ себѣ во всю долгую трудовую жизнь умѣетъ онъ внушать и другимъ. Если иногда требовательность его доходитъ до крайностей въ своей семьѣ, гдѣ тяжела подчасъ его рука и непріятны его ежовыя рукавицы,—на міру онъ благодѣтель и дорогой человѣкъ уже потому, что дѣлиться съ малоопытными своими драгоценными практическими наблюденіями онъ считаетъ священнымъ долгомъ. Для направленія и исправленія земледѣльческихъ работъ у него такой запасъ примѣтъ по-предзнаменованіямъ физической при-

роды и животнаго царства, что общая сумма ихъ составляетъ цѣ-
 лый кодексъ земледѣльческихъ правилъ. Его приговоромъ опредѣ-
 ляется время посѣвовъ и жнитва, сроки сѣнокосовъ и выборъ ля-
 динъ, для рощистей и посѣва. Его послѣднимъ словомъ и руча-
 тельствомъ отдѣляются свои отъ чужихъ, перепутанныя и запан-
 ханныя полевныя межи. По нимъ онъ впереди всѣхъ, для пушаго
 увѣренія, идетъ съ иконой или кускомъ вырѣзаннаго дерна, по-
 ложенными на сѣдой головѣ. Большакъ сказываетъ послѣдній при-
 говоръ и даетъ бесспорное мнѣніе во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ
 всѣ другіе потеряли голову и дошли до безконечныхъ и нераз-
 рѣшимыхъ споровъ. Надъ глубокою, опасною пропастью по пере-
 кинутой съ одного берега на другой тонкой и хрупкой жердочкѣ
 большакъ есть тотъ опытный проводникъ довѣрившихся слѣпыхъ,
 который навѣрное выводитъ на твердое и надежное мѣсто“. (стр.
 39). Но позвольте, г. Максимовъ, вѣдь большакъ возможенъ только
 въ семейной общинѣ, вродѣ сербской задруги, а вы утверждаете,
 что онъ бываетъ во всякой общинѣ, и, обрисовавъ подробно его
 роль, ни слова не говорите, что-же за штука сама-то община. Въ
 головѣ мало-знающаго читателя отъ такого изложенія останется
 только путаница понятій и никакого точнаго представленія о сель-
 ской общинѣ и промышленной артели, которыми характеризуется
 вся жизнь сѣвера. И если слѣдующіе выпуски „Жизнописной Россіи“
 будутъ составлены такъ-же, какъ первые два, то можно смѣло пред-
 сказать, что изданіе это не послужитъ не только „къ возвеличе-
 нію нашего отечества“, но даже и къ утолщенію кармана г. Воль-
 фа. Вотъ развѣ только рисунки вывезутъ, а на гг. Максимова, Дан-
 ченко, Ключникова, Мордовцева плоха надежда.

Путевыя письма, повѣсти, рассказы и наброски А. Н. Молчанова. Спб. 1879.

Кореспондентъ „Новаго Времени“, г. Молчановъ, собралъ въ
 этой миниатюрной книжицѣ разныя произведенія своего пера,
 очень смахивающія на упражненія гимназиста 6—7 класса. Тутъ
 есть рассказы изъ всякаго быта — изъ турецкаго, американскаго,
 болгарскаго, чухонскаго, испанскаго и т. д., — разнообразіе изуми-
 тельное! Видно, что кореспондентъ „Новаго Времени“ видывалъ
 виды и путешествовалъ не менѣе инженернаго Одиссея-Скальков-
 скаго. Но г. Скальковскій обтекалъ вселенную для собственнаго
 удовольствія и чуть-ли даже не на казенные прогоны; онъ сры-

валъ всюду цвѣты удовольствія и вообще вынесъ изъ своихъ вояжей очень свѣтлыя впечатлѣнiя; г.-же Молчановъ, напротивъ, всюду натыкался или на скандалъ, или на ужасную трагедiю, или на „гнѣнiе Запада“. Вотъ, напр., въ Мадридѣ, стоитъ среди веселой карнавальнoй толпы.— „Ты одинъ? У тебя нѣтъ дамы?“ слышу я чей-то голосъ сзади. Я оглядываюсь и вижу черную бархатную маску, изъ-подъ которой блестятъ два глаза, какъ два дорогихъ брилiанта.— „Ты иностранецъ?“ спрашиваетъ она меня.— Да, отвѣчаю я.— „Ахъ, обними меня“. Грѣшный человѣкъ, сознаюсъ: я весьма охотно разставилъ свои руки, но, увы, красавица увернулась изъ-подъ нихъ и мигомъ исчезла. Веселый хохотъ кругомъ тотчасъ объяснилъ мнѣ, что предложенiе было не болѣе какъ шутка надъ чужеземцемъ“... (стр. 17). Понесло Молчанова, неизвѣстно зачѣмъ, въ Соединенные Штаты, и на эмигрантскомъ кораблѣ испыталъ онъ всѣ ужасы дантова ада. Здѣсь онъ вполне убѣдился, что Европа, а вслѣдъ за нею и Америка, сгнили заживо, такъ-какъ „Соединенные Штаты, какъ Европа, поставили достоинство человѣка ниже капитала и подчиняють перваго послѣднему“ (стр. 31). Правда, и у насъ бываетъ тоже; вотъ, напримѣръ, подгородный крестьянинъ: „Долгъ богачамъ, монополистамъ-лавочникамъ опуталъ его тяжелыми кандалами. Онъ цѣлый годъ много-много увидить у себя рублей 6 — 10, несмотря на то, что рѣдкому не приходится получить за работу рублей 200 въ годъ: ломка плиты лѣтомъ и осенью, вывозка плиты зимой на заводъ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ села, даютъ ему постоянно хорошiй заработокъ, но дѣло въ томъ, что онъ получаетъ этотъ заработокъ съѣстными припасами отъ лавочниковъ, которые такъ ловко его поддѣли, что андреевецъ все, что ни работаетъ на нихъ, работаетъ за долгъ. Разъ попаветъ въ эту колею, онъ уже не въ состоянiи выйти изъ нея цѣлую жизнь, потому что долги его постепенно растутъ, и сколько не зарабатывай — ихъ никогда не покроешь. Лавочники назначаютъ ему плату, какую хотять, рассчитываютъ за товаръ по своему произволу, и все это дѣлается такъ гласно, такъ явно, что ужасъ беретъ“.

„Единственное начальство села—голова могъ-бы, конечно, сдержать это зло, но онъ тоже выбранъ изъ лавочниковъ-богачей, какъ это почти всюду дѣлается. Понятно, слѣдовательно, что онъ держитъ руку своихъ сотоварищей по ремеслу и даже помогаетъ имъ во всемъ, потому что это ему тоже выгодно“ (стр. 105). Но вѣдь стоитъ только выбрать другого голову, и эта кабала, это подчиненiе человѣка капиталу исчезнетъ само собою...

На 12-ти печатныхъ листахъ г. Молчановъ помѣстилъ 14 рассказовъ и продаетъ книжку за 60 коп., а 1 рассказъ даже нѣсколь-

ко дешевле пятака. Положимъ, что всѣ эти рассказы не имѣютъ интересности даже „Живописной Россіи“ Вольфа, но авторъ можетъ надѣяться на патріотизмъ публики, которая, вѣроятно, не пожалѣетъ шести гривенъ и раскупитъ книжку, тоже въ известной степени имѣющую цѣлью „возвеличеніе нашего отечества“.

Въ царствѣ мертвыхъ (къ вопросу о сожиганіи труповъ).

И. В. Алферьевъ. Спб., 1879.

„Исторія всѣхъ кладбищъ одинакова“, повѣствуетъ г. Алферьевъ въ четвертой главѣ своей крошечной брошюрки. Сначала они устраиваются въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ города, но, разумѣется, не очень далеко отъ городской черты, „чтобы избѣгнуть неудобствъ при доставленіи мертвецовъ въ ихъ послѣднее жилище“. Затѣмъ городъ начинаетъ разрастаться. „Разстояніе между нимъ и кладбищемъ все сокращается и сокращается, пока, наконецъ, они не сливаются въ одно цѣлое. Мало того. Городъ продолжаетъ расти, захватываетъ кладбищенскія земли, и мы видимъ кладбище уже въ самомъ городѣ, а нерѣдко и въ центрѣ его. Кто, путешествуя по Европѣ, не замѣчалъ этого явленія во многихъ, даже незначительныхъ городахъ? И это неизбѣжно должно случиться съ каждымъ кладбищемъ, по той простой причинѣ, что людямъ нужна земля. Мы видимъ, на примѣръ, что лондонскія кладбища Brompton и Kensal-Green, Norwood и другія не очень еще давно были въ открытомъ полѣ, а теперь составляютъ центръ постоянно прибывающаго населенія. Единбургское кладбище S. Cuthbert находится также въ самомъ центрѣ старой части города и т. д. Когда кладбища окружены такимъ образомъ, то онѣ теряютъ всякую возможность расширяться. Приобрѣтеніе новыхъ мѣстъ для устройства кладбищъ или для расширенія тѣхъ, которыя находятся еще внѣ городской черты, становится, съ разрастаніемъ города и увеличеніемъ народонаселенія, все затруднительнѣе. Земля дорожаетъ, каждый клочекъ цѣнится очень высоко: живымъ нужна земля, и они не уступаютъ ее мертвымъ. Они, конечно, правы, но вотъ ужасные результаты, къ которымъ приводитъ этотъ порядокъ вещей. Кладбища быстро переполняются. Все занято, нѣтъ свободнаго мѣста для новыхъ жертвъ смерти. Благоразуміе и законы воспрепятствуютъ пользоваться кладбищами при такихъ условіяхъ, какъ мѣстами заразъ, но никакое благоразуміе и никакіе законы не могутъ предотвратить то, что неизбѣжно для каждаго

кладбища. Оно переполнено, совсѣмъ переполнено, но погребальныя процесіи безпрерывно тянутся къ нему, и кладбище охотно принимаетъ новыхъ жильцовъ. Но куда-же, спрашивается, оно дѣваетъ ихъ? Вѣдь все уже занято, нѣтъ ни одного свободнаго фута земли! Въ такихъ случаяхъ для кладбищъ начинается періодъ „устройства“,—терминъ, изобрѣтенный могильщиками. Это самый возмутительный періодъ въ исторіи всѣхъ кладбищъ. Въ этомъ отношеніи богатый матеріалъ представляютъ англійскія кладбища, о которыхъ мы и поведемъ рѣчь“.

„Система „устройства“ заключается въ томъ, что старый жилище переполненнаго кладбища подвергается остракизму, или, просто говоря, изгоняется, чтобы уступить мѣсто новому. Какія при этомъ производились невѣроятныя вещи, читатель сейчасъ увидитъ. Такъ Валькеръ, одинъ изъ наиболѣе видныхъ изслѣдователей лондонскихъ кладбищъ, рассказываетъ, что когда ему случилось однажды въ Southwark озаботиться вырытіемъ могилы, то онъ увидѣлъ, что одинъ трупъ былъ вырытъ и прикрытъ слегка землей. Онъ лежалъ на краю готовой могилы. Это устраивалось мѣсто для слѣдующаго покойника, долженствовавшего прибыть сюда. Дѣйствительно, похоронная процесія не заставила ждать себя, но одинъ изъ носильщиковъ нечаянно наступилъ на слегка прикрытый пескомъ трупъ и едва не упалъ въ могилу. Тотъ-же Валькеръ рассказываетъ, что одна молодая женщина пришла на могилу недавно похороненной матери, но могильщики успѣли уже „устроиться“ здѣсь, и бѣдная дѣвушка узнаетъ въ кучѣ мусора руку своей матери. Гависъ, въ сочиненіи своемъ „Ashes to Ashes“, приводитъ слѣдующій примѣръ изъ прежняго времени относительно „устройства“. Система эта достигла полнаго своего развитія въ похоронномъ склепѣ Епонкарелл’ы на Clement Lane въ Лондонѣ. Склепъ имѣлъ 59 футовъ и 3 дюйма въ длину и 28 футовъ 8 дюйм. въ ширину. Если мы примемъ, что для одного человѣка нужно, среднимъ числомъ, девять футовъ, то приблизительно двѣсти труповъ переполняютъ все мѣсто. Но переполнить его въ шесть разъ, такъ чтобы гробы лежали въ шесть рядовъ одни надъ другими, — это уже самое крайнее, что можно допустить, и тогда тамъ можетъ помѣститься никакъ не болѣе 1,200 покойниковъ. Оказывается, однако, что въ различное время тамъ собиралось, вмѣсто 1,200 труповъ, отъ 10 до 12 тысячъ. Какъ-же, спрашивается, они могли помѣститься здѣсь? Ясно, что многія тысячи были отданы на жертву системы „устройства“. (Стр. 21, 22, 23, 24.)

Такимъ образомъ, въ чертѣ или даже въ центрѣ города образуются обширныя пространства земли, совершенно переполненной

гниющими трупами и до послѣдней степени насыщенной продуктами ихъ разложенія. А между тѣмъ „трупный ядъ—самый ужасный, что небезызвѣстно каждому хирургу“, продолжаетъ г. Алферьевъ свое мрачное повѣствованіе. „Вотъ нѣсколько свидѣтельствъ относительно вліянія кладбищъ на могильщиковъ. Д-ръ Валькеръ говоритъ, что всѣ могильщики, съ которыми ему приходилось когда-либо говорить, утверждали, что ни одинъ изъ нихъ не можетъ работать безнаказанно для здоровья; многіе, при выкапываніи могилъ, лишаются сознанія. Въ 1852 году въ Парижѣ умерло три могильщика отъ вдыханія газовъ при вскрытіи гробовъ. На подобные-же случаи смерти указываетъ Патисье. Шадвикъ утверждаетъ, что работа могильщиковъ уноситъ треть средней продолжительности жизни. Только чрезвычайно сильные организмы могутъ выдержать этотъ трудъ, да и тѣ становятся, по необходимости, горькими пьяницами. Самые ужасные газы заключаются въ свинцовыхъ гробахъ. Такъ Гависъ рассказываетъ, что когда открыли гробъ Франца I, въ концѣ минувшаго столѣтія, — гробъ, оставшійся закупореннымъ 250 лѣтъ, — то газы были до того ужасны, что всѣ люди, занятые этою операціею, разбѣжались. Приведенные примѣры относятся къ дѣйствию сконцентрированныхъ газовъ, обличающихъ свое присутствіе смердящимъ запахомъ. Но отсутствіе запаха на кладбищахъ нисколько не служитъ доказательствомъ ихъ безвредности. Запаха можетъ и не быть, а вредные газы все-таки насыщаютъ воздухъ, и мы совершенно нечувствительно вдыхаемъ ихъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, докторъ Сельми въ Мантуа производилъ на нѣкоторыхъ кладбищахъ весьма интересныя наблюденія. Въ тихую, безвѣтренную погоду онъ собиралъ въ бутылки воздухъ кладбищъ; подвергнувъ его анализу, онъ нашелъ въ немъ присутствіе органическихъ тѣлъ, которыя онъ называетъ серта рпеиша. Эти органическія тѣльца, данныя въ растворѣ голубю, развили въ птицѣ гнилую лихорадку, и она на третій день околѣла. Воздухъ, какъ и вода, можетъ казаться совершенно чистымъ, заключая въ себѣ разрушительные для здоровья элементы. Мы вдыхаемъ первый и пьемъ вторую, не подозрѣвая, что отравляемъ себя. Кладбища отравляютъ не только воздухъ, но и воду, распространяя эпидеміи и заразительныя болѣзни. Люди часто не справляются съ благоразуміемъ и роютъ колодцы близь самыхъ кладбищъ или на мѣстахъ, имѣющихъ низкій, сравнительно съ ними, уровень. Особенно это часто случается въ деревняхъ, гдѣ люди менѣе всего понимаютъ, что творять. Д-ръ Піетра Санта утверждаетъ, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ, страшная эпидемія вырвала многочисленныя жертвы въ деревняхъ Ротонделла и Боллита; причиною ея была вода,

сбѣгавшая въ колодцы съ кладбища, устроеннаго на сосѣдней горѣ. Въ Лейчестерѣ нашли, что колодезныя воды имѣютъ гнилой вкусъ, а въ Версалѣ колодцы около церкви св. Людовика издавали страшный запахъ. Во Флоренціи, въ самомъ центрѣ кладбища С.-Миніато, колодезь даже провалился. Дюкамъ открылъ въ Парижѣ источникъ, который протекалъ черезъ кладбища и имѣлъ весьма рѣзкій вкусъ. Такой источникъ, т. е. зараженный, можно найти на самомъ далекомъ разстояніи отъ самыхъ кладбищъ. Д-ръ Паппенгеймъ положительно утверждаетъ, что источники, насыщенные органическими веществами, встрѣчаются иногда въ весьма дальнихъ мѣстахъ и на большомъ разстояніи отъ мѣстъ зараженія. Такихъ примѣровъ можно было-бы привести множество; но вопросъ о вредѣ кладбищъ отчасти разработанъ учеными, и намъ нечего долго останавливаться на немъ". (Стр. 38, 39, 40).

Факты не особенно успокоительные, но нашъ путеводитель по „царству мертвыхъ“ не довольствуется вышеприведенными картинами. Онъ рассказываетъ, что, при „устройваніи“ кладбищъ, сплошь и рядомъ изъ мѣста „вѣчнаго успокоенія“ вырываются трупы, еще не совсѣмъ разложившіеся, и сваливаются въ одну общую кучу; что въ Англіи кости покойниковъ пересылаются цѣлыми обозами на мельницы, гдѣ и перемалываются въ порошокъ, идущій на удобреніе полей; что гробы разламываются и продаются могильщиками на топливо; что могилы богатыхъ людей, погребаемыхъ съ какими-нибудь мало-мальски цѣнными вещами, безпрестанно разграбляются; что, наконецъ, при теперешнемъ способѣ погребенія очень нерѣдки случаи зарыванія въ землю живыхъ людей, находящихся въ летаргическомъ снѣ... Описание нѣкоторыхъ изъ этихъ печальныхъ случаевъ, какъ наиболѣе эффектное и, можетъ быть, самое „убѣдительное“ для большинства читателей, г. Алферьевъ искусно приберегаетъ къ самому концу своихъ доводовъ противъ преданія умершихъ землѣ и затѣмъ подводитъ итоги всему сказанному имъ. „Если мы, такимъ образомъ, взглянемъ на плоды существующаго въ Европѣ способа погребенія, — говоритъ онъ, — то должны будемъ убѣдиться, что онъ, во-первыхъ, нисколько не удовлетворяетъ чувству справедливости, во-вторыхъ, исключаетъ всякую возможность почитанія праха усопшихъ, въ-третьихъ, безусловно вреденъ для народнаго здравія, въ-четвертыхъ, даетъ поводы къ многочисленнымъ злоупотребленіямъ, деморализирующѣмъ общество, въ-пятыхъ, по своей относительной дороговизнѣ, ложится на недостаточный классъ тяжкимъ бременемъ и, наконецъ, въ-шестыхъ, представляетъ опасность, вызывая, вслѣдствіе ошибки или небрежности, печальные случаи преждевременной и ужасной смерти“ (Стр. 45).

Что-же, однако, дѣлать въ виду всего этого? Фаны, — племя, обитающее въ средней Африкѣ, — съѣдаютъ своимъ мертвецовъ, — рассказываетъ г. Алферьевъ, перебирая различные существующіе и существовавшіе способы „удаленія мертвецовъ“; — но, разумѣется, эта система врядъ-ли можетъ быть принята въ настоящее время, хотя не дальше, какъ лѣтъ пять назадъ, въ Парижѣ былъ чудакъ, пропагандировавшій ее съ увлеченіемъ, достойнымъ лучшей участи. „Огнепоклонники насаживаютъ трупы на концы высокихъ шестовъ и выставляютъ ихъ на съѣденіе птицамъ, а кафры бросаютъ трупы въ какое-нибудь уединенное мѣсто, на жертву волкамъ и шакаламъ“; но и эти способы, понятное дѣло, непримѣнимы въ наше просвѣщенное время, когда мертвецовъ несравненно больше, чѣмъ волковъ, шакаловъ и птицъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ люди опускаютъ своихъ умершихъ ближнихъ въ море, по эта система, хотя она и нравится г. Алферьеву, тоже не вездѣ доступна. Египтяне бальзамировали покойниковъ, но и эту идею г. Алферьевъ не считаетъ счастливою идеею, хотя-бы уже по одному тому, что, при ея примѣненіи, міръ довольно скоро наполнился-бы муміями, и мертвые положительно вытѣснили-бы изъ него живыхъ. Наконецъ, древніе греки и римляне просто сожигали трупы, — и этому-то способу г. Алферьевъ и отдастъ въ-концѣ-концовъ всѣ свои симпатіи, какъ „единственно-разумному и возможному исходу изъ того печальнаго положенія, въ которое человечество впало по собственной своей винѣ“.

На основаніи опытовъ, производившихся надъ сожиганіемъ труновъ въ разныхъ уголкахъ Европы, преимущественно въ Италіи, г. Алферьевъ рекомендуетъ для этого процесса печь Сименса, какъ наилучшую изъ всѣхъ, изобрѣтенныхъ для этой цѣли. „Она состоитъ: изъ генератора, въ которомъ уголь или дрова, отдѣляющія газъ, соединяются въ извѣстной мѣрѣ съ воздухомъ; изъ регенератора, четырехъ-угольной камеры, перегороженной кирпичными стѣнками, съ пробурованными отверстиями для принятія газа въ высокой температурѣ, и, наконецъ, изъ калефактора, составляющаго собственно мѣсто для помѣщенія трупа. Эта послѣдняя камера наполняется газомъ и воздухомъ въ температурѣ 700° Фаренгейта. Она заключаетъ въ себѣ цилиндрической сосудъ семи футовъ длины и 5—8 футовъ въ діаметрѣ. Въ этотъ сосудъ заключаются трупъ. Газы, совершающіе сожиганіе, нисколько не портятъ внѣшняго воздуха. Въ этомъ отношеніи сдѣланы весьма рациональныя техническія приспособленія. Проходя чрезъ тысячи раскаленныхъ кирпичей, они вполне очищаются, такъ-что изъ трубы печи Сименса не выходитъ ни одного облачка. Весь про-

цесъ не представляетъ ничего непріятнаго; нѣтъ ни запаха, ни дыма. На сожиганіе потребно около пятидесяти минутъ“.
(Стр. 50.)

По прошествіи этого времени, отъ трупa остается всего только нѣсколько фунтовъ чистаго пепла, „безъ малѣйшихъ признаковъ твердыхъ или мягкихъ частицъ“. Этотъ пепелъ будетъ собираться въ особыя урны. Для храненія урнъ, конечно, тоже потребуются специально для этого отведенныя пространства земли, — кладбища, — но они будутъ уже совершенно безвредны и займутъ очень немного мѣста, въ особенности если ихъ устраивать въ видѣ пирамидъ, какъ проектируетъ нѣкто Гависъ. „Представимъ себѣ такую постройку, сложенную изъ плитъ или камня, такой величины, чтобъ каждый камень служилъ хранилищемъ пепла одного человѣка. Пирамида эта можетъ быть въ 50 футовъ вышины, съ основаніемъ въ 9,801 квадратный футъ. Такимъ образомъ, каждая изъ четырехъ сторонъ будетъ имѣть въ ширину 99 футовъ, а общая вмѣстимость пирамиды составитъ 166,650 кубическихъ футовъ. Если мы примемъ за норму для сохраненія пепла, какъ взрослога человѣка, такъ и ребенка (что въ данномъ случаѣ безразлично), одинъ футъ, то такая пирамида дастъ мѣсто для 166,650 мертвыхъ. Такая пирамида для небольшого города, гдѣ смертность не превышаетъ въ годъ 1,000 случаевъ (что можно принять для города съ населеніемъ въ 35—40 тысячъ), будетъ служить мѣстомъ храненія пепла въ теченіи 166 лѣтъ. Для Петербурга, напримѣръ, гдѣ ежегодная смертность выражается, приблизительно, въ 20 тысячахъ случаевъ, можно было-бы соорудить вдвое, втрое и даже въ четверо большія пирамиды, по мѣрѣ надобности. Но, еслибы это было признано почему-либо неудобнымъ, непрактичнымъ и проч., а главное, желательно было-бы сохранить погребеніе пепла въ землю, то найдутся и другіе способы устроить послѣднее пристанище. Такое кладбище займетъ очень немного мѣста и будетъ служить на весьма продолжительное время. Допустимъ, что для такого, напримѣръ, города, какъ Петербургъ, будетъ взятъ участокъ земли, площадь котораго равняется 40,000 квадратныхъ сажень; значить, каждая сторона квадрата будетъ составлять протяженіе въ 200 саж., что не превышаетъ, а еще менѣе нынѣ существующихъ кладбищъ. Если мы исключимъ 10,000 квадратныхъ сажень на дороги и возведеніе наружныхъ стѣнъ, то собственно для погребенія будемъ имѣть 30,000 квадратныхъ сажень или 1,470,000 квадратныхъ футовъ. Примемъ, какъ уже это было сдѣлано нами выше, размѣръ мѣста для пепла каждаго сожженного трупа въ одинъ футъ; значить, мы создаемъ, такимъ образомъ, громадное

вмѣстилище для полутора почти миліоновъ умершихъ. Подобное кладбище, не говоря уже о томъ, что оно совершенно безвредно для общественнаго здоровья, даже и въ томъ случаѣ, еслибы находилось въ самомъ центрѣ города, послужить своимъ цѣлямъ 75 лѣтъ. Но оно можетъ быть увеличено, безъ расширенія участка земли. Для этого могутъ служить стѣны, въ которыхъ весьма удобно можетъ быть устроено значительное число помѣщеній для урнъ. Но важнѣе всего то обстоятельство, что можно будетъ воспользо-ваться вышеуказаннымъ участкомъ земли не только на протяженіи его, но и въ глубину. Такимъ образомъ, вмѣстимость подобнаго кладбища можетъ быть увеличена до 20 разъ. Мы не вдаемся въ дальнѣйшія подробности, такъ-какъ въ данную минуту онѣ не важны; мы желаемъ только указать на возможность сохранить живымъ ту землю, которая нынѣ бесполезно похищается мертвыми“ (Стр. 66, 67 и 68).

Изъ всего этого неотразимо слѣдуетъ, что, какъ только мы обратимся отъ теперешняго способа погребенія умершихъ къ ихъ сожиганію, то и земли у насъ будетъ больше, и исчезнетъ „наибольшее препятствіе для осуществленія дѣла оздоровленія городовъ“, и воздухъ вокругъ насъ будетъ чистый, и вода въ нашихъ рѣкахъ потечетъ ничѣмъ не отравленная, и, помимо всего этого, у насъ быстро возникнутъ еще свои собственныя пирамиды... Перспектива воистину блестящая! Она до такой степени прельстила нѣкоторыхъ обывателей, прочитавшихъ произведеніе г. Алферьева, что они обратились къ автору съ запросомъ: отчего-бы это „всѣмъ правительствамъ, по крайней мѣрѣ, просвѣщенныхъ странъ, немедленно и обязательно не ввести сожиганіе труповъ?“ Именно такъ выразился нѣкто г. Угликъ. „Гдѣ не подѣйствовали-бы убѣжденія, тамъ очень хорошо (!) могла-бы подѣйствовать сила, лишь-бы цѣль была достигнута“, — пишетъ онъ въ своемъ письмѣ къ г. Алферьеву и продолжаетъ далѣе: „еслибъ только послѣдовало распоряженіе правительства о сожиганіи труповъ, я торжественно заявляю, что всѣми силами предамся пропагандированію этого способа удаленія мертвыхъ и, послѣ смерти, отдаю мое тѣло для сожженія. Дѣлаю это добровольно, въ чемъ и свидѣтельствую моею подписью. Л. В. Угликъ. Ключковичи, брестъ-литовскаго уѣзда, гродненской губерніи. 17 февраля 1879 года“.

Г. Угликъ, очевидно, чрезвычайно рѣшительный человекъ, хотя и нѣсколько... дикій. Г. Алферьевъ самъ это видитъ и поэтому даже нѣсколько сурово замѣчаетъ своему слишкомъ фанатическому послѣдователю, что „насиліе — всегда насиліе“, что „оно можетъ только испортить дѣло и помѣшать успѣшному распространенію всякой хорошей идеи“. Г. Алферьевъ желаетъ только того, „что-

бы всѣ правительства оказали ученымъ возможную поддержку и не ставили препятствій для практическихъ опытовъ надъ сожиганіемъ труповъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не дѣлая его на первое время обязательнымъ, не запрещали-бы пользоваться этимъ способомъ удаленія труповъ тѣмъ, которые того пожелаютъ". (Стр. 69.)

Увы, такимъ образомъ, у насъ еще долго и очень долго не будетъ пирамидъ! Въ этомъ вопросѣ, какъ и въ безчисленномъ множествѣ другихъ, мы опять-таки встрѣчаемся съ тою темною, но могучею массою, которая одна держитъ въ своихъ рукахъ всѣ ключи будущаго и дѣлаетъ изъ него то, что *она можетъ*, а вовсе не то, что *мы хотимъ*... Не сегодня—завтра, по всей вѣроятности, и у насъ будутъ производиться опыты надъ сожиганіемъ труповъ; не завтра — послѣ-завтра и у насъ возникнутъ общества сожиганія покойниковъ, подобно существующимъ уже въ Миланѣ... Нѣсколько сотъ или тысячъ людей будутъ ихъ членами и обрекутъ свои тѣла на сожженіе; но масса, та сѣрая масса, которая, главнымъ образомъ, и переполняетъ своими тѣлами современныя кладбища, развѣ она пойдетъ въ эти общества и понесетъ своихъ умершихъ родственниковъ въ эти генераторы и калефакторы? Положимъ, г. Алферьевъ надѣется прельстить ее дешевизною трупосожиганія, но и это совершенно напрасно, потому что и при немъ останутся всѣ тѣ расходы, которые существуютъ теперь: на отпѣваніе, на покупку сосуда для пепла, на приобрѣтеніе мѣста въ пирамидѣ, на перенесеніе урны, на панихиды и проч., и проч., и проч. Положимъ, человѣку, находящемуся въ летаргическомъ снѣ, сгорѣтъ за-живо, можетъ быть, нѣсколько пріятнѣе, чѣмъ быть зарытымъ въ землю за-живо; положимъ, г. Угликъ „всѣми силами предается пропагандированію“ трупосожиганія; положимъ, и г. Алферьевъ съ своей стороны сдѣлаетъ тоже самое,—но какъ только рѣчь заходитъ о пропагандѣ, то вопросъ самъ собою ставится совершенно ясно и просто: эта-ли кладбищенская реформа представляетъ собою самый насущный вопросъ нынѣшняго дня и ей-ли, дѣйствительно, должны посвящать себя тѣ люди, которые жаждутъ чистаго воздуха, какъ въ физической, такъ и въ нравственно-общественной атмосферѣ?..

Конечно, нѣтъ. Только г. Алферьеву, въ его увлеченіи, можетъ казаться, что „наибольшее препятствіе для осуществленія оздоровленія городовъ“ представляютъ собою именно кладбища. Только г. Угликъ можетъ думать, что серта рнеума, найденныя докторомъ Сельми на мантуанскихъ кладбищахъ, являются злѣйшими врагами современнаго человѣчества. Только до крайности наивнымъ людямъ можетъ взбрести въ головы мысль, что стоять лишь повсе-

иѣстно ввести трупосожиганіе, какъ сейчасъ-же и воздухъ станетъ чистымъ, и воды сдѣлаются совершенно безвредными, и вѣкъ людской будетъ продолжительнѣе. Но людямъ, необладающимъ этою младенческою наивностью, стоитъ только оглянуться вокругъ себя, чтобы понять, что вопросъ о сожиганіи труповъ принадлежитъ къ числу тѣхъ праздныхъ вопросовъ, которыхъ не стоитъ и поднимать прежде, чѣмъ не найдутъ себѣ разрѣшенія вопросы насущные и, если можно такъ выразиться, берущіе современное общество за горло. Когда будутъ разрѣшены они, тогда сами собою разрѣшатся и другіе; но покуда челоѣчество не сѣмѣетъ раздѣлаться съ первыми, тогда оно и изъ немудраго процесса сожиганія труповъ ухитрится устроить себѣ такую гадость, которая ничѣмъ не уступитъ современнѣмъ кладбищенскимъ „злоупотребленіямъ“... Казалось-бы, что вѣдь и нынѣшнія кладбища не особенно трудно было устраивать довольно сноснымъ образомъ...

„Предоставьте мертвымъ погребать своихъ мертвецовъ“, г. Алферьевъ! Помогите намъ устроиться съ живыми, и тогда мы уже безъ всякаго труда справимся съ нашими мертвецами.

Наносная бѣда. Историческая повѣсть. Д. Л. Мордовцева. Спб. 1879.

Говорятъ, что бѣды никогда не ходятъ въ одиночку, и поэтому, какъ скоро пришла одна изъ нихъ, то остается только отворять ворота, ибо вслѣдъ за нею не замедлятъ придти и другія. Должно быть, это и въ самомъ дѣлѣ нѣчто вродѣ закона природы. Только-что свалилось на Россію приснопамятное ветлянское бѣдствіе, какъ немедленно вслѣдъ за нимъ проявился въ „Новомъ Времени“ какой-то лихой челоѣкъ и обратился къ братьямъ-писателямъ съ воззваніемъ, чтобы всѣ они сейчасъ-же засѣли за писаніе романовъ, повѣстей и рассказовъ изъ чумныхъ временъ... Почему этому челоѣку показалось, что одной ветлянской чумы для Россіи мало и что на нее необходимо напустить еще чуму литературную, — этого я не знаю, но только на его призывъ въ ту-же минуту откликнулся челоѣкъ, который „вездѣ поспѣлъ“, — г. Мордовцевъ, — и чуть-ли не на другой-же день началъ, при посредничествѣ „Новаго Времени“, насылать на бѣдствующую и безъ того Россію новую бѣду, „Наносную бѣду“. Благодаря Бога, эта бѣда—всего только повѣсть. Положимъ, въ ней все-таки около трехсотъ страницъ, то есть довольно, слишкомъ довольно, чтобы

переполнить чашу терпѣнія благосклонныхъ читателей, но... подумаемъ о томъ, что г. Мордовцеву ровню ничего не стоило-бы сдѣлать изъ „Навальной бѣды“ цѣлый романъ тысячи въ полторы страницъ, и сердечно возблагодаримъ безсмертныхъ боговъ за то, что они во-время остановили руку сего писателя!..

Въ 1182 № „Новаго Времени“ г. Мордовцевъ, по простотѣ своей душевной, самъ заявляетъ, что однимъ изъ своихъ романовъ онъ довелъ до слезъ нѣкоего „нашего историка-художника“. Что мудренаго! Произведенія г. Мордовцева могутъ доводить людей не только до слезъ, до скрежета зубоваго, до бѣшенства, но даже до нервнаго разстройства, до болѣзни, чего добраго—до временнаго умопомраченія... Только, если г. Мордовцевъ гордится этимъ потрясающимъ дѣйствіемъ своихъ произведеній и видитъ въ немъ доказательство мощи своего таланта и силы своей власти надъ людскими сердцами, то это онъ совершенно напрасно вводитъ себя въ прискорбное, хотя и сладостное для него, заблужденіе. Весь секретъ этого дѣйствія заключается единственно въ томъ, что г. Мордовцевъ не рассказываетъ, какъ всѣ другіе писатели, о похожденияхъ своихъ героевъ, не заботится о точномъ изображеніи ихъ характеровъ, не описываетъ тѣ или другія картины и сцены, а съ первыхъ-же строкъ своихъ твореній принимается не то причитать, не то голосить и, во всякомъ случаѣ, вопить самымъ дикимъ, неестественнымъ старческимъ голосомъ... „Эхъ!“, „Охъ!“, „У-гу!“, „Ой!“, „О, мейнъ Готтъ!“ „Спаси Господи люди твоя! Не отврати лицо твое!“ „Тай обридло-жь мени тутъ, Господи!“ голосить онъ на всевозможныхъ языкахъ и потомъ, должно быть для разнообразія, затягиваетъ, ни къ селу, ни къ городу, какую-нибудь похоронную пѣсню: „заной, заной, сердечушко,—эхъ, ретивенькое“! или „подуй, подуй, погодушка,—эхъ, не маленькая“! Или-же:

„На що мени худибонька—
 Буде зъ мене трошки:
 Дадуть мене сажень земли
 Та чотыри дошки.
 Священники, діаконы
 Повелять звонити—
 Тоди объ насъ перестануть
 Люди говорити...“

Понятное-же дѣло, что когда этотъ нелѣпый визгъ тянется по поводу каждой встрѣчной колокольни, каждого вишневаго садика, каждыхъ сѣней, по поводу каждого, съ позволенія сказать, собачьяго хвоста, и тянется часъ, другой, третій, то нѣтъ ничего мудренаго, что какой угодно любознательный „историкъ-художникъ“, № 6, 1879 г.

дожникъ“ будетъ пробранъ не только до слезъ, но, чего добраго, и до умоизступленія...

Въ этомъ-же самомъ тонѣ неустаннаго причитанія написана и „Наносная бѣда“. И въ ней г. Мордовцевъ не можетъ произнести почти ни одного слова, не кривляясь; и въ ней онъ съ первыхъ-же страницъ взбирается на ходули, тужится, надсаживается, чтобы сказать что-нибудь поэффективѣе, и въ этихъ потугахъ договаривается иногда до такихъ эффектовъ, что у слушателей, какъ говорится, вянутъ уши. Напримѣръ, на двадцать-шестой страницѣ „мѣднй, молитвенный звонъ“ у него „въ душѣ растопляется въ елей“. На семьдесятъ-седьмой страницѣ у одной дѣвушки „изъ души искры брызнули“. На сто-двадцать-пятой—эта-же самая особа находитъ въ себѣ сходство „со страдающимъ и воспоминающимъ бревномъ“ сіе страдающее и вспоминающее бревно мнѣ очень понравилось. На сто-семьдесятъ-третьей—гнется, какъ олово... кожевенная торговля... На сто-девяносто-четвертой—появляются лица, „словно обросшія чѣмъ-то мрачнымъ“, и заставляютъ читателей глубоко задумываться надъ вопросомъ: чѣмъ-же бы это такимъ мрачнымъ могли обрости сіи лица?.. На двѣсти-двадцать-первой—описывается, что время шло для несчастныхъ и страдающихъ, „какъ вѣчность, какъ тысящи лѣтъ и тьмы темъ мучительныхъ часовъ“, откуда читатели извлекаютъ смутное представленіе о томъ, что вѣчность, какъ видно, равна нѣсколькимъ тысячамъ лѣтъ, или тьмамъ темъ часовъ... На двѣсти-тридцать-восьмой — г. Мордовцевъ изрекаетъ, что „нѣтъ животнаго живучѣе надежды“, весьма двусмысленно намекая, такимъ образомъ, на то, что надежда есть не что иное, какъ животное... Но больше всего мнѣ понравилась манера г. Мордовцева обращаться со своими героями. Напримѣръ, на страницѣ восемьдесятъ-шестой—одна старушка подходит на улицѣ къ умершему отъ чумы человѣку, котораго она принимаетъ за мертвецки-пьянаго, и только-что начинаетъ укоризненно покачивать головой, какъ г. Мордовцевъ внезапно накидывается на нее и строго говорить ей: „что качаешь! на свою могилу качаешь“!.. Или-же, на страницѣ двѣсти-семьдесятъ-шестой, описывая погребеніе нѣкоторыхъ изъ своихъ героевъ, на гробы которыхъ уже посыпались комья земли, г. Мордовцевъ неожиданно вопрошаетъ: „а слышали тѣ, что тамъ лежатъ подъ гробовыми крышками, этотъ стукъ земли?“ Въ самомъ дѣлѣ, какъ вы полагаете, г. Мордовцевъ: слышать они или не слышать? Вѣдь было-бы до крайности интересно узнать ваше мнѣніе объ этомъ темномъ вопросѣ...

Тщится г. Мордовцевъ въ своей „Наносной бѣдѣ“ живописать характеры, но къ какимъ замысловатымъ приѣмамъ ни прибѣгаетъ онъ для достиженія этой цѣли, она все-таки не дается ему въ

руки. Пробуетъ онъ, напримѣръ, раздѣвать до-нага нѣкоторыхъ изъ своихъ героевъ, причемъ довольно подробно описываетъ тѣло-сложеніе каждаго изъ нихъ,—увы, даже и послѣ этой процедуры они остаются для читателей такими-же таинственными незнакомцами, какими были и до нея. Пробуетъ онъ это-же описаніе тѣло-сложенія изложить малороссійскимъ языкомъ: „ужь и дивчина-же эта Горпина! Черна коса, якъ Горпина йде, по ягодицяхъ бѣе, били щоки мовъ вишнею намазаны, чорны брови на шнурочку, а за пазухою таке, що и не вщипнешь и въ величенную шалку не влизуть“ (стр. 28). Нѣтъ,—читатель только на минуту удивленно раскрываетъ глаза при видѣ этого, столь грандіозно-релефнаго изображенія и потомъ, когда рѣчь заходитъ о Горпинѣ, смутно представляетъ ее себѣ въ видѣ большой-большой черной коровы, у которой „били щоки“... Пробуетъ г. Мордовцевъ изображать другихъ своихъ героевъ въ нѣкотораго рода дѣйствіи, какъ, напримѣръ, главнокомандующаго Москвы, графа Петра Семеновича Салтыкова:

„— Такъ вы, государь мой, утверждаете на томъ, что у меня на Москвѣ моровой язвы не будетъ? обращается графъ къ почтенному, въ богатомъ камзолѣ, гостю съ краснымъ лицомъ и жирнымъ подбородкомъ, сидящему поодаль и слѣдящему глазами за ухаживаньями лакея передъ капризной сукой.

— Утверждаю-сь, ваше сіятельство, увѣренно отвѣчаетъ господинъ съ жирнымъ подбородкомъ.

— А я ужь было за собачекъ моихъ испугался, говоритъ графъ, посыпая себя табакомъ.—Да и по сей часъ, государь мой, я непокоенъ за нихъ... Вотъ у бѣдной Флоры совсѣмъ апетитъ пропалъ — ничего не кушаетъ; боюсь, не занемогла-бы (графъ указываетъ глазами на капризную суку)... А все эти холопы не берегутъ ихъ...

— Да помиуйте, ваше сіятельство, Флора нынче изволили на поваряѣ двухъ рябчиковъ скушать, защищается лакей. — Они не голодны.

— То-то не голодны! Коли что случится — запорю, въ Сибирь сошлю, въ кандалахъ сгною... Такъ не бояться мнѣ за моихъ собачекъ, господинъ докторъ? (это къ господину съ жирнымъ подбородкомъ).

— Не извольте опасаться, ваше сіятельство.

— Моровой язвы нѣту?

— Завѣрительно могу свидѣтельствовать передъ вашимъ сіятельствомъ, что таковой нѣтъ.

Графъ жуетъ губами, посыпаетъ табакомъ жилетъ и что-то припоминаетъ.

— Вспомнилъ... А въ гофшпиталѣ, государь мой, что на Веденскихъ горахъ, гдѣ вмѣстѣ съ язвенными былъ запертъ докторъ Шафонскій?

— Тамъ, ваше сіятельство, болѣзнь прекратилась и гошпиталь сожжена.

— Какъ сожжена, государь мой, кѣмъ? Кто поджигатель?

— Гошпиталь сожжена по приказанію вашего сіятельства.

Графъ въ состояніи почти столбняка... Табакъ сыплется на полъ... Руки дрожать...

— Какъ! Кто смѣлъ?

— Гошпиталь сожжена по высочайшему повелѣнію, ваше сіятельство.

— По высочайшему повелѣнію?.. А-а! забылъ, забылъ, государь мой... старъ становлюсь... Такъ сгорѣла?

— Сгорѣла, ваше сіятельство.

— А поджигателя поймали?

Всѣ молчатъ... Тяжко видѣть развалину... А Флорка все капризничаетъ; лакей въ отчаяннн...

— Такъ моимъ собачкамъ безопасно можно бѣгать по городу, господинъ докторъ?

— Безопасно, ваше сіятельство.

— Благодарю... А поджигатель гофшпитали чтобъ былъ пойманъ! (это къ оберъ-полиціймейстеру).

Оберъ-полиціймейстеръ низко кланяется, чтобы спрятать предательскіе глаза". (Стр. 95, 96, 97).

Выходитъ очевидная, грубая, рѣжущая глаза карикатура. Пробуетъ, наконецъ, г. Мордовцевъ спуститься въ тайники человѣческаго сердца и взять, если ужъ не мытьемъ, такъ катаньемъ, если не образностью, такъ чувствомъ, лиризмомъ, пафосомъ,—выходитъ Богъ знаетъ что... На страницѣ двадцать-первой „молодой сержантъ Рожновъ, Игнаша“, мысленно прощается съ возлюбленною своего сердца „бѣлобрысенкою, курносенкою, прехорошенькою Настею“, и при этомъ думаетъ единственно только о сѣнцахъ, „гдѣ когда-то въ первый разъ они... Эхъ!“ На страницѣ двадцать-седьмой снова: „Настенька, милая, красавица... Что-то она—похорошѣла? Въ сѣнцахъ-бы опять...

Заной, заной, сердечушко,—эхъ, ретивенькое!“

На сорокъ-третьей — въ головѣ Рожнова оказываются опять одни только „сѣнцы, гдѣ въ первый разъ“ и т. д. Наконецъ, на сто-двадцать-седьмой страницѣ г. Мордовцевъ сбрасываетъ покровъ съ эгихъ сѣнецъ, къ которымъ онъ такъ долго готовялся своихъ читателей, и они, изумленные, видятъ, что подъ покровомъ... совсѣмъ пусто...

„А что такое эти „сѣнцы“? Въ сущности—пустяки; но въ чьей-то памяти они являются не пустяками, а чѣмъ-то до того отраднымъ, что при одномъ воспоминаніи объ этихъ темныхъ „сѣнцахъ“, у этихъ, воспоминающихъ о нихъ, какъ-то свѣтлѣетъ на душѣ и жизнь не кажется пустыней“...

„А въ сущности—опять-таки все это пустяки“...

„Какъ-то разъ гости засидѣлись поздно вечеромъ въ палисадникѣ за домикомъ, въ которомъ обитала „курносенькая бѣляночка“, пріятельница и совоспитанница Ларисы. Гости состояли изъ старухи-матери „бѣляночкиной“, изъ самой „бѣляночки“, Ларисы, ея брата Сани и трехъ молодыхъ сержантиковъ. Ночь была лѣтняя, свѣтлая. Сирень такъ хорошо пахла. Въ сосѣднемъ саду такъ, безъ толку, неугомонно почему-то щелкалъ соловей,—вѣрно просто по глупости щелкалъ и вовсе не хорошо щелкалъ, какъ и всѣ соловьи; но всѣмъ почему-то казалось, что онъ хорошо щелкаетъ, по душѣ и по нервамъ щелкаетъ,—и всѣ слушали его, украдкой поглядывая — молодые сержантики на молодыхъ барышень, молодые барышни, съ величайшей осторожностью, на молодыхъ сержантиковъ... Ну, однимъ словомъ, пустяки: молодая глупость и молодое счастье—счастье невѣденія, но такое хорошее это глупое молодое счастье... И соловей глупо щелкаетъ, и сирень глупо пахнетъ, а хорошо всѣмъ... Говорили молодые сержантики о томъ, что скоро война съ турками будетъ, что ихъ, вѣроятно, пошлютъ на войну... Молодые сержантики говорили, а у молодыхъ барышень сердца немножко сжимались — ну, понятно, по глупости“...

„Потомъ молодые сержантики стали прощаться съ молодыми барышнями, уходя изъ палисадника. Всѣмъ нужно было проходить темными „сѣнцами“, — вотъ тутъ-то и являются эти „сѣнцы“... Охъ ужъ эти темныя сѣнцы! Выходя изъ палисадника и вступая въ сѣнцы, одинъ молодой сержантикъ почему-то — конечно, по глупости—все держался около „курносенькой бѣляночки“, а „бѣляночка“ почему-то—опять тоже по глупости—незамѣтно (будто бы незамѣтно?) держалась около этого черномазаго сержантика... Въ сѣнцахъ они нечаянно еще болѣе приблизились другъ къ другу, потому темно, ничего не видать, и — ахъ! нечаянно (конечно, нечаянно, ненарокомъ) руки ихъ встрѣтились въ темнотѣ, и нечаянно, да какъ-то быстро, судорожно пожали одна другую—и только... Вѣдь глупость это, пустяки ужасные; а нѣтъ, для нихъ не пустяки... Между ними не было ни одно еще слово сказано такое, которое показало-бы, что... и такъ далѣе... были только взгляды, метанье искръ, но что такое это метанье издали?—вздорь!.. А тутъ не издали, тутъ руки нечаянно встрѣтились въ темнотѣ, и лапища молодого, но здоровеннаго сержантика по-медвѣжьи сца-

пала пухленькую ручку „бѣляночки“, которая, въ свою очередь, словно лапчочкой котенка пожала сухую, жилистую лапищу сержантика.. Вотъ и все! А поди ты: эти „сѣнцы“ гвоздемъ засѣли въ памяти глупыхъ дѣтей... Подъ рокоть и гулъ ядеръ, подъ свистъ пуль, подъ стоны раненыхъ, тамъ, въ Турціи, молодому сержантику вспоминались эти „сѣнцы“ и это глупое щелканье соловья... Да и „бѣляночекъ“ тоже... Глупыя дѣти“!

„А тамъ—война... И всѣ три сержантика ушли *туда*... куда?— барышни „не знаютъ“, а „только плачуть и вздыхаютъ“: „о, горе намъ! о, горе намъ!“

„А тамъ — пошли въ ходъ имена: Румянцевы да Орловы, Кагуль да Чесма; стономъ стонуть эти имена на Руси... А о сержантикахъ ни слуху, ни духу“...

„Проходитъ лѣто. Проходитъ зима. Наступаетъ весна. Опять „бѣляночка“ съ Ларисой и ея братомъ Саней сидятъ чуднымъ лѣтнимъ вечеромъ въ палисадникѣ; все по-прежнему кругомъ, только нѣтъ молодыхъ сержантиковъ. Такъ-же, какъ и тогда, хорошо пахнетъ цвѣтущая сирень. Такъ-же въ сосѣдномъ саду безъ толку щелкаетъ глупый соловей. А все не то... И „сѣнцы“ тѣ-же остались, и такъ-же, какъ тогда, „бѣляночка“ съ Ларисой проходили черезъ „сѣнцы“. Но уже ничья рука не приблизилась къ рукѣ „бѣляночки“, не пожала ее въ темнотѣ — и щемить, щемить сердце „бѣляночки“! И у Ларисы оно щемить“...

„Опять проходитъ лѣто. Опять проходитъ зима. Опять наступаетъ весна. И снова сирень пахнетъ, снова несносный соловей щелкаетъ, а на душѣ—Господи!—какая тоска, какая смертная тощица! А все почему? По глупости: сержантиковъ нѣтъ... Они тамъ... гдѣ тамъ? — О, проклятая война!“ (Стр. 126, 127, 128, 128).

И такъ далѣе, и такъ далѣе: ни одной характеристической черты, срисованной прямо съ природы, ни одного простого, теплаго, искренняго слова... Временами дѣлается, право, даже больно смотрѣть, какъ человекъ лѣзетъ вонъ изъ кожи, ломается чуть-ли не съ опасностью для своей жизни, вопить до такой степени, что изъ его горла начинаютъ вырываться уже одни только совершенно дикіе звуки, и при всѣхъ этихъ усиліяхъ у него не выходитъ ровно ничего или, еще хуже, выходитъ нѣчто, прямо противоположное тому результату, къ которому онъ стремился. Такъ, къ Амвросію и нѣкому юркому доктору Христіану Христіановичу г. Мордовцевъ видимо старается привлечь всѣ симпатіи своихъ читателей, а между тѣмъ они, упрямые, смотрятъ на этихъ излюбленныхъ его героевъ чѣмъ дальше, тѣмъ подозрительнѣе и не-

довѣрчивѣ. Точно также, несчастный московскій сѣрый людъ, на который обрушивается такая невыносимая масса бѣдствій, г. Мордовцевъ намѣревался, повидимому, изобразить слѣпымъ, невѣжественнымъ и заслуживающимъ всяческаго сочувствія, а между тѣмъ подъ его неуклюжимъ помеломъ этотъ народъ вышелъ невообразимо глупымъ и отвратительнымъ звѣремъ, котораго слѣдуетъ поскорѣ посадить на цѣпь...

Искусное у васъ... перо, г. Мордовцевъ, чрезвычайно искусное!..

КНЯЗЬ БИСМАРКЪ,

ПО ОПИСАНІЮ ЕГО „ЛЮДЕЙ“.

„Графъ Бисмаркъ и его люди за время войны съ Франціей“. По листкамъ дневника составилъ д-ръ М. Бушъ. Переводъ съ нѣмецкаго. 2 части. Спб., 1879 г.

Работѣнїе нѣмца давно уже извѣстно, но едва-ли когда оно выражалось такъ полно и вмѣстѣ такъ комично, какъ въ книгѣ доктора Буша. Этотъ „человѣкъ Бисмарка“ состоялъ при немъ въ качествѣ газетнаго борзописца, обязаннаго сочинять офиціозныя статьи и сообщенія для германской и иностранной прессы, но, кромѣ этихъ прямыхъ обязанностей, онъ былъ у Бисмарка чѣмъ-то вродѣ добровольца-камердинера и съ благоговѣніемъ заносилъ въ свой дневникъ всѣ мелочи, касающіяся его барина и героя. Отправляясь на войну, Бисмаркъ почему-то не взялъ съ собою этого *человѣчка*, и Бушъ уже примирился съ участіемъ слѣдить за войною издали. Пришло извѣстіе о побѣдѣ при Вертѣ, и Бушъ съ радости напился въ ресторани (I, 4). При другихъ обстоятельствахъ, онъ, можетъ быть, не переставалъ-бы пить при полученіи каждой телеграммы о столь частыхъ побѣдахъ его соотечественниковъ, но вдругъ Бисмаркъ потребовалъ его къ себѣ, и Бушъ полетѣлъ. Очувтившись въ центрѣ событій, онъ, однакожь, плохо понималъ, что творится вокругъ него, и по поводу какой-нибудь продиетованной ему Бисмаркомъ статьи или ноты откровенно отмѣчалъ въ дневникѣ: „я съ трудомъ сообразилъ, въ чемъ дѣло“ (стр. 8). За то онъ въ совершенствѣ выполнялъ свою камердинерскую обязанность. Вотъ, напр., „вечеромъ, когда мы сидѣли на скамьѣ, передъ крыльцомъ, къ намъ вышелъ на нѣсколько минутъ министръ. Онъ спросилъ у меня сигару, но надворный совѣтникъ Тальони (шифреръ короля) оказался проворнѣе меня. Жаль, моя сигара была гораздо лучше, чѣмъ его“ (I, 26). Или вотъ Бисмаркъ верхомъ

поскакалъ на поле битвы, а Бушъ, какъ Бобчинскій, „пѣтушкомъ“ побѣжалъ туда-же вслѣдъ за нимъ (80). Когда даже Висмаркъ по вечерамъ гулялъ одинъ, Бушъ секретно „всегда слѣдовалъ за нимъ въ нѣкоторомъ разстояніи“ (стр. 72). Когда-же Висмаркъ бралъ куда-нибудь Буша съ собой, восторгамъ его не было конца. Вотъ, напр., Висмаркъ ѣдетъ слѣдить за ходомъ битвы, и Бушъ просится съ нимъ-же. „Хорошо, въ такомъ случаѣ ѣдемте вмѣстѣ“, смѣясь сказалъ онъ. Пока шефъ прошелся еще на рынокъ, я, совершенно довольный, успѣлъ собрать свою походную сумку, каучуковое пальто и дневникъ, и, когда онъ возвратился и помѣстился въ экипажѣ, то, по знаку его, я сѣлъ рядомъ съ нимъ. Нужно имѣть рѣдкое счастье, чтобы удостоиться подобной чести. Графъ былъ до того очень сообщителенъ. Сначала онъ сѣтовалъ на то, что во время занятій ему часто мѣшаютъ разговоры, которые ведутся за стѣной“. — „Въ особенности нѣкоторые изъ нашихъ господъ имѣютъ ужасно громкіе голоса“. „Я не раздражаюсь, продолжалъ онъ,—обыкновеннымъ шумомъ. Музыка и грохотъ экипажей меня не сбиваютъ, но это случается, когда я ясно могу разобрать каждое слово. Тогда, вдругъ является желаніе узнать, въ чемъ дѣло, и, такимъ образомъ, теряется нить мыслей“. — „Потомъ онъ мнѣ замѣтилъ, что весьма неприлично съ моей стороны отдавать честь офицерамъ. Привѣтствуютъ не министра или союзнаго канцлера, а только генерала, и офицеры могутъ обидѣться, что статскій относить это привѣтствіе къ себѣ“ (стр. 72—73). Малѣйшая неприятность, приключившаяся съ бариномъ, какое-нибудь разстройство желудка приводитъ Буша въ ужасъ: „рано поутру, пошелъ съ Вилищемъ купаться—до выхода министра. Въ половинѣ одиннадцатаго меня позвали къ нему. Онъ спросилъ сначала о моемъ здоровьѣ и не было-ли со мною припадковъ дисентеріи. Онъ дурно себя чувствовалъ въ прошедшую ночь. Графъ и дисентерія! Да хранить Господь его отъ этого! Это было-бы хуже потеряннаго сраженія. Всѣ наши дѣла пришли-бы въ разстройство“... (Стр. 40).

Естественно, что подобный господинъ могъ изобразить Висмарка съ чисто-внѣшней стороны, и Бушъ, дѣйствительно, сообщаетъ мельчайшія подробности объ обстановкѣ графа, его пищѣ, отправленіяхъ его желудка, да и самъ-то Висмаркъ бесѣдовалъ со своими „людьми“ преимущественно о тѣхъ-же матеріяхъ. Довольствуясь въ походѣ самымъ малымъ, Висмаркъ въ то-же время работалъ день и ночь. „Въ то время, какъ въ Версали полковники и майоры иногда располагали цѣлыми амфиладами блестящихъ покоевъ, союзный канцлеръ, впродолженіи пяти мѣсяцевъ, которые мы здѣсь провели, жилъ въ двухъ маленькихъ комнатахъ, изъ

которыхъ одна была вмѣстѣ и рабочимъ кабинетомъ, и спальней, а другая—небольшой и не особенно изящной гостиной и находилась въ нижнемъ этажѣ. Въ бытность нашу въ Клермонъ-анъ-Аргонь, намъ отвели помѣщеніе въ школьномъ домѣ; не оказалось кроватей, и канцлеру пришлось приготовить постель на полу*.

„Въ дорогѣ мы слѣдовали непосредственно за обозомъ короля. Мы выступали, обыкновенно, въ 10 часовъ утра и дѣлали иногда переходы до 60 километровъ. Приходя на ночевку, сейчасъ устраивали бюро, въ которомъ работы всегда было вдоволь, особенно если до насъ доходилъ полевой телеграфъ и канцлеръ посредствомъ его снова дѣлался тѣмъ, чѣмъ онъ всегда былъ въ это время, за исключеніемъ небольшихъ перерывовъ,—центромъ цивилизованнаго европейскаго міра. Даже тамъ, гдѣ останавливались лишь на ночь, онъ держалъ свою свиту до поздняго часа, самъ неустанно трудясь и почти не отрываясь отъ работы. Постоянно сновали фельдъегеря, разсылные приносили и относили письма и телеграммы, чиновники составляли, по указанію своего начальника, ноты, отпуски и назначенія, канцелярія списывала и регистрировала, шифрировала и дешифрировала“ (I, 11). „Помню, рассказывалъ однажды Бисмаркъ послѣ битвы у Кенигсгреца, — я провель цѣлый день на сѣдлѣ, на большой лошади. Я собственно тогда не хотѣлъ ѣхать верхомъ, такъ-какъ лошадь была слишкомъ высока и садиться на нее стоило труда. Но потомъ я все-таки поѣхалъ верхомъ и не раскаиваюсь. Это былъ превосходный конь. Но долгое сидѣніе на сѣдлѣ утомило меня, и сѣдалище мое и ноги мои очень болѣли. Я не ссадилъ съ себя, однако, кожи отъ верховой ѣзды, но когда я потомъ сѣлъ на деревянную скамью и началъ писать, то я чувствовалъ, что будто сижу на чемъ-либо другомъ, на чуждомъ мнѣ предметѣ. Причиною тому была опухоль, образовавшаяся отъ долгой верховой ѣзды. Послѣ Кенигсгреца, мы поздно вечеромъ прибыли въ Горзицъ, торговое мѣстечко. Тамъ оказалось, что мы должны сами себѣ отыскивать квартиры. Но это было легко сказать, но трудно сдѣлать. Дома были заперты; чтобы взломать двери, надобно было воспользоваться услугами пионеровъ,—но эти явятся только около 5-ти часовъ утра.

— При подобныхъ-же обстоятельствахъ ваше превосходительство съумѣли найти въ Гравелотѣ, замѣтилъ Дельбрюкъ.

Я зашелъ въ Горзицѣ, продолжалъ свой рассказъ шефъ, — въ дома три-четыре и, наконецъ, нашелъ открытую дверь. Но когда я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по темной прихожей, я упалъ въ родъ волчьей ямы. Къ счастью, она была не глубока и, какъ я убѣдился, была наполнена навозомъ. Вначалѣ я подумалъ: что теперь дѣлать, если останешься здѣсь сидѣть? но по запаху узналъ,

что въ ямѣ есть что-то еще другое. Иногда бываетъ странное стеченіе обстоятельствъ. Если-бы яма была 20 футовъ глубиною и пустою пришлось-бы на другое утро долго искать министра. Я выкарабкался изъ ямы и пошелъ на рынокъ; на лавкахъ тамъ я разложилъ себѣ пару каретныхъ подушекъ, а третью употребилъ для изголовья и растянулся спать. Лежа, я рукою дотронулся до чего-то мокраго, что встрѣчается въ деревнѣ; по изслѣдованіи — это было отъ коровы. Потомъ меня разбудилъ кто-то, оказавшійся Перпонхеромъ; онъ сказалъ мнѣ, что великій герцогъ мекленбургскій имѣеть почлегъ и для меня постель. Это оказалось правдой, только кровать оказалась дѣтскою. Я приготовилъ себѣ постель, употребивъ кресло для ногъ, и заснулъ. Но проснувшись, я едва могъ встать, такъ-какъ колънами упирался въ ручки кресла. Если-бы имѣть мѣшокъ соломы, то можно доставить себѣ удобство, хотя-бы мѣшокъ былъ узкій, какъ это всегда и бываетъ. Можно, напр., разрѣзать его по серединѣ, раздвинуть солому и улежся въ образовавшееся такимъ образомъ углубленіе. Я это дѣлалъ часто въ Россіи, на охотѣ“ (II, 248—249). Несмотря на то, Бисмаркъ любить роскошь. „У гр. Бисмарка былъ хорошій столъ, доходившій, смотря по обстоятельствамъ, до роскоши. Это бывало въ Реймсѣ, Мо, Ферьерѣ и, наконецъ, въ Версали, гдѣ намъ создавали такіе художественные завтраки и обѣды, что человекъ, привыкшій къ обыкновенной мѣщанской кухнѣ, не могъ не воздавать имъ должнаго и чувствовалъ себя почти на лонѣ авраамовомъ, особенно если къ числу напитковъ присоединялось, кромѣ другихъ драгоценныхъ даровъ неба, еще канарское сладкое вино (сектъ). Въ кухонномъ фургонѣ хранились для такихъ пиршествъ оловянные тарелки, кубки изъ серебро-подобнаго металла, внутри вызолоченные и такія-же чашки. Роскошь нашихъ обѣдовъ, которыми насъ такъ радушно угощали, увеличивалась въ продолженіи послѣднихъ пяти мѣсяцевъ приношеніями изъ отечества: нѣмцы не забывали своего союзнаго канцлера и снабжали его шпигованными гусями, дичью, благородными рыбами, фазанами, плодами, отличнымъ пивомъ, тонкими винами и многими другими дорогими вещами“ (I, 13 — 14). За обѣдомъ и за завтракомъ Бисмаркъ больше всего говоритъ о кушаньяхъ. Напр.: „За нашимъ обѣдомъ присутствовалъ сегодня лейбъ-медикъ короля, докторъ Лауэръ. Долго говорили о кулинарныхъ и гастрономическихъ кушаньяхъ и мы узнали, что любимый плодъ шефа — вишни. Подагные намъ четыре карпа были очень вкусны. Изъ рѣчныхъ рыбъ онъ предпочитаетъ мурену и форели, которыя у него водятся въ большомъ количествѣ въ варцинскихъ прудахъ. Большія форели, которыя во Франкфуртѣ на Майнѣ, во время пир-

шествъ, считаются изысканнымъ блюдомъ, онъ считаетъ хуже рѣчныхъ. Послѣ рѣчныхъ рыбъ онъ отдаетъ должное озернымъ, изъ нихъ навагѣ“. — „Даже самую обыкновенную селедку, хорошо очищенную, я ѣмъ съ удовольствіемъ. Въ молодые годы я сдѣлалъ услугу жителямъ Аахена, какъ въ древніе времена Церера, богиня земледѣлія, тѣмъ, что научилъ ихъ жарить устрицъ.“ — „Лауеръ попросилъ рецептъ, и министръ далъ его. Если я хорошо понялъ, то онъ слѣдующій: надо обсыпать ихъ толченой булкой и пармезаномъ и жарить ихъ въ раковинахъ на горящихъ угляхъ. Я думалъ про себя, что устрицы и поваренное искусство ничего общаго между собою не имѣютъ. Лучшій рецептъ: свѣжія устрицы безъ всякаго снадобья. Шефъ говорилъ еще о различныхъ лѣсныхъ ягодахъ, о земляникѣ, клюквѣ, какъ настоящій знатокъ, также и объ обширномъ семействѣ грибовъ, которые ему, большею частію, попадались въ Эстляндіи и Финляндіи и совсѣмъ у насъ неизвѣстны. Потомъ говорили объ ѣдѣ вообще, и онъ, шутя, замѣтилъ: „въ нашей фамиліи все большіе ѣдоки. Еслибы въ странѣ всѣ имѣли такую-же способность, то она-бы не выдержала. И-бы оставилъ отечество“. (I, 172—173). „Разговоръ касался болѣе гастрономическихъ вопросовъ, причемъ было замѣчено, что канцлеръ ѣстъ съ удовольствіемъ хорошую баранину, а изъ говядины охотнѣе всего ѣстъ, такъ-называемую, „грудинку“; онъ не большой любитель желе и жареной говядины“ (ib., 226). „Шефъ завтракалъ съ нами сегодня и признался, что онъ охотно ѣстъ крутыя яйца (мы не будемъ опускать даже и такихъ незначительныхъ подробностей), но что онъ теперь не можетъ съѣсть больше трехъ, тогда какъ прежде могъ съѣдать ихъ по одинадцати штукъ. Бисмаркъ-Боленъ брался съѣсть ихъ до пятнадцати.“ — „Я стыжусь признаться въ томъ, до чего я дошелъ въ этомъ дѣлѣ“, замѣтилъ его кузень. — „Онъ-же давалъ совѣты Дельбрюку, который собирался въ Берлинъ, запастись на дорогу крутыми яйцами, но тотъ отвергъ это предложеніе, какъ неподходящее къ его вкусу“ (ib., 227). Бисмаркъ любитъ и выпить, особенно любилъ въ молодости. „Однажды онъ охотился у герцога (имени котораго я не понялъ), и ему тогда очень нездоровилось, такъ-что ни два дня охоты, ни свѣжій воздухъ нисколько не помогли: „вотъ прихожу я къ кирасирамъ въ Бранденбургъ; они только-что получили кубокъ; кажется, они въ это время праздновали свой юбилей. Въ кубкѣ виѣщалась цѣлая бутылка. Я долженъ былъ, рассказывалъ канцлеръ, — первый его обновить и затѣмъ передать другимъ. Я произношу спичъ, беру кубокъ, осушаю его до дна и передаю его пустымъ. Это всѣхъ весьма удивило; никто не могъ ожидать такого удалства отъ кабинетнаго человѣка. Я-же приобрѣлъ эту

способность еще въ Геттингенѣ. Но что удивительно, а можетъ, и вполне естественно, послѣ этого, втеченіи четырехъ недѣль, мой желудокъ былъ такъ здоровъ, какъ никогда. Я пробовалъ и позже лечиться такимъ-же образомъ, но уже никогда не имѣлъ подобнаго успѣха“. — „Да, вотъ еще помню: однажды при Фридрихъ-Вильгельмѣ II, во время охоты, пришлось пить изъ кубка времени Фридриха I; это былъ олений рогъ, вмѣщавшій $\frac{2}{3}$ бутылки; его нельзя было захватить губами, а между тѣмъ не дозволялось при питьѣ пролить ни одной капли. Я взялъ рогъ и мгновенно осушилъ, несмотря на то, что въ немъ было прехолодное шампанское; моя бѣлая жилетка свидѣтельствовала, что я не пролилъ ни одной капли. Общество было въ великомъ изумленіи. Я-же попросилъ вновь наполнить для меня рогъ. Но король воскликнулъ: „нѣтъ, этому не бывать!“ и я долженъ былъ отказаться отъ своего намѣренія“ (ib., 295—6). По его мнѣнію, дѣтямъ слѣдуетъ пить красное вино, взрослымъ гражданамъ — сектъ, а генераламъ — водку (ib., 270). При этомъ Бисмаркъ — патриотъ даже въ пищѣ и однажды, напр., за обѣдомъ замѣтилъ, что „французскій заяцъ ничего не стоитъ въ сравненіи съ зайцемъ изъ Помераніи: въ немъ нѣтъ вкуса дичи. Совсѣмъ не то нашъ заяцъ, жареный въ сметанѣ, который вкусенъ, потому что питается ароматными травами“ (ib., 165). Сладко ѣсть и вкусно пить въ походѣ Бисмарку и „его людямъ“ было тѣмъ пріятнѣе, что все это не стоило ни гроша и доставлялось даромъ, или побѣжденными французами, или благодарными соотечественниками. Изъ Берлина имъ слали вино, пиво (I, 171); нѣмецкіе солдаты, разграбляя французскіе погреба, часть своей добычи дарили Бисмарку (стр. 201) и т. д.

Обладая отличнымъ аппетитомъ и здоровымъ желудкомъ, Бисмаркъ отличается набожностью и на ночь, обыкновенно, читаетъ душеспасительныя книги (I, 98). „Я не понимаю, говорилъ онъ однажды, — какъ можно жить безъ вѣры въ откровенную религію, Бога, творящаго добро, въ высшаго судью и будущую жизнь, — и дѣлать свое дѣло и воздавать каждому по заслугамъ. Еслибъ я пересталъ быть христіаниномъ, я не оставался-бы ни одной минуты на своемъ постѣ. Еслибъ я не надѣялся на моего Бога, то я ставилъ-бы ни во что земныхъ царей. Я могъ-бы отлично жить и былъ-бы чрезвычайно доволенъ. Зачѣмъ-бы мнѣ было утомляться, неустанно работать въ этомъ мірѣ, подвергать себя непріятностямъ и затрудненіямъ, еслибъ я не чувствовалъ, что долженъ исполнять мой долгъ относительно Бога? Если-бы я не вѣрилъ въ божественный порядокъ, предназначающій этотъ нѣмецкій народъ къ чему-нибудь великому и доброму, я-бы тотчасъ-же пересталъ быть дипломатомъ или не принялъ-бы на себя этого дѣла. Ордена и

титулы меня не соблазняютъ. Я обладаю стойкостью, выказываемою мною, впродолженіи десяти лѣтъ, до настоящаго дня, противъ всевозможныхъ заблужденій, только благодаря моей твердой вѣрѣ. Отнимите у меня эту вѣру и вы отнимете у меня родину. Еслибы я не былъ глубоко вѣрующимъ христіаниномъ, еслибы у меня не было чудесной религіозной основы, то вы никогда-бы не дожили до подобнаго союзнаго канцлера. Добудьте-же мнѣ преемника съ подобной основой, я тотчасъ-же уйду. Но я живу между язычниками. Я не хочу этимъ приобрести прозелитовъ, я только чувствую потребность исповѣдать мою вѣру“. Катъ возразилъ, что древніе греки также высказывали самоотверженіе и самопожертвованіе, обладали любовью къ отечеству и совершали съ ея помощью великія дѣла. Онъ былъ увѣренъ, что многіе люди сдѣлали-бы и теперь то-же изъ чувства государственности, изъ чувства солидарности. Шефъ отвѣчалъ, что эта самоотверженность и преданность долгу относительно государства и короля — остатокъ вѣры отцовъ и праотцевъ въ измѣненной формѣ, болѣе неясной, но все-таки существующей, что это—хотя и не вѣра, но все-таки вѣра. „Какъ охотно удалился-бы я отъ дѣлъ! Я люблю сельскую жизнь, лѣсъ и природу. Отнимите у меня союзъ съ Богомъ, и я стану человѣкомъ, который завтра соберетъ свои пожитки уѣдетъ въ Варцинъ и будетъ обрабатывать свое поле“ (I, стр. 180—182). Въ то-же время Бисмаркъ нѣсколько суетвѣренъ, боится 13 за столомъ и т. д. (id., стр. 120). Бисмаркъ, безъ сомнѣнія, большой патріотъ, но сказаніе о томъ, какъ онъ въ молодости чуть не убилъ одного демократа за насмѣшки надъ королевой— мифъ. Дѣло было такъ: „Разъ, поздно вечеромъ, возвращаясь домой,—это, кажется, было въ 1847 г.,—я встрѣтилъ кого-то, довольно пьянаго, и который хотѣлъ ко мнѣ привязаться. Но когда я остановилъ его за дерзкія выраженія, то узналъ, что это былъ старый знакомый. Это было, кажется, на егерской улицѣ. Мы давно не видались, и когда онъ мнѣ предложилъ: пойдемъ къ такому-то (онъ назвалъ имя), я пошелъ съ нимъ, хотя онъ въ сущности былъ довольно пьянъ. Пока намъ подали пиво, онъ уснулъ. Около насъ былъ кружокъ людей, изъ которыхъ одинъ также выпилъ болѣе, чѣмъ могъ, и буйствомъ обращалъ на себя вниманіе. Я спокойно пилъ свое пиво. Онъ очень раздосадовался, что я такъ смиренъ, и началъ дѣлать намеки на мой счетъ. Я молчалъ, и это еще болѣе его раздражало и сердило. Колкости его говорились все громче. Я не хотѣлъ вступать въ ссору, а такъ-же и уйти, чтобы не подумали остальные, что я трушу. Наконецъ, должно быть, онъ не могъ успокоиться, онъ подошелъ къ моему столу и угрожалъ вылить мнѣ пиво въ лицо; ну, это уже было слишкомъ. Я сказалъ, чтобы

онъ убирался, и когда вслѣдъ затѣмъ онъ сдѣлалъ жестъ, желая меня облить, то я такъ толкнулъ его подъ подбородокъ, что онъ растянулся во всю длину, сломалъ стулъ и кружку и прокатился до стѣны чрезъ всю комнату. Тутъ пришла хозяйка; я ей сказалъ, чтобы она успокоилась, за стулъ и кружку плачу я. А остальнымъ я сказалъ: „вы видѣли, господа, что я не искалъ ссоры, и вы свидѣтели, что, насколько возможно, я сдерживался, но нельзя-же требовать, чтобы я позволилъ вылить себѣ на голову стаканъ пива за то только, что я спокойно пилъ свое пиво. Я буду очень сожалѣть, если этотъ господинъ лишился зуба. Но я долженъ быть обороняться. Если, впрочемъ, кто-нибудь желаетъ знать кое-что еще больше, то вотъ мой адресъ“. Оказалось, что это были весьма разсудительные люди, которые были почти того же мнѣнія, какъ я. Они сердились на своего товарища и отдавали мнѣ справедливость. Потомъ я встрѣтилъ двухъ изъ нихъ у бранденбургскихъ воротъ и сказалъ имъ: „вы, кажется, присутствовали, господа, когда я имѣлъ эту исторію въ портерной на егерской улицѣ? Что случилось съ нимъ? Мнѣ жаль, если она для него имѣла вредныя послѣдствія. Его надобно-бы было вынести“. — „Ахъ, сказали они, — онъ совсѣмъ здоровъ и веселъ, и зубы тоже опять окрѣпли. Впрочемъ, онъ молчитъ и очень сожалѣетъ объ этой исторіи. Онъ только-что поступилъ докторомъ, чтобы отслужить свой годъ, и ему было-бы очень неприятно, еслибы исторія эта распространилась въ народѣ и дошла до его начальства“ (II, стр. 288—290). Вообще Бисмаркъ умѣетъ постоять за себя и въ обиду себя не дастъ. Извѣстна, напр., исторія съ сигарой на франкфуртскомъ сеймѣ. Представителемъ Австріи былъ гр. Рехбергъ. „Я, рассказываетъ Бисмаркъ, — пришелъ къ нему въ то время, когда онъ занимался и при этомъ курилъ. Онъ просилъ меня немного подождать. Я сталъ ждать, но когда мнѣ уже надоѣло, а онъ мнѣ даже не предложилъ сигары, я взялъ самъ и попросилъ у него огня, который онъ мнѣ подаль съ немного изумленнымъ лицомъ. Въ томъ-же родѣ есть еще и другая исторія. Во время засѣданія военной комисіи, когда на сеймѣ представителемъ Пруссіи былъ Роховъ, Австрія курила только одна. Роховъ, какъ страстный курильщикъ, вѣроятно, съ охотой сдѣлалъ-бы тоже, но удерживался. Когда я туда пришелъ, мнѣ сильно захотѣлось сигары, и такъ-какъ я не видѣлъ, почему-бы не курить, то я попросилъ председателя одолжить мнѣ огня, на что съ неудовольствіемъ и удивленіемъ обратили вниманіе какъ онъ, такъ и другіе господа. Видимо, это для нихъ составляло событіе. Теперь курили еще только Австрія и Пруссія. Но остальные, очевидно, считали это настолько важнымъ, что послали запросы домой, какъ имъ быть? Дѣло требо-

вало зрѣлаго обсужденія, и впродолженіи полугода курили только двѣ державы. Затѣмъ началъ и баварскій посланникъ выставлять важность своего положенія и сталъ покуривать. Саксонскій имѣлъ, вѣроятно, тоже большое желаніе затануться, но еще не получилъ надлежащаго разрѣшенія отъ своего министра. Но когда на слѣдующій разъ онъ увидалъ, что гановерскій посланникъ курить, онъ, какъ ревностный австріякъ, — потому что его сыновья служили тамъ въ арміи, — онъ обнажилъ мечъ и самъ задымилъ. Теперь остались только виртембергскій и дариштадтскій, но тѣ вообще не курятъ. Тѣмъ не менѣе честь и важность ихъ мѣстъ необходимо требовали этого. и вотъ одинъ изъ нихъ досталъ сигару, — какъ теперь вижу, тонкая, длинная, свѣтло-желтая, — и докурилъ ее до половины, совершивъ, такимъ образомъ, нѣчто вродѣ всесожженія за отечество“ (I, 168 — 9). Бисмаркъ любитъ выказать свое умѣнье *обходить* не только дипломатовъ, но и обыкновенныхъ смертныхъ, и не прочь позабавиться надъ какимъ-нибудь жидкомъ, какъ это было разъ въ Петербургѣ. „Въ одинъ прекрасный день приходитъ въ нашу канцелярію еврей, который желалъ быть препровожденъ назадъ въ Пруссію. Онъ былъ очень оборванъ, въ особенности плохи у него были сапоги. Ему сказали, что онъ будетъ препровожденъ; но онъ хотѣлъ сначала получить новые сапоги, требовалъ это, какъ свое право, настаивалъ на этомъ, такъ дерзко и нагло кричалъ и ругался, что чиновники не знали, какъ отъ него отдѣлаться. Даже лакеи не осмѣливались подойти къ разъяренному человѣку. Когда, наконецъ, представленіе перешло всякія границы, я былъ позванъ для личной помощи. Я ему сказалъ, чтобы онъ утихъ, иначе я его засажу. Онъ дерзко на это отвѣтилъ:

— Вы этого не можете сдѣлать; въ Россіи вы на это не имѣете права.

— Мы это увидимъ, отвѣтилъ я. — Во всякомъ случаѣ я долженъ васъ отправить домой, но сапогъ я вамъ не обязанъ давать, хотя я могъ-бы это сдѣлать, еслибы вы не вели себя такъ неприлично.

Затѣмъ я отворилъ окно и кликнулъ городского, который стоялъ неподалеку на своемъ посту. Еврей продолжалъ кричать и ругаться, пока не пришелъ полицейскій, здоровенный дѣтина. Я ему сказалъ... (русскія непереводаемыя слова). И высокій блюститель порядка взялъ маленькаго жидка и посадилъ его въ кутузку. На слѣдующее утро еврей пришелъ опять, но совершенно другой, и объявилъ, что онъ готовъ ѣхать безъ новыхъ сапоговъ. Я спросилъ, что съ нимъ было впродолженіи этого времени?

— Плохо было мнѣ, очень плохо.

— Что-же, наконецъ, съ вами дѣлали?

— Они со мной очень плохо обходились, по-просту сказать — выпороли.

Я выразилъ ему свое сожалѣніе и спросилъ, не хочетъ-ли онъ жаловаться? Онъ предпочелъ скорѣе уѣхать, и я послѣ того о немъ ничего не слыхалъ“ (II, 260 — 261).

Своихъ сотоварищей и противниковъ въ политикѣ Бисмаркъ презираетъ. По его мнѣнію, Тьеръ, напр., не годится не только въ дипломаты, но даже въ „лошадиные барышники“, Наполеонъ III — „глупъ и сантименталенъ“ и т. д. (II, 24 и др.). Онъ даже считаетъ себя честиѣйшимъ изъ дипломатовъ, потому что не пользуется своимъ положеніемъ для извлеченія выгодъ изъ биржевой игры. „Это безчестно. Французскій министръ Г. такъ и дѣлалъ, какъ рассказывалъ на-дняхъ Р. Онъ этимъ удвоилъ свое имущество; можно-бы даже сказать, что и война затѣяна для этой цѣли. И Мустье, какъ говорятъ, занимался подобными дѣлами — не для себя, а только ради увеличенія богатства своей содержанки, и когда это начало открываться, то онъ умеръ съ подозрительными симптомами. Пользуясь своимъ положеніемъ, можно такъ устроить, чтобы, вмѣстѣ съ политическими депешами, присылались-бы биржевыя телеграммы со всѣхъ биржъ, черезъ обязательное посредство чиновниковъ посольства. На телеграфныхъ станціяхъ политическія телеграммы предшествуютъ обыкновеннымъ, и, такимъ, образомъ, выигрывается приблизительно отъ двадцати до тридцати минутъ. А потомъ надо имѣть ловкаго еврея, который умѣлъ-бы воспользоваться этой выгодой. Говорятъ, есть такіе люди, которые поступали подобнымъ образомъ. Такимъ образомъ, можно зарабатывать ежедневно отъ полуторы тысячъ до пятнадцати тысячъ талеровъ, что по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ составитъ прекрасный капиталъ. Но я не желалъ-бы, чтобы мой сынъ сказалъ о своемъ отцѣ, что онъ подобнымъ способомъ сдѣлалъ его богатымъ человѣкомъ. Онъ можетъ разбогатѣть и другимъ путемъ, если этому суждено быть“ (II, 63). Бисмаркъ очень самонадѣянъ; онъ любитъ рисоваться разнообразіемъ знаній, совать носъ во всякое дѣло и въ разговорѣ постоянно старается блеснуть свѣденіями, какихъ не предполагаетъ у своихъ собесѣдниковъ; напр.: „на либеральную партію я не обращаю никакого вниманія; они хотятъ невозможнаго; они, какъ русскіе, которые зимой ѣдятъ вишни, а лѣтомъ требуютъ устрицъ. Когда русскій входитъ въ лавку, то требуетъ „чего-нибудь“ (как *nje bud*), что собственно значить: дайте мнѣ того, чего нѣтъ“. (I, 253). Или еще: „Я думаю, что если парижане получаютъ съѣстные припасы, затѣмъ если ихъ опять посадятъ на половинные раціоны, и они принуждены будутъ голодать, то это подѣйствуетъ.

Это все равно, что тѣлесное наказаніе. Если наказываютъ немного дольше, безъ перерывовъ—это ничего; если-же прекратить наказаніе и черезъ нѣсколько минутъ возобновить его, то это невыносимо. Я это знаю изъ моей практики при уголовномъ судѣ. Тогда существовали еще тѣлесныя наказанія“ (I, 253). При случаѣ, онъ не прочь даже разыграть роль лекаря, какъ рассказываетъ Бушъ. „Онъ спросилъ меня:

— Сегодня утромъ вы имѣли нездоровый видъ. Что съ вами?

— Сильное расслабленіе желудка, ваше сіятельство, отвѣтилъ я.

— И при этомъ лихорадка и головная боль?

— Да, немного, ваше сіятельство.

— Вы обращались къ врачу?

— Нѣтъ, я кое-что прописалъ себѣ самъ и взялъ изъ аптеки.

— Что-же именно?

Я ему сказалъ.

— Это не поможетъ, возразилъ онъ. — Развѣ вы полагаете, что знаете все и не нуждаетесь въ докторахъ?

— Уже нѣсколько лѣтъ я не обращался къ нимъ.

— Это правда, не всякій докторъ можетъ помочь; другой, пожалуй, надѣляетъ еще хуже. Но теперь шутить нечего; пошлите за Лауэромъ. Это славный человѣкъ. Я не знаю, какъ его и отблагодарить за его заботы о моемъ здоровьѣ. А вы ложитесь-ка дня на два въ постель; этимъ и отдѣляетесь, а то могутъ быть возвраты, и вы встанете не раньше трехъ недѣль. Я часто самъ страдаю тѣмъ-же. Тамъ на каминѣ вы найдете стеклянку; примите тридцать или тридцать пять капель на кускѣ сахара. Возьмите ее, но потомъ принесите мнѣ назадъ. А если я васъ позову, и вы не въ состояніи будете придти, то такъ и скажите прямо“ (I, 126). Иногда Бисмаркъ не прочь и прихвастнуть; онъ рассказываетъ, напр., что въ молодости „на сто шаговъ изъ пистолета уткамъ прострѣливалъ головы“ (ib., 167) и т. д. Французовъ Бисмаркъ ненавидитъ такъ-же сильно, какъ послѣдній колбасникъ; Парижъ для него — Вавилонъ, который слѣдуетъ разрушить; французы — „красноштанники“ и варвары, о звѣрствахъ которыхъ Бушъ очень много писалъ, по порученію Бисмарка; французы даже крайне нечистоплотны, а хорошенькихъ француженокъ вовсе нѣтъ (I, 48, 58, 81; II, 118, 171, 174). Но какъ Бисмаркъ и его „люди“ ни старались превознести нѣмцевъ, все-таки варварство нѣмецкихъ завоевателей проглядываетъ даже у Буша чуть не на каждой страницѣ. Вотъ, напр.: „во дворцѣ Лещинскаго наши солдаты надѣлали много безпорядковъ. По словамъ провозжавшаго меня кистера, это

были гусары. Они отбили носы у нѣкоторыхъ святыхъ статуй, сломали одинъ мраморный барельефъ, разбили въ дребезги паникадило, раскидали священныя книги и архивъ и прокололи шпагой написанную масляными красками старинную картину. Можетъ быть, они сдѣлали это въ темнотѣ, нечаянно. Оба француза сильно негодовали на нихъ, и врядъ-ли я ихъ успокоилъ, сказавши, что у насъ безчинство не въ обычаѣ“ (I, 50). „Въ переулкѣ, позади нашей квартиры, поднялся пожаръ. Виртембергцы разбили тамъ бочку съ водкой и неосторожно подошли къ ней близко съ огнемъ. Другой, рядомъ стоявшій съ горѣвшимъ, домъ они разрушили, потому что тамъ имъ отказались дать водки; домикъ этотъ разносили, очевидно, умѣлыми руками, потому что когда мы пришли туда посмотрѣть, что случилось съ домикомъ, отъ него не было видно уже и слѣда“ (ib., 107). Самъ Бисмаркъ съ восторгомъ рассказываетъ о своемъ сынѣ: „я открылъ въ немъ новое замѣчательное достоинство“, повѣствовалъ намъ министръ за столомъ,— „онъ отличный свинопасъ. Онъ поймалъ самую жирную свинью, потому что она бѣгала тише всѣхъ и унесъ ее на рукахъ, какъ ребенка“. (ib., 108). Но всего этого погрома Бисмарку было мало, и онъ постоянно требовалъ, чтобы нѣмцы чаще и больше жгли и вѣшали. Вотъ, напр., встрѣчаетъ онъ плѣнныхъ вольныхъ стрѣлковъ и дѣлаетъ имъ строгое внушеніе, закончивъ свою рѣчь такъ: „Vous serez tous pendus, vous n'êtes pas soldats, vous êtes des assassins“. (Вы всѣ будете повѣшены, вы—не солдаты, вы убійцы). Одинъ изъ нихъ началъ громко хныкать“ (ib., 60). „Вчера изъ какой-то кофейни былъ сдѣланъ выстрѣлъ по эскадрону нашихъ гусаръ. Министръ высказалъ мнѣніе, что эта кофейня должна быть тотчасъ-же разрушена, а хозяинъ ея преданъ военному суду. Штиберу должно быть немедленно поручено разслѣдовать это дѣло“ (ib., 118—19). „Если-бы я былъ военный начальникъ и распорядился этимъ, сказалъ шефъ по этому случаю, — я зналъ-бы, что мнѣ дѣлать. Я обращался-бы съ тѣми, которые остались дома, со всевозможнымъ вниманіемъ. Дома-же и имущество тѣхъ, которые бѣжали, я считалъ-бы никому не принадлежащими и поступалъ-бы съ ними сообразно съ этимъ. А еслибы они попались мнѣ, я отнялъ-бы у нихъ коровъ и все, что они при себѣ имѣютъ, подъ тѣмъ предлогомъ, что все это ими украдено и спрятано въ лѣсу. Это было-бы лучше въ томъ отношеніи, что они могли-бы убѣдиться, насколько справедливы слухи, будто мы ѣдимъ дѣтей подъ разными соусами“ (id., 137). „Слѣдовало-бы всѣ деревни, гдѣ только появляется измѣна, тотчасъ-же сожигать, а все мужское населеніе вѣшать“. „Графъ Бисмаркъ-Болень рассказывалъ затѣмъ, что „дочиста сожжена“ деревня Габли, гдѣ восемь дней тому на-

задъ вольные стрѣлки, стакнувшись съ жителями, напали на плезвигскихъ гусаръ, которые, вслѣдствіе того, вернулись только съ 11 лошадьми; шефъ отозвался съ похвалою объ этой энергіи“ (id., 221). „Когда разговоръ коснулся обращенія съ французскимъ сельскимъ населеніемъ, Путбусъ разсказалъ, что одинъ баварскій офицеръ сжегъ цѣлую красивую деревню и приказалъ выпустить вино, хранившееся тамъ въ подвалахъ, потому-что тамошніе крестьяне вели себя вѣроломно. Кто-то другой еще замѣтилъ, что солдаты гдѣ-то ужасно исколотили священника, пойманнаго въ измѣнѣ. Министръ снова хвалилъ энергію баварцевъ, но затѣмъ, въ отношеніи второго случая, прибавилъ: „съ этими людьми нужно или обращаться съ возможно-большимъ вниманіемъ, или-же дѣлать ихъ безвредными. Одно изъ двухъ“. И нѣсколько подумавъ, онъ прибавилъ: „ихъ надобно вѣшать съ учтивостью, соблюдаемой до послѣдней ступеньки висѣлицы. Грубо можно обращаться только съ ихъ друзьями, когда нужно предполагать, что они не сердятся за это. Какъ грубо обращаются, напр., съ ихъ женами въ сравненіи съ другими женщинами!“ (II, 23). „Если въ занятомъ нами округѣ не все можетъ быть занято гарнизонами, то мы будемъ посылать по-временамъ летучія колонны въ мѣстности, въ которыхъ происходятъ движенія, съ правомъ разстрѣливать, вѣшать и казнить. Послѣ двухъ-трехъ разъ такой посылки войскъ, населеніе примется за умъ“ (II, 225). „Не нужно входить въ деревни, но можно имъ просто объявить: если вы слѣдующія съ васъ подати не внесете втеченіи двухъ часовъ, тогда въ васъ будутъ стрѣлять гранатами. Если они увидятъ, что дѣло серьезное, то будутъ платить. Въ другихъ случаяхъ можно бомбардировать, и это тоже можетъ помочь. Они должны помнить, что ведется война“ (II, 232). Въ Коммерси къ министру явилась какая-то женщина и жаловалась на то, что арестовали мужа, который поколотилъ какого-то гусара. „Министръ съ привѣтливой миной на лицѣ слушалъ разсказъ женщины“, продолжаетъ далѣе вашъ расказчикъ, — „и, когда она окончила, онъ также привѣтливо отвѣтилъ ей: „успокойтесь, вашъ мужъ—при этомъ онъ очертилъ указательнымъ пальцемъ вокругъ шеи—будетъ повѣшенъ въ самомъ непродолжительномъ времени“ (I, 302—303). Впрочемъ, среди нѣмецкихъ генераловъ были люди еще почище Бисмарка, который самъ возмущался ихъ безчеловѣчностью; напр., Штейнмецъ, котораго канцлеръ прозвалъ „расточителемъ крови“ (I, 37). Война, понятно, еще болѣе ожесточила нравы подобныхъ людей, которые, естественно, болѣе и болѣе грубѣли, вид.: ежедневно такія картины: „нападеніе на французовъ было произведено 4-мъ корпусомъ, который произвелъ въ ихъ рядахъ неописанное опустошеніе. Черные

отъ пороха, покрытые запекшейся кровью, валялись мертвецы по полю, кто на спинѣ, кто ничкомъ, многіе съ открытыми, неподвижными глазами, какъ у восковыхъ куколъ. На одномъ мѣстѣ нашли мы пятерыхъ, убитыхъ однимъ пушечнымъ выстрѣломъ: у троиухъ были оторваны головы, у одного разорванъ животъ и изъ него вытекли внутренности; пятый, лицо котораго было закрыто чернымъ покрываломъ, былъ изувѣченъ, вѣроятно, еще болѣе страшнымъ образомъ. Поодаль, словно пустой сосудъ, лежала верхняя часть черепа, а около него мозги — точь-въ-точь, какъ въ кухнѣ. Кепи, фуражки, сумки, листки бумаги, башмаки были разсѣяны повсюду. Раскрытый офицерскій чемоданчикъ, котелъ на потухшемъ вострѣ съ варившимся картофелемъ, куски мяса въ блюдахъ, которые вѣтеръ посолилъ уже песочкомъ, — все это показывало, насколько неожиданно явились наши, а вмѣстѣ съ ними и истребленіе“ (I, 83).

Бушъ очень недалекъ и характеризуетъ Бисмарка и его людей очень поверхностно, ноза то онъ правдивъ, и сообщенныхъ имъ матеріаловъ достаточно для того, чтобы составить себѣ представленіе о культурныхъ слояхъ прусскаго общества. Съ самаго начала настоящаго вѣка всѣ реформы прусскаго государства сводились, главнымъ образомъ, на развитіе его военныхъ силъ и на осуществленіе „національной идеи“. И вотъ, несмотря на науку и литературу, нѣмецкое общество превратилось въ какую-то грубую орду солдатчины, годную для сокрушенія враговъ, но совершенно безсильную для внутренняго обновленія.

С. С. Ш.

ДОЛГІЙ ПАРЛАМЕНТЪ И КОРОТКАЯ РЕСПУБЛИКА

ВЪ АНГЛІИ.

I.

Весною 1625 года, вскорѣ по вступленіи своемъ на престолъ, Карль I Стюартъ созвалъ свой первый парламентъ, требуя отъ него приговора на-счетъ собранія податей, или, какъ тогда говорилось, субсидій, необходимыхъ для войны съ Испанією.

Строго говоря, подъ словомъ „парламентъ“ слѣдовало-бы разумѣть всю совокупность совѣтовъ, раздѣлявшихъ съ королемъ бремя государственнаго управленія. Такихъ совѣтовъ было три: государственный совѣтъ, состоявшій исключительно изъ высшихъ сановниковъ, великій совѣтъ, т. е. нынѣшняя палата лордовъ, и палата общинъ, которую мы будемъ впредь исключительно называть именемъ парламента. Обычай созывать представителей средняго сословія и низшаго дворянства, для совѣщанія о налогахъ и о разныхъ предметахъ внутренней администраціи, утвердился въ Англіи со временъ Эдуарда I. Вестминстерскій статутъ 1275 года даетъ уже такимъ совѣщательнымъ собраніямъ названіе *Parliamentum*, которое удержалось и до сихъ поръ; однакожь, политическая роль и назначеніе этого собранія долго оставались неопредѣленными и колеблющимися. Сперва отъ парламента требовались только приговоры по взысканію однихъ чрезвычайныхъ налоговъ и податей; потомъ ихъ созваніе считалось уже необходимымъ для законнаго взиманія и правильныхъ сборовъ (наприм., таможенныхъ и др.). Но при послѣднихъ Тюдорахъ это уже обратилось въ пустую формальность; при вступленіи своемъ на престолъ, король созывалъ парламентъ, который однимъ своимъ приговоромъ узаконялъ взиманіе податей на неопредѣленное время впередъ, до

самаго конца царствованія. Отношенія между королемъ и парламентами постоянно были не строго-юридическія, а добродушныя. Наиболѣе самодержавные англійскіе государи смотрѣли на представителей средняго сословія и на мелкихъ дворянъ, засѣдавшихъ въ парламентѣ, какъ на лицъ, основательно знающихъ экономическое положеніе страны, а потому даже возраженія ихъ выслушивали благосклонно, тѣмъ болѣе, что о соперничествѣ между верховною властью и среднимъ сословіемъ до XVII столѣтія не бывало и рѣчи. Въ концѣ своего царствованія, а именно въ 1601 г., королева Елизавета, привыкшая дѣйствовать съ неменьшею самостоятельностью, чѣмъ всякій другой европейскій монархъ того времени, благосклонно выслушивала представленія своего парламента о вредныхъ послѣдствіяхъ, которыхъ слѣдовало ожидать для экономическаго развитія страны отъ созданія задуманныхъ ею монополій, и даже отказалась отъ этого проекта, несмотря на то, что сильно нуждалась въ деньгахъ. Правда, Елизавета, какъ и самъ суровый Генрихъ VIII, принадлежала къ числу наиболѣе популярныхъ государей Англій. Завершая дѣло освобожденія Англій, путемъ религіозной реформаціи, отъ политическаго вліянія римскаго двора, она твердо могла разсчитывать на содѣйствіе націи вообще и въ особенности того средняго сословія, которое, будучи освобождено реформаціею отъ стѣснительныхъ церковныхъ поборовъ и тормозящихъ клерикальныхъ вліяній, въ Англій, какъ и на континентѣ, начало особенно богатѣть и приобрѣтаетъ политическое значеніе именно съ этого времени. Мѣркою популярности послѣднихъ Тюдоровъ среди англійскаго парламента можетъ служить уже одно то, что, при вступленіи на престолъ Карла I, представители общинъ были уже втрое богаче свѣтилъ высшей поземельной аристократіи, засѣдавшихъ въ палатѣ лордовъ. Этимъ они, конечно, были обязаны не отцу молодого короля, Іакову I, родоначальнику дома Стюартовъ въ Англій, отличавшемуся съ политической точки зрѣнія, полнымъ ничтожествомъ, а съ личной точки зрѣнія—непривлекательными качествами сварливаго и упрямаго деспота. Представители общинъ относились къ нему довольно холодно, объясняя себѣ его тяжелый нравъ шотландскимъ его происхожденіемъ. Шотландія, дѣйствительно, стояла въ это время значительно ниже Англій въ общемъ культурномъ развитіи; къ тому-же придирчивость, сварливость и скупость считаются англичанами за отличительныя черты шотландскаго національнаго характера. Однакожь, несмотря на непопулярность Іакова I, парламентъ и ему не дѣлалъ никакой политической оппозиціи; всеобщее вниманіе было слишкомъ сосредоточено на вновь открытомъ передъ англійскимъ среднимъ сословіемъ промышленномъ и торговомъ

поприщѣ. Религіозныя гоненія на континентѣ загнали въ освобожденную изъ-подъ римскаго вліянія Англiю лучшихъ ремесленниковъ и техникувъ цѣлой Европы. Побѣды Елизаветы надъ армадою Филиппа II открыли англійскимъ кораблямъ доступъ въ отдаленныя моря... Короче говоря, въ эту эпоху только-что зарождалось всесвѣтное торговое и промышленное значеніе Англiи. Среднее сословіе, всего непосредственнѣе заинтересованное этою мирною дѣятельностью, которой не угрожали въ то время никакіе опасныя вѣшніе и внутренніе враги, мало могло помышлять о политическихъ прецедентахъ.

Карль I, созывая свой парламентъ весною 1625 г., очень естественно видѣлъ въ этомъ созваніи только формальность, обрядъ, служащій какъ-бы продолженіемъ коронаціи. Народъ встрѣтилъ его благосклонно уже потому, что онъ вступилъ на престолъ послѣ суроваго своего отца. Будучи еще наслѣднымъ принцомъ, онъ успѣлъ стяжать себѣ столь цѣнную англличанами репутацію истиннаго джентльмена. Онъ былъ обходителенъ, вѣжливъ, смысленъ, ловокъ, красивъ собою, т. е. представлялъ, какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи, живую противоположность Іакову I. Все предвѣщало ему популярное и блестящее царствованіе.

Къ великому удивленію короля и его ближайшихъ совѣтниковъ, парламентъ, вмѣсто того, чтобы постановить приговоръ о субсидіяхъ и разойтись, началъ съ того, что просилъ короля обратить вниманіе на нѣкоторыя стороны администраціи, запущенныя его отцомъ и мѣшавшія экономическому развитію народа. Жалобы или, точнѣе говоря, представленія парламента сосредоточивались вокругъ двухъ главныхъ пунктовъ: только-что возникшій англійскій торговый флотъ нуждался въ покровительствѣ военныхъ судовъ противъ многочисленныхъ пиратовъ и чужеземныхъ соперниковъ, а внутри страны англиканское духовенство, оставаясь при чисто-католической іерархіи, съ тою только разницею, что вмѣсто верховенства римскаго папы оно признавало главенство короля, стремилось и въ свѣтскихъ дѣлахъ забрать въ свои руки такую власть, которую едва-ли даже имѣла въ Испаніи инквизиція при Филиппѣ II. Фильморъ проповѣдывалъ такой свѣтскій и духовный абсолютизмъ, такое смѣшеніе религіознаго и государственнаго авторитетовъ, передъ которымъ уже знаменитое *l'état—c'est moi* Людовика XIV должно казаться блѣднымъ и умѣреннымъ. Многіе вліятельныя духовныя, и въ ихъ числѣ королевскій капеланъ Монтэгъ, приводили въ дѣйствіе его фанатическіе афоризмы, не дожидаясь даже, пока король освятитъ ихъ своимъ призваніемъ. Парламентъ всеподданнѣйше просилъ короля обратить вниманіе на

эти два пункта. Ни по формѣ, ни по сущности, заявленіе это не составляло еще оппозиціи противъ власти короля и не выходило за предѣлы тѣхъ возраженій, которыя Елизавета выслушивала съ благодарностью отъ своего парламента 1601 года. Но между Стюартами и англійскимъ народомъ не существовало еще того общенія, которымъ были сильны наиболѣе самодержавные изъ Тюдоровъ. Къ тому-же, Карлъ былъ слишкомъ поглощенъ мыслью о войнѣ съ Испанією, съ дворомъ которой онъ имѣлъ свои личные счеты по случаю разстроенной его женитьбы на испанской принцессѣ. Очень можетъ быть, что герцогъ Букингамъ, легкомысленный любимецъ короля, великосвѣтскій интриганъ, уже успѣвшій устроить обрученіе Карла съ Генріетою-Марією французскою, подстрекалъ властолюбивые инстинкты своего вѣнценоснаго покровителя, воспитаннаго въ школѣ самодержавія и недавно ѣздившаго въ Мадридъ учиться въ эскуріальскоѣ дворцѣ приемамъ и обычаямъ самовластиа... Устами Эдуарда Кларка король далъ знать парламенту, что онъ созвалъ его не для выслушиванія какихъ-бы то ни было возраженій и поученій, а единственно для того, чтобы общины поскорѣе постановили приговоръ о взиманіи субсидій и повинностей.

Депутаты были поражены и оскорблены этимъ отвѣтомъ, который казался имъ совершенно незаслуженнымъ съ ихъ стороны, такъ-какъ они не думали, по образцу многихъ средневѣковыхъ парламентовъ Англій и другихъ государствъ, подвергать сомнѣнію или оспаривать самодержавныя права королевской власти. „Вѣдь мы не требуемъ,—возражали они,—чтобы король удалилъ дурныхъ и непопулярныхъ совѣтниковъ (т. е., главнымъ образомъ, Букингамъ), какъ это дѣлали наши предки при Генрихахъ IV и VI; мы не присвоиваемъ себѣ права избранія короля, какъ это было при Эдуардѣ II, Ричардѣ II и при двухъ помянутыхъ Генрихахъ; мы не выражаемъ желанія, чтобы избранники короля приносили присягу парламенту, какъ это водилось при Эдуардѣ I, Эдуардѣ II и Ричардѣ II; мы не претендуемъ предписывать королю или его избранникамъ тотъ или иной образъ дѣйствій, какъ было при Генрихахъ III и IV; мы не просимъ короля, чтобы онъ обѣщаль намъ не предпринимать ничего безъ нашего согласія, какъ Генрихъ VI. Мы, какъ прилично вѣрноподаннымъ, почтительно заявляемъ скромныя свои желанія“, и т. д.

Чтобы еще болѣе чувствительнымъ для правительства образомъ выказать свое неудовольствіе, парламентъ постановилъ приговоръ, которымъ королю предоставлялось собрать подати только за одинъ годъ и распорядиться по своему усмотрѣнію таможенными сборами. Король, въ свою очередь оскорбленный такимъ образомъ дѣйствій парламента,

не вступая въ дальнѣйшія разсмотрѣнія его жалобъ и законности его образа дѣйствій, распустилъ этотъ первый парламентъ и попытался вести испанскую войну на средства, независимыя отъ парламентскихъ постановленій. Такимъ средствомъ былъ государственный заемъ, но онъ далъ только очень скудные результаты: придворное дворянство само нуждалось въ деньгахъ и не могло ссудить ими короля, а дворянство провинціальное, вмѣстѣ съ среднимъ сословіемъ, чувствовало себя оскорбленнымъ.

Мы слишкомъ привыкли обособлять исторію Англій отъ исторіи другихъ западно-европейскихъ государствъ и искать корпей нынѣшняго англійскаго парламентаризма въ отдаленной эпохѣ крестовыхъ походовъ и великой хартіи, вырванной изъ слабыхъ рукъ Іоанна Безземельнаго федераціею дворянъ и городскихъ сословій. Конечно, такой взглядъ не лишень нѣкотораго историческаго основанія, такъ-какъ всѣ новѣйшія англійскія учрежденія преемственно и послѣдовательно развились изъ зачатковъ, внесенныхъ въ британскій государственный строй средневѣковыми сословными привилегіями. Не должно только забывать, что совершенно подобныя-же зачатки существовали въ средніе вѣка рѣшительно у всѣхъ романо-германскихъ народовъ. Королевская власть во всей западной Европѣ выработалась, какъ представительство національнаго единства, а потому она повсюду была слаба до тѣхъ поръ, пока самое понятіе національности и ея политической функціи—государства находилось еще повсюду въ зародышѣ. Исторія Англій до самаго XVII столѣтія шла совершенно тѣмъ-же общеевропейскимъ путемъ. Послѣ норманскаго завоеванія и даже при позднѣйшихъ Плавтагенетахъ исторія Англій и самая англійская національность неоднократно были готовы совсѣмъ слиться съ французскою. Такой присяжный поклонникъ британскихъ вольностей, какъ Маколей, вынужденъ признать, что еслибы войны Англій съ Франціею завѣнчались окончательною побѣдою заламанскихъ островитянъ, то Англія была-бы теперь только французскою провинціею. Орлеанская дѣвственница, спасая Францію и ея короля отъ англійскаго нашествія, тѣмъ самымъ, и еще существеннѣе, спасла англичанъ отъ поглощенія ихъ крайними централистами-французами. Это очень легко понять: стоитъ только вспомнить, что, связавъ свою судьбу съ судьбами какого-бы то ни было народа на континентѣ, Англія утрачивала тѣ громадныя преимущества, которыя давало ей ея островное географическое положеніе. Будучи окружена моремъ со всѣхъ сторонъ, англійская національность весьма естественно нуждалась въ нѣсколько меньшемъ, сравнительно съ другими государствами, охраненіи себя военными средствами, а потому и централистическія учрежденія должны были

играть въ ея государственномъ строѣ нѣсколько слабѣйшую роль. Выгоды эти начинаютъ, однакожь, рѣшительно обнаруживаться не раньше начала XVII столѣтія, т. е. въ то время, когда вся западная Европа перестаетъ уже жить средневѣковою сословною, а начинаетъ жить національною государственною жизнью.

При первыхъ Стюартахъ Англія переживаетъ точно такой-же внутренній переломъ, какой Франція пережила при Ришелье и Людовикѣ XIV, Испанія при Карлѣ V и Филиппѣ II. Внутренняя политическая борьба сословій кончена, нація объединена,—феодалная федерація, обезсиленная собственными своими междоусобіями (въ Англіи войною Бѣлой и Алой Розъ), разоренная дробленіемъ своихъ имѣній, военными издержками и роскошью, утрачиваетъ политическое вліяніе, и на смѣну ей выступаетъ новая буржуазная федерація, зародившаяся повсюду въ Европѣ въ средніе вѣка, пользовавшаяся повсюду болѣе или менѣе вѣскими и реальными парламентскими привилегіями и повсюду равно поступавшаяся этими привилегіями въ пользу королей, которые повсюду имѣли своимъ назначеніемъ укротить произволь феодальныхъ бароновъ и римской курии. Мы видѣли, что англійская палата общинъ, въ своемъ отвѣтѣ Карлу I, ссылается на длинный рядъ привилегій, которыми среднее сословіе Англіи пользовалось при Плантагенетахъ. Точно такими-же привилегіями пользовалась и французская буржуазія, не только въ средніе вѣка, но и значительно позже, отчасти даже еще при Людовикѣ XIV; въ Испаніи арагонскіе кортесы до Филипа II пользовались еще болѣе широкими и болѣе реальными привилегіями, Бискайя-же и Наварра удержали нѣкоторыя изъ этихъ привилегій даже и до сихъ поръ. Тотъ-же самый отвѣтъ парламента Карлу I показываетъ намъ, что въ началѣ XVII вѣка среднее сословіе Англіи считаетъ эти свои привилегіи безвозвратно утраченными и даже не жалѣетъ объ ихъ уtratѣ: оно пожертвовало ими абсолютизму Генриха VIII и Елизаветы, освободившихъ англійскій народъ отъ римскаго вліянія и положившихъ начало торговому могуществу англійской націи. Оно считаетъ свои счеты съ прошлымъ поконченными и даже не считаетъ нужнымъ воскрешать свои отжившія средневѣковыя права передъ непопулярнымъ лицомъ перваго Стюарта, который, вовсе не продолжая великаго дѣла Елизаветы, пользуется, однакожь, каждамъ удобнымъ и неудобнымъ случаемъ для того, чтобы рѣзко и недвусмысленно отгнать въ глазахъ націи свое положеніе неограниченнаго самодержца. „Король Англіи,—любилъ постоянно говорить Іаковъ I,—не долженъ ни въ чемъ уступать французскому и испанскому королямъ“ (т. е. долженъ быть такимъ-же самодержцемъ, какъ они), и этотъ аргументъ представляется его подданнымъ впол-

нѣ убѣдительнымъ. Карлъ I выросъ и воспитался въ тѣхъ-же самыхъ воззрѣніяхъ. При его вступленіи на престолъ, никто, ни даже самый парламентъ, не думаетъ оспаривать его права на неограниченную самодержавную власть, и самъ онъ не видитъ еще въ парламентѣ учрежденія, предназначеннаго ограничивать его самодержавіе. Все это ясно показываетъ, что задачу средняго сословія Англіи при Карлѣ I не могло быть ни въ какомъ случаѣ простое удержаніе давно отжившихъ средневѣковыхъ привилегій; надлежало создать новый политическій строй, который отвѣчалъ-бы измѣнившимся съ конца XVI вѣка социальнымъ условіямъ. Во Франціи, національному единству которой ежечасно угрожали сильныя внѣшніе враги, новое это устройство, весьма естественно, совершилось путемъ преобладанія во всемъ ея политическомъ строѣ централизационныхъ стремленій. Въ Англіи эти соображенія играли второстепенную роль. Съ тѣхъ поръ, какъ Шотландія и Ирландія такъ или иначе слились съ нею въ одно политическое тѣло, съ тѣхъ поръ, какъ католическое рвеніе Филипа II оказалось безсильнымъ противъ нея и его непобѣдимая армада разбилась о скалы британскихъ береговъ,—ей нечего уже было стѣснять себя одними національными или политическими соображеніями. Надо было создать новый порядокъ, который открывалъ-бы широкій просторъ только-что созрѣвшей промышленной предпримчивости англійскаго народа. Парламентъ почтительно обращаетъ вниманіе юнаго короля на этотъ существенный пунктъ, очевидно, не считая свои стремленія несовмѣстными и съ тѣмъ неограниченнымъ образомъ правленія, который, наперекоръ всѣмъ хартіямъ и статутамъ, фактически утвердился здѣсь со времени послѣднихъ Тюдоровъ.

Къ сожалѣнію, Карлъ I, только-что сочетавшійся бракомъ съ французскою принцессою, въ которую онъ успѣлъ уже страстно влюбиться, поглощенный въ то-же время своею неудачною войною съ Испаніею, гдѣ флотъ его уже успѣлъ потерпѣть позорное пораженіе подъ Кадиксомъ, очень мало отдавалъ себѣ отчета въ сущности своего положенія. Онъ понималъ очень ясно и опредѣленно только одно: для того, чтобы пользоваться своимъ положеніемъ такъ, какъ французскіе и испанскіе короли, ему необходимо было имѣть войско, послушное только ему одному и отъ него назначаемымъ командирамъ, а для организаціи этого войска ему нужно было достать денегъ, въ которыхъ первый парламентъ ему отказалъ, не изъ политическихъ видовъ, а просто въ отмстѣ за оскорбленіе. Подъ вліяніемъ этой гнетущей необходимости, король рѣшается на слѣдующій-же годъ созвать новый парламентъ, однакожь, принявъ на этотъ разъ нѣкоторыя мѣры предосторожности...

Популярность Генриха и Елизаветы опиралась, главнымъ образомъ, на то, что они провозгласили независимость Англїи отъ римскаго двора и мужественно отстояли ее противъ вмѣшательства католическихъ государей южной Европы. Карль старается снова задѣть эту чувствительную струну своего народа и тотчасъ послѣ неудачи, потерпѣнной его флотомъ подъ Кадиксомъ, замышляетъ новую экспедицію на помощь французскимъ протестантамъ, осажденнымъ въ Ла-Рошели. Въ это время становилось уже очевиднымъ, что главенство въ римско-католическомъ мїрѣ, бывшее въ концѣ XVI вѣка въ рукахъ Испанїи, переходитъ въ руки Франціи, въ которой протестантская Англїя, естественно, должна была видѣть соперницу. Походъ этотъ казался, слѣдовательно, средствомъ, очень ловко придуманнымъ для того, чтобы развязать туго-набитые кошельки денежнаго сословія. Однакожь, вмѣстѣ съ тѣмъ были приняты и нѣкоторыя другія мѣры, основательно или нѣтъ, приписываемыя макиавелизму любимаго совѣтника короля, герцога Букингама. Относясь съ обычнымъ презрѣніемъ велико-свѣтскаго хлыща къ низшимъ сферамъ англійскаго народонаселенія, Букингамъ не могъ допустить, чтобы всякіе торгаши и ремесленники, засѣдающіе въ палатѣ общинъ, имѣли свой опредѣленный взглядъ на политическія дѣла и какую-нибудь сознательную програму. Неподатливость перваго парламента придворная партія приписывала единственно только тому, что въ парламентѣ этомъ засѣдали многочисленные представители провинціального дворянства, которыхъ, такимъ образомъ, рѣшено было, во что-бы то ни стало, устранить изъ новаго собранія. Для этой цѣли, нѣкоторыхъ изъ наиболѣе выдававшихся вождей перваго собранія подѣляли шерифами ихъ графствъ, что, по обычаямъ того времени, отнимало у нихъ право участвовать въ сословномъ представительствѣ. Въ числѣ такихъ, вновь назначенныхъ, шерифовъ былъ и Томасъ Вентвортъ (Wentworth), впоследствии графъ Страфордъ, вскорѣ заслужившій себѣ весьма непочетную извѣстность. Тѣхъ-же, которыхъ не надѣялись обойти такимъ дружелюбнымъ путемъ, просто рѣшили не оповѣщать о созваніи новаго парламента.

Палата общинъ собралась снова въ февралѣ 1626 года и начала свою сесію съ требованія суда надъ герцогомъ Букингамомъ, за его незаконныя дѣйствія по созванію этого парламента. Графъ Бристольскій, котораго умышленно обошли повѣсткою, обратился къ палатѣ съ просьбою постановить особый приговоръ о нарушеніи такимъ образомъ дѣйствій его правъ, какъ пѣра Англїи, и рѣзко обвинялъ того-же злополучнаго Букингама, котораго непопулярность казалась ему уже достаточнымъ поводомъ для преданія его суду. Но-

вѣй парламентъ съ первыхъ-же шаговъ принялъ характеръ еще болѣе оппозиціонный, чѣмъ первый. Король былъ сильно раздраженъ. „Знайте,—говорилъ онъ кичливому собранію, — что я не позволю: вамъ судить даже послѣдняго изъ моихъ лакеевъ... Я хочу, чтобы вы безотлагательно порѣшили съ моими субсидіями. Упорство съ вашей стороны будетъ имѣть самыя печальныя послѣдствія, и, конечно, прежде всего для васъ, а не для меня“. Графу Бристольскому приказано было именнымъ приказомъ не выѣзжать изъ своихъ помѣстій, а судамъ было строжайше запрещено входить въ разбирательство какихъ-бы то ни было жалобъ на Букингама. Вопросъ о субсидіяхъ не подвигался, однакожь, ни на шагъ впередъ. Арестъ графа Бристольскаго и нѣкоторыхъ другихъ болѣе смѣлыхъ оппозиціонистовъ привелъ къ результатамъ, противоположнымъ тѣмъ, которыхъ ожидали при дворѣ, и палату пришлось распустить въ началѣ іюня, не добившись отъ нея даже и того, что далъ парламентъ предыдущаго года. вмѣстѣ съ тѣмъ приняты были мѣры, чтобы запугать страну и отнять у будущихъ парламентовъ охоту противорѣчить намѣреніямъ верховной власти.

Такимъ образомъ, правительство вращалось какъ въ заколдованномъ кругѣ: чтобы имѣть возможность предписывать безпрекословно свою волю народу, Карлу I необходимо было создать себѣ сильное войско, а этого невозможно было исполнить на собственные средства короля и немногихъ, совершенно преданныхъ его особѣ магнатовъ. Парламентъ-же, или, точнѣе говоря, единственное въ государствѣ денежное сословіе—не хотѣло давать денегъ безъ предварительныхъ объясненій.

Тщетно Карлъ и его любимцы истощали всѣ находившіяся въ ихъ распоряженіи средства. Пользуясь стариннымъ обычаемъ, король сталъ требовать у портовыхъ городовъ, чтобы они на собственный счетъ доставили ему извѣстное количество вооруженныхъ судовъ. Отъ одного Лондона онъ потребовалъ ихъ двадцать. Цифры нарочно назначались непомерно высокія, для того, чтобы побудить горожанъ хоть частью откупаться деньгами. Города роптали, но подчинялись этому требованію, вовсе не имѣя опредѣленнаго плана противодѣйствія королю и надѣясь все-же дойти съ нимъ до взаимнаго соглашенія. Но эти ресурсы исчезали почти безслѣдно, какъ капля въ разливномъ морѣ расточительнаго королевскаго бюджета. Карлъ былъ, что-называется, широкая, артистическая натура. Молодая королева не могла выносить суровой лондонской обстановки и требовала со всею непреклонностью капризной женщины роскоши и великолѣпія, къ которымъ она привыкла у себя дома. Король не могъ отказать ей въ этомъ не

только изъ любви къ ней, но въ значительной степени также и изъ принципа: онъ былъ убѣжденъ, что самодержавный монархъ немислимъ безъ той величавой и раззорительной обстановки, которая прельстила его въ Мадридѣ. Любимцы, вродѣ Букингама, имѣли расчетъ поддерживать его въ этомъ настроеніи. Къ тому-же, легкомысленно предпринятый рядъ войнъ съ Испанією, Францією и Австрією уже привелъ къ нѣсколькимъ, очень чувствительнымъ для его самолюбія, пораженіямъ. Надо было всѣми средствами отстоять честь своего знамени. А въ то-же самое время нѣсколько имѣвшихся въ королевскомъ распоряженіи ротъ и эскадроновъ пришлось разсылать по англійскимъ-же городамъ и графствамъ, чтобы застрашать общественное мнѣніе и сдѣлать его податливымъ на уступки. Букингамъ и другіе придворные увѣряли короля, что страну смущаютъ какіе-то злоумышленные агитаторы, которыхъ стоить только истребить для того, чтобы все пошло какъ по маслу. Этимъ искорененіемъ мнимой агитаціи Букингамъ ловко пользовался для удовлетворенія своей личной мести противъ лицъ, осмѣлившихся обвинить его во второмъ парламентѣ. Людей хватили по малѣйшему подозрѣнію, сажали въ страшную лондонскую башню или въ другія государственныя тюрьмы. Графъ Бристольскій былъ объявленъ государственнымъ измѣнникомъ... Все это, однакожь, только ухудшало положеніе. Неизвѣстно, до чего дошло-бы это крайне натянутое положеніе, еслибы сэръ Робертъ Коттонъ, одинъ изъ умѣреннѣйшихъ и почетнѣйшихъ представителей парламентской партіи, не рѣшился, наконецъ, принять на себя опасную роль посредника между королемъ и народомъ. Ему удалось убѣдить Карла I, что всѣ затрудненія и разногласія между королемъ и парламентомъ проистекали изъ недоразумѣнія, что парламентъ вовсе не имѣетъ предвзятаго намѣренія оспаривать его самодержавныя права, а желаетъ только, чтобы король обратилъ свое вниманіе на нѣкоторыя стороны административнаго и политическаго быта страны, несуществовавшія при его предшественникахъ, а потому и непредусмотрѣнныя прежнимъ законодательствомъ. Коттонъ ссылаясь на примѣръ Елизаветы, которая пользовалась властью, неуступавшей власти французскихъ и испанскихъ королей, но въ то-же время не пренебрегала представленіями парламентовъ и уступала имъ даже въ такихъ важныхъ дѣлахъ, какъ вопросъ о монополіяхъ.

Король склонился на миролюбивыя внушенія сэра Коттона и созвалъ новый парламентъ безъ предварительныхъ мѣръ, столь неудачно придуманныхъ въ 1626 г. Букингамомъ. Произвольно арестованные были освобождены, и всѣ политическія преслѣдованія въ странѣ прекращены. Парламентъ въ первомъ-же своемъ

засѣданіи привѣтствовалъ короля восторженными возгласами. Карлъ, однакожь, опасаясь, чтобы его уступчивость не была перетолкована въ дурномъ смыслѣ, счелъ нужнымъ открыть засѣданіе слѣдующею рѣчью: „Господа! я предоставляю каждому изъ васъ дѣйствовать такъ, какъ ему укажетъ совѣсть. Но если, чего Боже сохрани, вы откажете мнѣ въ томъ, чего требуютъ отъ васъ Богъ и отечество, если вы не исполните своей обязанности, то и, скрѣпя сердце, исполню свою. Я воспользуюсь всѣми средствами, предоставленными мнѣ отъ Бога, для того, чтобы побороть упорство немногихъ безумцевъ. Не принимайте этого за угрозу; въ моемъ положеніи не подобаетъ грозить“... и т. д.

За исключеніемъ этой своей вступительной рѣчи, король оказался, однакожь, крайне снисходителенъ и милостиво расположенъ къ парламенту. Преніямъ была предоставлена полная свобода, несмотря на то, что представители общинъ вовсе не думали покидать направленія, указаннаго двумя предыдущими парламентами, а нѣкоторые даже не считали нужнымъ скрывать раздраженія, вызваннаго въ нихъ недавними и, слишкомъ очевидно, незаконными дѣйствіями власти. Во главѣ преній скоро, однакожь, стала спокойная, разсудительная партія, считавшая въ своихъ рядахъ многихъ знаменитыхъ людей того времени изъ провинціального дворянства и изъ средняго сословія: старый Эдуардъ Кукъ, ученый юристъ Паймъ (Pym), молодой Дензиль Гольсъ (Hollis), младшій сынъ лорда Клэра и другъ дѣтства самого Карла. Всѣхъ болѣе выдавался по энергіи и обдуманности своихъ дѣйствій уже помянутый Томасъ Вентвортъ, которому только-что исполнилось тридцать лѣтъ. Всѣ они единодушно рѣшили, что было-бы ребячествомъ съ ихъ стороны раздражать короля пустымъ препирательствомъ о формальныхъ вопросахъ. Отказать въ приговорѣ о субсидіяхъ они не видѣли никакого основанія, такъ-какъ подобный приговоръ состоялся и въ первомъ парламентѣ Іакова I, имѣвшаго, конечно, не болѣе своего сына правъ на довѣріе страны и народа. Но всѣ точно такъ-же единодушно признавали, что англійскій политическій строй, созданный великою хартіею и послѣдующими статутами, устарѣлъ, недостаточно опредѣленъ и нуждается въ дополненіяхъ, если не въ измѣненіяхъ. Для палаты общинъ вопросъ о налогахъ или субсидіяхъ представлялъ совершенно второстепенный интересъ; но король только его одинъ и имѣлъ въ виду. Узнавъ, что парламентъ не намѣренъ отказать ему въ требуемомъ приговорѣ о субсидіяхъ, онъ радостно воскликнулъ: „Когда я вступилъ на отцовскій престолъ, я любилъ парламенты. Опыты первыхъ двухъ лѣтъ, не скрою, охладили меня къ этому учрежденію, но теперь я снова ощущаю радость своего общенія съ народомъ и

желаю только, чтобъ подобныя дни встрѣчались въ моей жизни какъ можно чаще: они доставятъ мнѣ во всемъ христіанскомъ мірѣ болѣе славы, чѣмъ множество побѣдъ, одержанныхъ надъ врагами“.

Оставалось порѣшить съ тою частью вопроса, которая, съ точки зрѣнія парламента, представлялась наиболѣе существенною, т. е. съ изданіемъ новаго статута. Король велѣлъ палатѣ общинъ собраться на торжественное засѣданіе вмѣстѣ съ лордами. Въ этомъ собраніи онъ объявилъ, что онъ намѣренъ свято соблюдать великую хартію и статуты своихъ предшественниковъ, но, что онъ не видитъ никакой надобности въ изданіи новаго закона.

Палата возразила, что всѣ прежніе статуты слишкомъ неопредѣленны, допускаютъ, при новыхъ условіяхъ, множество недоразумѣній и злоупотребленій, что выгоды обѣихъ сторонъ и спокойствіе страны равно требуютъ отчетливаго разграниченія парламентскихъ и королевскихъ правъ, а потому она и предлагаетъ на разсмотрѣніе его величества выработанный ею проектъ парламентской конституціи, ставшій впоследствии извѣстнымъ въ исторіи подъ названіемъ *Petition of rights*. Этотъ проектъ можно считать первымъ опытомъ англійской парламентской конституціи, въ томъ смыслѣ, въ какомъ эти слова понимаются теперь. Конечно, *Petition of rights* имѣетъ свои корни въ средневѣковыхъ англійскихъ учрежденіяхъ; но точно также мы вправѣ сказать, что и нынѣшняя конституція французской республики имѣетъ свои корни въ грамотахъ, дарованныхъ въ разныя времена Капетингами и бургонскими герцогами французскимъ корпораціямъ и городамъ. Франція, прежде чѣмъ перейти отъ средневѣковыхъ, феодальныхъ формъ къ болѣе современнымъ политическимъ учрежденіямъ, основаннымъ на законности, т. е. на договорѣ, должна была пережить долгій періодъ централизаціи, сперва монархической, потомъ республиканской и бонапартистской, т. е. въ обоихъ случаяхъ диктаторіальной. Англія своимъ островнымъ положеніемъ была освобождена отъ этого искуса, или, вѣрнѣе, она изжила этотъ централизаціонный свой періодъ втеченіи одного столѣтія, между Генрихомъ VIII и ганOVERскимъ домоу. Обыкновенно, на конституціонную хартію смотрятъ, какъ на взаимный договоръ между правительствомъ и народомъ. Этою односторонностію воззрѣній континентальныхъ реформаторовъ на этотъ предметъ и обусловливается неудача всѣхъ попытокъ перенесенія англійскихъ парламентскихъ учреждений на континентальную почву. Народъ, въ своей совокупности, представляетъ собою еще такое неразгаданное цѣлое, котораго истинныя требованія и стремленія не въ силахъ охватить и воплотить въ себѣ ни одинъ, самый мощный и просвѣщенный умъ. Англійскіе парламен-

„Дѣло“, № 6, 1879 г.

таристы тѣмъ именно и оказались сильнѣе въ исторіи, что они на конституціонную задачу смотрѣли гораздо проще. Ни лорды, ни палата общинъ никогда не приписывали себѣ опасной и сомнительной роли представителей цѣлой націи, народа, т. е. понятія почти-что мифическаго, совершенно неспособнаго формулировать свои требованія съ тою ясностью и опредѣленностью, безъ которыхъ всякій договоръ неизбѣжно становится призрачнымъ, фиктивнымъ, какъ-бы ни опутывали его юридическими хитросплетеніями и тонкостями. Совершенно иное дѣло—отдѣльная группа гражданъ, конкретно сплоченныхъ въ одно цѣлое невымысленными общими интересами. Такую группу въ средневѣковой Европѣ прежде всего составляли феодальные землевладѣльцы, которые, даже въ различныхъ странахъ, бывали часто одушевлены совершенно тождественными интересами, а потому неоднократно поддерживали другъ друга въ общей борьбѣ съ папами, императорами, королями, муниципалитетами, общинами, народомъ. Въ самомъ началѣ среднихъ вѣковъ мы уже повсюду видимъ статуты, жалованныя грамоты и т. п. конституціонныя учрежденія, которыя имѣютъ общій смыслъ договора цѣлой націи (изображаемой въ западной Европѣ, вообще говоря, королями) съ однимъ исключительнымъ сословіемъ, выгораживавшимъ, при помощи этихъ договоровъ, нѣкоторые свои сословные интересы изъ вѣденія коллективнаго произвола. Точно такимъ-же образомъ дѣйствовали и муниципалитеты, торговыя и промышленныя корпораціи и т. п. опредѣленныя группы гражданъ, сплоченныхъ въ одно цѣлое опредѣленными, общими интересами. Существенное различіе заключается здѣсь въ томъ, что такія группы договаривались съ націею или ея представителями не въ какихъ-нибудь общихъ принципахъ, а въ легко опредѣлимыхъ вещественныхъ интересахъ. Такіе договоры часто бывали мелочны, наивны, но они не имѣли эластичности и расплывчатости пресловутыхъ французскихъ *droits de l'homme* и т. п. благонамѣренныхъ пожеланій. Въ то время, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, промышленныя классы Англіи утратили уже въ значительной степени свою средневѣковую раздробленность и въ значительной степени сплотились въ одну обширную группу, которую, строго говоря, нельзя даже было-бы назвать сословіемъ, такъ-какъ границы ея не были опредѣлены ни сверху, ни снизу. Самый бѣдный разносчикъ или ремесленникъ одною счастливою операціею могъ разбогатѣть и вступить фактически въ разрядъ комонеровъ, представителемъ которыхъ служилъ парламентъ. Младшіе сыновья высшихъ аристократическихъ семействъ ежечасно пополняли эту группу сверху; а съ другой стороны, удачливый промышленникъ могъ быть пожалованъ титуломъ лорда. Несмотря, однакожь, на эту незамкнутость группы,

которую мы для краткости будемъ называть денежнымъ сословіемъ, она не претендовала въ Англіи на то универсальное значеніе, которое придавалъ ей во Франціи Сіэсъ (le tiers-état — c'est tout); она не договаривалась съ правительствомъ отъ имени народа, а пыталась только законно установить тѣ льготы и преимущества, которыя народъ, представляемый въ этомъ случаѣ королемъ, согласенъ признать за нею, въ обмѣнъ за точно такъ-же строго опредѣленныя повинности. Требовательность ея, весьма естественно, сдерживалась сверху тѣмъ, что если-бы она задѣла за-живое, интересы аристократическаго сословія, то оно сдѣлало-бы, въ союзѣ съ королемъ, дать ей отпоръ. Поэтому-то палата общинъ во всѣхъ рѣшительныхъ случаяхъ предварительно совѣщалась съ лордами. Съ народомъ она непосредственно не могла договариваться коллегіальнымъ путемъ, ибо онъ еще не дошелъ тогда до необходимой для этого степени сознанія своихъ интересовъ; но она не могла не сообразоваться вовсе въ своей требовательности и съ народными интересами, потому что еслибы она за-живое задѣла ихъ, то король, даже при неимѣннн регулярныхъ войскъ, легко-бы управился съ нею, при содѣйствіи народныхъ массъ, сильныхъ своею многочисленностью; смыслъ подобнаго протеста народныхъ массъ противъ излишней требовательности денежнаго сословія имѣли во Франціи обѣ имперіи, опиравшіяся на плебисциты.

Petition of rights, по поводу которой мы сочли нужнымъ это отступленіе, имѣла именно смыслъ такого эгоистическаго договора одного сословія съ націею вообще. Глубокое почтеніе, выказываемое корифеями этого третьяго парламента къ королю, было отнюдь не лицемѣріемъ: они, дѣйствительно, чтили короля, какъ представителя единства и цѣлостности англійской націи, съ которою они намѣревались вступить въ договоръ. Но заключеніе самого договора было для денежнаго сословія самою безотлагательною необходимостью, такъ-какъ промышленная и торговая дѣятельность менѣе всякой другой совмѣстима съ неизвѣстностью и неопредѣленностью. Палата лордовъ, съ своей стороны, не нашла ничего предосудительнаго въ предложенномъ палатою общинъ законопроектѣ; но такъ-какъ король упорно не соглашался на самую мысль новаго сословнаго договора съ парламентомъ, то лорды предложили отъ себя совершенно бессмысленную поправку къ *Petition of rights*, свидѣтельствующую только о томъ, что они мало интересовались исходомъ этого препирательства. Все это подало поводъ къ новымъ обсужденіямъ и преніямъ, при которыхъ мудрое правило—не раздражать короля неидущими прямо къ дѣлу заявленіями—неоднократно было забываемо. Тѣмъ не менѣе король, желая поскорѣе покончить безконечный вопросъ о субсидіяхъ, рѣшился,

наконецъ, признать *Petition of rights*. Вслѣдъ за этимъ признаніемъ тотчасъ-же состоялся парламентскій приговоръ о требуемыхъ субсидіяхъ. Затѣмъ, королю оставалось только отдѣлаться отъ неудобнаго и несговорчиваго собранія, которое, опираясь на новый статутъ, намѣрено было серьезно приступить къ преобразованію администраціи, согласно съ только-что признанными за нимъ правами и привилегіями.

Фанатикъ Фельтонъ, убійствомъ ненавистнаго Букингама, далъ неожиданно королю благовидный предлогъ, чтобы силою разогнать парламентъ, нескрывавшій своихъ враждебныхъ чувствъ къ этому пустому и безнравственному фавориту, неруководившемуся никакими государственными соображеніями и мечтавшему только о томъ, чтобы съ удовольствіемъ и выгодною для себя эксплуатировать свое высокое положеніе.

II.

Распущенный парламентъ не сохранилъ даже освященной королевскимъ признаніемъ *Petition of rights*, такъ-какъ король новымъ постановленіемъ немедленно отмѣнилъ законность своего перваго рѣшенія. Король торжествовалъ и, повидимому, принялъ рѣшеніе покончить вовсе съ парламентами. По англійскому обычаю, по крайней мѣрѣ одна сессія общинъ должна была собираться въ каждые три года, и вся предыдущая исторія Англій представляла единственный примѣръ пятилѣтняго промежутка между двумя собраніями парламента. Теперь-же прошло и три, и пять, и даже десять лѣтъ, а Карль I и не думалъ о парламентѣ. Въ одиннадцати-лѣтній періодъ времени, протекшій между убійствомъ Букингама и созваніемъ долгаго парламента (1640 г.). Карль былъ едва-ли не самымъ неограниченнымъ государемъ цѣлой Европы. На-мѣсто убитаго фаворита онъ скоро приобрѣлъ себѣ гораздо болѣе драгоцѣннаго и даровитаго помощника, въ лицѣ Томаса Вентворта, скоро сдѣланнаго лордомъ, а потомъ и графомъ Страфордскимъ, котораго мы уже знаемъ за одного изъ наиболѣе энергическихъ и умныхъ руководителей парламентской оппозиціи. Что собственно побудило Вентворта. во цвѣтъ лѣтъ столь радикально измѣнить однажды принятому имъ направленію? Это остается психологическою загадкою. Вентвортъ, безспорно, не былъ дюжиннымъ предателемъ, готовымъ во всякую данную минуту продать всякое первенство за чечевичную похлебку придворныхъ почестей. Впослѣдствіи, даже враги, требовавшіе его казни, не могли ему отказать въ извѣстномъ уваженіи, и онъ, дѣйствительно,

своею смертью показаль, что его измѣною руководили не одиѣ только мелкія, корыстныя побужденія. Графъ Страфордъ и епископъ Лоудъ, Звѣздная камера и Верховная комісія—эти два имени и эти учрежденія вмѣщаютъ въ себѣ все самодержавное царствованіе Карла I. При блестящемъ дворѣ, которому давала тонъ молодая королева, внучка Медичи, проникнутая до мозга костей французскими вкусами и склонностями, Вентвортъ, конечно, не могъ разсчитывать даже на самый умѣренный успѣхъ. Его провинціальное воспитаніе, его репутація отступника, самый его серьезный и тяжеловѣсный умъ—дѣлали его предметомъ насмѣшекъ для веселой и нарядной толпы, наполнявшей дворецъ короля и видѣвшей въ торжествѣ верховной власти надъ парламентаризмомъ только средство для того, чтобы беззаботно проводить жизнь среди утонченной роскоши и бездѣйствія. Вентвортъ легко поняль, что его мѣсто не въ этой вѣчно-ликующей средѣ и добровольно взяль на себя охотно уступленное ему бремя государственнаго управленія. Карлъ-же былъ твердо убѣжденъ, что самовластному государю самое приличіе какъ-будто повелѣваетъ имѣть подлѣ себя какого-нибудь Ришелье, т. е. полновластнаго великаго визиря или перваго министра, который-бы соединяль практическое знаніе дѣль съ нѣкоторою почтительностью. Вентвортъ отъ своей прежней дѣятельности сохраниль трезвый, прямой взглядъ на вещи. Онъ ясно видѣль, что существенная сторона дѣла сводится къ двумъ задачамъ: поставить короля въ независимое финансовое положеніе относительно общинъ и создать постоянное и сильное войско, которымъ-бы король могъ распоряжаться безотчетно, по своему усмотрѣнію. Эти двѣ задачи онъ преслѣдовалъ самыми разнообразными средствами, но съ рѣдкою неуклонностью и неутомимостью, не щадя ни другихъ, ни себя втеченіи всей своей одиннадцати-лѣтней придворной дѣятельности.

Прежде всего надлежало отдать финансовое управленіе въ честныя и скупыя руки. Для этой цѣли Вентвортъ выбралъ кэнтерберійскаго епископа Лоуда, который былъ назначенъ лондонскимъ архіепископомъ и получилъ вмѣстѣ съ тѣмъ распоряженіе государственною казною. Лоудъ былъ прирожденный инквизиторъ, человѣкъ ограниченный, фанатическій, черствый, скупой, придиричивый, мелочной, неподкупный, недоступный ни сомнѣніямъ, ни раскаянію. Безъ увлеченія, безъ злости, онъ былъ способенъ на самыя жестокія дѣла, совершая ихъ съ безчувственностью автомата, съ отчетливостью машины. Лоудъ былъ поглощенъ церковными дѣлами; но со времени Генриха VIII единственнымъ непреложнымъ пунктомъ англиканскаго вѣроисповѣданія было только полнѣйшее отождествленіе духовной власти со свѣтскою: король

становился на мѣсто римскаго папы. Вся-же догматическая и обрядная сторона измѣнялась почти постоянно, колеблѣсь между двумя противоположными полюсами: папизмомъ и кальвинизмомъ. При своей склонности ко всякимъ внѣшнимъ проявленіямъ и обрядамъ, Лоудъ скоро возстановилъ почти весь римско-католическій ритуаль. Кальвинизмъ, или, какъ въ Англіи говорили, пресвитеріанство, былъ ненавистенъ ему, потому что послѣдователи женеваго реформатора не признавали духовной іерархіи, епископства и выказывали стремленіе, какъ въ церковныхъ, такъ и въ свѣтскихъ дѣлахъ, къ коллегіальному республиканскому управленію. Преслѣдованіе пресвитеріанцевъ, распространившихся въ Англіи послѣ того, какъ вернулись бѣглецы, загнанные на континентъ католическою реакціе Маріи Тюдоръ, началось еще при Елизаветѣ. Учреждена была духовная инквизиція, подъ именемъ Верховной комисіи, продѣлывавшая надъ дисидентами и надъ католиками такіе-же точно ужасы, какіе въ Испаніи Торкемада и Пьетро Арбузъ продѣлывали надъ противниками римской курии. Мрачное и вмѣстѣ съ тѣмъ славное время Елизаветы вызвало въ умахъ англійскихъ диссидентовъ крайне-напряженное, восторженное настроеніе. Они ненавидѣли католицизмъ, называя его служеніемъ Ваалу, язычествомъ; они неудовлетворялись официальной реформой, совершенно основательно видя въ ней политической компромисъ, обусловленный вовсе не духовными и не философскими соображеніями. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, они понимали политическую необходимость этого компромиса, создавшаго для Англіи въ нѣсколько лѣтъ блестящее и могущественное положеніе среди католическихъ и протестантскихъ державъ Европы. Радѣя о спасеніи своей души, они далеко заходили въ своемъ отрицаніи католической и англиканской догматики; но они, изъ англійскаго патриотизма, признавали законность правительственныхъ преслѣдованій; искали этихъ преслѣдованій, какъ мученическаго вѣнца и, среди всякихъ истязаній и мукъ, пѣли хвалебные гимны королевѣ, нанесшей рѣшительный ударъ жрецамъ Ваала.

Само собою разумѣется, что эти мужественные люди, совмѣщавшіе въ себѣ восторженный патриотизмъ съ религиознымъ фанатизмомъ, презиравшіе земныя блага и самую жизнь, не имѣли никакого основанія относиться къ самовластію Вентворта и Лоуда такъ, какъ они относились къ деспотизму Елизаветы. Католическія симпатіи все болѣе проникали въ королевскій дворецъ, подъ вліяніемъ королевы и ея матери, Маріи Медичи, поселившейся въ Лондонѣ. Самъ Лоудъ получилъ отъ папы кардинальскій титулъ. Международное положеніе Англіи становилось двусмысленнымъ. Вентвортъ успѣшилъ закончить плохимъ миромъ войны,

неразсчитливо начатыя Карломъ при Букингамѣ, для того, чтобы исключительно заняться внутреннею политикою. Равнодушный къ религиознымъ препирательствамъ, Вентвортъ, однакожь, понималъ политическое значеніе диссидентовъ вообще и въ особенности той крайней партіи, которая, подъ именемъ индепендентовъ, пуританъ или круглоголовыхъ, рѣшительно отрицала какъ духовные, такъ и свѣтскіе авторитеты, открыто порицала развращенность и роскошь англиканскаго духовенства и двора, и проповѣдывала нравственное возрожденіе человѣчества, путемъ возвращенія къ библейской простотѣ и суровости быта. Верховная комисія, т. е. инквизиціонное судилище, учрежденное при Генрихѣ VIII, было возстановлено въ полной силѣ. Рядомъ съ нимъ Вентвортъ устроилъ совершенно подобную-же свѣтскую инквизицію, преобразовавъ для этого прежній тайный королевскій совѣтъ, носившій названіе „Звѣздной палаты“. Впрочемъ, свѣтскія и духовныя дѣла были уже въ это время такъ перемѣшаны, что трудно было-бы съ точностью сказать, гдѣ кончалось одно и начиналось другое вѣдомство. Для сѣверныхъ областей, въ Йоркѣ былъ устроенъ особый совѣтъ, вмѣщавшій въ себѣ одною и духовную, и свѣтскую инквизицію. Всѣ эти три судилища дѣйствовали наперекоръ всякимъ законамъ, руководясь однимъ только произволомъ высшихъ правительственныхъ сферъ, а нерѣдко также жадностью и жестокостью второстепенныхъ своихъ членовъ. Они вмѣшивались во все, и, по свидѣтельству историковъ, въ цѣлой Англій того времени не было ни одного сколько-нибудь выдающагося лица, которое не испытало-бы на себѣ ихъ варварской юрисдикціи. Приговоры отличались особенною свирѣпостью. Несмотря на то, что пытка въ Англій давно уже была отмѣнена, инквизиція Вентворта и Лоуда не пренебрегала и этимъ варварскимъ средствомъ.

Ирландія, завоеванная еще при Плантагенетахъ, пыталась постоянно низвергнуть съ себя ненавистное ей англійское иго. При Генрихѣ VII это ей удалось въ значительной степені, такъ-какъ въ это время англійскія владѣнія на этомъ островѣ ограничивались Дублиномъ и Лаутомъ, нѣсколькими приморскими городами и частями Мита и Кильдэра. Правда, съ тѣхъ поръ англійское владычество сдѣлало здѣсь большіе успѣхи. Англійская политика, по отношенію къ этой враждебной ей странѣ, отличалась постоянно крайнею безцеремонностью въ выборѣ средствъ. Однимъ изъ болѣе дѣйствительныхъ оказалось заселеніе ирландскихъ земель англійскими колонистами, которые, пользуясь своимъ привилегированнымъ положеніемъ, позволяли себѣ противъ туземцевъ всевозможныя насилія. Реформація внесла въ племенную вражду ирландцевъ съ англичанами еще новые, религиозные мотивы. Для

удержанія Ирландіи отъ возмущеній требовалось постоянное присутствіе сильныхъ гарнизоновъ. Къ тому-же англійскіе правители смотрѣли на свое назначеніе въ Ирландіи, какъ на средство обогащенія, и грабили нещадно и казну, и ввѣренный ихъ управленію народъ. Вентворту было важно избавить правительство отъ большихъ издержекъ по этой части и имѣть возможность распорядиться ирландскими гарнизонами для приведенія въ покорность самой Англии, гдѣ свирѣпости Лоуда и Звѣздной камеры только усиливали, а не подавляли всеобщее раздраженіе противъ правительства. Назначенный королевскимъ намѣстникомъ въ Ирландію, Вентвортъ-Страфордъ дѣйствуетъ и тамъ со своею обычною послѣдовательною жестокостію и противъ ирландцевъ, и противъ англичанъ. Здѣсь, по крайней мѣрѣ, ему довольно скоро удастся искоренить грабительство чиновниковъ, такъ-что Ирландія, прежде требовавшая постоянныхъ издержекъ, подъ его управленіемъ начинаетъ сама обогащать государственную казну своими доходами. Для Страфорда-же каждая копейка была важна, такъ-какъ она устранила необходимость обращаться къ парламенту или прибѣгать къ открытому грабежу для пополненія правительственныхъ кассъ, въ которыхъ, при всей скарденности Лоуда, и самъ король, и въ особенности его свита, производили чувствительныя опустошенія. Для пополненія ежечасно грозящаго дефицита, Вентвортъ придумываетъ самыя разнообразныя увертки.

Мы уже говорили, что старые статуты предоставляли королю право, въ случаѣ войны и для защиты береговъ, требовать отъ приморскихъ городовъ снаряженія на ихъ счетъ военныхъ флотилій. Вентвортъ рѣшился обратить это постановленіе въ постоянный казенный доходъ, распространивъ его не на одни только береговые, но и на всѣ англійскіе города, съ тѣмъ, чтобы они, вмѣсто судовъ и людей, вносили въ казну деньги, которыя будутъ употреблены на организацію новыхъ военныхъ отрядовъ. Это постановленіе (ship money) вызвало во всей странѣ единодушный ропотъ, но Вентвортъ приказалъ мѣстнымъ властямъ слѣдить съ нарочитою строгостію за сборомъ этого произвольнаго налога.

Какъ ни безнадежно было положеніе въ странѣ, гдѣ сами судьи и адвокаты вынуждены были ежечасно трепетать передъ Звѣздною камерою или Верховною комисіею, одинъ богатый дворянинъ изъ графства Букингамъ, Джонъ Гемпденъ (Hampton) рѣшился, однакожь, попытать давно оставленный путь законной оппозиціи. Онъ наотрѣзъ объявилъ, что не будетъ платить новаго налога до тѣхъ поръ, пока не будетъ приговоренъ къ уплатѣ правильнымъ судомъ, и что скорѣе готовъ лишиться всего своего имущества, чѣмъ внести противозаконно взыскиваемые съ него нѣсколь-

ко шилинговъ. При чисто-британской настойчивости, Гемпдену удалось, несмотря на всѣ происки администраціи, добиться, наконецъ, того, что дѣло было предано суду. Страфордъ пустилъ въ ходъ всѣ имѣвшіеся въ его рукахъ административные ресурсы, но достигъ только того, что запуганные судьи очень ничтожнымъ числомъ голосовъ приговорили Гемпдена къ уплатѣ. Процессъ этотъ имѣлъ громадную огласку во всей странѣ и доставилъ Гемпдену огромную популярность. Нѣсколько шилинговъ, уплаченные имъ, слабо вознаграждали правительство за поражение, скрывавшееся подъ этою побѣдою; но Страфордъ съумѣлъ и эту неудачу обратить въ свою выгоду. Онъ объявилъ, что коль-скоро судъ признаетъ законность этого военно-морского налога, хотъ и непредвидѣннаго прежними статутами, то нѣтъ уже никакого основанія не признавать также и военно-сухопутный налогъ, который онъ намѣревался уже обнародовать, когда событія приняли неожиданный ходъ, благодаря излишнему усердію его помощниковъ, т. е., главнѣйшимъ образомъ, епископа Лоуда и самого короля.

Пока подвиги Звѣздной камеры и Верховной комисіи ограничивались собственно Англіею, они несомнѣнно возбуждали повсемѣстное негодованіе и приготавлиали въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ страшный взрывъ; но самое торговое и промышленное развитіе англійскаго третьяго сословія дѣлало его по необходимости выносимымъ и терпѣливымъ. Привыкшіе къ легальному парламентскому образу дѣйствій, англійскіе оппозиціонисты еще долго могли-бы выжидать удобной минуты, чтобы сломить абсолютистскіе замыслы правительства одною только силою общественнаго мнѣнія, не прибѣгая къ оружію и къ возбужденію народныхъ страстей. Вентвортъ на это и рассчитывалъ, а потому онъ и торопился такъ съ исполненіемъ своей заповѣдной мечты—созданія сильной и покорной арміи, которая, состоя на жалованьи короля, была-бы чужда всякихъ гражданскихъ стремленій. Но ни самъ Карлъ, ни другіе его помощники не имѣли дальновидности и трезвости взглядовъ Вентворта. Въ особенности фанатическій Лоудъ сгоралъ нетерпѣніемъ подчинить пресвитеріанскую Шотландію своей религіозной программѣ. По его настоянію, Карлъ рѣшился, вопреки предостереженіямъ Страфорда, обнародовать въ Шотландіи указъ, дѣлавшій тамъ обязательнымъ англиканскую литургію. Этого было совершенно достаточно для того, чтобы доблестные потомки Дугласовъ забыли, что король, подписавшій этотъ указъ, по праву рожденія принадлежитъ имъ. Впрочемъ, это не даетъ еще ни малѣйшаго права обвинять шотландцевъ въ недостаткѣ національнаго чувства или въ неблагодарности къ королю, который будто-бы доставилъ шотландскому племени первенство на великобританскомъ

островѣ. Ставъ королями Англїи и Шотландїи, Стюарты очень скоро забыли свое шотландское происхожденіе и даже пренебрегли своею страню, никогда неотличавшеюся особенною нѣжностью къ ихъ династїи, бывшей популярною только въ средѣ полудикихъ горцевъ. При обнародованїи указа о литургїи, во всѣхъ классахъ шотландскаго населенїя вспыхнуло нешуточное волненїе. Въ Эдинбургъ стали стекаться отовсюду люди всѣхъ званїй, готовые, съ оружіемъ въ рукахъ, отстаять свободу однажды принятаго ими вѣроисповѣданїя. На площадяхъ и улицахъ шотландской столицы образовался цѣлый вооруженный лагерь. Тайный совѣтъ былъ буквально осажденъ, и члены его были вынуждены подписать петицію, отправленную королю и заключающую въ себѣ обвиненїе англиканской церкви въ низкопоклонничествѣ передъ властями и въ языческихъ суевѣрїяхъ. Когда-же король отвѣчалъ подтвержденїемъ своего первоначальнаго эдикта, то два шотландскїе лорда, Юмъ и Линдсэ, отъ имени своихъ согражданъ издали протестъ и призывали народъ къ возстанїю. 1 марта 1638 г. составленъ былъ союзный договоръ подъ именемъ *ковенанта*, разосланный во всѣ города и мѣстечки Шотландїи и повсюду встрѣченный съ единодушнымъ восторгомъ. Меньше шести недѣль понадобилось для того, чтобы вся Шотландїя возстала поголовно, за исключенїемъ города Эбердина и нѣсколькихъ тысячъ католиковъ. Издана была прокламація къ англїйскому народу, въ которой объяснялось, что начинаемое возстанїе не руководствовалось побужденїями національной вражды, а велось только во имя религіозной и гражданской свободы. Нечего и говорить, что огромное большинство англїйскаго населенїя и вся безъ исключенїя парламентская партїя откликнулись восторженно на этотъ призывъ, и если не взялись за оружіе, то, можетъ быть, главнѣйшимъ образомъ, потому, что шотландскїе инсургенты и не нуждались въ вооруженномъ содѣйствїи. Войска, наскоро собранныя королемъ, неохотно шли въ Шотландїю и встрѣчали на пути всякаго рода препятствїя, искусно создаваемыя англїйскими друзьями шотландскихъ инсургентовъ. Вождь ихъ, графъ Эссексъ, не могъ собрать нигдѣ необходимыхъ предварительныхъ свѣдѣній о размѣрахъ и ходѣ возстанїя. Ему, однакожь, удалось безпрепятственно пройти въ Бервикъ, гдѣ инсургенты были еще въ маломъ числѣ и не отваживались на битву въ открытомъ полѣ. Зато лордъ Голландъ, проникшїй въ Шотландїю съ другимъ отрядомъ, былъ почти немедленно разбитъ и вынужденъ къ отступленїю въ англїйскїе предѣлы. Самъ король съ торжествомъ и пышною обстановкою направился къ сѣверу. Устроивъ временно въ Йоркѣ свою главную квартиру, онъ обратился къ своимъ феодаламъ, призывая ихъ, какъ ленныхъ васа-

ловъ, явиться съ оружіемъ и ратными людьми на защиту его нравъ. Бароны и лорды отвѣчали, однакожь, очень холодно на этотъ призывъ, а нѣкоторые изъ нихъ даже состояли въ тайныхъ сношеніяхъ съ повстанцами. Карль, которому его придворные рисовали шотландское возстаніе чуть-что не въ шутовскихъ чертахъ, началъ убѣждаться, что положеніе его не такъ блестяще, какъ думали при дворѣ. Наконецъ, даже самъ Лоудъ совѣтовалъ примириться, по крайней мѣрѣ на-время, съ шотландцами. Миръ, дѣйствительно, былъ заключенъ, но обѣ стороны равно не вѣрили въ его прочность. Шотландцы не хотѣли даже распускать своей арміи. Король чувствовалъ себя униженнымъ. Казна его была истощена; Страфордъ былъ въ Ирландіи; придворная партія интриговала противъ него, но Карль въ его отсутствіи рѣшительно не зналъ, на что рѣшиться. „Шотландскій ковенантъ идетъ далеко,—писалъ онъ ему, призывая его немедленно ко двору,—гораздо дальше, чѣмъ мы думали. Я имѣю еще много другихъ причинъ желать видѣть васъ при себѣ, но въ письмѣ объяснить ихъ неудобно“.

Страфордъ явился и на вопросъ короля: что дѣлать? отвѣчалъ коротко: „добить этихъ людей, пока они не образумятся“.

Но и для того, чтобы бить, надобны были деньги. Страфордъ поѣхалъ назадъ въ Ирландію, обѣщая, во что-бы то ни стало, достать денегъ и людей; но для этого требовалось не мало времени, а Карлу тяжело было выносить сознаніе, что шотландцы, которые добромъ ничего не могли добиться отъ него, заставили его уступить имъ все, взявшись за оружіе. Совершенно неожиданно ему попался въ руки документъ, свидѣтельствовавшій, что шотландскіе инсургенты состояли въ связяхъ съ герцогомъ Ришелье. По мнѣнію короля, этотъ документъ долженъ былъ нанести роковой ударъ популярности ковенанта въ Англии. Въ отсутствіе Страфорда Карль рѣшился на энергическій шагъ: созвать парламентъ, уличить передъ нимъ шотландцевъ въ сношеніи съ иностраннымъ дворомъ и требовать денегъ и средствъ для наказанія ихъ за измѣну.

Созваніе парламента весною 1640 г. удивило всѣхъ. Приверженцы умѣреннаго и легальнаго образа дѣйствій торжествовали. „Богъ наградила насъ за долготерпѣніе,—говорили они радостно;—Онъ просвѣтилъ сердце короля и вдохновилъ его вернуться на путь истины“. Парламентаристы болѣе сангвиническаго направленія: Гемпденъ, Сан-Джонъ, Гайдъ (Кларендонъ), Паймъ и друг., возражали съ неменьшимъ основаніемъ, что „этою неожиданною уступкою они обязаны рѣшительности и мужеству шотландцевъ“. Въ странѣ, тѣмъ не менѣе, воцарилось благодушное настроеніе.

Приняты были мѣры, чтобы палата ненужною рѣзкостью выраженій не оскорбила какимъ-нибудь образомъ короля. Король, однакожь, не обратилъ на уступчивость палаты общинъ ни малѣйшаго вниманія. При самомъ открытіи собранія, онъ уже обошелся съ депутатами и со спикеромъ (президентомъ) рѣзко и сурово, объявивъ, что единственною побудительною причиною къ созванію палаты общинъ на этотъ разъ послужилъ фактъ очевидной государственной измѣны шотландцевъ, и что онъ приглашаетъ палату немедленно приступить къ обзору документовъ, доказывающихъ эту измѣну, и затѣмъ постановить приговоръ о выдачѣ королю субсидій, необходимыхъ для того, чтобы наказать шотландскихъ инсургентовъ за ихъ преступныя дѣйствія.

Палата почтительно и единодушно возражала, что фактъ государственной измѣны шотландцевъ имѣетъ уже мало значенія послѣ бервикскаго мира; что дѣла, дѣлающіяся въ самой Англій, втеченіи послѣднихъ десяти или одиннадцати лѣтъ, заслуживаютъ гораздо больше вниманія; что, во всякомъ случаѣ, парламентскія пренія имѣютъ свой искони установленный порядокъ, который не слѣдуетъ нарушать безъ крайней необходимости, а ея-то они и не видятъ въ данномъ случаѣ. Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ сломить упорство парламента, король распустилъ собраніе, засѣдавшее всего три или четыре недѣли, въ первыхъ числахъ мая. Нѣкоторые вліятельнѣйшіе члены этого парламента: сэръ Джонъ Чаттамъ, Генрихъ Беллэзисъ, Крю, были арестованы и посажены въ башню. У другихъ произвели обыски, въ надеждѣ найти документы, которые доказывали-бы ихъ тайныя сношенія съ лигою ковенанта. Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что большая часть очень почтенныхъ англійскихъ дѣятелей, даже нѣкоторые лорды, впослѣдствіи прославившіеся своимъ роялизмомъ, въ это время состояли въ дѣятельной связи съ ковенантистами, помогали имъ деньгами и обѣщали, въ случаѣ надобности, идти съ оружіемъ въ рукахъ имъ на помощь. Но до поры—до времени степенная англійская аристократія и среднее сословіе считали благоразумнымъ удержаться отъ вооруженнаго возстанія, предвидя, что Вентвортъ и король недостаточно сильны для борьбы даже съ одними только шотландцами. А потому со стороны самой парламентской партіи приняты были мѣры, чтобы обуздать площадное волненіе. Это, однакожь, не всегда удавалось. Народъ осадилъ дворецъ епископа Лоуда, который самъ едва спасся въ покояхъ короля. Церковь св. Павла, гдѣ засѣдалъ духовный трибуналъ, была также окружена толпою народа съ криками: „долой епископовъ! Долой инквизицію!“ Въ графствѣ Йоркъ все дворянство рѣшилось послѣдовать примѣру Гемпдена, т. е. не платить Стра-

фордомъ наложенныхъ сборовъ. Шотландцы, будучи немедленно извѣщены о распущеніи собранія, сами нарушили бервикскій миръ и перешли къ наступательному образу дѣйствій, вступивъ въ англійскіе предѣлы.

Страфордъ, больной, раздраженный придворными интригами, спѣшилъ на помощь къ королю. Ему удалось получить отъ ирландскаго парламента много обѣщаній и кое-какія деньги. Кромѣ того, паписты всего королевства добровольно дали до 300,000 фунтовъ стерлинговъ. Всего этого было слишкомъ недостаточно; но Страфордъ повималъ, что наступилъ часъ рѣшительной борьбы, и не хотѣлъ сдаваться безъ боя. А между тѣмъ войска, выставленныя противъ шотландцевъ съ большими издержками, либо отказывались драться, такъ-какъ сами они сочувствовали инсургентамъ, либо-же были легко разбиваемы. Инсургенты перешли за Твидъ и за Тэйнь и подступили къ самому Йорку. Тогда Страфордъ рѣшился принять на себя начальство надъ дѣйствующею арміею, но своею жестокостію добился только того, что офицеры отказывались служить подъ его начальствомъ и что его чуть не растерзали собственные солдаты.

Доведенный до послѣдней крайности, но не желая созывать новый парламентъ, который не могъ въ этомъ случаѣ не заставить его отказаться отъ своихъ властолюбивыхъ замысловъ, Карль обратился къ лордамъ, прося у нихъ помощи и денегъ. Лорды отнеслись весьма несочувственно и холодно къ этому обращенію. Они ссудили королю ничтожную сумму денегъ, но отказались наотрѣзъ поставить войско и единодушно совѣтовали обратиться къ парламенту.

Продолжать войну было невозможно, но мириться также было нельзя, потому что шотландцы не положили-бы оружія, сознавая себя авангардомъ англійской оппозиціи. Въ этой-то крайности король обнародовалъ, наконецъ, указъ о новыхъ парламентскихъ выборахъ, которые были произведены на этотъ разъ въ крайне оппозиціонномъ духѣ. Тщетно администрація усиливалась оказывать на нихъ хоть нѣкоторое вліяніе. Когда разнесся слухъ, что король прочитъ въ президенты скромнаго, но всѣми уважаемаго Гардинера, то этого оказалось вполне достаточно, чтобы, довольно популярный въ оппозиціонной средѣ, старикъ этотъ былъ забалотированъ. Выбирались преимущественно лица, подвергшіяся правительственнымъ преслѣдованіямъ, томившіяся въ тюрьмѣ, по распоряженію звѣздной камеры и верховной комисіи. Онѣ явились снова на свѣтъ божій, измученныя, иногда изувѣченныя. Нѣкоторымъ обрѣзаны были уши, другія доведены до истощенія и неизлечимыхъ болѣзней лишеніями и дурнымъ обращеніемъ. Король снова звалъ

Страфорда, но этотъ пронизательный тиранъ понималъ, что ихъ партія сыграна, что собирается не совѣщательное собраніе, а грозный судъ надъ нимъ и его помощниками. „Я вашему величеству не помогу, а только ухудшу положеніе своимъ присутствіемъ“, писалъ онъ на призывъ короля и не торопился въ Лондонъ.

Въ ноябрѣ того-же 1640 г. собралось, наконецъ, въ вестминстерскомъ абатствѣ грозное собраніе, оставившее по себѣ неизгладимую память въ исторіи, подъ именемъ „долгаго парламента“ и вмѣщающее въ себѣ одною цѣлый бурный періодъ политической исторіи Англіи.

Король не отправился торжественнымъ шествіемъ, верхомъ, съ парадною свитою, по главнымъ улицамъ Лондона, на открытіе этого парламента: онъ незамѣтно проскользнулъ на лодкѣ по Темзѣ. но, произнося свою тронную рѣчь, онъ сумѣлъ войти въ любимую свою роль повелителя и гордо заявилъ, что онъ и эту палату созвалъ только для того, чтобы она вручила ему средства наказать шотландскихъ мятежниковъ.

Его не слушали.

Парламентъ въ первой своей сесіи, длившейся почти цѣлый годъ, дѣйствовалъ спокойно, рѣшительно, безъ споровъ, единодушно, какъ одинъ человекъ, и только значительно послѣ обнаружилось, что составъ его, какъ въ сословномъ, такъ и въ ораторскомъ отношеніи, былъ крайне разношерстный. Немедленно, безъ шума и громкихъ фразъ, столь обычныхъ въ подобныхъ случаяхъ, былъ постановленъ цѣлый рядъ органическихъ мѣръ: уничтожена звѣздная камера, верховная комисія и йоркскій совѣтъ; постановлено, что жертвы духовной и свѣтской инквизиціи, потерпѣвшія увѣчья или разстройство здоровья въ тюрьмѣ, получаютъ денежное вознагражденіе на-счетъ націи. Было узаконено, что парламентъ непременно долженъ быть собираемъ въ каждые три года разъ, хотя бы и не послѣдовало на то королевскаго соизволенія. Впослѣдствіи было прибавлено, что король не имѣетъ права распускать парламентъ или отсрочивать его засѣданія безъ согласія обѣихъ камеръ. Наконецъ, было рѣшено, что Страфордъ, Лоудъ и государственный канцлеръ Финчъ будутъ преданы суду. Финчу дали возможность бѣжать; Лоудъ-же и Страфордъ были отправлены въ башню, въ которой они переморили столько невинныхъ жертвъ. Лоудъ, физически слабый и вѣчно плаксивый, смотрѣлъ, однакожь, на свое плѣненіе, какъ на мученичество. Страфордъ, которому только-что минуло въ это время сорокъ лѣтъ, защищался краснорѣчиво и смѣло передъ судомъ и шелъ на казнь съ заявленіемъ гордаго презрѣнія къ своимъ судьямъ. Слѣдуетъ замѣтить, что самыми безпощадными обвинителями Страфорда были люди, вио-

слѣдствіи обнаружившіе крайнія роялистскія стремленія и запечатлѣвшіе свою преданность королю тяжелыми жертвами и искупленіями: Гайдъ, Фалькляндъ, Кульпенеръ и многіе другіе.

Въ сентябрѣ 1641 г. парламентъ прекратилъ свои засѣданія на шесть недѣль. Король, пользуясь этими вакаціями, уѣхалъ въ Шотландію. Поѣздка эта долго казалась загадкою, такъ-какъ, при гордости и властолюбіи Карла, ему не могло не быть въ высшей степени непріятно очутиться лицомъ къ лицу съ этими мятежниками, которые такъ легко силою добились отъ него гораздо больше того, въ чемъ онъ отказалъ имъ съ насмѣшкою и угрозами, когда они просили добромъ. Въ Эдинбургѣ онъ, ненавистникъ кальвинизма и реформаторскаго вольномыслія, каравшій увѣчьями авторовъ и издателей религиозныхъ брошюръ, вынужденъ былъ съ набожнымъ видомъ присутствовать при пресвитеріанскихъ богослуженіяхъ, выслушивать безконечныя проповѣди пуританскихъ проповѣдниковъ, не всегда краснорѣчивыя, но неизмѣнно переполненныя язвительными выходками противъ придворнаго разврата и идолопоклонства англиканской церкви... Загадка эта разъяснилась только впоследствии: какъ утопающій хватается за соломинку, такъ Карлъ I ухватился за планъ, завѣщанный ему Страфордомъ: явиться обвинителемъ въ парламентъ и уличить оппозиціонную партію въ измѣнническихъ сношеніяхъ съ лигою ковенанта. А между тѣмъ, до сихъ поръ въ палатѣ общинъ не было произнесено еще ни слова, оскорбительнаго лично для короля, котораго даже усиленно старались очистить отъ всякаго обвиненія, избравъ очистительными жертвами ненавистныхъ Страфорда и Лоуда.

Въ то самое время, какъ король настойчиво искалъ въ Шотландіи обвинительныхъ документовъ противъ вождей оппозиціи, обѣщанныхъ (и дѣйствительно доставленныхъ) ему нѣкимъ юнымъ шотландскимъ лордомъ, въ самомъ Уайт-голлѣ, т. е. королевскомъ дворцѣ, велась другого рода интрига, имѣвшая цѣлью получить изъ католической Франціи вооруженную помощь. Теща короля, Марія Медичи, бывшая средоточіемъ этой интриги, была почтительно удалена изъ Англіи, по распоряженію парламента, который даже выдалъ ей 300,000 фунт. стерлинговъ на дорогу. Деньги эти пришлось занимать, подъ гарантію состоятельнѣйшихъ членовъ парламента, но онѣ были найдены безъ всякаго затрудненія, въ одинъ день.

Въ первую-же свою сесію долгій парламентъ исчерпалъ ту часть своей программы, относительно которой всѣ сословія и партіи (за исключеніемъ короля, королевы и ихъ придворной свиты) были вполне согласны между собою. При открытіи новой сесіи, когда возникъ вопросъ о представленіи королю парламентска-

го постановленія, которымъ строго осуждались его попытки самовластнаго управленія страню, несообразнаго съ великою хартиєю, вестминстерскимъ статутомъ и имъ самимъ однажды признанною *Petition of rights*, то въ парламентѣ обнаружилась уже двѣ партіи, впоследствии преобразившіяся въ *ториевъ* и *виговъ*, но въ долгомъ парламентѣ окрещенныхъ прозвищами *кавалеровъ* и *круглоголовыхъ*. Во главѣ первыхъ стоялъ Фалькландъ, во главѣ вторыхъ — Гемпденъ и Паймъ. Заявленіе, предложенное круглоголовыми, послѣ долгихъ препирательствъ, прошло, наконецъ, большинствомъ только *одинадцати* голосовъ. Это показываетъ, что даже въ то первое время, когда страсти не успѣли еще улечься, когда недавнія жертвы звѣздной камеры еще, можетъ быть, физически страдали отъ претерпленныхъ ими бѣдъ, — партія королевская или кавалерская была уже равносильна партіи оппозиціи. Не подлежало никакому сомнѣнію, что еслибы дѣлу былъ предоставленъ его естественный ходъ, то роялисты скоро составили-бы большинство въ долгомъ парламентѣ.

На-бѣду, Карлъ явился триумфаторомъ изъ Шотландіи: желанные документы были въ его рукахъ. Не совѣщаясь ни съ кѣмъ, онъ приказалъ прокурору (*attorney-general*) издать противъ Гемпдена, Пайма и Голлиса обвинительный актъ. Сгорая нетерпѣніемъ, онъ самъ, наперекоръ всѣмъ обычаямъ, ворвался во главѣ вооруженнаго отряда въ залу собранія, чтобы скорѣе захватить обвиняемыхъ. Ихъ тамъ не было.

Отношеніе двухъ парламентскихъ партій измѣнилось, какъ-бы по мановенію волшебнаго жезла. Большинство двухъ третей голосовъ было постановлено въ тотъ-же день окружить домъ парламента (вестминстерское абатство) вооруженнымъ отрядомъ. Волненіе перешло на улицу. Негодующая толпа бросилась ко дворцу. Стража едва успѣла запереть ворота. Оппозиція уже имѣла въ виду, подъ видомъ охраненія личной безопасности короля и его семьи, окружить его своимъ войскомъ. Но Карлъ заблаговременно бѣжалъ изъ Лондона, побѣжденный, но еще несдавшийся.

Не задолго передъ этою катастрофою вспыхнуло возстаніе въ Ирландіи, въ Ульстерѣ. Вентвортъ своею администраціею приготовилъ тамъ повсюду такое количество горючаго матерьяла, готоваго вспыхнуть при первомъ удобномъ случаѣ, что возстаніе быстро разливалось по цѣлому острову. Ирландцы просто ненавидѣли своихъ завоевателей, мало интересовались политическою жизнью Англіи и готовы были въ каждую данную минуту сбросить съ себя ненавистное иго. Но они были католики: это устанавливало между ними и королевою нѣкоторую связь, и дворъ рѣшился эксплуатировать эту связь до крайнаго предѣла. На силы

однихъ ирландцевъ расчитывать, конечно, было нельзя. Король обратилъ послѣдній, отчаянный кличъ къ своему феодальному дворянству. На этотъ разъ не только придворная аристократія, но и многіе изъ лордовъ, совѣтовавшихъ королю всего только годъ тому назадъ обратиться на исконный парламентскій путь, теперь ревностно откликнулись на его призывъ. Обстоятельства съ тѣхъ поръ измѣнились самымъ радикальнымъ образомъ. Не только парламентъ оказывался во власти одной партіи, но весь національный политическій строй Англіи распался, распался во всѣ стороны, „какъ гнилая рыба“. Надлежало его возсоздать, а подобныя задачи не рѣшаются парламентскимъ путемъ. Въ парламентской сесіи, какъ мы уже сказали, дозрѣвшая до конкретнаго сознанія своихъ интересовъ общественная группа очень удобно можетъ уговариваться въ своихъ льготахъ и привилегіяхъ съ цѣлю націею, изображаемою правительствомъ и представителями другихъ такихъ-же привилегированныхъ группъ. Но съ бѣгствомъ короля, въ Англіи лицомъ къ лицу очутились двѣ привилегированныя группы, а національнаго представительства не существовало: не передъ кѣмъ было договариваться, некому было санкціонировать состоявшійся договоръ. Король, въ лагерѣ своихъ воинственныхъ кавалеровъ, становился такимъ-же инсургентомъ, какъ и послѣдній пуританскій сектаторъ съ гладко-остриженной головой, въ неряшливой темной одеждѣ, съ поднятыми къ небу глазами заряжавшій ружье и призывавшій гнусливымъ голосомъ къ себѣ на помощь бога побѣдъ въ истребительной войнѣ, которую онъ начиналъ съ нечестивыми агарянами.

Вызовъ, впрочемъ, шелъ не съ его стороны. Воспитанный въ торговой средѣ, онъ не боялся пуля, но мужество не цѣнилъ и лучшаго не желалъ, какъ чтобъ ему уступили безъ боя.

Викторъ Васардинъ.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Наши весенніе толки, повторяемые изъ года въ годъ двадцать пять лѣтъ.—Компетентность читателя и печати.—Мнѣніе о печати „Отголосковъ“ и „Молвы“.—Точно-ли печать такая вліятельная сила, и насколько ея слово получаетъ наши вѣси, города и земства?—А между тѣмъ читатель истинно ждетъ отъ печати своего спасенія и желаетъ, чтобы она стояла на высотѣ своего призванія.

Каждая весна начинается у насъ пожарами. Такъ оно было и нынче. За пожарами слѣдуютъ жалобы на плохой урожай, на жары и засухи, на сусликовъ, на жучковъ, на саранчу. Всѣ эти острия бѣдствія повторяются изъ года въ годъ. Хотя имъ посвящаются постоянныя корреспонденціи изъ провинціи, написанныя весьма краснорѣчиво, но краснорѣчіе литераторовъ провинціальныхъ ужъ потому пропадаетъ безслѣдно, что ихъ корреспонденцій публика не читаетъ. Да и зачѣмъ ихъ читать? И вы, и я, и третій, и десятый очень хорошо знаемъ, что намъ ничего не подѣлать ни противъ засухи, ни противъ сусликовъ, ни противъ саранчи, что противъ нихъ ничего не можетъ подѣлать даже земство. Новороссійскій край въ послѣдніе двадцать лѣтъ чуть-ли не превратился въ неплодную почву, и жалобы на его хроническіе неурожаи уподобились плачу Іереміи; но развѣ отъ всего этого югу Россіи стало лучше? Что-же удивительнаго, что читатель газетъ и журналовъ, которому Іеремія преподноситъ постоянно свои слезы и жалобы, наконецъ, махнетъ рукой. Читающая публика, конечно, права, и ее едва-ли можно обвинить въ равнодушій или въ отсутствіи патриотизма. Публика очень хорошо знаетъ, что она только публика. Она читаетъ о бѣдствіяхъ, она можетъ объ нихъ разсуждать, но дальше чтеній и разсужденій ея компетентность не простирается. Публика очень хорошо знаетъ, что какъ-бы она ни относилась къ сусликамъ, къ неурожаямъ, къ саранчѣ, какъ-

бы ея критической мысли ни было ясно все, что происходитъ въ русскихъ поляхъ, лѣсахъ и деревняхъ, но никто не спроситъ ея мнѣнія, и всѣ дѣла будутъ идти своимъ порядкомъ. Конечно, публикѣ должно быть обидно, что она не изображаетъ собою общественнаго мнѣнія, но такъ-какъ она къ этому давно привыкла, то и перестала огорчаться. Казалось, что и печати нужно-бы давно освоиться съ такимъ порядкомъ вещей, но печать оказывается гораздо мужественнѣе своихъ читателей и съ „энергіей, заслуживающей лучшей участи“, продолжаетъ создавать общественное мнѣніе.

Эта игра въ жмурки не разъ вызывала въ нашей печати сѣтованія и обвиненія, которыя, конечно, не вели ни къ чему. Обвинялась то печать, то публика, и въ-концѣ-концовъ обвиненія и взаимныя неудовольствія превратились въ такой-же хроническій недугъ, какъ засуха, саранча и жучки въ новороссійскомъ краѣ. Недавно еще разъ „Отголоски“ обвинили наши газеты и журналы въ томъ, что они служатъ органами издателей и редакторовъ, а не изображаютъ собою представительства мнѣній своихъ читателей. „Молва“ сочла необходимымъ вступить за печать и начала доказывать, что наша печать, какъ и печать всякой другой страны, хотя и не можетъ высказываться „съ желательною полнотою, ясностію и опредѣлительностію“, но тѣмъ не менѣе служить такимъ-же полноправнымъ отраженіемъ общественныхъ мнѣній, какъ и на западѣ Европы. „Молва“ находитъ, что у насъ, какъ въ Европѣ, существуютъ два главныхъ направленія политическихъ мнѣній и съ тѣми-же крайними оттѣнками. Это дѣленіе, по словамъ „Молвы“, настолько точно и рѣзко, и органы нашей журналистики настолько опредѣлительны въ своемъ направленіи, что опытный читатель никогда не сдѣлаетъ ошибки и всегда угадаетъ, которому изъ извѣстныхъ органовъ принадлежитъ та или другая статья. „Молва“ даже думаетъ, что русскія газеты въ этомъ отношеніи не отличаются ничѣмъ отъ англійской печати и что „англійская газета настолько-же можетъ считать себя полноправною выразительницею общественнаго мнѣнія, какъ любая изъ русскихъ газетъ“. Но позвольте. Если вы сами говорите, что не высказываетесь съ „ясностію и опредѣлительностію“, то какъ-же вы можете отражать общественное мнѣніе, служить его выразителемъ, а еще больше воспитывать его? Вы говорите, что у насъ существуютъ тѣ-же двѣ главныхъ группы мнѣній съ ихъ крайними оттѣнками и что, какими-бы правами въ будущемъ ни пользовалась наша печать, „онѣ никогда не сдѣлаются болѣе полноправнымъ выразителемъ общественнаго мнѣнія, какими онѣ являются въ настоящее время“. Откровенно говоря, мы ничего не

понимаемъ въ этихъ разсужденіяхъ „Молвы“ и думаемъ, что почтенной газетѣ хотѣлось отстоять противъ нападковъ „Отголосковъ“ только русскихъ редакторовъ. „Молва“ поступила-бы лучше, еслибы, не отстаивая невинности редакторовъ, взглянула на дѣло съ точки зрѣнія читателей; тогда ей, можетъ быть, пришлось-бы сознаться, что „Отголоски“ менѣе неправы. Что у насъ нѣтъ политическихъ партій, — это совершенно ясно; что у насъ нѣтъ общественнаго мнѣнія въ европейской силѣ, — тоже не требуетъ объясненій; что нашъ читатель вовсе не такъ проницателенъ, чтобы угадывать, которому изъ извѣстныхъ органовъ печати принадлежитъ та или другая статья, — доказывать еще меньше необходимости; наконецъ, „Молвѣ“ очень хорошо извѣстно, что подписчикамъ пріостановленной политической газеты можно предложить въ обмѣнъ любое иллюстрированное изданіе, и читатель будетъ продолжать свое чтеніе, даже и не думая протестовать противъ такого неурочнаго обмѣна.

Все это мы говоримъ къ тому, что, во-первыхъ, вопросъ объ общественномъ мнѣніи, возбуждавшійся у насъ нѣсколько разъ, былъ еще разъ возбужденъ въ томъ мѣсяцѣ, за который мы пишемъ внутреннее обозрѣніе, а во-вторыхъ, потому, что изъ фактовъ внутренней жизни за тотъ-же мѣсяцъ мы не усматриваемъ ни въ читателяхъ, ни въ редакторахъ такихъ общественныхъ заслугъ, которыя имъ усиливается придать „Молва“. Мы могли-бы привести цѣлый рядъ фактовъ, которые-бы убѣдили „Молву“, что ея адвокатура стрѣляетъ выше цѣли, что нашъ читатель вовсе не изображаетъ изъ себя общественнаго мнѣнія и что наши газеты настолько не представляютъ собою умственныхъ особняковъ, что приходишь въ недоумѣніе, зачѣмъ ихъ издается такъ много. Въ концѣ-концовъ, конечно, окажется, что и редакторы не изображаютъ собой представителей мнѣній своей партіи, что у насъ даже смѣшно сказать: „партія „Молвы“ „партія „Голоса“ „партія „Новаго Времени“, и каждому читателю будетъ понятнѣе, если сказать: „газета Полетики“, „газета Краевского“, „газета Суворина“. Мы думаемъ, что „Отголоски“ очень недалеки отъ правды и что нашъ читатель бываетъ очень часто даже несолидаренъ съ мнѣніями газеты, на которую онъ подписывается.

Читатель, зная свою некомпетентность въ вопросахъ о сусалкахъ и жучкахъ, чувствуетъ еще большее безсиліе, когда газеты, истощивъ запасъ своихъ lamentaцій по поводу острыхъ недуговъ, начинаютъ говорить ему о недугахъ хроническихъ. Къ хроническимъ ежегоднымъ lamentaціямъ принадлежатъ толки о бѣдности, о дороговизнѣ, о переселеніи, о займахъ, объ упадкѣ курса, о на-

шей зависимости отъ иностранцевъ, при чемъ всѣ проклятія выпадаютъ на долю берлинской биржи и нѣмцевъ вообще.

Въ той-же „Молвѣ“, отстаивающей компетентность читателя, почти въ каждомъ номерѣ найдется экономическая статья, которою газета опровергаетъ свои воззрѣнія и на собственную компетентность, и на компетентность своихъ читателей. Ужь, кажется, „Молва“ и „Биржевыя Вѣдомости“ ревниво отстаивали и желѣзную, и всякія другія наши промышленности, и, несмотря на то, намъ въ той-же „Молвѣ“ приходится читать нижеслѣдующую іереміаду: „желѣзную промышленность мы подорвали у себя въ самомъ ея корнѣ,—говоритъ почтенная газета,—и долго еще не придется намъ быть свидѣтелями ея успѣха и процвѣтанія“. По словамъ „Молвы“, мы поступили такимъ образомъ и не съ одной желѣзной промышленностію. Мы совершенно добровольно разорили у себя торговое мореплаваніе, кахтинскую торговлю, обработку льна, и проч. и проч. „Все, однимъ словомъ, къ чему только ни прикасалась рука нашихъ доктринеровъ въ области экономическихъ интересовъ, — говоритъ „Молва“, — теперь у насъ разрушено и уничтожено и само собой не установится. Одного воспоминанія о томъ совершеннѣйшемъ и полнѣйшемъ производѣ, съ которымъ наши финансовые прогресисты относились въ послѣднее двадцати-лѣтіе къ нашему тарифному законодательству, вполне достаточно, чтобы парализовать въ предпринимателяхъ всякую охоту приступить къ серьезной промышленной дѣятельности“. Почему-же „финансовые прогресисты“ оказались глухи къ рѣчамъ „Молвы“ и „Биржевыхъ Вѣдомостей“?

Насколько „Молва“, въ своемъ возраженіи „Отголоскамъ“, отстаиваетъ только вопросъ о редакторахъ, а не печать вообще, выяснилось въ возраженіяхъ „Молвы“ „С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ“.

„С.-Петербургскія Вѣдомости“, въ числѣ другихъ административныхъ слуховъ, сообщили, что будто-бы предполагается увеличить денежныя средства „Губернскихъ Вѣдомостей“. Это думали сдѣлать для приданія большаго интереса „Вѣдомостямъ“ и для большаго ихъ мѣстнаго значенія. „Молва“ замѣчаетъ, что главный интересъ „Губернскихъ Вѣдомостей“ вовсе не денежный и что онѣ страдаютъ не отъ малаго числа подписчиковъ. Скорѣе онѣ имѣютъ большую подписку, чѣмъ какая соотвѣтствовала-бы ихъ интересу. „Губернскія Вѣдомости“ рассылаются въ церковныя приходы, въ волостныя правленія, и ими снабжаются, помимо губернскихъ присутственныхъ мѣстъ, еще и многіе чиновники. Ясно, что получателей у „Губернскихъ Вѣдомостей“ не мало. Но вопросъ не въ получателяхъ, а въ читателяхъ. Удовлетворяютъ-ли интересу

ихъ „Губернскія Вѣдомости“, дають-ли онѣ какое-либо чтеніе, кромѣ сухой официальнойности и, такъ сказать, казенныхъ извѣстій? И отчего это происходитъ? Оттого-ли, что у „Губернскихъ Вѣдомостей“ мало подписчиковъ и потому не достаетъ средствъ? Или-же у нихъ нѣтъ сотрудниковъ? Или-же, наконецъ, програма „Губернскихъ Вѣдомостей“ такого рода, что самыя даровитыя сотрудники ничего-бы съ нею не подѣлали?

Деньгами, конечно, не создашь способностей, хотя въ то-же время неоспоримо, что способные люди, обладающіе прочными, установившимися убѣжденіями, не стануть участвовать въ „Губернскихъ Вѣдомостяхъ“, гдѣ приходится подчиняться часто личнымъ мнѣніямъ и взглядамъ чиновниковъ губернскаго правленія и становить себя въ зависимость случайныхъ взглядовъ и вкусовъ мѣстныхъ губернскихъ кружковъ. „Передъ нами, — говоритъ „Молва“, — цѣлый рядъ провинціальныхъ органовъ, основанныхъ людьми, преслѣдующими литературныя, а не официальные только интересы, да и эти органы отличаются теперь видимою блѣдностію и вообще малокровіемъ. Нездоровится печати и въ болѣе важныхъ центрахъ; отчего-же-бы губернской атмосферѣ сдѣлаться настолько здоровѣе для литературы, что послѣдняя вдругъ стала-бы полнокровною? Литература для своей жизни и развитія нуждается кое въ чемъ большемъ, чѣмъ деньги. Вотъ, наприимѣръ, сколько ушло денегъ на „Виленскій Вѣстникъ“, а его никто даже не замѣчаетъ. Деньгами можно добыть заказныя работы, т. е. извѣстнаго рода канцелярщину, но не тогда жива литература, когда держится только заказами“. Далѣе „Молва“ говоритъ, что живая литература немислима безъ направленія, которое связываетъ людей между собою. Если случается, что направленія сглаживаются или не проявляются, то это—явленія ненормальныя. Если условія литературы, внутреннія и внѣшнія, благопріятны, то, конечно, они отразятся на достоинствѣ частныхъ литературныхъ органовъ. Если-же едва влачатъ жизнь эти органы, то откуда явятся благопріятныя условія для продуктовъ губернскихъ изданій?

Съ этими разсужденіями „Молвы“ нельзя не согласиться, хотя въ то-же время ими не разрѣшается коренной вопросъ. А коренной вопросъ заключается въ томъ, что если читатель чувствуетъ во всемъ свою некомпетентность, то не лучшая роль выпала и на долю нашей печати. Роль ея совершенно пассивная относительно хода дѣлъ и умственнаго содержанія тѣхъ людей, въ рукахъ которыхъ находится общее дѣло. Возьмемъ хоть земство или наши городскія управленія. Кажется, и этимъ учрежденіямъ, и печати очень хорошо извѣстно, что умственный и нравственный

капиталь каждой націи заключается въ знаніяхъ, въ средствахъ знанія, въ образованіи, въ развитіи, въ наукѣ, въ школѣ. Втеченіи послѣднихъ 25-ти лѣтъ о культурномъ и прогрессивномъ значеніи знанія писалось и говорилось, кажется, немало. И странная вещь! Какъ вопросъ этотъ, повидимому, ни затасканъ, а мы поемъ все старую пѣсню и даже употребляемъ старый затасканный приемъ. Напримѣръ, баронъ Корфъ, въ брошюрѣ „Итоги народнаго образованія въ европейскихъ государствахъ“, прибѣгаетъ снова къ приему, который практиковался 25 лѣтъ тому назадъ и давно уже набилъ оскомину. Изъ сравнительной статистики г. Корфа, оказывается, что на 1,000 жителей приходится учащихся въ начальныхъ училищахъ: въ Россіи 10,9, въ Бразиліи — 15,6, въ Новой Зеландіи—30,0 въ Японіи—58,0 на Сандвичевыхъ островахъ—129,0 и въ Викторіи, въ Австраліи — 291,0. Изъ государствъ европейскихъ съ нами можетъ сравниться только Сербія, но и она имѣетъ 16 учащихся на 1,000, т. е. все-таки шестью человекѣми больше на 1,000. Подобнымъ сравненіямъ придавалось нѣкогда особенное значеніе. Значеніе этого приема заключалось въ ехидствѣ, въ сопоставленіи Россіи азіатскимъ государствамъ, изъ котораго оказывалось, что европейское государство—Россія стоитъ по образованію ниже Новой Зеландіи, Японіи и Сандвичевыхъ острововъ. Такъ-какъ ехидства не повели ни къ чему, то приемъ этотъ утратилъ свой кредитъ, и въ немъ уже никто не усматриваетъ вліяющей силы. Пробовали вліять подобнымъ-же приемомъ и на русское земство; его укоряли въ недостаткѣ попеченія о народномъ образованіи, въ равнодушіи, въ скупости, въ неспособности создать средства, въ экономической неумѣлости и т. д. Доставалось не меньше и обществу вообще, которое упрекали въ невѣжествѣ, въ нравственномъ и умственномъ безсиліи, въ равнодушіи къ собственнымъ интересамъ.

Вообще въ назоранныхъ средствахъ недостатка не было. Но къ чему-же они повели? Прошло 25 лѣтъ, и, несмотря на то, что земство и городское представительство изображаются людьми развитыми, отъ сравнительной статистики съ цѣлями ехидства дѣло не подвигается. Душа цифръ осталась закрытою, и причины, обнаруживающія такое различное вліяніе на наличность средствъ и возможностей образованія на Сандвичевыхъ островахъ и въ Россіи, все-таки не выяснились. Богаче-ли тамъ народъ, лучше-ли понимаетъ онъ пользу образованія, больше-ли оно ему тамъ нужно, чѣмъ намъ, ни г. Корфъ, ни какая другая сравнительная статистика этого не объясняетъ, и дѣло нашего народнаго образованія,—зависитъ-ли оно отъ земства, зависитъ-ли оно отъ городовъ,—не подвигается впередъ почти ни на шагъ. Напримѣръ, въ „Ор-

ловскомъ Вѣстникѣ“ напечатана весьма обстоятельная корреспонденція изъ Болхова, въ которой сообщается слѣдующее: жителей въ Болховѣ 21,000 и на всѣхъ ихъ двѣ школы: мужское приходское училище и женское. Въ мужскомъ училищѣ 7 учителей и 2 законоучителя. Изъ числа 7 учителей, — 2 свѣтскіе, а остальные 5 — священники. Такимъ образомъ, изъ 9 учителей — 7 священниковъ. Только одинъ изъ учителей получаетъ 250 рублей, а всѣ остальные по 180 руб. Одному законоучителю жалованья 100 р. другому — 150 руб. Въ женскомъ училищѣ законоучитель лишень думою жалованья и въ настоящее время ничего не получаетъ. Учительскихъ и ученическихъ библіотекъ въ училищахъ нѣтъ, конечно, понимая подъ ними нѣчто цѣлое въ строгомъ педагогическомъ смыслѣ. Учащихся въ школахъ до 700 человекъ и на нихъ затрачивается 4,000 руб. Изъ этихъ цифръ корреспондентъ дѣлаетъ слѣдующіе печальные выводы. На сто человекъ населенія приходится 3,10 процента учащихся. Каждый учащійся обходится обществу въ годъ въ 5 р. 70 коп., а втеченіи всего трехъ-годичнаго обученія въ 17 руб. 10 коп. Каждый членъ общества вносить на всѣхъ учащихся въ годъ 19 коп., что въ три года составляетъ 57 коп., а на одного учащагося приходится въ годъ 1,37 часть копейки, а въ три года 1,12 часть копейки.

Какъ ни печальна эта картина, но еще печальнѣе картина того подготовительнаго образованія, которое практикуется въ Болховѣ для подготовленія учениковъ къ школѣ. „Въ Болховѣ, — какъ говоритъ корреспондентъ, — учить всякій, мало-мальски знакомый съ грамотой, кому нечего дѣлать, кто ни на что болѣе неспособенъ. Преимущественно учать дьячки, вдовы духовныхъ и старыя дѣвы, озлобленныя на всѣхъ и на вся и именуемыя „монастырками“; учать дочери дьячковъ, дьяконовъ и дьяконицы; учать также батюшки, монахини и даже одна баронеса, и весь этотъ сонмъ учителей извѣстенъ подъ именемъ „мастеровъ“ и „мастерицъ“. Дѣло мастера боится, вспоминаю я неволью русскую пословицу, при такомъ оригинальномъ названіи этихъ непрошенныхъ педагоговъ и удивляюсь вличкѣ, данной этимъ просвѣтителямъ, которыхъ не дѣло боится, а ихъ самихъ приходится бояться, какъ подрывающихъ въ самомъ корнѣ плоды ученія. Какъ они учать и чему они учать? Мнѣ кажется, объ этомъ и говорить не стоитъ. Учатъ, разумѣется, самымъ первобытнымъ способомъ, развивая любовь къ ученю чтеніемъ псалтыря, часослова, да розгами, битьемъ линейками, польза которыхъ признается самими родителями. Мнѣ разъ приходилось проходить мимо этихъ школьныхъ мастерскихъ и слышать дѣтскій гулъ: это они учатся; кто долбитъ буквы вслухъ, кто выкрикиваетъ склады, кто читаетъ псалтырь, а иной изъ дѣ-

тей, я думаю, отдѣляется только однимъ мычаньемъ или крикомъ; однимъ словомъ, кто во что гораздъ. „Мастера“ и „мастерицы“ раздѣляются на привилегированныхъ и непривилегированныхъ. Къ первой группѣ принадлежатъ: баронеса — пожилая дѣвица, батюшки, еще двѣ пожилыя дѣвицы и одна вдова; у нихъ учатся дѣти богатыхъ родителей за плату отъ 1 р. до 1½ р. въ мѣсяцъ. Ко второй группѣ можно отнести дьяконовъ, дьячковъ, „монашествующихъ“ и вдовъ; эти „мастера“ и „мастерицы“ обучаютъ дѣтей бѣдныхъ родителей за плату отъ 20 к. въ мѣсяцъ; къ этой платѣ еще присоединяется плата „натурой“, хлѣбомъ; дѣтей посылаютъ во время перемѣнъ на рѣку за водой; они ходятъ, если потребуется, за водкой въ кабакъ, исполняютъ и другія домашнія работы; кромѣ этого дѣти обязаны приносить съ собою больше хлѣба, такъ чтобы онъ оставался отъ завтрака въ пользу „мастера“ или „мастерицы“, для откармливанія свиней, поросятъ и т. д. Къ годовымъ праздникамъ, какъ-то къ Рождеству Христову и святой Пасхѣ, приносятъ куръ, поросятъ, къ масляной — рыбу. Однимъ словомъ, „мастера“ и „мастерицы“ не въ убыткѣ; они выбираютъ и остаются въ выигрышѣ; родители-же попусту тратятся, такъ-какъ дѣти ихъ не приобретаютъ никакой пользы и при переходѣ въ училище заставляютъ учителя трудиться надъ ними гораздо больше и съ меньшимъ успѣхомъ, чѣмъ надъ совершенно незнакомыми съ азбукой, какovýchъ, впрочемъ, очень мало, ибо всѣ, большею частью, „заучиваются“ (именно что заучиваются!), какъ я сказалъ выше, у „мастеровъ“ и „мастерицъ“.

Изъ болховской корреспонденціи нужно заключить, что потребность въ образованіи должна быть велика у народа, когда „всякій попъ—батюка“ и когда народъ беретъ въ учителя своимъ дѣтямъ такихъ мастеровъ и мастерицъ, о которыхъ сообщаетъ корреспондентъ. Почему-же богоспасаемый Болховъ, населеніе котораго принадлежитъ, конечно, къ населенію европейскому и потому оно не только читаетъ газеты, но, вѣроятно, даже и думаетъ, устроилъ свои двѣ жалостныя школы, не удовлетворяетъ народной жажды въ знаніяхъ, а народнымъ учителямъ даетъ такое поощряющее содержаніе, что выгоднѣе идти въ трактирные маркеры, чѣмъ дѣлаться народнымъ учителемъ?

О положеніи народныхъ учителей и въ особенности учительницъ наша печать говорила тоже немало. Втеченіи 25-ти лѣтъ, изо дня въ день она пѣла одну и ту-же жалостную пѣсню. „Въ плохой комнатѣ, вдали отъ умственной жизни, среди вьюги и грязи приходится жить человѣку, посвятившему себя великому дѣлу распространенія просвѣщенія между крестъ-

явскимъ людомъ“, пишутъ „Русскія Вѣдомости“ въ одномъ изъ іюньскихъ нумеровъ. Насколько положеніе народнаго учителя трудно и насколько только гнетущая нужда или развѣ фанатическая любовь къ преподаванію можетъ удержать свѣжаго человѣка на подобномъ мѣстѣ, можно увидѣть хотя-бы изъ отчета инспектора народныхъ училищъ харьковской губерніи. „Нѣтъ сомнѣнія,— говоритъ онъ, — что матеріальное положеніе учителей неудовлетворительно даже для людей, непривыкшихъ къ удобствамъ жизни, и прямо обуславливаетъ то печальное явленіе, что въ харьковскомъ уѣздѣ учителя и учительницы вообще не засиживаются по-долгу. Въ иныхъ школахъ втеченіи одного года переимѣнятся два-три учителя, а иныхъ и совсѣмъ остаются безъ учителей на болѣе или менѣе продолжительное время, за недостаткомъ, безъ сомнѣнія, охотниковъ жить, что-называется, впроголодь и вообще терпѣть различныя неудобства, выпадающія сплошь и рядомъ на долю учителя сельской школы“. Г. Фесенко, членъ харьковскаго училищнаго совѣта, по словамъ „Русскихъ Вѣдомостей“, сообщаетъ въ своемъ докладѣ такія вещи, которыя показались-бы невѣроятными, если-бы исходили изъ другого источника. „Въ одной, напримѣръ, школѣ воздухъ въ тѣсной и низкой лачугѣ настолько тяжелъ, что инспекторъ народныхъ училищъ, пробывъ въ такой атмосферѣ нѣсколько часовъ, страдалъ потомъ три дня головною болью. Учительница пыталась было сдѣлать въ своей комнатѣ, сосѣдней съ классною, вентиляторъ, но мѣстное начальство рѣшило не выдавать ей жалованье, такъ-какъ она „тепло выпускаетъ“.

Мы думали, что „Первый шагъ“, гдѣ изображается печальное положеніе сельской учительницы, не больше, какъ lamentaція, а между тѣмъ изъ Екатеринбургa сообщаютъ въ „Молву“ о фактѣ гоненія одной сельской учительницы, похожемъ скорѣе на остроумную выдумку. Въ одномъ волостномъ правленіи получается на имя мѣстной сельской учительницы посылка съ книгами. Волостной писарь, въ силу своей власти, вскрываетъ посылку и находитъ въ ней, между прочимъ, „Благонамѣренныя рѣчи“ Щедрина, изданныя безъ предварительной цензуры. Очень можетъ быть, что галантерейный писарь имѣлъ такіе-же поводы къ неудовольствію на учительницу, какъ и въ „Первомъ шагѣ“, а можетъ быть, считая себя охранительнымъ столпомъ, онъ руководствовался или патріотическимъ одушевленіемъ, или простымъ желаніемъ отличиться; такъ или иначе, но писарь отобралъ книгу и при рапортѣ препроводилъ ее къ инспектору народныхъ училищъ. Конечно, инспекторъ не нашелъ „благонамѣренныхъ рѣчей“ неблагонамѣренными, а тѣмъ болѣе запрещенными, и поставилъ волостному писа-

рю на видъ его безцеремонное обращеніе съ частными посылками и незаконное вмѣшательство въ дѣло наблюденія за школой. Тогда неукротимый писарь, сознавая въ себѣ силу, отвѣтилъ инспектору народныхъ училищъ, что онъ остается при своемъ убѣжденіи и проситъ представить запрещенную книгу губернатору. И этому бессмысленному требованію инспекторъ долженъ былъ подчиниться!.. Тутъ въ самомъ дѣлѣ призадумался! Какая-же нужна печать, чтобы подѣйствовать на подобнаго толстокожаго писаря? Мы очень хорошо знаемъ, что для подобныхъ верблюдовъ никакая печать не можетъ служить намордникомъ и что, если всякій волостной писарь будетъ ломаться надъ сельскими учителями и учительницами, то имъ совсѣмъ не будетъ житья. Для насъ непонятно, что читаютъ и что думаютъ тѣ, отъ кого зависитъ положеніе учителей или учительницъ, и какъ грамотные представители земства и городского управленія не могутъ создать у себя такой атмосферы, въ которой-бы свосно дышалось порядочнымъ людямъ? А впрочемъ, въ чемъ-же винить ихъ тутъ? Одинъ въ полѣ—не воинъ, и одинъ человѣкъ не составляетъ общественнаго мнѣнія. Екатеринбургскій писарь скорѣй составляетъ общественное мнѣніе, чѣмъ инспекторъ народныхъ училищъ или чѣмъ предсѣдатель екатеринбургской земской управы. У писаря есть среда, у него есть поддержка въ томъ мірѣ, который его окружаетъ, и смѣлость его заключается, конечно, не въ его совѣсти, потому что для совѣсти нуженъ какой-нибудь идеалъ. Писарь очень хорошо знаетъ, что онъ можетъ колобродить, сколько ему вздумается, и объ его колоброеженіи никогда никто ничего не узнаетъ. На сторонѣ писаря—традиція окружающаго его гробового молчанія и традиція обычая, по которому онъ дѣйствуетъ съ тою же послѣдовательностью въ сферѣ всѣхъ остальныхъ своихъ общественныхъ отношеній. Писарь, какъ власть,—всегда грубая сила; въ чемъ-бы она ни проявлялась; онъ всегда—насиліе, онъ всегда—нажимъ и пресъ, и ревизія сенатора Клушина достаточно показала, какіе цвѣты вырастаютъ на этой почвѣ, если среда, изображающая ее, живетъ замкнуто и можетъ дѣйствовать вполне по своимъ принципамъ и нравственнымъ убѣжденіямъ. Возьмите этихъ лицъ, какъ администраторовъ, какъ сборщиковъ податей, какъ судей, какъ представителей руководящаго мнѣнія, и орлы оказываются вездѣ орлами. Въ газетѣ „Сибирь“ сообщаютъ, на примѣръ, такой случай. „Во время сбора податей и налоговъ, — рассказываетъ писарь, — я вручаю крестьянъ, ссужая ихъ деньгами, и за это съ нихъ беру сѣномъ по 1 р. 50 коп. за сажень въ зародѣ (изъ сажени выходитъ хорошихъ три веза), бревнами 5 сажень длины, 7—8 вершковъ толщины, съ доставкою, по 30 ко-

пеекъ за штуку; прошлой осенью такимъ путемъ я получилъ до 1,000 сажень сѣна и до 1,000 лѣсинъ бревень. Пришла зима, выпалъ неожиданно глубокой снѣгъ, крестьянамъ кормить скота стало нечѣмъ; опять они обращаются ко мнѣ: уступилъ сѣнца возикъ, кормить скотинку нечѣмъ. Что-же? Отчего-же не выручить бѣдняковъ? Даю возъ сѣна съ тѣмъ, чтобы осенью крестьянинъ отдалъ за одинъ возъ—девять; сейчасъ-же сочиняется подписка, якобы крестьянинъ взялъ у жены деньги десять рублей, за которыя обязуется доставить по осени девять возовъ хорошаго сѣна; волостное правленіе свидѣтельствуетъ, и подписка превращается въ законный документъ. Не правда-ли, расчетъ математическій? Крестьянинъ приобретаетъ сѣно, а я—дарового работника... Бревно, по случаю глубокаго снѣга, вывезти изъ лѣса было невозможно, и всѣ, взявшіе деньги подъ доставку бревень, возвращали по рублю за бревно. Что-же, и то ладно. А то, вотъ священникъ села К. три года не могъ получить съ прихожанъ руги до 200 п. Въ одно прекрасное время священникъ зашелъ ко мнѣ въ гости; слово-за-слово, и чтобы не терять дорогого времени, мы вздумали сметнуться. Батька жалуется, что съ нимъ нѣтъ денегъ. Ну, говорю, сыграемъ на ругу, которая числится.—А что, въ самомъ дѣлѣ!—Сметнулись; я выигралъ, и черезъ недѣлю вся руга была у меня въ амбарѣ, — и всѣ довольны. О, Сибирь — золотое дно. — заключилъ писарь“.

И не одна Сибирь золотое дно. Такія золотыя днища можно найти повсюду. Наше золотое дно есть та идея кабалы, насилія и личнаго произвола, которымъ всякій наровитъ пользоваться. Насколько не одни волостные писаря практикуютъ свою власть „безъ страха и упрека“, мы приведемъ въ доказательство факты только за послѣдній мѣсяць. И ихъ однихъ довольно, чтобы испугать робкому человѣку.

Вотъ и не волостной писарь, не деревенскій мужикъ, а общество, состоящее изъ грамотныхъ, цивилизованныхъ людей, читающихъ газеты, слѣдящихъ за политикой, разрѣшающихъ общественные вопросы. Это общество есть „общество пароходства и торговли“, объ общественной дѣятельности и объ общественныхъ идеалахъ котораго можете вы судить по слѣдующему документу, напечатанному въ „Одесскомъ Вѣстникѣ“. Документъ этотъ есть копія условія, по образцу котораго составлялись договоры лицъ, служащихъ на одесской желѣзной дорогѣ. Въ этомъ условіи находятся слѣдующія характерныя мѣста: „обязуюсь безспорно подчиняться начальству, какъ относительно моего образа дѣйствій по службѣ, такъ и относительно уменьшенія мнѣ жалованья, въ видѣ-ли уменьшенія штата или оклада, начета и проч., а также

«Относительно совершеннаго увольненія меня отъ службы». Развѣ это не кабальная запись, данная на себя совершенно безправнымъ человѣкомъ? Управляющее одесской дорогой, „общество пароходства и торговли“ смотритъ на всякаго, кого нужда загонитъ къ нему на службу, какъ на своего раба. Приходи, трудись, работай и затѣмъ полагайся на мою милость: захочу—заплачу, не захочу—не только не заплачу, а еще во всякое время дня и ночи могу тебя прогнать... Сибирскій писарь гораздо чистосердечнѣе ужъ только потому, что свое насиліе не возводитъ въ право; на писаря можетъ вліять внѣшній страхъ, его можно даже стереть съ лица земли, а вѣдь тутъ передъ вами змѣиная мудрость и юридическая правота. Кабальный человѣкъ самъ даетъ на себя запись,—значитъ, самъ впередъ отказывается протестовать противъ безправія, и никакой судъ не приметъ отъ него жалобы, потому что онъ добровольно лишилъ себя права обвинять кого-либо, кромѣ самого себя.

Съ крайняго юга перейдемте на сѣверъ.

Въ Екатеринбургѣ, какъ сообщаетъ корреспондентъ „Молвы“, касирь банкирской конторы устроилъ у себя новоселье; затѣмъ затѣялъ игру въ карты и заспорилъ съ однимъ изъ гостей своихъ за запись въ 90 копеекъ, схватилъ револьверъ и началъ палить изъ него безъ разбора. Послѣ пяти выстрѣловъ гости разбѣжались, а касирь, зарядивъ вновь револьверъ, сдѣлалъ два выстрѣла себѣ въ лобъ, но безъ послѣдствій. Или—въ редакцію „Новостей“ пишутъ, что одинъ господинъ въ Петербургѣ пригласилъ къ себѣ врача К., жившаго неподалеку. Когда, послѣ осмотра больного, авторъ письма, присланнаго въ „Новости“, далъ врачу рублевую бумажку, врачъ пришелъ въ неописанную ярость и сказалъ: „я менѣе трехъ рублей не намѣренъ взять. Вы понимаете?“ Больной объяснилъ, что у нихъ больше нѣтъ денегъ. — „Такъ и не должны приглашать меня“, — отвѣтилъ врачъ. Затѣмъ, разорвавъ бумажку въ клочки, неукротимый врачъ произнесъ: „мерзавцы, положите эти клочки себѣ въ гробъ!“ и, хлопнувъ дверью, удалился... Или—въ томъ-же Петербургѣ живетъ нѣкто Быковъ, и у него есть жена, которую г. Быковъ бьетъ. Дѣло, наконецъ, дошло до того, что г-жа Быкова принесла жалобу на своего мужа и медицинскимъ освидѣтельствомъ подтвердила жестокое обращеніе съ ней мужа. Мировой судья оправдалъ Быкова, и его жена опротестовала рѣшеніе судьи. Мировой сѣздъ хотя и призналъ фактъ оскорбленія мужемъ жены, но, въ виду того, что подобнаго рода оскорбленія между супругами, по нашему законодательству, ненаказуемы, постановилъ: „приговоръ мирового судьи по настоящему дѣлу утвердить“. Или—въ Болховѣ судился за

подстрекательство на поджогъ крупный землевладѣлецъ-крестьянинъ Александръ Фоминъ. Присяжные вынесли обвинительный вердиктъ, и судъ приговорилъ Фомина къ восьми-лѣтней каторжной работѣ. Защитникъ Фомина просилъ судъ освободить его на поруки, потому что онъ имѣетъ въ виду подать на кассацію, и судъ уважилъ эту просьбу. Фоминъ тотчасъ-же началъ обращать въ деньги свою движимость, и какъ только его защитникъ сообщилъ ему, что просьба о кассаціи оставлена безъ уваженія, Фоминъ бѣжалъ.

Всѣ эти факты настолько осложняютъ вопросы, возбужденные „Отголосками“ и „Молвой“, что ожидать разрѣшенія ихъ средствами одной печати едва-ли возможно. Какимъ образомъ печать просвѣтитъ сибирскихъ и екатеринбургскихъ волостныхъ писарей? Какими средствами она вѣдрить въ сердце г. Быкова кротость и гуманность? Какимъ образомъ она сдѣлаетъ живымъ человѣкомъ неукротимаго врача, называющаго своихъ пациентовъ мерзавцами? Какимъ образомъ она Александра Фомина и его защитника научитъ идти стезею правды? Какимъ образомъ она наши городскія управления и наши земства снабдитъ такими умственными богатствами, что просвѣщеніе и экономическое довольство разольются изъ конца въ конецъ и народная школа превратится въ разсадникъ благополучія и прогреса? Если-бы печать владѣла подобными средствами, то послѣ того, что она говорила втеченіи 25-ти лѣтъ, благополучіе, конечно, давно-бы разлилось изъ конца въ конецъ нашего обширнаго отечества. Очевидно, что печать вовсе не такая сила, а изъ послѣднихъ препирательствъ „Голоса“ съ „Московскими Вѣдомостями“, читатель можетъ усмотрѣть, что въ самой печати существуетъ крайній разбродъ мнѣній. И дѣйствительно, ужъ наши-ли законы не предвидать всякія нарушенія и не карать всякій проступокъ? Мировые и уголовные суды завалены дѣлами; провинціальныя кореспонденты не оставляютъ безъ вниманія ни одного общественнаго нарушенія, не предавъ его гласности; правительственная администрація тоже зорко слѣдитъ за всѣми нарушеніями, а между тѣмъ общество ползетъ въ разныя стороны, и не сплотишь его къ одной общей цѣли, къ одной общей мысли ни уголовнымъ судомъ, ни печатью. И въ то-же время всѣ ждутъ чего-то именно отъ печати, точно только въ ея рукахъ чудесный ключъ отъ тайнъ природы и тайниковъ человѣческаго чувства и мысли. И общество не совсѣмъ неправо. Оно инстинктивно чувствуетъ въ печати какую-то нравственную силу и безъ этого, разумѣется, не обращало-бы на нее взоровъ упованія. Если же это такъ и если печать не достигла своего значенія и не сто-

ить на высотѣ своего призванія, то остается желать, чтобы значеніе и роль печати достигли-бы того, чего отъ нея желаетъ общество. Читатель, конечно, спроситъ: какъ-же этого достигнуть? Но мы думаемъ, что и этотъ вопросъ разбирается у насъ 25 лѣтъ и средства для разрѣшенія его уже настолько выяснились, что нужно говорить не о нихъ, а о томъ, чтобы печати удалось ихъ осуществить и занять ту высоту, какая принадлежитъ въ каждой странѣ ея интеллектуальной силѣ.

И. Ш.

ПОХОЖДЕНІЯ

одного благонамѣреннаго молодого человѣка,

разсказанныя имъ самимъ *).

I.

Очень ужъ хотѣлось мнѣ жить, какъ другіе порядочные люди живутъ, чтобы и обстановка, и костюмъ были приличные, пища вкусная и питательная, — словомъ, чтобы все, какъ слѣдуетъ. Грязь и бѣдность, постоянныя мысли о томъ, какъ-бы прожить мѣсяцъ, все это просто терзало меня. А жили мы въ ту пору съ маменькой и сестрой въ маленькомъ уѣздномъ городкѣ—совсѣмъ бѣдно. Будущности никакой. Такъ себѣ, живи впроголодь, носи коленкоровыя рубашки и думай, какъ-бы не износить сапоговъ раньше времени. Протекціи у насъ не было никакой, родственники все жалкіе, необразованные люди, знакомства мизерныя... Подобная будущность пугала меня... За что пресмыкаться, глядя, какъ другіе люди живутъ какъ слѣдуетъ жить... Зачѣмъ-же мнѣ дали образованіе въ гимназіи? Лучше было-бы и вовсе не учить меня. Гибнуть я не хотѣлъ...

Папенька (царство ему небесное!) умеръ, нисколько не позаботившись о насъ. Умеръ онъ, какъ и жилъ, въ бѣдности (чтобы похоронить его сколько-нибудь прилично, пришлось заложить кое-

*) Въмѣсто обычныхъ «Картинокъ общественной жизни» предлагаю вниманію читателей «Похожденія молодого человѣка». Авторъ.

что изъ рухляди), хотя по должности, какую онъ занималъ, могъ-бы, какъ другіе, обезпечить свое семейство.

Боже сохрани меня осуждать родителей, но я разсуждаю такъ: если человекъ обзаводится семьей, то его священный долгъ позаботиться о ней, чтобы не поставить кровныхъ своихъ въ безвыходное положеніе. И безъ того нищихъ довольно. Если не имѣешь силы обезпечить семью, то не слѣдуетъ имѣть дѣтей.

Папенька былъ очень странный человекъ, не въ мѣру гордый и раздражительный, а маменька, по слабости характера, не имѣла на него никакого вліянія. Иной разъ она сдѣлаетъ сцену (когда ужъ очень изнашивались на насъ платье и обувь), затѣетъ разговоръ на-счетъ средствъ, но тотчасъ и замолчитъ, встрѣтивъ презрительный взглядъ отца. Обыкновенно, онъ какъ-то перекашивалъ губу и, когда маменька жаловалась на бѣдность, раздражительно отвѣчалъ:

— Воровать прикажешь?

Маменька пробовала было заговаривать на-счетъ платьевъ и башмаковъ нашихъ, но отецъ съ какою-то усмѣшкой перебивалъ:

— Что они у насъ, принцы мекленбургскіе, что-ли? И въ дырявыхъ походятъ.

Маменька умоляла, а отецъ, бывало, задумается и, нѣкоторое время спустя, какъ-то задумчиво промолвитъ:

— По крайней мѣрѣ, дѣти отца добромъ вспомнить!

Послѣ такихъ сценъ, онъ особенно нѣжно ласкалъ меня и сестру, прижималъ насъ къ своей впалой груди и долго вглядывался въ наши лица. Потомъ, какъ мы подрастали, меня онъ рѣже ласкалъ и иногда загадочно такъ на меня глядѣлъ, словно я былъ для него загадкой и онъ за меня боялся. Сестру, напротивъ, очень баловалъ по-своему, разумѣется. Мнѣ и завидно было, и досадно, что папенька совсѣмъ былъ непрактичнымъ человекомъ. Ужъ какіе тутъ принцы! Въ домѣ у насъ постоянные недостатки, а онъ о принцихъ! Я, бывало, нерѣдко бесѣдовалъ на этотъ счетъ съ маменькой, но у нея, какъ у женщины, не было никакой выдержки.

Нужно было исподоволь, осторожно, но какъ можно чаще, касаться этихъ вопросовъ (капля точитъ камень), напирая преимущественно на родительскія чувства (отецъ очень любилъ меня и сестру), а она вдругъ раздражалась упреками и слезами, и вслѣдъ затѣмъ, вмѣсто того, чтобы выдержать характеръ и показать недовольство, сама же просила извиненія у отца. Разумѣется, отецъ еще болѣе упорствовалъ въ своей гордости, полагая, что и мать съ нимъ во всемъ согласна (это на-счетъ средствъ). А она соглашалась съ нимъ болѣе по слабости. Сама, бывало,

плачеть втихомолку надъ нами, что мы несчастные и нищіе, а поговорить съ отцомъ—успокоится. Никакой не было выдержки у маменьки!

Про отца всё говорили (и до сихъ поръ говорятъ), какъ о честномъ человекѣ, но чудакѣ. Но отъ этихъ разговоръ ни маменькѣ, ни мнѣ легче не было. Если-бы даже о папенькѣ говорили иначе, а у насъ были-бы средства, то все-таки уважали-бы насъ болѣе, и намъ не пришлось-бы унижаться передъ людьми...

Я только-что послѣ смерти отца получилъ атестатъ зрѣлости, но объ университетѣ нечего было и мечтать. Разумѣется, если-бы какія-нибудь деньжонки, а-бы кончилъ курсъ; тогда мѣсто видѣе можно было-бы получить и жили-бы мы прилично. Но и при папенькѣ-то мы бѣдствовали, а какъ скончался онъ — докторъ сказывалъ, отъ чахотки — то дѣла наши и совсѣмъ разстроились. Надо было жить троимъ. Я оставался единственной поддержкой семьи. По счастью, я скоро прискалъ мѣсто письмоводителя у мирового судьи, пріятеля покойнаго отца. Жалованье ничтожное, работа такая, что никакъ нельзя быть на виду, да и самъ судья былъ какой-то невидный и неловкій человекъ. По утрамъ судилъ, а по вечерамъ игралъ въ карты и былъ совершенно счастливъ. Отъ него никакой протекціи ожидать было невозможно. Онъ и о себѣ не заботился. Гдѣ-жъ ему было заботиться о другихъ! Да и ничего онъ не могъ-бы сдѣлать, если-бы и хотѣлъ.

И сталъ мнѣ скоро нашъ городокъ ненавистенъ. И жители его тоже ненавистны. Главное, всё тебя знаютъ, всё видать, что на тебѣ потертый сюртучишко, скверное бѣлье и что дома пустыя щи. Всѣ очень хорошо знали наше положеніе, и, вѣроятно, потому-то всякая скотина считала своимъ долгомъ пожалѣть тебя при встрѣчѣ, и такъ пожалѣть, что и придратъся нельзя. Внутри клочеть злоба, а ты еще благодари за сожалѣнія!

Бывало, идешь въ свою камеру, а на-встрѣчу какой-нибудь помѣщикъ или думскій гласный. Поманить этакъ обидно пальцемъ и скажеть:

— Здравствуйте, молодой человекъ. На службу?

— На службу.

— Похвально, похвально... Конечно, жаль, что такой прекрасный молодой человекъ, какъ вы, не нашель себѣ болѣе приличнаго мѣста, но что дѣлать? Вы вѣдь, кажется, первымъ въ гимназіи кончили?

— Первымъ.

— Отлично, отлично... Покойный вашъ батюшка честнѣйшій человекъ былъ; только жаль, ничего вамъ не оставилъ, такъ-что вамъ и курсъ кончить нельзя. Но что дѣлать! Теперь вы под-

держка семьи, и вамъ дѣлаетъ честь, что вы трудитесь. Похвально, похвально, молодой человекъ!

Помѣщикъ, полагавшій, что счастливилъ своимъ сочувствіемъ, жаль мнѣ руку и шель своей дорогой, выразивъ, разумѣется, сожалѣніе и похвалу больше для того, чтобы занять минуту, дружную разговоромъ.

Такия встрѣчи случались чуть-ли не ежедневно. Весь городокъ точно считалъ непремѣннымъ долгомъ терзать меня, соболѣзнуя о способномъ молодомъ человекѣ и одобряя его похвальное поведеніе относительно семейства. Даже сторожъ въ камерѣ и тотъ какъ-то особенно, обидно-нѣжно относился ко мнѣ.

„Такой молодой, а всю семью содержитъ! Мать просто не надѣшется сыномъ!“

Эту самую фразу повторяли, бывало, чуть-только завидять меня гдѣ-нибудь, такъ-что я, наконецъ, зеленѣлъ отъ злости, чуть было услышу ее. Всѣ жалѣли, всѣ соболѣзновали, но, конечно, никто и не подумалъ помочь „способному молодому человеку“ сдѣлать приличную карьеру.

Наконецъ, всѣ эти сожалѣнія такъ меня озлобили, что я обходилъ большую улицу и сталъ ходить въ камеру по закоулкамъ и пустырямъ, чтобы не встрѣчаться ни съ кѣмъ на дорогѣ, и мечталъ о томъ, какъ-бы мнѣ выбраться изъ унижительнаго положенія и уѣхать поскорѣй изъ этого ненавистнаго мнѣ города.

Къ тому-же, признаюсь, зависть просто ѣла меня. Въ самомъ дѣлѣ, неужто такъ-то мнѣ и пропадать здѣсь? Нѣтъ, ни за что!

А изъ камеры прибѣжишь голодный домой, дома неприглядно... одна бѣдность. Мать подкладываетъ лучшіе куски (ты-де кормилецъ), отказывая себѣ и сестрѣ, а эти куски мнѣ и того противнѣе. И гложетъ, бывало, меня пуще злость, когда вижу, какъ маленька во всѣ глаза смотреть, точно собака на хозяина. Во взглядѣ и умиленіе, и соболѣзнованіе, словно-бы и она тоже чувствуетъ, что вотъ, молъ, такой способный молодой человекъ, а всего тридцать-пять рублей въ домъ приносить. Сестра угрюмо смотритъ, ѣсть мало, и угрюмость ея тоже во мнѣ желчь подымала. Она-то чего!..

Но я никогда не показывалъ, что происходило во мнѣ. Сценъ я не люблю. Одно только безпокойство, и никакого толка. Мнѣ-бы хотѣлось, чтобы все шло у насъ въ семьѣ тихо, мирно и прилично, а не такъ, какъ у пьяныхъ чиновниковъ, гдѣ за обѣдомъ происходятъ драки. Къ тому-же я любилъ маленьку, и мнѣ очень хотѣлось, чтобы хоть на старости лѣтъ она могла жить, какъ слѣдуетъ, а не жариться у плиты.

Поэтому со своими я ничего не говорилъ о своихъ планахъ,

а держалъ ихъ про себя. Еще поняли-ли бы они ихъ, какъ слѣдуетъ?..

Разъ только я какъ-то глупо размякъ и сталъ однажды говорить съ сестрой объ идеалѣ порядочнаго человѣка и какъ надо жить, чтобы имѣть право считаться порядочнымъ человѣкомъ. Должно быть, я говорилъ очень горячо, такъ-какъ только спустя нѣсколько времени замѣтилъ, съ какимъ не то изумленіемъ, не то страхомъ слушала она меня.

— Ты что, Лена?

— Какъ что? И тебѣ, Петя, не стыдно!? А что намъ покойный папа говорилъ?

Она какъ-то всплеснула руками, хотѣла что-то сказать, но промолчала.

— Что ты все: папа да папа? Отецъ былъ увлекающійся человѣкъ. Онъ не понималъ жизни.

Сестра поблѣднѣла при этихъ словахъ.

— Замолчи... замолчи... Что ты говоришь!!..

Она заткнула себѣ уши и убѣжала изъ комнаты. Глупенькая! Она ничего не понимала. Кажется, разговоръ поразилъ ее, и она долго послѣ этого не заговаривала со мной. Вообще, Лена была странная дѣвушка; она походила на отца и была такая-же увлекающаяся идеалистка. Ей только-что минуло семнадцать лѣтъ, и разная блажь ей лѣзла въ голову. То въ монастырь собиралась идти, то вздумала морить себя голодомъ и все лепетала, какъ блаженная, что она эгоистка. Мнѣ придется еще говорить объ ея печальномъ концѣ, а пока замѣчу только, что она была удивительная дѣвушка, не обращала на себя никакого вниманія, хотя была очень хорошенькая, и никакъ не могла понять простой вещи, что жить—значитъ наслаждаться, а не страдать... А она точно искала какого-то креста и подолгу, бывало, разговаривала съ разными странниками и странницами, заходившими къ намъ, когда меня не было дома. При мнѣ эти мошенники не смѣли показываться. Досадно было слушать, какъ они врутъ и какъ дураки имъ вѣрятъ.

II.

Мысль—сдѣлаться самому порядочнымъ человѣкомъ и сдѣлать порядочными людьми мать и сестру засѣла гвоздемъ въ мою голову. Я рѣшилъ, что это должно быть такъ, и съ этою цѣлью собирался ѣхать въ Петербургъ и тамъ попробовать счастья и испытать свои силы... Мнѣ шель двадцать третій годъ... Я былъ здо-

ровымъ, крѣпкимъ молодымъ человѣкомъ и, какъ говорили уѣздныя дамы, далеко не уродомъ... Неужели-жь я не пробьюсь? думалось мнѣ, и надежды, одна другой розовѣй, щекотали мои нервы... Вѣдь многого я не требую отъ жизни. Я желаю только приличнаго существованія. Приличнаго и ничего болѣе. Я хочу жить, какъ люди живутъ—вотъ и все. И я буду такъ жить! не разъ повторялъ я себѣ, делѣя эти мечты, какъ цѣль моей жизни.

Нужно было первымъ дѣломъ позаботиться о средствахъ, и я сталъ копить деньги. Я получалъ всего тридцать пять рублей и отдавалъ матери двадцать пять. Остальные десять я прежде тратилъ на себя, но теперь сталъ ихъ отлаживать. Я бросилъ курить, ходилъ въ заплатанныхъ сапогахъ и отказывалъ себѣ во всемъ. Я не чувствовалъ этихъ лишеній и съ гордостью думалъ, что, взамѣнъ ихъ, я достигну цѣли... Я буду жить, какъ другіе порядочные люди; бѣлье у меня будетъ тонкое, сигары хорошія, квартира приличная (я не разъ въ мечтахъ представлялъ, какая именно у меня будетъ квартира и какъ тѣ самыя люди, которые соболѣзновали обо мнѣ, будутъ тогда изумляться) и какой я самъ солидный человѣкъ, всегда при деньгахъ и безъ копейки долга... Иногда, раз-мечтавшись, я доходилъ въ дерзкихъ мечтахъ своихъ даже до собственной лошади... одной лошади, этакъ шведки, круглой, сытой, какія бывають, какъ я видалъ, у докторовъ-нѣмцовъ.

У меня бывали свободны вечера, и я рѣшилъ воспользоваться ими. Съ этой цѣлью обратился я за помощью къ мировому судѣ и просилъ его, если случится, порекомендовать меня въ качествѣ учителя. Онъ охотно согласился помочь мнѣ въ этомъ, и я скоро получилъ нѣсколько уроковъ. Платили мнѣ, конечно, мизерно, но я не особенно разбиралъ.

Возвращаясь я домой, пилъ два стакана чаю съ чернымъ хлѣбомъ и считалъ накопленныя деньги, притаившись, точно воръ, у себя на антресоляхъ. Домашнія меня не беспокоили, я просилъ ихъ объ этомъ... Только мать убивалась все изъ-за меня, полагая, что я слишкомъ много работаю. Она не понимала, что эта работа была для меня наслажденіемъ. Я имъ до времени не открывалъ своего плана и только черезъ годъ, когда я скопилъ, такимъ образомъ, шестьсотъ рублей, я объявилъ маменькѣ, что собираюсь въ Петербургъ.

Она не ожидала этого и испугалась.

— Какъ въ Петербургъ?..

— Такъ, маменька... Неужто вы думали, что я всю жизнь буду прозябать въ этомъ городкѣ и позволю вамъ вести такую жизнь?..

— Какую жизнь?.. Чѣмъ-же это не жизнь, Петя?..

— Ахъ, маменька!.. Развѣ такъ люди порядочные живутъ, какъ мы живемъ? Покойный папенька о васъ не позаботился, такъ я, маменька, о васъ позабочусь! проговорилъ я гордымъ и увѣреннымъ тономъ.

— Эгоистъ! раздался изъ-за перегородки раздраженный голосъ Леночки.

Я только усмѣхнулся и не обратилъ на ея глупую выходку никакого вниманія. Маменька просила ее замолчать, но я поспѣшилъ прекратить готовящуюся вспыхнуть сцену.

— Оставьте, маменька, Леночку. У нея свое мнѣніе, у меня свое. Кто изъ насъ правъ, покажетъ будущее... Быть можетъ, и Леночка, когда будетъ постарше, пойметъ, что деньги—сила и что безъ нихъ порядочнымъ человѣкомъ нельзя быть!

— Неправда... неправда... неправда! крикнула она.

— Не сердись Лена... Я вѣдь не навязываю тебѣ своего мнѣнія. Я говорю: быть можетъ...

— Не можетъ этого быть... То, что ты говоришь, безнравственно...

Я не отвѣчалъ больше сестрѣ. Очевидно, она не понимала, что говорила.

— Вотъ, маменька, вамъ триста рублей, продолжалъ я, выкладывая на столъ три сотенныя бумажки.—Этихъ денегъ хватить вамъ на годъ, но я надѣюсь, что раньше года выпишу васъ въ Петербургъ, и тогда мы заживемъ отлично...

Мать изумлялась все болѣе и болѣе.

— Но откуда у тебя деньги?.. И какъ-же ты-то самъ будешь жить въ Петербургѣ?..

— Деньги я честно, маменька, заработалъ... А для Петербурга я и себѣ оставилъ триста рублей.

Мать бросилась обнимать меня и всплакнула-таки... Жаль было ей разставаться со мной...

— Не плачьте, маменька... Я ѣду за счастьемъ и найду его... А развѣ вы не хотите видѣть своего сына счастливымъ?..

Пришла и Лена. И она была изумлена, когда увидала, сколько я заработалъ денегъ... Очевидно, упорство мое вселяло въ ней уваженіе ко мнѣ...

Она какъ-то грустно улыбнулась, когда я сказалъ ей, что въ Петербургѣ она можетъ учиться и что я надѣюсь скоро доставить ей средства, но ни слова не отвѣтила на мои слова. Я объявилъ, что ѣзжаю черезъ три дня, и пошелъ къ себѣ наверхъ.

Мнѣ спать не хотѣлось... Я ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ въ большомъ волненіи... Я вѣрилъ въ свою звѣзду, а все-таки сомнѣнія, нѣтъ-нѣтъ, да и закрадывались въ мой умъ... Что-

то будетъ впереди?.. Какъ-то встрѣтить меня большой незнакомый городъ?..

Я не помню, долго-ли я такъ проходилъ, но, взглянувъ на часы, увидѣлъ, что уже двѣнадцатый часъ... Пора было ложиться спать.

Вдругъ по лѣстницѣ раздались легкіе шаги, и Лена вошла ко мнѣ въ комнату. Она была блѣдна... Глаза ея были красны отъ слезъ... Она приблизилась ко мнѣ, взяла меня за руку и, заглядывая въ глаза, какъ-то странно спросила:

— Петя!.. зачѣмъ ты ѣдешь въ Петербургъ?..

— Вотъ странный вопросъ!.. Я ѣду искать счастья...

Вдругъ эта странная дѣвушка горячо обняла меня и, вся вздрагивая, прошептала, наклоняясь надъ моимъ ухомъ:

— Милый мой... дорогой мой Петя, не поѣзжай туда!.. Ради Бога, не поѣзжай!..

— Что съ тобой, Лена?.. Отчего это мнѣ не ѣхать?..

— Другому я-бы посоветовала туда ѣхать, а тебѣ—нѣтъ... Ты не сердись, я говорить не умѣю... Ты... ты тамъ станешь нехорошимъ... Ты совсѣмъ испортишься... Ты совсѣмъ перестанешь любить людей...

Она говорила прерывисто и такъ жадно смотрѣла мнѣ въ глаза.

— Я тебя, Лена, не понимаю...

— Ахъ, нѣтъ... Ты понимаешь... Я и сама, впрочемъ, не понимаю... Я это чувствую... Петя, родной мой!.. Развѣ тебя не мучить ничто другое?.. Неужели тебѣ только и заботы, что о себѣ, какъ-бы тебѣ лучше жить?.. А о другихъ ты никогда развѣ не думалъ?.. Развѣ тебѣ не жаль другихъ, и ради ихъ неужели ты не позабылъ-бы себя?.. А вѣдь тотъ идеалъ порядочнаго человѣка, про который ты говорилъ—помнишь?—тотъ идеалъ не ведетъ къ добру... Петя... Петя... вспомни покойнаго отца... вспомни, чему онъ насъ училъ...

Она вдругъ зарыдала и, прижавъ къ рукѣ моей, обливала ее слезами.

— Лена... Леночка... Да что съ тобой? Ты какая-то экзальтированная... Чего ты желаешь?.. Въ монахи, что-ли, идти мнѣ?..

— Ахъ, лучше въ монахи, если есть вѣра... А то ты только и вѣришь въ деньги... Сгубишь ты себя...

— Но вѣдь я для васъ-же хлопочу... Развѣ такъ хорошо жить?..

— Не то... не то... Ахъ, ты не то говоришь, Петя... Ты слишкомъ много заботишься о себѣ... Ты себя очень любишь...

Я старался успокоить Лену, объяснялъ, что я ничего нечестнаго не сдѣлаю, но что я только хочу быть человѣкомъ...

Но она не успокоилась послѣ моихъ словъ и что-то пыталась мнѣ объяснить, но вмѣсто объясненій она говорила какія-то горячія слова о томъ, какъ надо жить по правдѣ... Говоря о своей правдѣ, она вся вздрагивала... Видно, бѣдную странницу совсѣмъ сбили съ толку.

Я съ сожалѣніемъ слушалъ ея порывистыя рѣчи и доказывалъ ей, что глупо съ ея стороны такъ волноваться изъ-за того, что я ѣду въ Петербургъ. Разумѣется, я постараюсь получить мѣсто, постараюсь пробить себѣ дорогу и не пресмыкаться, какъ теперь...

— Того я и боюсь, Петя, что ты успѣешь... Ты упоренъ... у тебя характеръ есть...

Больше она ничего не говорила... Заладила одно, что боится за меня, что я людей забуду и какую-то „правду“ забуду.

— Ты, Леночка, ребенокъ и ничего не понимаешь... Мечтательница ты... а я... жить хочу...

— Но развѣ твоя жизнь — жизнь?

— Ну, довольно объ этомъ, Лена.

— И ты ѣдешь?

— Еще-бы!

— Да спасетъ тебя Богъ! проговорила она какъ-то порывисто, обняла меня и тихо, понуривъ голову, вышла изъ комнаты.

Глупая эта сцена, однако, смутила меня, и я долго ворочался въ постелѣ... Долго не могъ заснуть... Все мнѣ мерещилась бѣлорукая леночкина головка, ея возбужденные глаза и ея порывистыя рѣчи...

Какъ-же жить-то? Она искала выхода по-своему, я по-своему. Пусть-же насъ разсудитъ жизнь!.. А волноваться, какъ она, изъ-за пустяковъ, я не могъ-же въ самомъ дѣлѣ... Страдать за другихъ, когда я страдалъ за самого себя, за маменьку и за сестру!.. Да съ какой стати?.. И, наконецъ, все это однѣ глупости... Жить надо!.. Надо жить!

Въ этомъ все!.. Когда я себя устрою, тогда не забуду и другихъ... Но прежде всего о себѣ... Чѣмъ-же я виноватъ, что я себя люблю?.. Да, люблю и возненавижу тѣхъ, кто помѣшаетъ мнѣ добиться своего счастья...

Такъ размышлялъ я въ тѣ поры и когда сталъ засыпать, то ясно слышалъ, какъ на сосѣдней церкви пробило пять часовъ...

На другой день я отправился къ мировому судѣ и объявилъ ему, что оставляю мѣсто...

Онъ удивился такой новости.

— Ужъ не выиграли-ли двѣсти тысячъ? пошутилъ онъ.

— Нѣтъ, ѣду въ Петербургъ.

— Безъ мѣста?

— Безъ мѣста... Попытать счастья...

— Ну, дай вамъ Богъ успѣха... Вы способный молодой человекъ...

Сдача дѣлъ была не долга. Дѣла у меня были въ порядкѣ.

Черезъ два дня я простился съ маменькой и сестрой... Обѣ онѣ горько плакали, только каждая изъ разныхъ побужденій: мать просто жалѣла меня, а сестра хоронила меня.

III.

Признаюсь, когда черезъ трое сутокъ я пріѣхалъ въ Петербургъ и въ тотъ-же день сталъ бродить по улицамъ большого города, въ которомъ у меня не было ни одной души знакомыхъ, какая-то тоска одиночества сжала мое сердце. Скоро, впрочемъ, это прошло, и не безъ гордости ходилъ я по улицамъ большого города. Оживленіе возбуждало мои нервы... Я взглядывалъ на роскошные дома, останавливался передъ магазинами, съ любопытствомъ глядѣлъ на изящные экипажи, на лошадей, на щегольски разодѣтыхъ мужчинъ и дамъ. Мнѣ нравились эта суета и этотъ блескъ большого города. Дамы казались какими-то красавицами, а мужчины такими ловкими и изящными.

Однако, я время отъ времени щупалъ бумажникъ. Разказы о петербургскихъ мошенникахъ, слышанные мною на желѣзной дорогѣ, произвели на меня впечатлѣніе, и я со страхомъ думалъ, что было-бы со мной въ этомъ большомъ городѣ, если-бы я вдругъ очутился въ немъ безъ гроша денегъ? Но бумажникъ былъ на мѣстѣ, и я снова бродилъ, и снова останавливался, и жадно разглядывалъ красивыя изящныя вещи, выставленныя въ магазинахъ.

Меня, впрочемъ, смущалъ мой костюмъ. Когда я сравнивалъ мое невзрачное платьѣ съ изящными костюмами гулявшихъ по улицамъ франтовъ, мнѣ дѣлалось просто неловко, и я рѣшилъ, что первымъ дѣломъ мнѣ надо приобрести пару приличнаго платья и нѣсколько бѣлья. Платьѣ въ Петербургѣ—важная вещь. Я отложилъ покупку до другого дня и, скромно пообѣдавъ въ какой-то кухмистерской, усталый отъ ходьбы, я крѣпко заснулъ въ крошечной комнаткѣ, нанятой мною вблизи отъ николаевской желѣзной дороги.

На другой день я былъ уже одѣтъ довольно прилично и искалъ меблированной комнаты. Комната, нанятая мною по пріѣздѣ, была для меня слишкомъ дорога. Я пересмотрѣлъ множе-

ство комнатъ, но большая часть изъ подходящихъ по цѣнѣ не удовлетворяли меня. Ужь слишкомъ много было жильцовъ и слишкомъ много шума. Наконецъ, послѣ долгихъ поисковъ, я напалъ на подходящую комнатку въ офицерской улицѣ, во дворѣ большого дома. Комнатка была, правда, крошечная, но чистенькая, и кромѣ меня въ этой квартирѣ было только двое жильцовъ: какая-то дама и отставной генераль. Квартирная хозяйка, весьма недурная собой молодая блондинка, уступила мнѣ комнату за десять рублей, но при этомъ прибавила, лукаво бросая на меня взглядъ:

— Только, пожалуйста, чтобы тихо и чтобы къ вамъ не ходили... дамы.

— О, будьте спокойны на этотъ счетъ! отвѣчалъ я какъ можно серьезнѣе.—Я только-что приѣхалъ, и у меня нѣтъ ни души знакомыхъ.

— Вы въ первый разъ въ Петербургѣ?

— Въ первый разъ.

Молодая женщина еще разъ оглядѣла меня съ ногъ до головы и, показалось мнѣ, на этотъ разъ гораздо ласковѣе, точно, глядя на меня, она почувствовала сожалѣніе ко мнѣ.

„Неужели, въ самомъ дѣлѣ, я возбуждаю во всѣхъ только одно сожалѣніе?“ опять пронеслось въ моей головѣ, и я нѣсколько рѣзко спросилъ у молодой женщины:

— Такъ вы согласны принять меня жильцомъ?

— О, разумѣется... Быть можетъ, вы пожелаете у меня имѣть и столъ? Правда, столъ у меня простой, очень простой...

— Я привыкъ къ простому столу!.. проговорилъ я и вдругъ покраснѣлъ при этихъ словахъ.

Она взглянула опять, и я точно въ ея взглядѣ прочиталъ: „вижу, вижу, молодой человекъ, что ты къ хорошему столу не привыкъ!“

— А цѣна какая?

— Восемь рублей.

— Согласенъ... Обѣдъ будутъ подавать ко мнѣ въ комнату?

— Какъ угодно... Угодно со мной обѣдать, а нѣтъ—обѣдайте одни...

— Я привыкъ одинъ!.. отвѣчалъ я снова какъ-то рѣзко и сердито взглядывая на молодую женщину.

— А вы не капризны?..

— Нѣтъ...

Я отдалъ задатокъ, въ тотъ-же вечеръ перебрался въ новое помѣщеніе и за чаемъ дѣлалъ выписки изъ газетныхъ объявленій. Съ завтрашняго дня я рѣшилъ приняться за поиски работы.

„Требуется молодой человекъ въ качествѣ домашняго секретаря“. „Ищутъ чтеца къ престарѣлой дамѣ“. „Желають имѣть молодого человека для занятій съ дѣтьми“. „Требуется конторщикъ для переписки“. Изъ массы объявленій о предложеніи, я на этотъ разъ выудилъ только четыре болѣе или менѣе подходящихъ спроса. Разумѣется, я далеко былъ отъ мысли сдѣлать себѣ професію изъ какого-либо подобнаго занятія (иначе стоило-ли прїѣзжать въ Петербургъ?), но, какъ подспорье, я не прочь былъ имѣть какое-либо подходящее занятіе, которое дало-бы мнѣ возможность не проживать сдѣланныя мною сбереженія. Я считалъ свои капиталы. У меня оставалось всего 210 рублей. Надо было вести дѣла свои аккуратно. Въ свою очередь, я сочинилъ объявленіе такого рода:

„Молодой человекъ, 23 лѣтъ, прїѣхавшій изъ провинціи и кончившій курсъ, ищетъ занятій въ качествѣ учителя, секретаря или бухгалтера“.

Я отнесъ объявленіе въ газетную контору и пошелъ по объявленіямъ.

Первымъ стояла „престарѣлая дама, ищущая чтеца“. Престарѣлая дама жила недалеко, и я отправился къ ней. Большой домъ. Швейцаръ у подъѣзда.

— Гдѣ 14 номеръ квартиры?

— Вы наниматься... по объявленію, что-ли? отвѣтилъ швейцаръ, оглядывая меня.

— Да.

Онъ какъ-то странно посмотрѣлъ на меня и замѣтилъ:

— Въ четвертый этажъ идите, только знаете-ли, что?.. Напрасно поднимаетесь. Она вотъ уже мѣсяць публикуетъ, и только коверъ на лѣстницѣ портать... Никто не идетъ... Много тутъ перебывало разнаго народа...

— Отчего-же это никто не идетъ?

— А барыня-то ужъ очень требовательная... А то ступайте, сами посмотрите... Многіе такъ ходять... Пойдутъ, посмотрятъ и возвращаются назадъ, будто изъ театра... Смѣются...

Меня заинтересовала эта старуха, и я пошелъ въ четвертый этажъ.

Позвонилъ—никто не отворьетъ. Позвонилъ другой разъ... Наконецъ, послышались шаги, и на порогѣ появился старый лакей.

— Вы чтецъ?

— Да... по объявленію...

Лакей тоже какъ-то странно на меня посмотрѣлъ, лѣниво прижалъ мое пальто и повелъ меня въ комнату.

Мы прошли через нѣсколько парадныхъ комнатъ и остановились передъ запертой дверью.

— Вы подождите здѣсь, я пойду доложу!.. проговорилъ лакей.—У васъ сапоги не скрипятъ?..

— Нѣтъ, кажется..

— То-то... Она терпѣть не можетъ сапоговъ со скрипомъ!.. прибавилъ совершенно серьезно лакей, послѣ чего осторожно отворилъ дверь и скрылся.

Мнѣ пришлось прождать минутъ съ десять. Въ то время, какъ я ждалъ, изъ другихъ дверей вышла какая-то пожилая женщина, прошла мимо меня, бросивъ на меня внимательный взглядъ, кивнула на мой поклонъ и вернулась въ ту-же дверь. Затѣмъ прибѣжали три маленькія собаченки въ пополахъ, стали-было лаять, но горничная, вошедшая вслѣдъ за ними, поторопилась увести ихъ, поглядѣвъ на меня, какъ мнѣ показалось, не безъ сожалѣнія.

— Пожалуйста! проговорилъ лакей, появляясь около меня.

Онъ отворилъ двери. Сперва мы вошли въ роскошно-убранную гостиную, а оттуда въ небольшую, полутемную комнату, гдѣ въ большомъ откидномъ креслѣ полулежала закутанная пледомъ какая-то старая женщина. Въ комнатѣ было душно и накурено чѣмъ-то ароматическимъ. Изъ сосѣдней комнаты раздавались звуки фортепіано...

Лакей скрылся. Я остался одинъ.

— Подойдите поближе! тихо проговорила та самая пожилая женщина, которая давеча разглядывала меня въ залѣ.

Я подошелъ и тогда только разглядѣлъ существо, лежавшее въ креслѣ. Это была старая-престарая и очень некрасивая старуха съ маленькимъ узконосымъ дѣтскимъ личикомъ, въ бѣломъ чепчикѣ съ сиреневыми лентами. На лицѣ ея толстымъ слоемъ лежала пудра, отчего безобразное ея лицо казалось еще страшнѣй, а небольшіе глаза, глубоко сидѣвшіе въ темныхъ ямахъ, казались совершенно безжизненными, точно стеклянными.

Она высвободила свою руку изъ-подъ одеяла и оставила на меня лорнетъ.

Нѣсколько секундъ длилось молчаніе. Она что-то опять сказала пожилой дамѣ, и та снова тихо попросила меня подойти поближе. Я подошелъ почти вплотъ къ старухѣ. Она продолжала оглядывать меня, точно какую-то рѣдкость. Въ это время въ сосѣдней комнатѣ замолкли звуки фортепіано, и прямо противъ меня слегка скрипнула дверь. Я взглянулъ въ ту сторону. Изъ дверей выглянуло прелестное молодое женское личико. но тотчасъ-же скрылось.

— Вы чтецъ? наконецъ, проговорила какимъ-то глухимъ голо-
сомъ старуха, не опуская лорнета.

— Да.

— Вамъ сколько лѣтъ?

— Двадцать три года.

— Вы студентъ?

— Нѣтъ. Я кончилъ только курсъ въ гимназiи.

— Вы читали когда-нибудь большимъ?

— Читалъ, храбро совралъ я.

— Вѣдь это скучно, очень скучно, замѣтила старуха, и на
лицѣ ея промелькнуло нѣчто вродѣ улыбки.

Потомъ, помолчавши, она сдѣлала мнѣ какой-то жестъ рукой.

— Садитесь, подсказала мнѣ пожилая дама, замѣтивъ, что я
не понялъ жеста.

Я сѣлъ на какую-то низенькую маленькую табуретку, такъ-
что старуха, лежа въ своемъ креслѣ, могла отлично меня ви-
дѣть.

— Вы не нигилистъ? снова начала она свой допросъ.

— Нѣтъ.

— Вы въ Господа Бога вѣруете?

— Разумѣется.

— Это похвально, молодой человѣкъ... Нынче такъ мало вѣ-
ры... Кто ваши родители и что вы дѣлали до сихъ поръ? Раз-
скажите-ка намъ откровенно... Все по порядку. Я люблю слушать
задушевные исторiи.

Я понялъ тогда, почему отъ этой старухи убѣгали всѣ, при-
ходившіе по объявленiю, но я рѣшилъ испить чашу до дна. Въ
моемъ положенiи приходилось спрятать свое самолюбіе въ кар-
манъ.

„Кто знаетъ,—мелькнула во мнѣ мысль въ это время,—можетъ
быть, я понравлюсь старухѣ, и она мнѣ поможетъ устроить мою
карьеру. Такіе примѣры бывали. Она, должно быть, очень бо-
гата. Жить ей недолго. Чѣмъ судьба не шутитъ! Такія старухи
капризны“. Я вспомнилъ при этомъ случай, бывшій въ нашемъ гу-
бернскомъ городѣ, какъ одна больная, богатая старуха оставила
послѣ смерти десять тысячъ одному молодому человѣку, прихо-
дившему играть на фортепіано.

Всѣ эти мысли быстро пробѣгали въ моей головѣ, какъ снова
напротивъ меня чуть-чуть пріотворились двери, и изъ щели по-
казалась пара сверкающихъ черныхъ глазъ и маленькій, слегка
вздернутый розовый носикъ.

Несмотря на мое благоразуміе, глаза эти, признаюсь, сму-
тили меня, и, подите-жь, въ то-же мгновеніе всѣ мои фантазiи



относительно старухи разлетѣлись и мнѣ въ это время хотѣлось только узнать: кто такая эта дѣвушка, заглядывавшая въ щелку? и непременно увидеть ее... увидеть, во что-бы то ни стало.

Я былъ молодъ, и мнѣ было простительно на минуту увлечься самымъ глупымъ образомъ.

Однако, пора было начинать исповѣдь передъ старухой. Она уже ждала. Глаза снова скрылись, но кто знаетъ, не будетъ-ли у меня, кромѣ двухъ, еще и третья слушательница?.. Это меня нѣ сколько смущало.

Я въ короткихъ словахъ разсказалъ, кто были мои родители (дворянское ихъ происхожденіе, видимо, произвело на мою старуху благопріятное впечатлѣніе), почему я не могъ поступить въ университетъ и какъ пріѣхалъ въ Петербургъ прискаты себѣ занятія. Я разсказалъ все это просто, но не безъ достоинства. Мысль, что меня, быть можетъ, слушаютъ за дверьми, заставляла меня избѣгать трогательныхъ мѣстъ, которыя-бы ярче отбѣняли меня, какъ способнаго и прекраснаго молодого человѣка, служащаго единственной опорой матери и сестрѣ. Этотъ вопросъ я обошелъ, ограничась только легкимъ, хотя и довольно прозрачнымъ, намекомъ.

Разсказъ мой произвелъ, повидимому, очень благопріятное впечатлѣніе.

— Бѣдный молодой человѣкъ! проговорила старуха, снова лорнируя меня.—У меня тоже былъ сынъ... ему-бы теперь было..

Она задумалась и заморгала глазами, точно собираясь плакать.

Пожилая дама поднесла ей къ носу флаконъ съ солями и замѣтила:

— Ипполиту Федоровичу было-бы теперь тридцать лѣтъ...

— Ахъ, да... тридцать... И какой славный молодой человѣкъ!..

Опять нюханіе солей.

— А вы по-славянски читать умѣете?

— Умѣю.

— Ну, и хорошо. Вы мнѣ понравились, молодой человѣкъ. Какъ васъ зовутъ?

— Петромъ Антоновичемъ.

— А ваша фамилія?

— Брызгуновъ.

Мнѣ показалось, что она поморщилась, когда я сказалъ свою фамилію. Дѣйствительно, моя фамилія была какая-то странная; мнѣ она самому не нравилась... „Брызгуновъ!“... Очень ужъ какъ-то звучитъ скверно.

— Ну, это все равно... Я васъ буду, молодой человѣкъ, звать Пьеромъ... Вы позволите?

И, не дождавшись отвѣта, старуха обратилась къ пожилой дамѣ:

— Кто у насъ Пьеръ есть?.. Ахъ, я опять забыла... напомните мнѣ, Марья Васильевна.

— Пьеръ?.. Да племянникъ вашъ Пьеръ...

— Вотъ вспомнила! съ неудовольствіемъ перебила старуха.— Нашли кого вспомнить!.. Я его въ домъ не пускаю, а она... Вы нарочно, кажется, хотите меня раздражить... Кто-же у насъ Пьеръ, ну?..

— Крестникъ вашъ...

Старуха замотала капризно головой.

— Еще Пьеръ Ленскій, сынъ Антонины Алексѣевны.

Старуха заморгала глазками. Марья Васильевна въ смущеніи снова поднесла флаконъ съ солями.

— Ахъ, вы меня совсѣмъ не жалѣете... Какихъ это вы все Пьеровъ вспоминаете?..

Она озабоченно стала припоминать, и вдругъ лицо ея оживилось.

— Ну, вотъ вы не могли вспомнить, а я вспомнила. Помните, Пьеръ у покойнаго мужа мальчикъ былъ... славный такой... мы его Пьеромъ звали...

Черезъ секунду старуха забыла уже Пьера и, обратившись ко мнѣ, замѣтила:

— Я васъ беру, молодой человѣкъ, къ себѣ чтецомъ. О времени и объ условіяхъ съ вами переговорить Марья Васильевна... Я васъ не обижу...

Она кивнула головой. Я поклонился и вышелъ изъ комнаты. Вслѣдъ за мной вышла и Марья Васильевна. Условія были слѣдующія: приходитъ читать отъ семи до девяти часовъ вечера, и за это предлагалось тридцать рублей.

Я согласился. О подробностяхъ Марья Васильевна обѣщала поговорить впослѣдствіи.

— Вы понравились княгинѣ, проговорила эта женщина, ласково взглядывая на меня. — Постарайтесь-же оправдать ея довѣріе. Завтра приходите въ половинѣ седьмого.

Когда я выходилъ, въ комнатѣ раздался шелестъ. Я обернулся и мелькомъ увидѣлъ красивую молодую дѣвушку, выглядывавшую изъ дверей.

Когда я былъ на порогѣ, до меня донесся ея голосъ:

— Неужели онъ согласился?

— Да! тихо отвѣчала Марья Васильевна.

Въ голосѣ дѣвухи было столько изумленія, что я обернулся, но никого уже не видалъ.

Старый лакей проводилъ меня до лѣстницы и глядѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— Поладили? спросилъ онъ.

— Да.

— Удивительно!..

Даже швейцаръ изумился, что я такъ долго былъ на верку и, когда я далъ ему гривенникъ и объявилъ, что буду приходить каждый день читать старухѣ, онъ не могъ скрыть своего изумленія и проговорилъ:

— Чудеса!

Отъ старухи я пошелъ на сергіевскую улицу къ господину, желавшему имѣть „способнаго секретаря“...

Успѣхъ моихъ первыхъ шаговъ въ Петербургѣ радовалъ меня, и я шелъ въ сергіевскую бодрый и довольный, въ полной увѣренности, что неглутому человѣку нельзя пропасть въ большой столицѣ.

IV.

Я скоро отыскалъ домъ, указанный въ объявленіи. Швейцаръ замѣтилъ, что генералъ живетъ во второмъ этажѣ, и при этомъ прибавилъ:

— Только врядъ-ли васъ, господинъ, примутъ... Генералъ очень занятъ...

— Однако, въ газетахъ объявлено, что его можно видѣть до трехъ часовъ.

— Такъ вы по объявленію?.. Попробуйте... Только едва-ли!.. Генералъ теперь пишетъ... Мнѣ только-что лакей ихній говорилъ...

Однако, я все-таки поднялся во второй этажъ и тихо позвонилъ у двери, на которой блестяла мѣдная дощечка съ выгравированной на ней крупной славянской вязью надпись: „Николай Николаевичъ Остроумовъ“.

Лакей, отворившій мнѣ двери, тихимъ голосомъ и какъ-то таинственно сказалъ мнѣ, что „генералъ очень занятъ и беспокоить его теперь нельзя“.

— Но я пришелъ по объявленію...

— Вы-бы лучше въ другой разъ...

— Да какъ же это?..

— Впрочемъ подождите... Я посмотрю...

Съ этими словами, лакей тихонько приотворилъ двери, веду-

щія въ кабинетъ, заглянулъ туда и, обратясь ко мнѣ, сказалъ съ особенной серьезностью:

— Пишетъ!.. А когда онъ пишетъ, то не любитъ, чтобы его беспокоили...

— Такъ я подожду...

— Развѣ подождать... Вы подождите въ залѣ... Я выберу минутку и доложу.

Я вошелъ въ залу. Въ залѣ, за двумя ломберными столами, сидѣли писаря и что-то писали... Полная тишина была въ большой комнатѣ. Только слышно было, какъ шуршали перья по бумагѣ...

Я просидѣлъ такъ минутъ съ пять, какъ черезъ залу на ципочкахъ прошла дама съ какой-то корректурой въ рукахъ и, не обращая на меня ни на кого вниманія, остановилась у кабинета, осторожно пріотворила двери, заглянула туда и отошла отъ дверей.

Я кашлянулъ. Тогда дама взглянула на меня, и я поклонился. Она подошла ко мнѣ, серьезная, озабоченная, съ корректурой въ рукѣ.

— Вамъ Николая Николаевича? спросила она.

— Да-съ... Объявляли въ газетахъ...

— Ахъ, извините, пожалуйста... Сейчасъ мужъ васъ принять не можетъ... Онъ исправляетъ теперь корректуру... Жаль потревожить его... Ужь вы подождите немного...

Съ этими словами она прошла въ другія комнаты, и я снова сѣлъ.

Опять черезъ залу прошла, тихо ступая, молодая дѣвушка, тоже съ корректурой въ рукахъ, также осторожно заглянула въ двери и также осторожно отошла назадъ. По счастью, она обратила на меня вниманіе. Я поклонился молодой дѣвушкѣ. Она приблизилась ко мнѣ.

— Я пришелъ по объявленію... Объявляли о домашнемъ секретарѣ... Нельзя-ли увидать генерала?..

— Николай Николаевичъ теперь ужасно занятъ! отвѣтила она мнѣ.— Впрочемъ, подождите...

Она снова пріотворила двери, и на этотъ разъ, слава Богу, генералъ, должно быть, замѣтилъ ее, потому что она вошла въ кабинетъ и черезъ минуту вернулась и попросила меня войти туда.

Я вошелъ въ кабинетъ. За большимъ столомъ, на которомъ вездѣ были разбросаны корректуры, сидѣлъ нестарый генералъ, съ озабоченнымъ видомъ. Онъ протянулъ мнѣ руку и, показывая на кресло, замѣтилъ:

— Извините, пожалуйста... Я, кажется, заставилъ васъ ждать... Я такъ занятъ, такъ занятъ... Дочитываю корректуру моей новой

книги... "Годовщина Баш-вадыкъ-лара". Должна выйти къ сроку... А довѣрить этого дѣла нельзя никому...

Въ эту минуту въ кабинетъ вошла генеральша, некрасивая, добродушная на видъ дама, извинилась, что на минутку, „на одну только минуточку“, прерветъ нашу бесѣду и, положивъ передъ мужемъ корректурный листъ, указала на одно мѣсто тонкимъ, замараннымъ въ чернилахъ, пальцомъ.

— Послушай, мой другъ... Я поставлена въ затрудненіе. Въ этомъ мѣстѣ у тебя написано...

И она прочла пѣвучимъ, слегка вибрирующимъ, голосомъ, съ какимъ-то благоговѣніемъ, точно читала священныя строчки, слѣдующее мѣсто:

„И слезы благодарныхъ, выносливыхъ, простодушно-невинныхъ русскихъ солдатъ, этихъ чудо-богатырей родной земли, взбурили тихое чаганрыкское озеро. Оно зашѣлилось, почернѣло и словно подернулось трауромъ по храбромъ, неустрашимомъ героѣ, маіорѣ Кобылкинѣ, прахъ котораго, заключенный въ гробъ, везли въ это время на лодкѣ горющіе солдаты“...

— А сбоку, мой другъ, вариантъ такой:

„И зарыдали они, эти простодушно-дѣвственные чудо-богатыри земли русской, христолюбивые воины нашей родины. Зарыдали они, и капля по каплѣ струились ихъ слезы въ тихія воды чаганрыкского озера, вспѣнивая его черную пучину. И обыкновенно спокойный Чаганрыкъ отуманился, почернѣлъ, какъ-бы подергивался чернымъ флеромъ, отдавая послѣднюю дань праху безвременной жертвы, героя-болярина, маіора нижеудинскаго пѣхотнаго полка Аркадія Петровича Кобылкина, моего стараго добродѣя и соратника. Тихо плыла лодка по озеру съ гробомъ, христолюбцы рыдали, и, казалось, вмѣстѣ съ ними скорбѣлъ Чаганрыкъ, плакало небо и тихо грустили горныя выси“...

Генеральша и это мѣсто прочла съ тѣмъ-же чувствомъ и тѣмъ-же дрожащимъ отъ волненія голосомъ. Когда она кончила, то взглянула на мужа съ благоговѣйной любовью и восхищеніемъ, полная счастья. Потомъ она перевела взглядъ и на меня, взглянувъ какъ-то торжественно, словно-бы говоря своимъ взглядомъ: „слышалъ-ли ты когда-либо что-нибудь подобное?“

— Какъ-же намъ быть, Никсъ?.. Какое мѣсто оставить?.. По моему мнѣнію, оба они такъ прелестны, такъ поэтичны, что если-бы ты спросилъ моего совѣта, то я-бы сказала: оставь оба.

Генеральшъ задумался. Онъ восторженно устремилъ въ пространство свои голубые глаза и нѣсколько секундъ пробылъ въ такомъ положеніи. Генеральша благоговѣйно замерла... Въ эту минуту въ комнату заглянула молодая дѣвушка и тоже замерла.

Наконецъ, генераль опустилъ глаза на корректуру, тихо перечесть, тоже на-распѣвъ, оба мѣста и опять задумался.

— Ты какъ думаешь, Мари? Какое мѣсто лучше? наконецъ спросилъ генераль.

— Ахъ, ужъ лучше не спрашивай, Никсъ. Я не могу отдать предпочтенія. Первое энергичнѣе, сильнѣе, но зато во второмъ столько поэзіи... столько поэзіи...

— А ты, Наташа, какого мнѣнія?

— По-моему, дядя, первое лучше. И второе хорошо, но первое... грандіозно! проговорила, входя, дѣвушка.

Генераль не рѣшался.

— Это вопросъ! Я и самъ въ затрудненіи... А, впрочемъ, знаете-ли, господа, что? Обратимся къ постороннему судѣ. Мнѣ ніе безпристрастнаго судьи будетъ самымъ вѣрнымъ. Что вы скажете, молодой человѣкъ?

Всѣ взгляды обратились на меня. Я, признаться, не былъ приготовленъ къ такому исходу.

— Вы откровенно скажите... Не стѣсняйтесь, молодой человѣкъ!.. поощрялъ меня генераль.

— По моему скромному мнѣнію, первый вариантъ будетъ сильнѣй...

— А зато какъ граціозенъ второй!.. вступилась генеральша.

— Не спорю, но въ первомъ больше силы...

— Вотъ мы такъ и поступимъ... Оставимъ первый!.. рѣшилъ генераль, взявъ корректурный листъ, перекрестился большимъ крестомъ и зачеркнулъ другой вариантъ.

Обѣ дамы ушли.

— Ну, теперь поговоримъ о дѣлѣ, молодой человѣкъ... Ваше имя?..

— Петръ Антоновичъ...

— У меня, Петръ Антоновичъ, работы пропасть... Жена и племянница помогаютъ мнѣ, но кромѣ того мнѣ нуженъ секретарь, которому-бы я могъ излагать свои мысли, а онъ-бы ихъ записывалъ, такъ, вчера... Окончательно отдѣлывать, конечно, буду я самъ... Могли-ли-бы вы взяться за это?..

— Я-бы попробовалъ...

— Вы гдѣ кончили курсъ?

— Въ н—ской гимназіи...

— Знаю... знаю... Тамъ у меня директоръ пріятель. Долженъ васъ предупредить, Петръ Антоновичъ, что я требователенъ и люблю акуратность въ работѣ... У меня много перебивало молодыхъ людей, но все какъ-то мы не сходились... Вотъ еще недавно: пришелъ одинъ студентъ, довольно приличный на видъ, взялъ

ся за дѣло, но мало того, что былъ не акуратенъ, а еще фиркалъ, когда я приказалъ ему написать проповѣдь о спасеніи души, и отказался... По-моему, лучше не берись... Какъ вы полагаете?

Я согласился.

Генералъ помолчалъ и потомъ неожиданно прибавилъ:

— Вы извините... Одинъ щекотливый вопросъ!..

— Сдѣлайте одолженіе!..

— Вы религіозный человѣкъ?..

— Я васъ позволилъ объ этомъ спросить, прибавилъ онъ, — потому, что все наше семейство глубоко религіозно... Я, конечно, не смѣю насиловать вашихъ убѣжденій, но я-бы не потерпѣлъ въ своемъ секретарѣ атеизма, а эта болѣзнь, по несчастію, теперь свирѣпствуетъ... Молодые люди забываютъ, что религія—единственная успокоительница.

Генералъ сталъ говорить на эту тему и, между прочимъ, такъ и сыпалъ цитатами изъ священнаго писанія.

Я поспѣшилъ успокоить его.

— Занятія секретаря должны начинаться съ 9 часовъ утра и продолжаться до трехъ... На его обязанности будетъ переписка... Я веду переписку со многими лицами... Что-же касается до вознагражденія...

Генералъ остановился и взглянулъ на меня.

— Какъ-бы вы оцѣнили свой трудъ?..

— Мнѣ, право, трудно...

— Однакожь?..

Я все-таки отказался. Отказъ мой, видимо, не понравился генералу. Онъ поморщился и проговорилъ:

— Я тоже затрудняюсь... Работа ваша будетъ, конечно, незначительная... легкая, но все-таки... я не желалъ-бы васъ обидѣть... Какъ вы думаете на-счетъ двадцати рублей въ мѣсяцъ?..

„Ого!“ подумалъ я... „Генералъ очень низко цѣнить трудъ“.

— Мнѣ кажется, возразилъ я, — что за шесть часовъ работы плата эта не совсѣмъ достаточна...

— Но, молодой человѣкъ, вѣдь работа-то пріятная... Вы будете учиться при этомъ... Вѣдь вамъ предстоитъ, можно сказать, рѣдкій случай усовершенствоваться въ стилѣ. Эта работа въ вашемъ-же интересѣ... Мы будемъ вмѣстѣ прочитывать хорошія книги... Я буду дѣлиться съ вами идеями... Вы будете, такъ сказать, выразитель моихъ идей... Завтракать будемъ вмѣстѣ, прибавилъ онъ, еще разъ внимательно оглядывая меня.

Я всталъ съ мѣста.

— Вы, кажется, находите, что предложенная мною цѣна мала?

Я отвѣчалъ, что, не имѣя никакихъ занятій, я не могу существовать на двадцать рублей. Тогда генераль обѣщалъ мнѣ (если я оправдаю его надежды) хлопотать за меня и доставить мнѣ гдѣ-нибудь еще подходящее занятіе, при чемъ намекнулъ, что у него большія связи.

— Мнѣ кажется, мы съ вами сойдемся. Вы мнѣ понравились.

Вообще, онъ говорилъ такимъ тономъ, будто одно счастье рабывать съ нимъ должно было осчастливить человѣка.

Я все-таки колебался...

— Ну, хорошо. Я предложу вамъ двадцать пять рублей. Надѣюсь, теперь вы будете довольны, а пока я сдѣлаю вамъ маленькій экзамень.

И съ этими словами онъ предложилъ мнѣ написать письмо къ какому-то архимандриту Леонтію, въ которомъ благодарить его за присылку книгъ и трехъ бутылокъ наливки.

Я очень скоро написалъ письмо, и генераль остался письмомъ доволенъ, хотя и замѣтилъ, что слогъ мой недостаточно, какъ онъ выразился, „кристаллизованъ“.

— Впрочемъ, прибавилъ онъ, беря меня за плечо, — со мной вы научитесь писать очень скоро. Такъ я считаю, Петръ Антоновичъ, дѣло рѣшеннымъ?

— Извините, Николай Николаевичъ, отвѣтилъ я, замѣтивши, что генераль очень доволенъ моимъ письмомъ, — но я-бы попросилъ васъ дать мнѣ тридцать рублей, по крайней мѣрѣ. Вы увидите, какъ я работаю, и если работа моя вамъ понравится...

— Ну, нечего съ вами дѣлать. Извольте. Я согласенъ.

Онъ пожалъ мнѣ руку и отпустилъ меня, снабдивъ своими брошюрами и книгами.

— Прочитайте-ка ихъ дома, молодой человѣкъ, да читайте внимательно: вы тутъ кое-чему поучитесь...

Когда я вышелъ отъ этого самодовольнаго дурака на улицу, то чуть-было не разсмѣялся, вспоминая все, что я видѣлъ и слышалъ.

Хотя я и очень дешево взялъ, но все-таки на первый разъ это было недурно. Главное, начало сдѣлано. Съ перваго-же дня я получилъ занятія.

Голодный, уставшій, я вернулся домой. Мнѣ отворила дверь сама хозяйка. Въ этотъ день она была лучше одѣта, вообще приурачилась и показала мнѣ весьма и весьма хорошенькой.

— Что это вы такъ поздно, Петръ Антоновичъ? заговорила она, привѣтливо улыбаясь. — Вѣрно проголодались? Гдѣ хотите

обѣдать: у себя или со мной? Пойдемте-ка ко мнѣ, а то одному вамъ, бѣдному, скучно будетъ. Вы вѣдь теперь сирота...

Я принялъ предложеніе. Мы обѣдали вмѣстѣ и послѣ обѣда еще долго болтали. Хозяйка моя произвела на меня впечатлѣніе доброй, милой, но недалекой женщины. Она меня все жалѣла и интересовалась узнать, удачны-ли были мои хлопоты, и когда я объявилъ, что сегодня-же получилъ два мѣста, то она добродушно порадовалась за меня. Она весело болтала, угостила меня пивомъ и объявила, что я очень ей понравился своею скромностью. Она надѣется, что я буду постояннымъ ея жильцомъ...

Въ тотъ вечеръ я легъ спать и заснулъ съ самыми сладкими мечтами о будущемъ моемъ счастіи...

Откровенный Писатель.

(Окончаніе въ слѣдующей книжкѣ.)



ВО ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

продаются слѣдующія изданія редакціи журнала „Дѣло“:

Происхожденіе человѣка и половой подборъ. Чарльса Дарвина. Перев. съ англ., подъ редакцію Г. Е. Благосвѣтлова. Въ трехъ выпускахъ, составляющихъ около 80-ти печ. листовъ, съ 150-ю рисунками, рѣзанными на деревѣ. Цѣна трехъ выпускамъ 5 р. сер.; съ перес. 5 р. 60 к.

Теорія естественнаго подбора. Очерки Альфреда Росселя Валласа. Перев. съ англ. Цѣна 1 р. 20 к.; съ перес. 1 р. 50 к.

Популярная гигиена. Настольная книга для сохранения здоровья и рабочей силы въ средѣ народа. Карла Реклама. Перев. съ нѣмецк. Изданіе четвертое. 1878 г. Съ приложеніемъ „Военной гигиены“ д-ра Веймана. Съ рисунками. Цѣна 2 руб.; съ пересылкой 2 руб. 30 к.

Вопросъ общественной гигиены. В. О. Португалова. Около 40 печатныхъ листовъ. Цѣна 3 руб.; съ перес. 3 р. 50 к.

О питаніи въ физиологическомъ, патологическомъ и терапевтическомъ отношеніяхъ. Д-ра Жюля Сира. Перев. съ французскаго, подъ редакціей А. Н. Моригеровскаго. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

Уроки элементарной физиологій. Т. Гексли. Пер. съ англ., съ предисловіемъ Д. И. Писарева. Изданіе третье. Цѣна 1 р. 25 к.; съ пер. 1 р. 40 к.

Комедія всемірной исторіи. Гог. Шерра. Историческій обзоръ событій въ 1848 по 1851 годъ. Перев. съ нѣмецк. Два выпуска. Цѣна обоямъ выпускамъ 3 р.; съ пересылкой 3 р. 50 к.

Исторія крестьянской войны въ Германіи. Д-ра В. Циммермана, составл. по лѣтописямъ и рассказамъ очевидцевъ. Переводъ съ нѣмецкаго. Три выпуска, составл. болѣе 70-ти печ. листовъ. Изданіе второе. Цѣна трехъ выпускамъ 2 руб.; съ перес. 2 р. 50 к.

Избранныя рѣчи Джона Брайта. Съ біографическимъ очеркомъ и портретомъ автора. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціей Г. Е. Благосвѣтлова. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

Одинъ въ полѣ—не воинъ. Романъ Фр. Шпильгагена. Перев. съ нѣмѣцк. Изданіе четвертое, съ портретомъ автора и предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтлова. Два тома, около 60-ти печатн. листовъ. Цѣна 3 р.; съ перес. 3 р. 50 к.

Девяносто третій годъ. Романъ В. Гюго, въ двухъ томахъ. Переводъ съ французскаго. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 40 к.

Современные политическіе дѣятели. (Біографіи и характеристики) Э. Реклю (М. Триго). Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

Иновѣдь старика. Политическій романъ Иполита Ньвево. Перев. съ итальянскаго В. А. Зайцева. Цѣна 2 р.; съ перес. 2 р. 30 к.

О подчиненіи женщины. Дж. Ст. Миля. Переводъ съ англійскаго, подъ редакцію и съ предисловіемъ Г. Е. Благосвѣтлова. Въ концѣ книги приложена ст. Гог. Шерра: „Историческіе женскіе типы“. Изданіе второе. Цѣна 1 руб.; съ перес. 1 руб. 25 к.

Автобіографія Джона Стюарта Миля. Переводъ съ англійскаго, подъ редакціей Г. Е. Благосвѣтлова. Цѣна 1 руб. 20 к.; съ перес. 2 р. 50 к.

На всѣ вышеозначенныя изданія подписчикамъ журнала „Дѣло“ уступается 20% съ номинальныхъ цѣнъ (стоимость книги безъ пересылки).

СОДЕРЖАНІЕ ШЕСТОЙ ВНИЖКИ.

Берегъ моря. Романъ изъ крымской жизни, въ двухъ частяхъ. (Ч. II. Гл. I—V.)	<i>Е. Л. Маркова.</i>
Джорджъ-Генри Льюисъ (Ст. первая.)	<i>В. Басардина.</i>
Въ чужой семьѣ. Романъ. (Окончаніе.)	<i>Н. Северина.</i>
Щебетъ ласточки. Стихотвореніе.	<i>Н. К. Бобылева.</i>
Госпожа Андре. Романъ. (Гл. XLII—LI.)	<i>Жана Ришпэна.</i>
Немногимъ. Стихотвореніе	<i>Н. К. Бобылева.</i>
Люди и нравы въ Китаѣ	<i>С. С. III.</i>
На волю божью. Изъ жизни заброшенныхъ дѣтей. (Гл. I—VI.)	<i>Баратцевича.</i>
Юмористъ Фрицъ Рейтеръ	<i>В. Н.</i>
Бездомный. Романъ. (Окончаніе.)	<i>С. Мачалэна.</i>

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Мужикъ въ салонахъ современной беллетристики. (Ст. вторая.)	<i>П. Никитина.</i>
Изъ исторіи русской деревни	<i>Н. В. Шелунова.</i>
Новыя книги.	
Князь Бисмаркъ, по описанію его „людей“	<i>С. С. III.</i>
Долгій парламентъ и короткая республика въ Англіи.	<i>В. Басардина.</i>
Внутреннее обозрѣніе.	<i>Н. III.</i>
Похожденія одного благонамѣреннаго молодого человѣка, рассказанныя имъ самимъ	<i>Откровеннаго Писателя.</i>

поучаетъ наши вѣси, города и земства? --- А между тѣмъ читатель инстинктивно ждетъ отъ печати своего спасенія и желаетъ, чтобы она стояла на высотѣ своего призванія.

17. ПОХОЖДЕНІЯ ОДНОГО БЛАГОНА-
МЪРЕННАГО МОЛОДОГО ЧЕЛО-
ВѢКА, РАЗСКАЗАННЫЯ ИМЪ СА-
МИМЪ ОТКРОВЕННАГО ПИСАТЕЛЯ.

18. ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА „ДѢЛО“
ВЪ 1879 ГОДУ.



ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ

четвертое изданіе книги:

ПОПУЛЯРНАЯ ГИГИЕНА,

Настольная книга для сохранения здоровья и рабочей силы въ
средѣ народа.

Соч. **КАРЛА РЕБЛАМА** (профессора медицины въ Лейпцигѣ)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ВОЕННОЙ ГИГИЕНЫ

Соч. **Д-ра ВЕЙМАННА.**

(ШВЕЙЦАРСКАГО ГИГИЕНИСТА.)

Изданіе редакціи журнала „Дѣло“. Цѣна 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

При этомъ № помѣщены объявленія: 1) объ изданіи журнала „Дѣло“ въ 1879 г.; 2) объ изданіяхъ редакціи журнала „Дѣло“.

ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Д Ъ Л О“

въ 1879 году

принимается въ С.-Петербургѣ, въ Главной Конторѣ Редакціи
журнала „Дѣло“ (по Надеждинской улицѣ, д. № 39.)

Редакція считаетъ себя отвѣтственной за исправную и своевременную
высылку журнала только передъ тѣми изъ своихъ подписчиковъ, ко-
торые подпишутся по указанному выше адресу.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

годовому изданію журнала „Дѣло“:

Безъ пересылки и доставки	14 р. 50 к.
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ.	15 „ 50 к.
Съ пересылкою иногороднимъ	16 „
„ за-границу	19 „

Для служащихъ дѣлается разсрочка, но не иначе, какъ за поручи-
тельствомъ гг. назначеевъ.

Издатель Г. БЛАГОСВѢТЛОВЪ. Редакторъ Н. ШУЛЬГИНЪ.

This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.

Widener Library



3 2044 079 302 410